ВИЛЬХЕЛЬМ МУБЕРГ

ИЗБРАННОЕ

ВИЛЬХЕЛЬМ
МУБЕРГ
ИЗБРАННОЕ

Перевод с шведского

ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1979

Предисловие и примечания
Н. БЕЛЯКОВОЙ И Ф. ЗОЛОТАРЕВСКОЙ

Художник
Н. ФИЛИМОНОВА

$М\frac{70304\text{-}069}{028(01)\text{-}79}168\text{-}79$

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вэренд — так называли в старину лесистый край, раскинувшийся на юге Швеции, на склонах Смоландской возвышенности. Много столетий назад этот край населяли вирды — люди смелые, настойчивые, гордые, вольнолюбивые. Само слово «вирд» означало «смелый человек», «человек чести». Вирдам приходилось отвоевывать у леса каждую пять земли. Они жгли и рубили деревья, сеяли на пожогах хлеб, строили дома, пасли скот. Каменные изгороди, вересковые пустоши, поляны, поросшие можжевельником, — таковы были эти бедные места, где натуральное хозяйство сохранялось дольше, чем во многих других областях Швеции. Отсюда в XIX веке тянулся наиболее многочисленный поток эмигрантов, пытавшихся найти свое счастье в Америке. Лишь на рубеже двадцатого века, с развитием промышленности, облик Вэренда несколько изменился. Однако еще долгое время здесь сохранялся старый уклад жизни.

В одном из уездов этого края, в приходе Альгутсбуда, в деревушке Мосхультамола, 20 августа 1898 года родился Карл Артур Вильхельм Муберг. Древний Вэренд был для писателя источником вдохновения на всем протяжении его долгого творческого пути. Все герои многочисленных книг Муберга — выходцы из Вэренда, унаследовавшие от своих далеких предков, вирдов, неукротимое стремление к свободе, гордый и непреклонный характер.

Отец Муберга был солдатом. Многодетная семья кормилась от небольшого земельного надела, который выделялся крестьянской общиной солдатам королевской армии. В книге «Рассказы о моей жизни», Муберг подробно описывает годы своего детства. Он повествует о бедности, царившей в доме, о тяжелом труде в поле наравне со взрослыми, о неодолимой тяге к книгам, к учению. Стремление вырваться из ограниченного мира патриархальной деревни было столь велико, что Муберг, вслед за многими своими земляками и родственниками, намеревается ехать в Америку. И тогда

родители, чтобы удержать сына на родине, решаются на жертву. Несмотря на большие материальные трудности в семье, они позволяют ему продолжать учебу. Муберг поступает в крунубергскую народную школу.

В эти годы Муберг начинает пробовать свои силы в журналистике. Он сотрудничает в одной из провинциальных газет, пишет очерки, статьи, публикуя свои произведения под псевдонимом Вилле из Мумолы. К этому же времени относятся и его первые литературные опыты в области драматургии и прозы. Первым его серьезным выступлением в литературе был роман «Семейство Раска» (1927), где писатель показал себя уже вполне зрелым мастером. В этой книге обнаружилось тяготение писателя к жанру романа-хроники, к неторопливому, эпическому повествованию, к тщательному выписыванию деталей быта и окружающей обстановки. Приверженность к многотомным, монументальным произведениям, охватывающим значительные периоды в жизни героев, Муберг сохранил и в дальнейшем. Роман «Семейство Раска» автобиографичен, — в основу его легли семейные предания, рассказы об отце и деде Муберга. Книга сразу обратила на себя внимание читателей. «Это суровая, неприкрашенная правда о шведской деревне, о крестьянской среде, рассказанная человеком, который сам вышел из этой среды», — писал один из современных критиков.

Тема пагубной власти собственности, несовместимой с внутренней свободой человека, ярко и своеобразно воплощена Мубергом в дилогии об ульваскугском крестьянине Адольфе, состоящей из романов «Далеко от проезжей дороги» (1929) и «Сжатые кулаки» (1930), а также в романе «Мужняя жена» (1933) — одном из лучших произведений раннего периода творчества писателя.

Профессия журналиста помогла Мубергу, столь хорошо знавшему жизнь деревни, изучить также и подноготную капиталистического города. Именно в городе происходит действие сатирического романа Муберга «А. П. Россель, директор банка» (1932). Портрет главного героя этого романа, одного из «столпов общества», не брезгующего никакими средствами для личного обогащения, нарисован с подлинным блеском и мастерством.

Непривлекательная изнанка буржуазной цивилизации заставила Муберга новыми глазами взглянуть на покинутую им деревню. В нем снова просыпается тяга к земле, к природе, к простоте и безыскусственности деревенской жизни. Под влиянием этих настроений возникла автобиографическая трилогия о Кнуте Туринге: «Неуд по поведению» (1935), «Бессонница» (1937), «Дай нам землю» (1939). Последний роман этой трилогии вышел в преддверии второй мировой войны. Фашизм угрожал катастрофой всему человечеству, и перед лицом этой опасности проблемы, занимавшие Муберга и

героя его трилогии, отступали на задний план. Писателю стало ясно, что главное сейчас — противодействие надвигающейся фашистской угрозе. Выражая мысли автора, Кнут Туринг говорит: «Я должен вступить в борьбу со злом. Иного пути для меня нет».

И Муберг вступил в борьбу со злом. С большим мужеством выполняет он в годы войны свой долг писателя и гражданина. Он — один из немногих писателей, которые открыто высказываются против соглашательской политики шведского правительства по отношению к Германии. Он пишет антифашистские статьи, читает доклады, отстаивая национальную независимость, протестуя против запретов и ограничений, которыми фашисты пытаются свести на нет самостоятельность нейтральной Швеции. Он резко выступает против готовности шведского правительства пропустить войска вермахта через шведскую территорию в оккупированную Норвегию.

Но самым действенным вкладом Муберга в антифашистскую борьбу явился созданный им в 1941 году роман «Ночной гонец». Вторым крупным произведением военных лет был роман «Солдат ломает ружье» (1944), в котором дана широкая картина политической жизни Швеции с 1907 по 1920 год.

Вершиной послевоенного, а может быть, даже и всего творчества Муберга является серия эпических произведений о жизни шведских переселенцев в Америке: тетралогия «Эмигранты» (1949), «Иммигранты» (1952), «Новоселы» (1956), «Последнее письмо в Швецию» (1959), а также роман «Твой срок на земле» (1963).

Как и большинство произведений Муберга, тетралогия имеет прочную документальную основу и является результатом тщательного изучения огромного количества самых разнообразных материалов: церковных и судебных книг, дневников переселенцев, документов шведских и американских исторических музеев. Подробно описывает автор первые шаги шведских крестьян на американской земле. Он повествует об их бесконечных мытарствах, тяжелом труде, об утратах, поражениях и первых успехах. Через всю серию романов об эмигрантах проходит мысль о том, что человек, покинувший родину, не может быть счастлив, что даже людей, достигших известного материального благополучия, отрыв от родной земли приводит к полному духовному краху.

Значительное место в творчестве Муберга занимают драматические произведения. Муберг известен прежде всего как романист, но его по праву считают также одним из ведущих шведских драматургов. Большинство своих драматических произведений Муберг создал в 30-е и 40-е годы. Многие его пьесы связаны с традициями шведской народной комедии, их так и называют — народные пьесы. Наиболее значительные из них — «Жена» (1929), «Вечер после ярмарки» (1929), «Вдовец Ярл» (1940). Муберг пишет также пьесы

о молодежи, о проблемах современного брака. Этим темам посвящены психологические драмы в духе Ибсена, обличающие буржуазный институт брака, «Насилие» (1933) и «Наш нерожденный сын» (1945). К числу созданных им в поздний период творчества остро-полемических социальных драм относятся пьесы «Судья» (1957) и «Сказочный принц» (1962), последняя из которых включена в настоящий сборник. Пьесы Муберга, отличающиеся злободневностью и остротой, с большим успехом и поныне идут на сценах ведущих театров скандинавских стран, часто транслируются по радио, демонстрируются по телевидению. Муберг нередко создавал пьесы на основе своих уже вышедших в свет романов («А. П. Россель, директор банка», «Мужняя жена», «Ночной гонец», «Твой срок на земле» и другие). Но это не просто инсценировки, а самостоятельные произведения, вошедшие в золотой фонд современной шведской драматургии.

В последние годы своей жизни Муберг выпустил два крупных произведения: роман «Край смутьянов» (1967) и книгу «Рассказы о моей жизни» (1968).

«Край смутьянов» завершает серию исторических романов Муберга. Это повествование о крестьянских волнениях в Смоланде 1520-х годов против короля Густава Вазы.

В книге «Рассказы о моей жизни» семидесятилетний писатель обращается к истокам своего бытия, рассказывает о своем становлении человека и художника.

Жизнь писателя оборвалась в 1973 году. Обстоятельства его смерти так и остались невыясненными. Его нашли мертвым на берегу залива, в стокгольмских шхерах, хмурым осенним днем. Он умер так, как умирали многие его герои-бунтари, — вдали от людей, в полном одиночестве, среди близкой его сердцу северной природы.

* * *

Роман «Мужняя жена», по собственному признанию автора, относится к числу самых любимых его произведений. В предисловии к изданию 1955 года Муберг пишет, что книга была создана всего за пять недель. Он писал ее летом, живя отшельником в шхерах к северу от Стокгольма, целиком погруженный в мир своего романа. Именно обстоятельствами, в которых создавался роман, объясняет Муберг целостность этой книги, написанной как бы на одном дыхании. «Роман словно высечен из цельной глыбы несколькими ударами резца», — говорит писатель. Один из шведских критиков назвал книгу «прекрасно рассказанной длинной новеллой с четкой и гармоничной композицией».

Источником вдохновения для создания романа «Мужняя жена» Мубергу снова послужили Вэренд и вирды. Подзаголовок романа

гласит: «Рассказ о Вэренде 1790 годов». «Мужняя жена» — поэтический рассказ о любви, возвышающей человека, преодолевающей власть вещей и чувство собственности, побеждающей страх и неуверенность.

С редкостным мастерством рисует писатель зарождение и развитие глубокого, неодолимого чувства, возникшего между замужней крестьянкой Мэрит и бедняком Хоканом Ингельссоном.

Но «Мужняя жена» — это не просто любовная драма. Это и рассказ о столь же глубоком и неодолимом стремлении человека к свободе, и утверждение неотъемлемого права на нее. Любовная коллизия в романе органично переплетается с социальной проблематикой, которая в первую очередь связана с образом главного героя Хокана Ингельссона.

Многие черты роднят Хокана с героями других произведений Муберга: смелость и упорство, ненависть ко лжи и лицемерию. Он — потомок старого крестьянского рода вирдов. Для Хокана олицетворением свободы служит его далекий предок Ингель Силач, который «ни перед кем шею не гнул», «бунтовал против пастора и ленсмана, против духовной и мирской власти». По его заветам стремится жить и Хокан. Ему не по душе быть рабом, яремным волом, который «кнута боится». Он хочет воли, пока жив. Несправедливость, ощущение социального неравенства вызывают в его душе резкий протест. Хокан подвергает сомнению авторитет и духовной, и мирской власти. «Все хозяева на свете — потомки того вора, который когда-то первый украл землю», — говорит он.

Героиня романа Мэрит — один из самых привлекательных женских образов в творчестве Муберга. Это натура незаурядная, характер сильный, сумевший сбросить с себя груз веками освященных религиозных и моральных представлений, клеймивших любовь как «блуд» и «смертный грех». Образ этот не статичен, он дан писателем в развитии. На первых страницах романа перед нами юная, наивная и робкая молодая женщина, впитавшая в себя традиции патриархальной крестьянской семьи и пугающаяся своих смутных, неясных ей самой порывов. Встреча и сближение с Хоканом преображают ее. Под влиянием глубокого чувства ее стихийный бунт против безрадостной, тусклой жизни с нелюбимым мужем становится все более осознанным. Становление характера Мэрит раскрывается и в изменении ее отношения к окружающему деревню глухому бескрайнему лесу. В начале повествования лес пугает Мэрит, для нее он — источник всякого зла, «укрытие для дикого зверя и воровского люда». В конце романа тот же лес, куда она уходит с Хоканом, становится для нее единственным местом, где она может жить в ладу со своей совестью.

Большую смысловую нагрузку несет в романе образ старика Германа. Писатель изображает его своего рода поборником свободы. Не случайно Хокан и Герман — люди одной крови, потомки Ингеля Силача. У Германа хватило мужества не повеситься на «кривой березе», а уйти в богадельню, стать «мирским захребетником». Только лишившись всего своего добра, он обретает подлинную свободу. По мнению старого Германа, богаче всех на свете тот, кто «нищ, наг, но свободен, как птица», потому что ему принадлежат и цветущая земля, и небо над головой, и весь мир вокруг.

Словами старика Германа автор выражает основную мысль романа: «Люди любят свой клочок земли, а не землю. Кабы они могли стать свободными от своего лоскутка земли, они воспели бы всю землю... А сейчас они связаны по рукам и ногам вещами, что окружают их, позволяют дому, полю и скотине владеть ими. Когда же они станут свободными? Когда люди станут владеть землею со всем богатством и красотой?»

Рельефными, жизненно правдивыми предстают перед нами и второстепенные персонажи романа: тугодум Повель — рачительный хозяин, человек незлой, готовый помочь ближнему, но самодовольный и хвастливый; выжига-кулак Франс Готфрид, проживший в страхе всю жизнь и умерший от страха; злобная ханжа старостиха Карна.

Роман отличается правдивостью изображения деревенского быта. К числу наиболее сильных эпизодов относятся сцены труда: сенокос, жатва, сбор пушицы. Муберг изображает крестьянский труд опоэтизированно, но без идеализации, с классовых позиций. Повель, хозяин, считает во время жатвы, сколько ометов он поставит в нынешнем году и сколько достанется ему от отца. «До чего же быстро солнце садится, аж досада берет, — думает он. — Когда хлеба вызрели, день надо бы сделать для крестьянина подолей». Хозяин считает ометы, а служанка — часы до того, как на поле выпадет роса. «Солнце с места не двинется, видно, никогда не сядет... Неужто оно не может сжалиться над тем, кто гнет спину от зари до зари?» — спрашивает она себя.

В романе «Мужняя жена» отчетливо наметились социальные тенденции, которые нашли более полное воплощение в последующих произведениях писателя и, в частности, в романе «Ночной гонец».

Роман «Ночной гонец» (более точный перевод заглавия — «Скачи нынче же в ночь!»), как уже сказано, вышел в свет в грозные дни фашистского нашествия.

1941 год. Захвачена почти вся Европа, оккупированы Норвегия, Дания. Угроза фашистской оккупации нависла и над Швецией. Все настойчивее звучат голоса малодушных шведских политиков, готовых пойти на соглашение с захватчиком, призывающих уже не только

к соблюдению нейтралитета, но и к уступкам Германии. И вот появляется книга, звучащая как призыв к сопротивлению, как гневная отповедь соглашателям

Роман Муберга имел в Швеции небывалый успех. Ни один самый модный бестселлер не распродавался с такой молниеносной быстротой, как «Ночной гонец». Он стал поистине книгой для народного чтения. «Песнь свободы шведского народа», «гордая, мужественная книга» — так характеризовали критики роман Муберга. «„Штафет идет! Скачи, скачи! Нынче же в ночь!“» — На это может быть только один ответ: „Штафет принят!“». Эти слова, принадлежащие одному из рецензентов книги, выражали готовность шведского народа принять эстафету борьбы от далеких предков, которые много веков назад встали на защиту свободы, предпочитая смерть угнетению и неволе.

Силу романа почувствовали и враги. В гитлеровской Германии на книгу Муберга был наложен запрет. Издатель, осмелившийся опубликовать роман в немецком переводе, был брошен в концентрационный лагерь. Вместе с «Ночным гонцом» в Германии и во всех странах, захваченных фашистами, были запрещены и другие произведения Муберга. «Я был официально объявлен врагом Третьего рейха, — с гордостью писал Муберг в предисловии к одному из последних изданий романа. — Я не променял бы это ни на какие награды и почести».

«Ночной гонец» — исторический роман, повествующий о событиях, казалось бы, весьма далеких от современности. Время действия — 1650 год. Муберг воссоздает период борьбы шведского крестьянства против угрозы крепостничества. Однако в романе отчетливо прослеживается аналогия с обстановкой, сложившейся в Европе в годы второй мировой войны. Муберг показывает и борцов за свободу, и угнетателей, несущих народу рабство, и трусов, стремящихся остаться в стороне, но невольно вовлекаемых в водоворот событий, и предателей, и палачей.

Автор переносит нас в эпоху правления королевы Христины, отмеченную ростом влияния дворянского сословия и резким ухудшением положения крестьян. Стремясь заручиться поддержкой аристократии, Христина рьяно защищала интересы дворянства. Она щедрой рукой раздавала дворянам коронные земли, передавала им права на сбор податей с крестьянских земель. Крестьяне, которые должны были теперь платить подати не короне, а дворянину, попадали, таким образом, в полную зависимость от него. Натурализовавшиеся в Швеции дворяне из иностранцев, особенно из немцев, стремились импортировать крепостное право и окончательно закабалить крестьян. Они требовали увеличения податей, пытались лишить крестьян их прав на землю, присвоить общинные угодья, согнать

крестьян с наиболее плодородных земель. Ответом на усиление притеснений со стороны помещиков явился рост народных волнений.

В романе Муберга описывается собрание риксдага — сословный собор 1650 года, на котором представители обремененного долгами крестьянства, бюргерства и низшего духовенства требовали от королевы возвращения награбленных дворянами земель. Муберг показывает, насколько нереальными были надежды крестьян на заступничество королевы. Для нее хорош тот крестьянин, у которого «семь узлов на вожже да семь дыр на шапке». Ее нимало не тронул гостинец крестьянских выборных — мякинный хлеб, замешенный на соломе, почках и пырее. Жестокая и вероломная, она стремится лишь к тому, чтобы использовать распри между сословиями в своих интересах. Описывая пышную коронацию Христины, автор отнюдь не упивается блеском величия страны в эпоху так называемого шведского великодержавия. Он смотрит на это событие глазами угнетенного, но не покорившегося народа: «Коронационный поезд протянулся от Якобсдаля до самого королевского дворца. Однако, следуй за ним простой люд — оборванные, голодные, обездоленные люди королевства шведского, — поезд сей был бы намного длиннее».

Бурные события этой эпохи показаны Мубергом на материале истории небольшой крестьянской общины в Вэренде. В борьбе жителей деревни Брендеболь с помещиком Клевеном, который пытается превратить их в своих крепостных, раскрываются характеры героев книги. Отношение к происходящим событиям — вот главное, что интересует автора в каждом из героев.

Муберг не занимается тщательной разработкой психологии персонажей, он создает образы-символы. Так, главный герой романа, Рагнар Сведье, бунтарь, вступивший в единоборство с помещиком, — символ борьбы, непокорства, свободолюбия. Он не признает никаких компромиссов. Отказавшись идти на барщину к Клевену и уйдя, по древнему обычаю вирдов, в лес, он требует от других такого же мужества и благородства, какими преисполнен сам. В образе Сведье воплощен вольнолюбивый дух вирдов. «Вирд, — писал шведский историк Гуннар Хюльтен-Кавалиус, — живет непокоренный и свободный, а если и терпит поражение, то борется до последнего часа и умирает так же бесстрашно, как жил».

Нельзя не отметить, что образ свободолюбивого, непокорного вирда — излюбленного героя Муберга — претерпевает в этом произведении значительные изменения. Если в романе «Мужняя жена» Ингель Силач, предок Хокана, предпочитает утонуть в трясине, не пожелав прибегнуть к помощи людей, если Хокан, борец-одиночка, бросает вызов обществу, где «вершатся неправедные законы», и в том числе своим односельчанам, то Рагнар Сведье борется не только за свою личную свободу, но и за всю общину Брендеболя.

Его гибель окончательно сплачивает брендебольских крестьян, поднимает на борьбу с угнетателями.

Возлюбленная Сведье Ботилла — символ юности и чистоты. Трагическая история Ботиллы и Сведье не только пронизана грустью, но и согрета лиризмом. Любовь Ботиллы и Сведье — светлое, жизнеутверждающее начало в романе.

Один из ярких образов книги — старая Сигга, мать, посылающая сына на борьбу, женщина сильная, суровая, неустрашимая. Она гордится сыном и подавляет тревогу и боль за него, ибо понимает, что Сведье борется за правое дело. Сдержанный гнев слышится в ее отповеди пастору, когда она говорит, что не должно скорбеть о тех, кто страдает за правду. Образ матушки Сигги навеян писателю воспоминаниями о его бабке Юханне Юхансдоттер, женщине с сильной волей и непреклонным характером.

Рагнару Сведье и тем, кто идет вместе с ним, противопоставлены деревенский староста Йон Стонге и крестьянин Матс Эллинг, «барские прихвостни», как именует их Муберг. Автор уделяет много страниц подробному описанию колебаний, сомнений, страхов Йона Стонге, и это не случайно. Муберг стремится показать, что трусость неизбежно ведет к измене, что отказ от борьбы равносилен предательству. Чтобы понять особую злободневность и остроту образа Йона Стонге, достаточно вспомнить, что в то самое время, когда шведский писатель создавал свой роман, в соседней и родственной Норвегии с гитлеровскими оккупантами активно сотрудничал Видкун Квислинг, чье имя навеки стало позорным символом измены своему народу.

Хотя закабаливший крестьян Брендеболя помещик Клевен, имя которого у всех на устах, так ни разу и не появляется на страницах книги, он воплощает страшную и неумолимую силу, вызывающую взрыв лютой ненависти у крестьян. «Клевен! Это имя редко произносят без проклятий, — для них это самое ненавистное имя на земле. Клевен! Это имя всегда произносят голосом, дрожащим от гнева. Клевен!» Не случайно писатель сделал помещика выходцем из Германии. Ему было важно, чтобы историческая аналогия проступала здесь как можно яснее.

Сложна и противоречива фигура Ханса из Ленховды. Безухий палач Ханс — вестник смерти, человек, заплативший своею честью за право жить. Он рубит головы своим собратьям и делает это со злобной радостью, стремясь отомстить людям за свое бесчестье. Но это образ и трагический, ибо и сам палач Ханс — тоже жертва несправедливости.

Отражена в романе и позиция духовенства. Пасторы Петрус Магни из Альгутсбуды и Арвидус Тидерус из Веккельсонга — лица исторические. Шведский историк Аксель Стриндберг неоднократно

ссылается на письма и записи пастора Тидеруса, принимавшего участие в сословном соборе 1650 года. Письма, которыми обмениваются Магни и Тидерус, являются как бы соединяющим звеном между событиями, происходящими в Вэренде и в столице королевства. Муберг рисует пасторов людьми добрыми, несколько наивными, сочувствующими крестьянам, но их прекраснодушие вызывает у автора откровенно ироническую усмешку.

Своеобразным протестом против нищеты и произвола властей является жизнь Угге из Блесмолы. Он ушел от людей в лес и промышляет воровством. Подобно легендарному Робину Гуду, Угге крадет только у богатых, раздает украденное бедным, спасая многих от голодной смерти, и расплачивается за это собственной жизнью.

В книге Муберга нет рассказа о крестьянском восстании. Но вся она исполнена предчувствия, ожидания могучего взрыва народной войны: день и ночь скачет по уездам Вэренда гонец, передавая от деревни к деревне штафет — весть о готовящемся восстании, которое должно смести и уничтожить угнетателей.

Буржуазные историки неоднократно делали попытку обвинить Муберга в искажении исторической правды. Они утверждали, что в романе «Ночной гонец» писатель якобы сгустил краски, изображая пытки, гонения и притеснения, голод и нищету народа, произвол помещиков. Отвечая им, Муберг писал в предисловии к своему роману в издании 1958 года, что описанная им эпоха была «золотым веком для власть имущих», а «для широких народных масс это было время нищеты и страданий». «Об этом, — говорит писатель, — красноречиво свидетельствуют крестьянские восстания середины семнадцатого века, когда власть помещиков и военной аристократии достигла своего апогея». Официальные историки, «восхищенные могуществом Швеции этого периода, — пишет он далее, — не прочь забыть об измученном и ограбленном народе, истинном творце этого могущества», и лишь в трудах немногих, но наиболее честных из них «с документальной неопровержимостью отражена ужасающая действительность, скрывавшаяся за пышным фасадом».

Буржуазные критики закрывали глаза на то, что роман «Ночной гонец» построен на конкретном историческом материале и имеет строго документальную основу как в описании исторических событий, так и в деталях географического и этнографического характера. Работая над ним, писатель обращался к судебным книгам Вэренда, к капитальному труду Хюльтен-Кавалиуса «Вэренд и вирды» и ко многим другим источникам. В книге П. Г. Вейде «Усадьбы лена Крунуберг» Муберг нашел эпизод, послуживший ему материалом для создания образа Сведье. Автор этой книги рассказывает о судьбе одного крестьянина, который, не добившись справедливого решения суда, сам вынужден был отстаивать свои права.

Большинство персонажей романа являются реально существовавшими лицами. Столь же реальным является и место действия. Это приход Альгутсбуда, родина самого Муберга. Брендеболь — название вымышленное, но деревни Хумлебек и Гриммайерде существовали в действительности. Под именем Убеторп подразумевается имение Убемола, владельцем которого был Улоф Строле. Неподалеку отсюда шестнадцатилетний Муберг, работая лесорубом, увидел холм, где, по преданию, рос Дуб Висельников, столь ярко описанный им впоследствии в романе.

Биограф Муберга Сигвар Мортенссон назвал его писателем-исследователем. И это справедливо. Муберг обнаруживает глубокое знание не только истории родного края. Романист выступает как подлинный знаток народного быта, обычаев, нравов. Ему знакомы старинные поверья, легенды, предания и верования жителей Вэренда. Органически вплетенные в ткань повествования, они сообщают роману колорит эпохи, воссоздают атмосферу старой шведской деревни. Обычай делать все посолонь, то есть сообразовывать свои действия с ходом солнца, известный также в старой русской деревне, дает писателю возможность изобразить дневное светило как символ правды, добра, справедливости. Правда и справедливость незыблемы, как ход солнца по небу, и, подобно тому как нельзя повернуть солнце вспять, нельзя навечно заменить правду кривдой, утвердить в мире зло и насилие.

Но, пожалуй, еще бóльшую смысловую нагрузку несут в книге старинные обычаи передавать важную весть с помощью эстафеты и разносить по деревням священный огонь. На первом из этих обычаев строится главная сюжетная линия романа. Он нашел отражение и в заглавии произведения.

Смелый замысел создания на историческом материале злободневного антифашистского произведения потребовал от Муберга ломки жанровых законов исторического романа в традиционном смысле слова. Муберг создал многоплановое произведение, в котором свободно использовал особенности разных жанров и стилей. Временами роман звучит как стихи в прозе. Главы, в которых описываются тайные сходки крестьян в лесу, схватка Сведье с господскими рейтарами и фохтом, пронизаны суровым пафосом, а история любви Рагнара Сведье и Ботиллы рассказана с подлинной поэтичностью, навеянной народными поверьями, песнями и легендами. Реалистические описания переплетаются с романтической символикой. «Тьма,— пишет, например, Муберг, — эта огромная жадная пасть, пожирала людей, как маленькие дрожащие огоньки... Она заглатывала людей и всю землю своей громадной волчьей пастью, и маленькие, жалкие огоньки догорали и гасли. Тьма, милостивица злых сил и недобрых людей, воротилась на землю... Но тьма укрывала также и тех, кто

сам хотел творить суд и расправу, кто сам вершил правосудие ночью, раз днем его нельзя было добиться». Если тьма, эта страшная, всепожирающая, но порою и благотворная сила, используется автором для аллегорического воспроизведения атмосферы закабаленной деревни, то символом свободы является у него священный огонь. Раскрывая затаенные думы крестьян, погруженных во тьму рабства, писатель восклицает: «Где светит теперь пламя священного огня... Или погас священный огонь на веки вечные? Или последние искры его задушены и землей засыпаны?.. Где горят они сейчас, священные огни?»

Стремясь придать повествованию приподнятое, романтическое звучание, писатель широко применяет лирические отступления, риторические вопросы. Он часто прибегает к инверсиям и повторам: «От усадьбы к усадьбе, от прихода к приходу, от уезда к уезду передается в эти дни призыв к свободе. Его нельзя задержать, его нельзя остановить, он должен быть в пути день и ночь». Некоторые строки, повторяясь, проходят через весь роман, подобно музыкальной теме. Так, любовный «дуэт» Ботиллы и Сведье неизменно сопровождает строка из народной песни: «Обрученные! Неразлучные! На веки вечные!» Столь же неизменно возникает фраза: «Стучат деревянные башмаки, идут подневольные мужики!» — всякий раз, когда на страницах романа появляется кучка брендебольских крестьян, угрюмо бредущих на барщину.

Муберг широко использует шведский фольклор, язык народных песен. В лексическую ткань книги вкраплены народные речения, диалектизмы и архаизмы, и сделано это с большим умением и тактом, а главное — с соблюдением чувства меры. Мастерское использование различных языковых средств, связанных с жанровой многоплановостью романа, помогло писателю создать своеобразный, неповторимый стиль, в котором органически сочетаются величавость и простота, суровая сдержанность и романтический пафос.

Судьба героев романа трагична: гибнет Сведье, гибнет Ботилла, гибнет Угге, по-прежнему изо дня в день бредут на барщину крестьяне Брендеболя. Но книга не оставляет гнетущего впечатления. Финал ее звучит оптимистически, жизнеутверждающе: «Так спешит гонец сквозь дни и ночи, сквозь годы и столетия, и бежит от века к веку весть высокая, спешная, наипервейшая. Штафет идет! Скачи! Скачи! Нынче же в ночь, в ночь!»

Пьеса «Сказочный принц», созданная Мубергом в 1962 году, — остросатирическая комедия. Автор указывает, что действие ее происходит «в древнем королевстве Идиллии», «в сказочную эпоху», однако сам же заботится о том, чтобы этот призрачный камуфляж никого не ввел в заблуждение, и неоднократно напоминает устами

своих персонажей, что мифическая Идиллия чрезвычайно похожа на Швецию.

В этой пьесе автор сталкивает два в равной степени непривлекательных мира — мир отживающей аристократии с ее монархическим культом и мир прожженных дельцов. Средоточием первого мира является центральная героиня пьесы, хозяйка богатого поместья мадам Сесилия. Муберг создает яркий сатирический образ престарелой жеманницы и ханжи, тешащей себя иллюзиями о своем, пусть незаконном, но все же королевском происхождении. Под личиной напускной чувствительности скрывается деспотичная и жестокая сумасбродка, готовая убрать с дороги всякого, кто откажется потакать ее прихотям. Ее аристократическое презрение к народу проявляется в том, с какой злобой говорит она о «новых веяниях», о появлении профсоюзов, как скорбит о тех временах, когда людей в поместье принуждали к труду «с помощью рукоприкладства». Она старается оградить свой мирок от всех новых веяний, сохранить «добрые старые порядки», чтобы можно было спокойно эксплуатировать своих служащих. «Труд перестал быть благословением для людей, — говорит она. — Он стал проклятием. А кто виноват? Профсоюзы».

Смешны и нелепы все ее начинания. Чтобы сельскохозяйственные рабочие не бежали от нее в город, она, по совету одного из своих приближенных-проходимцев, решила завести в имении зверинец с экзотическими животными.

С убийственным сарказмом высмеивает Муберг царящий в доме мадам Сесилии культ коронованных особ. Журнал «Четверг», упоминаемый мадам Сесилией, — едкая пародия на великосветскую хронику, где всерьез обсуждаются проблемы вроде той, «сколько раз его величество воспользовался носовым платком».

Острое перо Муберга затрагивает различные аспекты шведской действительности — монархов, которым «происхождение заменяет профессию», правительство, «сумевшее вложить в монархию совершенно новое содержание и придать ей чисто коммерческую ценность», прессу, которая «травит людей не хуже мышьяка».

Наибольшей обличительной силы антимонархическая сатира Муберга достигает в образе «сказочного принца», давшего название пьесе, но так ни разу и не появившегося на сцене. Отпрыск королевского дома принц Альберт, применившись к новым обстоятельствам, беззастенчиво пускает в оборот свой титул и использует его в жульнических аферах. Вступая в грязные сделки с сомнительными дельцами, он вместе с ними обирает богатых аристократов.

Принц Альберт не только соучастник грабежа, он играет и роль «наводчика», выискивая жертвы для своих соучастников в кругу

великосветских знакомых. Именно он вводит в дом мадам Сесилии проходимца «капитана» Бернгарда.

Капитан Бернгард — еще одна разновидность весьма распространенного в мировой литературе типа ловкого мошенника, не лишенного ума и обаяния, но одновременно циничного и наглого, не брезгующего ничем ради наживы и начисто отвергающего такие понятия, как честь и совесть.

Разоблачение в конце пьесы принца-мошенника и его сообщника «капитана» Бернгарда по сути дела ничего не меняет в нарисованной автором картине мира лжи, ханжества и стяжательства.

«Рассказы о моей жизни» — в известном смысле итоговое произведение, хотя сам Муберг и не склонен был его так рассматривать. В книге ощутимо стремление писателя оглянуться на пройденный путь, понять истоки своего формирования как личности и как художника. Основное место в книге занимают автобиографические очерки, в которых Муберг рассказывает о своем детстве, отрочестве, юности, о первых шагах в литературе и журналистике, о первых неудачах и первых победах. Отдельная глава посвящена истории создания монументального труда Муберга — тетралогии о шведских эмигрантах. Кроме того, в книгу включены не вошедшие в окончательный текст произведений эпилог к роману «Семейство Раска» и пролог к роману «Ночной гонец», а также очерк о выдающемся шведском поэте Нильсе Ферлине, который был другом Муберга.

Самые яркие и поэтические страницы автобиографической части книги — рассказ о детских и юношеских годах писателя. Сравнивая пробуждающуюся человеческую душу с «ростком, пробивающимся к свету из темной глубины почвы», Муберг стремится запечатлеть моменты пробуждения своей души на заре жизни, когда он постигал окружающий мир. Первые впечатления от природы, людей, первое столкновение с социальным неравенством, первая встреча со смертью, первая любовь, первое разочарование в религии — все это с большим мастерством передано автором.

В очерках «Смерть в молодости» и «Последнее причастие» писатель показывает, как вспыхнувшая в юноше неуемная жажда жизни и земных радостей будит в нем протест против внушаемой ему покорности богу и необходимости соблюдения «божьих заповедей». Убежденность в своем праве на счастье приводит его в конце концов к атеизму, к его «последнему причастию».

Но автобиографические очерки Муберга — это не только поэтический рассказ о далеких годах детства и юности. Это и раздумья о сегодняшнем дне. Анализируя современную действительность на примере страны, в которой он живет, писатель не может скрыть чувства глубокой горечи. Его удручает душевная неприкаянность

человека в мире «материальной культуры», присущей обществу «свободного предпринимательства».

Блага технического прогресса превращаются во зло практикой капиталистического производства. «Техника стала создавать потребности, вместо того чтобы удовлетворять их», — говорит писатель. По его мысли, эти искусственно создаваемые потребности выгодны предпринимателям, охотящимся за прибылью: «В интересах промышленников внушить нам, что мы не можем обойтись без их продукции... Господствующим стало мнение, будто фабриканты лучше нас самих знают, что нам в сущности требуется».

В автобиографических очерках, написанных более десяти лет назад, Муберг поднимает вопросы, которые сегодня все больше волнуют мировую общественность. Он говорит о загрязнении окружающей среды, о вторжении человека в естественные процессы природы, об отравлении атмосферы больших городов, о все увеличивающихся скоростях движения, уносящих тысячи жизней. «Быть может, мы подменили понятие «прогресс» понятием «скорости передвижения»?» — с горечью спрашивает писатель.

Несомненно, что изложенные здесь взгляды Муберга на роль технического прогресса излишне пессимистичны. В них сказывается консерватизм крестьянского мышления писателя, который ему так и не удалось преодолеть на всем протяжении его жизненного и творческого пути. Он сам признавал это: «Среда моего детства оказывается решающей для моих суждений по вопросам социальным и чисто человеческим». В то же время нельзя не отметить, что суждения Муберга связаны с тревогой писателя за будущее человечества, вступившего в атомный век. Это — своего рода и призыв, и предостережение уходящего из жизни писателя, обращение к тем, кто остается на земле.

В очерке «Школа в лесу» отражен критический взгляд Муберга на официальную шведскую историографию. Вспоминая школьные годы, Муберг пишет, что в исторических учебниках «сообщались детям лишь те сведения, которые власти сочли подходящими для них». «Из нас хотели воспитать послушных, добропорядочных подданных, которых ничто не могло поколебать в их доверии к богу, королю и власть имущим», — говорит он.

Писатель иронизирует над стремлением буржуазных историков дать приукрашенное представление о шведских полководцах и королях и об их политике. Изучая историю родного края, он все больше убеждался, что это «история страданий и бедствий человеческих, изобиловавшая лишениями всякого рода». И, создавая свои исторические романы, писатель прежде всего заботился о том, чтобы в них был представлен «трудовой народ, созидающий класс», о котором «забывали» буржуазные историки. Не случайно свое последнее исто-

рическое произведение «Край смутьянов» Муберг назвал «романом о людях, забытых историей».

* * *

Муберг — одно из крупнейших имен в современной шведской литературе. Роман «Ночной гонец», лучшие драматические произведения, цикл романов об эмигрантах прославили писателя далеко за пределами Швеции и других скандинавских стран. Подлинный гуманист, он пронес через все творчество свободолюбивые устремления, любовь к простому человеку, непримиримость ко всякому злу. Непокорство и бескомпромиссность — черты древних вирдов — присущи и ему самому. Не зря называли его в Швеции вечным бунтарем.

В заключительных строках своей автобиографической книги Муберг писал: «Творчество — это форма существования... Помещенные в этой книге фрагменты из моей жизни помогли мне сделать вывод, в справедливости которого я убежден целиком и полностью: писать — значит жить... Наступит в будущем день, когда я больше не смогу писать, и тогда мне останется лишь уповать на то, что дверь, ведущая в небытие, также захлопнется за мной... А пока этот день не пришел, я буду и дальше искать в моей работе смысл того действа на земле, участником которого мне довелось быть».

Н. Белякова и *Ф. Золотаревская*

МУЖНЯЯ ЖЕНА

ЕЕ ЗОВУТ МЭРИТ

еревня Хэгербек лежит высоко на горе, добираться до нее надо по длинному крутому косогору, и старый Герман устало кряхтит, озирая весь путь до вершины горы. Полторы мили отшагал он сегодня, а для стариковских ног это чувствительно. Герман несет узелок на дубовой палке, перекинутой через плечо. Живет он на лидахультском подворье для нищих, но каждый год по весне покидает на время богадельную избу и отправляется в мирские подворники. Случалось, что он возвращался обратно не раньше осени. Впрочем, если бы он и вовсе не вернулся, тужить там о нем некому. Никто не станет учинять розыск и возвращать его обратно. В лидахультском приюте и без него нищих довольно.

Апрель поворотил уже на вторую половину, и Герману невмочь стало сидеть взаперти в богадельной избе. Долгой, как крестный путь, показалась зима старому бобылю. Он сиднем сидел у окошка, томясь по весенним дням, и такая на него иной раз тоска нападала, что хоть в гроб ложись. Его манило прочь отсюда, он хотел побывать в деревнях, повидать людей, которые покуда еще в своем уме. Тут, в богадельне, почти все старцы полоумные. Даже если они и не были такими, то, попав сюда, скоро из ума выживают. А он, Герман, еще рассудка не лишился. Он все понимает, и оттого ему тут горше, чем другим. И с рассветом первого весеннего дня берет он свою палку, узелок с одеждой и отправляется в путь.

Он ходит по крестьянским дворам, живет у мира на постое — неделю у одного хозяина, неделю у другого.

Просить подаяния ему не приходится, он и так получает все, что ему надобно. Мирского подворника люди принимают, не прекословя. Ему поручают какую-нибудь работу полегче, так что даром хлеба он не ест. С ночлегом у него забот не бывает. Летом он спит на сеновале или в хлеву, если в избе нет места.

Благословенно будь, лето красное, с благодатным ласковым теплом! Проклята будь, зима лютая, с жестокой стужей, которая, словно волчьи когти, терзает старую зябкую плоть. Стынет старческая кровь, долги холодные ночи в богадельной избе с погасшим очагом. Да и дни тут немногим лучше, безрадостные, похожие один на другой. Само собой, каждое третье воскресенье является пастор и проповедует нищей пастве о благодати небесной, которой неимущему куда легче удостоиться, чем богатому. Да, бедняку из лидахультского приюта царствие небесное, можно сказать, обеспечено. Жаль только, что нельзя заполучить хоть каких-нибудь благ и на этом свете. Германа мало утешает благодать, которую сулят на небесах. Уж очень он охоч до всего земного. Ему лучше других нищих ведомо, чего они лишены тут, в богадельной избе. Он знает о мирских утехах из первых рук, потому что сам вкусил их полной мерой.

Герман получил в наследство четверть земельного надела и тысячу далеров в банке. Столько добра человеку вовек не прожить — говорили ему. И он, само собою, думал, как другие: такому богатству несметному конца-края не будет. Твердо веря в это, он жил весело и беспечно. Рука у него была щедрая, работой он себя не утруждал и на хмельное был падок. А выпив, начинал колобродить, ввязывался во всякие беспутные затеи. К тому же он брюхатил девок, а поскольку он был человек честный и совестливый, то расплачивался полной горстью всякий раз, когда не слишком сомневался в своем отцовстве. Отвалит, бывало, пять сотен риксдалеров одной девушке, пять сотен другой — никто не откупался так щедро, как он.

Но деньги что вода. И вот наступил день, когда весь его достаток как рекой унесло. Он до того обнищал, что хоть дверь в дому не запирай. Только одно оставалось ему: подворье для нищих в Лидахульте. Позорный конец в глазах крестьянина.

А ведь род Германа был когда-то одним из самых почитаемых в приходе Альгутсбуда. Он, Герман, проис-

ходил из древнего рода вирдов, говаривал ему пастор, который знал церковные книги как свои пять пальцев. Дед Германа был крестьянским старшиной в уезде. И вот теперь Герман привел свой род к бесчестью.

Герман вышел в сад, который больше не принадлежал ему, и отыскал там кривую березу, чтобы удавиться на ней. Он присмотрел дерево, а на нем сук, к которому можно будет приладить веревку. Потом он вернулся в дом и налил себе последнюю чарку вина со дна кувшина. На другой день он приготовил веревку. Он задумал лишить себя жизни, потому что навлек бесчестье на свой род. Спустя несколько дней он опять вышел в сад, чтобы поискать другую березу. Но нет, оказалось, что лучше дерева, чем эта кривая береза, ему не найти. Так тому и быть, на ней он удавится.

Береза та, должно быть, давным-давно пошла на дрова, да и дрова небось превратились в пепел и дым. А он и по сей день жив, хотя с той поры минуло двадцать лет. Отчего же он не порешил себя тогда? Оттого, что раздумал умирать. Но вовсе не потому, что смерти убоялся. Смерть — дело неминучее, природа все равно свое возьмет. Не страшила его и боль, которую пришлось бы испытать, когда удавка затянется на шее. Эта боль длилась бы недолго. Но жить ему хотелось больше, чем умереть. Смерть все равно его не обойдет, стало быть, тут он ничего не потеряет. А вот если убьет себя в пятьдесят лет, то многого лишится. Есть ведь еще на земле люди, с которыми он рад повстречаться и выпить чарку-другую, ежели случай выпадет. И есть еще земля со всеми ее богатствами, даром что сам он сделался нищим. Не станет он лишать себя жизни только из-за того, что не на весь век хватило ему земли и тысячи далеров. Что из того, что земля его к другому перейдет? Не казнить же себя за это! Да и стыда тут никакого нет. Род может возвыситься, может и захиреть, но каждый человек сам блюдет свою честь или несет свой позор.

Обнищавший крестьянин пришел когда-то к кривой березе, чтобы предать смерти свое тело, а вместо этого воскресил к жизни душу.

И теперь Герман живет бобылем в богадельне, потому что ему без меры дорога жизнь. Только такие и остаются в приюте для нищих. Другим тут не выдержать. Но тем, кто сроду не знавал лучшей доли, все-

таки легче. Иные старцы и в своей худой избе горе мыкали. Герман им не ровня. Он сладко ел и пил, проводил ночи с молодыми пригожими девушками, которых он лишал девства. Память о тех красных деньках не дает ему покоя. О, как порою клянет он свои воспоминания, как гонит их прочь! И не всегда удается ему таить про себя горькие свои думы. И тогда другие старцы скопом накидываются на него с бранью и насмешками. Дескать, он пропил, пустил добро по ветру, а теперь живет тут и отнимает у ближних сухую корку. Поделом ему, незачем было богатство из рук выпускать. Нет прощения тому, кто сам себя обобрал. Послушать иных бедняков, так выходит, что они по его вине сюда попали. Но Герман миролюбиво отвечает, что он пропил свое добро высшей благодати ради. Не хотел, чтобы богатство преградило ему путь в царствие небесное. Вот и выходит, что он умнее прочих оказался!

И Герман со смирением приемлет и убогий харч, и жесткое ложе, и все лишения, обычные для приютского житья. Но вот приходят первые весенние дни, и Герман покидает обитель страждущих в Лидахульте.

Косогор, по которому он взбирается, крут, каменист и ухабист. Но покрытые почками бурые ветки берез свисают по обе стороны тропы над его головой, точно триумфальные арки. Нынешний год он рано отправился в путь, и почки не успели распуститься. Сережки на кустах орешника дрожат на ветру, и ручьи плещут, словно доброе, свежее пиво в жбанах, которое не иссякнет во веки веков. На склоне блестит молодая травка, брусничник отливает на солнце темной зеленью, как веточки мирта. На липе стрекочут сороки, трудясь над гнездом, заяц большими прыжками пересекает дорогу — его белый куцый хвостик теряется в зарослях ивняка. Хороша земля. Любо жить на свете. Хоть и немало хлебнул горя Герман на своем веку, а все же никогда не расстанется он с жизнью по доброй воле. Очень уж много приходится покидать на свете тому, кто нищ, наг, но свободен, как птица.

* * *

Высоко лежит деревня Хэгербек, и старый Герман с трудом переводит дух. Но вот он уже на вершине косогора, на том месте, где вековечным стражем стоит

верстовой столб. Отсюда можно видеть всю деревню, раскинувшуюся на косогоре.

Тринадцать домов тесно прибились друг к другу. Крестьяне строились кучно, чтобы всем миром противостоять разбойным людям и прочему лиху, которым грозят окрестные леса. Избы серые, с пожухлой травой на дерновых крышах и деревянными ставнями на окнах. Вокруг расстилаются пашни, надел за наделом, отделенные узкими межами и обложенные сотнями межевых камней. Поля еще голые, черные, борозды от осенней вспашки зияют, точно раны, взрезанные острым плугом. Но летом из этих ран прорастет зерно, и печи наполнятся пахучим хлебом. Межи уже голубеют подснежником и желтеют кукушкиным льном. Вихревой ветер налетает на груду палой листвы, гниющей на полях, загребает ее и, набравшись силы, уносит с собой высоко в небо. Дождь из желтых листьев падает на деревню, на поля, на изгороди, на поемные луга.

Внизу, в долине, бурлит в весеннем разливе ручей Хэгербекен. Вода отливает серебром на солнце, утки покачиваются на ее глади, а щуки выпрыгивают прямо на луг, оставляя круги на поверхности. За выгонами начинается лес. На лесной опушке у водопада Хэгербекен стоит мельница. Старый мельничный домик за многие годы оброс зеленым мхом, но колесо еще вертится и жернова еще стучат и будут стучать, пока жители деревни питают их зерном. Ручей, водопадом сбегающий в лес, теряется в чаще. Шумит лес, шумит вода, и голоса их сливаются.

Лес — точно кудрявый венок из елей вокруг деревни, огромный венок со светлыми лентами лиственных деревьев, вплетенными то тут, то там.

Прожорливая сталь, что распилит эти стволы, еще не вынута из недр земли и не превращена в зубья пил. Она еще долго будет покоиться в глубине рудоносных гор.

* * *

Это — деревня Хэгербек, и тут мирской подворник Герман останется на время. А может, и все лето тут пробудет, дворов-то в деревне тринадцать. Сперва он поживет у Хокана Ингельссона, который доводится ему племянником. Родню забывать не след. Из всех Ин-

гельссонов Хокан теперь один землей владеет, да и то, слышно, дела у него худые. По всему видать, скоро род Ингельссонов последней земли лишится. С краю — усадьба Франса Готфрида. Этот старый скряга охоч до денег, что сатана до пасторских душ. Хлев у него того и гляди рухнет, одно из окошек в избе заткнуто соломой, крыльцо обветшало, а точильный станок во дворе стоит на трех ногах. Но двери избы на крепком запоре средь бела дня. Франс Готфрид — человек нелюдимый и хмурый. И к тому же всегда потчует старого нищего черствым хлебом. У старосты Андреаса, двор которого стоит рядом, тоже особо не разживешься. Хлёбово у него до того жидкое, что и в утробе не держится. Старостиха Карна раздувает во дворе огонь под котлом. Она из тех баб, про которых никак не скажешь, что были они когда-то молодыми, гладкими, пригожими девками. Навряд ли есть на самом деле преисподняя, а надо бы ее сотворить, коли на свете сыщется еще хоть одна баба вроде Карны.

Но кто же сосед старосты по другую сторону двора? В прошлом году тут помер хозяин, к кому же теперь перешла усадьба? Не иначе, к кому-то из пришлых. На стене хлева растянута на просушку овечья шкура; стало быть, в доме есть свежинка. Герман причмокивает губами, вспоминая вкус жареной баранины. Двор чисто прибран, прошлогодняя листва, опавшая с растущего у избы клена, выметена граблями, гряды на огороде вскопаны, перед крыльцом положены молодые еловые ветки.

Какая-то женщина расстилает на траве холст для беления. На голове у нее платок в белую и красную клетку, сама она статная, рослая, с чистым белокожим лицом. Легкими, гибкими движениями склоняется она над холстом. Совсем молоденькая, как поглядишь, а все же не иначе как сама хозяйка дома. Даже если в доме есть работница, хозяйка нипочем не доверит ей этого дела. Ишь с каким гордым видом расстилает она свою холстину.

По всему видать, это женка нового хозяина усадьбы. Ладная молодица. Хоть и недавно вышла замуж, а нет в ней больше девичьей робости.

Вдалеке дом Хокана Ингельссона. Старик видит племянника на пашне. Приметить его немудрено, ростом вымахал с каланчу. Он пашет на волах; волы так мед-

ленно переставляют ноги, что чудится, будто упряжка стоит на месте.

Завидев приближающегося старика, Хокан швыряет вожжи. Надо дать передышку скотине, воловьи бока раздуваются, как кузнечные мехи.

— Гляди-ка, кто в деревню пришел!

Парень приветствует старика так, будто тот вернулся из долгих странствий в неведомые земли. Приход велик, и сродники тут не всякий день встречаются.

Герман садится на шест сохи и вытягивает натруженные ноги.

— Да вишь ты, заявился нищий сродник!

Младший Ингельссон передергивает плечами, точно силясь сбросить с них какую-то тяжесть. Скоро и у него имения останется не больше, чем у нищего, говорит он. Только слава, что эта земля его, а он ведь еще за нее и не расплатился. А за что долг не выплачен, тому ты не хозяин. Ежели по правде рассудить, то земля, которую он пашет, принадлежит господину из города. Купец из Кальмара купил когда-то закладную на эту землю. А Хокан купил надел у него. Подписал какую-то бумагу — вот и вся недолга. Наличными он за нее не платил, где ему было денег взять. А проценты на долг — пятьсот далеров в год. И все годы он только проценты и выплачивал, ни разу не смог сверх того отдать. А долг — какой был, такой и остался. Видно, вовек ему за эту землю не расквитаться.

А нынешней весной он и проценты задолжал. Теперь, того и гляди, отберут у него землю. Урожая он нынче собрал только половину против обычного. Трава в сенокос была короче кошачьего волоса, пастбища посохли, а жать поле была чистая мука. Зимой пришлось всю солому с крыши хлева скотине скормить, коровы так отощали, что в стойлах подняться не могут. Как выйдут весной на пастбище, так их там, поди, ветром валить на землю будет. По утрам их чуть ли не силком поднимать приходится.

Герман кивает, он и сам видит тощих волов в упряжке, ребра на боках так и выпирают.

— Зато ты сам себе хозяин, Хокан.

— Хозяин! Как бы не так! Я батрак, поденщик, раб, а не хозяин.

Хокан стискивает челюсти. Разве хозяин тот, кто от зари до зари спину гнет, чтобы каждый год отдавать по

пятьсот далеров. Ни себе, ни скотине роздыху не даешь — а все для того, чтобы купец Шёрлинг мог получить в срок свои деньги. Тут в пору бросить все да на траве полеживать!

Старик слушает племянника с удивлением. Парень ропщет, клянет судьбу. Чудеса! Не такой человек Хокан, чтобы из-за денег казниться. У него никогда к крестьянской работе душа не лежала, а коса, что земли чурается, много не накосит. Сроду не был он справным хозяином. Ну, да тужить нечего — может, нынче урожай получше будет. Хокан — парень молодой, дюжий, что его жалеть! Герман оглядывает племянника со стариковской завистью. Тело у него крепкое, мускулистое. Рукава овчинного тулупа закатаны, и видна кисть величиной с человечью ногу. Густая, золотистая, как солома, грива волос падает на уши; борода у него курчавая, глаза голубые. Сразу видать, что он из древнего рода вирдов.

Любопытный старик расспрашивает, что нового случилось в деревне.

— Никак у вас новый поселянин объявился?

— Летом переехал.

— А звать как?

— Повель Йертссон.

— Видел я его женку давеча. Что за люди?

— Люди хорошие. Они из Юдера оба, — добавляет Хокан.

— Вон что! И молодка тоже?

Герман понимающе кивает. В его молодые годы женщины из прихода Юдер славились красотой на всю округу. Жена Повеля Йертссона оправдывает эту славу, насколько он успел заприметить своими стариковскими глазами.

— А женку нового хозяина как звать?

Хокан не отвечает, будто не слышит вопроса. Взгляд его блуждает вокруг и пытливо устремляется к кучке деревенских изб. Его глаза примечают там платок в белую и красную клетку. Он виднеется издалека уже давно, все время, пока Хокан ходит за плугом. Всякий раз, поворачивая упряжку в конце борозды, он ловит взглядом этот платок.

Хокан что есть силы вытягивает волов вицей, и на боках у них остаются полосы. Нечего скотине прохлаждаться без дела.

— Идите в избу, там небось найдется, что пожевать,— говорит он дяде.

Старик молча семенит прочь.

И тут Хокан спохватывается. Старик спросил его, как звать жену Повеля Йертссона, а он ему не ответил. С чего бы это? Чудно! Тайны-то в этом никакой нет. Разве он выдал бы кого или предал, если бы сказал, как звать жену нового соседа? Чего тут таить? И его берет досада на самого себя, точно он сделал какую-то глупость. И Хокан кричит вслед старику:

— Слышь-ка, ее зовут Мэрит!

ХОЛСТ НА ТРАВЕ

Ее зовут Мэрит, жену нового соседа. Она расстилает на траве перед домом холст для беления. Наклоняет свое ладное тело, разглаживает тканье округлыми руками, кладет то там, то тут маленькие камешки, чтобы холст не унесло ветром. С видом опытной хозяйки выполняет молодая жена Повеля эту важную работу. Вчера только вынесли ткацкий станок, который занимал всю горницу, а нынче холст уже лежит на траве.

Первый холст, сотканный ее руками. Мэрит поселилась тут в усадьбе прошлым летом. В тот день Повель, ее супруг, вывел ее из дому и показал небольшую делянку близ двора, всю синюю от цветущего льна. Там рос ее первый холст, который она соткет в собственном дому. Мэрит залюбовалась голубым сиянием и окинула делянку ласковым взглядом. «Начну с простынь»,— подумала она.

Лишь накануне ее свадебные простыни были постланы в первый раз. Еще за два дня до того, как она появилась в Хэгербеке, Мэрит жила девушкой в отчем дому. Теперь она стала мужней женой и сменила отчий дом на свой собственный.

Замужество ее с Повелем произошло просто и буднично.

Она всегда была послушна родительской воле, слыла девушкой тихого, серьезного нрава. К пляскам и забавам не лежала у нее душа. К тому же плясать она была не мастерица, и ей не хотелось, чтобы парни скалили зубы у нее за спиной, говоря, что ее в танце волоком приходится тащить. Она была молода, но компании со сверстниками не водила. Когда ей минуло двадцать

лет, к ее родителям явился Повель и спросил, не отдадут ли они за него дочку. Он только что купил усадьбу в Хэгербеке, и ему не хочется переезжать туда одному.

Отец с матерью в свою очередь спросили ее, не против ли она выйти за Повеля. Нет, она была не против. Ничего худого про него никогда не говорили, и он был старше ее ровно настолько, насколько подобает мужу быть старше жены. Правда, Повеля она прочила себе в мужья не больше, чем кого другого. Но так уж повелось, что муж выбирает жену, а не жена мужа. Их, не мешкая, сговорили, и с первого же дня Повель был с нею ласков и добр. А теперь уж и после свадьбы много дней минуло.

Мэрит задумчиво глядит в ясную апрельскую даль. На ее чистый белый лоб набегают морщинки, а в глазах затаилось глубокое удивление, они полны раздумья. Мэрит думает о своем прошлом и настоящем.

Прошлым летом, после свадьбы, когда ее льняное поле стояло в цвету, душу ее еще переполняла надежда. Теперь лен холстом стелется по траве. Летом он был цветущим предвестием, ныне стал осязаемой явью. В тот день, когда она любовалась голубым сиянием льна, жизнь сулила ей неведомые радости. И вот ее холст лежит на траве, а она думает о том, сбылись ли эти посулы.

Смутные мечты и желания томили ее, еще когда она была девушкой. Особенно донимали они ее по ночам, днем стыдливость гнала их прочь. С тех пор как Повель посватался к ней, у нее только и думы было, что о свадьбе. Как все это будет?.. Смутно догадывалась она о том, что однажды ночью с ней приключится чудо. То чудо, которого дожидается каждая девушка.

Последние девичьи сны видела Мэрит перед тем, как проснуться мужней женой.

То, что ей довелось пережить, не оправдало ее надежд. Она стала новобрачной, и между ней и Повелем произошло то, что бывает по ночам между мужем и женой. Но она обманулась в своих ожиданиях. То, что случилось, не было похоже на чудо. Душа ее томилась по чему-то иному. Хотелось освободиться от чего-то, что сковывало и томило ее,— она мечтала унестись куда-то в головокружительном забытьи. Но ей так и не удалось оторваться от земли. Повель взял ее, но не увлек за

собою в захватывающий дух полет. Она лишь чуть воспрянула и вновь поникла.

Желание унестись куда-то ввысь крепло в ней с каждой новой неудачей. Может, она хочет того, чего и на свете нет?

Но сердце подсказывало ей, что это не так, и она не переставала надеяться.

Так было прошлым летом. К осени ее лен пожелтел, голубые цветы усохли и осыпались. Вместо них появились коробочки с семенами. И вот лен повыдергали с корнем, связали в снопы. На гумне лен околотили и разостлали по жнивью мокнуть. Потом его томили в банном пару, мужицкие руки мяли его, бабьи — теребили. Когда Мэрит в первый раз взяла в руки кудель, она была женой Повеля уже четыре месяца.

Долгими вечерами при свете лучины вертела она колесо прялки. Лен превращался в нити, когда поле, на котором он вырос, покрыли высокие снежные сугробы. Долгими вечерами сучила она пряжу, мотала ее на веретено. Когда она поставила в горнице ткацкий станок, она была женой Повеля шесть месяцев. И надежда все еще не покидала ее.

Целыми днями и вечерами сидела она за тканьем. Подножки скрипели под ногой, рука направляла челнок. Медленно выползала ткань. Жадно поглощала она пряжу, становилась крепкой и прочной, ползла под станок и наматывалась вокруг навоя, который что ни день становился все толще. Ей пришлось передвинуть распорку, локоть за локтем выползала ткань, а основа поглощала и поглощала пряжу. Ворот быстро раздавался в ширину и сделался толщиной с бревно.

Работа была ей привычна и шла сама собою, не занимая мыслей. За тканьем она погружалась в воспоминания о минувшей ночи.

В родительском доме она, сколько себя помнила, всегда спала с младшей сестрой. Ни разу до брачной ночи не лежала она рядом с мужчиной. Теперь сестру Ингу Лизу навсегда сменил Повель, теперь каждую ночь с ней был мужчина. Но чуда, которого она когда-то ожидала, не происходило.

Когда они ложились, Повель тянулся к ее телу и брал ее. Но она оставалась равнодушной. Потом она лежала взбудораженная, дрожащая и одинокая. Он крепко засыпал, а она долго не могла сомкнуть глаз.

Сон не приходил. По ней, так лучше бы вовсе ничего не было. Ей почти хотелось, чтобы она опостылела Повелю и он оставил бы ее в покое. Отчего это? Но мужу она не говорила ничего — совестно было. Повель никогда не сказал ей худого слова, он славный, ее супруг. И она не хотела обижать его, высказывая недовольство. К тому же, может, и недовольство ее пустое. Может, она ждет того, чего на свете не бывает. Может, она сама во всем виновата. Нет, она скорее умрет, но и словом не обмолвится об этом мужу, хоть им и не должно ничего таить друг от друга. И она молчала, притворяясь всякий раз, что с охотой уступает ему. Но когда она наконец засыпала, ей снились стыдные сны, воспоминание о которых потом весь день не давало покоя. Она не только совестилась их, она ненавидела их, открещивалась от них. До чего она, должно быть, беспутная, раз видит такие сны. Верно, она не такая, как все люди. Что же это находит на нее, когда она в себе не вольна?

Так боролась Мэрит с плотским желанием, которого чуралась и стыдилась. Ей и в голову не приходило, что Повель пробудил в ней жажду, которую не может утолить. Душа у Мэрит все еще девичья, еще тревожат ее прельстительные сны.

И так жила она ожиданием и надеждой с того самого дня, как увидала свое льняное поле в цвету.

Но теперь пришло время кроить полотно. Она прикидывает, сколько выйдет из него простынь. Она аккуратно сложит их в сундук, стоящий в спальне. Из этого сундука она будет вынимать их одну за другой и застилать ими широкую супружескую кровать, которая стоит рядом с сундуком. Она будет снимать простыни с кровати, стирать их, снова стлать и так сотни раз. Много тысяч ночей будут они с Повелем почивать на этих простынях. Из года в год будет полотно снашиваться от их тел. Крепок холст, но не вечен, и однажды поутру, застилая постель, она заметит в простыне первую прореху и пришьет первую заплату. А там и недалек день, когда простыню сунут в мешок с тряпьем. Это случится много лет спустя, когда они с Повелем состарятся.

Но лишь год назад голубым сиянием цвело под солнцем ее льняное поле.

Дивно было оно, как несбыточное чудо, как сказочная небыль. Но теперь Мэрит перестала ждать и не верит больше в чудеса.

Путь окончен, впереди ее больше ничего не ждет. Девица стала мужней женой, но ничего не изменилось. И весь свой век проживет она так, как живет теперь.

И она расстилает свой холст, как повелось исстари в первый солнечный день весны. В месяц цветень расстилают его, чтобы выбелило его солнце и промыли дожди. И на память ей приходят думы, которые занимали ее, когда она ткала этот холст. Она ткала его в зимнюю пору, долгими одинокими часами, погруженная в раздумья и мечты. И потому он тесно сплетен с чем-то сокровенным в ее душе. Он напоминает о мечтах и яви, которая когда-то была цветущим предвестием. Он точно впитал в себя ее думы за прялкой, мотовилом, кроснами. И не холст стелет она по траве, а несбывшиеся свои мечты, обманутые ожидания, порушенную свою веру.

Мэрит, молодая жена Повеля, выпрямляет свое ладное тело и слегка ослабляет узел платка, слишком туго повязанного на голове. Вот так. Теперь холст может лежать. Но на всякий случай она кладет еще один камешек, оберегая полотно от ветра. Вот так. Теперь все, как надо.

А Я ПРИХОДИЛ ЗА ТВОЕЙ ЖЕНОЙ

Клетчатый платок больше не виден между деревьями, и Хокан, идя за плугом по лоснящимся на солнце бороздам, не поворачивает голову у межи. Ни к чему это теперь. Платок исчез. И ему остается довольствоваться видением, которое память услужливо рисует ему то и дело, хочет он того или нет. Это давнее видение, которое доставляет ему и муку, и радость, которое он и клянет, и благословляет.

Прошлым летом в сенокос он, как всегда, косил траву на своем поемном лугу. В тот день он был не шибко весел, но и особой печали в душе не чувствовал. И вдруг он увидел на другом берегу ручья незнакомую женщину, которая полоскала белье в проточной воде. Это было в самый зной. Женщина стояла в одной рубахе и юбке со стягивающим стан кушаком. Она была без платка, ее густые светло-каштановые волосы рассыпались по плечам, блестя на солнце.

Стоя на плоском камне, женщина окунала в воду белье. Она наклонялась с присущей молодости легкостью, выкручивала белье, и вода с громким всплеском

устремлялась дальше по течению. Ее грудь выпирала из холщовой рубахи, налитая и крепкая. Она наклонялась вперед и протягивала над бегущей водой округлые руки; в руках этих ощущались сила и нежность, они призывно простирались вперед, точно раскрывая объятия.

После каждого взмаха косы он поднимал голову и бросал взгляд на женщину.

Она уронила в воду какую-то тряпицу, которая медленно поплыла по течению. Женщина подобрала юбку, засунула край подола за кушак, открыв ноги до бедер. Она думала, что ее никто не видит, но жест, которым она подобрала юбку, был полон нерешительности и девичьей стыдливости, точно она стояла перед тысячью глаз. И этот жест придал всему ее облику какое-то особое женское достоинство и неприступность. Медленно побрела она по дну ручья за бельем, запутавшимся в зарослях травы. Тот, кто верит в чародейство, наверняка принял бы ее за русалку, если бы увидел сейчас, по колена в воде, с распущенными волосами. Потом она опять встала на камень и опустила подол, с которого капала вода. И опять гибко склонилась она с бельем над водой и снова простерла свои округлые нежные руки над ручьем, точно обнимая кого-то на том берегу.

Новая молодица появилась в деревне. И когда Хокан Ингельссон шел в тот вечер с покоса домой, что-то небывалое творилось с ним. Что-то взбаламутило его душу и жгло ее огнем.

* * *

Сизые струи дыма поднимаются из трубы над избой Хокана. Время полдничать, Хокан распрягает волов и входит в дом.

Элин, работница Хокана, стоит у очага. Она только что разжигала хворост и теперь прикрывает глаза рукой, будто плачет. Но это слезы от дыма, который не успевает выходить через разваливающийся дымоход. Служанка Хокана черноволоса и темноглаза. Туловище у нее широкое, а ноги короткие, и от этого она кажется приземистой, низкорослой.

На чурбане у очага сидит старик Герман с узелком между коленями. Перед ним на подносе сковорода с картофельной дроченой, которую Элин поставила ему. Вдобавок она дала ему оглодыш бараньей ноги, с кото-

рой еще можно соскрести маленько мяса. Мирской побирушка — родня хозяину, к тому же в первый день положено потчевать получше. А вообще-то Элин не шибко рада приходу старика. Хокан не пожалеет для него харча, он не из тех сквалыг, у которых каждый кусок на счету. Но оттого-то и приходится другим за него куски считать. Служанке ясно, что скоро в доме будет хоть шаром покати. К тому дело идет.

Герман жует не спеша, чтобы растянуть удовольствие подольше. В богадельне дрочены не отведаешь, от тамошней еды брюха не нарастишь. Время от времени он косится на Элин, которая хлопочет у очага. Нет, и в этом году Хокан не сделал ей дитенка, насколько можно заметить при свете дня. Хотя оно и лучше было бы, случись такая оказия. Тогда бы им пришлось повенчаться, а Хокану вот как нужно обзавестись расторопной и работящей женкой вроде Элин. На невесту с приданым ему надеяться нечего. И зачем только сам он в свое время не женился на какой-нибудь из своих работниц? Он ведь всегда брал в услужение самых пригожих девок в округе. Мог бы взять в жены Кайсу или Хедвиг. Уж, верно, хуже не было бы, чем теперь. Но так уж повелось на свете, что женится человек в двух случаях: либо до того, как в разум войдет, либо после того, как последнего ума лишится. А Герману надо было вдобавок думать о чести своего рода, больно разумным он был тогда. Ох, уж этот разум, будь он неладен! Он преграждает человеку дорогу к радостям и мешает ему жить вольно.

Дивно старику, что Хокан не трогает своей служанки. Об Ингельссонах ходит молва, что они ни одной бабы мимо не пропускают. И о Хокане то же прежде говорили. Но теперь, видно, блажь на него какая-то нашла. Он нынче сам на себя не похож. Правду сказать, он и всегда слыл бирюком, но парень он простой, без затей, и не в его обычае дурью маяться.

После встречи с Хоканом в поле Герман стал допытываться у служанки, что такое с ним сталось. Элин не любит зря языком трепать насчет хозяина, но старик все же родня... Да, верно. Он в последнее время стал хмурый и злой. И ни к какой работе у него теперь душа не лежит. Скоро, видать, совсем хозяйство забросит. Иной раз кажется, будто он оглох. Ему говоришь то да се, а он хоть бы словечко в ответ. Но началось это не

вчера; в первый раз она приметила это прошлым летом в сенокос.

В сенокос, смекает Герман — стало быть, в ту пору недород еще не мог заботить его. Выходит, тут не в деньгах дело, другое что-то у него на сердце.

Элин — девушка скрытная, не болтливая. Она не высказывает никаких догадок насчет кручины хозяина и не потерпит, чтобы другие гадали на этот счет. Она желает ему добра и не станет про него наушничать.

Завидев входящего в избу Хокана, старик начинает коситься на кувшин на полке над лавкой. Хоть племяш и толковал про недород, а быть того не может, чтобы он малую толику зерна на хмельное не приберег. Герман не охотник до вина, но от полчарочки, чтобы корку сухую размочить, он бы не отказался. Детям и нищим обычно дают каплю-другую к хлебу.

Так и есть, кувшин снимается с полки. Упадет-таки нынче божья роса на старика нищего.

Девушка выходит за припасами к полднику, и Герман говорит:

— Добрая у тебя работница. Как ее не похвалить!

— Скоро, видать, уйдет она от меня. Уж год, как платы не получала.

— Жаль! А ты будь с ней поласковее.

— Лаской за работу не расквитаешься.

— Для бабы это первое дело.

— Ну уж нет, улещать служанку я не стану.

— Коли будешь с ней спать, она и без платы останется.

Хокан обходит молчанием поданный совет. Но старик, который засиделся в своей богадельне, точно мышь в норе, хлебнул лишку, и язык у него распустился. Да Хокан никак лишился этого благодатного дара? Неужто его больше к бабам не тянет?

Хокан и сам выпивает чарку. От этого в груди полегчало, точно цветок у самого сердца расцвел.

Что сказал старик? Не тянет? Скоро год минет с тех пор, как он увидел Мэрит на том камне. Потом она подоткнула подол и побрела по воде. Это видение точно кто выжег в его душе каленым железом. Руки, протянутые как для объятия. Грудь от этого ноет.

Но за два дня до того, как он увидел ее у ручья, она вышла замуж за Поделя.

Уже новая трава выросла на том лугу. И после косо-

вицы он виделся с ней, почитай, каждый день. Может, он и хотел бы обходить ее стороной, да избы в Хэгербеке близко друг от друга стоят. Хотя, говоря по чести, он не бегает от нее, а сам ищет случая повидать. Если днем ее не повстречает, то вечером отправляется в дом Повеля. Мало ли за каким делом можно наведаться к соседу. Занять что-нибудь, назад отнести. Вот давеча он занял у Повеля целый воз сена на корм скотине. Новые соседи — люди услужливые. А Повель — мужик свойский, он сам напрашивается в приятели. В деревне он недавно и хотел бы покороче сойтись с односельчанами. Ему не терпится завести дружбу с кем-нибудь из них, и он доволен, что Хокан не обходит стороной его дом. К тому же и по годам они ровни.

Так что Хокан видит Мэрит и в будни, и в праздники, и в трудах, и в безделье. Он сиживал с нею за одним столом, пил и ел с нею. Они не так уж много говорили друг с другом, а если и доводилось им перекинуться словом, то у Хокана это выходило так сбивчиво, что после самому совестно было. Но он не сводил с нее глаз, и в груди у него жгло огнем. И что за горемычная его доля — вместо того, чтобы бежать от своей муки, он вынужден постоянно искать ее.

А один раз он прикоснулся к телу Мэрит, можно даже сказать, держал ее в объятиях. Сама-то она, должно быть, и не заметила ничего, а у него дух захватило.

Однажды зимой он колол дрова на пригорке у дома, а она проходила мимо и поскользнулась на обледенелой тропке. Он подскочил, подхватил ее под мышки и помог подняться. Она чуть ушибла бедро и тяжело оперлась на его руку. Несколько минут он крепко прижимал руку к ее спине. А она глядела на него, запрокинув голову. Боль в бедре утихла, и она весело рассмеялась. Это длилось всего какой-то миг. Потом она высвободилась, она могла идти дальше. Поддерживать ее больше не было надобности. Но все же хоть раз, а довелось ему ощутить рукой мягкое ее тело.

Она ушла, а он все стоял, глядя на следы, оставшиеся на снегу от железных подковок ее башмаков. Следы эти походили на крошечные лошадиные подковки, точно следы молодой кобылицы. Легка, как шаг молодой кобылки, была поступь Мэрит. Он продолжал колоть неподатливые березовые поленья, но делал это больше для видимости, чтобы скрыть, что он все еще прижимает к

себе Мэрит. Он и впрямь все еще ощущал ее тело в своих руках, хотя сама она давно скрылась из виду.

Отчего он не удержал ее? Отчего не приблизил свои губы к ее губам? Было у него такое помышление. Если бы он согнул свою крепкую руку и стал приближать ее тело к себе, медленно, медленно, до тех пор, пока не перестал бы видеть ее рот и отыскал бы его губами... Что бы она тогда сделала? Быть может, загорелась бы гневом и отвесила бы ему оплеуху? А может, побежала бы домой к мужу с криком: «Хокан Ингельссон — насильник! Вовсе стыд потерял, к замужней женщине пристает!» И, наконец, она могла бы уступить и податливо прижаться к нему, повинуясь его руке. Нет, этого бы она не сделала. Мэрит не из таких. Она женщина строгих правил и сочла бы его выходку легкомысленной блажью. Не могла бы она вот так сразу поступиться своей женской честью.

Он наверняка нажил бы в ней врага, но, может, оно и к лучшему было бы — тогда ему волей-неволей пришлось бы держаться подальше от ее дома.

А старый Герман дивится, что он не делит постель с Элин. Дядя — уже дряхлый, бессильный козел, которому теперь и не обнюхать молодую козочку.

В глазах старика появился масленый блеск. Только то и есть упущение в жизни, что ей приходит конец. А так — жизнь хороша, и человеку надо пользоваться ее утехами, пока можно. А иначе — для чего ж тогда и жить? Много ходит по земле молодых пригожих женок — зря, что ли, они на свет народились? Для того ли породили их в муках матери, кровью и потом взрастили отцы, чтобы любоваться на них, как на картину писаную? Для того ли даны им ладные налитые тела, чтобы оставаться нетронутыми? Для того ли дано им лоно, чтобы они сидели в праздном ожидании и плотском томлении? Нет, мужчины и женщины народились на свет для того, чтобы дарить друг другу радость своим телом. А они бегут друг от друга только потому, что пастор им преисподней грозит. Как много плотских желаний всякий день попусту пропадает! Что тут хорошего? Большим олухом был тот, кто первый стал это проповедовать.

— Легко вам живется, дядя, вы ни в чем не раскаиваетесь.

Пальцы Германа теребят заросшую щетиной щеку: только одного ему жаль — что богатства не хватило на весь его век. У других так веку не хватает на все богатство. Но, пожалуй, везучий все же тот, чей век дольше.

— А уж это кому как живется,— замечает Хокан.

Сам он по утрам встает с постели мрачнее тучи. Надо начинать новый день, а дни ему в тягость, как мучительная и долгая болезнь. Ни к чему у него душа не лежит. Он рад, когда солнце заходит, но скоро, видно, ему будет все едино — есть солнце на небе или нет. Может, тут дело в тайном желании, с которым ему постоянно приходится вести борьбу? Все напасти, которые он прежде терпеливо сносил, теперь двойной тяжестью ложатся на сердце.

Взять хоть бы этот долг за землю. Неужто он родился на свет только для того, чтобы подати да долги платить? Тем, кому его деньги достаются, хорошо. А ему что за радость от такой жизни? Ну, выпутается он каким-то чудом из беды нынешний год. Все равно, та же забота будет сокрушать его и через год, и через много лет. Подати и налоги точно тиски сжимают горло и не дают свободно вздохнуть.

Но зачем позволяет он себя неволить? Зачем обрабатывает землю, которой сам не хозяин? Нет, такая жизнь не по нем, и он не собирается влачить ее до старости, пока его за порог не вышвырнут.

— Слыхали вы про Ингеля Силача? — спрашивает Хокан старика.— Того, что в лес ушел?

Герман кивает с таким усердием, что у него едва не отваливается голова. Хокан ведет речь о давнем их предке, основателе их рода. Предания о нем до сих пор живы в народе. Герман слышал про него от своего деда. Ингель Силач был человек строптивый и горячий и никакой власти над собой не терпел — рассказывал дед. И по вере он был истинный язычник. У него были свои боги — солнце, гроза, злаки. И он отказался платить церковную десятину пастору, который твердил ему об ином боге. Он бунтовал против пастора и ленсмана, против духовной и мирской власти. И в деревне все было не по нем. Не отдали за него девушку, которой он домогался. Ее родители сочли, что он нечестив и нравом буен. Тогда он бросил свою усадьбу, ушел в лес и девушку с собою увел — выкрал ее у родителей. Но пошла она за ним по своей воле, он ее не принуждал.

Ингель Силач вырыл землянку под поваленной сосной и зажил там со своей потаскухой — так говорили в деревнях. Никто не осмеливался тронуть его, и он никого не трогал. Женщина родила ему детей в землянке, но под конец ей наскучило жить в лесу, и она с детьми вернулась в деревню. А Ингель Силач оставался в лесу до самой смерти, потому что хотел жить по-своему, а не по указке других. Его мертвое тело нашли в трясине. Болото, где его засосало, было совсем близко от деревни. Он мог бы позвать на помощь, если бы захотел. Но он утоп, а людей не позвал. Вот до чего строптив был этот лесной житель. И поскольку умер он нехристем, то тело его изрубили на куски в колоде и погребли в бездонной трясине. Это было во времена лесных бродяг, больше ста лет назад. И пастор многоречиво распространялся об Ингеле Силаче и о его страшной погибели в назидание всем грешникам.

Старый Герман слизывает остатки вина и заключает: Ингель Силач ни перед кем шею не гнул, он был из рода вольных бондов. В нынешний холопий век не много сыщется таких, как он. Холопьи души всегда рады изрубить тело вольного бонда в колоде и схоронить его в бездонной трясине.

Хокан согласно кивает. Это верно, сейчас век холопов. Вот сам он кто? Поденщик. Гнет шею, а богач из города наживается на нем. Как подневольный батрак трудится он, и все ради того, чтобы купец из города получал каждый год пятьсот далеров, пастор церковную десятину, а ленсман — подати. А ведь он потомок Ингеля — человека, у которого хватило духу закрыть дверь своего дома и податься в лес.

Герман начинает клевать носом. Хокан берет охапку сена и стелет ему у очага. Капля божьей росы ударила старику в голову средь бела дня.

* * *

Крестьянину недосуг рассиживаться в страду за чаркой вина. Надо засевать пашню,— земля ждать не станет, у нее свои сроки. Но семена у Хокана кончились. Он поднялся на сеновал, дочиста выскреб ларь, а зерна набралось всего с четверик. Хватит ли этого?

Добрые соседи и односельчане всегда приходят на выручку друг другу. А в деревне есть хозяева побогаче

его. Но у старосты Андреаса он уже занял четверик ржи, а Франс Готфрид — скряга, он наверняка откажет, от него помощи не жди. Сходить, что ли, к Элофу Никлассону или Исаку Юханнесу, у них он еще ни разу не занимал... Или к Повелю Йертссону...

Но Повель занял ему так много сена, что просто совестно идти к нему просить семян. Да и зазорно должно быть ему принимать помощь из этого дома. Или он позабыл, зачем ходит к Повелю? А тот, поди, еще и другом своим его считает. Только друг ли он ему на самом деле? Ведь он не питает к Повелю ничего, кроме зависти. Какой же он после этого друг? Но все же придется идти к Повелю с мешком. Повель — человек с достатком, лари у него доверху засыпаны зерном, да и всего вдоволь в этой усадьбе. К тому же Повель всегда охотно выручает его. Вот только бы избавиться от мысли, что он станет его должником...

И Хокан принимается убеждать себя, что занимает семена для другого. Зерно нужно земле. Стало быть, для земли он берет. А земля-то не его, коль он за нее должен. Вот и выходит, что он берет зерно для владельца этой земли. Так преодолевает он свои колебания. Не для себя он просит, ему-то что за дело, сколько семян упадет в чужую землю! Убедив себя в этом, Хокан берет мешок и отправляется к Повелю. Хочешь не хочешь, а идти надо. Ради земли.

Повель, не мешкая, отправляется с ним в амбар и отсыпает в его мешок с полбочки ржи. Долго просить его не пришлось. Нешто он не понимает, говорит Повель. Крестьянину, у которого в страду семян для сева не хватает, грех не пособить.

Повель Йертссон ниже среднего роста. Он немного сутулится при ходьбе, но его кряжистое тело говорит о большой силе. У него короткая шея и светлые бакенбарды. Из-под широкого лба глядят светлые доверчивые глаза: они неподвижны, точно глазные яблоки слишком туго сидят в глазницах. Веки часто мигают, будто силясь освободить глаза из заточения.

Когда они отсыпали зерно в мешок, в амбар зашла Мэрит. Ей понадобилось мясо для жаркого. Она отрезает ломти от окорока, подвешенного на стропилах. Хокан смотрит на ее правую руку, в которой она держит нож. Крепкая, нежная кисть сжимает рукоятку. Маленький, мягкий комочек, который ему до смерти хочется сжать

в своих ладонях. Уверенная, решительная женская рука, в которой не ощущается ни малейшей дрожи.

Мэрит погружает нож в мясо и отрезает огромные ломти. В этом доме снеди вдосталь, а у Хокана всех припасов — бочонок сельдей в погребе. Все есть у Повеля. Но не красным его дням завидует Хокан, он завидует его жарким ночам.

— Благодарствую, Повель,— говорит он.— Отплачу и я тебе добром.

Хокан прикусил язык. Ведь это же ложь! Ну, можно ли так кривить душой! Его охватывает стыд. Лучше было бы ему вовсе смолчать, чем говорить такие слова. Лучше промолчать, чем солгать. Можно быть завистливым, но уж криводушным-то быть ни к чему. Добром ли собирается он отплатить Повелю? Ему незачем спрашивать себя об этом. Он уже целый год знает, чем манит его к себе дом Повеля.

Повель насыпает ему зерна в мешок, а он, стоя рядом, только и думает, как бы обокрасть соседа. Разве не это у него на уме? Жена Повеля стоит тут же, и от ее близости у него перехватывает дыхание. Отчего он не протянет руки, не схватит ее в объятия? Отчего руки его так жадно вцепились в мешок с зерном? Он с удивлением косится на свои руки, которые могут быть так спокойны, когда Мэрит стоит рядом. До чего послушные руки... Он ведь хочет протянуть их и украсть женщину, до которой может дотронуться, не сходя с места. Ничего на свете он так не хочет, как украсть жену у Повеля. Ради этого и приходит он сюда каждый день. Для того и нынче пришел — зерно он мог бы и в другом месте занять.

Но человек прямодушный должен без обиняков сказать, за каким делом пришел в дом. «Отплачу и я тебе добром». Так он и сказал! Он сам себе гнусен. Ему хочется выплюнуть изо рта язык, который мог вымолвить такие слова. Это лживый язык, и он отрекается от него. Прежде язык его всегда говорил только правдивые слова — кто же подменил его?

— Всякому может понадобиться помощь,— говорит Повель, и его неподвижные глаза снизу вверх глядят на Хокана, который выше его на добрых две головы.

Хокан избегает смотреть в эти глаза, он переводит взгляд на Мэрит. У нее глаза серые, с коричневой каемкой. Точь-в-точь серые камешки в траве. Давеча он на-

шел у ручья камешек, похожий на зрачки Мэрит. У него была темная каемка, как у глаз. Хокан положил руку на этот серый камешек и провел по нему ладонью, медленно и бережно, точно гладя глаза Мэрит. Камень, вопреки его ожиданиям, оказался вовсе не шершавым и не холодным. Он был нагрет солнцем и обдал теплом гладившую его руку.

Но глаза Мэрит меняют окраску, они не всегда походят на серые камешки. Они могут становиться зелеными, как молодая трава, могут блестеть, как роса на листьях. Многое находит он на земле, что напоминает ему глаза Мэрит.

Хокан берет мешок и с помощью Повеля спускается с лестницы. Полмешка ржи давят ему плечи. Невелика ноша для такого дюжего мужика, но ему хочется сбросить мешок с плеч и сказать:

— Тут вышла ошибка, Повель! Ты дал мне зерно — а я приходил за твоей женой.

СМЕХ В НОЧИ

Мэрит идет в хлев подоить коров, подкидывает овцам листьё, набирает воду из колодца и ставит ужин на треногу в очаге. Потом она нацеживает в глиняную миску молоко от вечерней дойки и не забывает налить блюдечко кошке, которая выжидательно трется о ее подол. Снаружи стихает шум работы. Повель вернулся с поля, но ужин еще не поспел. Он заглядывает в кадку для воды и в дровяной закуток, смотрит, не надо ли чем помочь жене. Убедившись, что его помощь не требуется, он стаскивает сапоги и ложится на лавку. Он удобно вытягивает ноги и с облегчением вздыхает. Ноздри его ловят запах, идущий от котла; Мэрит поставила варить свежую баранину. Во рту у него набегает слюна, и он сглатывает ее. Он лежит на лавке, наблюдая, как хлопочет жена. У него уже вошло в обычай лежать вечерами на лавке и следить за движениями Мэрит. В этом есть для него какая-то услада. Что-то умиротворяющее исходит от жены, когда она вот так домовничает. Названия этому он не знает. Какое-то блаженное тепло, которое так приятно ощущать с устатку, когда воротишься вечером домой. Мэрит — его жена. Повель вздыхает от полноты чувств. Пусто было бы без Мэрит у него в дому. Ей-богу, он не раскаивается, что привел

с собою сюда жену. Он привык видеть ее около себя. Она словно бы часть этого дома.

От глиняной миски, с которой она возится, распространяется запах парного молока. Этот запах под стать тому целительному теплу, которое исходит от Мэрит. Сладка и тепла она, как парное молоко, только что вытекшее из вымени.

Но в вечерних сумерках щеки жены кажутся ему бледными.

— Захлопоталась ты совсем,— говорит он.

— А, ничего! — отвечает она,— не жалуюсь.

— Скоро тебе полегче станет.

Через день-другой приедет служанка, которую они нанимают на лето. После двадцать четвертого у Мэрит будет подмога.

Повель жалеет ее. Хорошо, когда о тебе пекутся. Но заботы Повеля чуть-чуть докучают ей. Разве она недужная или хворая? Она пышет здоровьем, ей нравится двигаться, давать работу рукам и ногам. Неужто он не видит, что труды ей не в тягость, а в радость, что они ей по плечу?

Ей уже давно приходило в голову, что Повель словно бы и видит, и не видит ее. Он тотчас примечает, бледна она или румяна, утомлена или бодра. А вот весела она или смутна, заботит ли ее что или радует — об этом он не догадывается. Он никогда не замечает перемены в ее настроении, а ведь по ней небось сразу видно, что у нее на душе. Сам он никогда не меняется, нрав у него ровный. Должно быть, ему кажется, что все люди такие, как он.

Повель улегся в постель сразу же после ужина. И снова он глубоко вздохнул от полноты чувств. Какая это благодать — намаявшись за день, улечься в постель с набитым брюхом.

Он окликнул Мэрит:

— Ты небось тоже притомилась.

Да, как же, она скоро ляжет. Вот только сперва покончит с делами по хозяйству.

По правде говоря, с делами она уже управилась. Но в постель ей идти не хочется. По вечерам Повель бывает таким усталым, авось его сморит сон до того, как она ляжет. Хотя она знает наперед, что из этого выйдет. Только немного оттянет время, и все. Повель проснется

на заре, и то, чего не случилось вечером, случится поутру.

Мэрит выходит за порог и вглядывается в апрельские сумерки. Вышла она просто так, поглядеть, как над деревней сгущается вечерний мрак. Темнота страшит ее, но в то же время и чарует, словно некое колдовство. Одни предметы растворяются и пропадают во тьме, другие меняют обличье. Вся деревня кажется иной в вечернем сумраке.

При свете дня деревня лежит на косогоре, приветливая, как надежный и гостеприимный кров. И лес вокруг нее точно заслон от лютых ветров. Но вот опускается ночь, и деревня оказывается в глубине бескрайнего леса. И лес этот больше не защита для крестьянских дворов, а укрытие для дикого зверя и воровского люда. Много зла таит его дремучая чаща. Зимой прибегают оттуда волки, круглый год хоронятся там воры в своих логовах. Люди всего опаснее. Воры, затаившись в лесу, не сводят глаз с деревни, а когда наступает ночь, они под покровом темноты подбираются близко к домам. И потому даже малость ценою в грош с наступлением ночи уносится в дом. Жители деревни никогда не забывают запереть ставни, накинуть щеколды, задвинуть засовы, не раз и не два проверить, надежны ли запоры на дверях. А у порога всегда висят наготове топоры и заряженные ружья.

Давеча Карна, жена старосты, рассказывала Мэрит о кражах в деревне. Они повстречались у колодца, которым пользуются сообща. Карна лишилась своего самого большого медного котла. Было это у ручья. Она отлучилась по нужде, а вор тем временем прибежал и уволок котел в лес. Не иначе, затаился где-нибудь и подсматривал за ней, когда она стирала белье. Эти лиходеи всегда подстерегают удобную минуту. Вот как нынче на пасху, когда украли овцу у Элофа Никлассона. Хлев стоял открытым ночью не больше часа, пока телилась корова, а вор за это время успел туда наведаться. А тот, кто украл поросенка у Хокана Ингельссона, тоже небось все наперед выведал. Хорошо еще, что про односельчан худого не подумаешь, а то, глядишь, стали бы искать вора не в лесу, а поближе. Похоже, этот сброд глаз с деревни не сводит.

Все-то они видят: и как скотину бьют, и как за стол садятся, и как по нужде ходят.

Тут в деревне лихо все время подстерегает, говорила Карна. Иные гадают, уж не вор ли из Медной Топи озорует в округе. Самый ловкий ворюга из всего лесного сброда. Он может рубашку с тела украсть, так что человек и не заметит. Он знается с нечистой силой и умеет насылать корчи на людей, когда ему вздумается. Карна догадывается, что это его стараниями у нее живот схватило, когда она стирала у ручья, и ей пришлось отлучиться от котла в лес. А теперь вот сидит, поди, вор из Медной Топи в своей норе в лесной чаще и варит в ее котле похлебку.

Мэрит слушала старуху, затаив дыхание. Она родом из более приветливой стороны, края лиственных лесов. Деревни там близко стоят друг к другу, и у воров нет таких надежных убежищ. Тамошним жителям все эти страхи неведомы.

И теперь, когда она стоит в дверях, вглядываясь в темноту, ей чудится, будто черный лес ближе подступил к деревне. Все теснее сжимается кольцо деревьев. Коварен лес, он дает приют людям, замышляющим зло.

Мэрит запирает дверь. На цыпочках входит она в спальню. Так и есть, Повель заснул. Она слышит его дыхание, ей знакомы эти звуки. Долгими ночами лежит она, слушая дыхание Повеля. Оно растекается по горнице, как вечный, безмерный покой. Это дыхание, монотонное и несмолкаемое, должно было бы нагнать на нее сон. Отчего же она не засыпает? Она свернулась калачиком на краю большой, занавешенной пологом кровати. Но глаза у нее открыты. Нынче вечером чувство одиночества особенно тяготит ее. Она все еще чужая в этой деревне. В Хэгербеке много женщин, и молодых, и старых, крестьянских жен и дочерей. Она встречается с ними каждый день, но ни одна из них не стала ей наперсницей. Повель не обижает ее, он человек добрый, но когда ей хочется поведать ему свои думы, он не слушает ее, а когда у нее на душе смутно, он этого не замечает. И потому ей иной раз бывает тоскливо.

И дом стал какой-то пустой в последние дни. Хотя, верно: станок вынесен из горницы...

Мэрит рывком садится на постели. Ее холст! Он остался лежать на траве. Совсем из головы вон!

Холст белеет в ночной тьме. Его за версту видно, он так и лезет на глаза ворам, так и манит их. Не видать ей больше холста, если она оставит его там на всю ночь.

Хочешь не хочешь, а придется идти за ним: надо унести его в дом от греха.

Повеля она будить не станет, сама принесет полотно. Бесшумно встает она с постели, накидывает на плечи большую шаль и выходит на крыльцо. Она медлит, не спускается с крыльца, ночной холод удерживает ее. Идти ей страх как неохота, но боязнь лишиться холста пересиливает.

Вон он, холст, белеет у огорода.

Вдруг ее обдает жаром. Там кто-то стоит. Какой-то человек стоит возле ее полотна. Она ясно видит его. Он замер, точно прислушиваясь, все ли тихо в доме. Вор.

Мэрит пятится назад. Она готова закричать. Все, что она слышала про воров, разом приходит ей на ум. Может, это вор из Медной Топи пришел украсть ее холст? Ему ведь все ведомо. Углядел, видно, как она клала белить полотно.

Скорее в дом, надо разбудить Повеля, пускай возьмет ружье... Она не спускает с вора глаз. Вот он наклоняется и ощупывает полотно, точно хочет убедиться, что его стоит украсть. Она отчетливо видит каждое его движение: он шарит руками по холсту... Вот сейчас он начнет свертывать его...

Мэрит крепко стискивает зубы, чтобы не закричать. Не спугнуть бы вора раньше времени. Вот он сел на корточки, хочет, видно, взять свою добычу. Мэрит тихонько отступает и натыкается на дверь, которая со скрипом подается назад. Человек возле холста поспешно вскакивает, он услышал ее, он почуял опасность и сейчас убежит... Надо кликнуть Повеля, не то вор скроется из виду...

Но и на этот раз Мэрит не закричала, потому что от удивления лишилась голоса. Человек не убегает в лес, он идет в ее сторону, подходит к крыльцу.

— Вы тут? А я хотел упредить насчет холста.

Это Хокан Ингельссон. Он подходит еще ближе и добавляет, словно оправдываясь:

— Тут кругом ворья много.

Стало быть, это вовсе не вор. Напротив, это заботливый сосед, который хочет уберечь ее добро от воров. Он пришел предостеречь ее.

— А я в аккурат иду за ним.

Вон как, а он-то думал, что про холст забыли. Хокану стало неловко. Этим ответом Мэрит дала ему понять,

что она сама сумеет позаботиться о своем добре и помощь соседей ей тут ни к чему.

Мэрит неразговорчива, переход от страха к крайнему удивлению ошеломил ее. К тому же и другое ее занимает: то, что она сейчас видела. Что это было? Не ощупывал же Хокан ткань, чтобы убедиться, что ее стоит украсть! Но что же он делал в таком случае? Она начинает скатывать полотно, и он вызывается ей помочь. Ничего, она и сама справится... Но потом она все же принимает его помощь. Хокан берет скатанную ткань и несет к дому. Он несет холст, обхватив его руками. Холст пропитался ночной росой, он сырой и тяжелый. Они идут рядом по траве и оба молчат. Время от времени она чувствует то легкий толчок его бедра, то беглое касание его пальцев на своей голой руке. Все это получается как бы невзначай, и никто из них не произносит ни слова. Они входят в сени, и Мэрит показывает, куда положить холст. Теперь надобно все-таки сказать ей — он шел мимо, увидел полотно, думал, забыли его... в ночную пору лучше поостеречься... ну, доброй ночи!

Хокан выходит, и она запирает за ним дверь. Запирает медленнее, чем обычно.

Когда она снова укладывалась в постель, проснулся Повель. Она, вишь, позабыла унести в дом полотно, что расстелила днем белить. Повель спросонья слегка журит ее. Вот уж никак от нее этого не ждал, можно ли быть такой беспамятливой? Ладно, все обошлось, а ну как украли бы ночью холст? Он осерчал бы не на шутку...

— Гляди же, в другой раз ничего не забывай...

Но Мэрит не слушает мужа. Она вне себя от удивления. Зачем умолчала она о том, что встретила Хокана, который шел упредить ее? Ничего особенного тут нет, если разобраться. А она все же утаила это от мужа. Может, оттого, что она чувствует: Хокану не по душе было бы, если бы она проговорилась. А может, у нее самой язык не повернулся рассказать про это? Может, с ней приключилось такое, что лучше таить про себя?

Мэрит молчит. И чудится ей, что она открыла в себе нечто, доселе ей неведомое. Но доискиваться правды она не хочет, ей страшно. Как будто в душе у нее живет какое-то чуждое ей существо.

— Гляди же, чтоб больше такого не было!

И с этим последним наставлением муж засыпает. Но

Мэрит не до сна. Множество вопросов теснится в ее голове. Выходит, то был не вор. Но она ясно видела, как он касался ее полотна руками. Руки Хокана щупали холст, она это собственными глазами видела. И пока она принимала его за вора, ее это не удивляло. Но теперь удивление ее безмерно. Зачем он это делал? Женщина стала бы щупать холст, чтобы узнать, добротное ли полотно. А мужику-то зачем? Что же он делал там? Что делали его руки?

И вдруг правда открылась ей. Она не доискивалась ее, разгадка пришла сама собой: руки Хокана гладили. Они гладили холст, вот в чем дело. И Мэрит поднимает свои собственные руки, еще влажные от ночной росы. Она подносит их к лицу и вдыхает запах молодой апрельской травы. Вот оно что! Ее глаза, которые она теперь прикрывает руками, воочию видели, как Хокан гладил ее полотно.

И тут она рассмеялась. Беззвучный, счастливый смех, смех от всего сердца, родился в ней и тихо растекся в ночи.

ЗАЧЕМ ТЫ ПРИШЕЛ?

Мэрит проснулась поутру. Она потянулась, и грудь ее выгнулась дугой. Она спустила ноги с кровати и надела исподнюю юбку. Подошла босиком к очагу и стала разжигать огонь. Из щелей в полу дуло, холод пошел по ногам.

Утро было такое же, как сотни других, и все-таки не такое. Она надела корсаж и юбку, уложила на голове тяжелые косы. Руки ее занимались привычным делом так же, как вчера, но все-таки все было не так, как вчера.

Она вышла подоить корову, увидела траву, освещенную солнцем. То же солнце, и ту же траву видела она вчера утром, и все-таки они были не такие, как вчера. Нет, не походило это утро на прежние. Мэрит была в этом твердо убеждена. Все вокруг было обычным, необычное было в ней самой.

Внутри у нее все дрожало. Такая дрожь донимает человека при тяжком испуге, а она ведь и впрямь напугалась вчера вечером. И все-таки не от испуга эта дрожь. Она не причиняла муки ее телу, а, напротив, была только приятна. Где-то в глубинах ее души таи-

лась эта тихая тайная дрожь, наполняя отрадой все ее существо. Она перелилась в журчащий смех. Перед тем как заснуть, Мэрит дала волю этому смеху, она не в силах была сдержать его.

Правда открылась ей: руки Хокана гладили. Тихо и бережно скользили они по расстеленному холсту. Глаза не обманывали ее. И хотя ничего такого больше не случилось, все, что она увидела, было полно для нее особого смысла и значения, потому что она поняла связь между увиденным и собой.

Так обычно гладит мужчина не мертвую бездушную вещь, а женщину из плоти и крови. Всем сердцем почуяла она — это ее он гладил, а не холстину. И от этой ласки дрожмя дрожала теперь ее душа.

Это по ее телу скользили его руки. И нынче утром она словно ощущает их на себе. Руки Хокана скользили по ее плечам, по бокам, по бедрам. Точно теплый струящийся поток окатывал ее волна за волной. И ласка его досталась холсту. Но это ничего не значило! Он ласкал холст, потому что не мог ласкать ее. К ней хотел он прикоснуться, и хотел так сильно, что она ощутила его руки на себе, и душа ее сладко затрепетала. Уже если какая женщина и чувствовала ласку мужчины, так это она.

Хокан выступил из тьмы...

И ей вспомнился дурной сон, который повторялся на разные лады: она впустила в дом чужого человека. Ей и самой невдомек, как она могла решиться на такое. А теперь ей никак не выгнать его. Человек этот страшен, он грозит ей насилием, и она напугана до смерти. Она зовет Повеля на помощь, она понимает, что незваный гость в любую минуту может накинуться на нее и взять ее силой. Но Повель не идет, а она все кричит и укоряет его в том, что он не слышит ее, когда она ждет его помощи. Ей никак не избавиться от незнакомца... Но когда страх подступал к самому сердцу, она обычно просыпалась.

Вот и вчера ее напугал человек, показавшийся ей незнакомым, и она уже хотела кликнуть Повеля, но увидела, что этот не чужой. Тут сон и явь не совпадали.

Всего несколько шагов прошел Хокан рядом с нею. Ее бедро все еще ощущало беглые касания его тела, кожа на руке все еще горела от прикосновения его пальцев. Каким образом это живет в ней до сих пор?

То была близость мужчины, которую Мэрит почувствовала в первый раз в жизни. Хотя мужчина и прежде все время находился около нее, но его близости она не чувствовала.

И она вспоминает, что такое же чувство, хотя и много слабее, она испытывала уже не раз. Точно ухватишь рукой раскаленный уголек и тут же бросишь его, пока не обожгло пальцы,— вот на что это похоже. Потом становится как-то неспокойно на душе. Раньше она не задумывалась над своими ощущениями и не спрашивала себя, откуда они берутся. Теперь ей ясно, в какие минуты с ней бывало такое — в минуты, когда ее касался мужчина. А теперь ей наконец открылось, кто этот мужчина. И оттого нынешнее утро не похоже на прежние.

* * *

Мэрит вспоминает, кто был самым частым гостем у них в дому.

Повель наведывался к Хокану и сам бывал рад его приходу. Повелю все никак не удавалось поближе сойтись с другими крестьянами. В Хэгербеке пришлого не принимают с распростертыми объятиями с первого же дня, сперва долго приглядываются, что он есть за человек. К Хокану же подступиться было легче. Он без долгих приглашений наведывался к соседу — иной раз за сущим пустяком, за которым мог бы и служанку послать. Он не был таким скрытным и недоверчивым, как другие. Повель дорожил дружбой Хокана и никогда не отказывал ему в помощи.

Он рассказывал жене про род Ингельссонов, который был когда-то богатым и знатным, и даже в приходе Юдер о нем слыхали. Дед Хокана всегда выезжал из деревни верхом, в сопровождении батрака. Внук же его в Хэгербеке, хоть и сидит на земле, но ни батрака, ни коня у него нет. А один старик из этой семьи так и вовсе в мирские нахлебники угодил. Теперь род Ингельссонов больше не в чести. Беспечность, гульба, бражничанье лишили его былой славы и богатства. Вот и у Хокана, видать, закваска та же. Добро беречь не умеет, перед любой трудностью руки опускает. Повелю он годится для компании, чтоб было с кем словом перемолвиться, ну, а хозяин он никудышный. Да и напасти на него

невесть откуда сваливаются. Нынче зимой откормленного поросенка у него украли. А тут как-то поутру пришел и говорит, что корова у него пала. Теперь у него только две коровы остались и ни одной дойной. Сейчас только стащил коровью тушу в лес и закопал там.

Каково крестьянину зарывать в землю скотину? Про то Повель и сам знает, он однажды вот так же вола лишился. Ему стало жаль Хокана. Он сказал:

— Ладно хоть за шкуру деньги выручишь.

Хокан поднял на него взгляд. Шкура! И то правда! Ему бы надо было ободрать издохшую корову. А он до того озлился на судьбу, что позабыл про это. Так со шкурой и закопал в землю.

Повель ушам своим не поверил. Нечего сказать, хорош хозяин. Не додумался снять шкуру с коровы. Далеров двадцать, не меньше, выручил бы за нее. Что ж свое-то упускать?

— А ты выкопай корову.

Но Хокан и доброго совета не слушает. То, что попало в землю, пускай там с миром и остается. Что проку в коровьей шкуре, коли и так все прахом идет? Раз отняла у него судьба хорошую дойную корову, пусть уж со шкурой берет.

Повель покачал головой. Тому, кто так рассуждает, недолго владеть землей и скотом. Небережливой рукой ведет Хокан свое хозяйство — добра от этого не жди.

И вот теперь Хокан просит Повеля продавать ему по кринке молока утром и вечером, потому что своего молока у него нет ни капли. Утром он посылает за молоком Элин, а вечером приходит сам. Что это за хозяин, который молоко у людей покупает!

Повель с жалостью глядит на соседа, когда тот появляется со своей кринкой. Но он и осуждает Хокана: не бережет он времени, ходит по таким пустякам. Лучше бы на поле часом дольше поработал. Не умеет Хокан блюсти свою выгоду.

Мэрит доверху наполняет его кринку, а Повель от всей души насыпает ему меру ржи. Надо воздать односельчанину, который водит с ним дружбу. Повель — человек бережливый, у него всякая малость на счету, но для того, кто первым из всей деревни пожелал стать ему другом, он ничего не пожалеет.

И Хокан приходит по вечерам и сидит в кухне, дожидаясь, пока Мэрит процедит молоко. В весеннюю страду

Повель допоздна задерживается в поле, дома его еще нет. Мэрит возится поодаль с кувшинами и миской, стоящими на лавке у очага, а Хокан сидит на стуле у двери. Он смотрит на нее, наблюдает за ее движениями. Округлые дуги бедер, которые то напрягаются, то опадают при каждом шаге, гибкий стан, нежные, мягкие руки, простертые вперед. Живительная нега исходит от ее движений, обволакивает его, прилегает к телу, как теплая, мягкая рубаха. А однажды руки ее простерлись, точно обнимая кого-то на другом берегу ручья, где он ходил по лугу со своей косой.

Мэрит редко глядит в его сторону, но она знает, что он тут, у двери, и ей этого довольно. Она чувствует его близость, груди ее странно тяжелеют, дыхание учащается, а сердце пронизывает сладкая дрожь.

Они перекидываются словами, которые много раз уже говорили друг другу. Слова эти ничего не значат. Просто они чувствуют, что иногда надо о чем-то говорить, молчать все время неловко. Между тем слышно, как льется молоко; привычный шум для ушей Мэрит по утрам и вечерам.

Случается, что кринка наполнена и стоит наготове, а Хокан продолжает сидеть у двери. Повель приходит к ужину, а он все еще тут, и теперь уже не годится сразу встать и уйти. И он остается еще некоторое время. А когда он наконец уходит, Повель говорит: «Жаль парня, в страдную пору зря время губит». Сам он так запарился, что ему даже недосуг съездить в Юдер проведать старика отца, хотя он прослышал о том, что отец сильно захворал и слег.

Повель никогда не спрашивает Мэрит, согласна ли она с ним, но теперь она и без его вопроса говорит, что согласна с мужем: Хокан зря время губит.

* * *

Нынче весной все рано зазеленело. Уже в начале мая травы на лугах поднялись так высоко, что можно было выпускать скотину на пастбище. И это было кстати, потому что корма кончились почти во всех усадьбах.

Из душных темных хлевов коровы вышли на привольные луга, на солнышко. Они потучнели, отъелись, вымя у них набрякло молоком. Пастбище у крестьян

было общее, днем за стадом присматривал пастушонок, а на ночь коров помещали в загон неподалеку от деревни, здесь они оставались под открытым небом. Утром и вечером коров доили прямо на пастбище, и тут же они находились в самые светлые ночи, когда ни волки, ни воры не смеют приблизиться к стаду.

В усадьбе Повеля появилась работница, и Мэрит больше не приходится самой доить. Она стряпает еду, пока Повель со служанкой работают в поле. Теперь у нее есть время заняться сидячей работой, и она принимается за шитье простынь.

Спустя несколько дней после того, как коров выгнали на пастбище, ей пришло в голову, что по вечерам она могла бы доить сама. Тогда бы служанка оставалась в поле на час дольше. Толково придумано, похвалил ее Повель.

На дойку и водопой коров водили в кудрявую осиновую рощицу у ручья. На берегу ручья росло также несколько густых елей, которые служили навесом от дождя. Доить отправлялись задолго до заката, когда скотину гнали в рощу на водопой, и если поторопиться, то можно было вернуться домой с молоком, пока солнце еще не село.

Наливая молоко Хокану в кринку, Мэрит сказала:

— Я теперь сама дою по вечерам.

Он ничего не ответил на это. Может, он и не прислушался к ее словам. А ему и незачем прислушиваться или забирать в голову ее слова. Она просто так сказала, безо всякого умысла. Да и ничего особенного не было в том, что она рассказала ему, что теперь сама доит по вечерам.

И вот на следующий день она сидит на скамеечке у водопоя. Из рощи не видно деревни, а из деревни не видать рощи. Бугристое поле, заваленное грудами камней, лежит между деревней и рощей, заслоняя их друг от друга. Отсюда видно лишь несколько труб над избами. Их-то, должно быть, и хочет разглядеть Мэрит, которая сидит, повернув голову в сторону деревни. А может, ей любопытно глядеть на Франса Готфрида, ведущего по каменистому полю в упряжке двух недавно холощеных волов. Волы упираются и рвутся из ярма, и старик кричит на них так, что эхо от его крика разносится далеко по окрестностям. Но вот он скрылся из виду со своей упряжкой, и кругом опять ни души.

Мэрит хотелось бы доить тут круглый год. В хлеву тесно, там стоит запах коровьей мочи и навоза. А тут воздух чистый, и ветерок веет, шурша в осинах. Под ногами бежит ручей, и так славно пахнет свежей весенней листвой. А однажды вечером птицы тут так и заливались.

Вот уж и последняя корова осталась... Ждет ли Мэрит кого из деревни? Никто не идет. Но вот из зарослей березняка выходит человек. Он тихо подходит к ней и останавливается около ее скамеечки. Она не оглядывается. Надо ли?

— Мэрит...— говорит человек, который подошел к ней. Его колено касается скамеечки.

Что за диво? Где-то глубоко внутри нее все затрепетало, когда Хокан назвал ее по имени. Мэрит — имя ее прозвучало, как колокольный звон, и на душе у нее стало празднично. Вот так же вздрагивала она, когда в воскресенье по утрам до нее доносился первый звук церковного колокола.

— Тебе прямо тут молоко налить?

— Нет, у меня и кринки нету.

— Зачем же ты тогда пришел?

Да, не худо бы спросить его: чего ради пробрался он через осиновую рощу и подошел к ней? Она ведь тут совсем одна. Так недолго и напугать бедную женщину, даром что деревня близко. Для чего он сюда явился? Она припрет его к стене. И как бы вынудить его еще хоть раз сказать ее имя? Еще раз? Нет, не раз, и не два, а тысячу раз!..

Мэрит сидит на скамеечке босая. Кувшин зажат у нее между коленями, а юбку она заботливо подвернула. Пальцы судорожно сжимают коровьи соски, лицо пылает огнем. Голову ее обдает жаром, в висках стучит. Видно, слишком туго повязана косынка на голове.

— Мэрит,— опять говорит он.

И тут его словно прорвало, речь его течет неудержимым потоком. Мукой для души и отрадой для глаз стала она ему с того прошлогоднего сенокоса, когда он увидел, как она полоскала белье в ручье. С той поры он навеки лишился покоя. Тяжко ему видеть ее, но еще тяжелее не видеть. Тянет его к ней. Может, и не по совести поступает он с ней и с Повелем, но молчать больше мочи нет. Ему надо облегчить душу, а там пускай она думает про него что хочет. Может, она ста-

нет теперь сторониться его, посчитает его бесчестным, но молчать он больше не может. Кто она такая, Мэрит, что вынудила его все высказать?

Мэрит кончила доить. Она встает. В одной руке у нее кувшин с молоком, в другой скамеечка. Она точно в тумане и с трудом понимает, что с ней. Каждое сказанное им слово достигло цели, проникло ей в душу. Слова заполонили ее, точно все тело жадно впитало их. Она делает несколько шагов вперед, она переставляет ноги, хотя ей странно, что они еще держат ее. Как может она ходить, когда в голове у нее такой туман? Как удается ей устоять на ногах?

Но потом она опускает на землю скамеечку и кувшин и оборачивается к Хокану. Сейчас она поглядит ему прямо в глаза и скажет, что он человек без чести и совести, коли задумал совратить замужнюю! Он прокрался к ней, когда она одна-одинешенька пришла в лес доить. Подстерег минутку, когда и защитить-то ее некому! Вот когда у него смелость взялась! А она думала, что он добрый сосед, что он им зла не желает. Вот как можно обмануться в человеке! Он, видно, хотел до смерти напугать ее. Недобрая, подлая, трусливая затея! Пускай убирается прочь с ее глаз!..

Но в горле у Мэрит какой-то комок, и слова не идут с языка. Вместо всего, что она приготовилась сказать, она чуть слышно, хриплым и неуверенным голосом произносит одно только слово:

— Уходи!

Но в то время как уста ее раскрылись, чтобы произнести это слово, стан ее склонился к Хокану.

Сильно, жадно схватил он ее в объятия. Тело ее оказалось в крепком кольце его рук. Она почувствовала, как рот его прижался к ее рту, и губы у нее точно обожгло огнем.

Этот огонь опалил ее всю — она вырвалась и отступила назад.

— Уходи! — повторила она громче. Она не могла совладать со своим телом, но голос ее звучал сурово и решительно.

— Мэрит!

Ее имя поразило ее, как громом. Она застыла, оцепенела. Нет, нельзя ей больше слышать свое имя.

— Пощади меня! Пожалей меня! — взмолилась она.

Губы у нее дрожали. Она больше не приказывала,

она молила. Молила о пощаде, точно он грозил ей погибелью. Молила, как в смертный час. Молодая жена Поведя обороняется от бесчестья, она готова на все, чтобы спасти себя от греха. И Мэрит ухватилась за то единственное, что еще могло ей помочь. Она вдруг поняла, в чем спасение: в ее власти над человеком, который обнимает ее. Своих сил у нее уже не осталось. И только к нему может она взывать, только его молить — человека, которого должна опасаться.

— Не губи меня! Делай что хочешь, только не губи! Уходи!

И он повиновался — быстро перескочил по камням на другую сторону ручья и зашагал прочь.

СТРАХ

До сна ли было Мэрит в эту ночь?

Она была напугана, нет, больше того, она была вне себя от ужаса. Этого нельзя было допустить ни за что на свете! Как же это все-таки вышло? Как могла она склониться к нему с раскрытыми устами? Все случилось помимо ее воли. Какая-то неведомая сила завладела ее телом. И неповинна она была в том, что склонилась на грудь Хокана, как неповинно бывает молодое деревце, когда ствол его гнется под сильным ветром. Да, страсть Хокана обрушилась на нее как буря, и она, оцепенев, поникла перед ней. И сейчас еще ощущает она блаженное тепло, в которое погрузилась ее душа в ту минуту. Он прикоснулся губами к ее рту, и точно огненная струя переметнулась от него к ней. И что это за огонь горит в нем, который так согревает ее? В Поведе, единственном мужчине, который до сей поры прикасался к ней, нет этого огня. Что за силой владеет Хокан, которая повлекла ее к нему на грудь?

И все-таки она не вправе винить Хокана. Он совращал ее, но и она сама того хотела. А иначе зачем было ходить по вечерам одной к водопою?

Но только теперь она поняла, что натворила. И ей стало страшно. Добром это не кончится. Поняв, что тело больше не повинуется ей, она отпрянула и взмолилась о пощаде. И он пощадил ее. Хокана надо ей благодарить за то, что она спаслась от беды. Ее тело было с ним заодно, оно не могло ему противиться в ту минуту.

Она содрогнулась. Это козни дьявола, не иначе. Она ведь помнит шестую заповедь катехизиса. Это дьявол склоняет ее нарушить брачный обет. И года не прошло, как она венчалась, стояла в церкви перед алтарем, а уж готова стать распутницей. Недавно еще невинная девушка, она готова допустить себя до блуда. Вот до чего она докатилась всего за несколько дней. Потаскуха лишается душевного покоя на земле и вечного блаженства на том свете. Будь что будет, но она оградит свою женскую честь от посягательств Хокана. Никогда больше не подойдет он к ней так близко. Пока у нее будет хоть какое-то средство обороняться, она не станет потаскухой.

Но собственное тело больше не повинуется ей, оно вышло из-под ее власти, предало ее. Она беззащитна перед Хоканом. И потому отныне ей не след доверяться своему телу. Присутствие других людей будет ему уздой. Никогда и нигде больше не должна она оставаться наедине с Хоканом. Повель должен быть тут же, по крайности, находиться близко, чтобы она могла кликнуть его в случае опасности. Во сне она напрасно звала супруга на помощь, но наяву ему придется ее услыхать. Да, Повель ей муж, он должен помочь ей, удержать при себе, раз кто-то другой задумал ее отнять у него. Муж спасет ее от Хокана, она не станет беспутной.

Она больше не ходит в рощу доить коров, а посылает по вечерам служанку. И молоко наливать Хокану ей больше нет надобности, он не появляется со своей кринкой, а присылает Элин. Минуло уже много дней, но Хокана не видать в доме Повеля.

Глаза Мэрит пытливо смотрят за порог, в душу ее закрадывается разочарование, но все же лучше, что он не появляется. Так ей будет легче бороться с собой. А в следующее воскресенье она поедет с Повелем в церковь. Молодая, недавно венчанная жена, которую склоняют к распутству, нуждается в слове божием.

Переодеваясь воскресным утром, она вынимает из сундука два корсажа и раздумывает, какой из них сегодня надеть. Есть у нее черный корсаж, который она чаще всего надевает по воскресеньям, отправляясь в церковь. А есть и алый, почти совсем новый. На алом корсаже шелком вышиты веточки брусники. Ягоды цветут на ее груди, белые цветы красиво выделяются на красном. Но сегодня она будет сидеть в церкви, надеясь,

что слово божие укрепит ее против соблазна. Так подобает ли в этом случае украшать грудь алым корсажем? Цвет крови — это цвет греха. Она ведь слышала такие слова: «Коль грехи ваши цвета крови...»

Алой крови подобны греховные утехи. А черный цвет приличествует строгости, и строгость вещает человек в черной рясе. И если она хочет внять его проповеди, ей надо сидеть в церкви в черном корсаже. Глубоко под черным корсажем спрячет она недозволенную, греховную, плотскую страсть, которая зреет в ее груди. Черным-черна должна быть ее одежда, чтобы смирить бурный ток крови в теле.

Страшно ей. Мужчина донимает ее своим плотским желанием, и в ней радостно бурлит кровь. Добра от этого не будет.

Я ЗНАЮ, ГДЕ ТВОЙ ДОМ

Мирской захребетник Герман ест за столом у Хокана и спит у его очага. Но он не просто ночлежник, не просто лишний рот в дому. Кое-какой прок и от него есть. Он чинит грабли, щепает лучину, точит ножи, смолит снасти. Уж что-что, а дело в крестьянской усадьбе всегда сыщется. И Хокану незачем будет тратить время на такие мелочи.

Но Герман вскорости унесет отсюда свой узелок. Харч у племянника скудней прежнего стал: хлеб, брусничная подливка, жидкая каша, чуток молока да иной раз дрочена. Хокан от души потчует его, заметив, что старик совестится есть, но Элин, по всему видать, охотно сбыла бы с рук лишнего едока. Она заводит речь о том, что в бочонке с селедкой скоро будет дно видать, что придется ей хозяина мякинным хлебом кормить. Да, нынче летом не миновать им лакомиться хлебом из мякины, вереска и почек орешника. Все это речи для его ушей. И он вскорости унесет свой узелок из этой усадьбы.

Невесело нынче в дому у Хокана. Сам хозяин, похоже, желает своему дому сгореть. Видно, напасти ожесточили и озлобили его душу. Корова у него околела, так он ее вместе со шкурой в землю зарыл. И с севом у него не ладится. А все потому, что не умеет он ничего наперед рассчитать. Разбросанный навоз на солнце сохнет, семя он в землю бросает в неурочное вре-

мя. И прежде душа у Хокана к крестьянской работе не лежала, но уж таким он все же не был.

Что-то гнетет его. И скоро Герман смекает, в чем дело. Хокан сохнет по бабе. Недолго пришлось старику гадать, кто она,— он ведь еще покуда не ослеп. Хокана ноги сами несут к одной из усадеб в деревне. Что ж, лакомый кусок всякому люб. Он и сам был бы не лучше Хокана, кабы ему скинуть годков этак сорок.

Герману кажется, что Повель не пара такой бабе. Кровь у него в жилах больно стылая. Что ж, может, жизнь теперь выпрямит то, что люди вкривь и вкось сладили. Ясное дело, жизнь всегда свое возьмет. Но только ой какая беда из этого может произойти!

Эта женщина — ну и ну! Встрять промеж людей, что лежат на супружеской постели! Добра от этого не жди. Если есть у человека хоть на грош разума, он нипочем не посягнет на замужнюю. Коли их по закону осудят, то уж хлебнут они горюшка! Того, кто брачный обет порушил, случается, и в колодки забивают. А розги, острог и прочие постыдные наказания — так уж это непременно. Нет, не пройдет им даром милованье.

Ой и несладко же им придется... Само собою, человек похитрей сумел бы долгое время держать все в тайности. Но Хокан не из таких, у него на это ума недостанет. Да и то сказать, в деревне тут глаз и ушей довольно, не так-то легко тишком в чужую-то кровать пролезть. Да, по кривой дорожке идет Хокан. Добро, если вовремя одумается.

Спору нет, меж людей все должно быть по чести, по совести, чтобы не пришлось опасаться, что сосед в твою кровать залезет. Иначе и порядку на земле не бывать. Да и для чего у соседа воровать, коли леса и так полны дичины? Как будто нельзя обзавестись бабой, не порушив чужих прав!

Но так уж неразумно повелось на свете, что горячая кровь удержу не знает и людские законы ей нипочем.

От молодки он еще ничего не добился, это по всему видать. Он весь горит страстью. Он — сосуд похоти, полный до краев. У Германа на эти дела глаз наметанный. И ежели ей удастся подольше не подпускать его к себе, то страсть его сама собой утихнет или другой выход найдет. Но он пылает яро, как смолистое полено, и огонь этот может опалить и ее, коли она не остережется.

И если жизнь возьмет свое, то они дорого за это поплатятся. Много понадобится им силы и крепости духа, чтобы все перенести.

Будь Хокан поумней, он не стал бы лезть на рожон, а довольствовался бы тем, что близко лежит. Герман видит небось, что служанка Элин так и вьется возле хозяина, так и ходит вокруг него, как кошка, которая ждет, чтобы ее приласкали. Уж ее-то ему не пришлось бы улещать нежными речами. Эту бабу он может повалить на спину, когда ему вздумается. И была бы у него разумная и работящая жена. Она и сейчас уже печется о его выгоде, хоть он артачится и упирается. Да, что греха таить, неразумный Хокан мужик. Хотя, может, тем он и счастлив, что живет на свете без ума, без разума.

* * *

И настает утро, когда Хокан просыпается с чувством ликующей радости в душе. Он ощущает ее, еще не совсем стряхнув с себя ночное забытье, но не добрый сон тому причиной, а воспоминание о том, что случилось накануне наяву.

Чудо, что он вернулся домой из рощи, не сломав шеи. Он шагал, не разбирая дороги, прямо через пни и валуны.

Мэрит — это имя вырывается из его груди, как дыхание. И достало же у него духу обнять ее! Он не может понять теперь, как это случилось. Точно в бреду, в беспамятстве обхватил он обеими руками ее стан и прижал ее к себе. И ее горячий дрожащий рот прижался к его рту. Пылающие огнем женские губы на миг раскрылись под его губами — короче вздоха был этот миг, но ему и этого было довольно.

Хокан, как всегда, выводит из хлева волов, идет на свое поле, но иной рассвет встает сегодня над деревней, над пашнями, над розовыми от зари березами у изгороди, над всем миром. Мэрит — он обнимал ее, и теперь много дней и ночей он будет переживать это объятие. На короткий миг дотронулся он ртом до тонкой кожицы губ, а ему чудится, будто он обладал всей женщиной. Многое посулили ему женские губы за этот короткий миг, и он жадно приник к ним. Мягкие, дрожащие жен-

ские губы посулили ему все тело. И он понял, что она будет принадлежать ему вся, душой и телом.

А когда она попросила пощадить ее, он послушался, потому что жалеет и бережет то, что принадлежит ему.

Он не видит больше ее клетчатого платка в осиновой рощице. Но нетерпение его улеглось. Мягкой, как воск, была она в его руках, такой же мягкой, как ее дрожащие губы, и этого ему довольно. Он не ходит больше к Повелю, теперь это ни к чему — дни его и так полны до краев.

Мэрит заполняет его мысли, пока он работает на своем поле. Он видит ее босой на скамеечке возле коровы, щеки ее пылают — это из-за него кровь кинулась ей в лицо. Он видел, как переменилась в лице Мэрит, когда он коснулся коленом ее скамеечки. И в нынешнее воскресенье он видел на ней алый корсаж, обтягивающий ее грудь. На корсаже вышиты веточки брусники. Так белеют на бугорке цветы брусники, и грудь Мэрит кажется ему двумя цветущими бугорками.

Он вспоминает Мэрит и чувствует радость наперекор всему. Тяжко им придется, но радости у них никто не отнимет. Пускай другие видят рассвет не таким, как видит он,— ему-то что за дело до этого? У него свои глаза есть, и никто не принудит его глядеть на белый свет чужими глазами.

Элин заметила, что у хозяина вдруг словно спала с души какая-то тяжесть. За все пять лет, что она служит в его усадьбе, она сроду не видела, чтобы он так светился радостью. И ей подумалось, что он наконец стряхнул с себя томившую его кручину и теперь станет вести себя по-людски.

Уже давно сохнет Элин по Хокану. Что-то влекущее исходит от Хокана и проникает ей в самое нутро. И уж много лет она из кожи лезет вон, чтобы сделаться ему необходимой. Она служит ему верой и правдой, все сносит, все терпит и дожидается того дня, когда он поймет, что ему без нее не житье. Но день-то этот, видать, еще не близко. Шестой год она у него в работницах, а он обходится с ней так, точно она вчера к нему пришла. И Элин тяжко страдает от этого.

Пуще глаза бережет она его добро, больше, чем он сам, блюдет его выгоду. А он и не спросит, зачем ей это. Ему и в голову не приходит, отчего она делает вдвое против того, что ей положено. Вроде и не замечает он ее

стараний. Но это бы еще полбеды. Пускай бы все ее труды прахом пошли, только бы он ее самое заметил, поглядел бы на нее с вожделением. Так ведь нет! Она для него пустое место. Принарядится ли она, ходит ли в затрапезе — ему все едино. Да убери она себя с головы до ног в серебро и злато, он и того не заметил бы. До чего же горько бывает Элин чувствовать себя нежеланной. За все эти годы Хокан точно и не вспомнил ни разу, что бок о бок с ним живет женщина. Небось и не подумал никогда о том, что молодка с горячей кровью спит с ним под одной крышей, что их только дверь разделяет.

Сколько бы она ни старалась, он и теперь обходится с ней так же, как тогда, когда она только поступила к нему в работницы. Элин не раз слезами умывалась, думая об этом. Но если она даже вся изойдет слезами, то не станет от этого ему желаннее. Плачет ли она, смеется ли — хозяину до нее и дела нет.

А может, он просто не догадывается, что ему без нее не обойтись? Что, если она скажет ему: «Ухожу от тебя»? Что он ответит? Может, хоть тогда поймет, до чего тяжко ему без нее придется? И она тешит себя такими мечтами: он глядит на нее, просит ее остаться, наконец-то он заметил ее. Угроза лишиться ее открыла ему глаза. Пускай остается, пускай станет ему, кем сама захочет...

Такие мечты для Элин что хлеб насущный, без этого ей не выдержать.

Если бы ей хоть было позволено давать советы Хокану для его же пользы! Но он горяч, ему и слова не скажи. Вот и приходится помалкивать.

Хокан же частенько досадует на то, что работница мнит себя чуть ли не хозяйкой в усадьбе. Ворчит, что поле в срок не вспахано. До всего ей дело есть — до пахоты, до сева. Хороша служанка — хозяину житья не дает. Спору нет, девушка она работящая, не ленивица какая, только пусть свое дело ведает, а остальное не ее забота. Плату и еду получает — что ей еще надо?

Правду сказать, платы за последний год она не получала. Не оттого ли, думает Хокан, она и забрала такую власть в доме и хозяином помыкает? Ладно, заплатит он ей. Хоть из-под земли денег добудет, а заплатит. Этому надо положить конец. То, что ей причитается, она получит.

У Хокана теперь остались всего две коровы, но однажды вечером он накидывает на корову веревку и ведет ее вниз по косогору. Он приводит корову к хозяину постоялого двора в Бидалите, который покупает скот на мясо. Домой он приносит только веревку. Но в кошельке звенят деньги, и он вынимает оттуда сто далеров.

— Держи плату за год.

— Могла бы и погодить,— говорит Элин.

— Ни к чему годить, коли нужды в том нет,— отвечал ей Хокан.

У Элин больно сжимается сердце. Корову, которая должна была отелиться в сентябре, он продал на мясо. И срам, и грех! Господи, да она с радостью еще подождала бы! Она ведь ни о чем его не просила. Ни словечком не обмолвилась насчет платы. А он вон что выдумал. Ну как тут не лопнуть с досады! Но она и попрекнуть его не осмеливается. Ей остается только молча взять деньги.

Сказать по правде, втайне Элин желала бы, чтобы Хокан подольше оставался ее должником. Ей кажется, что тогда она была бы ему нужнее. Но ей и этого не позволено. Не нуждается он в ней, потому что не хочет этого.

Отныне Хокан выгоняет в деревенское стадо только одну корову. Но теперь у него будет покой, думает он. Элин не станет больше донимать его попреками. Само собой, хорошего мало, когда в хозяйстве всего одна корова, но тужить об этом Хокан и не подумает. В сердце его теперь нет места для печали.

* * *

Если в крестьянском доме иссякают припасы, никто не станет требовать от хозяина, чтобы он кормил мирского нахлебника, даже если тот ему дядей доводится. И старый Герман перебирается в дом Франса Готфрида. Теперь у него и харч, и кров — все иное. Теперь он живет у зажиточного хозяина, который прячет в сундуках деньги и мог бы уж не отказывать себе в сладком куске. Но Франс Готфрид бережет свое добро и не дает поживиться им ни себе, ни другим. Так что и в этом дому не отведать Герману куска пожирнее. И ни капли вина не достанется ему, чтобы размочить сухую корку...

А ведь был когда-то зажиточный хозяин Герман Ингельссон. Сроду не варил он меньше тридцати ведер пива за раз, а в рождество так и все шестьдесят варил. Только с наступлением весны ему не наскрести было в ларях зерна на посев. И тогда он сеял, сколько хватало семян, а остальная земля отдыхала. И так отдыхала его земля, покуда вовсе из рук не уплыла...

А Франс Готфрид, тот крепко за землю держится. Он уже старик, и скоро род его совсем вымрет. Франс Готфрид — старая сухая коряга, которой уже не пустить в землю корней. Но чем ближе его смертный час, тем ревностнее бережет он свое добро. Ни у кого в деревне нет на дверях таких крепких запоров, как у Франса Готфрида. Никто не трясется над своими сундуками, как он. Хлев у него того и гляди рухнет, но чтобы построить новый, надобны деньги, и немалые, а он не в силах их лишиться. Рука у него не поднимется деньги из сундука вынуть, он потом себя вконец изведет.

Герман знает, что душа и тело старика источены терзаниями. Франс Готфрид терзается не только жадностью, но и страхом. И страх этот живет в нем с молодых лет. Да, долгие годы прошли с той поры, как вор обокрал Франса Готфрида, а его все еще гложет страх перед одноруким человеком. Никому не открывает он своего страха, но все о нем знают. Франс Готфрид выдает себя всякий раз, когда в деревне или в округе появляется чужой человек. Старик думает, уж не тот ли вор направляется к нему, чтобы отомстить. Уж не однорукий ли идет сюда...

Он спрашивает Германа, который недавно бродил по дорогам, не встречался ли ему человек с каким-нибудь увечьем. При этом тень набегает на лицо старика, и он отводит взгляд в сторону.

— С каким увечьем? — спрашивает Герман, хотя ему понятно, про что говорит старик.

— Ну, человека без ноги либо без руки...

Нет, у тех, кого Герман встречал на дорогах, и руки, и ноги были целы. Все люди как люди. Франс Готфрид успокаивается. У Германа нет охоты шутить над стариком, как это сделал один из его односельчан. В прошлом году тот пришел в воскресенье из церкви и солгал Франсу Готфриду, будто видел среди прихожан однорукого человека. Старика обуял такой страх, что он целых

две недели за порог не выходил. Ночи напролет у него в доме горел огонь, а сам он не решался сомкнуть глаз. Односельчанин везде похвалялся своей шуткой, только шутка та была злая.

Ведь не без причины дрожит от страха старый Франс Готфрид. Ему есть чего опасаться. Так говорят все, кто помнит историю с вором и кто видел человека, которого так страшится старик.

Случилось это ранней весной в воскресенье, как раз в ту пору, когда заколосилась рожь. Почти все жители деревни были в церкви. На это вор, должно быть, и рассчитывал, потому что подгадал ко времени, когда в церкви шла служба. В доме Франса Готфрида тоже никого не было. Сам он пошел на пастбище поглядеть на скотину, а раз дом был пустой, то он и запер его на замок. Воротившись, он увидел, что окно спальни вынуто и лежит на траве. Франс Готфрид вбежал в сени и схватил заряженное ружье. Вор тем временем управился со своим делом, и не успел хозяин пустить в ход ружье, как он выпрыгнул в окно и нырнул в ржаное поле за домом.

Рожь стояла густая и высокая и рослого мужика могла скрыть с головой, если тот чуть пригнется. Франс Готфрид погнался за вором с заряженным ружьем, но увидел только, как шевелятся колосья на пути беглеца. Стрелять пришлось наобум. Убегающему вору надобно стрелять в ноги — вспомнив это, Франс Готфрид старательно прицелился. Но так как вор бежал, то он угодил ему в правую руку. На выстрел сбежались люди, вора схватили и отвели к ленсману. Оказалось, что человек этот уже не однажды был бит батогами и сидел на хлебе и воде за разбой. Это был отчаянный головорез. И вот теперь он взломал сундук у Франса Готфрида и стащил пятьдесят далеров.

Выстрел раздробил вору руку, и ее пришлось отнять по плечо. Когда вора уводили к лекарю, он попросил дозволения поговорить с крестьянином, который стрелял в него. Франс Готфрид подошел к вору. Тот был здоровенный детина со сверкающими белками глаз. Он устремил на крестьянина горящий взгляд.

— Ты лишил меня руки,— сказал он,— но мы с тобой сквитаемся. В свой час я приду к тебе и лишу тебя жизни.

Раненый человек, стоявший перед ним, был уже не-

опасен. Просто пойманный вор с раздробленной рукой, которую теперь не было надобности отсекать в наказание за разбой. Но его злобная угроза прозвучала всерьез. Он добавил:

— Придет час, и я к тебе явлюсь. Я знаю, где твой дом.

Последние слова вор повторил дважды:

— Я знаю, где твой дом!

Это были слова, рожденные лютой ненавистью, и Франс Готфрид не мог их забыть.

Вор был наказан плетьми и посажен в острог на четыре года. Все это время Франс Готфрид мог чувствовать себя спокойно, хотя и не совсем. Оставалось опасение, что вор сбежит из острога. Но опасение это было лишь малой долей того страха, который обуял Франса Готфрида, когда минули четыре года. Он непрестанно думал о том, что теперь вор на свободе и может сотворить любое зло. Он изводил себя этой мыслью, вор почти каждую ночь являлся ему во сне с громадным ножом, и Франс Готфрид бежал от него в смертной тоске.

К тому же и совесть его тревожила. Он лишил руки своего ближнего. Правда, тот украл у него деньги, но правая рука человека дороже пятидесяти далеров. Так что, может статься, и его вина тут есть. Может, вор начал бы добывать хлеб честным трудом, не лишись он руки.

Франс Готфрид казнился страхом, потому что был трусоват. Невелика смелость выстрелить в убегающего человека. Когда же старик чуял, что сила не на его стороне, он всегда норовил увильнуть от стычки. А тут у его недруга были все козыри — в его власти было выбрать и день, и место, и оружие, и все остальное. Стоит Франсу Готфриду выйти за порог, как он может получить пулю в спину. Он избегал ходить в одиночку в лес, и где бы он ни был, тревога не отпускала его. Он до того сжился со своим страхом, что страх сделался как бы частью его души.

«Я знаю, где твой дом».

Франс Готфрид видит перед собой глаза человека. Зрачки расширились, когда он произносил эти слова.

И угроза эта не была шуткой.

Он вспоминает, как стоял вор перед столом судьи. Лекарь уже сделал свое дело, пустой рукав вора колы-

хался при малейшем движении. Он точно тянулся к Франсу Готфриду, который стоял по другую сторону стола. Пустой рукав тянулся к тому, кто отнял живую плоть, наполнявшую его, рукав жаждал мести.

Идут годы, а про вора — ни слуху ни духу. Односельчане забыли про этот случай. Даже домочадцы Франса Готфрида, и те стали про него забывать. Но сам он твердо убежден в том, что вор придет, а можно ли выкинуть из головы то, что грозит тебе смертью? Вор не является, должно быть, оттого, что ему пришлось до поры до времени отложить свою месть. Может, он снова на воровстве попался и его посадили в острог. Но рано или поздно он опять выйдет на волю и тогда наверняка вспомнит про деревню Хэгербек, где ему нанесли увечье.

А может, он хочет выждать, пока страх Франса Готфрида уляжется. Только этого он небось и дожидается. Вот как он мыслит: «Минет много лет, и крестьянин понадеется, что я уже не приду. Он перестанет опасаться меня, и я застану его врасплох. Тогда мне легче будет с ним расправиться».

Но, может, он медлит просто потому, что знает, до чего непереносимы человеку муки страха. Да, так оно и есть, думает Франс Готфрид, он хочет сперва всласть помучить меня, а уж после убить.

Так отыскивает Франс Готфрид всякие причины, отчего не является к нему вор. Сотни раз в мыслях пережил он тот миг, когда однорукий появится в его доме. Он заранее представлял себе, каким образом тот свершит свою месть. И что бы ни придумал этот душегуб — Франс Готфрид все наперед знает.

Да, вот уже скоро тридцать лет минет с того злосчастного воскресного дня весной, а Франс Готфрид все еще в страхе ждет появления человека с одной рукой. Стоит объявиться в округе чужому, как его охватывает тайная дрожь, и с языка сам собой срывается вопрос:

— Нет ли какого увечья у этого человека?

И мирской побирушка Герман, который ходит по чужим дворам, ест чужой хлеб и спит где придется, чувствует жалость к этой источенной страхом душе. Вот так и накликает сам человек на себя беду, вяжет себя собственными руками.

Старый Герман тоже был связан когда-то, но потом он пошел к кривой березе с веревкой в руках, и путы спали с него.

А вот Франс Готфрид, хозяин богатой усадьбы, лишился воли из-за тянувшегося к нему пустого рукава и голоса, произнесшего:

— Я знаю, где твой дом.

ЧТО ТЫ СО МНОЙ СДЕЛАЛ?

Тура, работница в усадьбе Повеля, никак не может понять свою хозяйку. Та мечется туда-сюда, нипочем не угадаешь, что ей взбредет в голову. Вот, к примеру, с дойкой коров. Вначале, когда Тура только появилась в усадьбе, ей велено было доить у водопоя и утром, и вечером. Спустя несколько дней хозяйка решила, что по вечерам она будет доить сама. Но немного погодя опять передумала. Пускай все будет, как раньше, Тура должна доить коров и утром, и вечером. Служанку досада брала на эти бестолковые наказы. Как тут упомнишь, что надо делать, а чего не надо, ежели хозяйка что ни день меняет свои решения?

И вот теперь, недели не прошло, а Мэрит опять надумала сама доить коров по вечерам.

Ну, что это за причуды?

Или ей трудно решиться на что-нибудь одно? И поди знай, в чем причина этой маеты? Девушка была вконец сбита с толку. Может, хозяйке кажется, что она худо выдаивает коров? Выходит, утром она хозяйке может угодить, а вечером нет? Так ведь она каждую каплю из вымени выжимает, после ее дойки оно как тряпка висит. Напраслину возводит на нее хозяйка, ее работу никто еще не хулил!

Но раз Мэрит решила, что служанка скверно доит, с ней не поспоришь. Молоку зря пропадать не годится. И вот теперь она сама ходит на закате в осиновую рощу.

В воскресенье она побывала в церкви. В черной одежде сидела она там и слушала речи пастора. Она сидела, мучаясь страхом и раскаянием, и жадно ловила слова пастора, надеясь, что они помогут ей. Она хотела сберечь эти слова в своем сердце на тот случай, когда они ей понадобятся. Она призовет их на помощь, когда неодолимый соблазн вспыхнет в ней, как пламя. Но вскоре надежда ее угасла. То ли она не умела слушать должным образом, то ли слова, исходящие из уст пастора, были мертвы. Она покидала церковь с недоумением

в душе. Не дошла до ее сердца святая проповедь, слова пастора исчезали, таяли, умирали. Они не хотели оставаться в ней. Может, им не по себе было в ее юной груди, а может, ей самой было не по себе от них. Слова доходили до слуха, но не проникали в душу, не усмиряли кровь. Эхом отдавались они под сводами церкви и пропадали так же, как эхо.

Ток жизни, молодой, пылкой, горячей, не желал иссякать в ней. Черный корсаж, сковывавший грудь, не усмирял бурлившей под ним алой крови.

С наступлением дня ее начинала томить тоска. Хокан обнимал ее, и она до сих пор не могла высвободиться из этого объятия. Она ошиблась, понадеявшись на свои силы. Она обманывалась, когда говорила себе, что может не встречаться с Хоканом. Несколько дней, прошедших без него, открыли ей глаза. Теперь она знала, что ей нужно.

Хокан больше не появлялся у них в доме. Вместо него по вечерам за молоком приходила Элин, и Мэрит вдруг ощутила в глубине души неприязнь к служанке Хокана. Элин сроду не делала ей ничего худого, но все же Мэрит казалось, что женщина она недобрая. Было что-то вкрадчиво-зловещее в этой чернявой молодке. Но, может, это объяснялось тем, что Мэрит всегда относилась с опаской к людям с темными глазами. Ей казалось, что в их черной глубине таится зло.

Ну, скажите на милость, не подло ли приходить сюда вечером, когда Мэрит ждет не дождется Хокана! Мэрит не могла понять, зачем эта девушка мозолит ей глаза и обманывает ее надежды. Ей начинало казаться, что она ненавидит Элин. Не будь ее, Хокану некого было бы посылать за молоком, и он пришел бы сам. Спору нет, служанка не своей волей приходит, ей хозяин велит, но все равно, подлянка она...

Тоска немилосердно давит грудь. Не будет ей покоя, пока она не свидится с Хоканом. Да, теперь она хочет этого. Пусть он придет, она только взглянет на него одним глазком, и на душе у нее сразу полегчает. Ничего ей не нужно, только видеть его каждый день хоть минутку. Но теперь уж промеж ними ничего недозволенного не будет. Она и пальцем не даст ему себя коснуться. Разве не могут они радовать друг друга и при этом не делать ничего худого? Конечно, могут, Мэрит уверена в этом. И тогда все опять будет хорошо. И радость к

ней вернется, и совесть ее чиста будет. Пускай Хокан ходит к ним в дом, как раньше. Об этом она скажет ему, и он послушается ее, если хочет ей добра.

Она опять стала ходить в осиновую рощу у ручья. К тому же Тура однажды и впрямь скверно выдоила коров.

Быть может, клетчатый платок Мэрит издалека бросается в глаза тому, кто ищет его, а может, Хокан просто проходил мимо, но только Мэрит вдруг увидела его в нескольких шагах от себя.

И отчего это человек доставляет другому радость одним только своим появлением!

Мэрит стоит у березы, распутывая веревку. Она хочет привязать корову, которую иначе не удержать на месте. Женские пальцы неумело теребят жесткую пеньку, твердую, как мускулы дюжего парня.

Хокан видит, как пальцы ее пытаются развязать тугой узел. Но этак ей не развязать узел на веревке. Чересчур нежные у нее пальцы, и нет в них настоящей крепости. Гляди-ка, да она гладит узел! И Хокан чувствует эту ласку на своей руке, легкую, как дуновение ветерка.

Узел веревки похож на сплетение мускулов — это его плечо гладит она. Хокан помогает ей развязать узел и ощущает при этом, как горят ее пальцы.

— Мэрит,— говорит он.

Сейчас она скажет ему, что надумала. Пускай все будет по-старому, они снова будут видеться друг с другом, как добрые соседи, но этим он должен удовольствоваться. Придется ему смириться с этим, если он ей добра желает. Не захочет же он сделать из нее прелюбодейку!

Но вот его уста произнесли ее имя, и она словно онемела. Она стоит с пылающими щеками, судорожно вцепившись руками в ствол березы, точно ища опоры. После долгого молчания она произносит глухо:

— Что ты со мной сделал?

— Ты боишься?

— Да, боюсь, боюсь...

— Не бойся ничего.

— Я распутницей стану. Потаскухой...

Что он с ней сделал? Когда она оказывается рядом с ним, ее точно кто подменяет. Ей невмоготу противить-

ся ему. Всю ее силу уносит неведомо куда, точно воду в ручье, которая никогда не потечет вспять. Ее влечет к нему. Ей хочется схорониться с ним где-нибудь в кромешной тьме, чтобы ни одна живая душа не могла их увидеть. Тело ее дрожмя дрожит и тянется к его телу, ближе... ближе... И отчего это огонь пробегает по ее жилам, стоит ему только коснуться ее? Почему руки не слушаются ее? Им ведь надо остерегаться его рук, нельзя им касаться друг друга...

Все, что она давеча так толково придумала, точно ветром выдуло из головы. А может, она и не собиралась всерьез говорить ему это? Может, она и на этот раз себя обманывала? Лукавила сама с собою, чтобы прийти сюда и подвергнуться его домогательствам! Если это так, то ей надо быть настороже.

— Не бойся ничего.

И теперь она слушает его. Прежде он говорил ей о муке, которую терпел с прошлого лета из-за того, что она так близко от него и в то же время недосягаема. Теперь он хочет, чтобы она знала, что бояться ей нечего. Он и пальцем не коснется ее, если она не позволит. Не станет он домогаться ее против ее воли. Она без опаски может оставаться с ним наедине. Тут она может быть так же спокойна, как если бы они находились в церкви среди множества людей.

Нет, его Мэрит не боится. Не в том дело. У нее и в мыслях не было, что он может снасильничать над нею и сгубить ее. Слушая его, она снова убеждается, что он не хочет сделать из нее распутницу. Она и сама не знает, чего боится. Что-то опасное таится в ней самой. То, что подвело ее в прошлый раз.

— Этого больше не должно быть,— шепчет она задыхаясь.— Это нас к погибели приведет!

Голос Мэрит звучит тревожно, решительно. Она предостерегает, она чует беду. Но глаза смотрят кротко и ласково. Глаза у Мэрит серо-зеленые, будто камешки в траве, но в них нет твердости камня. Взгляд их ласкает Хокана, и, чувствуя на себе этот взгляд, он не слышит сурового голоса, который произносит вещие слова. Руки их не повинуются разуму, они тянутся друг к другу. Точно слепые, ищут они друг друга ощупью. И груди Мэрит вдруг странно тяжелеют. Кровь приливает к ним, наполняя всю ее сладкой истомой, и нет мочи проти-

виться этому блаженству, хоть она и знает, какая опасность таится в нем.

— Это нас к погибели приведет! — повторяет она.— Это больше не должно повториться.

Раз Мэрит внушила себе, что случившееся больше не должно повториться, значит, так тому и быть. Но она чувствует, как руки Хокана скользят по ее бедрам. Руки эти полны живого струящегося тепла. И тяжесть, наполнявшая ее груди, опускается вниз, к лону.

И тогда она отпрянула от Хокана и отступила назад. Ноги пока еще слушаются ее. Она говорит, задыхаясь:

— Уходи, Хокан, оставь меня одну! Если хочешь мне добра — уходи!

И он не двигается с места, не идет за ней следом. Он желает ей добра и не станет ее неволить. Не хочет он воспользоваться ее слабостью, ее смятением. Не такой он подлый человек, чтобы вынудить ее к тому, в чем она после каяться будет. Велика была бы тогда его вина перед ней. И он не сделает ничего такого, в чем она могла бы его потом попрекнуть. Потому он уйдет теперь и не вернется, пока она не опамятуется и не будет твердо знать, надобен он ей или нет.

Если она скажет: ты нужен мне, Хокан, приходи! — тогда только он придет, и не раньше того. Ведь он домогается Мэрит не для короткой утехи, ему нужно куда больше. Поняла ли она, нет ли, но только она нужна ему на весь его век. Он уведет ее отсюда. Но это он скажет ей не теперь, а лишь после того, как она позовет его.

Хокан ушел, и Мэрит глядит на вмятину от его сапог в раскисшей грязи у ручья.

На этот раз, возвращаясь домой, она не чувствует страха. Она убедилась, что Хокан не желает ей зла. Он не хочет сделать из нее прелюбодейку. Он придет лишь тогда, когда понадобится ей. Бояться ей нечего. Хокан ничего не сделает против ее воли.

Так убеждает она себя в том, что страхи ее пустые. Притом у нее есть муж, который будет ей защитой. Она станет ему доброй и верной женой и таким путем избавится от греховного влечения. Она хочет, чтобы Хокан был ей другом и добрым соседом, а не полюбовником. До блуда она себя не допустит никогда.

* * *

Повель получил весть из Юдера. Отцу стало хуже, и он велел передать сыну, что ему, видно, уже не подняться с постели. Если сын управился с севом, пускай приезжает к нему.

Повелю ясно, раз отец прислал такой наказ, стало быть, дни его сочтены. «Приезжай, если управился с севом». Само собой, первым делом надо думать о земле. Но, несмотря на эти слова, Повель понимает, что у отца до него крайняя нужда. Ему, должно быть, надо потолковать с сыном о каком-то важном деле, и он хочет повидать его перед смертью.

Повель вспоминает слова, которые сказал ему на прощание отец, когда они виделись в последний раз на рождество:

— Теперь небось мы с тобой на крестинах свидимся!

Это было сказано вроде как в шутку, но на самом деле отец не шутил. Этими словами он предлагал себя в крестные отцы. Ему хотелось крестить дитя у своего единственного сына.

Мать, которая смотрела на Мэрит более сведущим взглядом, ничего не прибавила к словам отца. Видно, догадывалась, что до крестин еще далеко. Хотя могли бы они с Мэрит уж и спроворить это дело. После брачной ночи времени прошло довольно. Но и нынче все так же, как в первый день, ничего такого и в помине нет.

Повель никогда не заговаривал про это с женой. О чем тут толковать? Это дело улаживается само собой. И у них в свое время уладится. Иные бабы скоро поспевают, а иные долго раскачиваются. Один мудрый крестьянин сказал как-то Повелю: «Иной бабе и мужнины портки сгодятся, чтобы дитя понести, а иной всего мужика подавай, да притом усердного и терпеливого». Так что тут всяко бывает, и горевать особенно не о чем.

Но Повель сокрушается из-за отца. Видно, не дожить родителю до крестин. И это было горько, потому что ему хотелось показать отцу отпрыска их рода. Отец бы этому порадовался. Только это и заботит Повеля, а так спешить ему некуда. Будут у него и сыновья, и дочки — всему свое время. Дети — это рабочие руки, а стало быть, и достаток в крестьянском дому.

Но много детей тоже не расчет иметь, потому что

тогда приходится дробить наследство. Земля делится на много частей. Повель вовсе не сетует на то, что у них в семье всего трое детей, он да две сестры, и наследство будут делить только на троих. Свою долю он уже получил — отец купил ему эту усадьбу в Хэгербеке. Но за свой век отец много добра нажил, в сундуках у него кое-что припрятано. И Повель невольно думает о том, какой будет капитал, когда подсчитают все до единого гроша. Верно, и на его долю еще немало достанется при дележе.

Отец был хозяин умелый и работящий и упрочил добрую славу их рода. Семья его одна из самых почитаемых в Юдере. Повель уважает своего отца и печется лишь о том, чтобы во всем походить на него. Он старается снискать уважение односельчан здесь, в деревне, где он человек новый. Он сделает все, что в его силах, чтобы худая молва или хула не коснулись ни его, ни его домочадцев.

А теперь, когда Повель понял, что кончина отца близка, он еще более рьяно станет заботиться об этом. Ведь теперь ему самому предстоит приумножать богатство семьи и блюсти ее доброе имя.

Он сказал жене, что отец зовет его к себе. Если он отправится в путь в следующую субботу, то сможет пробыть в Юдере все воскресенье.

Мэрит кинуло в жар. Ноги у нее подкосились, и ей пришлось ухватиться за притолоку, чтобы не упасть. Повель спросил, уж не захворала ли она. Да нет, ничего, просто у нее иной раз в глазах темнеет и голова кружится.

Повель испытующе посмотрел на нее, словно догадался о чем-то. И он тоже полагает, что это ничего. Только теперь ей надобно поберечь себя, не надрываться, ничего тяжелого не поднимать. Пускай всю трудную работу служанка делает.

Отец Повеля, может, лежит при последнем издыхании, а она, негодная, радуется этому. От радости-то ведь у нее и закружилась голова и в глазах потемнело. Но обрадовалась она не тому, что человек умирает, а тому, что Повель уедет со двора в субботу. Для нее это весть не о смерти, а о жизни — на двое суток останется она одна...

Из-за этого у нее так стеснило грудь, что сердце чуть не выскочило. Сладкая надежда, таившаяся для нее в

этой вести, отшибла у нее память, и она позабыла, что весть была о тяжкой болезни свекра. Повель едет со двора... Хокан... Хокан...

Вот до чего она дошла. Еще прошлым летом юная невеста, она теперь готова впустить в дом другого мужчину, как только муж ступит за порог.

КУДА ПОДЕВАЛИСЬ СУМЕРКИ?

А ведь всего несколько дней назад она не была такая. Что же это сталось с ней?

Плотское желание больше не борется в ее душе со страхом. Страха как не бывало. Ведь Хокан сказал, что бояться ей нечего. Все, что слышала она о блуде, о геенне огненной, не пугает больше, потому что ее это не касается. Все, что ей внушали о грехе и вечной погибели, она выкинет вон из головы. Все это лишь слова, прочитанные и услышанные, и речь в них не про нее. Она-то не собирается грешить, так какое ей дело до этих слов? Хокан не причинит ей зла. Он не раз это повторял. Чего же бояться? Она позовет Хокана, потому что ей без него жизнь не в жизнь. Сегодня вечером она шепнет ему словечко. Он теперь снова сам приходит за молоком вместо Элин. Она скажет: «В субботу Повель едет со двора! Приходи к окну, как стемнеет. Как стемнеет, слышишь?..»

Но ничего непоправимого не должно случиться. Хокан твердо обещал, что она сама будет решать, чему быть меж ними, а чему не быть. Он не тронет ее без ее согласия. А уж этого ему долго придется дожидаться. Надо будет только поостеречься и держаться подальше от его губ, которые ее всякой воли лишают. Нет, ничего не случится между ними, потому что случись такое — и чести уже не воротить.

У них все будет по-доброму. Он придет, и они посидят рядышком в темноте часок-другой. Может, он возьмет ее за руку, а может, они сядут потеснее друг к дружке, чтобы говорить шепотом. Но этим все и кончится. Она ему так напрямик и скажет, когда он придет. Он послушается ее, потому что не захочет сделать из нее потаскуху. И всего-то ей надо побыть с ним часок, и это внесет покой в ее душу на много дней. А когда она успокоится, он уйдет. Уйдет, оставив ее нетронутой.

Вот так все будет.

Хорошо, что между спальней и каморкой служанки есть еще горница. А у Туры сон крепок. Хорошо и то, что перед окном спальни растут развесистые яблони. Оттуда он и может прийти. Под тенью яблоневых веток можно незаметно пробраться к окну. Этак будет всего лучше. Никто ничего не увидит и не услышит.

И как только у нее духу хватает обманывать Повеля? Муж за порог, а она тут же пускает в дом другого мужчину. До сих пор ей еще не приходилось ничего таить от него. Но он уезжает, бросает ее одну. Не след бы ему этого делать!

Вдруг ей понадобится его помощь, а его не случится тут. И во сне, когда она звала его, он не шел. Ни во сне, ни наяву нет от него помощи. И какая удача для них обоих, что ей не надо опасаться за свою честь. А ведь могло быть иначе. Оттого-то Повелю и не следовало бы покидать ее одну.

Он предает ее, уезжает из дому. Она не станет отвечать ему изменой, но, случись такое, пускай бы на себя и пенял!

Повель спрашивает: может, служанке лучше ночевать в спальне, пока он в отлучке? Не боязно ли спать одной? Может, ей поспокойнее будет, если они поночуют вдвоем? Его ведь две ночи не будет дома. Хотя лихих людей бояться теперь нечего. Правда, воров в округе довольно, но в светлые ночи они не решаются близко к деревне подходить.

Но Мэрит просит мужа не тревожиться понапрасну. У них ведь и ружье в сенях наготове стоит. Брат когда-то научил ее стрелять из него. Так что в случае чего она не сробеет. На том дело и кончилось. Но почему сегодня только четверг? Мэрит хочет поторопить время, которое вдруг застыло на месте, точно наперекор ей. Она придумывает себе все новую работу, садится подрубать простыни из своего холста, хотя это вовсе не к спеху. Она делает множество дел, с которыми можно было бы и обождать. А время — ни с места!

Четвергу конца не видно. И как раз теперь, когда хочется, чтобы время летело стрелой. Ну не досадно ли?

Дивно, что бог сотворил для людей дни разной длины. Он сотворил дни короче мига и дни долгие, как голодный год. И вот теперь он создал для Мэрит четверг, длинней которого у нее в жизни не было. Мало

того, он дал ей еще пятницу и субботу, часы которых тоже улиткой ползут. Но зато придется господу создать и субботний вечер. И этот вечер будет наградой за все муки ожидания. Меньшим бог от нее не откупится. Придется ему сотворить этот вечер небывало дивным и сладостным.

Но вот наконец пришла суббота. Повель взбирается с камня в седло, и вскоре всадник с лошадью скрываются за поворотом косогора. Уехал все-таки. Мэрит опасалась, что он раздумает, задержится на день-другой. Но отцу его все хуже, и Повелю пришлось уехать.

...Как стемнеет, слышишь?

Но день еще не кончился. Мэрит выходит во двор и пытливо, с надеждой, вглядывается вдаль. Куда подевались сумерки? Отчего не приходят? Небось у бога и для этого вечера сумерки припасены? Отчего же их нет? Ведь было же с сотворения мира предназначено, чтобы сумерки наступили и в этот вечер?

Май уже на исходе, а в такую пору темнеть начинает поздно. Но об этом Мерит не думает. В тревожном нетерпении вглядывается она вдаль. Сумерек все не видать, и она уходит в спальню дожидаться их. На душе у нее празднично. Точно такое же чувство испытывает она по воскресеньям, приближаясь к церкви. Стоит ей завидеть с ближнего холма высокую колокольню, как в душе у нее все встрепенется и ее охватывает ощущение праздника. Но пристало ли ей поминать церковь в такой вечер? Не венчаться же она собирается. Она уже венчалась летом, и тогда душа ее трепетала в ожидании чего-то необычного и праздничного. Она стояла перед алтарем...

Тогда она чувствовала то же, что и сейчас. И вдруг ей приходит в голову, что все это уже было с ней, и не однажды, а много раз. Много вечеров сидела она вот так же в ожидании. В этом нет для нее ничего нового. Она ждала долго,— до того, как стала невестой. Ждала и нынче зимой, когда сидела за прялкой и ткацким станом. Ждала много дней и вечеров и в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом, и много-много лет назад. Ждала, быть может, как раз этих сумерек, которые все не приходят...

Куда подевались сумерки? Отчего не посылает их бог с небес на землю? В горнице еще совсем светло, и ей нет нужды зажигать огонь. Она бы могла вздуть

лучину, но она и так видит, что у нее под руками. Впрочем, под руками у нее ничего нет, она сидит праздно. Надо бы заняться чем-нибудь, чтобы время поскорее шло. Можно взяться за шитье. Но все простыни уже подрублены. Не так-то просто придумать себе дело, когда ждешь сумерек, которые все не приходят. Может, сменить простыни на кровати? Там в углу стоит их с Повелем широкая супружеская кровать с пологом, которая занимает всю горницу. Можно постлать на нее чистые новые простыни. Когда-нибудь надо же это сделать, так не все ли равно — сегодня или завтра? Просто чтобы дать работу рукам.

Управившись с этим делом, она снова тихо и спокойно сидит на лавке в спальне. Сидит молодая жена Повеля и ждет, не ложится спать. Она повременит немного. Только что пробили большие стоячие часы, оповестив о том, что час еще ранний. Но, может, на нее скоро нападет зевота, и тогда она, не мешкая, ляжет в постель. Все дела уже переделаны. Все двери на запоре, ставни тоже заперты. Если вор объявится в деревне, нелегко ему будет вломиться в дом. Но Повель сказал, что в такие светлые ночи воров опасаться нечего. А все-таки наперед ничего знать нельзя... К тому же вроде и стемнело уже на дворе...

Мэрит вскакивает в испуге. Кто-то царапается в ставень. Господи, кто бы это мог быть? Молодой женщине пристало быть пугливой, и сознание это так сильно в Мэрит, что она и впрямь пугается. Страх, однако, не мешает ей проворно подойти к окну и откинуть крюк. Тотчас же чувствует она, как холодный ветер обдувает ее горящие щеки. Видно, ветрено нынче вечером на дворе. Но это приятная прохлада, она остужает лицо.

И вдруг точно ветром вдувает в спальню человека. Он стоит перед ней, он поднимает ее, и ноги у нее отделяются от пола. Она чувствует на своем теле его крепкие руки. Но ум ее еще ясен, она все замечает. Избы стоят близко друг от друга, а ставень болтается на ветру и стучит... Окно... Окно... Закрой его, накинь крюк...

Но, удостоверившись, что окно заперто, она теряет власть над собой. Он налетел на нее как вихрь, и она сама отворила окно этому вихрю. Дрожь изнеможения охватывает ее. Она закрывает глаза, она едва ды-

шит, ей тяжело даже поднять веки. Что он с нею сделал?

Жизнь, клокочущая в ее крови, теперь одна правит ею. Из груди ее вырывается жалобный стон:

— Делай со мной что хочешь!

* * *

И вот наступили сумерки, и Мэрит с Хоканом в глубокой тьме за пологом кровати, и тишина плотной стеной окружает их. Мэрит спешит поведать ему, чем она занималась до того, как он пришел. Чистыми, наглаженными простынями из сотканного ею холста устлала она постель. Из того самого холста, который он хотел спасти от воров Это было в тот раз, когда она впервые поняла, что он значит для нее. Она и сама не знает, зачем постлала эти простыни. Может, потому, что они неотделимы от ее дум и надежд. Потому, видно, и поторопилась она подрубить их, что понимала, кого ей ждать. А сейчас они оба лежат на этих простынях. Она подвинулась ближе к нему, и смех, который давно уже копился в груди молодой женщины, вырвался наружу:

— Что скажешь на это?

А сама-то она что об этом думает? Обманщица! Сколько раз за последнее время она вводила себя в обман? Хитрила, лукавила сама с собою. И добилась своего — Хокан пришел к ней. А теперь она хочет дать себе волю и ни о чем не думать. Бездонное, безбрежное спокойствие накатило на нее и накрыло с головой, точно мягкий пуховик. Ей кажется, что только теперь обрела она покой в собственном гнезде.

Но Хокан еще далек от покоя. Он ошеломлен тем, что с ним произошло. Все вышло так скоро, что он не успел опомниться. Он лежит в постели Мэрит, она прижимается к нему, она сказала, что он может делать с нею что хочет. А вдруг ему все это мерещится? Нет, он не смеет этому поверить, и потому не решается прикасаться к ней. Может, он дотронется до нее, а она обернется бревном или корягой? Может, его дурачит лесовица? Она заманивает мужчин к себе, а когда хочешь обнять ее, превращается в высохшее дерево. Он сдержит себя, выждет время, он должен сперва убедиться, что это не наваждение. Не даст он ввести себя в обман.

Хокан растерян оттого, что слишком долго ждал этого часа. Она долго была для него недосягаема, и те-

перь, когда она наконец стала ему доступна, он не решается тотчас взять ее. Он боится очнуться от наваждения одиноким и опустошенным. И потому он медлит.

Он выжидал и осторожно гладил ее. Вот она тут, лежит рядом с ним, обвивая его своей нежной, мягкой плотью. Он колеблется, но она остается все той же женщиной с теплым податливым телом. Она не исчезает, не превращается в дерево. Она не лесовица, которая становится сухой корягой, когда берешь ее в объятия. Она загорается у него под руками, кожа ее пылает там, где он прикасается к ней. Это женщина из плоти и крови. И она ждет. Это не наваждение, это явь. И он решается поверить в чудо.

Он ласкал ее. И под теплом его рук раскрылось ее лоно, тихо, покорно, готовое принять его. Оно ждало его. И тогда он взял ее. Он погрузился в мягкую теплую глубину и вознесся ввысь, к радости, от которой мутился его ум.

И она унеслась вместе с ним, разорвав путы, которые сковывали ее. Душа ее словно отделилась от тела. Еще ни разу в жизни не испытывала она ничего подобного. Ей казалось, что она взлетает все выше и выше, к неведомым вершинам. Это был упоительный полет, в котором как бы растворилось ее тело, выпустив душу на волю. Не было больше прежней Мэрит. Она сбросила с себя путы, и бурный ток крови увлек ее за собою на простор.

Из груди ее помимо воли вырвался крик, возвестивший о том, что свершилось во тьме спальни. Она кричала громко, сама не сознавая этого; кричала от наслаждения, сама не слыша своего крика. Голос ликующей крови звучал в нем.

Все было теперь иначе, так не похоже на то, что ей до сих пор довелось изведать. То ей хотелось умереть, то хотелось жить и лететь ввысь, а внутри нее клокотал смех, неудержимо рвавшийся из груди.

Невинной была до этого часа ее девичья душа, дремавшая в неведении. Теперь она окончательно пробудилась, дав волю ликующей радости. Чудо свершилось.

Простынями, которые еще прошлым летом были цветущим голубым льном, устлала она наконец свою свадебную постель. Потому что только теперь стала она мужней женой.

Бегут предательские часы, немилосердные часы, отнимающие вечность у человеческой радости. Но Хокан успевает поведать Мэрит обо всем, что накопилось у него в душе, пока он был один. Про это расскажу я ей, думал он, и про то, и про то. Чистой мукой было для него таить все в себе в то время, когда она была так близко. Он еще не встречал человека, которому ему так много надо было сказать. Он не понимал, откуда что бралось. Видно, это из-за нее он стал таким, это она побуждает его поведать ей все думы.

Перво-наперво он говорит ей, что хочет, чтобы она принадлежала только ему, и притом всю жизнь.

Потому что от правды никуда не денешься. Голая, неприкрытая правда, не щадя, напоминает о себе. Он лежит под чужим кровом, в чужой постели, с чужой женой. Что случилось, того не переиначишь, но больше такого быть не должно. Им надобно искать выход, так продолжаться не может.

И еще говорит он ей: он человек честный и совестливый и не хочет обманывать соседа. Не хочет он ходить к ней тайком. Они навеки связаны друг с другом, и не пристало им таиться от людей, точно злодеям каким. Сами-то они не считают себя злодеями? Стало быть, и вести себя они должны честно и открыто, а не пускаться в обман. И ни одного дня больше не потерпит он, чтобы она и другому была женой. Пускай знает это...

Мэрит все еще будто в тумане, и слова Хокана не доходят до нее. Так далеко она не загадывала, она думала только о том, чтобы Хокан пришел к ней. Что будет потом, она не представляла себе. Только бы он пришел и принес мир и покой ее душе — вот и все, что ей было нужно. Но она все же понимала, что сладкие утехи ее с Хоканом это что-то запретное и предаваться им надо втайне.

Что же он хочет, чтобы они сделали? Повинились во всем?

— Что ты задумал, Хокан?

— Уйти из деревни и тебя увести с собой.

— А куда мы пойдем?

— Дай срок, придумаем.

— Что с нами станется, Хокан?

Пораженная его словами о том, что он хочет убежать вместе с нею, она добавляет:

— Мы и тут могли бы остаться.

— Нет, тут нам оставаться никак нельзя.

Это-то и ей ясно. Если она уйдет к нему из дома Повеля, то тут в деревне им не жить. Закон на стороне Повеля, муж может с помощью ленсмана воротить ее обратно. А если он потребует для нее кары, то с ней поступят, как с беглой женой. Но пусть даже обойдется без этого, все равно они оба будут опозорены. Для односельчан она станет хуже прокаженной, никто в деревне больше не взглянет на нее приветливо. Нет, тут им не было бы житья, пришлось бы бежать отсюда.

Так что не это хотела сказать Мэрит. Она не хуже его понимает, что ей никак нельзя перейти к нему и жить в его доме, точно она распутная какая. Об этом она и не помышляла. Она хотела сказать, что останется в деревне, как жена Повеля.

— Куда же нам податься?

— Пойдешь, стало быть, со мной? — спросил он приблизив рот к ее полураскрытым губам.

— Сперва скажи, куда?

— Боишься мне довериться?

— Что ж, так сразу встать и идти в чем есть?

— Шутки тут не ко времени.

— Так ведь некуда нам деваться!

И тогда Хокан открывает ей то, что замыслил уже давно. Он рассказывает ей об Ингеле Силаче, своем знаменитом предке, который не ведал страха ни перед мирской, ни перед духовной властью. Он хотел жить посвоему, а раз тут все было не по нем, то он ушел в лес вместе со своей женщиной. Он кормился дичью и жил в лесу до самой смерти. Так всегда поступали в старину люди, которые не могли оставаться в деревне. И он, Хокан, теперь такой же, как они. Оставаться в деревне он не может, потому что не хочет ни с кем делить свою суженую. Не так уж глубоко увяз он в земле и может кинуть ее когда угодно. Долг за усадьбу у него не выплачен, но даже если бы он и был полновластным хозяином своей земле, то и тогда ушел бы от нее без сердечной муки, потому что хочет жить на воле вместе с Мэрит. И так же, как когда-то Ингель Силач, намеревается Хокан уйти в лес и ее увести с собою. Они заберутся в самую глухомань, уйдут в северные леса, и там их

никто не тронет. Тревожиться ей незачем, в лесу они не пропадут. Пойдет она с ним? Тогда им надо поскорей собираться в путь. Они должны уйти, пока Повель не вернулся из Юдера.

Мэрит слушает вне себя от удивления. Она и думать не могла, что Хокану такое в голову взбредет. И чем дольше она слушает его, тем больше убеждается, что все это несусветная блажь. Бежать из дому в чем стоишь! Тут, в жаркой тьме этой ночи, такие бредни еще могут прельстить, но безжалостного дневного света они не выдержат.

Она вспоминает поговорку, которую часто повторял ее отец: «любо пускаться в пляс босиком, нет пляски легче, да ноги исколоть можно». Вот в такую пляску босиком и хочет сманить ее Хокан. Но ей придется отказать ему, не пойдет она на такое! Она сызмала привыкла к прочному и обеспеченному житью. Ей нужно знать наперед, что она будет есть и где приклонит голову ночью. А то, что так красно расписывает Хокан, ничего путного не сулит. Невесть что ее ждет, если она послушается его и убежит от мужа.

— В лес бежать? Что за блажная затея!

— В лесу человек живет вольно.

— Покуда его голод обратно в деревню не прогонит.

— Нужда нас заставляет, Мэрит!

— Вот уж нет. Мы что, убили кого или ограбили?

Он хотел сказать ей, что блуд тоже почитают тяжким преступлением, но прикусил язык. Нет, он пощадит ее слух, не выговорит этого слова. Она, видно, и не догадывается, что их вина карается постыдным наказанием: плетьми, острогом, а бывает, и плахой.

Теперь заговорила она. Она объявляет ему, что и слышать не хочет ни о каком бегстве. Что ж, они станут жить в лесу точно звери какие? Может, в старину и водилось так, но то было давно, небось лет сто назад. А нынче что-то не слыхать, чтобы честные люди по лесам бегали. Лиходеи, те подаются в леса, чтобы их не схватили, но крестьянину и его жене, которые ничего худого не сделали, незачем обрекать себя на такое жалкое житье.

— И не говори ты мне больше про это, Хокан!

Но теперь ей ясно, что в душе у него нет покоя. Поэтому она должна изгнать из нее тревогу, убаюкать ее ласками.

И губы ее скользят по его лицу. Ее теплый нос тычется ему в щеку. Она ластится к нему, ждет его объятий. Она спрашивает: чего ему недостает? Может, она ему не по сердцу? Или мало ему того, что она тут, рядом с ним? Разве не должны они оба быть счастливы сверх меры? Зачем же бежать в лес? Худо ли им тут, в доме? Если они сумеют все держать втайне, то им и желать больше нечего. Сама она хочет только одного — чтобы счастье это вовек не кончалось.

— Неужто ты не рад?

Он чувствует то же, что и она, отвечает ей Хокан. И он рад без меры. Она по сердцу ему. Не ее вина в том, что на душе у него смутно. Но коли он останется тут в деревне, то покоя ему не будет, его совесть замучит. Он не сможет в глаза Повелю глядеть. Оттого-то он и хочет, чтобы они скрылись от людей.

— И помни! Делить тебя я не стану ни с кем! Нипочем не стану!

Он уже говорил ей про это, и она это знает. Она хочет лишь, чтобы он понял, что она тут, рядом с ним, что деревня спит и им никакая беда не грозит. Между тем его не отпускает тревога, он прислушивается к стуку яблоневых веток о ставень. А когда начинает светать, он заговаривает о висящей на крюке шапке Повеля, которая видна ему через щель в пологе. Вид этой шапки, похоже, мучит его. Он говорит, что ему чудится лицо под этой шапкой, обращенное к лежащим на кровати с выражением угрозы и укоризны.

Что это еще за бредни? Мэрит ведь знает, что Повель теперь в Юдере, за три мили отсюда; она убеждена, что под шапкой нет никакой головы. Но Хокана нипочем не успокоить. А как хотелось бы ей перелить в него свой безбрежный покой!

И Мэрит, побуждая его к ласкам, прижимает груди к его телу. Он жадно стискивает их. Ему принадлежат теперь эти цветущие бугорки.

Он погружается в их мягкую плоть, как в дурманящее беспамятство, забывая о том, что требовал от нее, чтобы она ушла с ним из деревни. Он помнит только об одном: она его суженая. Если принадлежали когда-нибудь на свете друг другу двое людей, так это он и Мэрит.

Они засыпали, пробуждались, разжигали друг друга ласками и пылали вместе. Так проходила эта ночь, пол-

ная любовного жара, и под конец Мэрит спросила слабым, истомленным голосом:

— Как думаешь, накажет нас бог за это?

Такого вопроса Хокан никогда себе не задавал. Его вера в божий суд и вечное проклятие была зыбкой и расплывчатой. Да и вообще семья его не отличалась набожностью. Один из его братьев был недавно обложен штрафом в пятьдесят далеров за то, что явился к святому причастию хмельной. Сам он никогда до такого святотатства не доходил, но в деревне про него говорили, что он пренебрегает словом божьим, потому что не был у исповеди уже пять лет.

И вот сейчас он слюбился с замужней, не страшась кары на том свете. Не хотел он верить, что они навлекли на себя божье проклятие только за то, что уступили неодолимому влечению плоти.

Но теперь тревога одолела Мэрит. То, что довелось ей изведать с Хоканом, было настолько не похоже на все пережитое прежде, что не могло быть дозволено смертным. Но, может, бог столь милосерден, что простит ей ее радость, хоть она и греховна? И зачем только бог сотворил грех таким сладостным? Что за влекущая сила таится в нем? Сделай господь грех мерзким и пакостным, она сумела бы остеречься его. Греху надо было бы походить на прокисшую зловонную пищу, которая уж за версту подает людям знак, чтобы они не прикасались к ней. Тогда никто не стал бы грешить...

Блуд — короткое слово, которое Мэрит слыхала и от людей, и с церковной кафедры. Почему все то, что она изведала, зовется этим коротким словом? Видно, так придумал кто-нибудь из божьих пророков, Моисей или кто другой. А может, люди его придумали, Мэрит этого толком не знает...

Но она не может не задавать себе вопроса: накажет ли ее бог? Может, ей зачтется та борьба, которую она так долго вела с собой? Может, господь припомнит, что она недавно ходила в его храм, надеясь, что он поможет ей бороться с соблазном? Может, он за это смягчит свой гнев на нее?

Мэрит умолкла, и тогда Хокан спрашивает:

— Ты небось каешься теперь?

— Нет... нет!..

Она почти выкрикивает ответ, и руки ее обвивают

его так бурно, что он начинает догадываться: могучую силу, дремавшую в его суженой, вызвал он к жизни.

— Вовек не стану каяться!

Нет, Мэрит не хочет думать, что она погрязла в блуде. Напротив, она вознеслась в горние выси. И если когда-нибудь ей придется за это гореть в аду, то все-таки она успела побывать и в раю.

МУЖНЯЯ ЖЕНА

Время было сеять рожь, а Повелю надобно было подготовить еще одну делянку, и потому рано утром в понедельник он уже был дома. Мэрит встретила его на крыльце. Не успел он сойти с коня, как она спросила его о свекре. Да, старик плох, и никто не знает, что у него за хворь. По всему видать, он может кончиться в любой час. Сам он, однако, еще надеется выздороветь, все его думы о земном.

А тут дома? Вроде бы все ладно? Повель видит, что жена, вышедшая ему навстречу, пышет здоровьем, щеки ее алеют как маков цвет. Мэрит и сама подтвердила, что ничего худого в доме не приключилось, и стала рассказывать ему о незначительных событиях, случившихся в усадьбе за эти два дня.

Частью это была правда, а частью выдумки. Надо же ей было что-то рассказать Повелю. Сначала она говорила с опаской, но видя, что он все принимает на веру и не выказывает ни малейшего сомнения, осмелела и стала лгать более уверенно.

В первую ночь ей привиделся дурной сон, будто на чердак забрались воры. Она так громко кричала со сна, что даже Тура в своей каморке услыхала эти крики. Наутро девушка сказала ей, что до смерти перепугалась, накрылась с головой овчиной и лежала, вся дрожа. Самой Мэрит вовсе не было страшно после того, как она проснулась. А что она во сне напугалась, так в том ведь она не вольна. Никогда бы не подумала, что она может так кричать...

И вышло, что она сама рассказала Повелю о том, что Тура слышала крики и придумала этому удачное объяснение.

Повелю и в голову не пришло усомниться в ее рассказе, и он даже почувствовал легкие укоры совести. Мэрит не из пугливых, но и ей небось было тягостно

и тоскливо в доме без него. Не след ему лишний раз бросать ее одну.

И поля дожидаются его. Их тоже зря бросать не след.

Не вернись Повель домой, Мэрит продолжала бы наслаждаться глубоким и блаженным покоем. Но с его приездом в душу ее вошли тревоги, сомнения, муки совести. За минувшие сутки она почти позабыла о том, что он есть на свете. Для нее существовал только Хокан. Но теперь она начала понимать, что в ее руках горе и радость другого человека. То, что случилось меж ней и Хоканом, касалось третьего. Хокан говорил ей об этом, она не хотела его слушать, но это была правда. И теперь только неверность мужу стала мучить ее. Слова Повеля, его вид, его глаза — все излучало доверие к ней. Без опасений оставил он на нее дом и усадьбу, уезжая к отцу. Он не задумался доверить ее попечению все свое добро. Но ей ли было оберегать его дом, если она и себя не смогла оберечь? Место мужа на супружеской постели она отдала другому. Едва ли было бы постыднее отдать другому все его добро.

Она хотела только одного: чтобы Хокан пришел к ней. Позабыть Повеля и стать милой Хокана было делом простым и скорым; это было легче, чем выйти из одной двери и войти в другую. Но куда труднее будет выйти из дома Повеля и навсегда уйти к Хокану. Она венчанная жена Повеля, он волен распоряжаться ее судьбой, и надо как следует поразмыслить, прежде чем решиться бежать от него. Она уже опозорила себя перед богом, но пока еще не опозорилась перед людьми.

С приездом Повеля перед нею замаячило ее будущее, и она спрашивала себя, что же с ними станется, с нею и с Хоканом? Удастся ли ей выполнить то, о чем они с Хоканом порешили меж собой? Сделаться беглянкой она не хочет. Она хочет остаться в деревне и быть хозяйкой в своем дому. Но этому мешало вот что: Хокан не хочет ее ни с кем делить. Как же сможет она оставаться в доме Повеля и в то же время отдавать себя только Хокану?

Теперь Мэрит считала себя женой Хокана и ничего так горячо не желала, как остаться верной ему. Он подарил ей счастье, и у нее начинала кружиться голова, когда она думала о тех радостях, что ей доведется изведать, если они станут жить вместе. Она догадывалась,

что и сама дала Хокану такое счастье, какого никогда не сможет дать мужу, проживи они в супружестве хоть сто лет. Но Повель вернулся, и нельзя закрывать глаза на то, что ее ждет.

Стать двумужней... Нет, нет! Сердце ее противилось этому, все нутро у нее переворачивалось при мысли об этом. Она только что нарушила верность мужу, и теперь не может еще и Хокану изменить. Она обещала Хокану, что не станет себя делить. Она могла лгать и скрывать свою неверность, но перед Хоканом она должна быть чиста,— надо же ей быть чистой хоть перед кем-нибудь! Нет, от Хокана она не хочет таить и самой малости. Но даже если б он и не потребовал от нее верности, то и тогда она нипочем не стала бы женой сразу двоим. Соединение с мужем претило ей, оно было противно и душе ее, и телу.

Придется ей пустить в ход всю свою хитрость, чтобы выпутаться из этого затруднения. Только хитрость и изворотливость оставались у нее для того, чтобы скрыть свое тайное блаженство. И потом, Повель не может мучиться от ее измены, пока не откроет ее. Стало быть, ей следует таить свою радость не только ради себя, но и ради него. Так убеждала себя Мэрит.

* * *

Был в сутках час, который радовал Повеля больше других — вечерний час, когда он после дневных трудов мог отдохнуть у себя дома. Никогда не был он так доволен жизнью, как в этот час. Он проголодался, но Мэрит уже стряпает ужин, он утомился, но скоро ляжет в постель. Все было хорошо.

А сейчас, после двух дней отлучки, это чувство довольства ощущалось им еще сильнее. Повель лежал на лавке и думал о том, что ему грех сетовать на жизнь. В доме отца ему больше не было так хорошо, как прежде, и это, видно, оттого, что ему теперь куда лучше в собственном доме, где он сам себе хозяин. Тут ему все по душе, и причиной тому — теплая близость молодой жены, которая хлопочет в доме, пока он отдыхает.

Усадьба у него богатая, без долгов. Телом он здоров и крепок, хворь и боль неведомы ему. Само собою, дневной труд на земле нелегок, но потом приходит вечер

и приходит ночь. И наступает воскресенье, когда можно хлебнуть вина, и притом вдоволь, потому что есть время проспаться до того, как наступит новый трудовой день.

И в жены ему досталась девушка, которую он желал и которую сам выбрал. Иной судьбы Повелю и не надо. Отец, должно быть, скоро умрет, но такова уж доля всех стариков; он и сам умрет в свой час, так что горевать тут не о чем.

В этот вечер Повель, как никогда, был доволен жизнью. В доме отца ему было одиноко по ночам; может, ему недоставало Мэрит? Только сейчас, когда он лежал, наблюдая за ней, ему это пришло на ум. Насытившись ужином, он лег и стал дожидаться Мэрит. Она мешкала, как всегда, когда у нее по вечерам бывало много хлопот по дому. Потом она пришла. Она улеглась в постель, и он, как всегда, потянулся к ней.

Но тут она вдруг стала жаловаться на нездоровье. Что-то ей неможется. Голову, как сверлом, сверлит, и в середке ноет. Нынче ей не хотелось бы... И она попросила, чтобы он не трогал ее сегодня...

Повель не стал ее неволить и тотчас согласился, хотя и был немного разочарован. Не то чтобы кровь у него была уж очень горяча; просто он привык обладать ею перед сном. Это было вроде как заведено.

Мэрит была так благодарна ему, что он даже устыдился. Само собою, он побережет ее, раз ей неможется. Что он, изверг, что ли, какой?

Но когда нездоровье жены не прошло и назавтра, Повель встревожился. Он приступил к ней с расспросами. Что это с ней сделалось? Днем она вроде бы работала, как всегда. Может, ей следовало бы поберечь себя и полежать в постели? Вечером она, как обычно, ходила в рощу доить и, видно, надорвалась, неся полное ведро молока. Раз ей не по себе, то нечего изводить себя, не след ей ходить на дойку. Худо печется она о своем здоровье, а ведь оно нужно не только ей, но и ему. Не подумала она, верно, об этом. Повель распекал ее, но ведь это было для ее же пользы.

На третий день Мэрит была совсем здорова, но тут вышла естественная помеха, так что на этот раз у Повеля не было повода приставать к ней с расспросами.

Мэрит ухватилась за это спасительное состояние и тянула, пока было можно. В отчаянье она не могла придумать ничего другого в свое оправдание. И она лгала

со страхом в душе. До сих пор ей удавалось выпутываться, но ведь не могло же это длиться без конца.

И Повель стал для молодой жены досадной помехой в ее существовании, которую изо дня в день приходилось обходить, прибегая ко лжи и хитрости. В его присутствии она должна была следить за собой, старалась быть такой, как всегда. Эта постоянная настороженность тяготила ее, давила, как непосильное бремя. Ей так легко и спокойно было дома без мужа. Она могла погружаться в свою тайну без опасений. Если муж неожиданно входил, она чувствовала себя застигнутой врасплох посреди своих дум, ей казалось, что он застал ее на месте преступления. В душе она жила одной жизнью, в глазах мужа другой, и это состояние было ей непривычно.

Каждый вечер она встречалась с Хоканом у водопоя. Из-за этого она уходила к ручью пораньше, а возвращалась с молоком только после заката.

Постоянно случалось что-нибудь, что задерживало ее в роще: один раз пастушонок не смог загнать скотину в загон, другой раз она не досчиталась коровы и пошла в лес ее искать, третий раз у коровы вспухло вымя, и ее трудно было выдоить. Всегда случались досадные задержки.

Мэрит плела свои небылицы с величайшим спокойствием и самым простодушным видом. Она вдруг увидела, что куда как горазда на выдумки. Она придумывала объяснения всему, о чем Повель мог бы ее спросить. Прежде она всегда была правдивой, и ее порой пугала эта лживость, которой она за собой раньше не знала. Повель же с готовностью верил ей, потому что никогда раньше не уличал ее в неправде. Не успевала она солгать один раз, как уже нужно было придумывать новую ложь, и она поняла, что одна неправда тянет за собой другую. И она стала опасаться, как бы эта вдруг открывшаяся в ней способность ко лжи не подвела ее однажды, если все это будет длиться долго.

При всем этом радость неумолчно бурлила в ней. Спустя некоторое время ей пришло в голову, что она уж чересчур усердно старается скрывать от мужа свою новую жизнь. Его доверчивость была ей лучшей защитой. Повель был убежден, что она занята только мужем, работой, хозяйством. Ему и в голову не приходило, что жена может делать что-то втайне от него. Ни зло, ни

добро, казалось ему, не может коснуться ее помимо него. Все ее радости и горести могли быть связаны только с ним.

Повель не видел в жене человека с живыми, изменчивыми чувствами. Прежде это обижало ее, но теперь только радовало, потому что она мало-помалу осмеливалась даже при нем погружаться в свою радость. Ей не было нужды следить за собой. У нее голова шла кругом в ожидании встречи с Хоканом, но Повель ничего не замечал. А когда она возвращалась вечером из рощи после объятий Хокана, румяная от пережитых наслаждений, с пылающим лицом и гулко стучащей кровью, Повель и этого не видел.

В эти дни пышным цветом распустилась юная свежесть Мэрит. И эта разительная перемена прошла мимо глаз Повеля, хотя Мэрит жила бок о бок с ним.

Стоило ростку на его поле подняться хоть на вершок, он тотчас примечал это. Пристально наблюдал он и за тем, как вызревает колос. Но в эти весенние дни проходило мимо его глаз то, что творилось с его женой. Он и не заметил, как налилась зрелостью юная женская плоть и как стала Мэрит воистину мужней женой.

Но правда и то, что не от него исходило тепло, которое дало ей созреть.

ОТПЛАЧУ И Я ТЕБЕ ДОБРОМ

Хокан Ингельссон боронит поле, на котором посеет рожь. День знойный, и воловья упряжка движется еле-еле. Большая борона медленно волочится по земле взад и вперед. Она ползет неуклюже, как огромная жаба-многоножка. Лениво, словно нехотя, разрывает борона чернозем острыми когтями.

Четвертый час подряд боронит он поле. Он-то выдержит, на нем нет ярма, а вот волов ему жаль, они изнемогают от жары в своей толстой шкуре. Хорошо еще, что волы так терпеливы. Нож холостильщика лишил молодых бычков норова и воли и превратил их в боязливых, покорных тупых животных, которые терпят и вицу, и ярмо, и тяжкий груз. Люди холостят неразумную скотину, им нужна покорная выя, чтобы надеть на нее ярмо.

Хокан охолостил своих быков, потому что ему понадобились тягловые животные, чтобы пахать землю. Но

землю-то он пашет не для себя, он и сам яремный раб. Выходит, и у него ярмо на шее.

Да, ярмо на нем есть, но оно больше не гнетет его. Жизнь его так полна, что для дум о долгах в ней не остается места. Мэрит — его суженая, только его. Он точно с головой окунулся в ее мягкое тепло. Блаженным безумием наградила она его. От ее объятий у него дух захватывает. Он как будто раскален ею. Она вспыхивает под его устами, как огонь под дыханием, и нет для него на свете большей радости, чем видеть, как она загорается от его ласк. До конца дней своих будет он помнить ее такой, какой она бывает в те минуты, когда страсть захлестывает ее. Несказанно прекрасным становится ее светящееся восторгом лицо. Какая сила изменяет его? В такие минуты перед ним женщина, которой он до этого не знал. Она и сама говорила ему, что становится на себя не похожа.

Но Мэрит боится божьего суда за свой грех. Он убеждал ее, что она хозяйка своему телу и в ее власти избавить его от мук или искать для него утехи. Не пастор с его проповедями распоряжается ее телом. Она вольна отдать его тому, кого сама изберет. Но ее мучит страх... Он уже давно примечает, что только страх и делает людей набожными и богобоязненными. И не потому, что они норовят попасть в рай, а потому, что хотят спастись от ада. Такое благочестие немногого стоит, без него можно обойтись, потому что оно не делает людей лучше.

А вот его, Хокана, муки совести одолевают. Словно тать в ночи, забрался он в чужой дом и украл Мэрит у мужа. Ему надо было сказать Повелю напрямик:

— Я отниму у тебя жену. Так и знай!

Тогда она не досталась бы ему так легко, но зато он поступил бы открыто и честно. И не совершил бы неправого дела. Повель должен отпустить на волю жену, раз не может быть ей мужем. Неправда лишь в обмане, на который он пускается.

— Я беру ее у тебя. Она моя теперь!

Вот как надо было сказать. И вина перед соседом не тяготила бы его.

А теперь для него мука мученическая встречаться с ним. Кровь кидается ему в лицо, как только он завидит Повеля. И говорить ему с ним тягостно, слова не идут с языка. Он стал сторониться соседа. Уже много дней не

бывал он в его доме. Но Мэрит говорит ему: им надобно хитрить, чтобы не выдать себя. Ни словом, ни взглядом не должны они открывать, что у них на душе. Но излишняя хитрость тоже опасна. Вот он, похоже чересчур старается. Ведь Повель может и недоброе заподозрить, если он ни с того ни с сего станет его сторониться. Не след ему забывать, что они с Повелем приятели, и вести себя он должен по-дружески. Ему надо, как и раньше, приходить к ним в дом, а не бегать от Повеля.

И Хокан поддается на ее уговоры. Он видится с Повелем, хоть встречи эти для него горше горького. Внутренний голос постоянно твердит ему: «Вор! Трусливый вор!» Тяжкое напоминание для человека, который до сих пор никогда не поступал против совести. А иной раз Хокану чудится, будто Повель подозревает что-то. Вот уж и встречает его не так сердечно, как бывало раньше. Наверняка что-то учуял. И слова Повеля он толкует на свой лад, думает, нет ли подвоха в его речах, не хочет ли он выведать что-нибудь насчет его и Мэрит? И Хокан с тревогой спрашивает Мэрит, так ли это. Но она только смеется в ответ. Повель знает не больше, чем дитя в люльке.

Случается, что он застает Повеля и Мэрит вечером около их избы, а когда они прощаются, она уходит в дом с Повелем, а он остается за порогом. И тогда сердце его когтит жгучая боль, и он еле сдерживается, чтобы не закричать:

— Несправедливо это! Не по совести! Не с тобой она должна идти, а со мной... Она моя! Час назад в лесу она была со мной!

И по пути домой его грызет мысль, что он не довел дела до конца. Он отнял жену у Повеля, но оставил ее в его постели. Да, он остановился на полдороге — не годится это! Повель ведь не знает, что Мэрит теперь его, Хокана, жена и, должно быть, не может понять, отчего ему нельзя трогать ее. Нет, этого нельзя так оставить! Глубокие складки прорезают лоб Хокана, в мучительном раздумье шагает он за бороной, лениво ползущей по полю.

* * *

Со стороны косогора слышится шум. Хокан вглядывается вдаль, заслоняя ладонью глаза от солнца. Ка-

кой-то всадник едет в деревню. Ей-богу, этот незваный гость едет к нему.

Жданный, но незваный.

Ленсман едет к нему в дом.

Хокан Ингельссон знает, какое у ленсмана до него дело. Но он продолжает как ни в чем не бывало боронить поле. Не станет он бежать навстречу этакому гостю и распахивать перед ним двери настежь. Пускай ленсман колотит в дверь, все равно никто ему не отворит, Элин собирает хворост на лугу. Не найдя хозяина в доме, ленсман заглянет в хлев, а потом отправится в поле. Пускай потрудится, заработает свой хлеб. В поле он найдет, кого искал, потому что Хокан не собирается хорониться от него.

Вскоре ленсман обнаруживает Хокана и идет к нему по сухой взбороненной пашне. Комья земли летят из-под его сапог. Это жирный малый с шумным дыханием.

— Это ты Хокан Ингельссон? Владелец податного надела в Хэгербеке?

— Арендатор, так вернее будет, ленсман.

— Владелец! Землю-то ты купил!

— Купил, да не заплатил. Стало быть, не моя она.

— Все равно владелец! — раздраженно бросает ленсман.

— Владелец живет в Кальмаре.

— Молчи! Нечего отпираться. Ты-то мне и нужен.

Хокану любо дразнить королевского чиновника, но ленсман скоро кладет этому конец. Он вынимает лист бумаги, скрепленный огромной красной печатью, разворачивает ее и громким голосом читает: «Срок платежа процентов минул в марте четырнадцатого дня, а посему долг за землю взыскуется по закону. Истец, купец Шёрлинг из Кальмара, заявил о неплатеже на весеннем тинге в Упвидинге, и ответчику, Хокану Ингельссону, надлежит по закону выплатить долг в пятьсот далеров, и також издержки по суду, буде имение его под арест попадет».

Вот о чем говорилось в бумаге многословно и витиевато, на господский лад.

— Есть у тебя деньги, Ингельссон? Или имущество?

У Хокана осталось двадцать далеров от продажи коровы. Но это только двадцатая часть долга. Поэтому он не утруждает себя ответом, а молча указывает вицей на

волов. Ленсман не понимает его, он злится, и Хокан снова тычет вицей в упряжку:

— Животину берите.

— Волов в заклад? Это ты хочешь сказать?

Ленсман окидывает животных оценивающим взглядом. На пятьсот далеров они не потянут, пожалуй.

— Не моя вина, что они отощали. Еще корова на лугу ходит. Так та и вовсе кожа да кости.

Лицо Хокана наливается кровью. Гнев обуревает его. Он с такой силой сжимает челюсти, что зубы скрипят. И вдруг отшвыривает от себя прут, который со свистом отлетает в сторону.

— Берите скотину! Забирайте! Только пускай уж тогда хозяин земли сам и пашет, прах его возьми. Так ему и скажите!

Ленсмана не удивляет этот гневный выпад. Он хорошо знает, до чего строптив и буен народ в здешней округе. Лишний раз спину в поклоне не согнут. И никакая власть им не указ, и законы они свои хотели бы установить. Но все же он велит Хокану попридержать язык, потому что он, ленсман, слуга короны и не намерен терпеть поношения, когда выполняет свой долг.

Ленсман вынимает печать и ставит отметину на воловьих рогах. На волов наложен арест за долги, но ленсман не уводит их со двора, они останутся у Хокана еще день-другой, пока не явится судебный исполнитель. И тогда волов уведут, ежели Хокан не выкупит их. Ему, поди, нужен рабочий скот в страдную пору. А не выкупит он скотину, ее с торгов продадут. Если же продажная цена не покроет долг, ленсман явится снова и наложит арест на другое его добро. Понятно ли это Ингельссону?

— Волов выкупать я не стану. Хоть сейчас берите их!

Услышав это, ленсман обещает прислать за волами завтра утром. На прощание он говорит что-то насчет повиновения закону. Никто тут не чинит несправедливости. Купец Шёрлинг вправе взыскать долг, тут дело ясное и правое.

Хокан смотрит на тропу косогора, по которой удаляется незваный гость. Он забыл спросить ленсмана вот о чем: что он должен был сделать, чтобы набрать пятьсот далеров для купца? Он вроде не проел эти деньги, не ублажал свою утробу. По пальцам можно пересчи-

тать те куски мяса, которые варились в его котле нынешней зимой, а вкус масла он уж и не помнит. Все, что можно было продать, отправлялось на возах в Карльскруну и Кальмар. Себе в пищу крестьянин оставляет лишь то, чем погнушаются горожане. Но на деньги, вырученные за масло и прочую снедь, ему приходилось покупать корма. Откуда же было ему взять денег на уплату долга? Может, ленсман знает? Но он до того озлился, что не стал об этом говорить. А надо было бы ему спросить ленсмана...

И баклуши он вроде не бил. Но знатные господа, должно быть, втемяшили в голову ленсману, будто против неурожая одно средство — работа. Хотят видно, чтобы он еще пуще спину гнул на поле. И ленсман его владельцем земли назвал! Думают задурить ему голову, чтобы он и сам поверил, будто это его земля! Изо дня в день проливал он на ней пот, из кожи вон лез, чтобы кому-то каждый год по пятьсот далеров отдавать. А теперь, когда у него скотину отняли под залог, он должен еще в ноги за это кланяться. Слова поперек сказать не смей! Может, еще и шею им подставить, чтоб ловчей было хомут надевать? Только он не вол, чтобы кнута бояться. Он не холощен, как бык. Не лишился он еще воли, может и отпор дать. Он сам своей жизни хозяин и не хочет быть кому-то рабом. А что, ежели хоть раз выпрямить спину, дать отдых рукам и ногам? Не столь уж глубоко увяз он в чужой земле, может и отряхнуть ее с ног.

Так думает Хокан, глядя вслед нежданному гостю. Потом он переводит взгляд на красивые отметины, которые ленсман припечатал на воловьих рогах. Животные стоят, точно похваляясь этими украшениями и как бы говорят Хокану: «Ты нам теперь не хозяин! Бросай вицу, бросай вожжи, снимай с нас ярмо!»

И Хокан поспешно распрягает волов и отпускает их на волю. Сроду не пахал он на чужих волах, не станет он этого делать и теперь.

* * *

Но Мэрит, с которой Хокан встретился в лесу, до смерти напугана его вестями. Денежные заботы ей неведомы и потому вдвойне страшат ее. Родители у нее были люди с достатком, в их доме ленсман никогда не

брал ничего в заклад за долги. Что может быть для крестьянина страшнее, чем лишиться рабочего скота? Она встревожилась за Хокана:

— Неужто и выхода никакого не придумать?

— Выхода не придумать? — рассмеялся Хокан.

Жизнь у него вся впереди — лучше этого ничего не придумаешь. И пускай хоть тысячи ленсманов шляются туда-сюда, поминая все и бога, и черта. На то, что у него в душе сокрыто, ни один ленсман арест не наложит. Мэрит подивилась его легкомыслию:

— Образумься, Хокан! Надо подумать, как долг заплатить.

Не станет он долг платить. Где ему взять? Трудом ему эти пятьсот далеров не нажить. А ходить с шапкой по дворам он тоже не станет, больно стыд велик. Может, на воровство решиться? Согласна она прихватить суму да заняться с ним разбоем нынче ночью? Им ведь не внове по кривым дорожкам ходить.

Так он обернул все в шутку. Но Мэрит знала, что он принужден будет заплатить долг, потому что так всегда поступают честные люди.

— Честные? — переспросил он.— А кто эти честные люди? Ты видала таких?

Может она сказать, кто продал землю первому, самому первому хозяину на свете? Не может, то-то! Потому что самый первый владелец земли украл ее. И все хозяева на свете — потомки того вора. Куплена ли земля, в наследство ли досталась — все равно спервоначалу она была украдена. Может, это одни его догадки, но он уверен, что так оно и было на самом деле.

Мэрит горячо возразила ему, что он ошибается. Тот, кто возделал поле, честно оплатил его своим трудом. Стало быть, он не вор и потомки его не воры.

— Я вот семь лет гнул спину на этом поле, а оно все не мое. И вовек моим не станет.

На это она не нашлась, что возразить. Это верно, земли ему не выкупить, сколько бы ни пролил он на ней пота. И даже теперь с него могут взыскать весь долг и отнять землю только за то, что он в срок проценты не заплатил.

Вот какие у него дела. И Хокан по горло сыт всем этим. Изо дня в день трудится он на своем поле, далер за далером копит; соберет пятьсот далеров, отдаст их

купцу, а потом опять начинай все сначала. Ну, не подневольный ли он холоп?

— Уж больно ты строптив,— сокрушенно сказала Мэрит.

Тут она ошибается. На всем белом свете не было крестьянина покладистей его. Семь лет жизни ушло у него на то, чтобы купец Шёрлинг каждый год получал свои деньги. Семь лет он терпел, а теперь довольно, будет с него. Они-то небось думают, что он и дальше станет терпеть, покуда его на погост не снесут. Тогда пастор мог бы сказать над его прахом: «Во гробе сем покоится Хокан из рода Ингельссонов. Из земли ты вышел, вся жизнь твоя пошла на уплату долгов да податей, и в землю ты вернулся». Да, по праву мог бы сказать пастор такие слова над его открытой могилой.

Только ему не по вкусу такие похороны. Может, он хочет воли, пока жив. Он отвернется от мира, где вершатся неправедные законы. В этом мире и оглядеться не успеешь, как подлецом станешь, коли себя не убережешь. Небось он видит, как с ними обоими вышло...

Мэрит слушает его со страхом и удивлением. Таких речей ей еще никогда не доводилось слышать из уст крестьянина. Ни отец ее, ни Повель никогда такого не говорили. Ей ясно, что Хокан на опасном пути и слушать его нечего. Надо жить своим домом, терпеливо трудиться на земле, покорствовать пастору и ленсману и быть всем довольным. Так жили ее предки, так и она станет жить, и это верней верного.

Мэрит теперь поняла, до чего строптив Хокан. Поняла она и другое: Хокан хочет склонить ее к бегству из дому.

* * *

Слух прошел по деревне — ленсман отобрал у Хокана волов в заклад, и вся деревня судит и рядит про это. Все гадают, останется ли до конца года на своей земле последний землевладелец из рода Ингельссонов.

Но когда судебный исполнитель увел волов Хокана, один из односельчан явился к нему и предложил свою упряжку. Это был Повель. Он уже управился с севом, и волы ему не надобны. Хокан может держать их у себя, пока весь надел не вспашет. Волов он может взять, когда хочет, упряжка в хлеву наготове стоит.

Хокан думал было отказаться от помощи. Не станет он пахать землю на чужих волах, он и своих выпряг из ярма, когда ленсман поставил им печать на рога. А тут волы Повеля. Нет, нипочем не возьмет он скотину у Повеля! И отчего это никто другой из деревенских не предложил ему волов! Вот кабы кто другой явился! Тогда он мог бы сказать Повелю: «Благодарствую, сосед, уж мне другие помогли». Но никто другой в деревне не вызвался ему помочь. И надо же, чтобы в аккурат Повель пришел к нему. Вот незадача! Он скорее оставит поле незасеянным, чем примет помощь от Повеля. Надо бы отказаться от волов Повеля, но какой резон он приведет соседу? Тот его за полоумного примет или, еще того хуже, заподозрит что-нибудь. Нет, не след ему отказываться от помощи соседа, не то Повель станет гадать, в чем тут причина. Придется взять волов.

И он идет с Повелем к нему домой, выводит из хлева его упряжку и говорит:

— Благодарствую, Повель! Отплачу и я тебе добром.

А эти-то слова откуда взялись, дьявол их побери? Неужто с его языка сорвались? Сбежали с губ, точно неразумная скотина из загона. И Хокан изо всех сил прикусывает свой лживый язык. Что это с ним сталось? Никогда раньше не говорил он таких слов. Благодарить Повеля он должен, но сказать, что он ему добром за это отплатит — значит глумиться над соседом. Он ведь и сам не верит в то, что воздаст Повелю добром. Он знает, что ему вовек с соседом не расквитаться.

Днем он пашет землю на волах Повеля, а вечером тешится втайне с его женой.

Все это мучит его безмерно. Он все глубже увязает во лжи. Честнее было бы силой отнять жену у Повеля и бежать с нею в лес. Тогда ему нечего было бы скрывать. А теперь он не по-мужски поступает, ведет себя как трус.

Если бы Мэрит согласна была бежать с ним, этого бы не случилось. И каждый вечер он твердит ей, что надо положить этому конец. Негоже есть хлеб Повеля и спать под его кровом, раз она больше не жена ему. И вольно же ей так жить! Ложью и обманом покупает она свое спокойное житье. Худая это сделка, думается ему.

Хокан полагал, что это Мэрит надоумила мужа

предложить волов. Но Повель сам пришел к нему. Ведь его волы стояли в хлеву без дела, и ему ничего не стоило услужить по дружбе соседу. Мэрит, напротив, не одобряла его желания помочь Хокану. Она говорила, что они уж и так довольно помогали соседу, будет с него! Родня он им, что ли? И вернет ли когда-нибудь Хокан сено, что занял у них? Увидят ли они когда одолженное ему зерно, хотела бы она знать.

Да, у Мэрит хватило хитрости оговаривать Хокана перед мужем и тем самым принудить Повеля заступиться за соседа. После она сама дивилась своему лукавству.

Сосед — мужик славный, грех ему не пособить, возражал ей муж. Да и немалого труда стоило ему убедить Хокана взять его упряжку. Тот, видно, чувствует, что чересчур много задолжал им. И неблагодарным его не назовешь. Сосед наверняка воздаст ему добром, коли до него какая нужда случится.

Повель с такой похвалой отзывался о Хокане, что жена умолкла и глубоко раскаялась в своих словах. Откуда в ней столько коварства? Ведь она мужа дураком выставляет. Или мало ей того, что она его обманывает? Она принимает его заботы, но отказывает ему в ласке. А теперь вдобавок вздумала еще и глумиться над ним!

Мэрит сама себя не узнает. Она и не подозревала, сколько лживости таится в ней. Неужто Хокан прав, и они станут подлыми людьми, если и дальше будут втайне предаваться любви?

Временами Мэрит пытается разобраться в своей душе. Ей хотелось бы скинуть с себя хотя бы часть вины. Если бы она могла сделать Повелю добро, хотя бы чем-нибудь искупить свое прегрешение перед ним, ей стало бы легче. И у нее есть средство сделать это. Очень простое и верное средство. Но воспользоваться им она не может.

«Помни — делить тебя я не стану ни с кем». В ушах ее еще звучит голос Хокана. И голос этот полон грозной решимости. Это не пустые слова: «Я не стану тебя делить ни с кем...»

Да и сама Мэрит хочет быть женой только одному. Но мало-помалу она начинает понимать, что выбор у нее невелик: либо бежать из дома Повеля, либо уступить ему. Третьего пути у нее нет.

Не может же она вечно прибегать к уверткам, придумывать отговорки неделя за неделей всякий раз, когда муж захочет взять ее.

Прежде она никогда не вела себя так, и у него могут пробудиться подозрения. Хоть и доверчив он, а и у него может родиться мысль, что другой занял его место. Ей уже сейчас чудится, что он как-то странно на нее поглядывает.

И наступил вечер, когда Мэрит не смогла придумать никакой отговорки. Никакой причины, которую Повель счел бы основательной. Мэрит боролась с собой. Желание угодить мужу, сделать ему добро вновь пробудилось в ней. Ей казалось, что она облегчит свою совесть, если выполнит свой супружеский долг, и вина ее вроде бы станет меньше. Придется уступить ему, иного выхода нет. Если не из желания угодить, то хотя бы для того, чтобы усыпить его подозрения. Она объяснит это Хокану, скажет, что была принуждена к тому,— и он ее поймет.

Повель взял ее. Она не ощутила никакой радости. После этого он крепко заснул, но жена его долго лежала без сна.

Все-таки случилось это: теперь она им обоим неверная жена — и Повелю, и Хокану. Всего лишь за несколько часов она побывала в объятиях двоих мужчин.

Вот когда она сделалась шлюхой. Вот когда она погрязла в блуде. Она стала двоемужницей.

В душе ее поднялись отвращение и стыд. Но что случилось, того не переиначишь, Мэрит разрыдалась. Долго лила она слезы, оплакивая свою судьбу.

ДВОЕМУЖНИЦА

Элин пуще всех горевала о том, что забрали волов. Она так привыкла ко всему, что было в хозяйстве, будто это принадлежало ей самой. Как она плакала, когда лучшая дойная корова повалилась, вытянув голову и ноги, и ее пришлось закопать в землю! Вот и теперь, когда воловье стойло опустело, Элин спряталась за хлевом и дала волю слезам. Хозяину она не хотела выказывать, что горюет; он тут же спросил бы, какое, мол, ей дело до его скотины.

Крестьянин без тягла не крестьянин. Теперь Хокану придется туго. Элин желала помочь ему, как могла, выкупить волов. У нее было накоплено из жалованья триста риксдалеров, тратить их она пока не собиралась. Эти деньги она могла бы дать Хокану в долг. Она достала монеты из сундучка и выложила их на стол перед хозяином.

Но Хокан денег не взял:

— Тебе самой пригодится каждый грош!

Не сказав ни слова в ответ, она снова спрятала деньги. Недаром она боялась, что он не станет у нее одалживаться.

Решив, что Элин обиделась, Хокан сказал:

— Нечестно брать в долг, коли нечем отдавать.

Поняла ли она, что он отказался от денег, потому что не хотел ее обманывать? Да и не желал зависеть от своей работницы, быть у нее в долгу.

Хокан был люб Элин, ей хотелось сделать ему добро. Только он снова отказался от ее помощи. С горечью думала она: верно, он вовсе ее ни во что не ставит, раз не хочет, чтобы она помогла ему? Но тут же утешала себя мыслью: а может, он правду говорит, может, боится, что не сумеет отдать долг... И стоило ей только так подумать, как на душе сразу полегчало. Не в том дело, что она ему нелюба, просто он денег ее не хочет брать. Поверив в это, она ходила счастливая целый день.

У Хокана на душе было светло, но Элин не сводила с него тревожного взгляда. Хозяйство все меньше и меньше заботило его. Поле этой весною он засеял не все. Тратил время попусту, будто имел десяток работников. Почитай, каждый вечер уходил в лес. Иной раз брал с собой ружье и говорил, будто идет стрелять дичь, однако домой не приносил ни перышка. И дома не работал, как следует быть, и охотился баловства ради.

Пойдет так дело и впредь, сгонят хозяина из избы и со двора. Когда же и на пятую неделю зерно не было высеяно, Элин не выдержала. Пусть ее вечно осаживают, все равно, она скажет ему: негоже так поздно сеять.

— Вижу я, быть беде в этой усадьбе.

— Посею, когда с другими делами управлюсь.

— То-то и худо. Глаза бы мои ни на что не глядели.

— А ты и не гляди, а не нравится, так уходи со двора.

— Ну коли я не гожусь боле...

— Лучше помалкивай, когда тебя не спрашивают!

Щеки у Хокана слегка покраснели. Станет она и впредь выговаривать ему, ей здесь больше не служить.

Элин никак не могла угодить ему. Да и к чему было обманывать себя, думать, будто он просто не показывает виду, что она нужна ему? Он и слушать-то ее не хотел.

Может, он поймет, что дело худо, коли она станет подавать ему на стол то, что люди едят в лихой год. И он не получит другой еды, покуда не одумается.

Однажды вечером, собираясь завести тесто для хлеба, она вынула из ларя последнюю меру ржи и ссыпала зерно в мешок. Когда же Хокан взял мешок и собрался идти на мельницу, она сказала, что ларь уже пуст... Стало быть, хлеба из чистой муки в доме больше не будет. А нового помола ждать еще добрых три месяца... Не слышит он, что ли?.. Только и эти слова его не тронули. Молча взвалил он мешок на спину и пошел вниз, к мельнице, где теперь каждый крестьянин сам молол свое зерно.

Опять он не сказал ни словечка. Неужто снова осерчал? Долго не шел он назад с мукой. Элин, желая поставить тесто на ночь, уже терпение потеряла. Зерно из маленького мешка можно было смолоть за какой-нибудь час. Если только до него кто-нибудь уже не засыпал свое зерно... Она подождала еще, а потом пошла на горку к водопаду узнать, отчего он не идет домой. Уж не повредился ли, когда молол зерно?

На мельнице никого не было. Жернова стояли неподвижно, только водопад шумел.

По дороге домой Элин все думала — отчего он все-таки не пошел на мельницу? Вскоре Хокан вернулся, только без мешка.

— Сегодня староста мелет зерно. Я ждать не стал, смелю завтра утром.

Хокан лгал! А ведь человек лжет, чтобы скрыть правду. Что же он хотел утаить?

Она торопилась ставить тесто. А у него, видно, были дела поважнее, чем молоть зерно. Где он был? Элин терялась в догадках: он всегда уходил из дому перед заходом солнца. Что за тайные дела у него? Ей надобно непременно все разузнать.

На другой вечер Элин прокралась за ним. Он сделал большой крюк и спустился к ручью, потом пошел по узенькой тропке вдоль межи. Элин крадучись шла за ним, держась поодаль, покуда не поняла, куда он идет. Он нырнул в осиновую рощу возле того места, где были мостки Повеля, и скрылся в зарослях кустов. Оттуда он так и не вышел, сколько она ни глядела.

А с другой стороны к роще подошла женщина с подойником. Она тоже вошла в кусты. Там они оба и исчезли.

Элин подосадовала сама на себя. Ну и глупа же она, слепой надо было быть, чтобы ранее того не заметить. Вон за какой дичью он в лес-то ходил, разгадана загадка. И стало ясно все, над чем она голову ломала в последний год.

Хокан связался с женой Повеля.

Шлюха поганая... Элин в жар бросило с досады. До чего же бесстыжа эта потаскуха — не успела обвенчаться с завидным женихом, как уже хороводится в лесу с другим. Да с этой мерзкой бабы шкуру надо спустить, волосы ей все повыдергать. Хокан слаб, и честь свою позабыл, коли связался с чужою женой, но его она не винила, он-то ни с кем обручен не был. Гнев и обида кипели в ней — это Мэрит одна во всем виновата. Да разве по ней не видно, что она за птица, жена Повеля? Глаза зеленые, как у тролля, задом вертит, будто каждого манит согрешить с ней, мол, давай пойдем да приляжем. Честная христианка должна быть довольна своим богоданным мужем, а этой злыдне окаянной подавай и своего, и чужого. Вовек не видать ей отпущения грехов...

Своего и чужого... У Элин нельзя было украсть то, что ей никогда не принадлежало... Но ей все же казалось, будто Мэрит отняла у нее Хокана. Теперь ей стало понятно: Хокан был совсем другой, покуда Повель с женою не поселились здесь. Раньше он замечал ее и ценил больше. А эта женщина, которая вошла в кусты вслед за ним, ровно сглазила его...

Элин вернулась назад в деревню. Одна лишь мысль жгла ей сердце: «Что там творится в кустах?» Она старалась отогнать от себя видение, что вставало у нее перед глазами и мучило ее. Она стыдилась его, как срама, но снова и снова вызывала его, словно хотела запомнить. Нет, оно не будило в ней чувство сладкого гре-

ха, а лишь мучило, не давало покоя. Элин не хотела признаться, что завидует той, другой. Нет, ее просто привел в смятение черный грех, о котором она узнала. Сколь низко могут пасть крещеные люди, душа содрогается от страха, как подумаешь о том!

Итак, она узнала правду. Но что ей теперь делать с этой правдой?

Проходит час, Хокан возвращается домой к вечерней трапезе. Увидев его в дверях, Элин онемела от страха.

Что это стряслось с ее хозяином? Глаза горят, сам весь дрожит. Что случилось нынче вечером у ручья? Неужто Повель застал их там? Что-то стряслось с ним, уж это точно. Она привыкла читать на лице Хокана, в каком он расположении духа. Он тяжело дышит от гнева, да, она видит, что им овладел гнев. Выдвинул вперед нижнюю губу, словно боится выпустить на волю проклятия и худые слова, что скопились во рту. Когда у человека такое на лице, он уже не в силах говорить — он рычит, воет, он бушует. Что-то привело Хокана в ярость.

Элин с трудом удерживается на ногах. Он, поди, гневается на нее! Увидал, что она шла за ним, подглядывала! И теперь озлился за то, что она лезет не в свое дело. Надо думать, прогонит ее со двора нынче же вечером, станет бить ее, изобьет до полусмерти. Пусть себе колотит, она стерпит.

Хокан подходит к дверям — возле косяка висит топор. У Элин подкосились ноги, не совладать с собой.

Да только страх ее напрасен. Он садится, молча черпает кашу-размазню деревянной ложкой, ест. После, так и не сказав ни слова, идет спать. Стало быть, не в ней дело. Сидя за столом, он вовсе не замечал ее. На кого же он тогда гневался? Может, он дрался с Повелем? Но синяков она, вроде бы, не приметила. Правда, Хокан куда сильнее, и, верно, теперь Повель ходит в синяках. Элин теряется в догадках, но ей надобно делать вид, будто она ничего и знать не знает.

Хокан тоже думает, что он ловко притворяется. Сидит себе и ест, ничем не выдавая, что у него на душе. Он сумел подавить свою боль. В груди у него словно все изранено, изодрано, болит так, что хочется выть в голос. Он давит себе кулаком ребра, чтобы сдержаться. И в то же время ему немного стыдно. Что это он так разошелся? Уж больно нежная у него душа! Отчего он не может

быть разумным, как все люди? Он украл жену у мужа, муж берет ее назад, что из того? Отчего же в груди у него ровно пожар горит? Будто ее пожирает горячий щелок... Да ведь Мэрит принадлежала ему... ему... Не силой взял он ее, она сама его выбрала, по доброй воле. И стала принадлежать ему.

Бил муж ее? Нет, нет... Не сделала ли она себе худа?.. Нет, надо спать, забыть обо всем...

* * *

Встретив Мэрит, он сразу прочел в ее глазах: что-то случилось. Разве не выступил у нее на щеках румянец стыда? Схватив ее за руки, он спросил:

— Ты допустила его до себя?

— Пришлось уступить ему. А куда мне было деваться?

— Врешь ты все! — закричал он.

— Он заставил меня. Не помогли больше отговорки.

Перед глазами у него полыхнул кроваво-красный огонь. Только что его пальцы бережно держали ее округлые руки, гладили их, как пушок, как лепестки цветка. Но ласковые пальцы стали в миг железными. Он сжал ее руку так, что она закричала: о... о... о... что он, с ума спятил? Ведь он живую плоть в кулаках сжал. Может, он решил, что это не рука, а топорище или железный светец? Она — живое создание и чувствует боль.

— Что ты натворила?

— Не виновата я!

— Так ты и с тем, и с другим! Что ты за человек? Кто ты такая? Кто ты такая?

Он ревел, как зверь, он кричал. Ей надобно утихомирить его,— в деревне могли услыхать, подумать, что в лесу кричит человек в когтях волка. Да он и набросился на нее, как волк, сжал железными руками. Потом в сердцах отшвырнул от себя — она упала на землю.

— Я делить тебя ни с кем не стану. Либо все, либо ничего, сама знаешь!

— Заставил он меня, Хокан, миленький!

— Нечего было оставаться у него в доме!

— Куда же мне было идти-то?

— Теперь ступай к нему. Меня тебе больше не видать!

— Нет... Не-ет... Возьми меня назад!

— Назад? Так и буду брать каждый раз? Есть у тебя стыд-то?

Она поднялась на ноги, съежилась, словно хотела стать меньше, и пошла к нему. Однако руки его не протянулись ей навстречу, не прижали к своему телу.

— Воротись, Хокан! — теперь уже она кричала в отчаянье. Но он отступил назад.

— Ни за что на свете не спознаюсь я боле с тобой. Раз он владеет тобой, стало быть, ты не моя.

Она плакала, уверяла, что он не прав. Хотела защититься, объяснить, почему делила себя меж ним и Повелем. Но он не желал слушать ее. Слова Мэрит пролетали мимо его ушей.

Хокан ничего не слышал — он только видел. Видел ее с мужем. Еще не остыв от его тела, она отдалась Повелю. От него она пошла прямехонько домой в постель к мужу. Она была полна им, когда пошла к другому. Предала его, променяла. Будто самого его использовали на срамной лад. Им овладели гнев и стыд — словно его раздели на людях догола.

Он не знал, что делать с ней. Прибить?.. Может, станет легче, коли он прибьет ее. Но ведь он мужчина, а она — женщина. Даст он волю своей силушке, так после будет стыдиться и каяться. Нет, лучше оставить ее здесь, уйти навсегда. Последний раз он дотронулся до нее, когда отшвырнул от себя.

Он поспешил прочь. Тут Мэрит, казалось, забыла всякую осторожность: она кричала ему вслед, называла ненаглядным, молила воротиться. Но он ничего не слышал, он только видел... Крики замирали, не достигнув его ушей, слова пролетали мимо.

Вот Хокан дома, он пытается заснуть, но проклятое видение вновь встает перед ним: Повель и Мэрит... Такое никогда ему не виделось, покуда он не завладел ею. Тогда тело ее было для него чем-то запретным: не он владел им. Хокан лишь мечтал о нем, томился неясными предчувствиями. Теперь же тело Мэрит стало его радостью. И эту радость с ним разделил другой. Не он один владел ею. Он согрел женщину для другого. Хокан чувствовал себя голым, опозоренным. Тошно было ему.

Спать? Спать? Можно ли спать, если горишь в адском пламени? Нет; в аду, верно, не бывает ни дня, ни ночи, там нельзя заснуть и убежать от муки. Хокан вста-

ет, наливает чарку и пьет. Хмель гонит мысли и всякую дурь, лечит израненную грудь, согревает душу.

Он выпил чарку до дна, собрался было налить еще, да вспомнил, что больше в доме нет ни капли хмельного и ни единого зернышка, чтобы бросить в винный чан. Стало быть, он даже не может захмелеть и позабыть обо всем на свете. Значит, ничто не может помочь ему отогнать прочь мерзкое видение: Мэрит с охотою отдается Повелю. До сей поры терял он из-за нее голову от счастья, теперь, видно, остается ему потерять разум с горя.

* * *

Долго ждала Мэрит Хокана у ручья. Надеялась — одумается, вернется назад, поймет, что обидел ее понапрасну.

Он так и не пришел. Не дождавшись, она пошла домой, сердце у нее ныло не переставая.

Кабы он только выслушал ее, она сумела бы смягчить его душу. Но он и знать ничего не пожелал, хотя она говорила ему чистую правду. Она пожертвовала собой, чтобы Повель не догадался про них. Ясное дело, она могла бы не поддаться Повелю, сказать, что ей люб другой. Но тогда ведь он принудил бы ее сказать, как зовут этого человека, чего доброго, снял бы ружье со стены, пошел к дому Хокана и застрелил его. Тогда Хокан был бы, поди, уже на том свете. Неужто этого он хотел? Она могла бы и промолчать, не рассказывать ему ничего. Так-то, верно, было бы разумнее всего. Кабы она все скрыла да солгала ему, он бы сейчас ласкал ее, а не отшвырнул от себя, ровно чурку какую. Но она была честна, сказала ему все, как есть,— ведь она обещала ему всегда говорить правду. Худо же он отплатил за ее честность. Впредь она поостережется говорить правду — видно, к добру это не ведет. Ложь защищала и помогала, правда лишь обернулась бедою.

Неужто он не хочет понять: не виновата она. Не по своей воле стала она двоемужницей. Ей ничуть не легче, чем ему. Отчего же он не хочет покориться судьбе и любить ее по-прежнему?

Но он не стал слушать ее. Как она ни просила, как ни унижалась, он не воротился к ней, не стал мириться.

Дни идут, а она не слышит о нем ничего. Покинул ее

желанный, а без него ей свет не мил. Не может она жить без Хокана, а он бросил ее.

Медленно сверлит боль сердце Мэрит. Такой муки не испытала она за всю свою жизнь. Видно, так бывает, когда все твое счастье в другом человеке. Тогда можно потерять счастье в любой миг, и останется у тебя одно горе. Отчего он так нужен ей? Ведь это беда, когда ты не можешь жить без кого-то. Тогда нет у тебя защиты, ты в плену у него. Счастлив человек, который черпает радость в собственной душе. Тогда он сам себе хозяин, никто не сможет отнять у него радость, сказать: она моя, я отниму ее у тебя! Так сделал Хокан — дал радость и отнял ее.

Мэрит не в силах освободиться от Хокана. Печаль все грызла ее, она уже не в силах была носить ее в себе. Она перестала радоваться тому, что прежде радовало ее. Забросила хозяйство, стала придирчива к работнице, груба с Повелем.

Теперь и муж ее начал примечать, как она переменилась,— больше потому, что забросила хозяйские дела. Он посматривал на жену и думал про себя: кого-то нам бог пошлет, сына или дочку? Когда женщина в тягости, первые месяцы ее не узнать, столько у нее причуд. Он начал подшучивать над женой. Мэрит сперва отмалчивалась, потом стала говорить, что это вовсе неправда, ребенка она не ждет. И при этом так досадовала, словно ее уличили в дурном поступке.

Но она тут же раскаялась в том, что была груба с Повелем. Он ведь не виноват в ее горе. Разве что невольно. Нет, по чести говоря, Повель не сделал ей ничего худого. Но Хокан... Хокан... Покуда она не спознаось с ним, жилось ей легко и спокойно. Не то чтобы она была весела, но и печали не знала. А он пришел, опутал ее сетями вожделения, распалил. Теперь покинул ее. Он всему виной.

Иной раз ей казалось: она так сильно его ненавидит, что желает ему смерти. Так бывало, когда она спрашивала себя: может, он вовсе и не любил ее. Иначе не стал бы ее так мучить. Может, он уже натешился ею и рад был случаю, чтобы покинуть ее. Неужто она опостылела ему? Он остыл, а она все еще любит, в этом вся беда.

Но тогда, стало быть, он лишь притворялся, что гневается. Нет, так прикидываться он не смог бы.

Ненавидит она его? Нет, все дни напролет она думает лишь об одном, с трепетом и страхом спрашивает себя: неужто он не хочет воротиться к ней? Почему он еще не вернулся? Не пришел, не сказал: Мэрит? Мэрит... И дверь распахнулась. И разве он не слышал, как она стучала? Отчего не отворил ей?

До дома Хокана рукой подать. Он живет так близко — крикни погромче, услышит. Но тот, кто не хочет слушать, не услышит, как бы близко ни был. Потому для нее лучше, чтоб он был за сотни миль от нее. Знать, что он здесь, рядом, и не быть с ним... От этого она мучается еще сильней. Напрасно надеялась она повстречать его так, чтобы никто не увидал и не услыхал их. Он прятался от нее. Старался, чтобы их дорожки не перекрещивались. Она хотела было схитрить, велела Повелю позвать его в гости, а он придумывал разные отговорки, не приходил. Бежал от нее, как от прокаженной.

За молоком он теперь посылал работницу. Эта женщина была для нее еще одной каплей горечи. Терпеть ее было для Мэрит все тяжелее с каждым днем. При ней Мэрит испытывала такое чувство, будто чужая собака подкралась и трется об ее ноги — по коже ползут мурашки и думаешь: сейчас укусит! Огонь в глазах Элин просто жег ее. Эта женщина желала ей зла. Уж она-то укусила бы, кабы могла. Служанка ходила, как цепной пес, вокруг своего хозяина, караулила его. Какое ей дело до Хокана? Она вела себя так, как будто была повенчана с ним.

Не видит Мэрит больше того, без кого ей жить невмоготу. Но у нее есть Повель — как бы сделать, чтобы не Хокан, а Повель стал нужен ей? Тогда она была бы спасена. И Мэрит придумала. Ей надобно уговорить себя, будто она страдает по Повелю. Он будет у нее вместо Хокана, она сама превратит его в Хокана. Придется самой с этим справляться, он ей в том не помога. Ведь не может же она подойти к нему и сказать: отними меня у Хокана! Избавь меня от него! Хочу, чтобы ты стал мне нужен!

Она стала нежнее к мужу, то и дело ласкалась к нему. Повель ума приложить не мог: что это еще взбрело ей в голову? Он не привык к такому обхождению. Лучше бы она вела себя, как прежде. Причуды ему не по душе. Не помог ей Повель ничуть. Но это не отпугну-

ло ее. По ночам она была податлива, притворялась, будто похоть одолевала ее.

Ей так хотелось забыть все, снова стать Повелю доброй женой.

Но страстное желание Мэрит так и осталось желанием. Сбыться ему не было суждено. Напрасно желала она принадлежать одному лишь мужу. Повель оставался Повелем, Хоканом он не стал. Все было напрасно!

Пустые мечты лишь заставили ее страдать еще сильнее. Настали лихие дни, время тянулось так медленно, что казалось, его нарочно растягивает дьявол, злорадно усмехаясь. Таких мук Мэрит еще никогда не испытывала. Так бывает лишь, когда вся твоя радость в другом человеке.

* * *

А Хокан хотел освободиться от женщины, принадлежавшей другому. Он старался изо всех своих сил. Хотел стать мудрым и рассудительным. Ведь неразумно позволить женщине отравлять все твои ночи и дни. Умный человек не даст бабе власть надо собой — натешится и уйдет.

Видение это он прогонит. Днем ему удалось избавиться от проклятого видения, ночью же оно являлось ему иногда. Во сне он дрался с Повелем из-за его жены. Вот он врывается ночью в дом к Повелю, бросается к супружескому ложу и рывком стаскивает Мэрит с постели. И всегда-то он поспевает вовремя. Повель только собирается овладеть женою, как Хокан является в последний миг, чтобы помешать ему. Мэрит охотно идет за ним, она рада освобождению, срывает с постели простыни и берет их с собой. Ведь это их свадебные простыни, зеленые, как трава, голубые, как цветы льна. Когда они выходят из дому, Мэрит расстилает простыни на земле. До чего же большая у них постель! Только покоя им нет, Повель гонится за ними, приходится бежать прочь изо всех сил. В лесу их ждет Ингель Силач, он обещал помочь им скрыться, у него вырыта землянка под поваленной сосной, там он и спрячет их. Но теперь все люди в Хэгербеке собрались травить их, будто волков,— в лес не войти, повсюду караулят. Сидеть им в деревне, как в капкане. Охотятся на них, словно на диких зверей, не дают им с Мэрит покоя. Не успевает

она расстелить на траве свадебную простыню и прижаться к нему, как приходится снова бежать... А Ингель Силач ждет их в лесу, снял с пояса топорик и поднял его, готовый защищаться...

Ох, эти проклятые сны! Да еще мысли о том, что было! Мучают его, не дают образумиться.

Людей связывает блаженство, которое они испытали вместе.

Когда же они, после того, причиняют боль друг другу, былые утехи не дают им покоя, становятся горькой насмешкой и искушением. В памяти прежняя радость предстает еще ярче и сильней.

Не в силах Хокан забыть мягкую податливость Мэрит, жар ее губ, радостный смех, вырывавшийся из груди в миг, когда она отдавалась ему, просветленное лицо, хмельные от любовной утехи глаза. Все было дано ему... Хорошо, кабы это наваждение разом исчезло с лица земли. Но все это можно воротить. Стоит только захотеть: «Воротись ко мне!»

Но он хочет владеть ею безраздельно, на меньшее он не согласен. По своей воле делить женщину с другим — нет! И он один должен знать, что ему приходится делиться с другим. Другому и то легче, ведь он ничего не ведает, думает, будто один владеет ею. Повель обманут, но его не мучает видение. Ему не надо ни с чем мириться, раз он ничего не знает. Но знать, что тебя обманывают, терпеть это и довольствоваться... Нет, для того надо быть вовсе жалким и презренным.

И Хокан гонит прочь видение, хочет одолеть память. Мэрит — огонь у него в крови, ему надо погасить этот огонь, даже если для того придется самому сгинуть.

Спокойно и серьезно решил Хокан думать о ней худое. И тут натолкнулся он на стену, которая сразу отбросила его назад. Вместо того он стал думать худое о себе и доброе о ней. Ведь обдумав все хорошенько, он понял, что сам всему виной. Зачем он не довел дело до конца? Нечего было оставлять ее у Повеля. Почему он не увел Мэрит оттуда, хотя бы даже против ее воли? Теперь пусть пеняет на самого себя. Он оставил ее в доме у мужа, а там ей хочешь не хочешь — пришлось изменить ему. Как ей обороняться? Он-то мог лучше защитить ее.

Раз он уговорил себя, что сам во всем виноват, стало быть, ее вины в том не было. Значит, он заставил ее

страдать понапрасну. «Ей тяжко» — мысль о том впилась ему в голову. Ей тяжко оттого, что он не довел дело до конца. За что же ей страдать понапрасну?

Он помнил надрывный крик Мэрит, звучавший ему вдогонку. Долго этот крик не достигал его ушей. Только теперь долетел он до него: тяжко ей. Стало быть, ему надо найти ее и сказать: «Я во всем виноват». Он пойдет не затем, чтоб воротить ее и делить с другим. Просто скажет, что обидел ее понапрасну.

Вот до чего додумался Хокан. Каково ему теперь урезонивать себя?.. Да нет, он не думает воротить старое, просто скажет, что сам виноват.

На душе у него было тревожно — будто что-то непременно надобно уберечь. Ведь от того, чем он владел, что-то убывало с каждым днем. Нельзя больше сидеть, сложа руки, надобно что-то делать.

Он знает, где ее найти, где отыскать все то, чего ему забыть нельзя. И, когда наступает вечерний час, когда солнце садится за лесом, он идет поглядеть на выгон, который лежит по другую сторону Хэгербекена.

Здесь разрослась осиновая рощица, зеленая и кудрявая. Это не роща, а дьявольское искушение. Она кричит ему по вечерам: «Я прячу кого-то в своих зеленых ветвях! Тебе ведомо, кого я прячу! Ступай сюда. Не бойся! Я укрою тебя, как прежде. Иди сюда». Вот что говорит ему осиновая роща на закате солнца. А Хокан стоит и слушает. Только он не повинуется ее словам. Путь к роще не близкий. И заставить его пройти этот путь нелегко...

К роще ведет извилистая тропинка, что тянется вдоль межи. Тропинка эта еще не заросла, она зовет его: «Ступай к роще! Я не выдам тебя! Я вьюсь и петляю, никто не догадается, куда ты идешь. Ты ходил здесь много раз и знаешь, я надежный друг! Иди, не бойся!» Видно, заколдована эта тропинка, петляющая по полю вдоль межи. Теперь ее почти не видно в высокой траве, следов на ней не приметишь. Так и манит пройти по ней!

Роща и тропинка — словно колдовские чары у него в крови. Кровь не повинуется ему, она подвластна лишь своей госпоже. Кабы он мог усмирить свою кровь, кабы осинки не были такими кудрявыми, а тропинка — укромной и извилистой...

Два вечера кряду проходит Хокан по тропинке почти полпути. На третий — идет по ней до конца, до самой рощи, чтобы воротить свою суженую.

ПУШИЦА ЦВЕТЕТ

Пора весны миновала. Близится середина июня, поля прикрыты зеленой шубкой молодых всходов. Теперь на полях никого не видать, летом сюда не ступает нога человека. Мужики работают в лесу — городят изгороди для пожог, валят деревья с зеленою листвою, корчуют пни на пожогах; над лесом здесь и там поднимается дымок. В деревне их можно увидать лишь поутру да под вечер. Работают сейчас неторопливо, спокойная пора будет стоять до самой жатвы. Пора летнего цветения.

Июньскими днями ходят крестьянки на топкие луга собирать пух для подушек. Цвет пушицы нужно обобрать до того, как через месяц по траве начнет со свистом ходить коса. На топких лугах корни трав стоят в воде, крестьянки бредут по ней босые, подобрав подолы, подоткнув их за пояс. Выше пояса на них одни лишь безрукавки: голые руки и ноги блестят на солнце. Они собирают белые комочки пушицы и кладут их в передники. Возьмешь в руку цветок пушицы, а он словно сухая пена. Женщины набьют ими подушки; по вечерам на подушки будут класть голову люди, уставшие от дневного труда.

Мэрит тоже собирает пух. Легко, как молодая березка, нагибается она над луговой травою; еще утро, и на траве не высохла роса. Мэрит молода, прошлым летом ей минуло двадцать годков, а нынешнее лето еще только началось. Не успела износиться — телом крепкая, гладкая, лицом светлая, пригожая.

Собирать пух дело кропотливое. Не один час пройдет, покуда наберешь полный передник. Но ей нипочем ходить в наклонку, спину не ломит. Это у старух спины печет, словно крапивой обожгло. А пуху на подушку ей нужно набрать. Придет зима с долгими темными ночами, люди в эту пору спят много, и без мягкой подушки под головой не обойтись. К тому же, говорят, на пуховой подушке сон легок. Лицом Мэрит то краснеет, то белеет. Видно, эта женщина хранит в груди тайну. То,

что она держит в тайне, так и светится в ней, всякий, у кого есть глаза, увидит. Она ходит, собирает пух, и вдруг губы ее чуть раскрываются, на щеках выступает яркий румянец. Видно, вспомнила что-то. Вот она со счастливой улыбкой отводит глаза в сторону. По всему видно, прячет радость.

Тот, без кого ей свет не мил, воротился. Мэрит... и дверь открылась. И больше ей ничего не надо на белом свете.

Июньским вечером не озябнешь. Они с Хоканом прячутся в густых кустах, обнимаются. Лежа на земле, утоляют они жажду хмельным любовным питьем. Ветви с молодой густой листвой укрывают их, трава под ними дурманит ароматом. То сладкий запах земли и березовой листвы. На закате солнца в кустах одна за другой запевают птицы. А они отдыхают после крепких объятий, распростертые на земле.

Близость земли, которую не тревожат мысли о жизни и смерти. Здесь царит извечная беспечальность. Рождение и смерть сродни друг другу и не вызывают страха. Над ними сверкает свежая весенняя листва, под ними гниют опавшие прошлогодние листья. И те, и другие — дети одной матери. И сами они — два только что распустившиеся листка, висящие на ветке, в лоне жизни, покуда длится лето. Как они малы, как дрожат на ветру, дующем вечно, на ветру, который сорвет их однажды с ветки. Но в этот миг они молоды и вдыхают сладкий аромат жизни. Они вырвались на свободу, раскрылись и достигли высшего смысла своего существования — самозабвения.

Может быть, Мэрит вспоминает сейчас вчерашний вечер. Тогда она поступает худо. Ведь она полураскрыла губы в улыбке, думая о том, что есть блуд и тяжкий грех. А за блуд наказывают строго: сперва люди, а потом господь карает в аду вечными муками. Да, худо делает Мэрит, и вдвойне худо, если она спокойна и счастлива во грехе. Видно, она позабыла всякий страх. Иначе отчего же она ходит с таким видом, будто хочет подавить смех?

Такие мысли теснятся в голове Мэрит этим ясным летним днем. Она думает и о том, какие сны ей приснятся на подушке, набитой пухом, который она держит в переднике. Много ночей будет ее голова покоиться на пуховой подушке, много часов будет Мэрит спать на

ней, словно отделившись от себя самой. А вдруг ей придется проводить на этой подушке бессонные ночи, поворачиваться с боку на бок в горе и тревоге, как в последнее время? Может, ей суждено ночами ронять слезы на цветы пушицы? Нет, она не хочет спрашивать себя об этом, особенно сейчас, когда исполнились все ее желания! Ей хочется лишь знать, выпадут ли на ее долю такие ночки, когда он будет лежать рядом с нею, положив голову на подушку из этого пуха? Сольются ли их губы в поцелуе рядом с этими белыми цветами? И Мэрит мнет цветы в руках, словно хочет выжать из них эту тайну.

Вокруг нее ходят по топкому болоту другие крестьянки — хозяйки, их дочери, работницы. И среди тех, кто собирает цветы пушицы, есть одна — темноволосая, кареглазая. Она то и дело распрямляет спину и поглядывает на Мэрит. Смуглянка все что-то шепчет про себя, она знает, что за птица эта молодая жена.

— Шлюха поганая! — шепчет чернявая, и губы ее пересыхают от ненависти.

Завелась в деревне Хэгербек поганая шлюха.

ДВЕНАДЦАТЬ НЕСУТ ТРИНАДЦАТОГО

Гостю охота, чтобы хозяева встречали его радостно и провожали, огорченные. Для мирского захребетника, что ходит по дворам, все как раз наоборот. Коли старик Герман хочет обрадовать хозяина, ему надобно сказать, что он переселяется к соседу.

Он уже приметил, что Франс Готфрид хочет сжить его со двора! У него, мол, хозяйство невелико, земли всего одна осьмица; по справедливости надо бы Герману поселиться рядом, у старосты. У того как-никак целая седьмица.

Однако, Герман еще пожил у Франса Готфрида, и ему довелось этим летом увидеть в его доме диво дивное. Почитай, все случилось у него на глазах. Правда, той ночью он спал, но ему нетрудно догадаться, как все было; к тому же он спал в той же горнице. И пришлось ему повторять людям свой рассказ сотни раз.

Франс Готфрид высиживает свой страх, как дракон золотое яйцо. И суждено ему было встретить свой смертный час, когда мирской захребетник сидел у него на

хлебах. Он спрашивал всякого прохожего и проезжего про однорукого человека, боялся, кабы вор не застал его врасплох. Он уже точно знал, как сей страшный человек поведет себя: так, мол, и так. Однако всего угадать никак нельзя. Того, что случилось, он никак не ждал.

Однажды вечером воротился Франс Готфрид домой со своей пожоги. Входит в кухню и видит — там сидит чужой человек. Жена говорит, мол, пришел прохожий, попросился переночевать за плату. Ходит он по деревням по торговому делу.

Хозяин не разглядел пришельца, покуда тот не встал со стула, чтобы вместе с другими подойти к столу. И тут он видит, что у незнакомца один рукав висит пустой. Однорукий!

Лицо у Франца Готфрида задергалось, а в груди гулко застучало. Вор! Нет правой руки. Он самый.

Такое ему никогда не приходило на ум. Чтобы вор пришел, как любой мирный прохожий, попросил накормить его и дать кров, сел бы с ним за один стол! До чего дерзок! Неужто не понимает, что его сразу узнают и тот, кого он ищет, будет настороже?

Хозяин глядит на человека, столько лет причинявшего ему страх и беспокойство. Он вряд ли узнал бы своего недруга, кабы не пустой рукав. Вор согнулся, состарился, вовсе переменился. Глаза потухли, белки пожелтели, не светятся больше. Когда открывает рот, начинает говорить, голос звучит слабый и усталый. В тот раз он не был ни слабым, ни усталым, когда вор сказал: «Я еще ворочусь. Я знаю, где твой дом». Тогда он был чисто выбрит, а теперь отрастил длинную рыжую бороду. Верно думает: я, мол, сильно переменился, Франсу Готфриду не узнать меня. Да не тут-то было. Пустой рукав не дает ошибиться. В последний раз он видел этот рукав возле стола судьи. Рукав мотался и тянулся к Франсу Готфриду, а кабы в нем была рука, она вонзила бы нож ему в грудь.

Теперь остается ждать, что этот человек станет делать. Когда же они сели за стол, он вовсе ошеломил хозяина.

Старый вор взял левой рукой край правого рукава, словно сложил руки, как умел, ведь рука-то у него одна. Потом он опустил голову на грудь и стал читать молитву, громко и отчетливо. Молится перед трапезой!

Странник и хозяева едят молча. Но Франсу Готфриду жевать тяжело, и еда не лезет в глотку. Он сильно растерян, мысли путаются. Неужто арестант столь переменился, что стал набожным? Стало быть, он пришел сюда без злого умысла? Отчего тогда он не поминает про их прежнюю распрю? Отчего не говорит ни слова про то, как попал к ним в прошлый раз, да только не через дверь, а через окно? А может, он не знает, к кому пришел в дом? Может, он вовсе и не мстить пришел?

У Франса Готфрида вопросов полон рот, но он потерпит, покуда не останется с этим человеком один на один.

Однорукий читает молитву и после трапезы громко и отчетливо, как пастор, а после идет и садится в угол — ждет, когда постелят постель. Сейчас никто их не слышит, и Франс Готфрид усаживается перед ним. Сейчас он все разузнает.

— И как же это вам случилось потерять руку? — спрашивает он напрямик.

По лицу однорукого пробегает темное облако. Он мрачнеет от огорчения или досады. И, словно нехотя, отвечает:

— Беда со мною приключилась. Давно это было.

Но тут же объясняет:

— В ту пору был я другим человеком. Жалким созданием.

Тут он развязывает мешок и достает из него книги. Это священное писание, он ходит по деревням и продает книги. Однорукий рассказывает, и голос его дрожит: когда-то он жил во грехе, кощунствовал, не питал сострадания ни к одной живой душе. Но потом спасся, как головешка из огня. Стал добрым христианином. Вот и бродит по деревням, торгует святыми книгами, чтобы и других сделать праведными христианами.

Страх и сомнения Франса Готфрида начинают рассеиваться. Видно, бывший вор в самом деле одумался и стал человеком богобоязненным. Когда говорил про господа бога, не похоже было, чтоб фальшивил. Стало быть, и бояться его нечего.

Отчего же, однако, он не поминает про то, что случилось здесь на поле тридцать лет тому назад? Разве он не знает, в какую деревню пришел? А может, не хочет вспоминать про то время, когда был злодеем?

Нет, Франс Готфрид еще не совсем уверился в нем.

Надобно разузнать побольше, прежде чем укладывать его спать в своем доме. И он спрашивает еще раз:

— Может, вы из-за кого другого потеряли руку?

Незнакомец пристально глядит на крестьянина, потом опускает голову, смотрит в пол. С трудом отвечает:

— Правильно вы угадали, другой отнял у меня руку.

— Где же это было? Как звать того человека?

Франс Готфрид затаил дыхание, а в груди у него что-то так и свистит, так и стучит.

— Как звать-то его?

— Имя его превыше всех имен,— с благоговением отвечает странник и еще ниже склоняет голову.

Франс Готфрид сидит, разинув рот. Что бы это значило?

— Так кто же он?

А однорукий отвечает:

— Живет он на небесах. Господь бог отнял у меня руку много лет назад, я был в ту пору еще молод. Бог взял у меня руку, чтобы спасти душу. Ибо именно это испытание открыло мне глаза. Увидел я грех, прилипший ко мне, постиг, сколь глубоко погряз в мерзости греховной. Богу пришлось сильно наказать меня, отнять правую руку. Рука пострадала, а душа была спасена. Вот так-то. Но что значит рука, орудие земное, которое бог отнял, чтобы исполнить свою волю? Потерять руку — дело пустяшное, когда нужно спасать душу.

С сердца старого крестьянина, охваченного страхом, спадает огромная тяжесть. Однорукий дал ему понять, что Франс Готфрид был лишь орудием в руках господа, когда стрелял в него во ржи. Стало быть, и винить его не в чем. Мол, Франс Готфрид виноват не более, чем его ружье. Хватит спрашивать. Теперь чужой во всем ему открылся. Однорукий знает, в чей дом пришел, и они поняли друг друга. Теперь он служит богу, и нет ни единого божьего творения, к которому он мог бы питать ненависть. Он пришел в Хэгербек не для того, чтобы мстить.

И вот Франс Готфрид оставляет пришельца на ночь у себя в доме. Вместе с хозяевами и домочадцами идет гость в спальню, все кровати заняты, и старика укладывают в углу на полу, постелив полснопа соломы. Исходив за день долгие пути по рытвинам и ухабам, вытягивается он, усталый, на своем ложе. На кровати возле двери спит Франс Гофрид со своей женой. Путник же

лежит ближе к окну — он привык вставать спозаранку.

Время отходить ко сну, а светец не надо запаливать — от огня в печи светло, как днем. Когда же начало смеркаться, все уже заснули. Старик Герман храпит у печи. После он станет каяться, что продрыхал всю ночь. Да ведь он думал, что хозяин и однорукий, человек набожный и степенный, толковали по-доброму.

В горнице Франса Готфрида стало тихо. Но сам хозяин еще не заснул. Он лежит, прислушиваясь, и ворочается с боку на бок. Ну, что там? Заснул чужой или нет? Слышно, что дышит он тяжело, а спит или нет — точно не понять.

Самому хозяину никак не уснуть в эту ночь. Он обороняется от Него, борется с Ним, пытается подбодрить себя. Но, когда приходят мрак и тьма, Франсу Готфриду приходится сдаться. Тут является Он — страх. Франс Готфрид не смеет уснуть, не смеет — из-за однорукого.

А вдруг его обманули? Вдруг он попался в силок? Может, старый ворюга пришел сюда и выдал себя за человека набожного, чтобы усыпить его подозрения? Он стар, и теперь уже не шибко силен, ему надобно прибегнуть к хитрости, чтобы отомстить. Вдруг все это дьявольская хитрость. Этот человек пролез к нему в дом, ухитрился даже в спальню к нему пробраться, и теперь они лежат чуть ли не рядом. Теперь ему ничего не стоит совершить злое дело. Как только домочадцы уснут, он может подойти...

Нет, Франс Готфрид не смеет сомкнуть глаз, покуда однорукий у него в доме. Вздремни он, так, чего доброго, и проснуться никогда не придется. Проснется уже на том свете с ножом в груди. К тому же и про сундуки забывать негоже. Правда, они заперты на замки, да только, кто знает, что за инструмент прячет чужой в мешке, что лежит возле него на соломе. Может, на поверку окажется, что это и есть тот самый вор, и решил он пробраться к Франсу Готфриду хитростью, раз иным путем его не взять.

Франс Готфрид проводит рукой по лбу, рука мокрая — вспотел. А в груди словно бы кровь застоялась. До утра еще далеко, но ему, видно, так и не заснуть. Да к тому же, думает он, теперь зори ранние — через два-три часа начнет светать. Тогда больше не надо будет

бояться пришельца. Правда, можно разбудить домочадцев, как тут быть — поди догадайся.

Он прислушался — вот незнакомец зашевелился. Видно, не спит. Выжидает минуту поудобнее. А минута такая того и гляди наступит, в этакой-то тьме. Вот он снова шевельнулся, солома в углу зашуршала. У Франса Готфрида слух чуткий, он слышит...

Что это... Шаги? Шаги? Кто-то ступает по полу...

Крестьянин поднимает голову и, ухватившись за край постели, медленно и осторожно поднимается: он слышит легкие шаги, кто-то идет в одних носках. Кто-то двигается в темноте. Вот на сером пятне окна показалась высокая черная фигура. Домочадцев столь высокого роста у него нет. Это однорукий поднялся с постели.

Груз, что давит Франсу Готфриду на грудь, становится вдруг еще тяжелее.

Вот однорукий уже на середине комнаты, он ступает осторожно, крадучись, чтоб никого не разбудить. Идет он к двери, туда, где стоит кровать хозяина.

Франсу Готфриду надо бы закричать, разбудить домочадцев. Он хочет крикнуть, да не может. Глотка его не желает издать ни звука. Уж слишком сильно давит на грудь. Обмякнув, он валится назад в постель и лежит тихо-тихо.

* * *

Когда жена наутро собралась вставать, то увидала, что муж ее лежит рядом бездыханный. Чудно — на теле ни царапины, ни синяка, ни кровоподтека. Хозяйка, домочадцы и прочие люди сперва никак не могли взять в толк, что с ним приключилось. Но после догадались, что смерть подкралась к нему посреди ночи из нутра. Франс Готфрид умер от удара. Такое часто случается со старыми людьми.

Может статься, что и пришелец, которого приютили на ночь, пособил ему столь внезапно отправиться на тот свет. Но ведь он был в доме поутру, и ничего у них не пропало. Однако Андреас, староста, все же допросил его, и тут стало ясно, что странник вовсе не виноват. Просто он поднялся среди ночи, чтобы выйти на горушку и справить нужду — крался же он столь тихо по полу, чтоб никого не разбудить. Тогда хозяин был еще жив, ибо он слышал, как тот ворочался в постели. Более

того однорукий ничего не мог сказать. Прежде он в Хэгербеке никогда не бывал и встречать покойного до того вечера ему не приходилось. Руку свою он потерял в драке с собутыльником много лет назад, когда вел жизнь бесшабашную и грешную. Собутыльник же его был лишь орудием в руках господа. После того человек этот стал богобоязненным и мирным, какого трудно встретить во всем свете.

Стало быть, этот однорукий был вовсе не тот, про кого думал хозяин.

А тот самый так и не успел прийти к Франсу Готфриду. Может, он уже помер, а может, отсиживал в тюрьме пожизненную. А может, он давным-давно и думать забыл про месть.

Но теперь он отомстил крепко и жестоко. С помощью несчастной способности человека рождать в себе муки страха.

* * *

Лежит в деревне покойник — старый Франс Готфрид преставился,— не то удар его хватил, не то кровь закупорилась, а может, и что иное с ним приключилось. Вроде бы покойник как покойник, а на самом деле отдал он богу душу из-за нечистой совести. А однорукий бредет себе дальше от села к селу, несет тяжелую поклажу — божественные книги — и того не ведает, что повинен в смерти человека из Хэгербека. Пришел и убил его пустым рукавом вместо ножа. Стало быть, теперь души людские идет спасать убийца.

В доме у Франса Готфрида готовятся к поминкам, а мертвеца несут в церковь крестьяне из Хэгербека. Дороги худые — приходится нести гроб на руках до самой церкви. Дорога в церковь до того камениста и ухабиста, просто беда. Коли поставить гроб на телегу, покойника расколотит вдребезги. А до Альгутсбудской церкви путь неблизкий — чуть не две мили. Для хэгербекских крестьян тяжкий труд нести мертвеца к могиле — работа, почитай, на целый день. В зимнюю пору еле успеешь воротиться домой засветло.

Однако ни один крестьянин от этой работы не отказывается. Каждый знает: его самого понесут когда-нибудь на кладбище. На помощь пришли все двенадцать,

что остались в живых. Двенадцать хэгербекских крестьян испокон веков несли тринадцатого.

Ранним утром собираются они в доме умершего, поднимают гроб и несут его вниз по крутому каменистому склону. Крестьяне делятся на две группы: покуда одни несут гроб половину пути, другие идут порожняком — отдыхают. Из дома покойного они прихватили три кувшина поминального вина. Всего по полкружки на брата — совсем немного: дорога чуть ли не в две мили длиной, да на пути не меньше десяти крутых пригорков. Из-за горушек-то надо бы набавить еще один кувшин.

Крестьяне постарше идут позади, держат гроб у изголовья. Самые молодые — впереди. Хокан и Повель — младшие в селе — идут рядом, у ног мертвеца. Хокан с Повелем держатся за одну веревку, а меж ними — гроб.

Оба они — мужья одной жены.

Напрасно старается Хокан забыть про это. Ему видится все время одно и то же. Мэрит хочет помочь ему, утешить, мол, она милеет сердцем лишь к нему одному, он один ее желанный. Когда приходится уступать мужу, сердце ее не с ним. Ему она отдается лишь по долгу и принуждению. Мол, она пытается уговорить себя, будто тешить мужа в постели — одна из ее обязанностей по дому, такая же, как сварить Повелю еду, накормить его.

Мэрит зажигает сердце Хокана, она одна дает ему радость и отдохновение. Кабы не это проклятое видение!.. Оно является ему по вечерам перед сном. Вот сейчас в доме Повеля ложатся спать... Сейчас... как раз сейчас... может быть, как раз в этот миг... Он закрывает глаза, и ему кажется, будто он видит все, от начала до конца.

Что-то будет с ними? Он сгорал от желания убежать с ней, скрыться в бескрайних лесах, но она никак не хотела расстаться с деревней. Неужто ему остается лишь одно — терпеть?

И вот двенадцать несут тринадцатого. Время от времени они ставят гроб, чтобы освежиться глотком-другим вина. Июльское солнце печет жарко, да к тому же Франс Готфрид пролежал дома почти целую неделю и сильно смердит, нужно чем-то перешибить дух. Не мешало бы дать им еще кувшинчик вина из-за вони да крутых горушек.

Хокан идет рядом с Повелем и думает: «Покойный был лишний человек в деревне. В Хэгербеке всегда одним крестьянином больше, чем надо. Теперь в усадьбе Франса Готфрида поселится новый хозяин — и опять в деревне их будет чертова дюжина. Но однажды двенадцать крестьян снова соберутся у гроба тринадцатого, перевяжут гроб веревками и понесут покойника вниз по склону. Всегда будет здесь одним крестьянином больше, чем надо. И суждено им носить покойников вниз по склону.

Вот идем мы с Повелем — два односельчанина. Негоже нам тут жить вдвоем. Я обманываю его бессовестно, он же, сам того не зная, причиняет мне боль нестерпимую. Так далее продолжаться не может. Один из нас лишний. Не жить нам обоим в деревне. Один из нас должен уйти. Повель пустил здесь корни. Он не покинет деревни, покуда его не унесут в гробу, как сегодня Франса Готфрида. Он прилепился к своей земле и не расстанется с нею, покуда жив. И жену он хочет привязать к своей усадьбе. А вот я могу уйти, когда захочу. Мне не надобно ждать, чтоб меня унесли отсюда. Но я уйду только с женой Повеля.

Оттого-то и живем мы покуда оба в этой деревне, и один из нас лишний».

Двенадцать крестьян несут тринадцатого. К вечеру они возвращаются, теперь в руках у них лишь одни веревки. Выпив и закусив на поминках в доме покойного, они расходятся по домам. Хокан тоже стал было прощаться с Повелем, когда поравнялся с его домом. Но Повель не хочет отпускать соседа: они сегодня вместе несли гроб, стало быть, и день им следует закончить вместе — таков обычай в Юдере. Отчего бы ему не заглянуть к ним в дом и не испить винца?

Хокан отнекивается, теперь ему невмоготу находиться под крышей Повеля. Но тот не отпускает его: что ж это он брезгует соседом? Не хочет зайти и выпить с ним? Хокан не сумел придумать отговорку, пришлось зайти в кухню опрокинуть чарку. Мэрит уже улеглась спать.

На поминках Повеля не надо было уговаривать выпить, и захмелел он изрядно. По будням он молчалив, а за кружкой вина — не остановить, болтает без устали. Лишь бы было с кем говорить. Во хмелю он не дурак похвастать, коли есть перед кем хвалиться. Сейчас ему охота, чтоб похвалили его вино, старое винцо-то, еще

дома в Юдере ставлено. Хокан пьет с ним, а у самого только и думы, что про женщину, которая лежит рядом за дверью, в спальне. Не идут с ума две ночки, проведенные там с нею по весне.

Повель разбушевался, а Хокан говорит:

— Как бы не разбудить жену-то твою!

— Мэрит не заснет, покуда я не приду! — отвечает Повель, ухмыляясь.

Эта ухмылка жжет Хокану грудь каленым железом. Напрасно пытается он найти предлог, чтоб уйти отсюда. Повель вовсе не думает его скоро отпускать: они вместе несли гроб, стало быть, нечего торопиться, надо посидеть да потолковать хотя бы до полуночи. Уж такой обычай у них дома в Юдере... И тут Повель принимается хвастать не на шутку. Он хвастает своим отцом, всей родней, богатой усадьбой, урожаем, который он соберет в нынешнем году, своим вином, которого он может выпить сколько угодно. Хокан не раз хотел, чтобы Повель ему стал противен, а тут он и в самом деле ему опротивел. Повель — человек услужливый и добросердечный, зла никому не делает, всем желает добра, но про все это он хорошо знает и сам. Шибко нравится Повелю, что он такой хороший человек, и во хмелю он говорит о том, не скрывая.

Повель до того упился, что вовсе забыл про робость; теперь он, хуже того, принялся хвастать своей женою. Мол, женой он шибко доволен. Она добрая хозяйка, баба работящая и честная. Жаловаться у нее ни на что нет привычки. Они живут в добром согласии, не ссорятся, не бранятся. Промеж ними мир да лад, лучшего и желать не надо. А в работе они словно пара лошадей, что привыкли ходить в одной упряжке. Коли бог даст здоровья, они, верно, приумножат добро в своей усадьбе,— уж Повель это точно знает. Да, у него все идет ладно, грех жаловаться. А прежде всего он доволен своей женою. А что Хокан скажет о Мэрит?

Хокан вздрагивает. С чего это он спрашивает? Может, неспроста? Да и во взгляде его что-то странное. Рыбьи глаза Повеля глядят неподвижно, но взгляд их зорок, словно караулят что... А что Хокан скажет о Мэрит? Что ему в ней не по душе? Ведь правда же она — жена что надо? Может ли муж упрекнуть ее в чем-либо? Может ли пожаловаться на такую жену, как Мэрит?.. Повель спрашивает Хокана, не переставая, будто

хочет выпытать у него что-то. И что ему только надо? Вот он опять спускается в погреб за вином. А Хокану велит сидеть — не время еще гостю уходить... И зачем это Повель его расспрашивает? Только бы он перестал говорить про жену...

— Мэрит была самая красивая девка в трех деревнях! — говорит Повель.

— Ясное дело! — отвечает Хокан.

— Многие на нее зарились, да тут я объявился!

Тут Повель вместо жены стал похваляться собою. Мол, усадьба ему досталась от отца. Наследство он получил доброе, уже в ту пору был мужик справный и мог бы просватать девушку побогаче Мэрит. У него такая уже была на примете. Да он променял ее на Мэрит. Приданое у нее было невелико. По богатству она была ему не ровня, да только он еще тогда знал, что она будет ему хорошею женою. Доброму соседу он может сказать без утайки: люба она ему...

Повель наполняет кружки, они пьют. Повель разливается вовсю, а Хокан вставляет иногда скупое словечко, но большей частью сидит молча. Можно хвастаться, коли точно уверен, думает он, а когда не знаешь... Что ведомо Повелю про жену? Не знаешь ты ее, и никогда не знал. Потому-то ты ей не нужен и никогда не был нужен. Просто она не осмеливается вырваться из тенет. Сказываешь: ты явился к ней, ты? Сама же она говорила, что не знала радости в жизни, покуда я не пришел к ней, я, я! Сиди себе и хвастай. Уж я стерплю, послушаю, как бы ты ни мучил меня, сделаю услугу. Ведь я хотел когда-нибудь отплатить тебе за добро... Я должен тебе и за солому, и за рожь, и за тягло; и жену у тебя я отнял — чистая правда. И все же я, видно, взял у тебя то, чего ты не хватишься, ведь твоим оно никогда не было. Я украл то, что обокраденному никак не вернуть, ибо он не знал, что когда-то владел этим.

Повель говорит без умолку, а Хокан отвечает ему в мыслях: и что только ты стал бы делать, Повель, кабы знал правду? Любопытно мне. Я спал под твоей крышею, и мне от того лихо. А тебя это вовсе не мучает. Сам говоришь, что доволен донельзя. Мол, нет на свете человека счастливее тебя. Стало быть, я не обездолил тебя, не сделал несчастным. Отчего же должна меня мучить совесть из-за тебя? Я тебе худой сосед, обманщик против своей воли. Но я буду честен с тобой в тот

день, когда жена твоя пожелает уйти со мной. Из нас двоих я страдаю сильней, оттого что моя суженая спит в твоей постели каждую ночь, а я с этим ничего не могу поделать. Но я приду и заберу ее навсегда, так и знай! Не лежать ей более в твоей постели, ибо нет горше несправедливости на белом свете...

Повель один ведет беседу, все в нем так и кипит, так и бродит от желания довериться другому. Глаза блестят от вина, а сам хвастается взахлеб, аж язык заплетается:

— Мэрит умеет согреть, можешь мне поверить! Уж она может раззадорить мужика.

Хокан рывком вскакивает со скамьи, чуть не опрокинув стол с откидными досками, за которым он сидит.

— С чего это ты вскочил?! Садись на скамью!

Хокан побелел, как мертвец, но он берет себя в руки и говорит, будто ему надо выйти за угол. Повель идет за ним во двор, а после снова хочет затащить соседа в избу. Мол, надо выпить посошок, ведь сейчас уже полночь, и они провели вместе целый день.

— Мэрит тоже дадим посошок! Пошли!

Но Хокан ни за что не соглашается. Он дрожит всем телом. Больше ему нынче пить невмоготу, говорит он, и без того тянет блевать.

Повель тащит его за рукав:

— Дадим моей жене чарку в постель! Пошли!

Они стоят оба на дворе светлой летней ночью. Повель сильно упорствует, а Хокан, недоумевая, смотрит ему в лицо. Может, Повель неспроста это задумал? Отчего это он вдруг вздумал тащить его к жене, ведь она уже, поди, уснула? Неужто он хочет свести его с Мэрит, чтобы испытать их? Поглядеть, как они станут вести себя?

Горячая волна приливает к груди Хокана: не так уж сильно пьян Повель — притворяется. Он что-то знает про него и Мэрит. Может, их видели вместе — кто-нибудь увидал и сказал Повелю. Стало быть, Повель не случайно позвал его посидеть вдвоем и выпить после поминок. Эту попойку он задумал заранее. Решил напоить его, чтоб он выдал себя.

То-то Хокану все время было не по себе. Повель уставился на него неподвижным взглядом, а глаза у него — словно белые пуговицы. Разве не полны его гла-

за ненависти? Разве не звучит в каждом слове тяжкая угроза?

— Так ты не хочешь войти в дом, Ингельссон? Стало быть, ты худой сосед?

Вот оно, началось. Повель уже спрашивает напрямик, добрый ли Хокан ему сосед. Надобно быть наготове. Не дать Повелю одурачить себя и заманить к Мэрит, чтобы напугать ее среди ночи.

Повель, видно, оставил затею идти к Мэрит с посошком, теперь он принялся бахвалиться своею силой. Он закатывает рукава кафтана. Ростом он не больно выдался, но силой бог не обидел. Не хочет ли Хокан померяться с ним силою? Хоть он и меньше него ростом, но еще надо поглядеть, кто из них будет лежать на земле носом к луне! Он укладывал мужиков повыше Хокана на обе лопатки. Да, силушки у него хватает. Сегодня, когда несли гроб, он ни разу не отпустил свою ношу, Хокан, поди, сам заметил!

Нет, он заманил его к себе неспроста! Повель хочет посчитаться с ним, а сейчас хитро и осторожно уговаривает его померяться с ним силой. Видно, хочет не на шутку сразиться с ним. Не иначе как он решил перехитрить его, придумал уловку какую-нибудь. Если бы только он мог сразиться с ним в честном бою один на один за женщину, которая спит в этом доме! Лучшего Хокан и не желает. Ему охота сразиться, хмельной огонь горит в его крови, он чувствует, как сила растет в нем, разбухает... Только не надо спешить, покуда он не узнает точно, чего хочет Повель...

— И силой со мной не хочешь померяться, брезгуешь?

У Повеля за поясом нож, а Хокан свой нож оставил дома. Если Повель задумал не на шутку сразиться, нож у него под рукою.

— Так что же, друзья мы или станем драться?

— Друзья! — бормочет Повель и откидывается, опираясь на угол дома.

Потом он резко поворачивается:

— Ясное дело, друзья.

Хокан помогает ему перешагнуть через порог и вдруг чувствует, что сам занемог, куда уж там силой меряться. Наконец ему удается отвязаться от Повеля и он уходит домой, а на душе у него лихо от всего, что пришлось пережить в этот вечер.

* * *

Стало быть, он ошибался, Повель в самом деле захмелел, не прикидывался. Это просто нечистая совесть мучила Хокана, приписывала угрозу каждому слову Повеля. Видно, под ногами у него вырыто столько волчьих ям, что он теперь и шагу ступить не смеет. Его нечистая совесть приписывает Повелю и хитрость, и коварство, которых у того вовсе нет. Он просто-напросто разошелся вовсю и безо всякого злого умысла решил помериться силою. И повести его к своей жене, чтоб дать ей выпить на посошок в постели, он хотел лишь по дружбе. Желал выказать ему свое расположение — у пьяного стыда нет.

Хокан только что провожал в последний путь человека, которого сжила со света нечистая совесть, а самого его мучает тот же недуг. Он превратил своего соседа в некое исчадие коварства. Вздумал, будто Повель хочет лишить его живота, ему мерещатся ножи, которые сосед наточил и собирается вонзить ему в грудь.

Взбредет ему в голову какая ни на есть небылица, он тут же домыслит, будто так оно и есть на самом деле. Любая выдумка становится в мыслях у него правдою. Ему трудно понять, что многие поступки соседа смысла не имеют вовсе, оттого-то Хокан и вкладывает в них свой смысл.

Он не пошел с Повелем к Мэрит, испугался, что сосед затеял это неспроста. А сейчас Повель входит к ней один. Вот он подле нее... вот... вот...

Хокан бредет домой, а сердце его захлебнулось от боли. Он клянется, что его ноги не будет в доме Повеля, что всей той мерзости и подлости, в которой он весь измазался, придет конец и что ждать осталось недолго!

МЭРИТ БОИТСЯ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ

Пришла пора косовицы, в траве запели косы. Мужики стоят, нагнувшись, над точилами, и косы звенят-поют, ударяясь об оселки. Песнь косы слышна с рассвета до захода солнца. А бабы идут с граблями, зубья граблей вонзаются в корни трав, сгребают сено. Днем в деревне жара и запах сена, по ночам — прохлада и тот же запах сена.

Но Хокан Ингельссон выпустил свою корову на топкий луг, а овец — на выгон. Нынче он не собирается запасать сено. Когда его работница стала было ему перечить, он сказал ей напрямик все, как есть. Ренту и подати платить ему нечем, так не все ли равно, станет он косить или нет. Может, он еще не успеет отведать хлеб нового урожая, как ленсман явится и отберет скотину. До зимы у него, поди, не останется в доме никакой животины, так для кого запасать корм? Коли хлев пуст, пусть будет пуст и сеновал. Дело идет к тому, что у него отберут и землю, так какой резон ему радеть о своем хозяйстве?

И Хокан не скосил ни травинки. Знай себе бродил по лесам, ставил силки на птиц да капканы на зайцев. В лесу ему привольно, к тому же, глядишь, иной раз в доме — превкусное жаркое.

Но Элин горевала, глядя, как скотина пасется на сенокосном лугу. Коли Хокан бросит крестьянствовать, так и служанка ему будет ни к чему. Может, скоро для нее в доме не найдется дела. Место она сыскала бы легко, кабы захотела, да только ей ни за что на свете не надо иного хозяина. Как бы Хокан ни обрывал ее подчас, ей хотелось остаться у него в доме.

Ей хотелось помочь ему. Она плакала при мысли о том, что не в ее власти сохранить ему землю.

Но к женщине, от которой шло все зло, ее сердце преисполнилось жарким гневом. В ее глазах во всем виновата была жена Повеля.

Она присушила Хокана, сбила его с толку, чтобы он ни о чем и ни о ком не помышлял, кроме нее. Да, Элин все больше уверялась в том, что Мэрит — колдунья. Она слыхала, что в Юдере водятся чертовки, так нетрудно догадаться, что Мэрит им сродни. Ведь и другие крестьянки гадали о том, не перебрался ли к ним в деревню за последнее время человек, умеющий наводить порчу. Дивные дела творились в доме у старостихи. Карна, жена Андреаса, сама о том сказывала. Кто-то сглазил ее, и у нее теперь не сбивается масло. Сколько бы она ни сбивала сливки, масла не получалось. Она сбивает час за часом — и ни комочка! Как бы ни были густы и свежи сливки, вместо масла выходила лишь пена да пузыри. Куда же девается ее масло? Не иначе тут замешана колдунья, она-то и забирает ее масло. Карна сама это говорила, и слова ее — чистая правда.

Элин знала, кто отнял у старостихи везение сбивать масло. Она видела здоровенные комки масла, которое сбивала Мэрит. Таких комков не получалось у хозяйки, жившей в этом доме до Мэрит. В усадьбе Повеля нередко видели шматы масла по три-четыре фунта. А в доме по соседству — лишь пена да пузыри. Яснее ясного, что масло украдено. А для той, кто может держать мужчину в своей воле, переманить везение на масло из одного дома в другой штука нехитрая.

У Элин язык чесался упредить Карну, да только как докажешь, что у человека украли везение сбивать масло. Тут творятся дела похуже и доказать их проще простого.

Жена Повеля важно вертит задом и словечком не удостаивает служанку, когда та приходит к ней с кувшином, а ведь ее посылает хозяин. Мэрит процеживает молоко для Элин с таким видом, будто дарит ей молоко, кувшин и еще кое-что в придачу. Лишнего словечка не промолвит. Может, ей ревность не дает покоя, оттого что Элин живет под одной крышей с Хоканом?

Кабы ты только знала, шлюха этакая! Ты бы, верно, шею-то маленько согнула! Ты, может, и колени преклонила бы перед служанкой!

Против огня и стали ведьмы и шлюхи бессильны. Потому-то случалось, что их жгли на костре и рубили им головы топором. В темнице они тоже теряют силу. Бросят их в темницу, и тут их чарам конец. А стоит только Элин рассказать, что она знает про Мэрит... Что станется тогда с этой гордячкой! Коли муж не сжалится над нею, придется ей поплатиться за свои черные дела. Все волосы выдерут ей, а она будет орать на весь белый свет. А после бросят в глубокую сырую темницу, куда сажают самых отпетых злодеев. Будет знать, как блудить. Кабы она только догадалась, что Элин все про нее знает!

Задирает нос, и дом у нее есть, и усадьба, и люди ее уважают, хоть она и двоемужница. И как только небеса терпят такую несправедливость? И как ее только земля носит?

Но отчего же молчит Элин? Отчего никому не скажет о том, что ей ведомо? Уж, верно, не из жалости к этой чертовке. И не оттого, что считает, будто Повелю так и нужно. Повеля она жалеет. Ведь, если рассудить, у нее и у него одна доля: обоих их обманули, ограбили.

А коли у них одна судьба, надо им держаться вместе. Ей хочется встать на сторону Повеля — ведь у нее с ним один враг.

Но Элин не делает этого ради Хокана. Она не открывает глаза Повелю, молчит ради Хокана. Не хочет отплатить ему злом за добро, навлечь на него гнев Повеля. И, коли она выдаст Хокана, для нее не останется никакой надежды. А она еще не оставила мысли о том, что Хокан однажды скажет ей: «Без тебя мне не жить». Потому она ходит, затаив ненависть и жажду мести, молчит и делает вид, будто ничего не замечает.

* * *

Все крестьяне на покосе, и в домах царит необычная тишина. Но мирской захребетник Герман остался в деревне. Он сидит в тени клена возле дома Повеля. У Франса Готфрида ему дольше оставаться было нельзя, раз хозяин сам покинул этот мир и в доме готовились к поминкам. И вот он перебрался к новоселу. У этого крестьянина ему жить еще не доводилось. Он сидит и чинит рваную волчью сеть, которую ему дал Повель. Кто знает, может, этой зимой опять будет облава на волков. А коли крестьянин не придет и не поставит свою сеть, когда окружают волков, его заставят платить пеню.

Старик Герман дремлет за своей работой. Сейчас самое жаркое время дня, и жизнь вокруг него замерла. Ветер совсем утих, словно, устав бушевать, решил отдохнуть посреди дня. Трава лениво приникла к земле в покое и лени — ветер больше не теребит ее. Сонно жужжит шмель в гнезде у корня дерева. Сорочьи птенцы сидят сытые на ветвях груши, перестали галдеть.

Настало время отдохнуть после обеда. Старик Герман видит, как жена хозяина берет кувшин и идет вниз к роще. В эту пору все лесные вырубки усеяны красными точками земляники. И, хотя сенокос не ждет, Мэрит решила отлучиться ненадолго, набрать ягод. Славно отведать вечером земляники с молоком, все равно что свежесбитого масла с теплым хлебом. Мэрит долго не возвращается, на удивление долго, а, воротившись, приносит лишь полкувшина ягод. За несколько часов набрать кружку ягод впору лишь ленивице. Она говорит Пове-

лю, что земляника еще не совсем поспела, пришлось обойти не одну вырубку, чтобы набрать кружку. Да еще зацепилась за сухостой и порвала юбку, надо сесть да починить.

Другой раз в такой же сонный полдень Повель собрался пойти посмотреть, какова рожь у него на пожоге. Мэрит вызвалась пойти вместо него, ему не надо будет на то время тратить, ведь и у нее глаза есть, поглядеть на рожь — дело нехитрое. Мэрит ушла и воротилась не скоро. А вернувшись, обрадовала Повеля, что рожь уродилась на славу.

Старый Герман видит, как Мэрит уходит и возвращается. А Хокана он в деревне почти никогда не видит, хотя глаз у него зоркий. И на косовице Хокана не видать, он бродит по лесу, ставит силки на птиц да капканы на зайцев.

Вот приходит Мэрит из лесу, и Герман слышит, как спокойно и складно она врет. Иной раз, говоря неправду, человек горячится, уверяет, и его в конце концов начинают подозревать во лжи. Она же не боится, что ей не поверят, и говорит с такой уверенностью, что никто не сомневается в правоте ее слов. И никогда без нужды не плетет небылиц. Ни одним словечком не соврет более того, чем ей надобно.

Мужчина и женщина поддались голосу плоти, и сама природа вмешалась в их жизнь, чтобы восстановить справедливость, ведь природа всегда права, а люди не правы. Но оба они не смеют целиком отдаться земной плотской радости. Они с опаской взвешивают свое счастье, боятся отдать за него слишком много, хотят заплатить дешевле, чем того требует жизнь. Может, жизнь требует, чтобы они отказались от выгод, которых им не хочется лишаться. И вот они крадутся тайком, обманывают, лгут, оскверняют себя, ставят человека ниже скота. Да, такое случается каждый день, и, верно, так будет, покуда существует этот мир.

Ибо людям поистине тяжко отдаться безраздельно той жизни, что владеет ими от начала до конца. Им тяжело стать свободными, расстаться со своим клочком земли, где они могут прожить до смерти. Старый Герман это хорошо знает. Ему пришлось искать для себя кривую березу, прежде чем он стал свободным. Дерево годилось, чтобы на нем повеситься, но Герман понял,

что он годится для жизни. И он мог гордиться этим, ведь далеко не всякий сумеет быть мирским захребетником, далеко не у всякого хватит мужества стать им.

* * *

Сенокосная страда еще не кончилась, когда к Повелю Йертссону пришла весть, что умер его отец. Мэрит отправилась с мужем в Юдер на похороны. Через несколько дней после возвращения из родительского дома Повеля молодая жена поняла, что она понесла.

Еще до похорон она заподозрила, что с ней творится что-то неладное, теперь сомнений больше не было.

Вначале она приняла это открытие спокойно. У нее будет дитя, а ведь всякая женщина должна рожать. В том, что с ней случилось, нет ничего странного, нечего пугаться, нечего над этим раздумывать. Это столь же обычно, как то, что солнце всходит и заходит. Мэрит затрепетала от радости, представив себе живое существо, которое растет в ее теле. Она прижала руки к груди, и ей показалось, будто она уже держит маленькое мягкое создание: внутри было удивительно хорошо и тепло. Да, Мэрит носила дитя под сердцем...

Но радость быстро улетучилась, она вдруг похолодела: кто виновник тому? Повель или Хокан? Один из них был отцом младенца, но откуда ей знать кто, ведь она спала с ними обоими.

Ужас охватил Мэрит. Она — двоемужница, не знает, чье дитя носит. Хокана? Ведь она долгое время жила с Повелем и не беременела. Она не знала, виноват в том муж или нет. Ей думалось, что отец младенца Хокан, но ведь мог быть и Повель. Правда была жестока: ей этого не узнать.

Может быть, загадка разрешится со временем. Младенец подрастет, видно будет, на кого он похож. Может, у него будут льняные волосы и сине-черные бездонные глаза Хокана, а, может,— широкий лоб Повеля и его тяжелый взгляд белесых глаз. Но что может случиться до той поры, пока загадка не будет разгадана? Она должна сейчас знать, кто отец ее младенцу, после это ей уже не поможет.

Недолго оставалась Мэрит спокойной. Призадумавшись, она поняла, что этой новости радоваться не при-

ходится. Она принесла ей лишь страх и печаль. Пока она делит ложе и с Хоканом, и с Повелем, брюхатость для нее — беда. Теперь она в полной мере изведала, каково быть двоемужницей.

Кабы только она могла сказать одному из них: «Я зачала дитя с тобой, оно твое!» Трудно ждать от Хокана, чтобы он поверил в свое отцовство, он тоже станет сомневаться. Иное дело Повель, ему стоит только сказать. Он-то не усомнится, рад будет будущему продолжателю рода. Но, может, отпрыск-то не его. А обманом навязывать ему чужое дитя не хотелось. До того она еще не докатилась, чтобы родить своему мужу младенца, зачатого другим.

Нет, сейчас она не может заставить себя обмолвиться об этом Повелю, лучше помолчать. Хокану бы следовало открыться, ведь до сих пор она еще ничего от него не таила. Однако и он ничего не узнал. Она боялась, что он станет упрекать ее. Может, он скажет: «Теперь сама видишь, надо было выбирать одного! Кабы послушала меня, не приключилось бы такое с тобой! Тогда не пришлось бы сомневаться, кто отец младенцу!» Да, она боялась услышать от него правду, а еще сильнее боялась, как бы он не остыл к ней. Может статься, он не захочет любить женщину, которая не знает, чей ребенок у нее под сердцем. А хуже того ничего быть не может — лишь бы он не покинул ее.

И она таила правду от обоих. Труднее всего было скрывать ее от Повеля. Стоило ей занемочь, он говорил: «Что это с тобой? Никак у нас будет мальчонка будущей весной?..» Об этом он ее и прежде спрашивал, она отнекивалась, и сейчас тоже отговаривалась, хотя теперь могла бы его обрадовать. Да нет, отвечала она, видно, просто съела что-то, что ей не по нутру.

Повель не шибко верил жене. Но что она врет, ему в голову не приходило. Решил, дескать, она сама не понимает, что с нею. Молода еще, детей не рожала, откуда ей знать, каково бывает беременным бабам? Повель, который уже заждался потомства и начал было отчаиваться, затаил надежду: может быть, к следующей весне. Жаль только, отец не дожил, не пришлось ему порадоваться внучатам на этой земле.

Мэрит неможется. Вроде бы и несподручно — в этакую-то горячую пору. Повель нанял работников: мужиков косить и баб сгребать сено. Жена тоже помогает

сгребать, однако ее первое дело — стряпать. Старается показать, что силы в ней не убыло. А у самой от дум аж голову ломит: что-то будет с ней?

Не может же она вот так ходить и ждать, покуда не станет поздно. В один прекрасный день ей уже нельзя будет отпираться. Коли она не захочет обмануть Повеля, сказать, что младенец зачат им, придется во всем повиниться. А она все же не совсем потеряла совесть, не хочет подкинуть ему чужое дитя. Иначе придется лгать и притворяться до конца дней своих. Не приведи господь... От Хокана она тоже не сумеет долго скрывать про младенца. А он, может статься, покинет ее. Этого она не вынесет. Все страшные беды готова она стерпеть, только не эту. Без Хокана ей свет не мил.

Дитя, зародившееся у нее во чреве, не должно разлучить их. Лучше уж тогда она избавится от него. Да, некуда деваться, придется вытравить дитя, иначе быть беде.

Материнской радости Мэрит придется положить конец. Иного выхода у нее нет. Коли она не может точно сказать, кто отец младенца, она не хочет ни носить его под сердцем, ни родить. Как бы ни было отрадно держать младенца у своей груди, она знает — он принесет ей одно лишь горе.

И времени терять более нельзя.

Когда привезли воз сена с луга, Мэрит вдруг решила тоже ехать за сеном. «Что это на нее накатило? — подумал Повель.— Села на пустую телегу, схватила вожжи и погнала быков. Возчик из нее худой — колеса подпрыгивают на больших камнях, телега трясется и накреняется, того и гляди развалится».

Мэрит гонит вовсю по камням и пням, ей кажется — душа так и рвется из тела. Крошечное создание — сейчас оно, поди, не более незрелого яблока,— верно, этого снести не сможет. Повель не велит ей больше ездить, да еще так гнать. Но она без его ведома едет снова и снова.

Дни приходят и уходят. И ничего с ней не случается. Это крохотное создание может вытерпеть больше, чем она думала. И она замечает, что Повель все чаще смотрит на нее пристально. Он угадал правду, и его провести нелегко. А может, скоро и Хокан начнет спрашивать. Что же ей и ему врать придется?

Мэрит нельзя терять времени. Нужно выкинуть младенца, покуда все еще можно скрыть.

Старухи в Юдере говаривали: «Надо поднять тяжелое, и плод выйдет. Стоит только найти что-нибудь потяжелее. Тогда оболочка лопнет и плод младенца, лежащий в ней, выйдет и сгинет навсегда». Да, так говорили старые женщины — не ей самой, а просто ей довелось слышать. И теперь не остается ничего иного, как испробовать это средство. Она поднимет что-нибудь, пока время еще не упущено.

С утренней трапезы до обеда Повель с работниками на пашне, и Мэрит решила не терять больше времени. Она выбирает во дворе самый большой железный лом, взваливает его на плечо и идет на картофельное поле. На краю поля лежит груда камней, окаймленная малинником со спелыми красными ягодами. Мэрит выкопала ямку под огромным камнем и вставила в нее тяжелый лом. Теперь она станет поднимать, поднимать изо всех сил.

Камень так велик, что сдвинуть его железным ломом могут пятеро мужиков. А сейчас женщина попытается одна сделать то, что не под силу и пятерым мужикам. Она расшатает камень. Если камень не захочет покачнуться, тем хуже для ее тела. И для того, что растет в нем.

Мэрит стоит, низко согнувшись, и крепко держит руками лом между коленей. Вот она пытается распрямиться, не выпуская лом из рук. Камень непомерно тяжел, кажется, будто она поднимает гору. Но воля ее говорит: поднатужься сильнее... еще сильнее... Но тело не слушается, оно слабое, жалкое, вялое. Оно выжимает из себя силу рывками, а после сникает. Она задыхается, грудь болит, спину ломит, колени подгибаются. Еще сильнее... Но у тела нет больше сил.

Запыхавшись, она садится передохнуть. Никакого толку, она в отчаянии. Нужно поднимать, покуда не поможет. Больше ничего не останется делать. И времени терять никак нельзя.

Вот она снова хватает лом. Неужто она не сумеет заставить тело напрячься еще немного, может, и нужно-то еще совсем немножко? Да уж, по правде говоря, хорошего в этом мало. Но делать нечего... сильнее... еще чуток... И она поднимает лом с закрытыми глазами и перекошенным лицом.

Мэрит все поднимает лом до тех пор, покуда ее поясницу не пронзает словно копьем, а внутри что-то не начинает литься раскаленным железом.

Она уже больше не напрягается. Перед глазами у нее солнце раскалывается на мелкие осколки, земля уходит из-под ног. Она хочет разогнуться, но она не поднимается, а падает навзничь. Перед глазами вспыхивают раскаленные звезды, они зажигают голову, и голова становится огненным шаром, она вся пылает. Потом к ней приходит ночь, она обволакивает ее плотным покровом, благостная, милосердная ночь. «Теперь, верно, не надобно будет...» — ее последняя мысль.

Мэрит лежит на спине, а возле нее — лом. Она упала в большой куст малины, и из нее потекла кровь, горячая, ярко-красная, как спелые гроздья ягод.

Тура нашла ее задолго до того, как она пришла в себя. Мэрит потеряла много крови. Служанка кричала и причитала. Внизу живота до того болело и жгло, что Мэрит хотелось реветь по-звериному, но она велела служанке молчать, когда та запричитала вместо хозяйки. Она ничего не запамятовала: велела Туре никому не сказывать про железный лом, которым она хотела сдвинуть камень. Тут же она посулила ей суконную юбку к отпускной неделе,— а она из тех, кто держит свое слово. Служанка начала догадываться, что случилось в малиннике у каменной россыпи, но она была из тех, кто умеет молчать и хранить тайну. К тому же молчать легче, когда знаешь, что получишь суконную юбку.

Служанка помогла хозяйке улечься в постель. Когда же Певель воротился с косовицы, Тура сказала ему, что жена его сильно занемогла, слегла в постель и мается болями. Да, она надорвалась, поднимая бадью с водой, и упала навзничь. Никто не видал, как это с ней стряслось, а после она помогла хозяйке улечься...

Повель разом и испугался, и разгневался. Стал укорять Мэрит, стонавшую в постели, что она не уберегла себя. Говорил он ей, чтоб она не смела поднимать ничего тяжелого, зачем его не послушала? Принялся бранить служанку — мол, ей самой надобно было нести бадью, ее дело смотреть, чтоб в доме была вода. Тура молчала, думая, что хозяйка, верно, отблагодарит ее.

Повель разгневался за то, что Мэрит ослушалась его, и испугался за долгожданного младенца. Женщина

в ее положении должна беречься и пуще всего опасаться поднимать тяжелое. И тут же спросил:

— Ты не выкинула дитя?

— Не-ет. Просто оборвалось что-то внутри.

— А так ли это?

— Мне лучше знать!

Но хозяин опасался, что она все же скинула. Мэрит, поди, сама не знает, что с ней стряслось; больно молода еще, откуда ей знать, что такое выкидок.

Повель опечалился и помрачнел. Чуть ли не целый день он сидел подле Мэрит, хотя на лугу оставалась уйма сухого сена. Он стал ласковее с женой, больше не упрекал ее, а только наставлял и уговаривал.

Молодая хозяйка лежала измученная, ослабевшая; она не смогла встать с постели и на другой день. Низ живота у нее беспрестанно жгло огнем — может, она сильно повредилась. Она спросила старика Германа, не знает ли он какое средство против надрыва живота.

Вот оно что... Стало быть, она надорвалась? Герман смотрит в окно, словно ищет исцеления для Мэрит где-то вдалеке. А глаза у него шибко зоркие, он видел вчера, как женщина взяла железный лом и прокралась прочь, словно на разбой... Подняла тяжелую бадью с водой? Чудно, надо же такой беде случиться. Он расспрашивает ее, как все это сталось. А она то краснеет, то бледнеет — боли мучают.

«Вот оно что»,— говорит Герман. Стало быть, бадья с водой большая и тяжелая, женщине легко надорваться, коли поднять ее неосторожно. Можно сильно повредиться. Тут уж как повезет.

Зоркие глаза старика буравят молодую хозяйку... Молодка идет с железным ломом к каменной россыпи, чтобы избавиться от младенца, чуть не лишившись жизни. Людей пугают привычные представления обо всем, и из страха они творят зло сами себе.

Надорвалась? Нет, верного средства Герман не знает. Кабы у нее была грыжа, он бы сумел помочь. От этой хвори он чуть было не помер однажды. Он ездил к настоящему ученому лекарю в Кальмар, а тот отказался помочь ему — мол, дело далеко зашло, от смерти лекарства нет. Герман помирать не хотел, в ту пору он никогда о том не помышлял; ведь случилось это, когда его путь до кривой березы был еще далек. Тогда он послал за старым воякой, что работал у него в усадьбе.

Этот вояка умел останавливать кровь и ставил людям пиявки. Он велел служанке замесить тесто и поставить в печь булки. Когда первая булка испеклась, вояка положил ее горячую, как огонь, Герману на живот. Как только булка остыла, служанка подала ему другую из печи. Так солдат менял булки и клал ему на брюхо. И после пятой булки Герману полегчало. Грыжа начала спадать. Словно уходившая жизнь раздумала и решила остаться в теле до поры. На седьмой булке всякая боль исчезла, а когда с живота сняли десятую, он встал с постели здоровехонький.

Стало быть, против грыжи надо класть на живот десять горячих булок, прямо из печи. И будешь жив и здоров. Надрыв живота — дело иное. Коли женщина надорвется, поднимая ведро с водой, и у нее сильно болит низ живота, булками делу не поможешь. В схватках он ничего не смыслит. Ничем помочь молодой хозяйке он не может. Надо опасаться, что у нее порвалось что-нибудь внутри,— тогда нужно присоветовать ей лежать в постели, не шевелясь, покуда все не заживет.

* * *

И Мэрит не встает с постели, хотя ей уже полегчало и пора стоит страдная. Старостиха Карна пришла навестить ее, отварила малину и дала ей испить взвару. Только Мэрит не хотела, чтобы женщины приходили к ней,— боялась, чтобы не догадались, что у нее за хворь. Карна пришла разнюхать, в чем тут дело, оглядела ее, пощупала. Похоже было, что соседка не сказала и половины того, что думала.

Хокан был у себя дома, но она не хотела, чтобы он заходил к ней, хоть ей сильно недоставало его ласки. Ведь он станет расспрашивать, а ей бы не хотелось отвечать. Придется лгать ему. И она боится, что не сумеет солгать. Может, она не удержится и скажет ему правду, а это не годится.

Нет, лучше уж пусть никто не приходит к ней,— ведь каждый, кто приходит, спрашивает: «Как же это вышло? Как приключилась беда?» А когда лежишь, ослабев — головы не поднять,— тяжко изворачиваться. Она боится, что рассказывает всем по-разному. Иные так смотрят недоверчиво, изволь им рассказывать все по порядку.

Мэрит хворает, но забыться ей нельзя ни на минуту. Нелегко бороться в одиночку. Одним лишь она утешается: она избавилась от тяжкого бремени. Ей удалось все же выкинуть, как ее тело ни противилось. Она шла тогда к каменной россыпи, полная решимости во что бы то ни стало избавиться от младенца. И когда она вернулась оттуда, то была свободна. Может, она никогда не осмелилась бы пойти туда, кабы знала, какая опасность ждет ее. Но теперь дело сделано.

А она так никогда и не узнает, кто наградил ее этим младенцем — Хокан или Повель.

* * *

Покуда молодая хозяйка лежала в постели, часы тянулись медленно, и она успела оглянуться назад. Она поразмыслила обо всем, что случилось с ней с прошлой весны, о том, как она переменилась с тех пор. Заглянула себе в душу, чтобы вынести самой себе приговор.

Душу ее переполняло лицемерие, чуть ли не каждое второе слово, сказанное ею в собственном доме, было лживым. Она до того привыкла к этому, что говорила неправду даже когда ей не надо было защищаться ложью. С Хоканом до сей поры она была правдива, но теперь у нее завелась тайна даже от него. Она вконец запуталась во лжи, которая, будто моток ниток, росла у нее на глазах и опутывала ее все больше и больше. И поступки, о которых ранее она и помыслить-то не могла, теперь ее мало тревожили,— слишком часто она совершала их. Переходить от Хокана к Повелю, а от него снова к Хокану, и так снова и снова... Сперва это причиняло ей тяжкие муки; сколько ночей она провела без сна, плакала, страдала, отчаивалась. Теперь же Мэрит стала замечать, что она притерпелась к этой мерзости. Она настолько привыкла переходить из объятий в объятия, что это претило ей все меньше, привычка сделала ее ко всему равнодушной.

И, заглянув себе в душу, Мэрит ужаснулась. Что же станется с нею?

Все вышло так оттого, что она искала выгоды для себя. Не желала ничем поступиться. Ей хотелось быть женой Повеля и возлюбленной Хокана. Ей хотелось сохранить и беззаботность, и радость. Как жене Повеля ей не страшны были ни нужда, ни забота о хлебе на-

сущном, как полюбовница Хокана она жила с радостью в сердце. Стало быть, она как бы поделила свою жизнь на две половины. И так она жила, покуда не опротивела себе самой. Надолго ли хватит ее терпения? Жизнь жестока, она требует от нее слишком много. Требует лицемерить и прятаться, утаивать и лгать. Эта жизнь душит ее, она опротивела ей.

Положить этому конец!.. Душа ее больше не хотела терпеть, рвалась прочь. Но ведь она не могла ни отказаться от Хокана, ни уйти с ним, стать беглой женой и жить в лесу, где прячутся воры и бродяги.

Хоть она и приневолила свое тело выкинуть младенца, свободной она не стала. Недолог был час, когда она думала, что освободилась наконец. Слова Повеля заставили ее призадуматься как следует:

— В другой раз будешь беречься!

Повель больше не потерпит такого. Крестьянин дал жене строгий наказ. Он заботится о продолжении рода. Что-то оборвалось в груди у Мэрит. В другой раз! Да, как только она выздоровеет, наступит другой раз. Она чуть не рассталась с жизнью, но ничего этим не выиграла. Ничего, кроме малой отсрочки. Коли она по-прежнему будет двоемужницей, к ней скоро снова придет смертная мука. Для чего были все ее страдания и насилие над собой?

Мэрит оглядывается на прошедшее и ужасается, смотрит вперед и отшатывается, холодея... ужасается еще сильней. Быть двоемужницей, не знать, чье дитя родишь, лгать и утаивать правду от обоих... Эту жизнь она уже вытянула в паутинку и чуть не сошла в могилу. Что же будет дальше? Что станется с нею?

ЖАТВА

Наступила страдная пора, в деревне жнут пшеницу.

Лето отдает последние остатки тепла, которое дрожит над желтеющими с каждым днем нивами. Скоро зерно будет готово полечь — твердый, спелый колос с угрозою повис, заставляя нагибаться тоненькие слабые стебли. Если стебель сломается под этой тяжестью, колос упадет на землю, и тогда он может не попасть на гумно. Птицы склюют его, люди затопчут. А хлеб на-

сущный негоже скармливать птицам, или давать ему гнить в земле.

«Пшеница полегает» — и сразу в деревне начинают точить серпы для всех крестьянок, что в силах работать. Все они отправляются на поле жать пшеницу, покуда колос еще не сломил стебель.

Залитые горячим солнцем, золотятся за деревней масляно-желтые пшеничные поля. Крестьянки ходят, согнув спины, срезая стебли пшеницы у самого корня; они жнут с голыми руками, на каждой лишь безрукавка да юбка; стучат надетые на босу ногу деревянные башмаки — босиком не пойдешь жать, наколешь ноги об острое жнивье. Одна крестьянка вяжет снопы на трех или четырех жниц. Низко приходится нагибаться жницам, чтобы достать до самых корней; солому берегут, оставляют до того короткое жнивье, что просвечивает черная земля. Они собирают снопы и, распрямив спины, связывают их. Снопы лежат рядами у них на пути, повернутые срезанной стороной к жницам, колосом — от них. Если идешь по сжатому полю, гляди, куда ступаешь. Наступишь на колосья снопа — значит, топчешь хлеб.

Время от времени приходят мужики и ставят снопы в длинные ометы на просушку. Снопы стоят по два, поддерживая друг друга своими колосьями: упадешь ты — упаду и я. По двое стоят снопы ряд за рядом. Последними приходят ребятишки, они собирают опавшие и оброненные колосья в корзины. Хватит испечь пшеничную булку в конце дня. На колосках — колючая борода остьев. Она колет и царапает нежные ребячьи пальцы.

«Пшеница полегает» — и долгими жаркими часами сгибаются спины, жикают серпы. К вечеру, когда в траве на межах поют-стрекочут кузнечики, ярко-желтые полотна нив съеживаются. Сейчас, когда пшеница налилась и стала твердой, жнут, покуда не сядет солнце, покуда не выпадет вечерняя роса.

Мэрит вышла на поле Повеля. Время исцелило ее, она снова на ногах. Мэрит молода и сильна, оттого-то и могла она, верно, позволить не беречь себя. Время от времени ее все же начинает, однако, одолевать слабость и в руках нет прежней силы. Но раз пришла пора жатвы, приходится поднатужиться, да к тому же ей уже под силу выйти на поле. Правда, спину сильно ломит — снопов позади выросло уже порядком. Мэрит и Тура

жнут, Повель вяжет снопы и ставит их на просушку. Жать — дело не мужицкое.

На поле тишина, пора горячая, отвлекать друг друга разговорами не время. Каждый думает о своем. Повель старательно считает снопы и гадает, сколько ометов он поставит в нынешнем году. И сколько ему достанется от отца... Наследство еще не делили, но свою долю пшеницы он получит из дому... Он поглядывает на солнце — до чего же быстро оно садится, аж досада берет. Вечно дня не хватает, чтоб переделать все дела, как задумал было. Когда хлеба вызрели, день бы надо сделать для крестьянина подоле.

Служанка тоже смотрит на солнце, что остановилось на небе и ни чуточки не двигается. Хозяин считает ометы, а она — часы до того, как на поле выпадет роса. И, подумать только, солнце с места не двинется, видно, никогда не сядет... Неужто оно не может сжалиться над тем, кто гнет спину на поле от зари до зари?..

А о чем думает Мэрит? Она не считает ни ометы, ни часы. Она вяжет сноп и осторожно кладет его на землю. Это поле ее и Повеля, это зерно ее и Повеля. Она напрягает все силы, чтобы помочь снять урожай, хотя еще не успела окрепнуть. Но земля и то, что растет на ней, требуют помощи ее рук.

А Хокан требует, чтобы она бросила все это. Как услышал про то, что она натворила, стал еще настойчивее. Что делать, ей пришлось открыться ему. Стоило им повстречаться, как она не смогла устоять. Слишком тяжкой была для нее мука носить в сердце тайну от него. Как только он пришел, ее так и потянуло сказать ему все, как есть. До чего же сладко было ей снова прильнуть к нему. Слова сами полились потоком из ее уст. И после стало на душе так легко и отрадно. Все, что она скрывала от Повеля, не тяготило ее столь сильно, как эта единственная тайна от Хокана. А все оттого, что он люб ей. Им и так в жизни много приходится лгать, пусть же хоть друг другу они будут всегда говорить правду.

Так Хокану довелось узнать, отчего она сильно хворала и лежала в постели. Тут он так сильно сжал ее, словно хотел уберечь от беды: а вдруг она лишилась бы жизни! Или покалечила себя на веки вечные! Вдруг он потерял бы ее! И как только она посмела! Ведь она знает, что без нее ему не жить. С нею он может поде-

литься всем на свете, ей он может сказать больше, чем всем людям на земле, при виде ее слова сами срываются у него с языка. Как же посмела она такое натворить!

— Сама того не ведаю! Я голову потеряла с горя!

Она стала просить у него прощения. Ведь, может, это был его младенец, а она выкинула его. Теперь уже не узнаешь, чей он был; а может, ему досадно, что он никогда так и не узнает правды. Худо она поступила.

Но думает Хокан лишь об одном: она чуть не лишилась жизни, и больше такого с ней не должно случиться из-за него. Теперь им это будет уроком, сами во всем виноваты.

— Твари мы презренные,— говорит он.— Твари трусливые.

— Это я труслива,— всхлипывает она у его груди.

— Наперед будешь знать.

— Да уж я заглянула беде в лицо.

— Уходи со мной! Слышь, уйдем!

Да, он хочет, чтобы она бросила Повеля, он и прежде требовал этого и будет требовать, покуда она не послушает его. Он давно уже твердо решил уйти из дому и взять ее с собой. Может быть, они бы уже ушли отсюда, кабы не ее болезнь, которую она сама себе причинила. Ведь в Хэгербеке его удерживает лишь она одна. Если бы она только согласилась, он в любой день ушел бы отсюда. Ему уже давным-давно опостылело красться, прятаться и лгать. Если они убегут отсюда, то сразу станут свободными. А пока остаются здесь, должны каждый день бояться, что все откроется. Теперь-то она должна уйти с ним...

Хокан говорит так, словно у него есть несколько лошадей, запряженных в повозки, что стоят и ждут их: садись, поехали, все готово! Он говорит так, словно у него есть господский двор, куда можно привезти ее. А у него нет даже избы в лесу на горушке. Он говорит так, будто у него денег полная мошна. А что у них есть? У нее самой есть лишь одна вещица, которую можно продать,— серебряный подвенечный пояс. Стоит он денег немалых. Но это украшение издавна принадлежало ее роду и досталось ей в наследство. Его носили все невесты в роду и надевала она сама. Оно словно бы принадлежало не ей одной, а всем невестам до нее. И если она лишится серебряного пояса, то как бы опо-

зорит их всех: последняя невеста убежала от мужа, продала свой пояс и жила в блуде с чужим мужиком.

Хокан вне себя от нетерпения, ему все легче легкого. А она знает, что они скоро станут голодными и бездомными. Кто даст приют им, кто накормит их, когда они уйдут из деревни? Где они возьмут одежду, когда та, что есть у них, износится? Есть люди, что ушли в лес и стали свободными. Но они живут в землянках. А она не хочет жить в землянке и никогда не видеть солнца. Лишь воры да разбойники могут снести такую жизнь. Ворам больше и делать ничего не остается...

Да уж, легко плясать босиком, да ноги исколешь. И она все еще не решается согласиться, как ни просит ее Хокан, как ни понуждает. Как-никак Мэрит все еще крестьянская жена. Она ест свой хлеб в своей усадьбе, она осторожно кладет сноп на землю, бережет каждый колосок. Хокан расписывает ей, что лес и вода накормят их дичью и рыбой, но для нее возделанная земля надежнее. Для нее другой жизни, кроме той, какою она жила с младенчества, и быть не может. А якшаться со всяким сбродом, что слоняется по дорогам и укрывается в лесах, она не желает. Она из тех, кто живет жизнью оседлой и спокойной.

Мэрит, жена Повеля Йертссона, ходит по полю в страдную пору. Вокруг нее работают на полях другие жницы. Время от времени на поле Повеля смотрят чьи-то глаза, кто-то распрямляет спину и вяжет сноп. Вот оно что, баба Повеля вышла на работу! И, как только головы жниц окажутся рядом, чтобы можно было шепнуть друг другу на ухо, так слышится: «Она... вон она! Вон она ходит! Поднялась с постели!»

Вот уже до чего дошло. Смотрят на жену Повеля и шепчутся.

В Хэгербеке дома стоят так близко друг к другу, что каждый шаг у людей на виду. Режешь курицу — соседи уже знают про то. Сажаешь хлеб в печь — рядом в доме пахнет печеным. Выйдешь под вечер поискать блох в сорочке — тебя непременно увидят. Чужие глаза глядят на тебя из щелей, из-за каждого угла, провожают тебя на тропинке. Деревня лежит, отгороженная от остального мира, и жителям ее остается заниматься своими делами, как бы будничны они ни были. А большие события не случаются каждый день. Рождение, свадьба, поминки — такое бывает, почитай, раз в году, не чаще.

А пока их нет, приходится довольствоваться новостями не столь важными, тешиться ими в свое удовольствие, такими, как кражи по мелочи либо драка без увечья и смертоубийства.

Но нынешним летом случилось в деревне такое, что бывает далеко не всякий год. Теперь уже все вышло наружу.

Началось. Две хозяйки говорят третьей: «До чего же поздно она доит коров по вечерам».— «Нет, из дому она рано уходит с кувшинами. Я вчера видела, как она шла».— «А я видела, как поздно она возвращалась домой».— «Что же тогда она делает там так долго?»

Молва идет дальше. Пастушонок сказывал одной хозяйке, что он встретил мужика в лесу вечером, когда доят коров. А одна крестьянка сама встретила этого человека в ту же пору, а после тут же повстречала и женщину, что поздно доит коров по вечерам. Кумушки тут же восклицают: «Подумать только, его, а после ее?» — «Да, это были те самые он и она».

Пока что эти две кумушки лишь заподозрили, но точно не знают. Но вот они затевают беседу с другими, которые видели и слышали, почитай, то же самое. Дальше — больше, и вот подозрение вырастает в уверенность. Сплетня ползет от одной хозяйки к другой. Дочерям на выданье тоже кое-что сказано, но служанкам и малолетним говорить ни к чему.

В ласковую минутку жена доверит новость мужу, тот велит ей держать язык за зубами, коли это не доказано. Застать их никто не застал. А носить на хвосте худую молву, что порочит честь и доброе имя людей, опасно. К тому же эти люди слывут в деревне степенными. Однако сядет он вечером выпить кружку вина с соседом, и станет его мучить эта тайна. А уши послушать рады. И то, что ходило из уст в уста у баб, начали передавать друг другу мужики. Многие говорят, что это брехня и что, мол, лучше об этом помалкивать. Оттого сперва об этом стараются не говорить громко на всю деревню. А соберутся два-три мужика и судачат. Имен на всякий случай не называют. Да и ни к чему! Мол, тот, что живет на краю деревни, и та, что поселилась у них в деревне в прошлом году.

Сначала начали шептаться, потом пошли пересуды, дальше — больше, и скоро об этом услыхала вся деревня. Когда пришла пора снимать урожай, вся деревня знала,

что жена Повеля Иертссона путается с Хоканом Ингельссоном. Знали все, кроме Повеля. И в каждом росло затаенное любопытство: а что же будет, когда и этот последний в деревне узнает новость?

И на пшеничном поле во время жатвы люди шепчутся о Мэрит, головы поворачиваются к полю Повеля: вот она, шлюха поганая, двоемужница. Имя говорить опасаются, да и ни к чему. На весь Хэгербек у них лишь одна поганая шлюха.

* * *

Жнут в деревне пшеницу, а мирской захребетник Герман сидит на камешке перед домом старосты и видит, как гнутся и распрямляются спины. Старик снова сменил хозяина. Теперь он, сидя у старосты за столом, терпеливо, не выказывая недовольства, хлебает водянистую жидкую похлебку. Труднее ему выносить хозяйку, что ставит похлебку на стол. Староста-то уж хорошо может понять, отчего царь Соломон осудил сварливую женщину. Карна — поистине болячка на теле старосты. Вражда меж хозяином и его женой наполняет дом, словно затхлая вонь, и Германа тошнит от этой вони. Да, нетрудно мужу с женой быть в согласии по ночам, да беда, что днем им поладить труднее. А после сорока лет и ночная дружба остывает. Пятитысячная ночь никак не похожа на одну из первых пятидесяти.

Дело идет к осени, скоро Герману придется спуститься с Хэгербекского косогора и заползти в свой угол в богадельне. Жадно лето на тепло, а проклятущая зима щедра на волчий холод. Покуда он еще греется на солнышке, как старый, облезлый дворовый пес. Он смотрит на жниц, взгляд его останавливается на молодках; они двигаются так плавно, от их движений струится тепло. Герман глядит на них, и его греет тепло молодых.

Когда больше не можешь наслаждаться радостью жизни, так лучше б она сжалилась и не показывалась тебе на глаза. Бессильному старику в пору бы ослепнуть, чтоб не видеть больше молодых, гладких телом женщин. Ему надо бы забыть все, чем он тешился когда-то. Но оно является перед его глазами и мучает его. Вот оно, проклятие старости. Ясная память и зоркие глаза — проклятие для старика. Память мучает его, возвращая к былым утехам, зоркие глаза дают увидеть, что ра-

дость еще есть на земле, да не для него! О, кабы блаженное забытье и благословенная слепота могли снизойти на дряхлого старика! То ли дело, когда роса хмеля выпадет на его голову, да редки такие деньки.

Нет, нет, не дай бог ослепнуть, он хочет видеть до безрассудства красивую землю. Она полна непонятного и прекрасного, и человек ей не нужен; ей на него наплевать, и поделом ему. Люди жнут пшеницу, чуть ли не сдирают корку с земли, выцарапывают свой хлеб, но земля не чувствует себя ограбленной. Она слишком богата и не замечает, сколько у нее берут. Никакие воры не могут ее обокрасть. Люди везут зерно в амбары, наедаются досыта и умирают, когда приходит их час. Тогда в земле вырывают ямы и кладут туда мертвых. Земля щедра, она позволяет мертвецам лежать и гнить в ней. Ничего с ней не делается; опьяненная своим изобилием, она залечивает раны, наносимые ей людьми. Люди цепляются за землю и думают, что они тем самым служат ей службу. Но такую службу она не просила их сослужить ей. Людям должно делать то, что им предназначено, и они выполняют свой долг, когда им не препятствует проклятая рассудочность.

Люди любят свой клочок земли, а не землю. Кабы они могли стать свободными от своего лоскутка земли, они воспели бы всю землю и последовали ее зову. А сейчас они связаны по рукам и ногам вещами, что окружают их, позволяют дому, полю и скотине владеть ими. Когда же они станут свободными? Когда же люди станут владеть землею со всем ее богатством и красотой?

Когда Герман в один прекрасный день стал до того беден, что дверь за собою не надо было закрывать, он вышел через эту дверь и стал свободным.

Его зоркие глаза следят за мужчиной и женщиной в деревне — неужто они скоро последуют верным путем на земле? Покуда они еще боятся дневного света, унижают себя постыдною жизнью под защитой темноты. Неужто они так и будут хитрить? Неужто их одолеет злосчастная рассудочность?

* * *

В пору жатвы сгущается вечерний мрак. Когда темный покров окутывает пшеничные скирды, они кажутся неведомыми чудищами. Длинные ометы стоят словно

скопище огромных ящериц с золотистыми спинами. Ночью луна, выглянув из темных облаков, снимает с них полог мрака.

А по вечерам неумолчно стрекочут кузнечики.

Как стемнеет, через пожню крадется женщина. Он еще не вернулся, нет еще дома хозяина. Ходит себе где хочет. И ей в этот вечер невмоготу сидеть дома. Где-то они сейчас? Где бы они могли быть нынче вечером? Где? Сегодня она нашла постель из снопов, на которой лежали прошлым вечером. Они забыли разобрать постель и снова поставить снопы в скирды. А где они укрываются нынче вечером? Стоит вёдро, луну лишь изредка закрывают облака — они, верно, прохлаждаются под открытым небом? А может, устроили себе постель на гумне?

Теперь Элин знает, что она не нужна, может уходить когда захочет.

Хокан продал корову и овец за ту цену, что ему предложили, а вчера пришел и принес ей плату за лето:

— Можешь переезжать когда захочешь.

Элин давно боялась этой минуты, но все надеялась, что дотянет до отпускной недели. Сейчас она все же решила прожить здесь положенное время.

— Я не возьму платы за то время, что буду жить тут.

— Так в доме и делать-то тебе будет нечего.

— А стряпать и на стол собирать?

— Да я и сам могу управиться.

— Я все ж останусь, покуда хозяин здесь живет.

Он промолчал. Может, он не прогонит ее со двора, ведь она служила ему столько лет.

А что он теперь задумал? Он такие штуки выкидывает, ума не приложить. Продал все, что было в доме. Может, ему без этого не обойтись? Даже пошел и заложил у корчмаря в Бидалите большой медный котел. До чего ей жаль этого котла! На вырученные деньги он привез домой большущий запас пороха и свинца для пуль. Еще пуще она удивилась, когда он приволок здоровенный мешок соли. На что ему соль, когда у него нет скотины, чтоб закалывать ее осенью и солить мясо? Она хватилась также, что в доме нет и других вещей по мелочи, которых он не продавал. Когда она спросила, куда они подевались, он ответил: «Верно, украл кто, коли их нет!» Но она поняла, что он врет. Элин ломает

голову, что бы все это могло значить. Может, он думает теперь кормиться охотой? И как ей остаться с ним, коли у него отнимут землю? Она хочет быть рядом с ним, велико ее желание видеть его каждый день. Ей тяжко даже подумать, что больше не надо будет печься о нем. Не может она жить без заботы о нем после всех этих долгих лет. Ведь как иначе выразить свои чувства к нему? Ее отвергнутая любовь вылилась в заботу о нем, в то, что она делала для него в доме. Что же она станет делать, если ей придется уйти от него?

А ведь он сказал, что она может уйти в любой день. Но она останется, не оставлять же его одного с этой чертовой бабой, что сбила его с толку. Она знает, что он ходит к ней на свидания, и мучает себя: «Что-то они там сейчас делают?» Она не может успокоиться, покуда он не воротится домой. Хоть бы он снова вернулся взбешенный донельзя, как в тот раз весной. После того он целую неделю не ходил крадучись по тропинкам. Она тогда надеялась, что он узрел всю ехидность этой чертовки и отвратился от нее. Но не тут-то было. Нынче он каждый раз возвращается от нее довольный. Напрасно хочет она прочесть гнев в его глазах.

Ненависть Элин к молодой жене Повеля горяча, как раскаленный уголь. Откуда господь всемогущий взял столько зла, чтобы создать эту ведьму? Этого зла хватило бы на двадцать честных христиан. Теперь чуть не вся деревня знает про ее постыдные дела, да только никто не осмеливается открыть глаза мужу. Ходил слух, что она зачала в блуде и сама наколдовала себе выкидок. Доколе господь будет терпеть худые дела, что творятся в деревне? Не так давно одной женщине в приходе отрубили голову на плахе за то, что она извела младенца во чреве. Доколе будут потворствовать этой колдунье? Мера ее злых дел давно переполнилась, она заслужила самую что ни на есть позорную смерть.

А она, бесстыдная, все еще ходит задрав нос.

Иной раз Элин мучает совесть: может, она сама потворствует нечистой похоти этой бабы? Может, господь велит ей раскрыть этот грех? Но тогда, верно, и Хокану придется отвечать, и ей приходится молчать, подавлять голос совести.

Под конец она придумала, что ей делать. Она застанет их на худом деле. Не для того, чтобы обличить их после. Просто пусть Хокан знает, что она может сде-

лать, коли захочет. Пусть знает, за что говорить ей спасибо. С самой весны он ходит крадучись к этой женщине и тешится с нею. Кабы Элин вымолвила о том хоть словечко... тут же!.. Как он узнает, так поймет, чем обязан ей. Она покажет ему, что он у нее в долгу, хоть и выплатил ей плату до последнего гроша. Как она застанет их, так, верно, он узнает ей цену. Другого выхода Элин найти не может.

Что он сделает, когда она застанет их? Интересно знать. Верно, заорет в ярости за то, что она выслеживает его? Может, станет бить ее?.. Да, верно, прибьет ее, но от этого ей больно не будет. Хокан... его руки не могут причинить ей боли. Это она знает хорошо, знала все эти годы, руки Хокана могут лишь приласкать ее. Если б только он захотел дотронуться до нее! Но когда она застанет его в объятиях жены Повеля, он в сердцах поднимет на нее руку. Тогда он хоть увидит, что она есть на белом свете. Хокан... она чувствует, как его сильные пальцы сжимают ее запястья. Он выворачивает ей руки, но ей лишь хочется, чтоб он крепче сжимал пальцы, ведь ей не больно. Она так давно желала, чтоб они коснулись ее. Наконец он увидел, что у нее есть тело, и до него можно дотронуться. И оно вдруг станет для него соблазнительным. Он вдруг поймет, что не может бить ее, не может причинять ей боль. Ведь она сделала ему столько добра. Он узнает, что она целое лето скрывала его преступное сожительство с чужой женой. И это смягчит его сердце. Он захочет отплатить ей добром. Она молчала, а могла сильно навредить ему. Тут он прикоснется к ней нежно, бережно... Обнимет крепко... Она навсегда останется с ним...

Вот как это будет. Горячая волна приливает к ее сердцу. Она ищет его и преступную жену. Она ненавидит и вожделеет в беспамятстве. Нет, она не выдаст их. Но она разлучит их тем, что даст им знать: их проделки раскрыты. Им придется оставить срамные дела. А она привлечет его к себе. Его руки станут касаться ее тела, до чего же ей будет хорошо...

Вечер тих, лишь в траве раздается неумолчное стрекотание кузнечиков. Неслышно крадется кот через пожню — подкарауливает мышей в амбарах. В капустных грядках послышался легкий шелест — заяц грызет капусту. Заслышал хитрец запах капустного листа и прискакал с лесной опушки. Вот надломилась веточка ябло-

ни, увешанной плодами. Плюх!.. Тяжелое яблоко падает в траву. Уши у зайца поднимаются и стоят как свечи. Выплывает луна, и на межу падает большая тень — привязанная к коновязи, здесь стоит лошадь.

А вот появляется женщина; она идет согнувшись, оглядываясь по сторонам. Где они расстелили свою постель? Элин медленно обходит амбары с зерном, ожидая, что вот-вот споткнется о два лежащие тела, прикладывает ухо к дверям сеновалов и гумен — не слышно ли шороха соломы и сладострастных стонов. Ничего не видно и не слышно. Она подходит к стоящей на привязи лошади и гладит ее нежную блестящую холку. Она любит приласкать лошадей, а стойло в конюшне Хокана давным-давно опустело.

Луна снова зашла за тучу, мгла снова расстелилась на полях плотным пологом. Они где-то прячутся под покровом мглы... Неужто господь не поможет ей отыскать их тайное убежище? Но ведь господу угодно, чтобы она разлучила их, положила конец их греховным утехам? Отчего же бог не ведет ее стопы прямо туда, где они прячутся? Неужто не переполнилась еще чаша его терпения к греховодникам?..

Мрак все сгущается. Луна уже, видно, не выглянет. Элин крадется назад ни с чем. Господь не захотел помочь ей. Она возвращается домой, а в ушах у нее звенит стрекотание кузнечика. Эта томная манящая песня, летящая над травой, звучит насмешкой над несбывшимися мечтами Элин.

ТАК ТЫ НЕ ПОЙДЕШЬ СО МНОЙ?

Ходят слухи про жену Повеля, любопытные глаза провожают ее, куда бы она ни шла. Но пуще всех усердствует старостиха Карна. Ее дом стоит рядом, ей сподручнее всех следить за Мэрит. И Карна почитает своим долгом вывести на чистую воду срамоту, какой в деревне не бывало, покуда эта молодица не приехала сюда. Ей надлежит восстановить честь Хэгербека. Карна, женщина серьезная, строгих правил, была до глубины души потрясена, узнав о случившемся. Но сперва надобно упредить и припугнуть беззаконницу. Она встречала ее у колодца каждый день.

Старостиха поведала Мэрит о том, что случилось в Оррайерде несколько лет тому назад. Одна крестьян-

ская жена поддалась соблазну, потеряла стыд и жила в блуде с одним парнем. Грех ее открылся, она горько раскаялась и слезно молила мужа о прощении. Но он простить ее не пожелал. А вместо того отрезал кусок волчьей сети, обмотал ею неверную жену и привязал ее к воловьей спине. Она лежала на спине вола — ни рукой, ни ногой не двинуть, а он погнал вола по деревне. Вол пошел себе, куда ему вздумается. Так она и прокатилась с позором у всех на виду. И все считали, что поделом ей мука. Под конец кто-то сжалился и снял ее со спины вола. Мало того, после ее выгнали из дому и из деревни. Пришлось ей пойти странствовать по дорогам нищенкой. С тех пор о ней никто слыхом не слыхал. Согрешив, она потеряла все и погубила свою душу и тело.

Мэрит стояла и колотила белье; ее рука, державшая валек, задрожала. Она ответила: «Тяжкая ей выпала доля, такого и заклятому врагу не пожелаешь». Почувствовав на себе взгляд колючих, как иглы, глаз Карны, она поспешила добавить: «А может, ей и поделом...» Мэрит побоялась не сказать этих слов.

Карна решила, что сделала доброе дело, рассказав эту историю,— так велела ей совесть. Она добавила также, что у них в доме есть книга, где прописаны все законы, и в ней сказано: «Замужней женщине, повинной в блуде, должно всыпать тридцать пар палочных ударов или двадцать четыре розгами, а после посадить на хлеб и воду. А коли ее злодеяние особо тяжкое, ее следует лишить жизни». И примеров тому немало, когда нарушившие супружескую верность кончали жизнь на плахе. А прежде чем отрубить голову, у них вырывали волосы вместе с большими лоскутами кожи. Страшные муки были им в наказание, но ведь слабой рукой не вырвать плевелы греха. Может, закон об усекновении головы теперь и отменен, она точно не знает. Однако она слышала, как пастор в своей проповеди требовал, чтобы закон этот и поныне был в силе. Ибо чем мягче наказание, тем сильнее процветают грех и беззаконие. Палкой да розгой, хлебом и водой не искоренить сей тяжкий грех. Нужна плаха, чтобы вырвать сие зло с корнем. Правосудие бывает жестоким, но правосудие, словно каленое железо, выжигает мертвое мясо из раны раз и навсегда.

Мэрит хотела согласиться с Карной, но язык комом застыл у нее во рту, он разбух и закрыл ей горло, она едва дышала. Под конец она выдавила из себя несколько слов: «Коли пастор так говорит, стало быть, это правда...» Иного она сказать не осмелилась.

Теперь Карна чувствовала: она сделала все, что могла. Теперь совесть ее чиста, можно быть спокойной. Она упредила молодуху, дала ей хорошую острастку.

Мэрит была потрясена до глубины души. Она боялась, что придется держать ответ на том свете, а про людской суд забыла. Она никогда не думала, что ее грех столь строго карается по людскому закону. Никто ей прежде о том не сказывал. От слов соседки ее било мелкой дрожью, она дрожала всем телом. Ее трясло, словно холодное железо топора уже касалось ее шеи. Казалось, она уже чувствует, как руки палача вырывают волосы с корнем на ее голове... Палки и розги, хлеб и вода — самое легкое наказание...

Что сделает с ней Повель, когда услышит про нее? Об этом ей не ведомо ничего, ровно ничего; откуда ей знать, что творится у него в душе. Она никогда прежде не видела, каков он, когда с ним обходятся несправедливо, не знает, как он станет вести себя, если ему причинить зло. Стало быть, ей неоткуда знать, что он сделает.

Но теперь она узнала, что ей сулит закон, если муж не пощадит ее. Ужас объял ее: может, ей опомниться, покуда еще есть время? Поздно будет каяться, когда ее изобличат. Тогда она пожалеет об этой минуте, когда еще можно было обрести спасение. Да, время еще есть. Пока еще не поздно воротиться к тому, что было прежде, быть верной женой Повелю. Она больше не хочет недозволенного, хочет быть верной мужу. Кабы она только могла. Кабы она могла забыть Хокана, утехи, которым они предавались...

Она должна быть сильной. Иначе погубит свою жизнь, навлечет на себя позор и бесчестье. Не слишком ли дорогой ценой придется ей заплатить за радость и утехи? Она должна быть сильной и отказаться от радости. Разве это не веление господа? И ей должно сделать это, покуда еще не все потеряно.

Настал день, когда Мэрит одумалась. И тут, когда она наконец собралась с силами, вдруг является Хокан и велит ей уходить с ним. Он уже собрался. Распоря-

дился со всем в доме и расквитался с деревней. Ему велено явиться на тинг, где будут считать его долги. А осенью его сгонят со двора. Так уж лучше ему не утруждать ленсмана, а по доброй воле оставить свой клочок земли. Он уже приготовился, продал все, что можно было продать, курицы даже не оставил. За последние ночи он унес в лес припасы, упрятал их хорошенько, чтобы после перенести куда-нибудь подальше. Запасся топорами, порохом, солью, свинцом, шкурами и прочим, в чем у них будет нужда. Они отправятся в глухие леса, к северу; от деревни до деревни по тем краям не меньше целой мили, а в густых лесах можно надежно укрыться по первости, если их станут искать. Теперь ей надобно собраться, взять самое что ни на есть необходимое и идти с ним. Ведь она ему жена, ему лишь одному?..

Вот она, минута трудного выбора. Сейчас Мэрит должна дать ответ. Ее глаза больше не сияют лучисто, они темные и скорбные.

— Попомни мои слова, покаемся, да поздно будет.

— В правом деле не каются.

Она долго молчит, говорить тяжко. Хокан продолжает, и голос его дрожит:

— Так ты не пойдешь со мной?

— Не-ет...

— Дурачишь меня?

— Хокан!

— Нет, ты пойдешь! — Он с силой сжимает ее.

— Ты что, спятил?

И тут она изливает на него все, что переполнило ее душу. Она думала-гадала дни и ночи и теперь знает, что не может кинуть мужа, усадьбу и дом и идти куда глаза глядят. Она не в силах лишиться всего, что есть у нее, жены Повеля. Ей нужна жизнь надежная, спокойная. Не в силах она вырвать себя, словно траву из земли, из жизни, к которой привыкла с младенчества. Так жили и живут ее родня и все односельчане, и она так будет жить. Не смеет она решиться на другую жизнь, не смеет ринуться в новое, незнакомое. Она боролась с собой, боролась изо всех сил и не может одолеть себя и стать беглою женой, жить среди лесных бродяг.

Вот и получил Хокан ответ. Каково ему слышать его?

Однажды она видела, как пылают его глаза. Это было, когда она сказала ему, что уступила мужу. Лицо его вспыхнуло огнем, а руки сжались, словно хотели схватить что-то, сломать, сокрушить.

На этот раз он сдержался. Может, сейчас им овладел не гнев. Может, на душе у него тяжко. Может, он страдает от своего бессилия.

Да, Хокан страдает жестоко — оттого, что не добился чего хотел. Не смог он сделать ее свободной. Она сама ему сказала, что не может оторваться от этой жизни. Разве он не пытался помочь ей? Тщетны были его усилия! Мэрит не может перестать верить в то, во что верили до нее отцы и деды, перестать думать, как думали они. Она не может оторваться от привычной жизни, потому что думает, будто иначе жить нельзя. Повель и его земля владеют ею, и она позволяет им владеть собой.

Он говорит, стиснув зубы:

— Делай как знаешь.

— Ты на меня серчаешь?

— Воля твоя, оставайся, коли хочешь.

— А ты?

Глаза Хокана сверкнули:

— Уйду один.

Он твердо стоит на своем: он уйдет, в деревне ему больше делать нечего. Да и что ему остается? Наниматься в работники, коли своей земли нет? Да лучше уж в лес идти, чем быть подневольным. Долго терпел он над собой господ, теперь он хочет жить свободно, чего бы это ему ни стоило. Никогда больше он не согнется, чтобы надеть ярмо. А ведь оно было приготовлено для его шеи, как только он родился. Но он не верит, что родился на свет лишь для того, чтобы платить подати за издольщину... Нет, он родился не для того, чтобы платить десятину пастору и налоги ленсману, а для того, чтобы жить, как ему хочется. В деревне, где много людей, ему это не позволено, так он попытает счастья в лесу.

Мэрит не говорит ни словечка про свой страх перед людским судом. А он силен в ней. Она думает: «Может, я и стану верной женой. Хокана не будет в деревне, не будет искушения и соблазна. Может, это и к лучшему, если он сдержит слово и уйдет. Коли есть у меня разум, я не стану его держать. Мне же будет легче».

Но она тут же утешает себя: он, верно, воротится скоро. Надоест маяться и опять придет в деревню. А там его снова потянет к ней...

Она заставляет себя думать, что он вернется назад. Ведь жить без него будет нелегко, а дней впереди много.

Сомнение грызет Мэрит, она сама не знает, чего хочет: боится и жизни с ним, и жизни без него. Верно, больше страшится первого, раз желает сохранить все, что у нее есть надежного.

Хокан — дело иное. Долго он обманывал соседа, позабыв про мужскую честь. Довольно он унижал себя и соглашался делить с другим женщину, которую называл своей. Теперь он соберется с силами и станет свободным. Он уйдет — и будет прав.

— Так ты не пойдешь со мной?

Но у Мэрит своя правда, и потому она остается.

ХОКАН КАРАУЛИТ СОСЕДСКИЙ ДОМ

Мужчина борется с женщиной, женщина с мужчиной. Им приходится бороться, потому что они нужны друг другу. Он хочет заставить ее подчиниться, она — его. Но когда оба приказывают, некому подчиняться. Один из них должен уступить другому раз, и другой раз, и так, покуда они не могут жить друг без друга.

Мужчина обнял женщину, а она сказала: «Пощади меня!» Он послушался и ушел, пощадил ее. Потом он вернулся, и она молвила: «Дай мне опомниться! Оставь меня!» Он снова послушался ее, оставил в покое, ведь он еще не был нужен ей. Но вот она позвала: «Иди ко мне!» Он пришел, и как только он прикоснулся к ней, она сказала: «Делай со мной что хочешь!» И он послушался, сделал что хотел.

Но он хотел один владеть ею, хотел уйти и увести ее с собой. Она не послушалась его, уступила другому. Ему стало больно, он разъярился, разбушевался и собрался уйти от нее. Она крикнула ему вслед: «Воротись! Возьми меня снова!» Он уступил, воротился к ней.

А теперь он говорит: «Пойдешь со мной!» Она отвечает: «Нет, я останусь здесь!»

Каждый раз он повиновался ей. А когда она уступала ему?

В последний раз нашла коса на камень: ни один не хочет послушать другого, не хочет уступить.

Когда топор бьет по топору, гнется тот, что мягче. Но твердое лезвие не погнется, оно треснет, и на нем останутся глубокие раны.

Разве он не призвал на помощь всю свою силу в борьбе с нею? Видно, она сильнее его, раз у нее хватает сил отказаться от него и остаться. Топор бьет по топору — твердое железо не гнется. Придется ему уйти одному, страдать в одиночку и залечивать раны.

Так борются мужчина с женщиной, женщина с мужчиной.

* * *

И все же она еще зовет его к себе — зовет, пока он еще может услышать ее: Повель уедет в Юдер делить отцовское наследство и пробудет там два дня. Он отправится верхом завтра спозаранку, чтобы поспеть засветло в родительский дом. Как стемнеет... дверь для тебя будет открыта!

Хокан поклялся не переступать порог дома Повеля и долго держал слово. А еще он недавно дал клятву, что не будет видеться с женой Повеля, и держал эту клятву три дня. Неужто он теперь разом нарушит две клятвы? Какой же он тогда дурень — дает сам себе обещания и не держит их!

Куда девается его сила? Кто отнимает у него разум?

Целый день борется он сам с собой. Но борьба эта неравная — он все время знает, что пойдет к ней. И сам перед собой оправдывается тем, что идет проститься. Может, завтра его уже не будет в деревне.

За трапезой он говорит Элин, что заночует ныне в охотничьей избушке. Он отправится далеко, аж до трясины Черрафлует, где он по прошлому году в эту пору подстрелил много тетеревов. Воротится он, верно, завтра поутру.

Элин и бровью не повела. Тура, служанка Повеля, сказывала ей, что хозяин поедет в Юдер и пробудет там два дня. Его место в постели будет свободно. Так нетрудно догадаться, что на Черрафлует будет тетеревиная охота. Большое наследство не скоро разделишь. Хокан, верно, проспит в охотничьей-то избушке две ночи.

И что-то он скажет, когда придет домой без единой связки дичи?

Когда на деревню опускается тяжелая осенняя мгла, Хокан отправляется в лес с ружьем. Чуть погодя он выходит из лесу совсем с другой стороны. Теперь он идет прямехонько к сеням дома Повеля, дверь в сени отперта. Вечер до того темен, что он может без опаски войти в дверь — куда лучше, чем красться через окно. Мэрит спешит в сени в одних чулках ему навстречу — теплота ее нежного тела волной нахлынула на него, поглотила его. Тише, тише — мало ли что! Служанка в каморе еще не заснула. Она скоро уснет, а утром и не узнает, что спала взаперти, дверь-то заперта на крюк, на ней два крюка — снаружи и внутри!

Мэрит зажгла длинные сальные свечи в подсвечниках на столе. Она побаивается темноты — так пусть свет горит в избе, раз она одна дома. На пол в спаленке она постелила можжевеловые ветки; для нее сегодня праздник, хоть для всех — будний день. Да, запах можжевельника — запах праздника, только Хокан вроде бы этого не заметил, ничего не сказал. Но он глядит на нее и, верно, замечает, что она надела красный праздничный корсаж, расшитый белыми гроздьями брусники в цвету. Тут уж он должен догадаться, что для нее праздник, когда он приходит...

А Хокан глядит на кочки грудей молодой женщины, что расцвели для него, под его руками, и прижимается к ним лбом, чувствуя, как они мягки и упруги.

Потолок в спальне низкий, широкие балясины на потолке закоптились от печного дыма и свеч, с которых не снимали нагар. Глаза Хокана обшаривают стены, бегают беспокойно, моргают. На душе у него скверно, оттого что он с Мэрит в этом доме. В лесу дышится легче, там видеться с ней дело иное. А здесь он все время чувствует Повеля рядом с собой. Обманывать Повеля в его собственном доме кажется Хокану во сто раз хуже. Скамья, на которой он сейчас сидит, свеча, что светит ему, постель, что ждет их,— все это Повеля. Да, здесь Повель не дает ему покоя. Там, на гвозде у дверного косяка, висят его шляпа и кафтан, в углу возле печи стоят сапоги, которые он надевает по будням. Возле двери подвешен в натопорнике колун; над длинной скамьей висят его ружья и пульница, а под ними — рог с порохом. Да, он совсем рядом... Шляпа, кафтан, сапо-

ги, топор и ружье... Не хватает только его самого. Но Хокан видит, как Повель входит, напяливает на себя всю эту одежду, садится на скамью рядом с ним и сидит, как они не раз сиживали за дружеской беседой. Только Хокан дивится, отчего Повель не встает, чтобы снять со стены заряженное ружье.

Мэрит хочет успокоить Хокана — мол, муж уже несколько часов как уехал делить наследство. Повель сидит в родительском доме, смотрит, чтоб его не обделили, да считает деньги. И нечего Хокану белениться из-за того, что в доме осталась одежда хозяина... И окна закрыты ставнями, деревня спит, никто их не видит... Да только в этом доме он боится не Повеля, а своей собственной совести...

Однако в доме слишком темно. Мэрит берет свечные щипцы и снимает нагар. Пламя свеч становится выше, ярче, она лучше может разглядеть Хокана — человека, в котором вся ее радость. Он пришел проститься и оставить ее навсегда.

Ее губы совсем рядом с его губами, она разгорячилась, вовсе размякла. Не в силах больше сдерживать себя. Ее губы прикоснулись к его горячим губам, кровь становится тяжелой, и тяжесть эта все растет. Мэрит притягивает его к себе. Он впивается в ее губы, и она исчезает в забытьи. Она хочет дать волю смеху, что скопился в ее молодой груди и рвется на свободу. Ей хочется смеяться, кричать, дать волю радости, что зажглась в ее крови.

Мэрит раздвигает полог постели и развязывает завязки у юбки. А Хокан подходит к столу, чтобы задуть свечи в подсвечниках.

* * *

И тут они оба вздрагивают. С чердака доносится легкий шум. Слышится шарканье ног, шаги, осторожные, словно кто-то идет ощупью в темноте. Может, она заперла кошку на чердаке? А может, большая крыса танцует в закромах? «Что же это еще может быть?» — спрашивает Хокан... Нет, кошку она выпустила, а крысы у них на чердаке не водятся.

Теперь ясно слышны шаги, кто-то ступает по чердачному полу.

Мэрит стоит, побелев, раскрыв рот, глаза ее застыли.

— Вор! — восклицает она.

Она вспоминает, что нынче вечером, когда она с Турой выходила в хлев, двери дома оставались открытыми. Вор мог незаметно прокрасться в дом и спрятаться на чердаке.

Теперь Хокан понял, в чем дело: на чердак забрался вор. Темные ночи — самое время для воров. Сейчас осень — только их и жди. Они ищут удобный случай. Узнали, что Повель уехал и мужиков в усадьбе нет. Двух женщин нетрудно напугать. Да, воров прямо-таки звали сюда этой ночью.

Хокан вошел в раж. Уж он укараулит соседский дом. В доме есть мужик, и вора на чердаке он изловит. Он вовсе позабыл, что сам-то прокрался сюда по беззаконному делу. Позабыл, что ему самому никак нельзя показываться в доме в ту пору, когда Повель в отъезде.

Хокан хватает ружье, которое он было поставил в сторонку. Он полезет наверх.

— Куда ты пойдешь в этакую темень? — шепчет Мэрит.— Еще споткнешься, а его не найдешь.

Молодая женщина храбрится, а сама дрожит всем телом. Она прижимается к Хокану. Если он пойдет наверх, она возьмет светец и посветит ему.

Вдруг они умолкают. Теперь шаги слышатся в сенцах наверху, потом на лестнице. Вор спускается к ним, теперь это ясно. Поди, думает, что все в доме спят и он может смело хозяйничать.

Хокан проворно прячет Мэрит за свою спину, а сам становится у дверей, спрятавшись за косяком. Свет падает в сени, отсюда ему будет легче всего накинуться на незваного гостя. Ружье он держит наготове.

Но он слушает и дивится. Вор спускается по лестнице в кромешном мраке не медленно, не на ощупь. По шагам слышно, что ступают ноги, привычные по ней ходить, что человек заранее знает, как высоки ступеньки. Тот, кто идет, спускается по чердачной лестнице не впервой. Кто же это может быть?

Лишь на короткий миг успевает Хокан удивиться. С лестницы спускается вовсе не чужой. Этот человек поднимался и спускался по чердачной лестнице сотни раз. Этот человек свой в доме. В свете свечи появляется Повель.

Жена и сосед видят его в один и тот же миг. Мэрит коротко вскрикивает и подавляет крик. А Хокан, присев-

ший, чтобы броситься на пришельца, поспешно отступает, отходит от порога. Когда Повель входит в спальню, он уступает ему дорогу. Ведь с чердака спустился хозяин, а хозяину надо уступать дорогу. Хозяину не преградишь путь, он волен делать здесь что захочет.

Повель идет в чулках, дорожный кафтан он снял. На жилете белые мучные пятна — видно, прислонился на чердаке к мешку с мукой. Может, он лежал там и спал? Да вряд ли... Волосы растрепались и как-то жестко взъерошились у него на голове, глаза таращит, словно ничего не понимая, белки глаз прорезали красные прожилки. Похоже, будто человека только что разбудили и он никак не разберет: ночь стоит или день, вечер или утро.

Широко раскрыв глаза, он пристально уставился на Хокана и на свою жену, что стоит рядом с ним в лифе и исподней юбке. Рыбьи, белесые глаза Повеля сидят неподвижно в глазницах, ничто не может заставить их двигаться. Но желваки на скулах ходят, будто он с трудом что-то жует:

— Она правду сказала!

Он жует и пережевывает эти слова:

— Она правду сказала! Не соврала! Не соврала!

Застигнутые врасплох могли бы, может быть, сказать: «Да вранье все это, никакая не правда!» Хокан мог бы выдумать, что пришел в этот вечер к ним в дом по спешному делу. А полураздетая жена могла бы, верно, сказать, что она как раз собиралась ложиться спать. Но это им не поможет, ложь их больше не спасет, что бы они ни придумывали. Повель лежал и подкарауливал их — они преданы.

Хокан незаметно ставит ружье назад в угол. Он не станет первым хвататься за оружие в чужом доме. Он уступает дорогу хозяину, когда тот возвращается, и ставит ружье в угол. Как быстро все переменилось. Только что он караулил вора. А теперь вдруг его укараулили. Он — вор, ворует женщин, прокрался в дом и украл у Повеля жену. Однажды ночью по весне он влез в окно спальни. Долго он ловчил, но сегодня ночью, когда он собрался караулить дом Повеля, его поймали. Думаешь, что охотишься за кем-то, а на самом деле в тот же час охотятся за тобой.

Мэрит закричала, но в первый миг она ничего не поняла. Она испугалась вора. А это всего лишь Повель,

ее муж, что спустился с чердака простоволосый, в одних чулках, перепачканный мукой, будто вымерял зерно в закромах. Но ведь он у своих в Юдере, меряет наследство. Стало быть, он не может сюда прийти. Она застигнута врасплох, растеряна и не успела испугаться.

И надо ли ей бояться? Правда, ей только что было страшно, но ведь Повеля она никогда не боялась. Он никогда не гневался, не бушевал, не бывал с ней груб. Но это, может, оттого, что он не знал про нее ничего худого. А сейчас Повель застал их, и она стоит полураздетая, растерянная. Она застыла, не зная что делать, и вдруг страх начинает сжимать ей горло. Кто знает, что сейчас будет? Вор хочет украсть, это знаешь заведомо. А чего хочет Повель? И как он может быть в двух местах разом? Что он хочет сделать с ней?

Глаза Повеля, широко раскрытые, неподвижные, жадные, уставились на нее, будто хотят ее съесть. До чего же страшные глаза у мужа, она не может выдержать их взгляда. Ей хочется убежать далеко-далеко, спрятаться, лишь бы не видеть, как Повель таращит на нее глаза, не отвечать ему, не бояться его. Мэрит бросается ничком на постель, теперь она ничего не видит.

Но вот Мэрит слышит: Повель снова заговорил, а может, не он, голос-то не его, этот голос она никогда раньше не слышала. Но ведь это уж никак не Хокан — стало быть, все-таки Повель... Вот он шипит:

— Обманывали меня... вы оба! Так это правда! Дьяволы, дьяволы!

Шипение тяжело плывет по комнате. Неужто это Повель?..

Хокан все еще стоит у дверного косяка. Он стоит, не шелохнется. Удивительный блаженный покой нисходит на него. Что бы ни случилось, конец этому всему: утайкам, притворству, лжи, обману. Ему легко и спокойно.

Мэрит лежит, насторожившись, и слушает. В комнате снова раздается шипение:

— Ты ее сманил, ты!

— Да,— коротко отвечает Хокан. Ему кажется странным говорить об этом.

— Разве мы не были добрыми соседями?

— Были.

— Разве я был плохим соседом? Солому дал тебе, и рожь, и тягло, забыл? А ты завлек мою жену?

— Завлек.

— Дьявол, вот ты кто!

— Называй как хочешь.

— Дьявол из преисподней!

Они стоят друг против друга, перебрасываясь словами. Пламя свечей колеблется — из открытой двери тянет холодом.

Хокан не собирается просить прощения. Ему надо было в тот раз прийти к соседу и сказать: «Я беру ее! Так и знай!» Тогда бы не пришлось теперь отвечать. А сейчас остается лишь стоять и ждать. Захочет ли обокраденный кровавой мести или станет жаловаться в суд, что он станет делать?

Повель задыхается, много говорить не хватает воздуха. Он чешет голову, словно от этого станет легче.

Когда он отправился из дому, на склоне холма к нему подошла чернявая женщина. Вроде бы она живет в служанках у Хокана? Она не то перепугана, не то не в себе. Подходит близко к его лошади и шепчет: мол, он едет охранить свое право при дележе наследства, так дома у него тоже есть право, которое нужно охранять. Коли он нынче вечером схоронится дома, то увидит, кто караулит его усадьбу, когда он в отъезде. К его жене придет человек. Она шепчет имя этого человека. Коли Повель останется и спрячется, как она велит, он сам уверится в том.

Что Повелю думать? Может, баба спятила?

Глаза Элин мечут искры ненависти. Сегодня она узнала, что хозяин унес одежду и припасы в лес. Наконец-то она догадалась, что у него на уме: он хочет убежать с женой Повеля. Эта чертовка взяла такую власть над человеком, что одурачила его вовсе и хочет увести с собой. Не может же он уйти по своей воле. Эта ведьма не отпустит его, покуда не погубит его тело и душу. Этого Элин стерпеть не может. Не может она отойти в сторону и позволить этой нечистой твари унести свою добычу. Она не может уйти и оставить его одного с этой проклятой бабой. Элин спасет его от нее. Придется выдать их, иначе делу не поможешь.

Повель не хочет верить ей, а она клянется, что говорит правду. Под конец он отпускает коня пастись на выгон и крадучись возвращается домой.

— Правду сказала чернявая!

Повель никогда не сомневался в том, что он один владеет женой. Ему и в голову не приходило, что ее

вдруг возжелает другой человек и она ему ответит тем же. Никогда не страшился он, что кто-нибудь украдет усадьбу у него из-под носа, столь же мало он боялся, что у него украдут жену. Стало быть, он никогда не задумывался, как ему поступать с таким вором. И сейчас он ума не приложит, что ему делать с Хоканом. Он знает лишь одно, что его постыдно обманули, ведь он обходился с этим человеком, как с другом.

Вдруг он замечает в углу ружье Хокана... Жар ударяет ему в голову: он взял ружье с собой! И Повель бросается за своим ружьем. Застрелить... Застрелить его... Пусть исчезнет этот дьявол!

— Умри же, сатана окаянный! Сдохни!

— Не-ет! Господи боже милостивый! Не-ет! — несется с кровати крик Мэрит. Она кричит, будто в нее всадили нож. Сама не знает, откуда берется этот пронзительный крик, сотрясающий дом.

Хокан уже схватил свое ружье и взвел курок. Не давать же Повелю застрелить себя, как отжившего свой век пса. Он будет обороняться.

Но выстрел не прозвучал. Повель не нажал пальцем на курок, Хокан тоже.

Это крик жены остановил Повеля и заставил его одуматься. Негоже кричать, шуметь да будить спящих и в этом доме, и в соседних домах. Ни к чему созывать народ.

Мэрит подскочила к нему и схватила ружье, но он оттолкнул ее сжатыми кулаками.

— Отпусти ружье! Иди прочь! Сейчас будет твой черед!

Мэрит отпускает ружье, отходит. Она поняла, что ее крик сделал свое дело. Повель Йертссон — мужик разумный, важное решение никогда не принимает, не подумав наперед. И сейчас крик жены пробудил в нем разум. Оттого-то он и не выстрелил, рассудительность в нем взяла верх.

Лучше не глядеть на Хокана. Застрелить бы его, поделом было бы ему. Если б он лишил жизни этого сатану, отомстил бы ему по справедливости. Но тогда здесь в углу лежал бы мертвяк. А раз в доме мертвое тело, приедет ленсман, учинят допрос, люди набьются в избу, станут болтать да шептаться, пустят слухи о том, что здесь видели. Узнают дома в Юдере, и родне придется за него страдать. Может статься, его не засудят, коли

он убьет Хокана, однако поди знай, как оно выйдет. Может, штраф-то все-таки заставят платить. И имя его станет притчей во языцех. На него и на родню его ляжет пятно, а ему охота, чтоб в деревне его уважали.

Нет, он не станет сгоряча делать то, в чем после придется каяться. Делать все надо втихую.

Повель — человек разумный: мертвого тела в доме ему не надо. Выдастся удобный случай — тогда и выстрелит. Повель боится натворить дел сгоряча. А Хокан стоит себе, словно идол какой... Нет сил на него глядеть... Хоть бы с места двинулся, дьявол!.. Коли он останется стоять на месте, быть все же мертвяку в этом углу. Можно выпустить заряд ему в ноги, так все одно он будет лежать здесь покалеченный. Что же ему делать с ним? Повелю нужно время все обмозговать, и потому он хочет, чтоб Хокан ушел. Что он стоит здесь и таращит зенки? Повель расправится с ним в другой раз, коли он не побережется и не уберется подальше.

Повель поносит Хокана на чем свет стоит. И от этого ему становится легче. Он грозит выпустить ему в ноги заряд свинца — мол, не будет ли тогда ему легче бежать?

Хокан стоит спокойно и молчит. Он знает, что сумеет защититься. Пусть себе Повель поносит его, он его почти не слышит. Хуже всего, что он уже давно винит сам себя. Что о нем думает Повель, ему все равно,— важно, что он сам о себе думает. А в своих глазах он трусливый вор, что повадился ходить крадучись к чужой жене. И теперь его застали на месте и стыдят. Что бы сейчас ни случилось, поделом ему. Ведь он не сказал в свое время Повелю: «Знай, я беру ее!» Потому он и стоит у этой двери, а его бесчестят. На все слова Повеля он отвечает: «Правда твоя, как есть правда!» И все эти слова ему знакомы, он сам говорил их себе не один, а сотни раз.

— Хозяин дома! Тебе нечего боле караулить дом, козел блудливый!

Отчего он не уходит? Видно, Повель не смеет учинять насилие в своем доме, он хочет выдворить его отсюда. Да больше ему здесь и делать нечего. Ведь он пришел сюда, чтоб сказать Мэрит: «Прощай». Только что он слышал, как она задыхалась от страха за его жизнь. Но отчего она ухватилась за ружье Повеля? Отчего не за его ружье, повернутое на Повеля? Зачем ей

страшиться за его жизнь? Ей надобно печалиться о Повеле, ведь она с ним остается, так ей его жизнь должна быть дороже.

Хокан делает шаг и глядит, что скажут ему глаза Мэрит, широко раскрытые, испуганные. Глаза говорят, чтоб он ушел, вот ее ответ. Она не раскаялась, не пойдет с ним. Тогда он уйдет и оставит ее наедине с мужем — пусть живет как прежде, до того, как он пришел.

— И не смей больше показываться в деревне!

Хокан делает еще несколько шагов с ружьем в руке. До чего же широкие половицы в этом доме, до чего же долго и тяжко идти к двери. Он говорит себе: ты идешь по своей воле! Но Повель стоит и шипит ему вслед угрозы. Его выгнали, хоть он и уходит по своей воле.

— Только покажись мне еще на глаза, застрелю!

Видно, Повель боится, что Хокан вернется, и принужден угрожать всерьез.

Вот раздается голос Хокана:

— Не бойся. Больше не увидишь меня!

Эти слова немного успокаивают Повеля. Он хочет, чтобы Хокан убрался подальше от него. Но, может, слова эти сказаны не для его ушей. Когда он говорил, глаза его глядели на жену Повеля: «Не бойся! Больше не увидишь меня!» «Проваливай отсюда»,— думает Повель. Все же Хокан, видно, ему говорил эти слова.

Хокан уходит, и за порогом дома ему вдруг становится легко. Окончен позорный путь до двери в доме Повеля. И если сосед велит ему уйти из деревни навсегда, ему легко это сделать — ведь он давно требовал от себя того же самого.

* * *

Когда Хокан вступил в густую темноту, по спине у него поползли мурашки — Повель легко может пойти вслед за ним и всадить свинец ему в спину. Пройдет за ним до соседской усадьбы и свалит его там. Не надо будет отвечать — труп найдут на чужой земле. Хокан несколько раз оборачивается. Но Повель не идет за ним. Бережет пулю до поры.

Хокан Ингельссон идет ночью домой. Вдруг он снова останавливается, в груди его словно огнем полыхнуло, обожгло: он ушел и оставил свою суженую одну с По-

велем. Что он сейчас делает с нею? Она его, он должен вернуться, защитить ее... увести с собой...

Нет, ведь он позабыл, что Мэрит больше не его. Теперь ею владеет один Повель. Так она сама захотела. А то, что ему не принадлежит, он не должен защищать. Она осталась у Повеля и отдалась на милость ему, его мести. С этим он ничего не может поделать.

Так-то оно так. И все же ему хочется повернуть, идти назад, защитить Мэрит от мужа. Невмоготу ему, всей душой он стремится назад. В нем полыхает горячая ненависть к ее мужу. Он теперь один владеет ею. Может, сейчас он задумал мстить ей. Что он сейчас делает с нею? Если муж посмеет дотронуться до нее, ударить ее, это над ним он учинит насилие. Ведь она здесь, у него в душе, ему становится больно при одной только мысли: не обидит ли Повель ее?

Но она хотела, чтоб он ушел и оставил ее одну с мужем. И он не может воротиться назад против воли мужа и жены. Он не властен указывать им. Он не может взять ее с собой. Не станет же он принуждать женщину силой?

* * *

И Хокан идет дальше к своему дому. Ключ от двери не лежит под расшатанной половицей крыльца, как всегда, когда его ночью нет дома, а вставлен в замок. Что бы это означало? Дверь в кухню открыта. Он зажигает свечу и видит, что постель работницы пуста. Крышка ее сундука открыта и прислонена к стене, сундук пуст.

Элин ушла, покуда его не было. Он сказал, что она может уходить в любой день, ведь она ему больше не нужна. Но она сильно торопилась, уходя, и оставила свой сундук. И почему она ушла, не сказав ему ни слова?

Элин... «Она правду сказала...» — ясное дело! Он вспоминает слова Повеля. Он до того еще не спрашивал себя, кто предал их. Стало быть, Элин. Она ходила здесь, подслушивала, подкарауливала, высматривала, вынюхивала, все время совала нос в его дела. И не смогла умолчать о том, что узнала. Неужто хотела отомстить ему за то, что ей не пришлось здесь остаться? Иначе что ей за дело? Она пошла к Повелю, а после не

осмелилась показаться ему на глаза. Чудная была она в последнее время, он никак не мог ее понять.

В сердце у Хокана нет к ней гнева. Он ей отказал от места, плату ей выдал сполна, как положено. Так оно и лучше. Теперь, уходя из деревни, он может вставить ключ в замок и запереть пустой дом.

Дом Хокана становился все более пустым день ото дня. Теперь он ходит по нему один. Как странно здесь пахнет запустением. Этот запах ударит в нос и ленсману, когда тот придет, чтобы забрать его имущество за долги. Останутся дом и земля, у них скоро будет новый владелец. Верно, он лучше распорядится усадьбой. Хокан никогда не позволял этому наделу властвовать над собой, он не терпит хозяев и господ. Он был свободным от своей земли, оттого и не был хорошим крестьянином, он не из тех, кто сгибается в рабстве перед землею вместо того, чтобы быть ее хозяином.

И ни капельки не защемит у него сердце, когда его вычеркнут из списка податных Хэгербека. Он лишь боролся со своим имуществом, податями, налогами и всеми законами, какие придумали люди, земля не приносила ему радости. Он не хочет больше быть рабом, уйдет в лес, чтобы стать свободным. Разве он не из рода свободных? Разве он не потомок Ингеля Силача? Разве в нем не течет кровь свободных вирдов?

Ингель Силач ступил в бездонную трясину, и его засосало. Но он спасся бы, кабы закричал, позвал людей на помощь. Но он не закричал, слишком гордый был, не хотел никому быть обязанным за спасение своей жизни, ведь прожил он ее свободно, по своей воле, а воля у него была железная. Ингель Силач ушел в лес в другое время: тогда люди, жившие в деревнях, не имели такой власти над каждым человеком, как теперь. Нынче не так-то легко ходить по лесам и не затронуть чужого права. Честный человек не может водиться с отпетым ворьем. Его смелость будет стоить ему тяжких трудов и лишений. Но ведь есть же воздух, чтобы дышать, солнце, что светит, есть никем не припрятанный валежник, что горит и греет, откормленные в лесах тяжелые тетерева еще играют в ветвях. Да ведь и надо чем-то платить за самое большое и святое право человека: быть хозяином самому себе и своей жизни.

Человек покидает деревенскую огороженную и тесную жизнь, чтобы бродить по лесам. Он не хочет жить,

как ему указывают другие, ему не по душе их свычаи и обычаи и вся их жизнь, унаследованная от дедов и отцов, он не хочет слушать, что ему велит хор голосов всей деревни.

Такие люди бывали и прежде, в любые времена рождался на свет подобный человек.

* * *

И вот Хокан собирает последние пожитки, что остались в доме. Он проголодался, нашарил корку хлеба и стал есть. То и дело подходит он к окну и смотрит на тот самый дом. В окнах все еще горит свет. Что-то там творится? Что он с ней делает?

Ну не дурак ли он, не вовсе ли ополоумел? Повель победил его, и жена осталась с ним. Теперь Мэрит владеет один, но не он. А какое ему дело до того, чем владеет другой?

Свершилось, прощай — вот как она кончилась, его радость! Тяжко будет ему думать о том, нет ничего тяжелее: он потерял ее. Как ему снять эти оковы и забыть о том? Пусто все вокруг него, пусто и у него в душе, пуста его жизнь. Завтра ее с ним не будет, не будет и послезавтра, на третий, на четвертый день. И на тысячный день после завтрашнего дня. А он все будет думать о ней. И никогда не наступит тот светлый день, когда он скажет: завтра она будет с тобой! Все дни будут лишь твердить ему: без нее! Без нее! Все дни, проклятые заранее, будут твердить ему одно и то же: один. Без нее.

Приневолили его уйти от той, с кем и будни были праздником. Уйти и оставить ее с человеком, чье сердце не ведает, кто она есть на самом деле. Стоять и смотреть, оборотившись на былую радость.

Конец празднику. Жестокая, холодная пустота простирается перед ним.

А неотвязные видения никогда не покинут его: ее лицо—зеркало жарких любовных утех, ее смех, когда блаженное безумие уносит прочь, ее тело, отданное ему, льнущее к его телу. Видения эти станут отравлять ему дни и ночи. Насмехаясь над ним, станут они рассказывать о том, что было когда-то. Снова и снова будут они являться ему, говорить о былом без пощады. Ведь у видений нет к человеку жалости.

Он будет стоять и глядеть на свои руки, и они скажут ему: «Мы — твои руки, мы ласкали ее тело, нежное, как лепестки цветов. Мы ничего не запамятовали, хочешь расскажем тебе?» И когда он дотронется до своих губ, они скажут ему: «Мы — твои губы, мы погружались в ее губы и тонули в них, словно в горячей волне безумия. Да, мы должны поведать тебе о том блаженстве, кому ж, как не нам, о том рассказать тебе». Так и тело его, и душа будут тосковать по ней. А больнее всего будет ему думать: то, о чем он так тоскует, не сгинуло, а есть где-то на белом свете.

От людей он слышал про мужчин, что убивали женщин, покинувших их. И ему ясно теперь: они хотели стать свободными. Не могли стерпеть, чтоб утраченное ими, то, чего им так недоставало, обитало на земле.

И Хокан снова подходит к окну: целую ночь, что ли, будет гореть свет в этом доме? Наконец-то погасили. Сейчас он вставит ключ в замок и уйдет.

ПРИНАДЛЕЖАЩАЯ ОДНОМУ

Коптят сальные свечи в спальной горнице Повеля, летит сажа на доски потолка. Никто не снимает нагар, хотя и муж, и жена дома. Муж сидит посреди комнаты за столом, жена скорчилась на припечке. Он сидит хозяином дома, она — бродяжкой-побирушкой.

— Настал твой черед!

Настал черед соблазненной, позабывшей честь и совесть жены. Повель то бормочет что-то тихо себе под нос, будто она недостойна слушать его слова, то орет криком, будто понукает скотину:

— Отхлещу тебя хорошенько! Будешь знать!

Ничего другого она и не ждала; в мыслях ей уже представлялось, как хлыст свистит, хлещет и обжигает ее кожу. Она ждала этого наказания. На его слова у нее лишь один ответ, она бормочет, словно во сне: «И поделом мне!» Она не защищается, не просит прощения, признается во всем.

Однако ничего толком Повель за целый час не успел придумать. Нерешительность сбивает его с толку.

Тяжко и жестоко обманули его. Но обида такова, что мужу неохота, чтоб люди узнали о ней. Не хочет он, чтобы его жалели за то, что не сумел держать жену в узде. Не станет же он плакаться, что жене мало его

одного и она нашла себе другого. Какой же мужик захочет срамить себя. Он думает, как бы защитить свою честь. Кабы у Повеля украли добро, так не стыдно было бы поведать людям о пропаже. Но тут пропажа иная, коли это добро не сберег — стало быть, не сберег чести. А у Повеля и года супружества не прошло, как он не сумел сберечь чести.

Он думает, что одна лишь служанка Хокана напала на след и никто больше в деревне и знать не знает про его позор. Он хочет и утаить то, что случилось, и наказать греховодников охота. А как сделать, чтобы одно не помешало другому?

Злодею он грозил ружьем и велел ему убираться из деревни. Жажду мести он вовсе не утолил, но разум велел ему пока на том остановиться. Повстречает он этого дьявола в лесу, так жизнь его будет немного стоить. В лесу мертвец никому не помеха, пусть себе лежит; в своем же собственном доме мертвого тела ему не надо.

А злодейка, его жена, которая осквернила брачную постель и принуждает его защищать свою честь. Что ему делать с ней? Он не выгонит ее из дому, не велит ленсману забрать ее в темницу — ведь тогда все узнают про его позор. А о его доме должна идти лишь добрая слава. Покуда он отхлещет ее кнутом. Больше ничего не придумаешь. Только как бы это половчее сделать?

Она только что орала, как полоумная, будь она проклята. А он не желает, чтоб из дома слышались крики. Стало быть, здесь он поучить ее не может — она завоет на всю деревню. Коли он хочет наказать ее в тайности, надо увести ее в лес.

— Сейчас возьму воловий кнут!

С ненавистью пережевывает он свои угрозы. До чего же ему досадно, что он не может проучить ее нынче ночью. У нее одна защита — орать станет. А в доме у них служанка, и староста рядом живет.

Да, придется на сей раз удовольствоваться угрозами.

Повель тугодум, но не дурак. Он сидит и смотрит на жену — на ее гладкие голые руки, согнутую спину, подтянутые к подбородку колени. Лицом она повернулась к печке, не глядит на него. Сидит скорчившись, убитая горем, кается, так ей и надо.

И на короткий миг он вспоминает, как тепло и уютно становилось у него на душе, когда он вечером входил

в дом и она встречала его. Он глядел на нее, а она двигалась плавно и неторопливо. Чем же это он тешился, стало быть? Ничего не было, кроме притворства и обмана. С ним-то она лишь притворялась. Какой стыд, и как это он позволил провести себя.

Повель никак не возьмет в толк, как это она сумела гулять от мужа, чтобы он этого не узнал. Как могла держать это в себе день и ночь? Как сумела утаить свой грех? Она говорила ему ласковые слова, а тому, поди, то же говорила. Его венчанная жена — срамная девка. Две женщины в ней: одна — его, другая — Хокана. И как только у нее хватало духу на эти дьявольские проделки? Что за человек сидит тут перед ним? Мэрит, его жена, к которой он посватался прошлой весной. Ведь тогда она была робкой и пугливой.

Повель гневается, но его вдруг охватывает странная неуверенность. Слишком трудную загадку загадала ему судьба этой ночью. Словно он только что встретил женщину, которую никогда прежде не видал здесь, которая пришла впервые к нему в дом. Да, в нем шевелится смутная догадка, что он не знает Мэрит, что она всегда останется для него чужой и непонятной. Он догадывается, что она всегда будет скрывать от него самое сокровенное. Чувство бессилия перед женой охватывает его: что же, он не властен над нею? Не баба, а исчадие хитрости бесовской! Неужто нет на нее управы?

Нет, так дело не пойдет. Повель отгоняет прочь неуверенность: он возьмет ее в руки. Он — муж, стало быть, сильнее ее. Она узнает, кто из них сильнее. Теперь он видит, что не так обходился с ней, как надо. Она не уважала мужа, как должно быть, слишком он был с ней мягок. Думала, раз он сговорчивый да покладистый, можно его без страха одурачивать. Вышел ей соблазн, так ее не остановил страх перед мужем. Так было до сих пор. Но теперь-то уж она будет знать. Теперь он будет обходиться с ней строго и сурово. Покуда она не станет уважать его, глядеть на него снизу вверх, покуда не поймет, что она слабее. Да, уж он вобьет ей в голову, кто он такой есть, она узнает, что он не какой-нибудь глупый, трусливый мужичишка!

И Повель отбрасывает свою нерешительность, рубит:

— Узнаешь у меня!

Она у меня сразу узнает. Отхлещу тебя так, что ты вылезешь из своей дьявольской шкуры, обманщица, и

заползешь в новую, такую же, как у всякого крещеного человека. Будешь у меня работать вдвое больше прежнего, справлять самую черную работу! Раз не умела ценить хорошее житье! В глазах людей ты будешь мне ровней, женой моей, а на самом деле будешь простой скотницей. На коленях станешь ползать передо мной! Такой урок дам тебе на год для начала. Раз не умела ценить красные деньки — трепещи, теперь настанут черные! Стоит тебе ослушаться, поучу кнутом. Наперед будешь знать, слышала мои слова? Уши есть, не глухая!

Повель так долго грозил жене, что ему самому стало казаться, будто он уже изрядно проучил ее. А с местью он подождет, тогда она покажется еще страшнее.

* * *

Мэрит сидит скорчившись у печки и слушает. Только она, вроде бы, вовсе не внимает словам мужа. Может, она слышит не его гневные слова, а что-то иное. Да, в ушах у нее все еще стоит крик, что раздавался этой ночью. Странный это был крик, она никогда такого не слыхала. Кто же это кричал? Это случилось, когда они подняли ружья? Хокан... Мэрит никак не думала, что она может так кричать. Он вырвался откуда-то из глубины ее души. И душа ее до сих пор дрожит после того.

Жена едва слушает мужа, он — так и сыплет угрозы. Странно, что она вовсе не боится его больше. Ни капельки страха нет в ней. Она поняла, что он беспомощнее ее и боится больше, чем она. Повель связан по рукам и ногам, что скажет родня, что скажут люди. В этот миг он отхлестал бы ее в кровь, до полусмерти, да не смеет, боится всего на свете. Она закричала — он испугался, сам не свой, оглядел все углы и говорить стал тише. Он не смеет дать волю гневу, довольствуется до поры угрозами и посулами. Пройдет время, покуда он соберется с духом. Может, когда они будут одни в глухом лесу...

Он сказал, что пощадит ее, она и впредь будет ему женой. Но сделает это вовсе не из жалости, а оттого, что ему деваться некуда. Не по своей воле щадит он ее, а принужден к тому; как ни горько ему, а приходится терпеть. Но она знает: это дорого ей обойдется. Он станет требовать от нее плату каждый божий день, для начала будет давать ей острастку целый год. Может, ей

так никогда и не расплатиться с ним за то, что он пощадил ее. Он потребует свое за то, что принужден смилостивиться.

Повель станет мстить ей по малости каждый день, потребует свое мелкою монетой. Ей придется выплатить свой долг, жить у него дворовой девкою, а он станет помыкать ею. Его месть будет страшна, пострашнее любой другой. Но она не может бояться того, кто отмеряет свою месть аршинами.

Нет, Мэрит не боится Повеля.

* * *

Сальные свечи догорают в свечниках, уже далеко за полночь. Повель должен наконец лечь в постель — завтра надо рано вставать да ехать в Юдер, и так опоздал. Завтра-то уж ему ничто не помешает. Он должен быть там, когда начнут делить наследство, получить сполна, что ему причитается; может статься, они захотят сильно поубавить его долю в счет того, что он получил от отца при жизни.

— Поедешь со мной завтра! — говорит он жене.

Не скоро теперь оставит он ее одну в усадьбе. Глаз с нее не будет спускать.

Вздыхая, Повель ложится в постель. Мэрит все сидит у печки.

— Не знаешь, где тебе спать положено? — рычит он.

Пусть не думает, что он прогонит ее из супружеской постели. Ей бы в пору стелить себе постель в углу на чердаке, покуда он не простит ее, однако приходится класть ее рядом с собой из-за служанки. Да только... только пройдет немало дней, прежде чем он дотронется до нее, соблаговолит спать с ней как с женою. Он проучит ее, будет знать, как позорить мужа! Перво-наперво будет учить ее хлыстом, а лишь потом все станет, как прежде. Пусть сперва сменит шкуру. Свою прежнюю шкуру обманщицы. Ведь она позволяла другому лапать эту шкуру, так он сдерет с нее эту шкуру кнутом.

Мэрит знает свое место в постели и молча, послушно залезает под одеяло.

Повель испускает тяжкий вздох, потом другой и молча лежит с открытыми глазами дольше обычного. Наконец жена слышит, что он уснул. Мэрит лежит в темноте и слушает, как он дышит; ей знакомо, как он спит,— столько ночей она лежала, одинокая, и прислу-

шивалась к его дыханию, тихому, ровному, спокойному. Любого, кого мучает бессонница, оно может усыпить. А ей надрывает сердце, вовсе спать не дает.

Повель лежит рядом с ней, дышит ровно — спит. Ведь он ее законный супруг. Он владел ею, они были как одно тело.

Он пришел однажды вечером к ее родителям и посватался к ней. Они с радостью согласились, да и она не противилась. Мечта всякой девушки — стать невестою. У девушки в груди столько затаенной радости, которой хочется криком вырваться наружу, но помочь в том ей может лишь муж. Повелю нужна была жена в новой усадьбе, он взял ее, не спросив, что у нее на душе, и отвел ей место в постели рядом с собой.

И она жила в его усадьбе, была ему женою больше года. Но никто не говорил ей, чем она была для Повеля, покуда он сам не сказал ей этой ночью. Он не сказал ей это напрямик, но она сама поняла. Она прежде долго гадала, а теперь точно знает. Он никогда не смотрел на нее так, как ей хотелось бы, и теперь она знает почему.

Для него она все равно что одна из его коров либо лошадей. Таково-то и было ее хорошее житье, которое она, быть может, и не ценила. Он заботился о ней, берег ее. Здоровье Мэрит касалось и его. Ведь хозяин хочет видеть свою скотину откормленной, холеной и здоровой. Он боялся, чтоб она не извелась на работе. Умный человек не хочет, чтобы его скотина надорвалась. Он холил ее и лелеял. Разумный хозяин не даст породистой скотине захиреть. Умный крестьянин знает: от здоровой, сильной и резвой скотины хозяину больше пользы, чем от хворой и хилой. Нападет на него охота, так он хлопнет ее по ляжке, как хлопает иной раз свою кобылу.

Когда же скотина показывает норов, перестает слушаться, лезет за ограду, хозяин берет кнут и учит ее хорошенько, чтоб стала смирной, ласковой и послушной.

* * *

Так кто же Повель для нее? С ним не пропадешь, с его наследством. А, кабы не то, он был бы для нее словно любой другой человек на свете. Он ей не ближе, чем люди, которых она никогда не видала. Не лежит у нее к нему сердце. Говорят: муж и жена — одно тело, но тогда ее половина тела мертвая. В ней нет для него

ни живиночки. Умри он, она не стала бы убиваться, хоть и надела бы траур. Ни горевать, ни тосковать о нем она не может.

Он спит, а она лежит с открытыми глазами, словно караулит его сон и покой. Да, Повель спит. Ему надо хорошенько отдохнуть — утром рано вставать, ехать за наследством.

Что же, она так и будет всю жизнь слушать, как он дышит во сне?..

Мэрит слышит и другие звуки. Здесь только что раздавался пронзительный крик. Это она кричала из-за него...

Хокан! Где же Хокан, ведь она так боялась за его жизнь?

С Хоканом она повстречалась давно, еще прошлым летом, когда она в первый раз стирала у ручья. Он глядел на нее, но подойти тогда еще не посмел. А после пришел однажды вечером и погладил рукой ее тканье, которое она положила белить на траву. Он коснулся ее самыми кончиками пальцев, а после обнял горячо, отчего смех вырвался на волю из ее груди. Он заставил ее трепетать, испугал ее, сделал смелой, присушил. В прошлом году Повель пожелал взять жену, а в нынешнем году она пожелала взять мужа и выбрала Хокана, ведь она узнала его хорошо, поняла, каков он есть. И он дал ей большую радость, единственную, что ей дано было испытать на этой земле.

Что она для Хокана? Ради нее бросает он родную деревню и обрекает себя на жизнь трудную и опасную.

А для нее он головокружье и страх, радость и мука, огонь и прохлада, волнение и мирный покой — все, что радует и печалит, дарит утеху и ранит. Оттого-то при нем она оживает. Ожидая его, она вся горит, а уйдет он — горькая тоска по нем гложет ее. И время от встречи до расставания — один единый миг, которым она жива.

А коли Хокана больше нет у нее...

Сердце у нее вдруг сильно защемило. Такое было с ней, когда она кричала нынче вечером, когда Повель навел на него ружье.

Он сказал: «Больше не увидимся!» И ей вдруг снова захотелось кричать от страха, что для нее его больше не будет на земле.

Ей бы уснуть, но сон далек от нее, как никогда. И что это она лежит тут и слушает, как дышит Повель?

Он и без нее будет сладко спать, а ей от него ничего не надо. Что тогда ей тут делать? Лежать и прислушиваться долгими ночами всю свою жизнь? Отчего она не рядом с Хоканом — близко, так близко, что дыхания их слились бы в одно?

Хокан... Спит ли он сейчас? Но ведь ему не надо вставать спозаранку и ехать получать землю в наследство. Нет, он сам оставляет землю, которой владел прежде.

Куда он ушел? Уходя, он сказал: «Не печалься! Больше не увидишь меня!» Слова эти слетели с его уст, дошли до ее ушей. Чудны́е слова. Что он хотел сказать? Как может она не печалиться, если не увидит его больше? Неужто он ушел, не взяв ее с собою, не вырвав ее отсюда? Почему он не сделал этого?

Почему, почему? Чудовищно огромные вырастают в голове Мэрит вопросы. И все отчетливее и серьезнее растет тревога: слова его значили, что он ушел без нее, что для нее его больше нет на свете.

Хокан уйдет, исчезнет, ей станет казаться, будто его и не было. Дело ясное, это правда, она сама слыхала, как он это сказал. Он ушел, чтобы стать все равно что мертвым для нее. И ей снова хочется кричать, как она уже кричала нынче ночью. Но сейчас кричать ей никак нельзя. Тогда Повель проснется, а нужно, чтоб он непременно спал.

Отчего Хокан не вырвал ее отсюда, не увел с собой?

Но зачем она все еще лежит здесь? Что, она не может шевелиться? Разве она связана? Разве она заперта в темнице? Что же это такое с нею? В избе перед ее глазами лишь мрак кромешный. Она не видит сама себя, но хочет узнать, не привязана ли она.

Надо попробовать что-то сделать, подвигаться.

Мэрит поднимается в постели, ступает на пол босыми ногами. Вроде бы это сошло ей легко, без усилий. Надо еще попробовать. Она размялась немножко, подняла руки, приподняла ногу и стала медленно, медленно ступать по полу. Чудно, ничто ей не мешает. Один шаг, другой, третий — никакой помехи. Может, так она и до двери дойдет. Вон там дверь. Да, она легко дойдет до двери безо всякой помехи. А, выйдет за дверь, стало быть, может идти к Хокану... И радостная догадка охватывает ее: никто ее не держит, она свободна и может идти к Хокану.

* * *

Она еще не совсем уверена в себе. Еще не может понять — во сне это или наяву. Надо еще пройти немного. Может, все это ей чудится.

И Мэрит тихо крадется по дому, входит в другие горницы, зажигает свечи, что-то ищет, собирает, раскладывает. В доме так много всякой утвари, собрано так много всего, но, как ни странно, ничто не мешает ей двигаться. Сундуки, шкафы и скамьи стоят неподвижные и слепые, им нет до нее дела. Половицы не царапают ей ноги, балки не валятся с потолка ей на голову, стены не сжимаются, чтобы запереть ее, гвозди и крюки не цепляются за нее. Ни одна из этих мертвых вещей не держит ее.

И сердце Мэрит наполняется изумлением. Значит, ничто не держало ее — неужто ей это лишь казалось? Нет, не казалось. Еще недавно дом, земля, все добро, что есть в доме, и сладкая еда держали ее так крепко, что ей бы никогда отсюда не вырваться. Хокан говорил ей, что это неправда, но она сама знала, что так оно и было. Тогда, но не сейчас. Теперь все вдруг сразу переменилось. Лежа в постели с открытыми глазами, она вдруг поняла, что свободна и вольна двигаться, как ей вздумается. Может, Хокан был прав, зачем она не послушалась его? Хокан — куда он ушел?

Мэрит спешит, разгорячилась вся. Пол в избе послушен ее ногам. Она собирает свою одежду, завязывает в узел, и руки ее проворны и послушны. Руки слушаются ее, даже когда она вынимает из сундука подвенечный пояс, составленный из серебряных выпуклых блях — не менее двух марок серебра. Это тоже мертвая вещь, но она не помешает ей, а, наоборот, поможет.

Молодая женщина хлопочет, а ночь, удивительная, огромная, обнимает ее. Часто ли встречает человек ночь с такою сердечной радостью, какая сейчас в сердце Мэрит? Такое, верно, может переживать лишь человек, лежавший в соняшнице, когда он просыпается среди ночи и вдруг вспоминает, что он жив. Только что он лежал мертвецом в темноте — и вдруг пробуждается. Он поднимается, делает несколько шагов, понимает, что ноги несут его, что тело, руки и ноги сохранили гибкость живого человека. Он может дышать, жизнь не угасла в нем. Какое чувство испытывает он, встав и блуждая в ночи? Он свободен, он вырвался из гроба, прежде чем

его закрыли крышкой и опустили в землю. По жилам его растекается вновь обретенное тепло, и он ощущает сильно, как никогда: я не мертв! Это вещи вокруг меня мертвые, не я! Я могу двигаться!

Мэрит ходит, двигается так, будто она сейчас пустится в пляс. Она и в самом деле собирается танцевать босоногий танец — самый легкий и отрадный танец, лишь его нужно танцевать женщине, которая вдруг поднялась и чувствует, что тело ее послушно ей. Руки и ноги не противятся ей, не тяжелы. Она больше не боится наколоть в танце босые ноги, ведь маленькая заноза в теле не страшна тому, кто только что лежал мертвым.

Радость струится в ее крови, обволакивает ее: она мужняя жена, она принадлежит одному.

Лишь благодаря ему она может сейчас ходить и двигаться без помехи. Раньше сила его была скована — ведь он сам еще не был свободен и ее освободить не мог. А теперь он напряг силы, вырвался на волю, решил уйти, тогда и она стала свободной.

Теперь она принадлежит ему одному. И больше она не дает усадьбе и другим мертвым вещам, окружающим ее, владеть ею. Теперь все, что было мертво в ней, ожило.

Как ни трудно поверить, но это чистая правда: ничто больше не держит ее здесь. Она поворачивает ключ в замке, чтобы выйти из дому, и дверь не преграждает ей путь, а услужливо распахивается на железных петлях. Дверь отворяется тихо, не кричит, не выдает ее. О благословенная дверь, коли ты не держишь меня, мне больше нечего бояться. Как выйду за порог, так уже смогу быть спокойна!

Мэрит ласково и благодарно проводит рукой по дверному ключу и спешит прочь.

НОЧНОЙ ГОНЕЦ

«Ведомо им, что в чужих краях крестьяне в рабстве пребывают, и посему боятся они подпасть оному, ибо рождены людьми вольными».

Из протокола шведского государственного совета от 22 августа 1650 года

ВОРОН СИДИТ НА КОНЬКЕ КРОВЛИ

садьба Сведьегорд поставлена по солнцу — одним боком дом глядит на восток, другим — на запад. С восточной стороны над коньком кровли на добрый локоть возвышается резная мотыга. Это родовой знак дома Сведье.

Два утра кряду, отворяя дверь, матушка Сигга видела, что на коньке у мотыги сидит большая черная птица. Скот в усадьбе не резали давным-давно, так что не запах убоины приманил хищника.

— Ворон! — крикнула матушка Сигга, назвав птицу ее настоящим именем, и швырнула на крышу горсть льняного семени, чтобы спугнуть непрошеного гостя.

Но птица сидела, не шелохнувшись, задрав кверху кривой клюв. Так сидел ворон долгое время, а потом с карканьем полетел к лесу. Матушка Сигга ни словом не обмолвилась об этом сыну. Но когда ворон и в третье утро появился на коньке кровли, она рассказала об увиденном. Рагнар Сведье ничего ей на это не ответил.

В тот день им нужно было бороздить пашню под рожь. Добрые приметы к севу появились нынче очень поздно, лишь в первую неделю июня. Только теперь на лугу показались побеги черемухи, крепкий весенний дух пошел от земли, облетела пыльца с можжевельника. Но орешник так и не оделся листвой; он не зазеленеет нынешним летом, потому что почки ободрали на мякинный хлеб.

После трапезы матушка Сигга шла по пахоте, ведя в ярме необученного молодого вола. Рагнар Сведье правой рукой направлял соху, а в левой держал длинную

березовую вицу. Волы в ярме были не под пару. Борозддинный вол был крупный, в тринадцать четвертей, а подручный — двухгодовалый бычок — всего лишь в одиннадцать четвертей. Правый покорно шел в ярме и вел борозду прямо, а левый то останавливался как вкопанный, то срывался с места и начинал бодать землю, точно лесной козел. Матушка Сигга вела неприрученного вола на лыковой веревке, но из-за его дикого норова упряжка то и дело сбивалась с борозды.

— А, чтоб тебя, чертово отродье! — Молодой Сведье чертыхался и сыпал бранью в досаде на вола, портившего борозду. В сердцах он даже прикрикнул на мать: — Да уймите вы этого проклятого вола!

— Ори поменьше, тогда борозда ровней пойдет,— ответила она, бросив на сына суровый взгляд.

Матушке Сигге в день святого Олафа сравняется шестьдесят лет. Волосы, спрятанные под платком, побелели, а кожа на лице потемнела и задубела, точно сосновая кора. Это невысокая изможденная женщина. Руки, держащие веревку, до того исхудали и высохли, что от них остались одни жилы, но хватка не ослабела. Сломай хоть палец, а то и два — рука не разожмется. Воля матери тверда, как сталь топора. Это не пугливая овечка, которая может оробеть от окрика мужчины. А уж меньше всего оробела бы она перед тем, кого вскормила своим молоком, кто когда-то лежал у ее груди.

Сын раскаялся в своих словах.

Медленно поднимали волы копыта, делали шаг, а потом опять погружали их в землю. Сведье бороздил поле по кругу, чтобы не сворачивать у межи, и вел борозду посолонь, ибо как солнце ходит по небу, так надо и землю возделывать. Когда Сведье останавливал упряжку на отдых, бока у волов вздымались, точно кузнечные меха.

На камне лежала куча высохшего пырея, надерганного в поле с прошлой осени. Матушка Сигга набрала полный передник высохших корней и снесла их на межу. Она собирала пырей, чтобы потом смолоть его и примешать к хлебу.

Она клала в тесто всякий корень, всякую травинку, если только они не вызывали рези в кишках или кровавого поноса. Голодно было нынешней весной и людям, и скотине. В лето тысяча шестьсот сорок девятое матушка Сигга сняла такой скудный урожай, какого за всю

жизнь не видывала. Хлеб подгнил на корню из-за сильного паводка. В Сведьегорде собрали лишь четверть того, что обычно родила земля. В хорошие годы покос на заливном лугу давал восемь десятков плотно утоптанных стогов; ныне их было только два десятка. Остальное сено унесло водой в озеро Ростокшён. Оттого-то у волов были теперь опавшие бока, а на бедрах выпирали кости. Правду говорят: коли сена мало, так и зима долга. Еще задолго до того, как оттаяла земля, опустели амбары и закрома. А весна никак не шла на поля. Земля была немилосердна, сердце ее было покрыто ледяной корой, через которую даже в апреле не мог пробиться ни один зеленый росток. Давно наступил май, а на лесных проталинах все еще лежали сугробы. А когда прилетела наконец кукушка, то пришлось ей куковать на голых ветках. Стояли ясные майские дни, а люди дули на озябшие пальцы, и кусты никак не хотели зеленеть. То был голодный год, год нищих. Отовсюду приходили странники с нищенской сумой. Иные — с подорожными грамотами от пастора, а иные — и без них. Далеко не все были родом из здешних мест, из прихода Альгутсбуда. Таких и половины не набралось бы. Просить Христа ради приходили бедняки и с запада, из Экеберги; и с севера, из Хеллеберга; и с востока, из Мадешё; и с юга, из Виссефьерды и Лонгашё. Приходили убогие вдовы ратников, сгинувших без вести в немецкую войну, приходили увечные, вернувшиеся из Неметчины после замирения. Никогда еще столько нищей братии не переступало порог Сведьегорда. Матушка Сигга подавала кусок хлеба каждому, покуда могла урвать что-то от себя. Всю зиму она пекла хлеб пополам с мякиной. В тесто шли кора, почки орешника и вереска. Теперь ей нечего было больше подавать; в пору было самим не умереть с голоду.

В эту студеную весну не зеленели кусты, а у людей были бледные щеки и жадные, голодные глаза.

Пастор Альгутсбуды, господин Петрус Магни, говорил в своей проповеди, что эта голодная година ниспослана людям свыше, что пришел час кары божьей. Страна обрела мир, но людям не дано вкусить его сладость, ибо многие ведут жизнь неправедную. Господа из дворянского сословия погрязли в роскоши и распутстве и даже юную королеву склонили к утехам и забавам, принятым в чужих землях. И, подобно тому как народу

в земле египетской суждено было принять муки фараоновых грехов ради, люди низкого звания в королевстве ныне должны претерпеть по вине господ своих.

Но в старину, до владычества помещиков, крестьянам в деревнях жилось привольно. В те времена, когда матушка Сигга была совсем молодой, мука в закромах не переводилась и по весне побеги на орешнике оставались целы. В ту пору у людей были здоровые, румяные лица и ясный взор. Свиньи чуть ли не сотнями паслись в дубовых рощах и жирели от желудей, а жирные куски свинины красовались на блюде вперемешку с вареной капустой. А теперь уж и тот был рад, кому удавалось выкормить за зиму хотя бы одного боровка. С великим трудом и лишениями вы́ходила матушка Сигга этой весной подсвинка, но он был тощий, что твоя доска.

И если бог не благословит нынешней весной посевы, то ни людям, ни скоту не выжить.

Но тяжки грехи господ, а весна стоит поздняя и холодная. И приметы недобрые: вороны прилетают из леса и садятся на конек кровли.

* * *

Со своего поля Рагнар Сведье мог видеть дворы деревни Брендеболь, со всех сторон окруженные полосками пашен. В деревне было двенадцать крестьянских дворов, которые все вместе составляли три податных хозяйства. Серые дворовые постройки возведены были широким кольцом, опоясывающим яблоневые сады, хмельники, гороховища, капустные гряды, грядки с кореньями. Посредине, высоко над кровлями домов, поднимался журавль деревенского колодца; он был устремлен ввысь, точно перст, указующий на небо. Дома сгрудились, будто хотели теснее прижаться друг к другу. Иной раз расстояние от стены до стены было не больше двух-трех саженей. Они стояли сплошным заслоном, отгораживающим деревню от прочего мира; а она и впрямь нуждалась в защите. С трех боков деревню окружали густые леса, таившие в себе опасность, так что оно и лучше было, если путь от соседа к соседу недолог.

Усадьба Сведьегорд стояла на западном краю деревни, близ озера Ростокшён. Дальше начинались соседние деревни — Хумлебек и Гриммайерде. На восток и на юг, до самого озера Мадешё и до кальмарской грани-

цы, тянулись бескрайние нехоженые леса. В этом направлении, насколько видел глаз, простиралась дикая лесная чащоба; но глаз мог охватить лишь малую часть ее.

В этих общинных лесах малолетним подпаском бегал Рагнар Сведье. Лесные прогалины и буреломы походили здесь друг на друга, точно борозды на пашне, и Рагнар нередко плутал по лесу. По лесным тропкам мчался он со всех ног вызволять скотину от волка. Он научился распознавать эти тропки, научился находить дорогу в лесной глухомани.

Стоя на своем поле, Рагнар глядел на три стороны. В четвертую сторону он не глядел. Не глядел он на север. Там, на севере, на другом берегу озера Ростокшён, находилось господское поместье Убеторп.

Убеторп было имение его милости господина обер-майора Бартольда Клевена. Там руками барщинных крестьян возводился теперь роскошный господский дом со многими покоями. В прошлом году помещик Клевен купил у казны право на сбор податей с деревни Брендеболь. Отныне оброк со Сведьегорда шел помещику в Убеторп — оттого-то Рагнар Сведье и не глядел на север, в сторону поместья.

Убеторп и Брендеболь — это помещичьи владения и тягловая земля, это господская усадьба и крестьянский двор, и мира меж ними быть не может. Помещик и крестьянин — точно разные стороны света, их нельзя свести воедино.

Этот помещик Клевен взял под свое начало многие деревни, лежащие вокруг его имения, в пределах свободной мили. Он купил у казны право на сбор податей с этих деревень и объявил себя их господином. А теперь жадные господские руки дотянулись и до Брендеболя. Земля здесь была добрая, плодородная.

Отныне все поборы — подорожная пошлина, налог на корма, на рожь, на селитру — собирались с крестьян фохтом господина Клевена. Отныне в Убеторп шел и оброк натурой, который крестьяне прежде отдавали казне и церкви,— зерно, хмель, яйца, масло, сыры, свиные и бараньи туши, молочные телята, льняная пряжа, холсты.

Но в нынешнем году случился недород, и тут уж крестьянин ничего не мог поделать, потому что не в его власти было заставить землю родить. Когда же оказа-

лось, что из-за неурожая крестьянину нечем платить оброк, помещик прислал в деревню фохта и наказал ему силой взыскать недоимку.

Этой весной крестьяне в Брендеболе высохли, точно скелеты, от голода подводило живот, руки и ноги тряслись. Не под силу им было платить поземельную подать. Ларс Борре, фохт господина Клевена, нагрянул в деревню; он совал нос во все углы, грозил и бранился. Он винил крестьян в том, что они припрятали хлеб и свинину. Явившись в Сведьегорд, он стал вымогать семенное зерно. Сведье сберег на посев несколько бочек зерна, и теперь Борре требовал у него половину. Он принес с собою меру, но Рагнару показалось, что она слишком велика, и он сравнил ее со своей клейменой мерой. Вышло, что фохтова мера вмещает целых восемь четвертей зерна. Она была неладная. Не зря шла молва, что помещики, собирая подати, не желают блюсти вес и меру, установленные законом. И локоть у них, и пуд — какие им вздумается. Когда Сведье платил подать казне, в меру входило шесть четвертей зерна, и он не хотел отдавать господину Клевену восемь.

— Ваша мера неправильная, Ларс Борре!

— Тебе и такая сгодится, холоп!

— Она больше казенной!

— До казенной меры тебе теперь нет дела. Ты платишь оброк господину обер-майору.

— Не стану я хлеб сыпать в такую меру! Мерить — так по совести, а то и единого зерна не получите!

Борре ругался на чем свет стоит, шарил по всем закромам и клетям, но семенное зерно лежало в потаенном месте, надежно закопанное под грудой камней за хлевом. Так и пришлось помещичьему фохту повернуть от ворот ни с чем.

Помещику, а не казне платил теперь подати Сведье. Отныне фунт масла стал тяжелее, локоть холста длиннее, мера зерна больше. А Сведье хотел платить по закону, так, как записано в поземельных книгах. Его отец, который был рейтаром в немецкую войну и сгинул на чужбине, без устали твердил сыну: «Стой на своем праве и никогда не поступайся им». Отец лежал в земле, но слова его жили.

Помещик прислал с фохтом неправильную меру. И оттого бонд из Брендеболя не глядел теперь на север, не глядел в сторону имения. Господское поместье и

крестьянский двор — близкие соседи, но лада меж ними быть не может.

Волы отдохнули, и упряжка медленно потащилась по пашне, круг за кругом, слева направо, с востока на запад. Ибо лишь тот, кто держит путь по солнцу, движется путем праведным, и ему всегда бывает удача.

Шея старого вола истерлась, распухла и задубела под ярмом, а у молодого она все еще была покрыта густой шерстью и оставалась узкой и мягкой. Вдруг огромный слепень закружился над упряжкой и впился молодому волу в самую репицу. Вол вскинулся в ярости и рывком повернул обратно; морда оказалась сзади, хвост — спереди. При этом матушка Сигга упала, и ее проволокло по земле.

Сведье рванул за вожжи и с большим трудом повернул назад упиравшегося вола. Матушка Сигга молча поднялась и стряхнула с юбки налипшую землю. Падая, она не выпустила из рук веревки. Но когда она разжала ладони, по ним, словно узор по тканью, шли красные полосы. Веревка содрала кожу и врезалась в самое мясо. Из разодранных ладоней капала кровь.

Но упряжка снова двинулась по кругу, и матушка Сигга опять повела на веревке строптивого вола. Она думала: «Путный вол в ярме — дар божий». Осенью в Сведьегорд перейдет от деревенского старосты Йона Стонге добрый рабочий вол, и его можно будет поставить в ярмо подручным. Нынешним рождеством Рагнар высватал за себя дочь старосты Ботиллу. После осеннего солнцеворота, когда управятся с жатвой и хлеб будет свезен в закрома, сыграют свадьбу, и Ботилла приведет в приданое доброго, откормленного вола.

Матушка Сигга не отпускала веревку. Она слизывала и глотала кровь, капавшую из пораненных ладоней. Незачем крови пропадать зря.

Вдруг из деревни донесся резкий, пронзительный звук. Матушка Сигга обернулась, обернулся и Рагнар Сведье. Упряжка остановилась.

Что это? Может, кто с пастбища скотину кличет? Или заливается плачем побитый ребенок? Нет, ни то, ни другое. Не человеческий это голос.

Матушка Сигга сказала:

— Староста в рог трубит.

Она распознала этот звук прежде сына, потому что за свою жизнь слышала его куда чаще, чем он.

— Вроде так оно и есть. Вы угадали, матушка.

Теперь Сведье видел, что Йон Стонге, его будущий тесть, стоит на камне перед своим домом. Теперь он и сам ясно слышал звук деревенского рога.

— Староста сзывает общину на сход. В чем дело?

Молодой бонд выпустил рукоять сохи и огляделся. В последний раз деревенский рог трубил в день святого Урбана, когда в Брендеболе праздновали встречу лета и выборы старосты. Тогда Йон Стонге, новый староста, сзывал всех на пир. Только навряд ли он сегодня собирается пировать.

Что же могло случиться?

Может, в деревне пожар? Но Сведье не видел огня и не слышал запаха гари. Может, лес горит? Но время пожог еще не наступило. Может, на войну призывают? Но датчанина недавно разбили на его же земле. А может статься, что и на облаву скликают народ. То ли волк утащил скотину из стада, то ли вор объявился в округе. На троицу лесной вор Угге из Блесмолы украл что-то в Хумлебеке.

Эхом разносился по окрестностям звук деревенского рога. Общину сзывали на сход. Сведье спросил:

— Что такое приключилось?

Матушка Сигга, крепко стояла, крепко сжав губы, и, прищурившись, глядела в сторону деревни. В уголке рта у нее застыла капелька крови, которую она слизывала с пораненных ладоней.

— Кто его знает! — ответила она.

Она видела, что сын задумчиво нахмурил лоб. Почему староста сзывает общину на сход? Она могла бы догадаться, если бы хотела. Несколько минут назад она видела то, что глаза ее сына не приметили.

По дороге проскакал незнакомый всадник. Он въехал в Брендеболь и спешился перед домом старосты. Была ли при нем сабля, были ли обшиты позументом его кафтан и шляпа — этого матушка Сигга не заметила. Но она видела его коня. Крестьянские лошади были тощие и изможденные, господские — сытые и холеные. По откормленной лошади всадника она сразу смекнула, кто он таков.

А что надо в крестьянском доме помещикам и их челядинцам? С подношениями они приходят? С подарками, привязанными к седлу? С приглашениями на пир?

Матушке Сигге нетрудно было догадаться, какую весть принес всадник из господского поместья: не зря черная птица три утра кряду сидела на коньке кровли.

* * *

Верховой прискакал из господской усадьбы в деревню Брендеболь.

Вечером крестьяне Брендеболя собрались у деревенского колодца. Староста Йон Стонге сидел на стиральных мостках, зажав в руках ясеневую дубинку — знак власти. Перед ним сидели односельчане. Они сидели в ряд на перевернутой колоде — толстом выдолбленном дубовом стволе, из которого зимой поили скотину. Одиннадцать человек сидело на колоде, а двенадцатый на мостках — староста. Родом новый староста был из Стонгесмолы.

Вечер был теплый. Наступила пора молодой зелени и весенних цветов. Земля вокруг колодца была влажная от воды, пролитой из бадей, и в траве рдели яркие цветы. От только что вскопанных огородов и капустных гряд поднимался сладкий и крепкий дух весенней земли. Даже в эту злосчастную весну зелень распустилась пышно. Только орешник на лугу стоял голый и разоренный. Не будет на нем листьев нынче летом!

Двенадцать человек было в общине Брендеболя. Клас Бокк, оружейник, был самым старым из них. В молодых годах он участвовал в кальмарской усобице и помнил то время, когда датские рейтары устроили конюшню в церкви Мадешё, а немощные старцы, дети и женщины искали прибежища в лесах.

И по сей день носил Клас Бокк на шее отметину от датского меча: коричневатый, точно змея-медянка, рубец, извиваясь, скрывался за левым ухом. Но в прошлом году оружейник взял за себя молодую жену, и теперь в Боккагорде день и ночь горел в очаге огонь, потому что в люльке лежал новорожденный, еще не крещенный младенец. Бёрье Хенрикссон и Симон Сиббессон также были согбенные старики. Самым младшим в общине был Рагнар Сведье. Чуть постарше его — Матс Эллинг, новый житель деревни, что нынешней осенью переехал к ним из Лонгашё.

Что приключилось? Зачем созвали сход?

Все ждали ответа от старосты. У Йона Стонге было круглое лицо, утопавшее, точно во мху, в густой золотистой бороде. Прямые пряди волос, чуть потемнее, падали на лоб. Ответ старосты глухо прозвучал из обросших бородою губ:

— Нарочный прискакал из Убеторпа в Брендеболь с наказом и повелением от его милости господина Клевена: завтра с восходом солнца все крестьяне должны явиться в поместье на барщину — строить господский дом.

Барщина — вот оно, слово, которое обожгло всех! Наказ явиться на барщину! Этот помещик Клевен велит им явиться на барщину в Убеторп! Барщина! Слово пронзило людей, будто острие копья. Барщина в чужой усадьбе... Приказывать им, свободным тягловым крестьянам Брендеболя!..

Точно пчелиный рой, загудели люди на водопойной колоде:

— Барщина в господской усадьбе!

Один за другим послышались негодующие выкрики:

— Мы не торпари господину Клевену!

— Мы вольные бонды!

— В Брендеболе нет барщинных холопов!

— Не станем мы строить господский дом!

Люди в латаных кожаных штанах и сермягах подзадоривали друг друга выкриками, напоминали друг другу, что они сидят на своих наделах, что они сами себе хозяева. Холщовые рубахи на них тысячи раз намокали от пота, но этот пот был пролит, когда они свою землю пахали, свой урожай собирали! И вот теперь им велят завтра, с восходом солнца, идти на барщину в господскую усадьбу. Помещик хочет, чтобы они ради него проливали пот, чтобы на него трудились их руки! Торпаря, батрака можно погнать на барщину, но не вольного бонда из Брендеболя, потому что нет над ним никаких господ!

Гневно и запальчиво звучали голоса. У колодца слышался многоголосый гомон, который разносился по всей деревне. Женщины и дети приотворяли двери, боязливо прислушивались. Рассерженные, вспугнутые шумом пчелы роем носились вокруг ульев. А в остальном июньский вечер был все так же тих и безмятежен. Как ни бушевали люди у колодца, по-прежнему спокойны были неподвижные сверкающие воды озера Ростокшён

и не шелохнулся на ветках яблоневый цвет. А высоко над головами людей возвышался длинный колодезный журавль, который уходил ввысь, в ясное вечернее небо, точно голая макушка дерева.

Многоголосый ропот утих. Йон Стонге ерошил волосы и задумчиво вертел в руках ясеневую дубинку. Господин Клевен думает, озабоченно говорил он односельчанам, что раз королева пожаловала ему грамоту с печатью на сбор податей с деревни, то, стало быть, теперь их господин он, а не королева. Клевен считает, что отныне он их помещик и потому вправе требовать от них барщинной повинности.

— Господин Клевен может купить наше тягло, но воли нашей ему не купить!

— Нет такого права у казны — продавать нас помещикам, точно скот!

— Мы не псы — кидаться со всех ног, как только помещик свистнет!

Крестьяне снова зашумели, а голос Класа Бокка, старшего из них, перекрывал всех. Шрам на его шее налился кровью.

— Не бывать тому, чтобы помещик строил себе хоромы и возделывал свои земли нашими руками! — кричал он.

Односельчане поддержали его. Община держала совет, и все сошлись на одном. Они высказали все, что думают насчет барщины в господском поместье. Во всяком деле, что решает сход, они вольны сказать «да» или «нет». Они говорят «нет»!

Но Йон Стонге нерешительно теребил двумя пальцами бороду. Видно было, что он не знает, как ему быть. Он и всегда-то слыл тугодумом, но таким растерянным его редко когда видели.

— Еще что скажешь нам, староста?

— Мы ведь все сошлись на одном! Или не так?

Тут выступил вперед Матс Эллинг. Щуплый и низкорослый, он выпрямился, точно хотел казаться выше. Община порешила ослушаться наказа из Убеторпа, сказал он, но, если они не пойдут на барщину по доброй воле, господин Клевен силой потащит их в Убеторп. Помещики знают, как заставить крестьян слушаться. Что, если господин Клевен прибегнет к силе? Что они тогда станут делать?

У колодца наступила тишина. Замолкли выкрики, утих гомон, и женщины, успокоившись, закрыли двери домов.

Вечер догорал. Но сход еще не кончился. Матс из Эллингсгорда бросил в лицо односельчанам вопрос: что они станут делать, если господин Клевен силой заставит их идти на барщину?

Призадумались крестьяне. Размышляли, взвешивали и прикидывали. Если помещик заставит их? Тогда, глядишь, и шкура не уцелеет! Помещик знает, как заставить крестьян слушаться, сказал Матс Эллинг. Может, они своей строптивостью навлекут беду на себя и своих домочадцев? Может, стоит поразмыслить, прежде чем идти наперекор господину обер-майору Клевену? Бог его ведает, какого он нрава, этот самый помещик! Они ведь его еще и в глаза-то не видели.

Они и так уж не поладили с господином Клевеном из-за податей, тихо и вкрадчиво продолжал Матс Эллинг, а если еще и теперь станут перечить ему, то непременно его разгневают. Если они ослушаются наказа, то между ними и помещиком, которому они платят тягло, выйдет разлад. И тогда он будет притеснять их еще немилосерднее. Так не лучше ли пойти на уступки по доброй воле? Ведь это будет им только на пользу. Уступят они какую малость помещику, поладят с ним миром — глядишь, и он сделает им послабление при сборе недоимки. Он требует, чтобы завтра поутру в имение явились все двенадцать. А может, им послать только четверых? И тогда им не придется своим отказом вводить помещика во гнев.

— Вот мой совет,— заключил Матс,— кинем жребий и пошлем каждого третьего.

Выслушав Матса, крестьяне долго сидели в молчании. Ясное дело, Матс говорит как трус. Но он слывет человеком ловким и изворотливым. Он из тех, кто умеет приноровиться и к хорошим, и к худым временам и потому всегда благоденствует.

Кучка крестьян в серых армяках весенним вечером сидела у колодца в смущенном молчании. Люди потирали широкие заскорузлые ладони и обменивались нерешительными, вопрошающими взглядами. Их мучила неуверенность, каждый хотел выведать, что у другого на уме. Что для них будет лучше? Смириться перед помещиком или дать ему отпор? Уступить малую часть в

надежде сохранить бо́льшую или не идти ни на какие уступки? Так, в молчаливом обмене мыслями проходил этот деревенский сход.

— Поди ты к дьяволу с твоими советами, Матс Эллинг! — Выкрик упал в тишину, точно раскаленный уголь, выроненный из обожженных ладоней. Люди на колоде сидели понурившись — теперь они вскинули головы.

Слова эти швырнул в тишину Рагнар Сведье. Молодой бонд гневно вскочил и встал перед сходом, выпрямившись всем своим статным, ладным телом. Рагнар Сведье был человек горячего нрава; он всегда рывком поднимался с места, подобно тому как выскакивает лезвие складного ножа.

— Вы одно забыли: закон за нас! Ежели смиримся и пойдем на барщину, стало быть, поступимся своими правами!

Поднялись головы мужицкие, напряглись жилы — односельчане слушали слова Сведье:

— Двор за двором берет под свое начало этот помещик Клевен. Стало быть, он наш исконный недруг, а с недругами в ладу не живут. Закон на нашей стороне, и мы не дадим ему чинить над нами беззаконие!

Слова Сведье падали, точно удары топора. Седые старцы слушали его, позабыв, что Сведьебонд — младший в общине и не подобает младшему держать речь, покуда не спросят.

— Чем больше станем уступать, тем больше будет требовать помещик. Нынче пошлем на барщину четверых — завтра придется идти восьмерым. А мы не барщинные! На родовых наделах сидим, на тягловой земле. У казны нет права продавать нас, точно торпарей. Закон за нас!

Легко стало на сердце у крестьян. Своими словами Сведьебонд точно снял с их души огромную тяжесть. Закон за них! А они-то чуть было не позабыли об этом. Они своим правом не поступятся! Нерушимо сидят они на своей земле и помещику не подвластны. Тут и толковать не о чем. Они ведь знают, что правда на их стороне.

Клас Бокк, старший в общине, не раз прежде избиравшийся старостой, поднялся с места и выкрикнул:

— Верно Сведье говорит! Силой нас не принудят идти против правды!

Теперь они знали, что делать. Но тут снова поднялся Матс Эллинг; на этот раз голос его звучал еще тише:

— А если господин Клевен силой погонит нас на барщину? Если пошлет сюда своих челядинцев?

— Тогда будем обороняться! — Таков был ответ Сведье.

— Нам не одолеть холопов Клевена!

— А оружие у нас на что? Ведь оружие наше при нас!

— Силы у нас неравные.

— Сил меньше — зато смелости больше.

— Да и нас самих много ли?

— А хоть бы и меньше было — права своего мы никому не уступим.

Сведьебонд повернулся к односельчанам, сидевшим на дубовом стволе, и сказал:

— Я буду оборонять себя и свой дом. А вы? Что станете делать вы?

И снова в тот вечер раздались выкрики у деревенского колодца:

— Оборонять себя и свой дом!

Голоса прорезали вечернюю тишину, разнеслись по всей деревне и далеко за околицей. Снова отворились двери, и женщины в страхе стали прислушиваться: неужто там, у колодца, дело дошло до кровопролития? Неужто мужчины на сходе так и не столкуются?

Но теперь все были единодушны. «Обороняться!» — этот клич был ответом на вопрос Сведье. Он шел из самой глубины сердец и нес с собою освобождение. «Обороняться!» — вот совет, которому они последуют. Крестьяне не забыли, что они люди вольные, что оружие их не ржавеет без пользы на стене, что они всегда носят при себе свои мушкеты и топоры. На что у них оружие? Им обороняют свою жизнь, свое добро.

У людей в латаных кожаных штанах и серых армяках полегчало на душе, точно они вдоволь хватили хмельного. Что делать крестьянину из Брендеболя, если помещик посягнет на его свободу?

— Обороняться! Мы все будем обороняться!

Под конец и Матс Эллинг примкнул к остальным, сказал, что и он будет обороняться, если все другие в общине стоят на том.

Теперь решение было принято всем миром. Йон Стонге протянул руку своему нареченному зятю и тем под-

твердил, что совет Рагнара принят общиной. Оставалось только скрепить уговор, к которому они пришли в этот вечер на сходе. Односельчане поднялись и окружили старосту, готовые дать клятву. Никто не пошел против общины.

Затем люди единодушно протянули руки и поклялись:

— Крестьяне Брендеболя дают клятву и обещают друг другу, что все они, как один человек, дадут отпор каждому, кто силой, хитростью или посулами станет понуждать их к барщине на господской земле.

Они стояли под колодезным журавлем, который высился над головами людей, точно перст, указующий путь к небу, где вышний судия, как вечный и беспристрастный свидетель, внимал их клятве.

* * *

Матушка Сигга и Сведье сидели за вечерней трапезой. Они размачивали мякинный хлеб в пивной похлебке. Они жевали медленно, с усилием и после каждого куска, который насилу проходил в глотку, отхлебывали воды из кружки. Воду для питья они брали из ручья на лугу. Там она была чище и прозрачнее, чем в деревенском колодце. С водой пища легче проходила в желудок. Матушка Сигга упрямо пережевывала хлеб беззубыми деснами, и, пока она проглатывала кусок, сын успевал проглотить два.

В эту пору можно было ужинать, не зажигая лучины. Дневной свет просачивался через отверстие в крыше под стропилами и слуховые оконца. Светло было и от очага, в котором, чадя, догорало несколько поленьев. Огонь освещал южную скамью и середину горницы, но в углах было темно. В черном углу у дверей стояла, точно настороже, метла, встречая всякого входящего. На стенах в полутьме поблескивала сталь топоров. Над почетной скамьей висел мушкет с пороховницей по одну сторону и кисой для пуль — по другую.

Трижды три месяца в году по вечерам светила со стен лучина, а в очаге полыхал огонь. А треть года можно было ужинать и при дневном свете.

В черном углу лежала куча березовых веток, и по всей горнице распространялся крепкий, пряный запах свежей листвы. Покончив с едой, матушка Сигга приня-

лась сдирать с веток кору и мастерить мутовки, чтобы было чем мешать кашу в котле.

Тут сын стал рассказывать ей о том, что было на сходе. Мать слушала, крепко сжав губы. Когда Сведье умолк, она сказала:

— Мы не барщинные, и никто над нами не властен.

— Разве не хозяева мы нашему наделу испокон веку? — спросил сын.

— Сам знаешь!

Жилистая рука матушки Сигги крепко стиснула пучок березовых веток. Она понимала, что сын хоть и спрашивает, но знает об этом не хуже ее.

— Ведомо тебе, кто такой Четиль?

— Дед Сведье? Тот самый, что вырезал наш родовой знак?

— Да, тот, кто первый стал тут валить лес и поднимать новину.

— Как же мне не знать про него!

Молодой бонд не раз слышал рассказы отца. Слышал он и рассказы деревенских стариков. Теплыми летними вечерами старики сидели на завалинках перед домами. У них давно уже не было волос и зубов, руки и ноги их утратили былую силу, а спины сгорбились, но их дрожащие пальцы все еще сновали в работе. Они вязали метелки, щепали лучину или обтесывали топорища. Дряхлыми и слабыми были деревенские старики. На их глазах, теперь уже погасших и потускневших, поднялся из молодой поросли могучий строевой лес. Но языками они еще работали, им ведомы были дела минувших времен, и они рассказали Рагнару о Четиле, первом из рода Сведье.

В давние-давние времена, когда в Швеции обитали еще нехристи и безбожники, он явился в эти места с юга и осел здесь. В ту пору в Альгутсбуде были лишь пастбища, загоны для скота на выгонах да несколько жалких наделов посреди леса. А Четиль стал сплошняком валить лес, жечь пожоги и поднимать новь — пядь за пядью, сажень за саженью, гак за гаком. Он жил в землянке, на взгорке, там, где теперь стоит хлев. На третий год он срубил дом из самых толстых лесин, из самых могучих сосен, какие только можно было найти в лесу. Четиль стал первым крестьянином в Брендеболе, и его прозвали Сведье, потому что он выжигал под пашню лес, сеял на пожогах рожь, собирая с новин богатые

урожаи[1]. Усадьба его получила название Сведьегорд, а его родовым знаком стала мотыга для корчевания, которая и по сей день красуется на резном коньке кровли. Это был знак земледельца, знак покорителя леса. Летом Четиль день и ночь пропадал в лесу, возился со своими огнищами и росчистями. Он всегда ходил чумазый, черный от дыма и копоти, и потому получил он прозвище Дед Сведье, хотя умер во цвете лет. Его сыновья, оставленные однажды ночью караулить огнище, заснули в дозоре, и пламя перекинулось в лес. Четиль, который спал тут же, стал тушить пожар, но был окружен огнем и задохнулся в дыму. Тело его нашли почернелым, обугленным и так и похоронили. Но Четиль Сведье был истинным христианином, и потому его покрытое копотью тело будет омыто кровью Христовой. В день страшного суда восстанет он из гроба чист и незапятнан, в белоснежных одеждах.

Так рассказывали древние старики о Четиле, основавшем Сведьегорд. Мотыга стала его родовым знаком; она и теперь высится над кровлей дома, напоминая всякому о том, кто первым вспахал тут целину. Земля эта навечно принадлежит роду Сведье. Надел Сведьегорда добыт честным трудом. Сведьегорд поставлен посолонь.

— Чего же надо от нас помещику?

— Он хочет закабалить нас.

— Помещик приехал к нам из немецкой стороны.

Сын кивнул. В здешних краях прежде о господине Клевене и слыхом не слыхали. Говорят, он явился из Неметчины. Этот немецкий дворянин задумал завести тут такие же порядки, как у себя на родине. Слышно, в южных и восточных землях помещики держат крестьян в рабстве. Они тиранят простой люд, как им только вздумается. И потому надо быть настороже, а не то дворяне, явившиеся оттуда, наденут ярмо и на них.

Этот господин Клевен хочет, чтобы и тут было так, как в южных и восточных землях. Но у него нет никаких прав на крестьян, которые исстари сидят на этих землях. Сведьегорд поставлен посолонь.

— Прежде никакого помещика не было меж королем и крестьянином,— сказала матушка Сигга.— Король обещал быть нашим заступником и защищать нас от всякой неправды.

---

[1] Сведье означает по-шведски «пожога», «подсека».

— У нас нет больше короля. Зато господ много.

— У нас есть королева.

— Она продала наши права.

— Королева Черстин молодая, ее легко сбить с толку,— примирительно сказала матушка Сигга.

— Говорят, она не лучше любой потаскухи,— сказал Сведье.

Йенс-звонарь, продолжал он, недавно рассказывал про королеву, что она предается блуду с молодыми дворянами и раздаривает им земли и владения короны. Крестьяне ей все равно что вши или короста. Она прислушивается только к сладким речам, которые нашептывают ей знатные господа. Они стараются ублажить ее и склонить к легкомысленным утехам, чтобы тем временем чинить произвол над крестьянами. Дворяне не хотят посадить на престол справедливого короля, им больше по нраву королева, которая попустительствует им в их черных делах. Сведье поднялся и подошел к почетной скамье.

— Нет у нас больше короля. Мы теперь сами себе защита.— Он снял со стены мушкет и стал осматривать затвор.— Я сам буду защищать свои права, коли помещик посягает на них.

Матушка Сигга ничего не ответила, но была довольна сыном. Она могла прикрикнуть на него по праву старшей, но бранила она его всегда лишь за его горячий, крутой нрав. Укоризна слетала с языка, а в душе она гордилась сыном. Она много раз испытывала его, как испытывают только что отточенный топор, и видела, что лезвие заострено в самый раз. Мальчик, который когда-то сосал ее грудь, вырос человеком прямодушным. Он не посрамит рода Сведье. Мать была горда, что ее молоком вскормлен этот неустрашимый удалец.

Сведье взглянул на мать:

— Так, стало быть, ворон прилетал три утра кряду?

Матушка Сигга кивнула. Три утра кряду сидел ворон на резном коньке крыши, на родовом знаке дома Сведье.

ДЕВИЦА ШЬЕТ СУЖЕНОМУ СВАДЕБНУЮ РУБАХУ

Ботилла сидит с шитьем в руках на верхней галерейке Стонгегорда. На землю опускается вечер. Солнце село, и в воздухе посвежело, но Ботилле не холодно, хотя

на ней одна лишь полотняная рубаха, туго подхваченная у стана широкой опояской. Она не из тех, кто зябнет и жмется холодными зимними вечерами поближе к очагу. Старые люди зябнут, потому что жар в груди у них остыл. Но девице по восемнадцатой весне нет нужды искать тепла у очага,— молодая, горячая кровь греет ее.

Восемнадцатая весна Ботиллы — последняя девичья весна в ее жизни. Последний год носит она девичий венок. Ботилла Йонсдоттер заневестилась и осенью пойдет замуж. Сегодня вечером солнце село в Ростокшён, и, пока стоит лето, солнце будет садиться в воды этого озера. Но потом оно все ближе станет подбираться к прибрежной иве и к зарослям орешника на лугу, а когда достигнет самой середины Чистого ручья, Ботиллу отдадут замуж. Наступит солнцеворот, и в этот день будет ее свадьба со Сведьебондом.

Она сидит на верхней галерейке и шьет из куска холста свадебную рубаху своему нареченному. Шьет и ожидает его прихода.

Остатки дневного света брезжат над землей, над полями, над крышами домов, над верхушками деревьев, и Ботилла еще может продолжать работу. Старческие глаза уже ничего не смогли бы разглядеть при этом свете, но у Ботиллы глаза молодые, и стежок получается ровный. Она подрубает рукава рубашки, бережно расправляет холст на колене и разглаживает сморщившийся шов. Потом поднимает шитье и, растянув его, прикидывает на глаз длину рукава. Будет ли он впору Рагнару Сведье? Не забыть бы примерить сегодня вечером для верности. У ее суженого длинные руки. Она ласково проводит пальцами по рукаву. Шьет Ботилла рубашку своему жениху, и ей кажется, что он где-то совсем близко от нее. Полотно, которое она сейчас сжимает пальцами, будет облегать его тело. Под рукавом, который она расправляет на коленях, обозначится его рука, и Ботилла уже сейчас ощущает теплоту и уверенную силу этой руки, обнимающей ее стан. На этой руке покоится ее голова, когда он по чести и уговору лежит с ней рядом на постели.

На верхнем крыльце, в усадьбе старосты, шьет девица свадебную рубаху суженому, и чудится ей, что он рядом с нею. Из дома не доносится ни единого звука,— батюшка с матушкой уже давно улеглись на постель-

ную солому. Но в свинарнике чавкает у корыта поросенок, а в птичьей клети попискивают цыплята, тычась клювиками в укрывшие их на ночь крылья наседки. Забрехал цепной пес в усадьбе Класа Бокка, зафыркала кошка во дворе у Матса Эллинга, царапая кору яблони. С опушки леса доносится крик какой-то птицы. И Ботилле подумалось, не удод ли это — птица, что подает весть от жениха к невесте.

Темные зимние ночи кончились, над деревней раскинулось светлое небо. Теперь уже нечего бояться Блесмольского вора, который хоронится в лесу. От него не сберегают никакие засовы и затворы, а собак он подманивает к себе и скармливает им жир лесной падали; они теряют чутье и не лают на вора. А под Дубом Висельников у развилки Геташё он откопал воровской корень, который отворяет все замки, только сунь его в замочную скважину. Ночь, однако, стоит ясная и светлая; ни покража, ни какое иное лихо не может случиться в эту ночь.

Вдруг Ботилла откладывает шитье и прислушивается. Со стороны соседнего дома доносится голос. Она узнала его. Это голос Анники Персдоттер, молодой вдовы из соседней усадьбы. Голос у нее звучит точно из глубокого-преглубокого колодца. Ботилла различает в темноте ее желтый чепец. Анника стоит за воротами усадьбы, под вязом, и с кем-то разговаривает. Соседка любит бродить по деревне допоздна.

Ботилла боится Анники Персдоттер. Неразумно затевать с ней ссору. Отчего на тех, кто не ладит с нею, всегда нападают прыщи, чесотка и зуд? Отчего у нее куры несутся, когда не несутся ни у кого другого? Отчего у нее овцы всегда приносят и выкармливают двойню, когда у других овцы идут на выгон без приплода?

Соседка никогда не делала Ботилле ничего худого, но третьего дня вечером Ботилла не на шутку перепугалась, и все из-за этой Анники.

Ботилла доила коров под елями за хлевом. Тут явилась Анника и встала около ее скамейки. Она заглянула в подойник и спросила:

— Что это с тобой приключилось?

Ботилла не поняла.

— Гляди сама! Глянь-ка в подойник!

Ботилла посмотрела. В молоке сверкали красные прожилки. Корова доилась с кровью.

Ботилла испугалась. Она и не знала, что одна из ее коров хворая. Но она не поняла, к чему клонит Анника. Лишь когда соседка задала ей еще один вопрос, Ботилла догадалась, в чем дело. Анника Персдоттер некоторое время стояла, пристально глядя на Ботиллу. Она мерила ее взглядом с ног до головы. И что это она так уставилась?

— У тебя кровь в подойнике. Кто нарушил твое девство? Сведье или, может, другой кто?

Тут только Ботилла поняла, что приключилось. А она-то совсем запамятовала! Ботилла чуть не свалилась со скамеечки. Ведь незамужняя доярка, которая не соблюла себя, насылает на коров порчу, и в молоке у них появляется кровь.

— Вот уж не думала про тебя такого! — сказала Анника и пошла своей дорогой.

А Ботилла продолжала сидеть, со страхом глядя на красные прожилки в молоке. Они оставались все такими же красными, не изменились, не побелели. Это была кровь.

И откуда на нее такая напасть? Она-то ведь не лишилась своего девства. Она непорочная невеста. Ботилла ушла в лес и выплеснула молоко на траву. Дома она сказала матери, что черная корова лягнула подойник и пролила молоко.

На следующий вечер, когда она доила ту же корову, в подойнике опять показалась кровь. Она снова пошла в лес и, плача, вылила молоко, а дома сказала, что оступилась и пролила молоко, надоенное от черной коровы.

На этот раз мать сильно выбранила ее.

Но ведь ее вины тут нет! Нет на ней бесчестья! Кому понадобилось, чтобы о ней, безвинной, пошла худая слава? Кому же, как не самой Аннике? Зачем вертелась она около ее скамеечки третьего дня, когда в молоке у черной коровы в первый раз появилась кровь? Ботилла догадывается, что молодой вдове из Персгорда не по душе ее обручение со Сведьебондом; говорят, она сама его приманивала. А теперь она наслала порчу на черную корову — хочет, чтобы о Ботилле говорили, будто она обесчещенная невеста.

Ботилла пригибается к перилам и прислушивается к голосам, доносящимся из Персгорда. Она не может разобрать по слуху, с кем беседует Анника, а уж смот-

реть на соседний дом ей и вовсе не хочется. Там, на крыше, висит распятый человек. Он висит там только в сумерки; днем это всего-навсего большая овечья шкура, растянутая и прибитая на просушку. Но теперь, в полутьме, это опять распятый человек, подобие Христа, сына божья, и Ботилле невмоготу смотреть на него. Сегодня вечером все пугает и тревожит Ботиллу. Она знает, что все эти видения рассеются при свете дня, и все-таки ей страшно. Она знает, что она честная девушка, и все-таки она страшится недоброй молвы. Но девственное лоно не тронуто. Лишь однажды ночью, во сне, приближался к ней мужчина, да еще один раз случилось так, что человек наяву приблизился к ней с дурным умыслом.

Случилось это в ночь на Ивана Купалу, вскоре после ее обручения. Какой-то проезжий всадник попросился на ночлег в Стонгегорд. Это был молодой, дюжий и широкоплечий малый. Незнакомец прискакал на тощей и колченогой кляче, но, судя по платью, он не был нищим бродягой. Его не положили на печи, а отвели место на лавке в горнице, среди домочадцев. Человек этот был неразговорчив и едва ли проронил хоть одно слово, но Ботилле все же запомнилось его красивое лицо с большими глазами, синими, как ягоды терновника. Волос его не видно было, так как большой черный капюшон скрывал всю голову и уши незнакомца. Он никому не сказал, кто он такой.

Гостя положили спать рядом с постелью Ботиллы. Расстояние между ними было чуть больше вытянутой руки. И прежде бывало, что мужчины по ночам спали около ее постели, но так близко от нее никто еще не ложился с тех пор, как девочка стала девицей и просватанной невестой.

В этот вечер она долго не могла уснуть. Слышала малейший шорох в соломе. Она слушала, как дышит во сне незнакомец, сама не понимая, зачем она прислушивается к его дыханию. Ей любопытно было, кто же он такой и почему он не снял с головы капюшон, когда ложился спать. Его синие, как ягоды терновника, глаза следили за каждым ее движением, когда она раздевалась.

Она уснула и пробудилась от холода. Одеяло из овечьих шкур наполовину сползло с нее. Она лежала голая по пояс. Около ее кровати стоял незнакомец. Ли-

цо его было совсем близко, она узнала его глаза, которые шарили по ее телу.

Ботилла закричала, ее крик прорезал тишину горницы. Все домочадцы проснулись. Отец встал, зажег лучину, подошел к ее кровати и спросил, что стряслось, почему она кричит, точно недорезанный поросенок. Лишь спустя какое-то время дар речи вернулся к ней.

Незнакомец сразу же лег опять на свою постель. Когда подошел отец, Ботилла натянула на себя овечью шкуру, чтобы не видно было, как сильно ее трясет. Наконец Ботилла ответила, что ей привиделось что-то страшное и что закричала она во сне. Перед глазами ее стоял туман, она не понимала толком, что произошло. Она растерялась и не рассказала о том, что ночной гость подбирался к ней.

Все снова затихло. Ботилла лежала без сна до самого рассвета. Незнакомец больше не приближался к ней. Но Ботилла все лежала и думала о том, что случилось. До того как она пробудилась, ей привиделся сон, от которого ей было приятно и страшно. Сон был неясный, она не могла припомнить его. Осталось лишь ощущение теплой мужской руки, касавшейся ее греховным прикосновением.

Ночной гость не прикоснулся к Ботилле. Он не дотрагивался даже до овечьей шкуры, которую она сама сбросила во сне. Он и кончиком пальца не дотронулся до ее тела. Незнакомец не сделал ей ничего худого. Может, он хотел взять ее силой; а может, рассчитывал, что она не станет звать отца и ляжет с ним по доброй воле. Она не знала, что и думать.

Но утром, перед тем как незнакомец уехал, Ботилла сделала страшное открытие. Она притаилась за домом и заглянула в конюшню, где он седлал коня. Думая, что его никто не видит, ночной гость опустил с головы капюшон.

Оба уха у незнакомца были отрезаны. Он был безухий.

Теперь Ботилла поняла, кто гостил у них. Отец узнал об этом от людей сразу же, как только незнакомец ускакал, и старосте стало не по себе. Если бы он знал, что человек, просивший у него на ночь пристанища,— Ханс из Ленховды, он не отворил бы перед ним двери своего дома. Если бы домочадцы могли догадаться, что с ними под одной крышей лежит заплечных дел мастер,

они всю ночь не сомкнули бы глаз. Ханс из Ленховды не открывал своего имени, когда просился к кому-нибудь на ночлег. Днем и ночью, спал ли он, бодрствовал ли, он всегда носил на голове черный капюшон, чтобы люди не узнали, что он клейменый палач.

Ботилла никому не сказала о том, что с ней приключилось. Синие глаза гостя — это не глаза доброго, честного человека. И Ботилла чувствовала себя опоганенной оттого, что лежала нагая под его взглядом. У палача дурной глаз, и сила его — от лукавого.

Приблизившись к ней в ту ночь, Ханс из Ленховды вселил в нее тревогу. Она оставалась нетронутой, но спрашивала себя, не случилось ли с ней чего греховного до того, как она проснулась. Ее не оставляла мысль, что палач учинил над ней какое-то зло.

Когда Рагнар Сведье по чести и уговору лежал с ней рядом на постели, страхи ее пропадали, тогда она понимала, что все это ей привиделось и что сонное видение не может ей причинить никакого вреда. Ее суженый был ей люб, так же как и она ему. Когда она лежала в постели у него на руке, все страхи и напасти пропадали. Он любовно прижимал ее к себе и ласкал так, как это дозволено меж обрученными, и она чувствовала вожделение, но не страх. И вот теперь, когда Ботилла уже стала забывать о своем испуге в ночь на Ивана Купалу, в подойнике у нее появилась кровь, и опасения, что ночной гость наслал на нее порчу, вспыхнули в ней с новой силой. Она уходила одна в лес и горячо молила господа всемогущего, который один всем правит, сделать так, чтобы в молоке черной коровы больше не появлялась кровь.

Сидит она на верхней галерейке и не смеет взглянуть на крышу соседнего дома, потому что ей жаль распятого там человека. Лишь завтра утром на этом месте снова будет висеть растянутая овечья шкура. Ботилла прислушивается: с кем же это беседует Анника? Теперь она слышит голос: это мужской голос. Голос знаком и сердцу ее, и слуху. Он принадлежит рослому человеку с белокурыми волосами и светлой кожей, человеку с синими, как небо, глазами. Глаза эти видела она совсем-совсем близко. Соседка стоит под вязом и ведет беседу с женихом Ботиллы.

* * *

Анника повстречалась Рагнару Сведье, когда он проходил мимо Персгорда. Он сразу узнал вдову по желтому чепцу.

— К невесте идешь?

— Иду по своим делам.

— А может, дело-то не к спеху? Есть у тебя время выслушать два слова?

У молодой вдовы из Персгорда низкий грудной голос, необычный и влекущий. Мужчины охотно внимают ему. Глаза Анники карие, но в вечернем сумраке они кажутся черными, точно ягоды смородины. Крепкие, здоровые зубы сверкают меж полных пунцовых губ. Анника — женщина красивая, пышная телом, гибкая станом, но смех ее всегда звучит зловеще.

Когда Анника проходит по деревне, парни невольно смотрят ей вслед. Сведье тоже заглядывался на нее. В глубине души он признавал, что она пробуждает в нем плотское желание, но ему сразу же делалось стыдно. А когда он вспоминал все, что ему было известно о ней, то и вожделение его пропадало. Еще до того, как мужа Анники нашли мертвым поутру, хотя с вечера он был весел и здоров, она слыла прелюбодейкой и распутницей. Не один деревенский парень наведывался по ночам в Персгорд. Рагнару Анника часто попадалась на пути, но он не хотел иметь с ней никаких дел.

Анника подошла поближе:

— Думаешь, тебя ждут не дождутся? Ну, а если кто-то тайком в лес бегает, как только ты уйдешь?

— Это ты про мою невесту?

Опять она засмеялась своим недобрым смехом, которого он не выносил:

— Никого я не называла. Только и хочу, что остеречь тебя.

— Остеречь меня? От чего? В чем ты винишь Ботиллу?

— Никого я не называла по имени.

— Ты только что назвала ее. Сама спросила, к ней ли я иду.

Молодая вдова засмеялась, играя глазами.

— Ты хочешь оговорить мою невесту!

— Никого я не оговариваю!

Анника Персдоттер была верна себе. Она ничего не

говорила напрямик. Она укрывалась за коварными недомолвками и не давала поймать себя на слове.

— Берегись, Анника!

— Я ведь только добра тебе хочу, Рагнар Сведье.

— Так и нечего тогда говорить обиняками.

— Я только упреждаю тебя. Не стоит она тебя!

Кончик языка у Анники сновал взад и вперед между зубами, как маленькое красное жало. Она жалила, точно гадюка под ударами палки. Она разбудила в Рагнаре плотское желание, и потом он будет стыдиться этого чувства.

— Я хочу, чтобы ты знал,— сказала она.

— А ты-то что знаешь?

— Я следила за ней. Она ходила в лес одна.

— Стало быть, дело у нее там было. Тебе-то что до того?

— Нечего ей делать в лесу.

— Так, верно, от тебя убежала.

— Знаешь ли, кого женщины могут повстречать в лесу?

Сведье шагнул к ней:

— Стало быть, ты все-таки винишь ее!

Анника отступила назад и понизила голос до шепота, искоса поглядывая на усадьбу старосты:

— Так знай же — я видела у нее в подойнике кровь!

— Врешь!

— Своими глазами видела.

— Ничего ты не видела!

— Могу тебе в том поклясться! Вырви мне глаза, коли вру!

— Ах ты змея подколодная!

Сведье высоко поднял сжатый кулак. Ему хотелось ударить ее, плюнуть в красивое лицо, пнуть ее ногой, чтобы отлетела подальше. Иного она и не стоила за такие речи.

Анника плавно повернулась и легкими шагами поспешила к своему дому.

— Твою невесту обесчестили, Рагнар! Пускай ее отец платит пеню за изъян!

Теперь она сказала ему все, что хотела. На пороге Анника остановилась и крикнула:

— Требуй от старосты двух волов в обмен на ее девство! Двух рабочих волов! Это твое право!

Сведье опустил кулак, подавляя свой гнев. В эту ми-

нуту ему хотелось вырвать жало из пасти Анники. Хорошо, что она убежала в дом. Не станет он брать на душу грех из-за этой бабы. Но он еще заставит ее ответить за эти слова, когда-нибудь она поплатится за них.

Сведье продолжал свой путь к усадьбе Йона Стонге. На верхней галерейке он сразу заметил Ботиллу. Он узнал ее длинную белую рубаху. Невеста ждала его.

Ботилла спешит навстречу своему жениху, и обрученные садятся бок о бок близко друг к другу. Ботилла откладывает в сторону шитье и в молчании доверчиво ищет руку своего суженого. Пальцы их сплетаются. Ледяной страх, не отпускавший ее весь вечер, исчезнет, как только она коснется теплой руки жениха.

Во тьме видны белки его глаз. Она не может различить его зрачков, в которых при свете дня она видит свое отражение, ясное и чистое, словно в ручье на лугу.

— Я дожидалась тебя.

— Замешкался я малость,— отвечает он.

— Неспокойно что-то нынче у меня на душе.

— Чего же ты страшишься, свет мой Ботилла?

— Точно беда какая подстерегает меня.— И, помедлив, она говорит: — Тебе повстречалась Анника. Что ей от тебя надо?

Сведье долго не отвечает.

— Про это не допытывайся,— говорит он.

Сведье так долго молчит, что Ботилла все понимает. Теперь она знает, кто ее недруг, знает, кто накликает на нее беду.

— Тебе и отвечать незачем. Знаю, в чем она винит меня.

— Отчего она таит на тебя зло?

— Анника хочет, чтобы я опротивела тебе.

— А ей-то какой прок?

— Ей наше обручение не по душе. Вот она и возводит на меня напраслину,— говорит Ботилла, покраснев от гнева.

Анника наслала хворь на их черную корову, которую Ботилла доит каждый вечер, и в молоке появилась кровь, рассказывает девушка. Теперь Анника распустит по деревне слух, будто Ботилла втайне распутничает, будто она потаскуха и причиняет корове вред. Завистница хочет, чтобы невеста опротивела Рагнару.

— Так я и думал,— говорит он.— Видеть больше не хочу эту Аннику!

Ботилла крепко сжимает его руку.

Вокруг дома сгущаются тени, а жених и невеста точно озарены небесным сиянием. Ботилла теперь уже не одна, но все-таки она не решается взглянуть на соседский дом.

Сведье долгое время молчит. Он и всегда-то немногословен, и обычно Ботилле бывает довольно того, что он рядом. Но сегодня ей не хочется, чтобы он молчал. Ей кажется, что между ними осталось что-то недосказанное, жених не рассеял до конца ее страхи. Он сказал, что больше видеть не хочет Аннику, но он должен был сказать ей еще что-нибудь. А он молчит, и Ботилле чудится, что молчание его не к добру. Ей кажется, что она не чувствует больше исходящего от него тепла.

И тогда она спрашивает:

— Не веришь мне после ее наговора?

— Вовсе нет. Я ей не верю.

— Если ты сомневаешься, так пускай уж меня испытают.— Она встает и говорит тихо, твердо: — Я честная девушка! Никто не порушил моего девства!

— Я верю тебе.

— Если хочешь, свет мой, пускай меня испытают. Выбери кого угодно!

— Да мне довольно и твоего слова, свет мой Ботилла!

Но она просит его снова и снова, она хочет обелить себя перед своим нареченным. Пусть призовет повитух, они осмотрят ее, убедятся в ее непорочности и скажут об этом ему. Непричастные и беспристрастные свидетели всегда подтвердят, что она честная девушка. Лучше уж ему сделать так, чем втайне сомневаться в ней, а то ничего хорошего меж ними не выйдет.

— Не будем больше толковать про это!

Он закрывает ей рот рукой. Он не хочет слушать ее. Она никогда не кривила душой, и он верит, что и на этот раз она говорит правду. Она ничем не запятнала себя перед ним, и потому ей незачем теперь обелять себя. Никогда никакие повитухи не явятся с таким постыдным делом к его невесте.

— Свет мой Ботилла! — говорит он.— Ни один человек не стал бы так позорить свою невесту.

Сведье крепко обнимает ее. Синяя опояска плотно прилегает к телу девушки. Ее стройный стан изгибается

под рукой Сведье, и под полотном рубахи выступают мягкие дуги бедер.

Теперь Ботилла услышала то, что хотела. Она довольна.

Она снова берется за недошитую рубаху. Пусть он встанет и вытянет руки; она хочет снять мерку. Она не знает, впору ли ему рукава, и ей надо увериться в этом. Немало холста пойдет ему на рукава,— ведь руки у него большие и длинные. Она это знает, потому что на его руке покоилась ее голова, когда он по чести и уговору лежал с ней. Здесь, в постели под покровом темноты, лежа доверчиво у него на руке, она чувствовала себя в безопасности, здесь она была надежно защищена от всякого зла.

И сегодня вечером в доверии своего суженого нашла Ботилла прибежище от своих страхов.

А утром она больше не увидит на крыше дома Анники распятого человека; утром там будет только овечья шкура, растянутая на просушку.

ПТИЦЫ ПОЮТ ДЛЯ ЖЕНИХА С НЕВЕСТОЙ

Над бескрайними нехожеными лесами до самой кальмарской границы разгорается алая заря, что затмевает своей красой всех жен человеческих; встает солнце ясное, благословенное. И ходит светило по небу, с востока на запад, слева направо, указуя истинно праведный путь всем людям на земле.

Солнце будит на барщину. Крестьяне Брендеболя получили наказ с восходом солнца явиться в господское поместье.

Солнце взошло, но все крестьяне Брендеболя остались в деревне. Они хлопочут в своих домах, возделывают свои собственные поля. Никто не пошел на барщину в Убеторп, ибо в Брендеболе живут свободные тягловые крестьяне, которые поклялись друг другу, что не станут работать на помещика.

Может, кто-нибудь нет-нет, да и бросает украдкой взгляд на дорогу: не скачет ли верховой из господского имения? Не послал ли помещик нарочного за ослушниками? В Убеторпе есть кого послать — там хватает рейтаров, и батраков, и челядинцев. Самому помещику нет нужды утруждать себя — его наймиты запродали ему

себя со всеми потрохами. И если помещик захочет наложить руку на тягловые крестьянские дворы, так и без своей руки обойдется,— наемные в ход пустит, у него найдется много наемных рук.

Но никто не явился сегодня в деревню из господского поместья. Тихо догорает день в оброчной деревне Брендеболь. Крестьяне, как и прежде, возделывают свои поля и гнут спину без надсмотрщика. Один только господин надзирает над ними — солнце, что истинно праведным путем ходит по небу. Все свершается по справедливости, так, как повелось с незапамятных времен.

* * *

Вечером в Боккагорде справляют крестины, и все взрослые приглашены на пир. Молодая хозяйка почала бочку свежего пива, а Клас Бокк выставил на стол родовой серебряный кубок. И в эти тяжкие времена ему удалось сберечь много серебряной утвари. Гости считали, что если оружейник и похвалялся новоокрещенным сыном, которого породил в свои семьдесят два года, то он имел на это полное право. Может, кое-кто из крестьян помоложе и поглядывал с завистью на молодую расторопную хозяйку, которая сновала взад и вперед вдоль длинного пиршественного стола, наполняя кружки пивом. Клас Бокк был стар, и уродливый рубец на шее вовсе не красил его, но все же он заполучил в постель молодую жену. Ей, как видно, приглянулось накопленное в Боккагорде добро. Вот и сейчас на столе красовались пивной кубок чистого серебра, блюда и кружки добрые, оловянные.

Пиво удалось молодой хозяйке на славу, и еще припасла она к крестинам жирный свиной окорок, который, точно мед, таял во рту у гостей, долгое время пробавлявшихся мякинным хлебом, болтушкой да селедкой соленой. Даже самые ненасытные обжоры могли до отвала набить брюхо. Но в этот голодный год многие отвыкли от обильной пищи; еще задолго до конца пира у гостей разболелись животы.

Новорожденный младенец был окрещен, и в очаге Боккагорда стали гасить огонь.

И тут мудрые старые женщины, на глазах которых вырастали и гибли леса, принялись рассказывать о дру-

гом огне, которого теперь уже не зажигают. Они вспоминали добрые стародавние времена. В ту пору в печах пекли хлебы из чистой муки, на стол подавались блюда, полные всякой снеди, молоко было густое и жирное, а масло — желтое, и пахтать его легко было. По деревням носили огонь, который охранял от нужды и голода, от мора и напастей. Огонь, зажженный из искры, священный огонь, носили по всему округу Упвидинге, и какую бы горькую нужду ни терпели люди, стоило им только увидеть гонцов с факелами, как все беды их забывались. Факелы пылали во тьме и светили каждому дому, а снаружи стояли гонцы и выкликали:

— Священный огонь! Зажигай! Зажигай! Пришла помощь, зажигай новый огонь!

В очаге гасили старый, недобрый огонь. У хозяек в печах загорался теперь новый. Новое счастье входило в дом, недуги и напасти бежали прочь, сладки были плоды земли, коровы и овцы приносили двойни, птицы радостно заливались на ветках, а люди жили в довольстве и добром здравии.

Почему же не гасят старый огонь теперь, в эту лихую годину, когда стон и плач стоят в деревнях? Почему не появляется теперь священный огонь? Почему не пылают под окнами священные смоляные факелы в этот голодный год? Почему не слышно клича под окнами: «Священный огонь! Зажигай! Зажигай!»?

Разве был священный огонь когда-нибудь нужнее, чем теперь, в эти тяжкие дни?

Так спрашивали друг друга женщины на крестинах в Боккагорде — старые, мудрые женщины, на глазах которых вырастали и гибли леса.

Допоздна шел пир горой на крестинах в Боккагорде. Но вдруг с улицы донесся захлебывающийся пронзительный крик:

— Пожар в деревне! Все на помощь!

Донесшийся с улицы крик заставил гостей умолкнуть. За пиршественным столом воцарилась тишина. И тем явственнее прозвучал опять крик:

— Горим! Хлев у старосты горит!

Гости разом ринулись к двери. Теперь они и сами кричали во все горло:

— Пожар! Хлев у старосты горит!

Все покинули Боккагорд. Усадьба вмиг обезлюдела и опустела. Йон Стонге самой короткой дорогой побе-

жал к своей усадьбе, трубя на ходу в пожарный рожок. Мужчины разбежались по домам за ведрами и баграми. Уже несколько недель стояла сушь, и потому все были настороже, опасаясь пожара. Хотя и в другое время крестьяне пуще глаза берегут от пожара свой дом. Не подходят с лучиной близко к куче хвороста, не ложатся спать, не загасив в очаге уголья до последней искорки.

— Пожа-а-ар в деревне!.. Гори-и-им!

Крики раздавались все громче, трубил пожарный рожок, лаяли цепные псы. Женщины принялись выносить из дома пожитки; строения стояли близко друг от друга, и всякий опасался за свое добро.

И стар, и млад, пробудившись, выползали из своих углов, поднимались со спальных лавок. Те, от кого было мало проку, могли по крайности носить воду подойниками или шайками. Скотину, запертую на ночь в хлев, выводили из стойла и выпускали на волю. Скоро все живое в деревне оказалось под открытым небом.

Мужчины с ведрами и баграми собрались у хлева в усадьбе Стонге. Но огня нигде не было видно. Парни обшарили все клети, амбары и сараи. Они забрались на крышу хлева и осмотрели ее. Нигде ни одной искры, не слышно запаха гари. В усадьбе старосты никакого пожара нет. Где же тогда горит?

Тут староста сам залез на крышу и оглядел всю деревню, нет ли где следов пожара. В ночной темноте языки пламени должны быть хорошо видны, но их нигде нет. Ни один дом в деревне не горит. Где же пожар?

Наконец крестьяне, озадаченные, сбитые с толку, собрались у деревенского колодца и поставили наземь ведра.

А может, вовсе никакого пожара и не было? И где тот человек, что кричал про пожар перед домом Класа Бокка? Йон Стонге вышел на середину и громко выкликнул:

— Кто подал весть о пожаре? Тот, кто кричал про пожар, пусть выйдет вперед!

Никто не отозвался, никто не выступил вперед. Никто из крестьян не мог сказать, где пожар. Все они слышали крик, но кричавшего среди них не было. Может быть, кто-нибудь узнал голос? Был ли это голос мужской или женский? Одни говорили, что мужской, только очень звонкий. Другим показалось, что женский, только

очень грубый. Но все сошлись на том, что голос был незнакомый.

Староста стоял в нерешительности, сердито теребя свою светло-русую бороду:

— Выходит, никто из наших, деревенских, не кричал про пожар перед усадьбой Бокка? Выходит, кричал кто-то чужой?

— Кто-то вздумал шутки шутить!

— Ну и ловкая проделка!

И тут Клас Бокк закричал:

— Ах, черт побери! Дом-то без присмотра!

В Боккагорде не оставалось ни единой души, кроме новорожденного младенца. А когда гости выбежали из дома, все серебро осталось на столе.

Старый оружейник резвее оленя понесся в свою усадьбу. Скоро он вернулся, бледный и мрачный.

Бесценный кубок, стоявший на пиршественном столе, исчез. Пропал кубок чистого серебра, пропали оловянные кружки. Когда гости и хозяева, обманутые криками про пожар, выскочили из дома, тут-то и случилась кража. Гости и хозяева понапрасну искали, где пожар, а вор тем временем унес серебряную и оловянную утварь. Больше, чем на тридцать далеров серебром, было похищено добра в усадьбе.

— Кто хитростью выманил людей из усадьбы?

— Кто кричал возле дома? Конечно, вор! Вор, и никто другой!

И тут крестьяне сразу смекнули, кто это был:

— Это Угге, лесной вор!

— Кому же и быть, как не Блесмольскому вору?

— Только у него и достанет хитрости на такую проделку!

Ясное дело, это Угге из Блесмолы, который всегда ухитряется уйти от погони. Его воровское логово скрыто где-то в лесной чаще, и никому не удается выследить его.

Клас Бокк, вне себя от гнева, выхватил из-за пояса топор, шрам на шее налился кровью. Серебряный кубок! Старинный кубок, из которого пили его дед и отец, макая бороды в пивную пену! Нужно немедля всем миром идти в лес и схватить вора на месте!

Старый оружейник клялся и божился, что он еще до восхода солнца собственными руками закопает Блесмольского вора живьем в землю. Но односельчане рас-

судили, что облава на лесного вора в ночное время, когда не видно ни одного следа,— пустое дело.

Никому не ведомо, в какую сторону он побежал со своей добычей, а облавная цепь ничем не поможет ночью, в темном лесу. Вор ведь может схорониться в зарослях или за камнями, залезть в любую нору. Пока не рассветет, его не поймаешь и не подстрелишь.

Староста согласился с остальными. Что толку ночью гоняться за вором в лесу? А где он укрывается, никому не ведомо. Днем-то хоть можно будет идти по его следам на пашне, если он побежал через поля.

Клас Бокк недовольно ворчал и порывался один идти на поиски вора. Но потом он отказался от этой затеи и решил, что завтра же даст знать о покраже ленсману Оке Йертссону в Хеллашё.

Прежде чем улечься в эту ночь на покой, крестьянам пришлось перетащить в дома пожитки и загнать скотину обратно в хлев.

Когда в деревне раздался крик: «Пожар!», Ботилла побежала выпустить из хлева волов. Теперь, загоняя скотину обратно, она хватилась, что одного вола недостает. Ботилла сказала отцу, что вола нигде не сыскать, что он, верно, убежал в лес во время этой суматохи. Сведье, который стоял тут же, вызвался помочь:

— Схожу поищу.

— А ведь это как раз подручный вол убежал,— сказал Стонге.— Тот самый, что нынче осенью перейдет в твою усадьбу.

— Что ж, стало быть, пойду искать своего вола.

— И я с тобой,— сказала Ботилла.

Сведье и Ботилла захватили с собой веревку и отправились искать пропавшего вола. Светлой июньской ночью обрученные шли по лесу. Сперва они обыскали ближние лужайки, надеясь найти вола там, где трава погуще и посочнее. Время от времени они останавливались и замирали на месте, прислушиваясь. Но не слышно было ни стука копыт, ни хруста пережевываемой травы. Лишь один раз впереди послышался треск ломаемых сучьев, но животное бежало легко, не похоже было, что это грузный бык. Выйдя на следующую полянку, они заметили нескольких косуль, которые убегали прочь. Видно, Ботилла и Сведье вспугнули их с ночной лежки.

Они шли все дальше и дальше по общинному пастбищу, но вола нигде не было видно. Ботилла боялась, что они так и проищут попусту. Сведье утешал ее и говорил, что вол не мог убежать далеко и они непременно найдут его, как только в лесу рассветет.

Ночь быстро подходила к концу. Лес сбросил с себя ночной покров и вышел на свет стволами и кронами деревьев — темной хвоей и светлой листвой. Теперь Сведье и Ботилла яснее различали землю под ногами и не спотыкались больше о камни и узловатые корневища. На молодых елях стали видны свежие шишки, красные, точно осенние яблоки. Обрученные шли, то тесно прижавшись друг к другу, то взявшись за руки, словно малые дети. Они продирались сквозь покрытые цветами кусты шиповника, и Сведье оберегал Ботиллу, отводя перед ней колючие ветки. На ходу он касался ее бедра, и это прикосновение доставляло ему несказанную радость. Он молчал, слова не шли с языка, но на душе у него было легко. Он предчувствовал радость, которая сберегалась для него.

Он не знал и не желал еще ни одной женщины до того, как высватал Ботиллу и она стала его нареченной невестой. С ней он делил думы, которые до этого не поверял никому. Впервые эти думы зародились в его душе, быть может, еще тогда, когда он подпаском бродил по лесу, наигрывая на дудке, которую он с наступлением лета всякий раз вырезал из молодой вербы.

В ту пору, когда он бродил по лесу один со стадом, ивовая дудка и пастуший рожок были ему единственной утехой. И как не было никогда у мальчонки иной отрады, кроме дудки и пастушьего рожка из рябины, так теперь невеста стала единственной радостью в жизни взрослого человека. Но она стала ему и верным другом; они вдвоем отъединились от людей. Под покровом темноты лежал он на ее постели по чести и уговору, и она доверялась ему, зная, что он не тронет ее до срока. Желание его было велико, но он не мог осквернить то, что принадлежало ему самому, и не мог он обмануть доверия невесты. Йенс-звонарь когда-то втолковывал ему божьи заповеди, которых было столько, сколько пальцев на руках. Многие из них он уже позабыл. Однако заповедь о прелюбодеянии он все же помнил, хотя и без заповеди он остерегся бы согрешить со своей нареченной, которая была предназначена ему в жены.

Они станут мужем и женой, когда день сравняется с ночью. Еще сто раз взойдет и зайдет солнце, прежде чем запретное станет дозволенным.

Они вышли на старую пожогу, которая зеленела молодой порослью, и Сведье остановился, растерянно оглядываясь вокруг. Он сбился с пути.

На востоке занималась медно-красная заря, скоро совсем рассветет. Меж почерневших, обгорелых пней белел земляничный цвет, пахло свежей росистой травой. Паучья пряжа серебряными нитями висела на можжевеловых кустах. На ветках громко заливались птицы. Вот-вот взойдет солнце.

Но Сведье не знал, в какую сторону идти. Он заблудился в лесу, где ему знакома была каждая тропка, и понял, что их кружит лесовица. Она и прежде не раз водила его по лесу, и теперь ему оставалось только одно средство. Он снял с себя куртку, вывернул ее наизнанку и надел. Потом закрыл глаза и три раза перевернулся на месте посолонь. Когда он после этого открыл глаза, верный путь лежал там, куда глядел его нос.

Сведье и Ботилла отправились дальше. Они шли через густой ельник и через мшистые прогалины, взбирались на холмы и пригорки. Время от времени Ботилла останавливалась и рвала целебные травы. Она собирала тмин, что придает лицу белизну, и травы, унимающие кровь. Рассвет уже наступил, и в лесу теперь было хорошо и вовсе не страшно. Ботилла забыла о пропавшем воле, радуясь, что вместе со своим суженым идет по лесу в утренний час.

Она сказала, что на сердце у нее радостно, и он ответил, что тоже чувствует себя счастливым. Она сказала, что любит днем бродить по лесу одна. Тут Сведье вспомнил, что ему говорила Анника, и спросил Ботиллу, что же она делает одна в лесу.

Ботилла помедлила с ответом. В последние дни она уходила из дому, чтобы в одиночестве помолиться об избавлении от недобрых слухов. Она молила господа всемогущего спасти ее от оговора. Но об этом она не могла сказать своему суженому. Даже ему не могла она поведать о своих тайных страхах. И сказала, что ходит в лес собирать целебные травы и обдирать с деревьев почки и кору на мякинный хлеб. Но, точно боясь, что он не поверит ей, поспешила добавить:

— А вчера у меня в подойнике уже не было крови.

— А ты бы показала Аннике.

— В другой раз так и сделаю.

Сведье догадывался, что черная корова захворала от худого корма, от еловых веток и гнилой соломы, и потому в молоке у нее появилась кровь.

Но Ботилла была уверена, что худые приметы пропали после ее молитвы. Жених и невеста вышли на коровью тропу. И Сведье узнал дорогу. Чары лесовицы кончились, и он перевернул обратно свою куртку. Обрученные прошли тропой через кудрявый перелесок и вышли к развилку у Геташё. Отсюда проезжая дорога вела прямо к Брендеболю.

На развилке рос раскидистый дуб, а под ним стоял пропавший вол, жуя на приволье траву и кося глазом на вышедших из лесу Ботиллу и Сведье. С радостным криком Ботилла подбежала к волу и обмотала его веревкой за рога.

Запыхавшиеся и разгоряченные от ходьбы по лесу, они привязали вола и сели отдохнуть под дубом. С делом своим они управились. На небе сияло солнце, и на душе у них было радостно. Они глядели друг на друга. Они не глядели на дуб, укрывший их своими ветвями.

Это был дуб-исполин, выросший на перепутье. Его огромные ветви напоминали стропила крыши. Нижние сучья дуба были толщиной со ствол строевой сосны. Это был дуб, на долгом веку которого рождались и умирали целые поколения. Это был дуб, который поднимал на своих ветвях живых людей и раскачивал мертвых. Ни одно дерево не приносило столь диковинных плодов, как этот дуб. Он служил людям годы и века. Это был дуб, на ветви которого часто слетались черные птицы.

Сведье и Ботилла сидели под Дубом Висельников у развилка Геташё.

Достославный рыцарь Альгут, по имени которого был назван приход Альгутсбуда, в годы правления дома Стуре приказывал вешать на этом дубе непокорных холопов. Теперь здесь вешали тех, кто был осужден уездным судом, так как слишком далеко было везти их на лобное место в Ленховду. Тела казненных палач зарывал тут же, в песчаной яме.

Когда на дереве висел осужденный, проезжий люд торопился поскорее миновать развилок Геташё. Уже издалека в нос ударял сладковатый удушливый запах мертвечины. Конный пришпоривал коня, пеший прибав-

лял ходу. И только самые отчаянные решались бросить взгляд на ветви дуба. Там виднелось тело, медленно раскачивающееся на ветру, точно дитя на качелях. Черные, пустые глазницы выклеванных глаз пристально смотрели на путника, обглоданные руки с растопыренными пальцами, напоминающими зубья грабель, висели вдоль тела, ноги с вытянутыми пальцами понапрасну искали опоры на земле.

Точно диковинные плоды, висели на этом дереве люди. Никто не задерживался здесь по доброй воле. Тут оставались лишь те, кто был накрепко подвешен за шею и не мог уйти, те, чьи ноги никогда больше не найдут опоры на земле.

Но молодые обрученные остановились под деревом и сели здесь отдыхать, потому что они не признали этого места. В это утро даже на Дубе Висельников пахла свежая листва, пахла и росистая трава вокруг него. На ветвях, под которыми они сидели, в сдавленных глотках висельников застревали последние молитвы и последние проклятия, но сейчас ничто не напоминало об этом, потому что в это утро даже на Дубе Висельников пели птицы. Ничто не напоминало жениху и невесте о смерти, потому что в них самих жизнь переливалась через край. Они не смотрели на Дуб Висельников, они смотрели друг на друга.

Сведье и Ботилла сидели молча, поглощенные чувством близости друг к другу. Ее пальцы лежали в его ладони, ее стан обвивала его рука.

Они не обменялись ни единым словом, но это переполнявшее их молчание яснее слов говорило, что они верны друг другу навеки. Тихо и радостно струился в них в этот час безмолвный невидимый поток. Казалось, вот-вот им откроется тайна, но они будут хранить ее сообща про себя: словами ее не выскажешь. Только птицы, сидевшие на верхушке дуба, возвестили о ней всему миру своей песней: «Обрученные! Неразлучные! На веки вечные!»

«На веки вечные! До гробовой доски!» — так звучала для них песня птиц.

Первый утренний торопливый ветерок всколыхнул листву на дубе, влажным блеском засверкала росистая трава, над землей занимался день. Тихо, безмолвно струился в женщине и мужчине невидимый поток.

Вокруг жениха и невесты пробивались ландыши с

крупными завитками листьев. Ботилла протянула руку, чтобы нарвать цветов. Она осторожно стала ломать стебельки, но тут пальцы ее наткнулись на что-то твердое. Оказалось, что на земле, под листьями ландышей, лежал длинный заржавленный гвоздь. С изумлением глядела Ботилла на свою находку:

— Откуда тут гвоздь взялся?

Сведье стал оглядывать поляну под дубом. Скоро он тоже увидел какой-то маленький белый обломок. Удивленный, он наклонился и поднял его, но тут же отшвырнул от себя, точно гадюку:

— Бежим отсюда! Скорее!

Он рывком вскочил на ноги и поднял с травы свою невесту. Разглядев то, что он поднял с земли, Сведье посмотрел вверх и узнал дуб. Но говорить об этом он не мог. Он не сказал Ботилле о том, где они сидели. Они поспешили прочь, уводя с собой вола.

Ботилла тоже узнала дерево у развилка, но и она не могла говорить об этом. Она все еще сжимала в руке поднятый с земли гвоздь. Может, она не успела выбросить его, когда они убегали отсюда, а может, ей захотелось сохранить его. Она знала, что гвоздь палача, гвоздь с виселицы, приносит людям счастье и все их желания сбываются.

Ботилла крепко сжимала в руке гвоздь, найденный под Дубом Висельников и завернутый в большой лист ландыша.

* * *

Утро было уже в разгаре, когда жених и невеста воротились в деревню и распрощались.

Идя к своему дому, Сведье с удивлением думал — отчего это в усадьбах не видно ни души? И на полях тоже не видно односельчан, хотя солнце стоит уже высоко в небе. Небось еще никак не могут отоспаться после вчерашнего пира и кутерьмы с пожаром, решил он.

Неподалеку от своей усадьбы Сведьебонд остановился. Заслонясь ладонью от солнца, он вглядывался в свой дом. Он не верил своим глазам. Уж не мерещится ли ему?

У ворот на привязи стояло трое коней. Эти лошади были не из деревни.

Трое чужих коней стояли на привязи у ворот Сведьегорда.

Йон Стонге, пыхтя, ворочался на слежавшейся ржаной соломе. Он проснулся сразу же после короткого забытья. В эту ночь ему было никак не уснуть, его томило удушье.

Может, от непривычного угощения на крестинах у него пучит живот, отвыкший от обильной еды? Может, это ведьма-домовица отгоняет от него желанный сон? А когда сон бежит с глаз, на смену ему приходят тревожные думы.

Ложная весть о пожаре — к чему бы это могло быть? И зачем назвали как раз его усадьбу? Может, лесной вор и впрямь собирается пустить красного петуха? Может, он хочет обворовать усадьбу?

Йону из Брендеболя постоянно чудятся всякие страхи. По вечерам он вспоминает все, что произошло за день, и ищет в этом недобрые предзнаменования.

Почему до сих пор не вернулись из лесу милая дочка Ботилла и ее жених Сведье? Сквозь слуховые окна уже брезжит серый рассвет, а их все еще не слыхать. Может, вол забежал так далеко в чащу, что им не удалось отыскать его? Может, он застрял в груде камней и ему не под силу самому выбраться оттуда? В Каменной Змее, огромном завале, Йон Стонге однажды потерял славную телку.

Убежавшему волу цена добрых восемь далеров серебром. Не иначе как он застрял с перебитыми ногами в груде камней. А все из-за этой кутерьмы с пожаром.

Если Блесмольский вор когда-нибудь и впрямь подожжет его хлев, то староста лишится половины своего добра.

Староста ворочался на постели, пыхтел, задремывал, пробуждался опять. Лишь под утро удалось ему забыться сладким сном.

И тут старосту внезапно разбудила чья-то рука, теребившая его за плечо.

— Вставай, Стонге! — Это жена звала, расталкивая его.— Вставай!

Еще не успев спросить, зачем она разбудила его, староста услышал громкие удары в дверь.

Йон из Брендеболя надел штаны и сунул ноги в деревянные башмаки. Свет, струящийся через слуховые окна, из сероватого стал золотым — взошло солнце.

В горнице было по-утреннему холодно. Староста не успел надеть рубаху и, идя отворять дверь, почувствовал, как по телу его пробегает озноб.

Кто это ломится к нему в такую рань?

Йон Стонге скажет стоящему за порогом гостю, что нечего дубасить в дверь, когда являешься в мирный крестьянский дом. Не успел Йон Стонге приоткрыть дверь, как его встретил грозный окрик:

— Выходи, староста! Хватит валяться!

За порогом стоял Ларс Борре, фохт господина Клевена.

Йон Стонге так и не сказал того, что он намеревался сказать незваному гостю. Вместо этого он сам получил нахлобучку за то, что не спешил открыть дверь. Хозяин был настроен недружелюбно, но гость, разбудивший его, оказался еще недружелюбнее.

— Выходи, Стонге! Надевай рубаху! Время не ждет!

Йон из Брендеболя стоял на пороге в деревянных башмаках на босу ногу, в кое-как натянутых штанах. Зато Ларс Борре стоял перед ним в полном параде. Фохт заметно начал подражать в одежде своему господину: его широкополая шляпа была украшена перьями, а куртка — серебряным позументом. Его широкие, до колен штаны сужались у раструбов высоких сапог.

Старосте показалось, будто он стоит перед фохтом нагой, в чем мать родила. Правда, на нем не было рубахи. Надо было надеть ее. Легкий озноб прошел по его телу; в эту пору всегда бывает прохладно.

— Время идти на барщину в Убеторп, Стонге! — Рыжая борода фохта горела в лучах утреннего солнца.— Из вашей деревни никто не явился. Почему крестьяне ослушались наказа?

— Мы платим оброк, и барщинной повинности на нас нет. Так порешил сход.

— Ваш сход не имеет власти.

— Сход решает все дела в деревне.

— Отныне господин Клевен будет решать за вас ваши дела. Ну-ка, живо, собирайтесь все на барщину! Добром не хотите — заставим силой!

Стонге во все глаза глядел на фохта. Он заметил, что у Ларса Борре за поясом торчит пистоль. Прежде, когда фохт наезжал в деревню, оружия при нем не было.

— Мы всем миром решили...

Ему надо было сходить за угол по нужде. Но сначала он скажет фохту о том, что решил сход. Борре ведь небось и не знает еще ничего. Надо было старосте известить помещика о решении схода.

Тут он заметил, что во дворе стоят оседланные лошади. Он насчитал целых пять. А под большой яблоней за домом сидело четверо спешившихся всадников. Стонге узнал Нильса Лампе и Сёрена Галле, наемных рейтаров Клевена. Все четверо были вооружены пистолями, а у тех двоих были даже шпаги.

Пятеро гостей явились в деревню в это раннее утро.

Крестьяне Брендеболя сообща положили не ходить на барщину в Убеторп; они скрепили свое решение клятвой, и староста должен сказать об этом фохту. Но в это утро голова у него соображает туго, а все оттого, что его так грубо разбудили. За все тридцать лет, что он сидел хозяином в Стонгегорде, его еще ни разу не будили так бесцеремонно. Никогда еще не бывало, чтобы его подняли рано утром с постели громовыми ударами в дверь и приказали отправляться на барщину в чужую усадьбу. Ни разу не случалось, чтобы его гнали в шею из его же собственного дома.

Гостей было пятеро, и пистолей тоже было пять.

Надо было ему надеть рубаху, прежде чем идти отворять дверь. И он снова почувствовал холодный озноб.

А вот Ларсу Борре жарко, тело у него жирное, грузное, разгоряченное, по лицу градом катится пот. Фохта разгорячила быстрая езда; старосту пробирает утренний холод.

Но Йон из Брендеболя — староста, избранный общиной. Он должен держать ответ перед фохтом; он должен сказать, что односельчане не станут работать на барщине. Так они порешили и дали в том друг другу клятву. Вот что он должен сказать фохту, но все никак не соберется с духом.

— Пошевеливайся, Стонге, время не ждет! Пойдешь ты по доброй воле?

— А другие наши как?

— Разбудим всех по одному. Начали с тебя.

Староста вовсе не рад той чести, которую оказали ему фохт и челядинцы Клевена, явившись к нему первому. Односельчане еще мирно спят, а он один стоит перед фохтом, не успев даже прикрыть рубахой грешное тело. А уж к приему гостей в такую рань он и вовсе не

готов. Знай он об этом загодя, он догадался бы снять со стены мушкет и топор. Тогда бы он сумел дать ответ фохту. А сейчас что ему отвечать?

Борре провел рукой по своей мясистой потной щеке:

— Принеси-ка пива!

Стонге поспешил в дом и нетерпеливо приказал матушке Альме нацедить пива, которого оставалось немного на донышке бочонка.

У него отлегло от сердца. Фохт, видно, не собирается сразу же пускать в ход кулаки.

Пока жена нацеживала пиво, он успел надеть рубаху. Затем он взял кружку с пивом и сам поднес ее фохту, который молча схватил ее и уселся на завалинке. Он крикнул своим подручным, чтобы те покуда пустили коней попастись под яблоней.

Ларс Борре пил долгими глотками. А крестьянин, принесший пиво, смотрел, как ходит у него кадык величиной с дикое яблоко. Пивная пена блестела на рыжей бороде фохта, точно утренняя роса на клевере.

Вот теперь староста и скажет фохту что хотел. Мир порешил и скрепил решение клятвой, как заведено. И теперь, стало быть, они должны стоять на том — один за всех и все за одного.

— Ну как, пойдешь на барщину по доброй воле? — спросил фохт, отрыгивая после питья.

Но ведь староста уже сказал ему: община порешила не ходить на барщину. Какой прок толковать об одном и том же? Ни к чему это! А ведь прежде пистоля при фохте не было! Но община порешила, и все поклялись. Что же порешила община, в чем они все поклялись? Староста теперь и сам не знает этого. Ведь он уже говорил фохту, что решил сход, да что толку? Фохт все равно гонит на барщину.

— Мне надо сперва держать совет с общиной.

— Нечего вам сговариваться! Ваш господин не потерпит больше непокорства. Он назначил меня фохтом в Брендеболе.

Староста широко раскрыл рот и вытаращил глаза. А ранний гость сидел перед ним на завалинке, раскорячив ноги и отрыгивая после питья. Сход больше не имеет власти, на деревню посажен фохт, сказал он.

Если такое случилось на заре, то что же может еще произойти до того, как солнце сядет за лесом?

Брендеболь, продолжал фохт, теперь по закону принадлежит Убеторпу; деревня отдана на вечное владение и пользование его милости господину Клевену. Так гласит грамота с печатью, пожалованная ему королевой. Отныне тут будут новые порядки и новые обычаи. Он сам станет надзирать крестьян своего господина. Он самолично будет пересчитывать снопы в поле и мешки на гумне. И никто теперь не сможет отговариваться тем, что рожь уродилась только сам-друг. Никому не удастся больше припрятывать бочонки с маслом. Ни один плут не сможет теперь хоронить в ямах зерно, сало и мясо. Отныне в барщинной деревне заведутся новые порядки.

— Все теперь будет по-иному! Слышишь староста? — Ларс Борре опять подносит кружку ко рту и пьет пиво долгими глотками.

Выборный староста Брендеболя, примолкнув, слушает речь фохта. Но по всему видно, что он совсем оробел и упал духом. А фохту это не по душе. Зачем ему нагонять страх на старосту, если тот, по всему видать, человек послушный? Он говорит:

— Но смирному бояться нечего. Покорному худа не будет.

Хотя тело Стонге теперь прикрыто рубахой, он снова чувствует леденящий озноб. Ему всегда не по себе, когда его не в пору поднимают с постели. Он от этого весь день бывает не в духе.

— И первым я спрашиваю тебя, староста. Пойдешь ли ты на барщину? Покоришься ли своему господину?

Они всем миром порешили не ходить на барщину. Все односельчане дали клятву и твердо стоят на том. Но ведь фохт уже знает про это. Помнится, староста ему об этом сказал. Только слова его как об стенку горох. Зачем без толку повторять одно и то же? Этим он только прогневит фохта. Неразумно досаждать фохту и идти ему наперекор. Ведь он уже ясно сказал: на крестьянах Брендеболя нет барщинной повинности. Какой прок повторять это еще раз?

Не успел он схватить со стены мушкет и топор. Но он может сбегать за рогом и созвать общину. У Клевена пятеро со шпагами и пистолями, а брендебольских двенадцать с мушкетами и топорами. Оружие-то у них похуже, но ведь двенадцать как-никак больше, чем пять. Уж верно, двенадцать выстоят против пятерых. Надо скорей в дом, затрубить тревогу.

Но выстрел из пистоля может опередить старосту. От выстрела и умереть недолго. Мало ли людей пистоль уложил на месте? Тяжко идти на смерть. Всякий, кто может, старается не навлекать на себя погибель. Сам бог был свидетелем клятвы у колодца, только если за это приходится жизнь положить, то позабудешь о клятвах да обещаниях.

А фохт Клевена продолжает: его милость господин обер-майор вскорости отбывает в Стокгольм, где на Ивана Купалу созывается сословный собор, но перед отъездом он заявляет Брендеболь своим владением и берет крестьян под свою руку; они должны немедля идти на барщину; помещик дал наказ, чтобы строптивцев и ослушников принудили силой.

— Слышишь? Силой! — И фохт похлопал себя по поясу.

Но, испив вволю пива, Ларс Борре заметно подобрел. Он ободряюще улыбается Йону Стонге, хотя и не снимает руки с пистоля. Остатки пивной пены пузырятся на его бороде. От широкой ухмылки борода разделяется надвое, и между раздвинувшихся губ обнажаются почерневшие зубы, редкие, точно зубья сломанных грабель.

Ларс Борре считает себя человеком миролюбивым и добросердечным. Он сперва прибегает к уговорам, а уж потом берется за пистоль. Хотя без пистоля, правда, тоже не обойтись. Когда ему приходится иметь дело со строптивыми крестьянами, он чаще пускает в ход доброе слово, чем кулаки. Первым делом пытается уговорить их, чтобы они покорились по своей воле. Он хочет, чтобы они работали с охотой, без принуждения. Так будет выгоднее ему и его господину. Запуганный и забитый крестьянин — никудышний работник. Да и какая ему, фохту, радость тиранить крестьян? Куда лучше обойтись без этого. Не станет он без особой нужды мучить людей. Он не изверг какой-нибудь и рад бывает, когда не приходится прибегать к силе.

Так думает о себе фохт Клевена. Но он таит свой кроткий нрав от крестьян. Пусть не забирают себе в голову, что он человек покладистый и уступчивый. Потакать ослушникам он не станет. Но тем охотнее говорит он о великом милосердии своего господина. Вот и теперь он дружески рассказывает Йону Стонге про своего хозяина. Кто-кто, а уж фохт-то все знает доподлинно.

Его милость господин обер-майор Клевен — хозяин добрый и справедливый, он не желает зла своим холопам. Он хочет жить с крестьянами в добром согласии. С таким помещиком крестьяне никогда не будут терпеть несправедливостей. Смирному его бояться нечего. Господин Клевен желает лишь одного — чтобы в его владениях настали мир и покой. Он хочет, чтобы все его крестьяне жили в своих домах в мире да тиши и были за своим господином как за каменной стеной. Во всех деревнях, что он взял под свою руку, царят порядок, мир и послушание. И теперь он желает, чтобы крестьяне Брендеболя также жили в мире да тиши. Он равно желает добра всем своим крестьянам. Он не требует от них ничего, кроме покорности и послушания. Но уж одного он требует неукоснительно: все его наказы и повеления должны выполняться, иначе никакого мира быть не может.

— А смутьянов мы живо угомоним! — При этих словах фохт несколько возвышает голос. Но затем речь его снова звучит тихо и благожелательно, точно он шепчется с лучшим другом. И когда фохт Клевена, понижая голос, продолжает свой рассказ, кажется, что он поверяет Йону из Брендеболя какую-то тайну.

Ходят слухи, говорит он, будто господин Клевен рядом с новыми барскими покоями приказал выстроить в Убеторпе застенок, где будут пороть крестьян. Это ложные слухи. В этом поместье не строят ни застенка, ни холодной, ни подземелья. У его милости господина Клевена до сих пор не было надобности в таких помещениях. Здесь, в приходе, нет строптивых крестьян, которых нужно было бы пороть плетьми. Так на что ему застенок? Но у помещика, кроме Убеторпа, есть и другие усадьбы. В линнерюдском поместье Скугснес есть и застенок, и холодная. Они были построены еще при господине Улофе Строле, прежнем владельце. А вот теперь, когда крестьяне Брендеболя не явились на барщину, господин Клевен сказал Ларсу: «Как видно, и мне придется строить застенок. Его построят брендебольские крестьяне. Пусть-ка постараются для себя!».

Борре громко смеется, обнажая редкие верхние зубы, похожие на зубья сломанных грабель. Затем он снова подносит кружку ко рту и пьет.

Старосте становится невтерпеж, он спешит за угол помочиться. Он идет скорчившись, его бьет дрожь, точ-

но он долго лежал на холодной земле и простыл. Это, видно, утренний озноб одолевает его. Надо бы зайти в дом, надеть армяк. Но он не идет в горницу и не трубит в рог.

Однако Борре поведал еще не все тайны Йону из Брендеболя. Пиво развязало фохту язык, и он снова подзывает к себе старосту.

Прежде хозяином у него был Улоф Строле из Экны, что владел Убеторпом до господина Клевена. Если крестьяне у него отказывались от барщины, их приглашали бесплатно прокатиться верхом. Но лошадку им давали тощую — ни мяса, ни костей, потому что была она сделана из дерева. В усадьбе Экна к ногам крестьянина привязывали железную болванку, а хребет у кобылы был острый, что лезвие ножа. Не больно-то удобно было седоку в этом седле. От такой езды крестьянин долго ходил враскорячку, с ободранным задом. Но уж зато тот, кто хоть раз прокатился на деревянной кобылке, впредь не отказывался от барщины; он долго хромал и походил на птицу с подбитыми крыльями.

Был у господина Строле в Экне и застенок. Там непокорных крестьян охаживали по спине ореховыми прутьями так, что кожа у них висела, точно спутанная пряжа из длинных красных ниток. На спине у них живого места не оставалось, и лежали они на скамье, будто освежеванные телячьи туши. А как спустят с крестьян шкуру, то кидают их в большие чаны с рассолом. Соль въедается в раны. Мокли они в чанах не один день, сохранялись в соли хорошо, не портились, ничего им не делалось. Но те, кому спускали шкуру и кого солили в чанах, после до того покладистыми делались, что дальше некуда. Такие они были смирные да послушные, что не то чтобы на барщину не пойти, а со всех ног кидались любое приказание выполнять, помани их только пальцем. Вот так-то и установили в этих усадьбах мир и покой. А мир — это божья благодать.

Но не прискорбно ли, спрашивает Ларс Борре, что бедняги сами навлекают на себя такие мучения? Не горько ли, что они не слушают дружеских советов? Не обидно ли, что они сами, по своей воле, затевают смуту и своими руками разрушают свое благоденствие?

Йон из Брендеболя, как видно, согласен с фохтом, во всяком случае — не прекословит. Он, верно, слышит участие в голосе фохта, понимает, что тот желает ему

только добра. Фохт беседует с ним доверительно, точно с лучшим другом:

— Ты человек рассудительный, Стонге! Ты самый уважаемый человек в округе. Так неужто же ты хочешь стать смутьяном?

Это, верно, утренний озноб одолевает его, думает староста. Приступы озноба накатывают на него один за другим, и он начинает дрожать всем телом. Когда человека одолевает утренний озноб, дрожь пробирает его до самого нутра. Ему не у кого спросить совета, а тут еще холод проникает до мозга костей.

Теперь староста уже понял, что не пойдет он за рогом и не станет сзывать общину.

Ларс Борре осушает кружку и закрывает ее крышкой. Пиво пришлось ему по вкусу, он смачно отрыгивает.

Господин Клевен не собирался строить застенок в своем поместье Убеторп. Зачем же крестьянам вынуждать его к этому? Почтенные землепашцы Брендеболя должны бога благодарить за добросердечного и милостивого господина и не вынуждать помещика на такие меры.

А ведь есть и иные способы! Фохт снова показывает на пояс. Хороший способ — зажать пальцы строптивцу в пистольные замки. Такой способ был в ходу у юнкера Ульфсакса из Усабю, где Борре служил в молодости. Крестьянину зажимают пальцы в замок и отпускают его на все четыре стороны. Ступай себе куда знаешь. Но он не находит себе покоя ни днем, ни ночью. Просто диву даешься, до чего неуемным становится человек с пистольными замками на пальцах. Бегает он без устали взад и вперед и не знает отдыха. А если не образумится через два дня, пальцы ему прикручивают чуть покрепче. И на другой же день смутьян является к помещику и смиренно молит, чтобы с него сняли пистольные замки. Он обещает вперед быть во всем покорным своему господину, и те, кто видит его раздавленные, набухшие кровью пальцы, нисколько этому не дивятся... Только к чему навлекать на себя такие муки? Отчего бы не жить в ладу с помещиком? Что может быть лучше мира?

Случилось как-то, что юнкер Ульфсакс из Усабю позабыл про крестьянина, сидевшего в подземелье с пистольными замками на пальцах. У бедняги недостало

ума позвать на помощь, а может быть, он и кричал, да только его никто не слышал. Так он и умер, позабытый, в подземелье, с пистольными замками на пальцах. Он начал гнить заживо, мясо отваливалось с пальцев кусок за куском. То там, то тут валялись кусочки гнилого мяса. Парню, видать, было больно. Конечно, у юнкера Ульфсакса и в мыслях не было учинить ему такую муку. Это вышло у него по забывчивости. Но случай этот был хорошей острасткой крестьянам из Усабю. А ведь такой страшной беды никогда бы не стряслось, веди себя крестьяне как подобает.

Вот в деревнях господина Клевена такого вовек не бывало, да и в Брендеболе не будет никогда, если он, Ларс Борре, возьмет крестьян под свое начало, а они станут слушаться его. Разве не лучше жить в мире да тиши?

Йон Стонге слушает кроткие, миролюбивые речи фохта. Староста хотел спросить у кого-нибудь совета — вот фохт и подает ему благой совет. Фохт вовсе не хочет стращать старосту или грозить ему, он только хочет помочь ему выйти из затруднения. Не лучше ли им сейчас поладить друг с другом, чтобы вся деревня жила в мире да тиши? Если они сейчас пойдут по усадьбам и почтенный староста общины поговорит с каждым из крестьян и убедит его идти на барщину, то фохту не нужно будет прибегать к крутым мерам.

От многих мук и несчастий избавит он этим своих односельчан. Помещик ведь и сам не рад бывает, когда крестьянину тяжко. Да и крестьянину от того радости мало. Уж лучше им жить в добром согласии. Не хочет помещик видеть честного земледельца в горе. Ему любо, когда крестьяне работают на барщине без принуждения, по доброй воле. Брендебольцы верят своему старосте и послушаются его доброго совета.

— Мы сейчас идем будить всех по одному. Пойдешь с нами?

Староста стоит, прислонясь к стене дома. Кабы не подняли его на заре! Кабы не разбудили его так грубо! Кабы успел он снять со стены мушкет и топор! Кабы успел он схватить рог и созвать односельчан! Кабы успел надеть сапоги! Кабы не одолевал его озноб! Кабы встал он с постели свежий и бодрый и смог спросить у кого-нибудь совета! А теперь он может только послушаться совета фохта. Только одно остается ему.

И крестьянин говорит фохту, что пойдет с ним. Вот только забежит в дом за армяком, а то на него что-то дрожь напала. Это, видать, утренний озноб его пробирает.

ЧУЖИЕ КОНИ СТОЯТ НА ПРИВЯЗИ У ВОРОТ

Рагнар Сведье остановился и поглядел на трех чужих коней, что стояли на привязи у ворот его усадьбы. Кони были сытые и холеные.

Затем он вошел в дом. Матушка Сигга сидела на скамье у очага, праздно сложив руки. Видно было, что она кого-то дожидается.

— Там, у ворот, господские кони,— сказал Сведье.

— Борре тут со своими людьми,— ответила мать.

— Хотят потащить нас силой?

— Фохт тебя спрашивал.

Сведье сурово кивнул.

— Он уже во всех дворах побывал. Скоро сюда воротится. Я ждала, чтобы упредить тебя.

И снова кивнул Сведье. Не спеша подошел он к почетной скамье, снял со стены кремневый мушкет и, вынув из кисы свинцовый заряд, забил его в мушкет. Потом он внимательно осмотрел затравку, перед тем как насыпать ее на полку. На стене у дверей висели топоры. Сведье подошел и стал перебирать их.

— Хочу выбрать топор потяжелее.— Он направился к выходу.— Надо всем быть наготове. Схожу к соседу.

— Его дома нет. Ушел на барщину.

У Сведье даже дух перехватило:

— Неужто покорился?

— Что ж, можно найти оправдание для Бёрье Хенриксона. Он телом хил, а духом слаб.

— Тогда пойду к другому соседу.

— И Матса дома нет. Ушел на барщину.

— Неужто и он?

Но и на этот раз Сведье не слишком удивился. Ничего мудреного не было в том, что Матс Эллинг пошел на барщину. Ведь это он давал односельчанам совет послать людей в имение. В деревне он человек новый, и Сведье его мало знает.

— Стало быть, нас двумя меньше. Но права своего мы не уступим. — Он стал пробовать пальцем лезвие ножа.— Пойду к старосте.

Матушка Сигга поднялась со скамьи, голос ее прерывался от негодования:

— Старосты нет дома.

Сведье круто обернулся; руки сжались в кулаки:

— И староста пошел?

— Они все пошли. Их выгоняли из домов по одному. Староста пошел первый.

Сын, помрачнев, смотрел на мать. Староста ходил с фохтом по домам, продолжала матушка Сигга, он говорил, что пойдет по доброй воле на барщину, и давал совет другим сделать то же самое. Никто не пытался обороняться, кроме Класа Бокка, который схватился за свой мушкет. Но слуги Клевена избили и уволокли старика.

— Сколько людей было с Ларсом Борре?

— Четверо. Он сам пятый.

— А наших одиннадцать. Неужто одиннадцать не могут выстоять против пятерых?

— Они грозили каждому пистолем.

— Разве из-за этого уступают свое право? Разве пистолем уничтожишь правду?

Гнев обуревал мать Сведье, дрожащие жилистые руки не слушались ее:

— Трус недостоин правды. Тот, кто не стоит за свои права, нестоящий человек.

— И староста давал им совет покориться? Плохо же я знал отца Ботиллы.

— Ты и всех их плохо знал.

— Кроме Класа Бокка. Но всему виной староста. Крестьяне послушались его совета.

Сведье не видел сегодня на пашнях брендебольских крестьян. Но они не отсыпались после вчерашнего пира. Они бросили пахать свои поля и ушли пахать помещичье поле. Теперь он знает, где они. Ему нет нужды искать их на каком-нибудь тайном сходе, где они собрались, чтобы сообща постоять за свои права.

Не лежит у него больше душа к односельчанам, к друзьям и соседям. Нет у него больше к ним веры! Он протянул им руку, руку честного человека, а чем они ответили ему?

Сведьебонд постоял в задумчивости, а потом направился к двери:

— Какое мне дело до того, что другие нарушили

клятву! Пускай другие и обесчестили себя, но я своей чести не посрамлю!

Матушка Сигга стала на колени перед очагом и принялась вздувать огонь под котлом с кашей. Она дула изо всех сил, напрягая свою иссохшую грудь, точно хотела излить весь свой гнев на пламя очага. Но очаг в ответ метнул на нее дымом; у нее защипало глаза, и она принялась тереть их костяшками пальцев.

— Стало быть, нас и того меньше,— сказал Сведье.

— Меньше? — переспросила мать.— Ты остался один.

— Нет. При мне мое право.

Чужие кони стоят на привязи у ворот Сведьегорда, откормленные, холеные господские кони. Но Сведьегорд поставлен посолонь; лучи солнца освещают мотыгу на коньке кровли — родовой знак, возвещающий всему миру, на чьей стороне правда.

Твердость вернулась к Рагнару Сведье. Право осталось при нем, и это право нерушимо. Он может сам решать свою судьбу. Он не поступится свободой из-за того, что другие от нее отреклись. Он все так же дорожит своей свободой, пусть трусам она и ни к чему.

С улицы донеслись мужские голоса. Матушка Сигга прислушалась и встала с колен:

— Обратно идут. Опять тебя ищут.

— Ну, так на сей раз не зря явятся. Застанут дома хозяина Сведьегорда!

Сведье встал посреди горницы. Ни один мускул у него не дрогнул.

— Лошадей привязывают. Сейчас зайдут в дом.

Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился Ларс Борре. Позади него стояли Нильс Лампе и Сёрен Галле, наемные рейтары Клевена.

При виде их Сведьебонд не шевельнулся; он точно прирос к полу, раскачивая в правой руке топор. Матушка Сигга стояла у очага; ей в глаза попал дым, и она терла их. Увидев бонда в полном боевом вооружении, фохт застыл на месте, выпучив глаза. Выходит, здесь его ждали! Никто как будто не собирался силой врываться в дом к Сведье. А если бонд стал на страже, то, стало быть, замышляет дурное против него, фохта. Но с ним лучше лаской, чем таской. Ничего не нужно делать сгоряча.

Фохт и крестьянин стояли друг против друга в семи-восьми шагах.

— Ты, видно, ждешь недобрых гостей, Сведье? — кротко спросил Ларс Борре.

— Говорят, чужие объявились в деревне,— ответил Сведье.

— Мы не чужие. Мы слуги твоего хозяина.

— Не знаю я никакого хозяина. Что вам от меня надо?

— Убери-ка мушкет и топор, Сведьебонд! На барщине тебе оружия не надобно.

— За каким делом явились вы ко мне в дом?

— Крестьяне господина Клевена должны идти на барщину.

— Я не крестьянин Клевена.

— Отныне ты под его властью.

— Нет надо мной ничьей власти!

— Ты пойдешь с нами!

— Проваливайте отсюда! — закричал Сведье.— Нечего вам тут делать!

Ларс Борре стоял в нерешительности перед строптивым крестьянином, не успев переступить порог. Это тот самый крестьянин, что корил его когда-то неверной мерой. С ним надо обойтись построже, добром с ним не сладить. Похоже, что нрав у него буйный и необузданный. Он, видно, затевает какую-то хитрость. Само собой, пустить в ход оружие он не осмелится, но все-таки не стоит приближаться к этому головорезу, покуда его не обезоружили.

Оба рейтара стояли сзади и с любопытством наблюдали за всем из-за спины фохта.

— Стыда у тебя нет, холоп! — заревел Борре.— Подавай сюда оружие!

— На что тебе мое добро? Или твой господин послал тебя грабить?

Это было уж чересчур.

— Ну, берегись!

— Сам берегись, если учинишь насилие в моем доме! Мушкет-то у меня заряжен!

Сведье поднял топор и вскинул мушкет.

Тут Борре понял, что дал маху. Ему надо было сперва послать в дом слуг с пистолями. Он отступил назад и, прислонясь к косяку, сделал знак своим людям, что-

бы они прошли в дом. Этого гордеца надо проучить. Затевает свару, так пусть на себя и пеняет.

Стоя у очага, мать Сведье следила за этой немой сценой.

Сведьебонд вскинул топор:

— Проваливайте отсюда, насильники!

— Взять его! — приказал фохт.

Нильс Лампе стоял впереди и первым кинулся в дом. Не успел он сделать и двух шагов от порога, как топор Сведье просвистел в воздухе и с хрустом вонзился рейтару в плечо. Тот, как подкошенный, свалился в угол, где стояла метла. Сёрен Галле хотел было ринуться вслед за ним, но споткнулся о его тело и упал. Фохт, стоявший за ними, взвел курок пистоля. Но не успел он нажать его, как прогремел выстрел из мушкета Сведье. Пуля застряла в косяке всего лишь в нескольких вершках над головой фохта. Когда Сведье целился, фохт пригнулся и тем спас свою жизнь.

Сведье бросился к топору, но фохт уже был за дверью. Уцелевший рейтар поднялся и, увидев, что он стоит один под угрожающе занесенным топором, опрометью ринулся вон из дома. Нильс Лампе не смог подняться и с руганью и проклятиями уполз на четвереньках вслед за другими.

Матушка Сигга и Сведье опять остались в горнице одни. Мать Рагнара, молча наблюдавшая за этой стычкой, обернулась к очагу и увидела, что огонь под котлом вот-вот погаснет.

Она снова опустилась на корточки и стала дуть на тлеющие угли. Сведье вытащил шомпол и медленно и старательно забил заряд в мушкет.

— Убрались! — сказал он.

— Видела,— ответила мать.— Ты дрался с ними. Бог послал тебе удачу.

— Фохт убежал первый.

— Трусость и громкие слова уживаются рядом, как рожь и плевелы.

Сведье вышел за порог. Коней на привязи у дома не было. На соседнем дворе собралась кучка женщин и детей, привлеченных выстрелами из мушкета и криками покалеченного рейтара, который лежал под кустом крыжовника и кричал, что у него раздроблено плечо. На дороге слышался цокот копыт.

Сведье вернулся в дом.

— Поскакали в поместье за подмогой.

Он взял свой поделочный нож, вырезал пулю, застрявшую в дверном косяке и положил ее обратно в кису,— нечего тратить заряд попусту, а этот не сослужил ему службу, потому что угодил в дерево.

— Я метил в фохта,— сказал Сведье.— Жаль, промахнулся.

— Но уж слуге-то от тебя досталось.

— Они хотели учинить насилие. Мое право было обороняться.

— Ты оборонял наш дом. Стыдно будет тому, кто станет осуждать тебя.— В голосе ее звучала гордость. Сын, который вышел когда-то из ее лона, теперь уже увядшего и мертвого, не посрамил ее плоти.— Никто не станет хулить того, кто обороняет свой дом.

— С этим беднягой рейтаром мне делить нечего. Мне бы с самим помещиком переведаться.

— Помещики проливают кровь наемников, а свою берегут.

— А мне и наемников не жаль. Пускай расплачиваются за свои дела.

— Лампе — лучший слуга у Клевена. Он не согласится взять за него пеню.

Рагнар Сведье хотел бы вызвать помещика на честный бой, где на удар отвечают ударом, где кровью платят за кровь. Что ему еще делать, чтобы отстоять свое право? Куда же ему идти, чтобы защитить свой мирный очаг? И он спрашивает мать, стоит ли затевать тяжбу и искать защиты в суде, где тот прав, чей кошель тяжелее. Судьи на тинге никогда не посмеют осудить помещика. Сведье теперь не будет мира в его собственном доме. Куда же ему идти, если в деревне он не нашел правды? Где ему искать приюта?

— Тебе теперь одна дорога, — сказала мать. — Сам знаешь какая.

Она поняла его. Она поняла его затаенную думу. Он берет точило и садится точить топор.

У него осталось одно убежище. Если власть не охраняет больше крестьянина, то его укроет лес. Если человеку нет мира в собственной деревне, он отправляется в лесную чащу, где будет жить вольной жизнью. Нет ему больше мира в своем доме, раз закон не оберегает его от обидчиков. Но никогда не будет над ним никакого хозяина. Скотину гоняют стадом, а он сам хозяин

своей плоти. Он может стать вольным лесным жителем, но не господским холуем. Живым он им не дастся.

Сведье натачивает топоры, поплевывая на точило. В очаге снова горит яркий огонь, и вода в котле закипает. Матери и сыну нет нужды совещаться дольше: у него осталось лишь одно прибежище.

— Поторопись,— говорит мать.— Борре мешкать не станет.

— Да, надо спешить,— отвечает Сведье.

Он пойдет к своей невесте в Стонгегорд и расскажет ей о случившемся. Хорошо, что ему не придется повстречаться там с ее отцом,— он первым пошел на барщину.

— Ежели они заберут усадьбу, я тоже уйду,— говорит матушка Сигга.

Все ведь вышло нежданно-негаданно; то, что она не успеет сделать по дому, придется оставить на волю божью. За скотину опасаться нечего, она вместе с деревенским стадом пасется на дальнем пастбище. Сама матушка Сигга пойдет к сестре своей в Хумлебек и поселится у нее. А все, что можно унести из усадьбы, она возьмет с собой к сестре. То, что нужно сыну, она спрячет в старых тайниках, он знает где. Пускай пошарит в них, коли ему что понадобится.

— Вам самой нужно будет съестное.

— В деревне всегда можно прокормиться,— отвечает матушка Сигга.

Ее не так-то легко запугать. Вот только незадача с подсвинком. Он еще не годен на убой — больно уж тощий. Но если Сведье согласится варить эти свиные кости, он может заколоть поросенка, прежде чем уйти в лес.

— Там и колоть-то нечего,— говорит Сведье.— Пускай себе бегает. А вам останется припрятанная баранья нога.

— Ее я отдам господину Петрусу Магни,— говорит матушка Сигга.

— Вы хотите пойти к пастору? — с удивлением спрашивает сын.

— У меня до него дело. Он поможет нам добиться правды.

— Не станет он нам помогать. Мы задолжали ему мясную десятину.

— Вот я и отнесу ему мясо, что припрятала. Господин Петрус заступится за нас.

Лицо Сведье выражает недоверие, но матушка Сигга сказала, что господин Петрус Магни — человек справедливый и беднякам друг. Она слышала в церкви, как он говорил в своих проповедях о жестокосердии господ. Помещик Клевен поносил пастора и грозил ему, но господин Петрус Магни не робкого десятка. Она пойдет к нему и попросит изложить их дело перед королевой. Если помещики чинят обиды крестьянам, то правды можно добиться только у королевы. Перед ее престолом должны они принести жалобу, и в том им поможет пастор Альгутсбуды. С божьей помощью уповает она на господина Петруса. А баранью ногу она возьмет с собой.

Велика была вера матушки Сигги. Сведье выслушал ее и сказал:

— Ступайте к пастору, и дай вам бог счастья!

Сведье знает, что наступит день, когда ему вернут его права. Он знает это так же твердо, как видит сейчас перед собою ясное солнце; придет день, когда несправедливость обернется справедливостью, кривда уступит место правде. А до того дня он найдет себе мирное убежище.

Точит Сведье топоры и пробует острия пальцем. Наконец-то они заточены в самый раз.

* * *

И в этот день солнце шло путем праведным по небу, но с восходом солнца одиннадцать крестьян Брендеболя отправились на барщину в господское поместье.

А двенадцатый избрал путь праведный, путь солнца, и ушел в лес.

ГОСПОДИН ПЕТРУС МАГНИ ЛИШАЕТСЯ ЦЕРКОВНОЙ ДЕСЯТИНЫ

В субботу, в канун святой троицы, высокоученый пастор Альгутсбуды сидел за пюпитром в своей усадьбе и писал. Господин Петрус Магни [1] сочинял послание досточтимому соборному капитулу в Векшё с просьбой о помощи. Его капеллана Бенгта Микрандера боднул бык из пасторской усадьбы, и капеллан слег в постель.

---

[1] Пастор Альгутсбуды в 1642—1690 годах. *(Примеч. автора.)*

Все тяготы церковной службы легли теперь на господина Петруса Магни, и посему он покорнейше просил прислать кого-нибудь в помощь в его удаленный приход на время нездоровья Микрандера, которое, несомненно, будет длительным. Бык из пасторской усадьбы острым рогом распорол капеллану пах и тем самым надолго лишил его возможности вещать людям слово божье. В сем видел пастор пример, подтверждающий слова преподобного Лютера о бесах, которые вездесущи. Они летают и реют в воздухе в обличье галок и ворон и являют собою беспрестанную угрозу человеку. Но чаще всего покушаются они на слуг божьих. Вот и здесь, в Альгутсбуде, в канун троицы, избрали бесы своим орудием неразумную рогатую скотину, дабы умалить власть всевышнего.

Пюпитр пастора стоял перед окнами, прорубленными на новый манер и снабженными стеклами. Такие окна имелись только в усадьбе помещика Клевена. Господин Петрус Магни от души радовался этим окнам, которые пропускали в горницу ясный свет. Более того — теперь пастор и сам мог беспрепятственно смотреть сквозь них на божий мир. Глаза у него были слабые, и от прежних подслеповатых, затянутых бычьим пузырем окон проку ему было мало. А теперь через эти прозрачные окна он видит и капустные гряды, и гороховища в своем огороде.

Там, за окнами, расцветал ясный летний день. В огороде росла всякая овощь на благо и пропитание человека: морковь и пастернак, зеленая капуста и желтый горох. В гороховищах растут цветы, которые радуют глаз и услаждают обоняние: лилии и ландыши, водосбор, тысячецвет и мак. Венцом колышется над всеми цветами чепец служанки Бриты, которая полет в огороде гряды.

Сидя на вращающемся стуле перед пюпитром, господин Петрус Магни с великим тщанием излагал свои мысли на бумаге. Помимо прошения о новом помощнике для своего отдаленного прихода, он желал бы изложить перед досточтимым капитулом еще и другие дела, которые крайне заботят его. Воистину есть у него причины сетовать на тяжкую жизнь своих прихожан и на уменьшение доходов церкви. Приход Альгутсбуда обширен, но крайне беден. Тут часто случаются недороды, которые вконец разоряют крестьянина. А нищета крестьянского двора сказывается на пасторской усадьбе. Из года в год растет недоимка церковной десятины. Во

время жестокой войны с немцами, которая недавно столь счастливо завершилась, пастор видел со своей кафедры в церкви, как редеют и пустеют скамьи на мужской половине. И вот теперь на мужских скамьях сидят все больше немощные старцы с потускневшим взором и трясущимися головами. Все неохотнее внимают люди слову божию, особенно те, кто молод, здоров и в силах грешить. Спустя год после долгожданного мира случился жестокий недород. Плодородие земли в руке божьей, но в беспутстве повинны сами люди, и оно вынудило господа покарать их. В прежние времена дворян и помещиков было не так уж много, теперь же становится все больше. Все эти господа хотят, подобно богачам из притчи Христовой, жить в роскоши и изобилии. И платье-то они стали носить непристойное и богомерзкое. Без меры украшают свои кафтаны, куртки и шляпы серебряными галунами и позументом. В тщеславии своем дворяне стали носить шнурованные башмачки на таких высоких каблуках, что скачут на них, точно на ходулях. Они втискивают ноги в узкую обувь, приноравливая ногу к башмаку, а не башмак к ноге. Они посягают на собственные конечности, сотворенные богом. Молодые дворяне стали носить широкие французские штаны, на которые и смотреть-то гадко и которые, всенесомненно, вызвали гнев и кару божью.

Куда богатые и знатные, туда же и простолюдины. Чернь перенимает постыдную господскую моду в одежде; встречаются люди низкого звания, что осмеливаются надевать куньи шапки, а иные не стыдятся носить рубахи с помпонами на шнурках. Женщины щеголяют в пестрых лентах и чепцах всевозможных фасонов. Самая ничтожная простолюдинка почитает нужным носить накрахмаленный головной платок и рубаху с непристойным вырезом и со сборчатыми рукавами. Не мудрено, что земля перестала родить!

Да и в епархии, среди духовенства, господин Петрус Магни встречал таких, которые носят шелковые рясы с бархатными рукавами и большими стоячими воротниками. Эта неумеренность священнослужителей особенно прогневала господа.

В стране царит небывалая дороговизна. Люди не припомнят времени, когда соль стоила бы дороже; даже пряности, что предохраняют от порчи рыбу и мясо, теперь беднякам не по карману. Люди принуждены есть

без соли и от этого болеют проказой и кровавым поносом. Но брат не слышит жалоб и стенаний брата. Люди живут меж собою как волки, готовые растерзать друг друга в клочья. Но три самых тяжких греха — это высокомерие, леность и похоть, которых не искупить истовыми и усердными молитвами пастора и других служителей церкви. Простой люд пытается подражать господам и в образе жизни. Некогда рачительные земледельцы проводят дни в гульбе и попойках. Женщины не оберегают более своей чести и добродетели; они погрязли в распутстве и блуде. Немало приблудных детей родилось в приходе за последнее время, хоть все они приняли святое крещение. Если женщина не может прокормить себя, она становится блудницей. Многие оправдывают себя тем, что мужей их забрали в солдаты и те не заботятся о своих женах. Потаскуху можно выставить в колодках, чтобы все видели ее позор, но к тем, кого на блуд толкнул голод, надобно проявить милосердие. Женщины страшатся голодной смерти более, нежели колодок и вечных мук, и, коль скоро они не в состоянии прокормиться честным трудом, служители церкви и не могут воспрепятствовать им добывать себе пропитание блудом. Среди этих женщин много бедных солдатских вдов, мужья которых пали в немецкой стороне. И тут господина Петруса Магни одолевают сомнения. Конечно, душа блудницы значит более, нежели ее тело. Но можно ли, спасая душу, спокойно взирать на погибель тела? Он и прежде задавал этот вопрос досточтимому капитулу, но не получил ответа.

Кроме того, в своем письме господин Петрус Магни весьма пространно изложил дело о церковной десятине, которая все скудеет из года в год, по мере того как земли крестьян переходят к помещикам. В позапрошлом году Хеллашё и Росток перешли к господину Клевену из Убеторпа.

В прошлом году та же участь постигла Рюггаму и Гриммайерде, а теперь на уездном тинге будет оглашена грамота господина Клевена о том, что он приписывает к своему поместью и Брендеболь. Он удлиняет свободную милю по собственному усмотрению. Пять деревень стали теперь подвластны помещику — самые плодородные земли в приходе. В пяти деревнях лишился господин Петрус Магни церковной десятины; не получа-

ет он оттуда больше ни масла, ни зерна, ни мяса, ни яиц. Что же останется ему под конец в этом нищем приходе?

Пастор просил господина Клевена, чтобы крестьяне в его деревнях оставляли часть оброка, положенного церкви, но в ответ получил лишь оскорбление: пастор Альгутсбуды не имеет-де никаких прав на сбор церковной десятины с крестьянских дворов в пределах свободной мили; все крестьянские наделы здесь жалованы помещику грамотой королевы, а уж священнослужителю лучше, чем кому-либо, должно быть ведомо, что он не волен противиться предписаниям власти. Господин Клевен советовал господину Петрусу Магни открыть тринадцатую главу «Послания к римлянам» и прочесть в ней первые стихи, где апостол Павел говорит, что нет власти не от бога и всякая власть от бога установлена. Следственно, королевский сан и королевская власть от бога, и в грамоте королевы, в которой она своей властью передает Клевену право на сбор податей, запечатлена воля божья. Так неужели же пастор Альгутсбуды, вопрошал помещик, столь дерзостен, что хочет воспротивиться божьему предначертанию и извратить священное писание? Господин Клевен предостерегал главного пастора Альгутсбуды словами апостола Павла: «Посему противящийся власти противится божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение».

Вот какую отповедь получил господин Петрус Магни. Помещик Клевен полагает, что сам бог рукою королевы сделал его владельцем крестьян в Альгутсбуде. Конечно, нет сомнения, что всякий должен повиноваться власти и что всякая власть от бога. Христина — королева милостью божьей, и сам бог вложил в ее руку королевскую печать. Это святая и незыблемая истина. Но истинно ли то, что печать эта прилагается в согласии с божьими предначертаниями, если земли короны раздаются помещикам, а небогатый приход лишается своей десятины? Тут господин Петрус Магни таит в сердце своем великие сомнения, о коих он весьма осторожными словами решился уведомить досточтимый соборный капитул.

Он дерзает высказать предположение, что ее королевское величество, к великому прискорбию, превратно

толкует промысл божий и волю господню, жалуя господину Бартольду Клевену наиплодороднейшие земли прихода Альгутсбуды.

Затем главный пастор проставил число и подпись:

Писано в Альгутсбуде июня двенадцатого дня в лето тысяча шестьсот пятидесятое

собственной рукой Петруса Магни,
пастора Альгутсбуды.

Тщательно запечатывая послание своей печатью, главный пастор услышал, как его супруга позвала служанку в дом, и синий чепец сразу же исчез из огорода. Наступал час обеденной трапезы. Господин Петрус Магни втянул носом воздух.

Запах пищи, проникавший к нему, не оставил никаких сомнений. Можно было сказать с уверенностью, что исходил он от котла, где тушилась капуста. Стало быть, на обед нынче тушеная капуста со свининой. Лицо пастора просияло. Тушеная капуста со свининой — один из божьих даров, который он ценит превыше всего; особенно сладостно бывает вкушать ее, когда запиваешь жиденьким пивом. Но теперь пастору приходится с умеренностью услаждать себя капустой, ибо после нее часто начинает пучить живот. Спустя короткое время после того, как язык познает сладость пищи, желудку приходится жестоко расплачиваться. Мучительные рези поднимаются в животе, и пастору после трапезы часто приходится отлеживаться. Боль, однако, быстро проходит, если пастору удается с божьей помощью выпустить ветры.

Сегодня господин Петрус Магни хотел бы послать с нарочным еще одно послание своему дражайшему собрату и другу Арвидусу Тидерусу, пастору Веккельсонга, выборному сословного собора. Грамота должна попасть в руки пастору Тидерусу прежде, чем он отправится в Стокгольм на сословный собор. Господин Петрус Магни хочет поведать своему другу о несогласии, которое вышло у него с помещиком Клевеном из-за церковной десятины. Он опасается, что помещик станет теперь могущественным патроном в приходе и власть его превысит власть церкви. На соборе духовное сословие должно потребовать защиты от дворян, и он хочет изложить свое дело пастору Тидерусу, дабы тот мог принести жалобу

в Стокгольме. Тидерус — достойный и мужественный выборный от духовенства.

Едва главный пастор успел взяться за перо, как послышался легкий стук в дверь. «Войдите!» — сказал он, и на пороге появилась маленькая сухонькая старушка в черном чепце и корсаже. По опрятному, чистому платью он сразу же увидел, что это не какая-нибудь побродяжка, а степенная крестьянка. Он узнал ее лицо, вспомнив, что в церкви, у алтаря, не раз подносил к ее устам потир с вином для причастия. Но имени ее он не мог вспомнить.

— У меня спешное дело до вас, господин пастор.

Посмотрев в ее острые светло-серые глаза, духовный пастырь в ту же минуту узнал свою прихожанку:

— С чем пожаловали ко мне в усадьбу, матушка?

Он говорил благожелательно. Матушка Сигга из Брендеболя прилежно ходила в церковь; о ней и ее семье пастор слышал только хорошее.

— Мы задолжали вам мясную десятину, господин пастор.

Господин Петрус Магни удивленно взглянул на нее. Мясную десятину крестьяне задолжали ему с позапрошлого года, когда помещик Клевен еще не имел прав на сбор оброка с Брендеболя. Но пастор не взыскивал с крестьян старой недоимки, потому что они совсем обнищали из-за недорода. Может, матушка Сигга опасается, что ее не допустят к святому причастию, пока она не отдаст церкви положенную десятину? Много прихожан должны были ему не одну мясную десятину, но ведь из-за этого он никому не отказывал в причастии.

— Вам, господин пастор, положена туша откормленного молочного теленка. А я, грешница, только окорок бараний принесла.

Матушка Сигга со стыдом опустила глаза в землю. Она, мол, принесла в пасторскую усадьбу тощую баранью ляжку, которую отдала пасторше. Ляжка весит не больше шести фунтов, хотя она и от годовалого барана. Но жирные овцы вовсе перевелись в эту пору. Где уж скотине нагулять жир с худого корма да сухих листьев! Удовольствуется ли господин пастор тощим окороком?

— Благодарствую, матушка! Я уж не ждал ничего от брендебольских крестьян.

Господин Петрус Магни был растроган. Этот бараний окорок, пожалуй, последняя дань, которую церковь получит с крестьянских дворов, попавших под власть господина Клевена; и принесла ее в пасторскую усадьбу изможденная крестьянка, вдова. В этом пастор видел перст божий. Сам господь бог послал сюда матушку Сиггу с этим окороком, лептой вдовицы, и тем изъявил волю свою, дабы церковь и впредь получала то, что принадлежит ей по праву.

— Досточтимый пастор, я пришла к вам помощи просить.

— А что случилось, матушка?

— Клевен выгнал нас из Сведьегорда.

— Да ты не бредишь ли, матушка? Как могло такое случиться?

— Мой сын подрался с фохтом Клевена и его челядинцами. Сейчас он скрывается в лесу.

— Спаси нас господи!

Искреннее волнение в голосе пастора успокоило и подбодрило матушку Сиггу, и она рассказала ему обо всем, что случилось в Брендеболе. Господин Петрус слушал ее рассказ со смятением в сердце и с великой тревогой. Он сожалел о том, что произошло, но еще больше опасался того, что произойдет в его приходе. До него доходили слухи, будто Клевен не в ладах с крестьянами, но до сих пор тот еще не прибегал к насилию и не понуждал их идти на барщину. А сейчас он до того озлобил их против себя, что надобно ожидать самого худшего. Помещик родом из Неметчины и, подобно другим пришлым немцам, пытается привить на шведской земле завезенные им ростки рабства. Он привык, чтобы крестьяне, точно бессловесная скотина, стояли на обочине дороги и глазели на него, когда он проезжает мимо, чтобы они ломали перед ним шапки и гнули спины в поклоне. Так встречали господина Клевена у него на родине, и он хотел, чтобы точно так же его встречали и здесь. Правда, ходил в народе слух об Улофе Строле из Экны, Юлленспарре из Ингельстада и Ульфсаксах из Усабю, будто они тиранят своих крестьян. Но иноземцы привыкли иметь дело с крепостными, им не понять того, что тут совсем иной дух и что здешние крестьяне не потерпят, чтобы помещик посягал на их вольности. Если господин Клевен попытается закабалить крестьян, он посеет злое, ядовитое зелье, которое самому ему и по-

жинать. Никогда народ не примирится с владычеством немецкого помещика.

— Я живу сейчас у своей сестры в Хумлебеке,— сказала матушка Сигга.

— А кто остался в усадьбе?

— Там водворился Борре, фохт Клевена.

— Но ведь надел принадлежит вам по праву.

— Сведьегорд — наш исконный надел.

Господин Петрус Магни не был особенно сведущ в законах, но знал, что тягловые крестьяне исстари безраздельно владели своей землей; в казну шел только оброк. И когда помещики говорили, что вместе с оброком они купили у короны и право на землевладение, то это было вопреки закону.

Королева не могла продать старинные крестьянские наделы, так же как никто не волен продать собственность, которая ему не принадлежит.

— Ваше право неоспоримо,— подтвердил пастор.

Слова духовного пастыря укрепили дух матушки Сигги. Но она никогда и не теряла веры, никогда и не сомневалась в том, что, хотя свершилась величайшая несправедливость, правда восторжествует и что сие так же истинно, как то, что бог некогда отделил свет от тьмы и зажег на небе солнце ясное. Если правда не восторжествует, солнце померкнет и погаснет.

— Господин пастор, вы поможете нам вернуть Сведьегорд?

Господин Петрус Магни обдумал дело Сведьебонда и счел, что оно справедливо перед богом и перед людьми. Но как добиться справедливости? Конечно, Сведье будет вознагражден во втором пришествии, в царствии небесном ожидают его избавление и вечное блаженство, но ведь Сведье хочет еще при жизни вернуть себе усадьбу, он ищет справедливости здесь, на земле. И негоже пастору утешать матушку Сиггу, тыча перстом в царствие небесное, не попытавшись сперва помочь ей найти утешение на земле. Невелика цена священнослужителю, который указует на вышнего судию, а сам и пальцем не шевельнет, чтобы помочь своей пастве. Пастор обязан по мере сил своих помогать богу вершить справедливость в земной жизни. Но если он возьмет на себя дело Сведьебонда, то дождется лишь новых отповедей от Клевена. Не добившись правды в об-

щине, крестьянин, по обычаю предков, ушел в лес. Но при этом пролилась кровь — вот что худо!

— Сведьебонд изувечил рейтара.

— Его принудили. Он свой дом оборонял.

— Но теперь Клевен может схватить его и предать суду.

— Сын мой ушел в лес, и никто не отнимет у него воли.

— Да, но только если он неподвластен Клевену.

Господин Петрус Магни озабоченно обвел гусиным пером вокруг рта. Матушка Сигга — женщина темная, неученая, и ей неведомо, что долг и право дворянина сажать в темницу и предавать суду подвластных ему людей. Если крестьянин свободен, он может уйти в лес и жить там, сколько ему вздумается, но если Сведье числится крестьянином Клевена, то владелец вправе схватить беглеца и передать его ленсману. Это-то и было худо, но пастор не хотел огорчать матушку Сиггу и ничего не сказал ей.

— Сведьебонд будет хорониться в лесу, покуда ему не вернут его права,— сказала матушка Сигга.

— Однако весьма прискорбно, что он прячется по кустам вместе с бродягами, объявленными вне закона.

— Я не скорблю о своем сыне.

Уязвленная гордость слышалась в голосе матушки Сигги.

— Он страдает вкупе с виновными.

— Тот, на ком нет вины, не может страдать заодно с виновными.

Исхудалая старушка стояла, гордо выпрямившись перед своим духовным пастырем. Господин Петрус Магни почувствовал укол в сердце и отвел глаза от ее упрямого взгляда. Сам господь указывает слуге своему на его заблуждение, ибо речь его была неправедной. Не должно скорбеть о том, кто страдает за правое дело. Тот, кто не совершил никакого злодеяния, не может претерпеть зло, даже если его бренная плоть и пострадает в земной юдоли.

Кроткий и благочестивый человек может претерпеть все тяготы жизни в эти лихие времена, ибо твердо знает: все, что свершается, есть лишь призрак и заблуждение, и это не задевает его нетленной души. Евангельскую истину изрекли уста крестьянки, и господин Петрус Магни усмотрел в этом перст божий, равно как и

в том, что она принесла мясную десятину в пасторскую усадьбу. Сам бог велит ему вступиться за Сведье.

— Прежде мы могли пойти к королю,— продолжала матушка Сигга, видя, что пастор все не отвечает ей.— Может ли теперь простолюдин предстать перед троном и принести жалобу королеве?

Господин Петрус Магни сидел в величайшей растерянности, но нежданно господь вразумил пастора, и чело его разгладилось:

— Я помогу вам добиться правды, матушка.

— Неужто господин пастор возьмется хлопотать за нас?

— Помогу вам, если богу будет угодно.

— Храни вас господь за вашу доброту, заступник вы наш!

Взгляд господина Петруса Магни упал на лежащее перед ним начатое письмо, и пастора словно осенило. Он объяснил матушке Сигге: это письмо он пишет своему собрату и другу, который отбывает в Стокгольм на сословный собор, и он попросит его изложить на соборе дело Сведьебонда. Выборного священнослужителя должны допустить к королеве, и, быть может, она приклонит к нему слух свой. Имя жестокосердного помещика Клевена должно быть названо во всеуслышание. Безбоязненный и прямодушный священнослужитель, который не гнет спину перед высокородными господами, может с церковной кафедры рассказать о злодеяниях помещика, а друг его — человек прямодушный, сострадающий беднякам. Теперь им остается только молиться и просить всевышнего смягчить сердце молодой королевы и оберечь ее от вероломных советчиков.

— Мы поможем вам! Если будет на то воля божья!

— Велика ваша доброта ко мне, грешной, господин пастор!

Матушка Сигга сокрушалась при мысли о том, что она с самой весны не причащалась. Она не заслужила такой доброты. Но она была теперь уверена, что господин Петрус Магни поможет ей.

Правда, он то и дело повторяет: «если будет на то воля божья», «если будет угодно богу», но оговорка эта не смущает матушку Сиггу. Ведь воля всевышнего и воля пастора едины. Бог хочет одной лишь правды, ибо не мог бы хотеть иного. Того же хочет и добивается господин Петрус Магни, ибо этого он хотел и добивался

все восемь лет, что был пастором Альгутсбуды. Стало быть, то, что угодно богу, угодно и господину пастору.

А богу угодно, чтобы Сведьебонд воротился в свою родовую усадьбу и вернул свои права. И против этого бессильны все помещики, фохты и наемники, будь их хоть видимо-невидимо.

Успокоенная и обнадеженная, отправилась матушка Сигга в обратный путь. Лошади у нее не было, и из дома до пасторской усадьбы ей пришлось идти пешком. Дорога до Альгутсбуды была длинная, еще задолго до того, как вдали показалась колокольня, старые, натруженные ноги матушки Сигги стало жечь и ломить, точно их стегали кнутом. Но теперь, уповая на помощь божью и посулы господина пастора, она возвращалась домой легким, молодым шагом, не чувствуя боли в ногах.

После того как старая крестьянка покинула усадьбу, господин Петрус зашел в поварню к матушке Бригитте, чтобы взглянуть на баранью ногу.

Это был окорок молодого барашка, но до того тощий и высохший, что тошно было глядеть на него. Верно говорила матушка Сигга — весу в нем было не больше шести фунтов. Пастор повертел постную, жилистую баранью ногу. И тут вспомнились ему жирные, откормленные телята, которых приводили когда-то из Брендеболя в пасторскую усадьбу. Это были отборные семинедельные молочные телята, вспоенные жирным, неснятым молоком. Мясо у них было вкусное, сочное. Куски жареной телятины таяли во рту, точно мед.

Господин Петрус Магни стоял в поварне, держа в руках тощую, жилистую баранью ногу, и в душе его поднимался гнев против дворян, посягнувших на права духовного сословия.

ДЕНЬ И НОЧЬ СКАЧЕТ ГОНЕЦ

Отныне три податных хозяйства Брендеболя находятся под властью Убеторпа; деревня Брендеболь входит в помещичьи владения.

Как только взойдет солнце и пропоют петухи, крестьяне собираются, чтобы идти на барщину в господскую усадьбу. Они выходят из низеньких дверей своих домов, потягиваясь после сна, вялые и безрадостные. Смотрят на пашни, которые всё еще называют своими, хотя их

земля теперь принадлежит помещику. Они бросают взгляд на свои поля, а потом идут возделывать чужие. Они поджидают друг друга, стоя на пороге, а затем, собравшись небольшой кучкой, медленно трогаются в путь.

По утрам кучка крестьян в серых армяках не спеша бредет в господскую усадьбу. Люди еле переставляют ноги. Куда им спешить? Строить господский дом, возделывать господские поля? Дома их ждут свои поля, у них своих дел хватит. А с помещичьим полем и погодить можно. Армяки болтаются на тощих плечах, словно на кольях изгороди. В этот голодный год многие носят слишком просторную одежду. Мяса на костях не хватает, и потому штаны отвисают на заду. От соломы, почек да кореньев мужичий зад не раздобреет. А когда тощает тело, армякам да штанам просторнее. Одежда на крестьянах изношенная, вся в прорехах, заплата на заплате.

Стучат деревянные башмаки, идут подневольные мужики. Кучка крестьян в серых армяках бредет на барщину в господское имение. Эти люди попали в кабалу к помещику, потому что усадьбы их входят в свободную милю. На барщине день кажется вдвое длиннее, чем на своем поле.

На своем поле крестьянин распрямляет спину, когда сам того захочет, на барщине — когда надсмотрщик прикажет. Дома он хозяин собственной спине, на барщине он ей не хозяин; помещик сам решает, когда ей гнуться, а когда разгибаться. Дома крестьянин сам хозяин своему телу, на барщине им владеет помещик. Одно дело — работать без принуждения, по своей охоте, и быть самому хозяином, иное дело — работать на помещика из-под палки.

Дома солнышко колесом катится по небу,— на барщине оно словно приклеено к небу. Одно дело — доля свободного человека, иное дело — доля яремного вола. Одно дело — своя воля, иное дело — господская неволя.

Чего ради должен бонд строить господские хоромы?

Чего ради должен бонд возделывать господские поля? Оттого, что земля его вошла в свободную милю и владеет теперь ею помещик.

Поздним вечером кучка крестьян медленно бредет по дороге домой. Усталые руки болтаются в рукавах, еще сильнее отвисают штаны на заду. Прошел еще один

день на барщине, а сколько дней им осталось — про то никому из них не ведомо. Сперва они должны были отбывать барщину два дня на неделе — так было им обещано,— но потом с них потребовали три дня, а в страду и все четыре выйдет. Помещичий фохт сулит одно, а получается другое. Сами крестьяне не знают толком, какие повинности положено им отбывать. Другой уведомляет их о том при надобности. Им же положено знать только одно — ходить на барщину сегодня, и завтра, и послезавтра — и так без конца.

Стучат деревянные башмаки, идут подневольные мужики. Идут они по утрам на барщину, возвращаются по вечерам в деревню.

Вот так — взад и вперед, взад и вперед. Тот, кто ходит лишь взад и вперед,— топчется на месте, пути его не будет конца вовеки. Кучка крестьян, что ходит между поместьем и деревней, не видит конца своему пути. Путь этот не длиннее четверти мили, но когда ноги поденщиков меряют его изо дня в день, взад и вперед, взад и вперед, он может растянуться на тысячи миль. И нет тому пути ни конца, ни краю. Это путь рабства, бесконечный путь по земле помещика. Начинается день — и крестьяне идут в имение, кончается день — и крестьяне возвращаются в деревню. Но они идут по кругу, а у круга нет ни конца, ни начала.

В Брендеболе наступили перемены. В Сведьегорде живет Ларс Борре, караулит посевы, надзирает крестьян. Его недремлющее око следит, чтобы они ничего не утаили от помещика. В деревне завелись новые обычаи. Прежде староста трубил в рог, созывая односельчан на сход у колодца. На сходе они одобряли то, что считали правильным, и отвергали то, что считали несправедливым. Но крепостным помещика Клевена не о чем держать совет. Вместо схода у них теперь фохт Ларс Борре. Нет у них теперь своих дел. Да и какие могут теперь у них дела быть? Как для них лучше, о том они узнают от фохта. И незачем им ломать себе голову. Отныне им нечего одобрять и нечего отвергать. Им теперь не нужно забивать себе голову и держать совет на деревенских сходах.

В деревне наступили перемены. Об этом говорит грамота, прочитанная на уездном тинге в Упвидинге и занесенная в уездную книгу: «Я, Бартольд Клевен из Убе-

торпа, Скугснеса и Рамносы, сим уведомляю, что три податных хозяйства Брендеболя входят в свободную милю Убеторпа, по каковой причине я эти три хозяйства, согласно привилегиям, данным мне ее величеством, своими почитаю и беру под свою руку, в чем и подписуюсь собственноручно».

Новые порядки заведены в Брендеболе. Они закреплены тингом, одобрены законом, записаны в судебные книги. Отныне Брендеболь — барщинная деревня, со всеми обычаями барщинной деревни. Брендебольцы должны понять, что они теперь барщинные люди помещика Клевена.

Оттого-то и надзирает теперь Ларс Борре за тем, чтобы крестьяне отправлялись по утрам на барщину в господское имение.

Люди эти всегда жили по солнцу. Вставали, когда вставало солнце, а когда солнце садилось, они шли на покой. Они жили как цветы, что всегда поворачивают головки вслед за солнцем. Праведным было для них лишь то, что делалось по солнопутью. По солнцу жили они, и в том была их вера. И сейчас ходит оно по небу извечным своим путем, но для них все пошло навыворот и вспять. То, что вчера было правдой, нынче обернулось кривдой. Настали новые времена. Старые, извечные законы обернулись беззаконием; прежде люди держали путь по солнцу — теперь они идут против солнца. И брендебольцы не могут взять в толк, что же стряслось. Видят, солнце идет по небу своим путем, но сами они разминулись с солнцем. Они идут дорогой рабов. Солнце ходит по небу извечным праведным путем, а на земле творится неправда.

Кучка крестьян бредет по дороге из деревни в барское имение — утром и вечером, взад и вперед, взад и вперед.

Стучат деревянные башмаки, идут подневольные мужики.

* * *

Но недостает среди брендебольцев одного крестьянина. Двенадцать крестьян числится в деревне в поземельной книге, а на барщину идет всего одиннадцать. Двенадцатого никогда не бывает среди брендебольцев. Да о нем никто и не спрашивает. Никто не говорит: «Что же

это нет его?». Фохт — и тот никогда не вспоминает его, не спрашивает: «Где этот человек? Почему не явился?»

Одного крестьянина не хватает среди брендебольцев, и все-таки он всегда и повсюду с ними. Он — во взглядах, в выражении лиц, в строптивости и нераденье, в страхе и чаяниях. Он всегда с ними, ибо это он, человек из леса, бередит их тайные раны.

Они стояли у колодца под вечерним небом и, протянув друг другу руки, дали клятву. Сам вышний судия был тому свидетель. И теперь они таят в груди ноющую рану.

Скупы стали на слова крестьяне Брендеболя и не ведут меж собою бесед, как прежде. Они точно стыдятся друг друга. Стараются не глядеть друг другу в лицо. Тот, кто говорит, отводит взгляд в сторону, тот, кто слушает, не смотрит на говорящего. Все они таят что-то на душе, и оттого глаза их не встречаются. Каждый из них скрывает тайную, постыдную рану, которую и помянуть совестно. Взгляд обнажает эту рану, и потому глазам лучше не встречаться. Каждый из них знает, что и другого мучит такая же рана, и они молча уговорились: «Не тронь мою — и я не трону твою! Дадим друг другу покой!»

И только один из них осмеливается бередить эту срамную рану, он не разделяет позора с другими. Это самый старый из них — Клас Бокк. Иную рану получил оружейник на старости лет — удар шпагой от челядинцев Клевена. Он получил ее, когда стал обороняться и отказался идти на барщину. Но рана эта не позорная, ее незачем скрывать от людей. Рана в руку — почетная рана, не грех ее и обнажить. Его рана — знак мужской доблести, и потому он может бередить тайную, ноющую болячку других. Это рана тех, кто не оборонялся; не исцелится она, потому что ее нельзя обнажить при свете дня и подставить живительным лучам солнца. Ее надо держать в тайности. Рана, которой стыдятся, не заживает. Никто не станет показывать ее, никто не скажет: «Эта рана у меня из-за трусости». Рана эта позорней парши. Точно коросту, скрывают ее от людских глаз. Зуд от нее — как от укуса вши. Нет от нее покоя человеку; он бередит ее с утра до ночи, а она все зудит и зудит. И другие непрошено бередят ее.

Оружейник, тот, кто получил рану в честном бою, спрашивает: «Почему не сделали вы так же, как он?

Почему все вы не сделали так же, как человек из леса?»

Когда односельчане по вечерам идут с барщины, Клас Бокк бросает им дерзкие слова: «Своей земле вы теперь не хозяева. Не хозяева вы теперь своему грешному телу! Над вами чинят беззаконие. Нет вам больше мира и покоя в собственном доме». Неужто так будет во веки веков? Тогда уж лучше им лежать в могиле под зеленым дерном. Что же им делать? Это-то они знают: расправиться с *теми!* Кто такие *те*, ясно без слов. Оружейник не назвал никого по имени, да и нет в этом надобности. Это прежде всего *тот* человек, а потом все его прихвостни и приспешники. И едина у людей воля и дума — расправиться с *теми*. Но, может, они упустили время? Может, уже слишком поздно? Они смирились и покорно ходят на барщину, но доброе оружие еще при них. Еще не опустела стена над почетной скамьей. Исстари висит на ней оружие, и крестьяне носят его при себе, куда и когда хотят, и в будни, и в праздники. Это право свободного человека все еще сохранилось за ними. Они не какие-нибудь недоноски, хотя и надели на себя по доброй воле господское ярмо. Но фохт косится, завидев в деревне крестьянина с мушкетом и топором. Он говорит, что все это оружие надо убрать с глаз долой. Этот душегуб Сведье раздробил плечо Нильсу Лампе, и случилось такое кровавое дело потому, что крестьянам дано слишком много воли и они повсюду таскают с собою мушкеты и топоры. Если в деревне не будет мира и покоя, то придется и на сей счет завести иные порядки. Но Борре надеется, что с той поры, как этот смутьян из Сведьегорда ушел в лес, в деревне некому больше затевать раздоры.

В Брендеболе нет трусливых недоносков. Но отчего же тогда они не пускают в ход оружие, как подобает мужчинам? «Может, уже слишком поздно?» — спрашивают они, упав духом. Никогда не поздно вернуть свою честь, подстрекает их оружейник; никогда не поздно избавиться от бесчестия. Брендебольцев слишком мало, и сами они не могут помочь себе. Но идут толпы крестьян на барщину и в других деревнях. Идут крестьяне в Ростоке и Хеллашё, в Гриммайерде и Рюггаму, в приходах Экеберга и Ленховда, в уездах Линнерюд и Лонгашё. Идут крестьяне во всех уездах Вэренда, Сёдермёре и во многих других уездах окрест. И если каждый

из собратьев постоит за себя, то все они станут свободными. Если они сговорятся и поднимутся на помещиков, то все добудут себе волю. Почему же не скачут гонцы с факелами?

Кучка крестьян медленно бредет от деревни к поместью. Они не отстояли своих вольностей, когда пришло время, а теперь ждут помощи, откуда бы она ни пришла. В годы лихолетья носили по деревням священный огонь. Может, где-нибудь зажгут его и теперь? Может, его уже носят по деревням?

Они идут по свободной миле дорогой рабов. Стучат деревянные башмаки, идут подневольные мужики.

* * *

Множество всякого люда ехало в эти дни по дорогам, ведущим в столицу королевства. Разодетые, ехали с шумом и грохотом, с пышной свитой родовитые дворяне из замков и поместий. Ехали молчаливые люди в черных рясах из пасторских усадеб, ехали купцы и ремесленники из торговых городов. Все они должны были встретиться в столице королевства. Ехали все сословия, направляясь по всем дорогам в Стокгольм, где повелением ее величества королевы в день Ивана Купалы, в лето тысяча шестьсот пятидесятое созывался сословный собор.

Среди путников были также и выборные от крестьян в серых армяках. Их дорожные коробы были наполнены караваями, туесками с маслом, ломтями солонины, бочонками с селедкой, кругами сыра. Припасов должно им хватить на все время, что будет длиться собор. Это хмурые, молчаливые люди. Но, повстречав на дороге дворян, они становятся еще мрачнее. Нелегка дорожная поклажа, но тяжелее всех она выборным из Смоланда. Грозное напутствие получили они от своих земляков: если выборные не привезут весть о том, что у дворян отобрали крестьянские наделы, то пусть лучше и носа не кажут в родные места! Упаси боже того, кто привезет иную весть! И потому выборные из Смоланда еще угрюмее и мрачнее видом, нежели другие их собратья из крестьянского сословия.

Первый сановник королевский, великий риксканцлер, сказал как-то о крестьянах: «Они мне все равно что братья». Может, припомнить ему эти слова на сослов-

ном соборе? Но королева сказала, что для нее «лучший крестьянин тот, у кого семь узлов на вожже да семь дыр на шапке».

Выборные из Смоланда везут королеве Черстин гостинец в дорожных коробах: мякинный хлеб, замешенный на соломе, почках и пырее. Раскроют они свои коробы перед ее величеством и станут ждать от нее помощи.

* * *

Но нынешним летом пущен по деревням Вэренда штафет. Откуда начался его путь, про то никому не ведомо. Видно, послали его крестьяне какой-нибудь деревни, воротившись однажды вечером с барщины на господском поле. Тяжким, как никогда, показался им путь из поместья в деревню, и захотели они воли. И сговорились они послать штафет своим собратьям, что разделяют их участь. Вырезали на нем все положенные меты и кровью своей поставили на нем родовые знаки; каждый крестьянин поймет, что они означают, и не откажется передать штафет дальше. Доска, обожженная с одного конца и окровавленная с другого,— это призыв, посланный собратьям в беде. И, так же как когда-то несли священные смоляные факелы, несут они теперь штафет.

По деревням Вэренда пущен штафет; день и ночь скачет по дорогам гонец со штафетом. Он скачет по деревням Вэренда, как скакали бесчисленные гонцы до него; он держит путь по солнцу, он скачет с востока на запад, от деревни к деревне, от прихода к приходу, от уезда к уезду.

Подобно священному огню, штафет день и ночь в пути. Штафет послан! Штафет идет! Принимай штафет! Скачи! Скачи! Нынче же в ночь!

В троицын день прибывает штафет в Усабю, имение Ульфсаксов, и в тот же день он поспевает в Хусебю, имение Юлленйельмов. А затем берегом Салена его везут в Энгахольд и Спонингсланду, откуда новые добровольные гонцы скачут с ним в Бергквару. Штафет нельзя задерживать — всякий, кто берет его в руки, должен не мешкая передать его дальше.

Ясен кровавый знак на доске: кто задержит штафет у себя, тот предатель, и расправляться с ним должно

как с предателем. Затем штафет прибывает в Бергквару, где многие деревни находятся под властью дворянского рода Спарре, а отсюда его пересылают через Ойабю в Крунуберг, огромное королевское имение с сотнями податных хозяйств; и здесь многочисленная толпа крестьян принимает весть.

День и ночь скачет гонец с тайным штафетом; штафет переходит из рук в руки, он призывает людей в серых армяках, что собираются на заре в господском поместье: «Отказывайтесь от барщины! Громите помещичьи усадьбы! Расправимся с помещиками! Добудем себе волю!» Большинство крестьян штафет поднимает на борьбу, и они радостно распрямляют спины; но иных штафет страшит, и они застывают, боясь обжечь пальцы об это опасное пламя. Но и те, и другие повинуются наказу и передают его дальше, ибо штафет имеет власть даже над малодушными. Алый родовой знак, кровь собратьев, заставляет их повиноваться призыву: «Штафет послан! Штафет идет! Принимай штафет! Скачи! Скачи! Нынче же в ночь!»

Всего за несколько дней священное пламя пронеслось через весь Вэренд, оставляя повсюду на своем пути тлеющие огоньки. Тайный огонь бежит по земле, ширится, точно низовой пожар. И все эти огоньки должны соединиться и запылать одним огромным костром, пламя которого озарит всю страну, до самого Стокгольма, где созван сословный собор. Штафет пересечет кальмарскую границу и дойдет до крестьян в Мёре. Крестьяне Вэренда и Мёре всегда обменивались штафетами, когда объявляли ратный сбор. Сперва штафет будет послан на юг, в уезд Сёдермёре — владения графа Акселя. Здесь крестьяне подвластны самому знатному и могущественному из дворян; весть близится к крестьянам, что пашут и сеют на его сиятельство, графа Акселя. Тысяча сто податных хозяйств принадлежит ему.

От усадьбы к усадьбе, от прихода к приходу, от уезда к уезду передается в эти дни призыв к свободе. Его нельзя задержать, его нельзя остановить, он должен быть в пути день и ночь. Штафет приняли крестьяне Юлленйельмов, он дошел до крестьян помещика Спарре, и теперь его везут дальше, в Сёдермёре, к крестьянам графа Оксеншерны. Его везут посолонь, с востока на запад, через Альбу, Чиневальд и Норрвидинге; всё новые и новые гонцы, конные и пешие, принимают его.

Штафет попадает в богатое поместье Хувманторп, что находится в Конге и принадлежит семейству Шюте, а оттуда — в имение Юлленспарре Ингельстад, где давно уже начались беспорядки и того и гляди вспыхнет бунт. Призывный клич достигает Скугснеса в Линнерюде, Гримснеса и Крокешё в Юдере. Тут уж рукой подать до Упвидинге, откуда штафет повезут через кальмарскую границу в Виссефьерду, округ графов Оксеншерна. Скоро и крестьяне графа Акселя услышат призыв. Штафет идет! Коннику не остается пути и на полдня.

Крестьянин из поместья Крокешё в Юдере принимает однажды вечером штафет и в тот же час скачет в Альгутсбуду. Он видел знак, и он торопится. Но его предостерегли, и он поглубже спрятал штафет под одеждой.

И вот поздним вечером в Брендеболь прискакал всадник на тощей мужицкой лошади. Он спешился без шума, он не из тех, кто может показываться всем на глаза. Он привязал свою заморенную клячу к придорожному дереву и спросил деревенского старосту.

И случилось так, что в дом старосты явился крестьянин, которого он не знал. Старосте он показался маленьким, невзрачным, смирным человеком. Он, видно, искал приюта на ночь. Но у этого невзрачного человека было до старосты дело, о котором он не стал говорить громко. Лишь оставшись с Йоном Стонге с глазу на глаз, он открыл, для чего явился в Брендеболь. Крестьянин вытащил из-под армяка доску длиною в локоть и протянул ее Йону Стонге:

— Штафет послан! Штафет идет! Скачи! Скачи! Нынче же в ночь!

Староста взял доску в руки. Так вот для чего явился в его дом незнакомец. Это, должно быть, штафет уездного судьи, который созывает на тинг. Его надо передать дальше, присяжному здешнего прихода, Уле из Кальваму. Так подумал было староста, беря в руки доску. Но, услышав, что гонец — крестьянин из поместья Крокешё в Конге, он понял, что этот человек не может сзывать на тинг в Упвидинге. Не королевский это и не казенный штафет. Но кто же тогда послал его? И почему его приходится передавать с глазу на глаз? Староста пригляделся к штафету повнимательнее. Он похож на все другие штафеты, которых Йон Стонге немало видел и передавал на своем веку, хотя то были большей

частью восьмиугольные жезлы, а это простая доска. Но он чувствовал, что с этим штафетом не все ладно. И стал осматривать его, ища знаки и меты. Один конец доски был обуглен, так что староста запачкал об него пальцы. Вот он, знак, который искал староста,— знак священного огня, знак смоляного факела. Тут было все, как положено. Но с другого конца доска была окровавлена. Это был знак, сделанный кровью тех, кто послал штафет. Он грозил смертью предателю, который осмелится задержать штафет. Кровь была на доске, и староста понял, какую страшную весть несет штафет. Он увидел знак, вырезанный на доске. Теперь он знал все.

Это был запретный штафет. Староста увидел и узнал старинный знак. То был гвоздырь, утренняя звезда была вырезана посреди доски[1]. И перед глазами старосты засверкала звезда, грозно ощетинившаяся острыми шипами, железная звезда, разящее оружие, знак, призывающий к восстанию. Он увидел знак всех давних распрей, что жили в памяти дряхлых стариков. Этот знак был в ходу во время восстания Дакке. Теперь староста знал, какую весть принес гонец. Он знал, что повелевает штафет.

В руках Йона из Брендеболя был призыв бунтовщиков: «Отказывайтесь от барщины! Громите помещичьи усадьбы! Расправимся с помещиками! Добудем себе волю!»

Гонец, низкорослый крестьянин из Крокешё, был бледный черноволосый человек с горящими глазами.

— Принимай штафет!

Староста Брендеболя мешкал с ответом, он еще не сказал, как положено: «Штафет принимаю!» Он стоял, словно онемев, и свет утренней звезды слепил ему глаза. Гвоздырь — доброе оружие в руках тех, кто умеет с ним обращаться. Глубоко впиваются острия в дородную господскую плоть. Они вонзаются так глубоко, что могут вырывать кишки из утробы. Многие помещики и фохты испытали на себе это грозное оружие, корчась от него в смертной муке.

— Скачи нынче же в ночь в Виссефьерду! Или пошли другого вместо себя!

---

[1] Гвоздырь, именуемый «утренней звездой», был классическим оружием восставших крестьян. *(Примеч. автора.)*

Железная звезда возникла перед взором Йона Стонге, и старосту одолел страх: на остриях блестели следы крови. Но теперь настал его черед. Весть эта спешная и важная.

— Скачи в Сёдермёре! Скачи! Нынче же в ночь!

На это староста мог дать только один ответ. Он знал закон, непреложный для каждого гонца. Закон этот запечатлен на одном конце доски, где собратья поставили знак своей кровью. Он знал, как обойдутся с тем, кто задержит штафет и не передаст его дальше, знал, как покарают этого человека.

Утренняя звезда возникла перед Йоном Стонге, и стал он теперь ее гонцом. Староста пробормотал ответ, которого дожидался ночной гость:

— Штафет принимаю! — И, кивнув головой крестьянину из Крокешё, он подтвердил: — Нынче же ночью — в Виссефьерду, в Сёдермёре! Сам или пошлю другого вместо себя!

Гонец удовлетворенно кивнул и исчез из деревни так же тихо и незаметно, как явился.

Йон Стонге стоял, держа в руке доску, штафет со знаком утренней звезды. Он принял весть от собратьев, разделяющих с ним гнет. Руки собратьев вырезали знаки на этой доске, ее везли день за днем, ночь за ночью, мчали милю за милей, передавали из рук в руки. Штафет держали и несли множество рук, они касались его и оставили на нем свои следы. Штафет прошел через длинную цепь натруженных мужицких рук, что сами не могли добыть себе свободу и теперь ищут поддержки друг у друга. Сотни рук протянуты к Йону Стонге, это руки собратьев, тысячи живых рук. Теперь наступил его черед присоединиться к цепи.

Поздним вечером Йон из Брендеболя стоял у ворот своей усадьбы, оглядываясь вокруг.

Ибо в руках у него был не королевский штафет. То был запретный, недозволенный штафет, который может навлечь погибель на гонца. Его нужно передавать с опаской. Этой же ночью надо увезти его прочь из деревни. Наутро односельчане узнают весть, но нынче же ночью его надо отвезти в Виссефьерду. Он не смеет оставить на ночь доску со знаком утренней звезды. Господские холопы живут в деревне, и за каждым углом может подслушать доносчик. Оглядевшись, староста су-

нул штафет под армяк. В штафете было добрых три четверти, но он уместился под одеждой. Йон Стонге спрятал кровавую доску у себя на груди, поближе к телу. Он должен, как это делали все до него, повиноваться наказу: «Скачи! Скачи! Нынче же в ночь!»

Кобыла старосты припадает на заднюю ногу, и ей не свезти седока в такую даль, до самой Виссефьерды. Но он пойдет к Класу Бокку и попросит его поехать со штафетом нынче в ночь. А может, сходить к Симону Эббессону? Или к Матсу Эллингу? Ему никого не хотелось бы просить; всего лучше поехать самому, самому быть гонцом, да вот лошадь у него охромела на заднюю ногу. А дело это спешное, и скакать надо на таком коне, у которого все ноги целы. У оружейника Бокка добрый конь, и он наверняка не откажется отвезти штафет. Ведь и для них будет лучше, если штафет пойдет дальше, в Виссефьерду. То, что не по плечу двенадцати крестьянам Брендеболя, может оказаться по плечу двенадцати тысячам крестьян Вэренда и Мёре.

Йон Стонге пошел к Класу Бокку; его путь лежал мимо Сведьегорда. Тут он заметил Ларса Борре, что сидел на скамье в пчельнике и отдыхал, наслаждаясь теплым вечером. Староста остановился и хотел было тихонько повернуть обратно, но фохт уже увидел его и поманил к себе.

Йон Стонге молча приблизился к фохту. Левую руку он прижимал к груди.

— Видел ли ты нынче вечером двух ратников на дороге, когда шел из имения?

— Нет,— ответил староста. Когда он шел вместе с другими крестьянами с барщины, встретился ему бродячий швец Свен, и больше никого не было на дороге.

Борре сидел с непокрытой головой; он почесывал темя и отгонял от лица мошкару.

— Объявлен розыск двух беглых ратников. Они затеяли свару на постоялом дворе в Бидалите.

Йон Стонге ничего об этом не слышал. А фохту было известно, что на постоялом дворе два вдрызг пьяных ратника нанесли оскорбление проезжему дворянину, и теперь этих скотов разыскивает ленсман Оке Йертссон из Хеллашё. В бегах были сотни ратников, и староста подивился, с чего это ленсман разыскивает именно этих двух. До сих пор королевский фохт позволял бродягам шататься по дорогам, так как на то была воля

властей — не преследовать их, покуда среди крестьян царят беспорядки,— ведь шпаги и мушкеты могли одинаково служить что крестьянам, что короне.

Фохт испытующе посмотрел на Йона из Брендеболя. Тот собрался было продолжать свой путь, но фохт вдруг наклонился к нему:

— Говорят, штафет объявился в округе.

Старосту точно обдало ледяной струей. Ноги у него ослабли, он весь обмяк и не в силах был сдвинуться с места. Отощавший комар впился ему в левое веко, и, поднеся руку к глазам, чтобы согнать ненавистную тварь, Йон Стонге словно невзначай прикрыл ладонью половину лица.

— А про что весть? — спросил он.

— Этот штафет не от уездного судьи и не от сыскного: это крамольный штафет!

Йон Стонге сказал, что ничего не слышал о таком штафете. Но фохту было известно, что те два ратника на постоялом дворе хватили лишку и распутили языки. Во время свары с дворянином они похвалялись штафетом, пущенным по деревням. Дворянин немедля дал знать об этом ленсману в Хеллашё, и потому ныне объявлен розыск этих двух ратников. Они намекали, что штафет уже дошел до здешних мест. Штафет этот подстрекает крестьян к бунту и призывает убивать своих помещиков и господ. Видно было, что староста Брендеболя до смерти напуган вестью о бунтах и убийствах. Он прижал левую руку к груди, точно хотел унять стук сердца.

Так вот, из-за этих болтливых ратников, продолжал Ларс Борре, стало известно, что штафет объявился в Альгутсбуде, и теперь его ищут день и ночь. Ленсман Йертссон и его люди стерегут на дорогах всех проезжих. Никому не дозволяется ехать дальше, покуда путник не доложит, за каким делом едет, и не даст себя обыскать с ног до головы. Если штафет находится в Альгутсбуде, то он окружен. Гонцу отсюда живым не выбраться.

— Скоро штафет будет у нас в руках! Это уж как пить дать!

Видно было, что фохт совершенно уверен в этом, и староста не собирался разуверять его. До сих пор фохт говорил вполне миролюбиво, но вдруг в голосе его зазвучала угроза:

— А ведомо ли тебе, чем поплатится всякий, кто передаст дальше крамольный штафет?

— Ведомо,— ответил староста.

— Головой поплатится! — Фохт впился взглядом в лицо старосты.

— Слава богу, у нас про этакий штафет не слыхать,— тихо сказал староста.

— Но он может объявиться! Что, ежели он объявится? Что тогда станут делать крестьяне?

Йон из Брендеболя искоса глянул на свой армяк, который оттопыривался немного с левой стороны груди, точно у старосты вспухло сердце. Он чуть приподнял правое плечо, чтобы армяк одинаково оттопыривался с обеих сторон.

Фохт уже убедился, что Йон из Брендеболя — крестьянин рассудительный и покладистый, человек миролюбивый и увещаниям поддается. Он хочет добром уладить распри, чтобы вся деревня жила в мире и в тиши. Так что с ним можно обойтись по-хорошому. Подстрекатели, которые сговорились и послали штафет, говорит ему поэтому фохт, не подумали, сколько горя да беды может выйти из этого. Не понимают они, что сами себе готовят кровавую баню. Они всякий раз забывают, сколь горестно кончаются для них смуты. Что вышло у крестьян из Мёре при короле Густаве-Адольфе Великом? А ведь тогда и ратники были заодно с ними! Бунт затеяли с вилами да топорами! Одного отряда рейтаров хватило, чтобы разогнать всю эту свору. А чем кончился тогда мятеж? [1] Крестьян, которые упорствовали до последнего, заперли в сарае и сожгли. А зачинщиков и гонцов, что везли штафет, прежде чем отрубить им головы, пытали и колесовали. Главарю их в смертный час надели на голову железную корону, словно королю, только корону ту сперва накалили докрасна на огне. У злодея спалило всю кожу на голове, да делать нечего — пришлось ему носить корону и быть королем мятежных холопов.

После того как смутьяны были умерщвлены, отрубленные их головы посадили на колья изгородей вдоль проезжих дорог в назидание и для острастки остальным. Не худо было проезжающим крестьянам из Мёре полюбоваться на эти головы. Они торчали на кольях,

---

[1] Фохт намекает, очевидно, на восстание 1624 года в Мёре под предводительством Йона Стинна, но приводит также некоторые случаи из истории других крестьянских восстаний, происходивших примерно в это же самое время. *(Примеч. автора.)*

покуда от них не остались одни обглоданные, голые черепа. И белели эти черепа мужицкие на жердях, точно белые голуби на ветках. Вот уж, верно, была пожива воронам в тех краях!

Только с той поры крестьяне в Мёре присмирели и стали покорными, словно только что окольцованные свиньи, что не могут рыть землю пораненным рылом.

— И такая награда ждет всякого, кто станет передавать крамольный штафет!

Йон Стонге стоял, слушал и крутил головой во все стороны, точно чувствовал уже, что удавка захлестнулась у него на шее. Он был из тех, кого создатель наделил даром воображения, подчас мучительного, и этим даром он пользовался весьма усердно.

— Ну, где уж крестьянам со своим жалким оружием одолеть господ! — продолжал Борре.— Пошлют против них из Кальмара ратников с мушкетами и пиками, и те переколют их, точно свиней. Убитые кучами будут валяться и плавать в собственной крови. Так неужто же они станут губить свою жизнь ради смутьянов? Неужто им хочется, чтобы их вдовы и сироты плакали по ним горючими слезами? Или им опять захотелось кровавой бани?

Тут, в Брендеболе, крестьяне принадлежат помещику Клевену, и с той поры, как этот душегуб и насильник Сведье сбежал в лес, в деревне — тишь да гладь. И если они будут повиноваться своему господину, то и впредь будут мирно жить-поживать в своих домах. Господин Клевен печется о них, и они будут в полной безопасности в своих усадьбах, если только останутся смирными и покорными. А подстрекатели, что мутят народ, видно, последнего ума лишились.

Борре не сводил глаз со старосты, который беспокойно топтался на месте. Нет, этот человек не похож на подстрекателя. У него лицо степенного крестьянина. По всему видно, что он и сам негодует на своих непутевых собратьев, из-за которых не стало житья разумным людям.

— Так ты говоришь, ничего не слыхать про штафет?

— Мне о нем ничего не ведомо.

— Будьте начеку! Тайный штафет может дойти и до вас!

Йон Стонге все еще прижимал левую руку к груди, сердце у него нестерпимо защемило. Острия утренней

звезды вонзились в его тело. Как ему избавиться от них?

И он пустился в длинные рассуждения. Ему, мол, ведомо, что в Брендеболе никто не замышляет крамолы и кровопролития. Односельчане, правда, ропщут на непосильные поборы и на тяжкую барщинную повинность. Их беззаконно принудили отбывать барщину, им хотелось бы вернуть свои права, и за это их никто не вправе осудить. Но ни один из крестьян не собирается бунтовать и идти против власть имущих. Такого у них и в мыслях нет. Хорошо бы, если бы им удалось вернуть себе права по доброму согласию.

От таких слов фохт просиял и успокоился. Он встал и похлопал старосту по плечу:

— Ну, я вижу, Стонге, ты бунтовать не станешь и не пойдешь за смутьянами... И не прогадаешь! — Ларс Борре подумал немного и добавил: — У тебя вроде осталось еще полбочки оброчной ржи?

— Да, около того.

— Эту рожь я тебе дарю. Оставь себе.

— Стало быть, мне можно оставить ее себе на прокорм? — подивился староста.

— Да, на прокорм. Пеки, знай, хлеб из чистой ржаной муки. Ты его заслужил.

С этими словами Ларс Борре ушел в дом. Йон Стонге не двигался с места, недоверчиво глядя ему вслед.

Неужто и вправду ему не придется больше есть хлеб, замешенный на мякине, почках и коре? Неужто фохт сам, своими руками, отдал ему оброчную рожь? Что-то не похоже это на Ларса Борре. Может, он нынче выпил и от этого подобрел? Хотя Стонге не заметил, чтобы он был навеселе. Но что сказано, то сказано: староста может взять себе полбочки оброчной ржи.

Стонге стоял, радуясь своей удаче, но тут рука его коснулась груди, и он вспомнил о том, что спрятано у него под армяком. На груди у него схоронена окровавленная доска со знаком утренней звезды.

Староста повернул обратно с полдороги. Он не пошел в усадьбу Бокка и дела еще не кончил. Надо обождать, покуда фохт уляжется спать. Он свернул на тропку и пошел к покосу на берег озера. А с тем делом успеется, он пойдет к Бокку сегодня же вечером.

«Скачи! Скачи! Нынче же в ночь! Скачи в Виссефьерду!»

Но ленсман со своими людьми уже выехал на розыски. По всем дорогам выставлены заставы.

Йон из Брендеболя подходит к изгороди, опоясывающей луг. Вдруг он останавливается как вкопанный и глядит на нее во все глаза. Он не сводит взгляда с кольев изгороди. Ничего приметного в них нет — колья как колья, можжевеловые, заостренные, очищенные от коры; локтя на два выступают над перевязью. Они ничем не отличаются от других кольев, но староста не может отвести от них взгляд. Он долго смотрит на них, а потом проворно перелезает через плетень.

Он идет по лугу, подходит к ручью и пьет чистую воду из железного ковша, что лежит на берегу. Он заходит в густой лозняк, останавливается помочиться, а потом идет дальше. Он опять подходит к изгороди и застывает на месте. Глаза его опять прикованы к кольям. Ничего диковинного нет в этих кольях, но староста все разглядывает их. Острые концы их локтя на два выступают над перевязью. Эти колья вбивают по два в землю и накрепко перевязывают ивовыми лозинами, чтобы они не расходились. Много раз видел Йон Стонге такие колья и сам вбивал их в землю, уж ему-то они не в диковину. Но он долго стоит, не отводя от них глаз, а потом поворачивает обратно. Он не перелезает через изгородь, он идет другой дорогой.

Нынче вечером Йон Стонге, завидев изгородь, пятится назад и обходит ее стороной. Ибо чудятся ему на ней страшные видения. Не мудрено, что староста со страхом пятится от каждого плетня. Ведь на кольях насажены отрубленные головы. Он узнает лица. Он останавливается, долго глядит на них, а потом сворачивает в сторону. Острия втыкаются в красное мясо на растерзанной шее; крепко сидят головы. Не чужие головы видит он, а головы своих односельчан. Узнает людей, с которыми встречается и беседует всякий день. Это их мертвые головы натыканы на колья.

Остекленевшие белки глаз, оскаленные рты с вывороченной верхней губой, с обнаженными деснами, белыми, точно брюхо дохлой рыбы, слипшиеся окровавленные бороды, шевелящиеся на ветру... Эти мертвецы выставлены для острастки и предостережения. Они понесли кару за то, что передавали крамольный штафет.

Голова, посаженная на кол, точно дорожное пуга-

ло,— вот удел зачинщиков бунта. Мертвая голова на изгороди — вот участь того, кто передает штафет.

Ханс из Ленховды, клейменый палач, безухий, изукрасит мертвыми головами все изгороди по дороге между Брендеболем и Убеторпом. Он посадит их на колья по дороге между деревней и поместьем для устрашения крестьян. И увидит тут жена мужа, мать — сына, сын — отца. Будут они, проходя по дороге, кивать своим родимым, но мертвецы на кольях не кивнут им в ответ. Вороны исклевали головы, и теперь голые черепа белеют, словно голуби на ветках.

Барщинные крестьяне будут ходить этой дорогой утром и вечером, туда и обратно, ходить они будут тихо и покорно.

Стучат деревянные башмаки, идут подневольные мужики.

Йон из Брендеболя узнает эти мертвые головы. Но одна из них особенно страшит его. Это его собственная голова.

Он идет к берегу озера и останавливается, когда вода подступает к самым ногам. Он сует руку за пазуху. Он может это сделать. Он может бросить штафет в самую глубь озера. Если привязать к нему камень, он потонет. На дне озера будет лежать эта доска, покуда не сгниет.

«Скачи сам или пошли другого вместо себя!» Он мог бы отправиться в путь на колченогой кобыле, рысцой она не хуже других довезла бы его. Но он не хочет скакать прямиком на виселицу. Не хочет, чтобы его зарыли в этой про́клятой богом земле без покаяния. Легче ли станет его вдове и осиротевшей дочке, если он лишится жизни и его неприкаянная душа будет терпеть вечно муку? Не станет он из-за этой доски губить свою жизнь на вечное горе себе и своим родимым! Никому от этого пользы не будет.

«Пошли другого вместо себя!» Но он не может послать на смерть другого. Не может он глядеть, как Клас Бокк оседлает нынче вечером коня,— у него молодая жена и новорожденный сын. Ни на кого из соседей не хочет он навлечь погибель. Если по его вине будет загублена чья-то жизнь, так ведь его совесть замучит! Лучше уж утаить и схоронить эту смертоносную доску, чем ради нее загубить человеческую душу.

Староста стоит на берегу озера и ищет камень потя-

железе. Но не находит. Он все еще держит в руках окровавленную доску, он еще не утопил ее в озере.

«Смерть предателю, что осмелится задержать штафет!»

Но доска никогда не появится больше на свет божий, она будет лежать на дне озера, покуда не сгниет и не истлеет. Никто не знает, что штафет прибыл в деревню, староста никому еще не открылся. Никто про это не знает, да никто, верно, никогда и не дознается. Потопить доску в озере, и никогда она не выплывет.

Но впопыхах он не может отыскать подходящий камень. Нужно привязать к доске груз, чтобы она не всплыла наверх. Надо быть настороже, чтобы штафет опять не появился на свет божий. Руки у старосты почернели от обугленного конца доски. В руках его священный огонь, что вызволяет людей от бед и рабства. Что же ему делать? Неужто он погасит огонь на дне озера, священный огонь?

Это клич собратьев: «Добудем себе свободу!». Это призывная весть о свободе, что должна мчать дни и ночи напролет.

Штафет послан, штафет идет! Скачи! Скачи! Нынче же в ночь!

Несет этот штафет с собою весть важную, спешную. Его нельзя ни задержать, ни остановить, ни утаить. Всякий, кто берет его в руки, должен повиноваться наказу. У штафета великая сила. Один конец его окровавлен. Это предупреждение трусливым и нерешительным: «Такая кара постигнет тебя, если...»

Йон из Брендеболя держит доску в руках; он все еще не утопил ее в озере. А что, если и его рука присоединится к рукам собратьев, которые мчали этот штафет день и ночь напролет? Что, если и он поможет передать эту весть? Это не его доска, он не может по своей воле распоряжаться ею. Тысячи крестьян замешаны здесь, и руки их крепко держат его руку. Собратья, гонцы, что передавали штафет, удерживают его руку.

Йон из Брендеболя не топит штафет в озере. Он опять прячет его под армяк и возвращается в деревню. У штафета великая сила. Йон Стонге услышал призыв собратьев.

Но нынче же вечером надо сбыть штафет с рук. Он поскачет сам или пошлет вместо себя другого. Он не найдет покоя в постели, покуда не избавится от страш-

ной доски со знаком утренней звезды. Но у него не хватает смелости поехать самому. В последнее время его часто мучит по ночам удушье и видятся дурные сны. Недавно ему приснилось страшное: что его пальцы зажаты в пистольные замки. Он никак не мог снять их, они так и оставались на руках, пока он не заметил, что пальцы стали гнить и отваливаться. Под конец на руках у него остались одни почерневшие обрубки. Неужто и сегодня ночью ему приснится страшный сон?

А может, оставить штафет у себя в доме до утра? Может, обождать малость, пораскинуть умом?

Поможет ли им штафет одолеть власть имущих? Толкуют, что отныне в королевстве помещики будут вечно владеть крестьянами. Поздно уже обороняться. Какая уж тут оборона для того, кто лишится жизни! Он попадет в рабство смерти, а от этого господина никому нет избавления. И свободы ему, стало быть, все равно не добиться. Йон Стонге идет обратно той же дорогой, напрямик через усадьбу Сведье. Гороховища и капустные гряды обнесены изгородью. Высокие колья вырастают перед старостой, вонзаясь остриями во тьму. Он застывает на месте, пятится, он глядит на колья во все глаза.

Вот его мертвая голова. Он узнает ее. Мертвая голова Йона из Брендеболя торчит на одном из кольев придорожной изгороди. Его родимая жена и ненаглядная дочка придут поклониться ему. Им придется идти к нему, ибо сам он не сможет прийти к ним. Ведь его схватили, казнили, растерзали; осталась одна его голова, отделенная от тела и посаженная на кол. Навечно разлучили его с родимыми. Жена Альма и дочка Ботилла глядят на него и плачут горючими слезами. Этот мертвец — родимый батюшка, это батюшкина голова торчит на жерди. Почему не пожалел ты нас, милый батюшка? Зачем загубил свою жизнь? Какой нам от этого прок? На кого покинул ты нас, своих родимых? Почему не сберег ты свою жизнь? Тяжко слушать причитания жены и дочки и не сказать им в ответ ни слова в утешение. Горько слушать такие речи, когда не можешь ответить, не можешь утешить. Острие жерди протыкает язык, а как говорить с проколотым языком? Мертвая голова не может утешить опечаленных домочадцев.

Йон из Брендеболя повернул прочь от изгороди, через которую собирался было перелезть. Он тайком по-

шел к себе домой и взял в сарае мотыгу. Земля схоронит так же надежно, как и вода. Но он не станет зарывать штафет на своей земле. Он хочет обезопасить себя на всякий случай. Он хочет обезопасить себя, дать себе время пораскинуть умом. Он хочет обезопасить себя на нынешнюю ночь.

Он в нерешительности остановился у деревянного колодца. Где? И тут ему пришло в голову, что надо идти от колодца по ходу подземного источника, как в тот раз, когда он шел по деревне, ища место для деревенского колодца с помощью чудо-посоха. Он знал, где протекает подземный источник, и шел с мотыгой так уверенно, будто его опять вел чудо-посох. Взойдя на пригорок и обогнув хлев Сведьегорда, он остановился: «Тут!»

Староста взмахнул мотыгой и принялся копать землю на пригорке. Он вырыл ямку с локоть глубиной и шириной с три четверти локтя. Копал, откидывая в сторону дерн и неподатливые корни травы. Потом вынул из-за пазухи доску и осторожно положил ее в ямку. Ямка была вырыта в самый раз, в доске было ровно три четверти. Он завалил доску землей, плотно сбивая друг к другу куски дерна. Потом усердно утоптал землю ногами и ушел восвояси.

* * *

По утрам кучка крестьян идет из деревни на барщину и по вечерам возвращается домой. Изо дня в день идут они дорогой рабов по свободной миле помещика. Они ждут помощи, откуда бы она ни пришла.

Штафет идет! Скачи! Скачи! Нынче же в ночь, в ночь!

Но долгожданный штафет запрятан в деревне Брендеболь.

А СОЛНЦЕ ИДЕТ СВОИМ ПУТЕМ

Ручей, обмелевший этим летом почти до самого дна, бежал вдоль коровьей тропы, которой шел теперь человек. Вода с легким звоном скользила по гладким камням, темнела в тени деревьев, пенилась на перекатах, сверкала и искрилась на открытых солнцу местах. Беглый, долго шагавший по затвердевшим отпечаткам копыт на тропе, лег ничком под поваленным деревом у

небольшого падуна и стал пить, черпая воду пригоршней, словно ковшом. Здесь, в густой еловой тени, студеная вода ломила зубы. Он пил пригоршню за пригоршней. Свежие неглубокие отпечатки копытец на краю ручейка подсказали ему, что совсем недавно сюда на водопой прибегали косули.

Напившись вволю, Рагнар Сведье присел на камень и положил рядом мушкет и поклажу. Он отдыхал, прислушиваясь к лесу. В лесу стояла тишина. Была середина жаркого июньского дня, зверье попряталось в норы. Деревья застыли, словно им хотелось услышать шепот дальних лесов. Далеко окрест ни одна веточка не шелохнулась, не хрустнула, не надломилась. Солнце стояло в зените, и в летнем лесу наступил час полуденного отдыха.

Беглый поискал глазами солнце меж еловых макушек. Сделал он это по привычке, а не потому, что сомневался в дороге. Коровьи следы на дороге были старые и едва различимые, но Сведье знал верные приметы еще с тех пор, когда босоногим мальчонкой пас скот в здешних краях. Пока подпасок становился мужчиной, лесная чаща разрасталась и знакомый подлесок вымахал в рослые ели. Но Сведье все равно здесь не заблудится, если только лесовица не собьет с пути.

Он пробирался лесными дебрями на восток, в сторону Кальмара. От Брендеболя лесом до границы по озеру Мадешё всего полдня пути. Но в такую даль он не собирался идти. Задолго до границы тянулась Каменная Змея — огромная чащоба со скалистыми обвалами, глухая и непроходимая. В одной из ее расселин, среди каменистых осыпей, он еще подпаском нашел лисью нору, где подобрал четырех лисят. Логово было размером с каморку, и в нем сохранились следы человеческого жилья. В этом тайнике в Каменной Змее целых пять лет жил кузнец Лассе из Геташё, хоронясь в лесу после смертоубийства, пока не уплатил пеню и не помирился с братом убитого. Лисью нору, где убийца нашел приют, Сведье назвал горницей кузнеца Лассе. Иногда во время охоты он заходил сюда на лыжах по первопутку, но никому не открыл этого места. Насколько ему было известно, никто не знал о тайнике. К этой-то норе он шел и сейчас.

Какая удача, что он помнит эти края еще сызмальства! Здесь он пас скот и караулил кострища на пожогах,

охотился на дичину и валил лес под пашни. И теперь, придя сюда, чтобы остаться тут жить, он не плутал в лесу, а шел как по соседской усадьбе. Он узнавал лесные тропы, звуки и приметы, свет и сумрак леса, он помнил об его опасных обитателях и верных тайниках.

День выдался жаркий. Молодой ельник красовался свежими, отливающими багрянцем шишками, и смоляная патока стекала по стволам. Сведье стряхивал с шеи колючие хвоинки, прилипавшие к потной коже. Вдруг на верхушке старой, высохшей сосны прямо над головой у него замолотила желна. Беглый прервал отдых, поднялся и зашагал прочь. Не станет он сидеть под деревом, на верхушке которого стучит птица,— не к добру это.

Сведье продолжал свой путь в прежнем направлении, оставляя солнце по правую руку. Он шел мягким, скользящим шагом, бесшумно и быстро, хотя сам он был рослым и кряжистым, а на спине нес поклажу. Он шагал по сосновому бору, по ровной, как пол, земле, поросшей темным вереском, овечьей травой и папоротником. Вокруг высились сосны с желтыми гладкими, без единого сучка стволами. Иногда он останавливался на несколько минут, отыскивая глазами приметы: старый бурелом, заросшую полосу бывшей пожоги, кособокое дерево или громадный валун. Найдя нужный знак, он шел дальше.

Этот бескрайний лес щедро даровал всякому свои тайники. Сосновый бор вдоль скалистых лощин сменялся густым можжевельником. Беглый взбирался на холмы, поросшие кустарником и березняком, где заячий помет горками сох на солнце. Наконец он вошел в суровый и могучий еловый лес. Лес, точно тяжелая тень от тучи, загородил солнце, и под деревьями сгустился сумрак. Разгоряченные щеки Сведье почувствовали прохладу, которою сменилась жара. Но теперь он уже был у цели.

Среди редеющих деревьев возвышались серая каменистая россыпь и холм. Тут Каменная Змея огибала свои владения. Целая груда замшелых косматых камней завалила ложе высохшей речки. На этом месте, быть может много тысяч лет назад, вода проложила себе русло, тут меж камней она струилась и журчала, и в ней когда-то плодилась, играла и билась рыба. Но горная речка иссякла, вода ушла под землю, и тогда,

может быть сотни лет назад, последняя рыбина перевернулась кверху брюхом, раскрыла рот и сдохла под камнем, и там уже давно истлели ее кости. Словно дракон, стерегущий свои сокровища, Каменная Змея изогнулась дугой, оберегая огромную лесную глухомань.

Повсюду разверзались скалистые ущелья. Сведье пробирался через россыпи к покрытому лишайниками каменному обрыву высотой с добрый дом. Тут он остановился и свалил ношу с плеч. Он стоял перед горницей кузнеца Лассе.

Узкая расщелина была входом в нору. Сняв пояс с топором и ножами, он полез в нее. Ему пришлось ползти на животе, помогая себе локтями. Подпаском он, извиваясь как уж, проскальзывал проворно в расщелину,— взрослому это удалось с трудом. А какой-нибудь пузатый парень и вовсе не смог бы протиснуться сквозь лаз.

Кое-где пещера была достаточно высока, и Сведье мог выпрямиться во весь рост. В самом широком месте она достигала добрых пяти шагов. Над его головой сквозь узкие трещины в своде просачивался дневной свет. Даже в светлый день здесь не разглядишь, как вдеть нитку в иголку. От черного утоптанного земляного пола тянуло сыростью.

В самом дальнем углу пещеры белела какая-то груда. Он подошел ближе и пощупал. То были старые бараньи кости. Он взял в руку увесистую лобную кость барана, на которой еще уцелели скрученные завитки рогов. Ему довелось слышать, что кузнец Лассе крал овец с пастбищ, но ведь мясо могла затащить сюда и лисица.

Сведье втащил в нору свои пожитки, нарубил и натаскал елового лапника, чтобы устроить себе постель. Затем он взял мушкет и заботливо проверил, не отсырел ли порох в пороховнице. Ни пожитков, ни съестных припасов не хотел он хранить в пещере. Припрятав их в укромном месте, он наконец с облегчением вытянулся на своем еловом ложе и заснул.

Спал он мертвым сном. А когда проснулся, в пещере был сумрак. «Верно, наступил вечер», — подумал он. Каменные выступы на стенах грозно тянули к нему во мраке свои руки. У него подводило живот. Он выполз из норы через расселину, захватив с собой мушкет. И в лесу он понял, что проспал почти до заката. Он ступал по траве осторожно, нагибался, стараясь не за-

цепить веток. Он думал подстрелить птицу. Он слышал вечерние трели пташек, они разносились по всему лесу; он вспугивал вяхирей, разлетавшихся от него в разные стороны. На одной из полянок валялись крапчатые перья — видно, ястреб задрал тут тетерку.

Сведье крался дальше. Из-под валежника послышалось хлопанье крыльев. Глухарка со своим выводком бросилась наутек; птенцы, хотя еще не умели летать, бегали уже быстро.

Он решил сберечь заряд для зверя покрупнее и, сломав толстый прут, бросился вдогонку за убегающим выводком. Глухарята рассыпались в разные стороны и попрятались в черничнике. Вдруг он увидел, как двое из них, ослепленные страхом, понеслись прямо на отвесную скалу. Тут-то он их и настиг. Несколькими ударами прута он прикончил добычу.

Беглый наломал сучьев с палой сосны и сложил из них меж камней костер. От иссохшего соснового пня он набрал растопку. Огниво у него было спрятано в кармане куртки, он достал его и высек огонь. Валежник загорелся, и, пока сучья прогорали, он ощипал и выпотрошил птиц. Глухариный выводок был довольно рослым для этого времени года. Сведье зажарил глухарят на углях; мясо пригорело, но ему показалось вкусным, как на праздничной трапезе. Изголодавшись, он так жадно пожирал поджаренные тушки, что едва успевал выплевывать косточки. Голод утих, но сытости Сведье не почувствовал. Он мог пересчитать по пальцам, сколько раз в этом году наедался досыта.

Наступила ночь, и костер погас. Днем ему не следует разводить огня. Дым может выдать. Если бы его стали искать, то приметили бы по дыму место, где он прячется. Ночью он мог, не таясь, жечь костер в каменных россыпях лощины. А в горнице Лассе щели были слишком узкими, чтобы выпускать дым.

С тех пор как он поселился в лесу, он впервые развел костер. Прежде всего он хотел охранить свое огнище от подземных троллей и нечистого и потому вытащил нож и обвел им три круга слева направо вокруг раскаленных углей. Потом он плюнул три раза на горящие головни, чтобы подземные тролли не обожглись и не стали бы ему мстить.

Вытянувшись во весь рост на мху, он обглодал и высосал птичьи косточки, раздумывая обо всем, что слу-

чилось с ним за день с самого восхода солнца. Он кипел гневом на односельчан. Трусы все до одного! Поклялись держаться вместе, но отступились от своей клятвы. Ради невесты ему хотелось бы оправдать старосту. Но Стонге ходил с фохтом по дворам и советовал крестьянам смириться, а этому нет прощения. Клас Бокк был теперь единственным из односельчан, которого он мог еще уважать. Годами он был старше всех, но все-таки пытался обороняться. А Йона Стонге, хотя он и на много лет моложе, одолел страх, точно немощного старца. Сведье еще недавно во всем полагался на этого человека и верил, что Стонге не нарушит слова и уговора. Но слова и клятвы одно, а дела — другое.

Малодушного не распознаешь в доброе время, когда ему не нужно держать слово. А когда придет лихо и труса станут пугать да неволить, вот тут-то он и раскроет свое настоящее нутро. Суровые времена отсеивают трусливых.

Сведье должен был излить свой гнев. Но, по правде сказать, что ему до поступков других крестьян? Пусть сами отвечают за все и пожнут то, что посеяли. А у него и своих дел хватает. Его предали, он остался без друзей и ушел из родных мест, чтобы найти приют в лесной чаще. Он больше доверял лесу, чем крещеным людям. Ни зверье, ни деревья не предадут его, он будет питаться мясом зверей и греться у костра. Лес был другом и заступником вольного человека.

Но тут, в лесу, надо остерегаться и нечистой силы, хотя никому никогда не доводилось увидеть ее или повстречаться с ней. Никто не видел лесной нечисти, если она того сама не хотела, но ведь она могла принять какое угодно обличье. Верно, не вся она таит к человеку злобу. Он обезопасил себя от подземных троллей и нечистой силы,— огниво и костер защищают его. Минувшей ночью он приметил, что лесовица шла за ним и Ботиллой по пятам. Как бы не прогневать ее — ведь ей подвластны все лесные звери. Верно, ей неймется слюбиться с ним, да пока она еще не являлась ему в женском обличье.

Лесовицы он не боялся, а прокормиться в лесу и подавно не хитро. У него был порох в роге и пули в кисе, и, покуда стоит лето, горевать ему не о чем. Тем временем свершится справедливый суд, и он вернется домой. Если Клевен пошлет своих людей разыскивать его, то

он схоронится в дальних лесах. А уж коли его выследят, то охотники не возьмут его голыми руками, как затравленного зайца. Он будет начеку. Что бы ни случилось, он не сдастся и живым его не взять.

* * *

Зной в лесу не спадал. На прогалинах сильно пекло солнце, и чад шел от коры и хвои. Начало лета было сухое, и Сведье тревожился за свое ржаное поле, на котором земля тонким слоем лежала поверх камней. На таком поле посев не стерпит засухи. Сведье горевал о посеянной ржи, которую ничьи руки, кроме его собственных, не вправе были жать.

Он натаскал мху, нарезал сухого папоротника и, устлав ими пол пещеры, приготовил себе мягкую постель. Он стрелял птицу и ловил рыбу; тем и кормился. В изгибе Каменной Змеи лежало глубокое, как колодец, озеро. Зияло оно в лесу, словно огромный черный драконий глаз. Сведье мастерил рыболовные крючки из острых птичьих костей и лесы из липового лыка, насаживал птичьи потроха на крючки и закидывал снасти в озеро. Брали окунь и лещ. Он выдирал кусты можжевельника и плел из корней сети на щук. Из переплетенных волокон и корней получились прочные ячеи. Он ставил сети в озерных заводях, поросших травой, ловил щук и жарил их на угольях.

Ни одной души не встречалось Сведье в этой глухомани. Он видел, как над вершинами елей подымался дымок от пожог, но в ту сторону не ходил. Несколько раз он слышал в отдалении людские голоса и звон коровьих колокольчиков. Не похоже было, чтобы его искали в лесу.

Однажды пасмурной ночью он пробрался в деревню проведать тайники, которые они устроили вместе с матушкой Сиггой. Потаенные места были у них в груде камней за хлевом у лесной опушки. Мать сдержала слово. Под камнями в тайнике лежал мешочек черной ржаной муки пополам с мякиной, полмеры репы и гарнец соли. А еще нашел он там три серебряные ложки, завернутые в шелковый платок. Тут он понял, что мать ушла из дома. Она сберегла для сына родовое серебро, которое пригодится на черный день. Но больше всего он

обрадовался гарнцу соли — теперь он сможет хранить мясо зверей и покрупнее.

Он старательно завалил тайник камнями. Хотелось бы ему повидать невесту, но ночь была слишком светлая, и он побоялся подойти поближе к домам. Он непременно вернется, как только лето пойдет на убыль и ночи потемнеют. Прежде чем возвратиться в лес, он заглянул, на ржаное поле, где сиротливо стояли стебельки ржи, низкорослые и хрупкие, изнуренные засухой.

Самое нужное он не решился оставить в горнице кузнеца Лассе, а закопал под корнями могучей сосны, вблизи своего логова. Там же он спрятал и серебряные ложки, и мешочек с мукой, и соль. Время от времени он доставал муку и пек хлеб. Он замешивал муку на воде, сыпал соль и клал похожее на тесто месиво прямо на раскаленные угли. Кусочки угля приставали к подрумяненным лепешкам, и ему приходилось выплевывать их, когда он ел.

Потемнели ягоды черники, вокруг камней и пней созрела земляника — лес приготовил ему новую еду. Пока стояла жаркая и сухая погода, дни были похожи один на другой. В середине лета земля лежала, освещенная солнцем от восхода до заката, и в полуденном пекле еловая смола, словно мед, сочилась по стволам.

Солнце шло своим путем, и он считал дни.

Как-то тихой и безветренной ночью пошел дождь. Сведье проснулся в своем логове от звука падающих капель, которые просачивались сквозь щели в пещеру. Звук был такой, словно птичьи клювы усердно долбили камень, и ему чудилось, что к нему пытаются забраться живые существа. Если бы он не слышал ровного шума дождя снаружи, то мог бы подумать, что этой ночью вокруг его жилья куролесят водяные.

Лежа на постели из мха и прошлогоднего папоротника, он вдруг почувствовал, как капля дождя, крупная и прохладная, упала ему на глаз. Слава богу, оросил дождичек нынче ночью и его пашню. Напоил он колоски на стеблях, напоил и зерно в колосьях. От него зазеленела выжженная трава на выпасах. Это хлеб падал нынешней ночью из царства небесного бедным и голодным людям на земле. Сведье лежал и прислушивался. Дождь сыпал в лесу, словно просеивали жито на грохоте.

Лило день и ночь напролет, сутки за сутками. Лесной житель проводил почти все время в своем укрытии,

и досуга у него было хоть отбавляй. Он взял нерёта из волокон корней, сплел себе корзину из прутьев можжевельника и вырезал миску да ложку.

Однажды утром он увидел, что кто-то словно выцедил облака, хотя они, еще набухшие, висели на небе и было прохладно. Сведье взял мушкет и пошел в лес за дичью. В Каменной Змее не попалось ему ни одной птицы, и он зашагал дальше, к озеру Мадешё, в те края, куда еще не хаживал. По пути он делал на деревьях ножом зарубки, чтобы потом найти по ним дорогу назад. Он вошел в бескрайний низкорослый лес с лапчатыми корявыми соснами, кустистыми березками и вересковыми пустошами. Он знал, что вокруг Мадешё лежали тощие земли. Как-то раз он добрался до самой трясины Флюачеррет, за которой чернел безбрежный нехоженый лес, прозванный Волчьим Логовом. В нем прятались и жили многие беглые люди.

Земля под ногами начала отлого спускаться в лощину, и лес снова стал рослым и могучим. На дне лощины звенел ручей. Статные гладкоствольные сосны тянулись к небосводу львиными гривами своих крон.

Он уже подумывал повернуть обратно из этих незнакомых мест, но тут в нескольких саженях от него с шумом вылетел громадный глухарь. Он мгновенно вскинул мушкет и выстрелил. Глухарь на лету затрепыхался и, сложив крылья, врезался в заросли молодых березок. В том месте, где упала грузная птица, затрепетали листья.

Сведье приметил макушку березки, возле которой рухнул глухарь, и быстрехонько добрался до дерева. Но добычи он не увидел. Искал он, искал, но глухаря и след простыл. Ни единого перышка не было видно. Дичь как сквозь землю провалилась. Он недоумевал. Подбей он птице только крыло и глухарь мог бы бегать, так он услышал бы его,— ведь такая большая птица не может бежать в зарослях бесшумно, как лесной воробышек.

Он долго искал глухаря, пиная кусты вереска, в досаде, что лишился столь лакомого куска. Не иначе как подземные тролли уволокли его глухаря. Они подкарауливали и выжидали, когда он подстрелит птицу. Так что ему лучше и не искать. Что уворует лесная нечисть, того не воротить, и незачем ему попусту гневить троллей.

Сведье побрел к ручейку на дне лощины, чтобы осве-

житься глотком воды. Вдруг он замер на месте, а палец сам лег на курок мушкета.

В ольшанике возле ручейка что-то шевелилось. Что это? Громадный зверь на четырех лапах? Леший? Или, может, лохматая серая овца? Оно заворочалось, и теперь Сведье увидел, что это было двуногое существо в серой овчине.

Стало быть, кто-то есть в лесу! Может, холоп Клевена выслеживает его? А может, это еще один беглый здесь прячется? Сведье решил незаметно подойти поближе и посмотреть, кто бы это мог быть.

По мшистому склону нетрудно было пробираться без шума. Он подошел и остановился на расстоянии мушкетного выстрела.

На камне у воды сидел человек, одетый в широкий тулуп из серой овечьей шкуры, лопнувший на спине, где просвечивала белая полоса. На голове у него была шляпа с круглой тульей, заношенная и вся в дырах, из которых торчали пряди волос. Но кожаные штаны на нем были новые, нелатаные, а сапоги блестели, точно барские. Лицо его сплошь заросло свалявшейся бородищей, из которой, будто ястребиный клюв, торчал нос.

Сведье не знал этого человека. Он собрался было повернуть назад, так и не выдав себя, как вдруг увидел, чем был занят незнакомец. А тот сидел и заострял ножом крючок из ольхового сучка. Потом всунул крючок в горло птицы. Это был крупный и жирный глухарь. Глухаря этого Сведье уже видел раньше. В бешенстве он бросился к незнакомцу:

— Ты мою птицу забрал!

Человек в сером тулупе вскочил, зажав в руке нож. Он окинул Сведье быстрым взглядом с ног до головы, и глаза его остановились на мушкете. Мушкет Сведье не был заряжен. Тогда рука с ножом опустилась, и он спокойно уселся снова на камень. При нем не было другого оружия, кроме ножа.

— Я своего глухаря ищу. А он у тебя! — сказал Сведье.

Незнакомец ничего не ответил. Он лишь заквохтал хрипловатым притаенным смешком, который еще пуще распалил обворованного охотника.

— Подавай сюда птицу! Она моя!

— Ого-го! Это еще как сказать! — проквохтал незнакомец.

— Моя, говорю тебе!

— Петуха нашел я,— ответил самодовольно парень.— Ты не приметил моего тулупа в кустах.

— Подавай глухаря!

— Да уймись ты! Не к спеху.

Незнакомец смотрел на Сведье спокойно, с хитринкой во взгляде. Борода и волосы у него были рыжие. Прямо из гущи бороды поблескивали ясные и настороженные глаза.

Волосы у человека ерошились, как на холке у кобылицы, и выбивались наружу сквозь рваную тулью шапки.

— Нечего было зевать! Ты стрелял, а я подобрал.— Рыжебородый, ухмыляясь, открыл рот. Зубы у него были неровные, как зубья на граблях.

— Так не отдашь птицу? Тогда будем драться! — Сведье сделал шаг вперед и угрожающе вскинул мушкет.

Незнакомец зорко следил за его движениями, но страха не выказывал.

— Я же сберег глухаря и для тебя. Давай лучше поделим добычу,— сказал он примирительным тоном и осторожно проткнул птицу заостренным ольховым прутом.— Дашь мне половину, Сведье? Тогда я нажарю мяса и на тебя.

— Ты признал меня? — вырвалось у Сведье.

— Я знал, что бонд бродит по лесу.— Одобрительно взглянув на глухаря, незнакомец добавил: — Ловко ты в него пальнул, Сведье.

Желание ссориться с этим человеком у брендебольца вдруг пропало. Он, пожалуй, отобрал бы у незнакомца добычу и проучил бы прохвоста, но теперь, когда тот узнал его, никто не ведает, сколько вреда может причинить ему этот человек. Может, и глухарь-то того не стоит.

Медленно опустил он мушкет:

— Петух мой. Ну, да ладно, бери себе половину. Только гляди, в другой раз не накладывай лапу на мою дичину.

— Ладно, Сведье! — ухмыльнулся рыжебородый.— Небось проголодался?

— Так ты поджаришь глухаря?

— А как же! Пошли ко мне в нору.

— А где ты живешь?

— Да тут, по соседству. Нора недалеко, ног не отобьешь.

— Пошли!

От голода у Сведье кишки подвело. Но все-таки он еще раз повторил, что глухарь его и если он дарит незнакомцу половину, то по доброй воле. Лишь после этого он принял предложение человека в сером тулупе. Он наверняка не соглядатай Клевена, но на всякий случай Сведье решил быть начеку, чтобы не попасть впросак. Он удивлялся, как это незнакомцу удалось уволочь глухаря у него из-под носа; наверно, он еще до выстрела хоронился в березовом молодняке.

Они тронулись в путь. Рыжебородый шел впереди, и глухарь болтался на палке у него за спиной. Сведье шагал за ним по пятам. Они шли по дну лощины вдоль ручья, который вскоре пропал в большом болоте. Теперь Сведье вновь узнавал эти места. Начиналась трясина Флюачеррет, и он понял, что они неподалеку от озера Мадешё. Трясина тянулась полмили, вся заросшая густой травой, пахучим цветущим мхом, осокой, волчьим лыком и подбрусничником. Болотные кочки щетинились кустиками клюквы, а меж ними, как головки птиц, проглядывал пух цветов белоуса. Посреди топи возвышалось несколько островков, кое-где прикрытых елочками-недомерками да кустиками ольхи. Несколько луней пугливо встрепенулись, в траве зашуршало, и только примятые стебельки указали, куда побежали болотные птицы.

Лесные жители перешли трясину там, где она сужалась до протока. Человек в сером тулупе держался впереди, петляя между ямами и топями. Он велел Сведье идти за ним шаг в шаг, если тот не хочет промочить ноги. А оступись он хоть самую малость, засосет его бездонная топь. Мало проку от этой тропы было бы тому, кто впервые пошел бы по ней без провожатого.

По другую сторону трясины высился завал из дубов. Старые, почерневшие стволы, которых никогда не касался топор, были наконец повалены бурей и медленно гнили, растопырив черные, мертвые сучья и торчащие из-под земли корневища. Незнакомец вел Сведье сквозь бурелом и завалы, кое-где они перелезали через громадные стволы, кое-где проползали под ними.

Вдруг провожатый остановился:

— А вот и моя землянка.

Зажатый среди опрокинутых бурей дубов, высился небольшой холмик. Сведье догадался, что пристанище незнакомца вырыто в холме, но входа не видел. Однако прямо перед собой он приметил дуб, который упирался крепкими сучьями в землю, а между стволом и землей образовался лаз почти в человеческий рост. Провожатый на корточках пролез под стволом. Сведье пополз за ним. Они очутились в прорытом проходе, тесном и темном, как подпол. Но тут хозяин землянки отворил бревенчатую дверцу, висевшую на петлях из ивовых прутьев, за которой проход заметно расширился, и сверху забрезжил свет.

— Вот и моя конура,— сказал рыжебородый.— Самому бы тебе сюда нипочем не добраться!

Сквозь отверстие в крыше просачивался дневной свет, и глаза Сведье понемногу привыкли к полутьме. Он открыл рот от удивления.

Он находился в довольно просторной землянке. Толстые сосновые бревна подпирали потолок. Посреди стояли очаг и печка, выложенные из валунов, дымоход был выведен через земляную крышу, с вьюшкой у самого потолка. У очага лежали наваленные грудой сухие дрова и лучина. У поперечной стены за очагом были свалены мохнатые овчины и пуховые подушки, так что получалась добрая, мягкая постель. Пол в землянке был тоже мягким и ухоженным; на нем были разостланы высушенные телячьи шкуры. У одной из продольных стен стояла лавка и несколько окованных деревянных сундуков, разрисованных красной краской. Тут же были стол, обеденная посуда и всякая другая утварь. Сведье никогда и не думал, что в простой землянке может оказаться столько всякого добра.

Но он не выказал удивления. Человек, который так обставил свое жилье, видно, уже давно жил в лесу. Еще не перевелись бывалые лесные жители у кальмарской границы.

Рыжебородый развел огонь в очаге, и оба принялись ощипывать глухаря. Потом незнакомец насадил его на вертел:

— Зажарим петуха с кровью. Чего голодному ждать, коли глухарь в руках!

Сведье молча смотрел, как хозяин землянки переворачивал глухаря на вертеле. Когда птица хорошенько зажарилась, незнакомец разрезал ее пополам и отдал

половину охотнику. Сведье отведал и признал, что глухарь приготовлен на славу. Он прожорливо глотал мясо и не мог вымолвить ни слова. Он подобрел к товарищу и совсем забыл, что ел собственную птицу, которую тот стащил у него. Только наевшись досыта, он задал ему вопрос, который давно вертелся у него на языке:

— Не знаю, как тебя величать. Ты ненароком не из Мадешё?

Незнакомец обгладывал шейку глухаря:

— Нет, не из Мадешё. Я блесмольский.

— Блесмольский?

Слово это поразило Сведье как удар грома. Если этот человек был из Блесмолы и жил тут в лесу, то нетрудно было догадаться, кто он таков.

— Так ты, выходит, Угге?

— Он самый и есть.

Блесмольский вор!

Сведье вскочил с места. Рыжебородый сплюнул на раскаленные угли, так что они зашипели, и продолжал обсасывать шейку.

— Стало быть, ты тот самый ворюга!

Сведье было совестно: как это он раньше не сообразил, кто таков был незнакомец? Угге, лесной вор, о котором шла молва, будто он даже глаза у людей уворовать сумеет. Догадывались, что Угге вырыл нору, словно мышь, и живет в ней. Но никому и в голову не приходило, что воровское прибежище могло быть такой удобной землянкой. Когда Сведье огляделся и увидел два медных котла, подвешенных к потолку, всю эту посуду и одежду, овечьи и телячьи шкуры, сундуки и всякий скарб, когда он все это увидел, то сам не мог надивиться своей недогадливости. Только вор мог натаскать столько добра! Сведье уже не удивлялся, что тот стащил у него глухаря.

Он сидел у того же очага и ел ту же снедь, что и лесной вор Угге из Блесмолы. Угодил за один стол с вором!

Угге продолжал спокойно сидеть. Жесткие рыжие космы спадали ему на лоб, точно кудель, и он посмеивался квохчущим смешком. Клочья бороды на его лице отсвечивали, смех был глухой, а сам он сидел нахохлившись, ухая, словно филин на елке.

— Это ты украл серебро у Бокка,— сказал Сведье.

— Незваным гостем пожаловал я на крестины.

— Вздернуть бы тебя на первом же суку!

— Так ступай, выдай меня!

— Да ежели бы я сразу признал тебя, ноги моей не было бы в твоей воровской норе.

— Ты наелся, сидишь тут сытый, в тепле. Чего же ты ко мне привязался?

— Не по нутру мне воры и мошенники.

— Так ступай, выдай меня!

Тут Угге из Блесмолы разразился таким смехом, что кусок мяса попал ему не в то горло. На все, что говорил Сведье о его плутнях и воровских проделках, у него был один ответ:

— Ступай, выдай меня!

Он швырнул обглоданную шейку в груду костей:

— Заодно уж и себя выдашь! Нашим шкурам — одна цена.

— Я свою шкуру на твою не променяю,— ответил Сведье с негодованием.— Я не мошенник.

— Ты беглый и бездомный холоп!

— Я ушел в лес правды ради. А ты — грешить.

— Но угоди мы в силки — с нас обоих разом шкуры спустят.

— Зато моя честь при мне останется.

Лесной вор прищурился из-под рыжих косм на крестьянина и пригрозил:

— За тобой есть кому охотиться. Ты беглый холоп Клевена. Встретишь господских слуг — быть тебе в остроге.

При этих словах Угге из Блесмолы ухмыльнулся, обнажив свои волчьи зубы. Тут Сведье умолк и молчал так долго, что лесной вор мог торжествовать,— последнее слово в перебранке осталось за ним:

— Как ни хорохорься, а только шкурам нашим — одна цена.

Угге разглядывал рваные штаны Сведье, словно хотел их оценить. Он выставил свои ноги и сравнил. Сведьебонд ходил в рваных портах, а на нем были господские штаны и сапоги. Раньше носил их сам помещик Клевен в поместье Убеторп. Теперь они были на нем, на Угге из Блесмолы. Сведье изувечил господского холопа, а он, Угге, украл господские штаны и сапоги. И у того, и у другого право было! Ведь Угге воровал у богатых и отдавал бедным. Он отмыкал замки в господских домах и забирал одежду, и ни один вор из Альгутсбуды,

Мадешё или Виссефьерды не мог с ним тут потягаться. Даже далеко на юге, в лесах на границе с Данией да в окрестностях Лонгашё и Эльмебуды, и то такого вора поискать надо. Мелких и неудачливых воришек он ни во что не ставил и сам оберегал свою воровскую честь; и такая честь могла стоить, поди, не меньше чести беглого бонда!

Сведье не хотелось спорить. Он велел вору указать ему обратную дорогу через дубовый завал.

— Куда тебя несет? — сказал Угге.— Посиди! Ну, каково у меня логово?

— Доброе логово!

— Ни у кого в лесу такого нет.

Лесной вор горделиво огляделся вокруг и показал своему гостю: вот тут он разводит в очаге огонь, а тут спит под теплыми овечьими шкурами. Зимой в самую стужу сидит под крышей в тепле, ест, спит да баклуши бьет. Только и выходит, что по нужде или за водой, а так лежит себе, полеживает день и ночь. Какого еще жилья надо? А может, Сведьебонд похвастается, что у него убежище не хуже этой землянки?

— Про свое убежище говорить тебе не стану, — отрезал Сведье.— Ноги моей больше не будет в твоей воровской норе, и ты ко мне не ходок.

Видно, Сведьебонд окопался, как барсук, в холодной норе, говорит Угге, и мается там под холодными, голыми камнями. Ему придется нелегко. Недотепы так всегда и живут, когда в первый раз попадают в лес. Их счастье, если встретят здесь бывалых людей...

Лицо лесного вора приняло доброе, вкрадчивое выражение, и он кружил вокруг своего гостя, словно пытаясь заворожить его.

— Проведи меня обратно через завал,— говорит Сведье.

Но хозяину логова хотелось бы удержать его. И видом, и словом он выражает это желание. Трижды он предлагает Сведьебонду снова сесть, подходит и рассматривает его ружье, поглаживает приклад.

Вместе со Сведье они только что сидели как братья, делили поровну дичь. Каждый по-своему хорош в лесу. Сведье горазд стрелять, а он ворует. Сослужат они друг другу службу немалую. Негоже им расставаться, а надо жить вместе в этой глухомани, коль они уже повстречались. Надо быть в помощь друг другу, и нечего им вздо-

рить, ведь их шкурам — одна цена. Жить бы им в согласии, как кровным братьям.

Угге развел руками, показывая на свое жилище: здесь найдется место еще одному доброму охотнику, который будет приносить мясо на жаркое. Землянки на двоих хватит.

Лесной вор зовет Сведье к себе, но тот молчит.

Что верно, то верно — в землянке за дубовым завалом поместятся двое. Но тот, кому предлагают, медлит с ответом. Наконец Сведье говорит:

— Проведи меня обратно через завал!

На этот раз его голос звучит сурово, и Блесмольский вор умолкает.

Он идет впереди, Сведье за ним, они выходят наружу через земляной проход. На краю трясины Флюачеррет они расстаются, не проронив ни слова. Сведье один возвращается через болото по своим следам.

* * *

А над лесом солнце шло своим путем. Человек в лисьей норе считал дни и складывал их в недели. Каждое утро он делал на палке короткую насечку, и каждое седьмое утро он делал на той же палке длинную насечку. Он считал дни и недели, ожидая, когда же ему вернут его права.

Ибо солнце шло по небу извечным, праведным путем.

Как только в логове светлело и зачинался новый день, Сведье вставал со своего ложа и выбирался наружу. Если над его головой синело ясное небо, то он забирался на вершину ближайшего высокого дерева, чтобы увидеть, взошло ли над лесом солнце. Заметив на горизонте оранжевый отсвет на дальних облаках, он оставался на дереве. Вот-вот зажжется для него солнце. Со стороны Мадешё все сильнее льется золотой поток. С вершины дерева он видит, как разгорается солнечный костер там, где встречаются небо с лесом. Солнце поднимается, словно огненный обруч червонного золота, освещает все темные уголки леса и светит ему прямо в глаза. Солнечный костер искрится, раскаляется, растет. Языки пламени в нем переплетаются. С того самого первого утра, когда солнце впервые загорелось над эти-

ми землями, оно всегда плясало, поднимаясь над лесом. Пляшучи, солнце всходило и кружило своим чередом изо дня в день с той поры, как впервые появилось на небе.

Человек в лесу радовался, видя, как солнце пляшет и движется по небу праведным путем. Каждое утро оно указывало ему, что никогда правда не обернется кривдой и в мире всегда пребудет порядок.

Ежели ему и суждено жить изгнанником, так зато на душе у него мир и покой.

А мир и покой даны лишь человеку вольному и свободному.

ЧЕЛОВЕК ОБЪЯВЛЕН ВНЕ ЗАКОНА

Ботилла Йонсдоттер колотит вальком белье на лугу у родника, наливает воду деревянным ковшом в бадью и полощет в ней белье. Стиральная доска упирается в край водомоины. Ее рука лежит на вальке, на котором красными завитками вырезано сердце. Этот подарок получила она от суженого в день обручения.

Чистый ручей бьет ключом из-под большой ракиты, от обильных дождей он выходит из берегов, разливается по лугу и затопляет траву и цветы. Из овражка вытекает светлой струйкой чистая божья водица и течет на север, исцеляя любую хворь, заживляя любую ранку. В зарослях лозняка и орешника проточная родниковая вода смывает всякую грязь и нечисть. Ныне вода залила луг и задержала сенокос.

Наступил месяц косовицы; дни пошли на убыль, раньше стали доить коров. Солнечный обруч катится книзу. Вечерами Ботилла провожает с верхней галерейки дома заходящее солнце. Теперь по вечерам солнце садится ближе к лесу, все дальше от озера. А когда солнце станет заходить у поемного луга и наступит пора солнцеворота, Ботилла обвенчается со Сведье, как и был уговор меж ними.

Свадебную рубаху своему суженому она уже дошила. Но вечерами, сидя в светелке, она частенько раскладывает ее на коленях и нет-нет да что-нибудь переделает: тесемки перешьет или шов подправит для верности. А то начнет придирчиво разглядывать работу — нет ли где лишних стежков или косо подрубленного края. Ведь рубаху жениха будут разглядывать женщины обеих по-

роднившихся семей, и она должна приглянуться и своим, и чужим. Подарок будет суженому впору, она в том не сомневается. Загодя сняла она с него мерку. Подаренная ею рубаха будет под стать ему, так же как его подарок с вырезанным на вальке сердцем под стать девичьей руке, когда та колотит белье.

Когда наступает ночь, Ботилла ждет его. Он придет и останется с ней по чести и уговору. Он не может приходить днем, пока не добьется правды, но когда ночи станут темнее и длиннее, он придет к ней.

Ныне он живет в лесу, как бесправный бродяга, и потому батюшка не хочет пускать его к себе в дом — накличешь беду на свою голову, и ему никакой не будет пользы. Да и сама невеста не хочет, чтобы на его след напали недруги. Но она знает: он все равно придет к ней.

Намедни ночью Ботилла почувствовала, что он неподалеку. Небо обложило тучей, и было совсем темно. Как только в доме все уснули, она встала с постели и развела огонь в очаге — он увидит отблески огня в слуховых оконцах и поймет, что она не спит и готова отворить ему дверь. Мохнатыми шкурами отгородила она очаг от скамьи, где почивал батюшка, чтобы не разбудить его. Потом села перед огнем и стала ждать. Она чувствовала, что он неподалеку и с минуты на минуту постучит в дверь. Она вновь испытывала чувство, которое пережила в тот раз, когда они сидели вдвоем на ранней зорьке под Дубом Висельников. Она явственно слышала пение птиц. Ей чудилось, будто и в самом деле исполняется ее желание.

Едва лишь она задремала, сидя у огня, как Сведье немедля предстал перед ней. По чести и уговору легли они в постель, и она положила голову на его руку. Сбылось ее желание, но в ночи не было видно глаз суженого. А пока Ботилла не поглядит ему в зрачки, она не уверена, что это ее суженый. Но вот светает, и невеста видит его глаза. Ботиллу охватывает ужас. Ведь это глаза палача, это палач лежит с ней в постели. Его рука касается ее, и она чувствует, что он таит злой умысел. Палач дотрагивается до ее груди, и она чувствует ожог. Ботилла вскрикивает: «Сила палача — от лукавого!»

Она согрелась у очага, задремала, и все это ей привиделось. Но на груди осталась опалина. Из огня выскочил раскаленный уголек и прожег ей насквозь сорочку.

Возле левого соска горела красная ранка. Огонь поставил свое клеймо. Болело несколько дней.

Оплошала она, впала в дремоту, когда надо было отворить суженому, за то и поплатилась. Может, он стучался в дверь, пока она спала. Может, он повернул назад, раз его не впустили. Она так крепко заснула, что лишь раскаленный уголек смог разбудить ее.

Наутро матушка нашла в очаге неостывшую золу, а батюшка наказал ей строго-настрого не разжигать огня по ночам. Лишь опалина на груди напоминала ей о ее своевольном поступке.

Колотит девица вальком белье на лугу у родника возле лозняка и орешника. Сегодня вечером солнце зайдет быстрее у леса, нежели вчера; сегодня вечером Botилла снова будет ждать. Она знает, что он придет к ней, и верит, что он вернет свои права. Еще стоят короткие светлые ночи, но солнечный путь на небе убавился, и день осеннего солнцеворота приближается.

Если знать бы, какими тропами он ходит, она ушла бы в лес искать своего суженого. Когда она вечером возвращается домой с подойником, томление охватывает ее. Долгим взглядом провожает она птиц, летящих над деревьями, пока они не скроются из виду. Велико желание послать ему весточку. Покорно бредет она с подойником к дому, а сердце ноет.

Под половицей в клети лежит гвоздь с Дуба Висельников. Она никому не рассказала о нем. Время от времени идет она к тайнику, приподнимает доску и смотрит, на месте ли гвоздь. Вначале она думала выбросить его, утопить на дне озера на веки вечные, подальше от чужих глаз. Ведь гвоздю передалась та дьявольская сила, которую она увидела в глазах палача. Но гвоздь с виселицы лежит под доской.

Коли уж ничто не сможет помочь исполнению ее желания, последняя ее надежда — на этот железный гвоздь. Под половицей в клети хоронит она свою тайную надежду: если он не придет к ней, то она пойдет к нему.

* * *

После вечерней трапезы, наевшись до отвала кулеша из чистой ржаной муки, Йон Стонге молился. Бубня слова молитвы, он выковыривал языком остатки пищи из зубов.

Ни одной крупинке нельзя пропадать зря: брюху сгодится любая кроха, особенно когда в стране дороговизна и недород.

Уже не за горами день святого Олафа, а в сусеке Стонге еще не перевелась мука. Ибо полбочки оброчной ржи подарил фохт Клевена старосте. И до тех пор, пока не перемелют зерно нового урожая, будут печь хлеб и варить кашу из чистой ржаной муки в его доме. Йон из Брендеболя вдоволь ел и в обед, и в ужин, да еще радовался, что близкие его встают из-за стола сытые и довольные. А в других домах голод расползался, как въедливая плесень, и терзал детей, мужей и жен. Сусеки в окрестных дворах еще по весне вымели куриным крылом и выскребли дочиста. И верно, только в доме старосты достаток — благодаря доброй ржи, подаренной фохтом.

Матушка Альма усердно чистила котел; Ботилла наматывала на руку пряжу, а хозяин дома собрался спать, намаявшись на сенокосе. Был поздний вечер.

Вдруг в дверь постучали. Все трое разом прислушались, а дочь ощутила эти удары в груди.

Стонге подошел к слуховому оконцу над дверью и заглянул в него. В глазах поплыла тьма.

— Это он там барабанит! — сказал староста.

Он давно страшился этой минуты. Беглый вернулся из леса.

Не далее, чем сегодня, Стонге слышал, как Ларс Борре поносил и клял злодея Сведье, который все еще в бегах. Он повторил несколько раз, что каждый, кто приютит беглого, станет сообщником в его злодеянии.

— И как он в деревню приходить не боится? — спросил староста.— Ужели хочет всех нас загубить?

— У него в этом доме невеста,— ответила матушка Альма.

Староста поглядел на милую дочку. Ботилла знала батюшкину волю и не стала бы просить о том, что ему не по нраву. Недвижимо, будто одеревенев, сидела она на скамье.

— Пусть убирается откуда пришел, пока не помирится с властями! — сказал хозяин дома.

Он проверил замки и засовы и честью попросил гостя уйти подобру-поздорову. Но тот ответил, что коли дверь не отворят, так он ее топором в щепы разнесет.

Староста растерянно посмотрел на матушку Альму:

— Он хочет силой ворваться в дом!

— На шум люди сбегутся! — сказала матушка Альма.

Йон из Брендеболя отворил дверь, и Сведье переступил порог. Он прошел мимо хозяина дома, даже не взглянув в его сторону, не прислонив мушкета и топора к косяку.

— Ты что, к недругу пришел? — спросил Йон.

— Прежде у меня здесь был друг, и двери его дома были для меня всегда открыты,— ответил настойчивый гость.

Сведье подошел к женщинам и поздоровался с ними за руку. Но хозяину дома руки он не подал. Оскорбленный староста вскипел, и голос его задрожал от гнева:

— Хорош гость, коли с хозяином не здоровается!

— Не к тебе в гости пришел.

— Ты у меня в доме.

— Но руки тебе не подам.— Сведье встал возле Ботиллы, которая отложила в сторону веретено.— Прежде мы подавали друг другу руки,— продолжал он,— ты и я. Мы скрепили рукопожатием клятву у колодца. Помнишь, Стонге?

Забегали глаза у старосты, а лицо перекосилось, словно он хлебнул горькой отравы.

Ботилла встала рядом с суженым и положила ему руку на плечо. Сегодня утром удод, птица-вестник, предсказал ей, что жених скоро придет. С последней их встречи лицо у Сведье еще больше осунулось, а взгляд стал суровее. Волосы у него отросли и излохматились, острые хвоинки запутались в волосах на затылке, борода была давно не чесана. На виске она увидела глубокую свежую ссадину. Она осторожно прикоснулась к ней и почувствовала, как на душе у нее стало необычайно спокойно.

— Не подам руки клятвопреступнику,— сказал Сведье.

— Ты зачем пришел? — спросил Стонге, еле ворочая языком от обиды.

— Невесту повидать.

— Но ты пришел как недруг. Что худого сделал я тебе?

— От тебя все зло пошло. Ты нарушил мужскую клятву.

— Клятву я нарушил не более, чем другие.

— Ты первый отступился и других научил.

— Может, нам всем лучше было подыхать?

— Прежде бонды были вместе, а теперь всяк по себе!

— Мы спасались, как могли. Жизнь-то ведь одна.

— Жизнь вы сохранили, да чести лишились.

Затаив дыхание, обе женщины следили за перепалкой мужчин. Ботилла молилась про себя, боясь поддаться искушению и нарушить четвертую заповедь, которая учит почитать батюшку родимого.

Боров в хлеву тоже жить хочет, продолжал Сведье, жрет пойло в корыте, справляет нужду, валяется на охапке мякины, и ладно ему! Но свиньи не клянутся и не дают обета жить достойно и свободно, как кабаны на воле.

— Я не позволю тебе срамить меня! — в ярости закричал староста.— Убирайся из моего дома!

— Жалко мне тебя, Йон из Брендеболя!

— Жалей лучше себя, Сведье. Ты валяешься под кустом в лесу, а я мирно живу у себя в доме.

Мирно?

Глаза Сведье засверкали:

— Коли мирно живешь, стало быть, ты подлее, чем я думал.

Староста хватал ртом воздух и сопел. Сведье бесчестил его перед женой и дочерью, рот его сводило от позора, как от мякинной жвачки, и он стал сдавать в перебранке. Но когда непрошеный гость, с угрозами вломившийся в дом, захотел пробудить у старосты угрызения совести за подлый поступок, когда захотел разбередить его тайные раны и пристыдить его, излить наружу накопившуюся горечь, он вновь обрел дар речи и стал отвечать и доказывать, что Сведье не прав и возводит на него напраслину. Не поступал он подло, и совесть его покойна. Разве беглому крестьянину лучше, чем ему? Кто в деревне позавидует судьбе Сведье? Что вышло бы путного, ежели бы все они сделали как он? Ежели бы они все кинулись в лес с женами и домочадцами, дряхлыми стариками и детьми — какой от того прок? Маялись бы без крова и пищи. Каждый имеет право спасать свою жизнь и своих родных, как ему

сподручнее. Его жизнь нужна его венчанной супруге и милой дочке. И ради них он не хотел губить ее. Он уберег своих кровных от горя и беды. Кто бы утешил хозяюшку его и Ботиллу, дочку любимую, если бы их муж и отец гнил в яме под виселицей? И не дождаться бы им утешения от того, кто сам сбежал в лес.

Ботилла слушала его, и искушение не почитать отца пропало. Ради них спасал свою жизнь дорогой батюшка.

— Ты нарушил мужскую клятву,— продолжал беспощадный обвинитель.

— Врешь, не нарушал я ее.

Теперь староста мог сказать всю правду. Оно, конечно, верно, это вроде как нарушение клятвы, раз он и другие подобру отрабатывают барщину в господском поместье. Но в лихолетье уговор бондов не имеет той силы, что в былые времена. Обеты не должны связывать человека по рукам и ногам, чтобы он не мог поступать, как посчитает за лучшее. Клятву можно сдержать по-разному, и в это смутное время ее нужно выполнять осторожно, по мере сил, а не с безрассудным упрямством. Ну кто сказал, что сдержать мужскую клятву — значит самим совать голову в петлю палача? Повешенный уже не сможет постоять ни за себя, ни за свои права. Кто поручится, что только Сведье пошел путем истинным и сдержал клятву? Было ли предательство или нет, зависит от того, как толковать данную клятву, и староста толковал ее так, что каждый из них прежде всего должен уберечь свою жизнь, а уж потом отстаивать свои права, ибо, лишась жизни, правды не отстоишь. И они сохранили жизнь, остались целы и невредимы.

Вот и выходит, что никакой он не предатель. Он все так же твердо держался клятвы, как и прежде, и был полон неколебимой решимости защищать свои права и от своих, и от чужеземных помещиков. Только недоброжелатель, ни во что не верящий, может усомниться в его стойкости. Лишь подстрекатель, желающий посеять в деревне раздор и смуту, может усомниться в его готовности дать отпор. А этот упрямец, так отчаянно и неразумно воюя с врагом, в злобе своей норовит теперь ославить и опозорить его.

Сведье спросил:

— Что ж, по-твоему, прежде чем обороняться, надо сперва у врага спросить?

— Вон из моего дома! — закричал в бешенстве Йон из Брендеболя.

— Не уйду, покуда не поговорю с невестой.

— А я не дам приюта тому, кто потаенно пришел в дом. Тебя разыскивают. Ты на всех нас накличешь беду.

Староста с ужасом подумал, что каждую минуту Сведье могут застать в его доме. Может, даже и видели, как он входил.

— Советую тебе не мешкать, а я пойду покараулю у дома.

Йон из Брендеболя нашел повод уйти из дома, чтобы не видеть нежеланного гостя. Он никогда не забудет слов, брошенных ему в лицо, и выносить дольше Сведье он уже был не в силах. Он вышел из дома и оставил его с женщинами.

Матушка Альма подала беглецу остатки ужина, и, покуда он ел, Ботилла латала его рваную одежду. Она передала ему весточку от его матери: пастор Петрус Магни из Альгутсбуды велел сказать, что дело Сведье правое, и обещал, что оно будет доведено до сведения королевы. Ботилла знала, молодая королева Черстин не допустит беззакония. Она знала, Сведье скоро вернется с миром в деревню, и ему незачем уверять в том невесту. Он сердечно поблагодарил за добрую весть. Он живет в лесу, ожидая своего часа, сказал Сведье, и верит, что ко дню солнцеворота вернет свои права и они справят свадьбу.

Матушка легла спать на соломе, лучина в пламеннике на стене погасла, и обрученные по чести и уговору легли вместе в постель Ботиллы. Она положила голову ему на руку. Ночная тьма окутала их. И когда они в постели ощутили тепло друг друга, то были одни-одинешеньки на белом свете. И опять стоял над ними надежный покой, словно сомкнулись над ними своды пещеры. И покойно, и надежно было им от взаимной теплоты. В этом тепле они нежились, укрывшись от страха во тьму, и молчали.

Она провела рукой по его лицу; скулы у него проступали резче, чем раньше. В лесу он заметно сдал. А она, бедная, ничем не могла облегчить его тяжелой доли и только неустанно просила всевышнего защитить и на-

путствовать его. Она смотрела на птиц, прилетавших из леса, и думала: может, им довелось повидать его или, может, какая из них сидела на макушке дерева поблизости от него? Птицы бывают добрые и злые, лживые и правдивые. Сегодня ей передал от него весточку удод, и она как-нибудь покричит ему, пусть он отнесет от нее весточку в лес. Удод — птица вещая, правдивая.

Она рассказала суженому, как однажды отправилась искать его в лес, но, заслышав, что кричит желна, вернулась. Если Сведье случится услышать эту птицу, пусть остерегается ее, как и встречи с красным коршуном. Он обещал ей это, но не велел больше искать его в лесу, где недолго и заблудиться. Лучше он будет приходить к ней, ведь теперь ночи длиннее и темнее. И весточек не нужно передавать друг другу, потому что никто не знает, где хоронится предатель.

Но она сказала:

— Увидишь удода, вспомни обо мне. Но берегись коршуна, не верь этой лживой птице.

Обрученные изредка перешептывались и снова безмолвно лежали во тьме, наслаждаясь блаженным покоем и отрешенностью, которые охватывают мужчину и женщину, оставшихся наедине.

* * *

Йон из Брендеболя караулил дом и, словно привидение, бродил от угла к углу. Он ходил, останавливался, прислушивался и выглядывал. Ночью вся деревня будто вымерла. Но покоя ему не будет, пока беглый не уйдет из дома. Не ляжет он спать, покуда пришелец будет под его крышей.

Сегодня вечером, наевшись до отвалу, он собирался почивать безмятежно и тихо всю ночь, а тут к нему ворвался обидчик. Прежде, когда Рагнар Сведье вел хозяйство в Сведьегорде, был он человек смирный. Но, с тех пор как ушел в лес, он очерствел и стал головорезом и бесшабашным бродягой и не посовестился силой ворваться в отчий дом своей невесты. Он не побоялся возвести на отца своей суженой тяжкие обвинения и оскорбления. Этому человеку теперь все нипочем. Горько видеть, что стало из некогда рачительного хозяина.

Этот вертопрах обвинил его в подлости. «Клятвопреступник!.. Коли мирно живешь, то ты...» Будь он про-

клят за такие слова! Не забыть их никогда. Со злым умыслом пришел он в его дом и стал укорять: «Мирно живешь!» Никто не вправе лезть в чужую душу! Это все одно, что прикасаться к самому сокровенному. Ну, что теперь хочет от него Сведье? Йон не сделал ничего дурного, и его совесть чиста. Да и, как бы там ни было, все равно никто не имеет права спрашивать с него ответа. У самого Сведье раны кровоточат, и ему, видно, хочется разбередить старые, затянувшиеся раны у других, а может, и нанести новые. Страдая из-за своей горькой судьбы, он хочет, чтобы и остальные маялись вместе с ним, провинились ли они в чем-то или нет.

Да и у кого повернулся бы язык сказать, что он, брендебольский староста, в чем-то провинился? О нем только и говорят, что он спас деревню и отвел беду. Правда, на крестьян взвалили тяжкое бремя, но зато они остались живы-живехоньки и поживают себе мирно дома. Одному богу известно, сколько бы они хлебнули горя, поступи они иначе. Жестокой кары избежали.

И лишь обезумевший Сведьебонд буйствует и разжигает вражду. Не придется Йону из Брендеболя провести спокойно эту ночь; он все еще кружит по двору и сторожит, чтобы никто не подошел к дому, пока там незваный гость. Знай он, что ему суждено вытерпеть, он ни за что не отпер бы двери человеку из леса. И, хотя горькая мякина все еще вяжет ему рот, он не станет молчать и терпеть. Насильник должен поплатиться за все.

«Мирно живешь!..» А что Сведье до его совести? У него-то, у Стонге, совесть покойна. Пусть мается беглый в лесу, а тот, кто не чинил беззакония, может жить в мире. Спору нет, порой он мучается во сне, но так ведь это от рези в животе да дурной крови в теле. Червь, видно, пожирает его пищу в теле. Он приставит пиявок, и они высосут дурную кровь.

Староста ходит взад и вперед, ожидая, что дверь его дома вот-вот отворится и он избавится от ночного гостя. Но дверь не отворяется. Староста злится и тревожится, бегает мочиться, как всегда с ним бывает, когда ему не по себе.

Скоро полночь, а он все кружит да кружит.

Неподалеку в усадьбе Сведье темнеет хлев. Он стоит на пригорке.

Стонге замедляет шаги. В двух саженях от хлева лежит захороненный в землю штафет. Время идет, и он должен передать его дальше. Он поклялся в том крестьянину из Конги, и клятву придется сдержать рано или поздно. Штафет надо нести в удобное время, а сейчас вовсе несподручно. Ныне на дорогах задерживают и обыскивают, в стране неспокойно. Какой будет прок, ежели его схватят с недозволенным штафетом? Обещание можно сдержать по-разному, и не прав тот, кто, выполняя его, ввергает в беду себя и своих собратьев.

Ленсман допытывался насчет штафета, но никто не додумается, где он зарыт. Ни одному человеку в деревне он не доверил тайны. Самое верное — хранить ее про себя. А как только будет сподручное время, он сам переправит штафет в Виссефьерду. Теперь он надежно спрятан, до него не доискаться, и там, где он лежит, от него никому не будет зла.

Окровавленная доска со знаком утренней звезды запрятана в землю. «Штафет идет!» Это клич собратьев. «Скачи! Скачи! Нынче же в ночь!»

Внезапно что-то зашуршало в яблоне в саду, и он присел, словно приготовившись к прыжку. Может, там кто притаился? Какие-то люди стали шататься по деревне ночами, и уж нет того покоя и благодати, как бывало прежде. «Кто задержит штафет, тот предатель...» Вот послышалось хлопанье крыльев в листве. Да ведь это неясыть сидит на макушке яблони! Самая полночь, час совиный, час, когда недозволенная похоть ищет удовлетворения и парни тайком пробираются к своим полюбовницам. И его могут заподозрить и задержать... Какая-то тень промелькнула у Персгорда. Верно, кто-нибудь из парней крадется к молодой вдове с чересчур горячей кровью. То ночной час, час распутства... Его могут заподозрить и задержать... Но ведь никому не ведомо о его тайне, и навряд ли кто проведает о ней до скончания века.

А этот чертов парень лезет в душу и выпытывает: «Живешь мирно?» Но что он делает недозволенного? Разве он не знал покоя, покуда не заявился к нему беглец?

В сердце Йона зреет ненависть к Сведье. Этот человек растревожил его, и брендебольский староста потерял покой.

* * *

Незадолго до рассвета Сведье ушел из Стонгегорда. Пошел он на свое поле, где рожь только начала колоситься. Он нагнулся и потрогал ее; длинные зеленые усики на ощупь были мягкие, как травинки. Он бережно и тихонько поглаживал колосья, боясь надломить хоть один усик. От прохладной ночной росы ладонь стала мокрой.

На его поле зрел хлеб, который принадлежал по праву только ему, но его исконным наделом завладел грабитель.

Когда Сведье коснулся колоска, его словно осенило. Ведь в его доме спал фохт Клевена. Он всадит топор в стену и вызовет фохта на улицу, вызовет барского прихвостня на честный бой. Наконец-то они встретятся один на один.

Он быстро зашагал к своей усадьбе, но в нескольких саженях от дома его окликнули по имени; звал его женский голос. Из Персгорда навстречу ему кралась женщина; она шла осторожно, словно кошка по жнивью.

— Неужто сам Сведье пожаловал в деревню?

Аннику нетрудно было узнать по ее желтому чепцу. Она подошла к нему вплотную. Ее голос звучал словно со дна глубокого колодца; такому голосу мужчины внимают с охотой.

— Ты куда? Или уж идешь от невесты? — спросила вдова.

— У каждого свои дела. Я ведь не спрашиваю про твои...

И что она шатается ночью? Ее глаза блестят в темноте, словно кремни.

— Хочешь зайти к себе домой, Сведье?

— Нет, Борре из дома хочу выманить.

— Нету его. В Убеторпе он.— Она вцепилась ему в руку выше локтя.— Лучше погости у меня.

Анника показала на приоткрытую дверь своего дома.

По пальцам, впившимся в его руку, он ощущал жар разгоряченной крови. Красивая женщина была Анника, с высокой грудью, пышная телом, гибкая и податливая, точно дикая коза. Ярко рдели ее полные губы.

— Ну как, надовольствовался у невесты? — спросила она.

— А тебе какое дело!

— Пойдем ко мне, пивом угощу!

— Зря стараешься, Анника!

Ему хотелось сбросить ее пальцы, которые нежно и вкрадчиво скользили вниз по его руке. Он огрызнулся, пытаясь оборониться от чар ее тела. Он только что встал с постели своей суженой, которая нетронутой лежала в его объятиях, в ноздрях у него еще стоял запах ее волос и кожи. От близости тела Анники Сведье распалился. Он стыдился своего желания и боялся женщины, которая соблазняла его.

— Борре нет,— сказала она.— И у меня в доме тебе ничего не угрожает.

Ее лиф был расстегнут у ворота, и в глазах у Сведье мелькала белая ямочка на ее шее. Вот когда разверзлась бездна искушения. И тут Анника рассмеялась, а смех ее был словно из глубины колодца:

— После ведьмы всякого потянет к другой.

Он отпрянул, словно от занесенного топора, и с силой сбросил ее руку:

— Кого это ты оговариваешь?

— Невеста у тебя ведьма.

— А ну-ка назови имя!

— И назову! Ботилла! С самим дьяволом блудит.

— Замолчи, а не то язык твой из пасти вырву!

В ярости он вскинул руку, но Анника не испугалась:

— Тебе дела нет, почему у нее в подойнике кровь? Но уж поверь мне, Ботилла гуляет с нечистым.

— Чтоб ты подавилась своим лживым языком! Лгунья подлая!

Хотя вокруг не было ни души, Анника Персдоттер таинственно понизила голос. Как-то вечером, сказала она, ей довелось проходить мимо дома Ботиллы, когда та стояла за углом со спущенной с плеч рубахой. Она подошла поближе и разглядела красную метку на груди Ботиллы. Своими собственными глазами видела она красное пятнышко около левого соска. Тут уж нельзя ошибиться: это отметина самого дьявола. Люди примечали, что Ботилла одна ходит в лес. Там она и встречается с нечистым, сама к нему лезет, дает грудь сосать. Красная ранка говорит, что она настоящая ведьма. Нечистый завладел ею и поставил клеймо на свою собственность.

— Будешь делить невесту с дьяволом? Хочешь этого, Сведье?

Черные глаза Анники, подзадоривая, поблескивали во тьме, а в его глазах зажглись красные огоньки, и он уже больше не слышал ее голоса.

— Тьфу! Не будь ты женщиной, я бы тебе всыпал.

Она искушала его глазами лукавыми, щеками румяными, губами алыми, шеей лебединой, грудью пышной, бедрами крутыми — и все увиденное распалило его. Она стояла, похваляясь своей красотой, и предстала перед ним в новом обличье — и все оказалось обманом, одной видимостью. Ей удалось лишь на миг одурманить его, но когда она принялась чернить Ботиллу, он снова увидел ее в прежнем виде: она хотела, чтобы невеста опротивела ему.

Приток горячей крови, который она вызвала в нем, схлынул и разошелся по телу. Ее чары улетучились, и осталось одно лишь отвращение к Аннике, вдовушке-красавице. Ямочка на шее оказалась коварной западней. Он пошел от нее, дрожа от негодования.

— Сам увидишь! — закричала Анника.— Она клейменая!

— Провались ты вместе со своим дьяволом! — Он плюнул в ее сторону, чем кровно оскорбил Аннику. Черные, как черничины, глаза ее яростно засверкали, и она крикнула:

— Хочешь стать моим недругом? Ну, покаешься!

Он слышал, как она кричала ему вслед. Ей-то, мол, что, пусть он путается с ведьмой. В былые времена, когда люди поклонялись идолам, подобные твари были в чести, и парням нравились красивые ведьмы,— они приносили в дом богатство и ворожили над скотом. Им было нипочем, что сам сатана сзаду наперед крестил их жен и путался с ними.

Не оглядываясь, Сведье шел в лес. Еще хорошо, что она сразу раскрыла свое сатанинское нутро и тем сама помогла ему отделаться от нее. Как ни дюж он был, а долго еще пробирал его озноб; видать, нечистая сила вселилась в него.

Поначалу он огорчился, что не мог вызвать фохта из Сведьегорда, но, поразмыслив, понял, что вызвать-то ему надо бы совсем другого. Он искалечил Нильса Лампе, но Нильс лишь ходил в холуях у Борре, был не тот, кто ему нужен. Он искал Ларса Борре, этого наемника и барского прихвостня, но и он был не тот, кто ему нужен.

Помещик — вот тот, кто ему нужен.

Укрывшись за фохтом и его холуем, стоял господин обер-майор Бартольд Клевен. Вот он, тот самый, кто лишил его всех прав.

Этого человека Сведье никогда не видел, этот человек распоряжался его жизнью, сам оставаясь невидимым,— он явился из чужих краев и распоряжался жизнью многих-многих людей, как у себя в Неметчине.

ФОХТ ОКОЛЬЦОВЫВАЕТ БОРОВА

В барщинной деревне слышался жалобный визг. Но никому до него дела не было. Кольцевали борова, и он визжал. Свиней окольцовывают сразу же, как начнет оттаивать земля, пока они еще не успели изрыть ее. Теперь же, в страду, кольцевать борова было вовсе некстати.

Хлеб у брендебольцев все еще стоял в скирдах, прел и прорастал под непрерывными дождями. Крестьяне ходили понурые и озлобленные. В краснопогодье самая пора убирать урожай, а они — ступай на барщину в поместье. А ведь крестьянину не разорваться на два поля. Вот и идут они в вёдро убирать господский хлеб, а свой — в непогоду. Так порешил Ларс Борре, и тут уж ничего не поделать. Бог насылает дождь и на праведных, и на неправедных, и зерно гниет на нивах у праведных и у неправедных. Но своему господину и помещику крестьяне убирают хлеб, когда светит солнце. Вот как повелось! Раз утром светит солнце, так им нечего ломать себе голову да гадать, что нынче делать. На то был приказ фохта, и он один распоряжался их днями. А чему же были сами они хозяева? Им не полагалось думать, какой будет урожай у них на полях и велик ли будет доход от скотины,— за них фохт считал снопы и взвешивал масло. И даже хлеб им не принадлежал, ибо помещик по своему усмотрению определял подати. А чему же были сами они хозяева? Вольны они были с восхода до захода солнца гнуть спину на барщине, а после чуть не замертво валиться спать.

Однако брендебольцы смекнули, что за ними еще сохранилась одна вольность — вольность, с какою вол встает посреди межи и без спросу задирает хвост. Даже за крепостным крестьянином остается право в любое

время, никого не спросясь, бросить работу и справить нужду. Брендебольцы придумали и название этой вольности. Отходя в сторону по нужде, они говорили, что идут прокатить фохта.

Теперь крестьянам осталась только одна свобода — катать фохта.

А в остальных своих поступках, как, впрочем, и в речах своих, они не были вольны. Языку и то хозяин нашелся. Сказать, что их принудили ходить на барщину сверх обычной повинности, значило бунтовать против законного господина и помещика. Сказать, что вольного бонда нельзя принуждать силой батрачить на помещика, означало своенравничать и крамольничать. Сказать, что наступит день, когда они снова станут вольными бондами, означало подстрекать к мятежу и усобице. Сказать, что Сведьебонд по праву защищал себя, значило одобрить бунтаря и навлечь на себя кару. Не для того им бог язык дал, чтобы они хулили власти и помещиков, поставленных над ними. Два коварных члена даны мужикам на погибель, но язык — пагубнейший из них.

И только когда они шли посидеть в сторонке на корточках, чтобы воспользоваться оставшимся им правом на эту вольность, они осмеливались говорить: «Пойду-ка прокачу фохта!» На такие слова не было запрета. За них не накажут. Ведь нельзя карать за то, что хочешь услужить человеку, которого помещик поставил над тобой. Услужливость не считается строптивостью и непокорством. Крестьяне барщинной деревни обнищали, их ободрали как липку, но тут уж они были услужливы. Тут уж им рвения было не занимать. Вскоре ни один не свершал этой вольности без того, чтобы не воскликнуть от души: «И славно же я прокатил фохта!»

В этих словах давали они волю своему чувству к человеку, который был поставлен над ними, в этих словах выражали они свою преданность господину и помещику.

Они осторожно выбирали слова и держали про себя сокровенные думы, покуда тайком не сойдутся все вместе, чтобы потолковать всем миром о своих бедах.

От обильной влаги прела в скирдах рожь. Но однажды, когда дождь лил как из ведра, по деревне пронесся жалобный визг, который шел со Сведьегорда. Сквозь шум дождя его услышала вся деревня, и кто-то

грустно сказал: «Жаль, что это не Борре кричит». То был поросячий визг, а не предсмертный крик человека. В Сведьегорде кольцевали борова, который принадлежал беглому крестьянину.

В тот день крестьянам объявили, что налог на масло в нынешнем году прибавился на фунт, а на озимую рожь — на четверик. Эту прибавку велел взимать с них помещик в уплату за вину Сведье: им надлежало возместить ущерб за увечье господского батрака Лампе. В Убеторпе не было усерднее холопа, чем Лампе, но ему раздробили плечо и он целое лето не будет работать на барщине. Никто не удивился, что Клевен разгневался и потребовал соблюдать помещичьи права. И, хотя запустил топором в наемного рейтара лишь один крестьянин, надо было наказать всю деревню, чтобы другим крестьянам неповадно было поступать как он. И подати-то увеличили только для того, чтобы уберечь мужиков от судьбы Сведье.

В этот дождливый день от мякинного хлеба крестьяне маялись животами:

— Пойду-ка прокачу фохта...

Злило господина Клевена и то, что этот головорез все еще разгуливал на свободе в лесу. В грамоте из Стокгольма, с сословного собора, Клевен повелел идти облавой на лесного разбойника Сведье, коего должно незамедлительно схватить и предать суду, как беглого.

Хлопотным оказалось это дело для Ларса Борре: леса тянулись без конца, и для облавной цепи не хватало мужиков. Да и откуда ему было взять людей в самую-то страду? Когда было сухо и светило солнце, хлеб убирали всей деревней. Спелый хлеб надо было жать, беглых преступников ловить, но каждому делу свой черед, и разом их не сладить. А оба дела не терпели отлагательства. Но сперва надлежало изловить в лесу беглого Сведье, потому что если он не будет наказан, то это взбудоражит брендебольцев. И так уж поговаривали, что насильник поступил по справедливости, изувечив Нильса Лампе. Не упрячет он Сведье под замок — бог знает, что они тогда заберут себе в голову.

Однако неразумно было бы силой гнать крестьян в облаву на лесного разбойника. Собака, загнанная в лес хлыстом, зайца не возьмет. Борре хотел, чтобы люди пошли облавной цепью без принуждения. Но прежде он

решил испытать преданность брендебольцев их доброму помещику и сказал им:

— Из-за этого насильника Сведье вам один убыток. Вы расплачиваетесь за его беззаконие. Так не хотите ли по доброй воле помочь своему господину изловить этого бродягу?

Они уклонились от ответа, не сказав ни да, ни нет. Но у каждого нашлась отговорка: у одного нога болела, у другого — живот, а многие говорили, что теперь, мол, страда. Только оружейник Бокк сказал ясно и прямо, в открытую: ни один честный человек не пойдет в лес охотиться на своего собрата. При этом другие так хитро переглядывались, что казалось — все они заодно с оружейником.

— Чертовы лежебоки! — рявкнул фохт на строптивых крестьян.

Откуда взять людей на облаву? Батраков в Убеторпе и так в обрез, а леса бескрайние.

Но тут к Борре подошел один крестьянин и сам вызвался в облавщики на Сведье. Это был Матс Эллинг. Фохт и раньше замечал, что новый поселянин — человек услужливый и покладистый.

— Ты не останешься внакладе, Матс! — молвил довольный Борре. — За мной не пропадет, удружу тебе.

— А мне как раз и нужна подмога,— ответил Матс.

И он тотчас выложил свою просьбу: пусть фохт замолвит за него словечко перед старостой в одном щекотливом деле. И глазом не моргнув, Борре пообещал ему помочь и подал руку в знак уговора.

Верности преданого крестьянина он не забудет. Он покажет подлым бондам, что их хозяин вознаграждает честных и преданных. А он-то уж начал было думать, что в Брендеболе живут только злые да подлые люди. В лесу надо ловить опасного преступника, а они и в ус не дуют. Иль не дороги им порядок и спокойствие в деревне? Иль ждут не дождутся раздоров да смуты? Со смутьянов нужно глаз не спускать,— стоит порядочному человеку отвернуться, как эти разбойники могут размозжить ему топором голову.

И еще этот неразумный обычай — ходить с мушкетами, — заведенный брендебольскими крестьянами с давних пор. Не жди в деревне покоя, пока мушкеты висят на стенах в любом доме. Ни к чему им оружие, пусть себе в нужнике горохом стреляют.

Потом к Борре пришла вдова с Персгорда и зашептала ему на ухо. Как-то ночью она увидела около своей усадьбы человека и признала его. Он тайком вышел из дома старосты. Она назвала его имя.

— А это точно он был, Анника?

— Клянусь самим господом богом,— ответила молодая вдова.

Ларс Борре чувствовал, что терпение его кончается. Хорош староста! И этому бонду он скостил налог и оказал доверие! Йон Стонге, которого он считал порядочным человеком, пускает преступника в дом. Днем угодливо кланяется и лебезит, а ночью меняет шкуру. Коли он такой лукавец, так за это с него мало шкуру спустить.

Теперь Борре будет следить за Йоном Стонге в оба. Не к чему спешить с этим делом, но со старостой ухо надо держать востро. Потихоньку Борре опутает его. Намедни староста вздумал жаловаться на боль в животе, когда Борре до зарезу нужны были облавщики. По правде говоря, за последние дни староста спал с лица, но, может статься, оттого, что замышляет измену и таит крамольные мысли.

Оседлал как-то крестьянин сразу пару лошадей, чтобы наверняка добраться до места; одна лошадь была чистый ангел, другая — сущий бес. Фохт еще поведает старосте, чем кончилась такая езда.

* * *

Как раз когда в усадьбе Сведьегорд кольцевали борова, староста проходил мимо, и Ларс Борре крикнул ему с пригорка, где стоял хлев, чтобы он помог загнать свинью. Борова не окольцевали вовремя, когда земля оттаивала, и он ископал все вокруг, попортил гряды с капустой. Фохту пришлось бы самому окольцовывать борова, но к нему в помощники вызвался Матс Эллинг, а тут еще староста подоспел.

Йон из Брендеболя с каждым днем становился все бледнее оттого, что привязалась к нему хвороба и еда не шла впрок. Староста ел сытно и много, но все без пользы. Изводили его черви в брюхе. Когда он ходил по нужде, из него выползали длинные белые черви, похожие на корни пырея; то были сорняки в его теле, которые пожирали за него харч; не успевал он набить брю-

хо, как оно было уже пустым. И размножались они сами по себе, как сорняки в поле; их выходило из него видимо-невидимо, но тут же вырастали другие, длиною с аршин, скользкие и жирные. Они кишмя кишели в его брюхе, проворные и живучие. Воровски откармливались за его счет, а сам он хирел. Он только разжевывал еду, а шла она на потребу другим тварям. Ел он теперь не для себя, а чтобы напитать червей в утробе. И потому бледнел и сдавал в теле.

Но Йон с готовностью поспешил на подмогу фохту, и стали загонять борова на пригорке. Фохт и Матс гнали свинью каждый со своей стороны, а староста встал с третьей.

С трех сторон шли они на свинью, и она все сужала и сужала круги. Фохт старался подманить борова, но провести его было нелегко: бывший боров Сведьебонда оказался упрямой скотиной.

Внезапно боров бросился в сторону старосты, норовя проскочить меж расставленных ног.

— Держи! — заорал фохт.

Староста ухватил свинью за неуклюжие вислые уши, но удержать не сумел; в тот самый миг он оступился и выпустил борова.

— У тебя что, руки дырявые, Стонге? — рявкнул фохт.

Борре и Матс погнались за боровом. А Йон Стонге остался стоять у хлева на пригорке. Он изменился в лице.

Пытаясь задержать борова, он провалился одной ногой в рытвину. Староста знал это место возле камня, в двух саженях от угла хлева. Тут он сам вырыл яму, а потом забросал ее землей. Теперь яма снова была разрыта; у ее края на земле валялась доска длиной в три четверти с пятнами крови на одном конце. Оттого и замер на пригорке староста с вытаращенными глазами, бледный как смерть.

И все это натворил неокольцованный боров, бегая по пригорку и роясь в земле. Боров, бывшая животина Сведьебонда, своим рылом исковырял землю и раскопал яму, которую староста засыпал землей. Может, боров искал воду — здесь бьют подземные ключи, а свиньи любят валяться в мокряди.

Там снова на виду лежал штафет, там рдела окровавленная доска, там всходил знак утренней звезды, зо-

вущий властно и призывно: «Долой барщину! Разделаемся с помещиками! Добудем себе свободу!». Тот, кто видел вырезанный на доске гвоздырь, понимал, что это за доска,— запретный штафет, который давно разыскивал ленсман.

Кто же прятал штафет заговорщиков на пригорке в Брендеболе?

Если бы фохт не погнался за боровом, он спросил бы старосту, чего это тот остолбенел с выпученными глазами и трясущимися коленками. Тогда бы он, пожалуй, увидел, что староста нашел доску со знаком гвоздыря: «Разделаемся с помещиками!».

Боров откопал спешное призывное послание свободы. Выпущенный на двор неокольцованный боров исковырял и разрыл талую землю.

Вот Ларс Борре и Матс Эллинг поймали его у ворот хлева, и староста заторопился к ним. Но шел он, не чуя под собой ног, словно они у него отморожены. Теперь штафет, хочешь не хочешь, пролежит на свету до вечера.

Староста и Матс изо всех сил старались удержать борова, а фохт его кольцевал. Боров завизжал, когда шило впилось ему в пятачок, и жалобный визг пронесся по деревне. Но свиней надо кольцевать, иначе они изроют все вокруг.

— Стонге! — внезапно спросил фохт.— А не пожаловал ли к тебе намедни ночной гость из леса?

Старосту будто кипятком ошпарили.

— Из леса? Нет...

— Ты не впускал к себе в дом этого скотину Сведье?

— С той поры, как он ушел в лес, в моем доме ноги его не было.

— А не подходил ли он к крыльцу?

— Мы дома сидели и про то не ведаем.

А они так и дрожали, руки старосты, вцепившиеся в уши борова. Фохт едва заметно ухмылялся, обнажая черные щербатые зубы. Может, и на этот раз удастся добром смирить старосту? Фохту было любо кончать дело миром.

Борову проткнули пятачок насквозь, на сапоги фохта капала кровь. Тут фохт повернулся к Матсу и рассказал побасенку о премудром мужике, который как-то решил ехать верхом сразу на двух лошадях, чтобы помехи не было. Одна из лошадей была чистый ангел, другая —

сущий бес. Но больше уж ездоку никогда не пришлось нестись вскачь на лошадях. Лошади не терпели друг друга и понеслись галопом в разные стороны, разорвав пополам горемычного мужика. И скакали они каждая со своей половиной растерзанного тела, и одна его половина попала в рай, другая — в пекло.

Матс посмеялся над притчей. А у старосты глаза испуганно забегали, и лицо стало восковым.

— Упустил ты борова,— сказал фохт.— У тебя что, руки трясутся?

— Нет, нутро у меня нездорово.

— Завари шалфея да выпей, коли тебя трясет, — посоветовал Матс.

— Трясти-то меня не трясет. Животом маюсь.

Стонге пояснил, что хворь его от червей в нутре, которые так высасывают его, что и еда ему не впрок. Видно, в животе у него целое гнездо завелось, вот и разводятся беспрестанно. И так он измаялся, что слаб на ноги стал. Но он попросит дорогую хозяюшку сварить ему питье из березового листа и горьких древесных почек. Может статься, от этого отвара ему полегчает.

Фохт самодовольно кивнул. Хотя было видно, как у старосты дрожат руки и ноги, он уверяет, что его вовсе не трясет. Со старостой, видать, не будет особых хлопот. Едва ли понадобится заманивать старосту в ловушку, он и так, сам изловится.

Боров все еще упрямился и жалобно визжал; Борре было нелегко зажать кольцо в кровоточащем свином пятачке.

— Стонге! — окликнул фохт.— Уж не собирается ли этот бродяга Сведье породниться с тобой?

— Я обещал свою дочь хозяину Сведьегорда.

— Когда же думаете свадьбу играть? — ухмыляясь, спросил Борре.

— Повенчать дочь со Сведье собираемся в день солнцеворота.

— А быть ли свадьбе с лесным разбойником?

— Обещался я хозяину Сведьегорда,— ответил Стонге, особо упирая на последние слова.— И никому другому.

— Никому другому?

Фохт поглядел на старосту; теперь тот снова говорил, как разумный человек.

— А ежели Сведье не вернется в свою усадьбу?

— Тогда и уговор долой. Лесной бродяга дочке моей не жених.

Ларс Борре подмигнул Матсу, глаза его заблестели:

— Вы отпраздновали обручение дочери с бондом Сведье. Но теперь Сведье больше не бонд.

— Верно, двор без хозяина.

— Стало быть, и дочь твоя больше ему не невеста.

— Пока он по лесу бродит, не невеста.

— Может, она уже за другого просватана?

— Не просватана! — отрезал староста.

— Стало быть, она теперь на выданье?

— Нет, о том речи не было.

— Ты же сам только что сказал. А теперь что ж, идешь на попятный?

Голос фохта стал строгим. У старосты взмокли от пота брови, внезапный страх охватил его: околпачили, и он проговорился.

— Ты же сам сказал, что дочь твоя больше Сведье не невеста и ни за кого другого не просватана,— продолжал Ларс Борре.— Не отопрешься от своих слов. Матс — свидетель!

— Верно, ты говорил,— поддакнул Матс с подозрительной поспешностью.

— Да не так вы меня поняли,— попытался вывернуться староста.

— Не выкручивайся! — оборвал фохт.— По-другому и понять нельзя. Дочь у тебя на выданье, и посвататься к ней никому не заказано.

Йон из Брендеболя почуял, куда клонит фохт. Он стал сопеть и выкручиваться, когда понял, чего от него хочет Борре. Его приперли к стене и мучили за то, что Сведье ворвался к нему в дом, и, защищаясь, он забился в угол, а угол обернулся западней.

— Матс Эллинг хочет посвататься к твоей дочери Ботилле. Я его сват,— торжественно объявил фохт.

Западня захлопнулась. Старосту поймали.

Ларс Борре сдержал данное Матсу слово. Стоит порадеть этакому честному и верному крестьянину. Бонд из Эллингсгорда даже прихрюкнул от удовольствия.

— Но до солнцеворота слова своего не нарушу.

— Ждешь зятька к этому дню? — спросил фохт и подмигнул одним глазом Матсу.

— Про то не знаю. Но от слова не отрекаюсь.

— Знаю, ты слов на ветер не бросаешь,— сказал Матс.

— Погожу до того дня.

— Вот тогда мы и явимся,— перебил фохт.— Буду сватом Матсу.

— А добром ли меня встретят? — спросил Матс.

— С таким сватом, как я, жениху почет да уважение,— хвастливо заверил его фохт.

Борре был доволен собой. Он всегда бывал доволен собой, когда испытывал на Йоне Стонге свое умение. Есть люди, с которыми он и говорить-то побрезговал бы. Но Стонге не из таких. Борре относился к старосте лучше, чем к кому-либо в деревне. После встреч со старостой он бывал как-то необычайно доволен собой.

Западня опять захлопнулась. Стонге сказал:

— После солнцеворота слово назад возьму.

Фохт и Матс перемигнулись. Кольцо уже было вдето в пятачок борова. Он еще повизгивал, но уже не так громко, как раньше. Теперь борова можно и отпустить, ему будет больно рыть землю проколотым рылом.

— А подручного вола Ботилле дашь в приданое? — в раздумье спросил Матс.

— Такой был уговор,— ответил староста.

— И цена тому волу восемь далеров серебром?

— Добрых восемь, а то и больше,— подтвердил староста.

На лице у Матса Эллинга появилось задумчиво-счастливое выражение.

Йон Стонге больше не удивлялся, почему в последнее время Матс зачастил в его хлев и щупал волов за бока и под пахом. Шила в мешке не утаишь!

Ларс Борре одобрительно и дружелюбно похлопал старосту по плечу. С ним оказалось еще меньше хлопот, чем он думал. Не ахти какой труд спустить шкуру с того, кто ее сам, по своей воле и своими руками, с себя сдерет. Борре радовался, что бог всегда посылает ему удачу, когда он не злоупотребляет властью. Он мог бы еще спросить старосту: что ты сделаешь, если по полуночи в твою дверь еще раз постучит лесной бродяга? Он мог бы спросить его об этом, но зачем пересаливать? Он и без того знал, как староста впредь будет вести себя. Один раз Йон Стонге оплошал, но теперь пришел в себя, снова стал мудрым и рассудительным.

Да и мысли у старосты прояснились, его долгие сомнения развеялись, и на смену им пришла уверенность. Уверенность в том, что все беды его, как и беды всех односельчан, не от кого иного, как от этого лесного бродяги. Из-за Сведье приходилось им маяться. Из-за Сведье у него болело брюхо и скребло на сердце. Из-за Сведье не было у него на душе покоя. С какой стати должен он мучиться за чужие грехи?

Неправедным оказалось дело Сведье, и теперь-то это видно, когда за него напрасно страдают невинные. «Чей грех, тот и в ответе»,— гласят слова закона. Лесному бродяге нельзя забывать слова: «Пеняй на себя! Сам и муку принимай!».

Человек этот впредь не переступит порога его дома, и не бывать его свадьбе с дочерью Йона Стонге.

* * *

Едва лишь стемнело в тот вечер, кто-то пришел на пригорок в усадьбу Сведьегорд и принялся копать землю возле хлева. Он вырубает большие куски дерна. Земля вязкая, да корни трав мешают. Он торопится, и яма быстро углубляется. Он копает на два фута в глубину. Когда яма вырыта, он прячет в нее доску. Он торопится, закладывает яму кусками дерна и старательно прилаживает их один к другому.

Прежде чем уйти, он усердно утаптывает землю ногами.

Доску с призывом к свободе, с вестью спешной, наипервейшей, вырыла нынче неразумная скотина. Но фохт окольцевал борова, а штафет снова зарыт в Брендеболе.

ГОСПОДИН ПЕТРУС МАГНИ ПОЛУЧАЕТ ПИСЬМО ОТ ПАСТОРА С СОСЛОВНОГО СОБОРА

«Нижайший поклон брату моему и наилучшие пожелания духовного и телесного здравия и всяческого благополучия.

В день Ивана Купалы прибыл я в Стокгольм из родных мест и стал в Норремальме на том же постоялом дворе, что и прежде. Возблагодарив господа за ниспосланное мне здравие, я по долгу службы заблаговремен-

но уведомляю своего брата о том, что происходит на сем сословном соборе, который тянется вот уже целых два месяца, и конца ему не видно.

Много мы совещались об умалении церковной десятины из-за расширения господских поместий и о защите прав наших от посягательств помещиков, чего и впредь будем требовать.

На непрерывных заседаниях капитула в большом соборе мы, приходские служители церкви, единодушно порешили просить ее величество отобрать в казну угодья у дворян. Это и по сие время одно из важнейших решений духовного сословия. Но епископы, особливо доктор Иоганнес из Стренгнеса, с нами в том не согласились и заседали в капитуле от нас отдельно.

Мы же, смиренные сельские пастыри, лучше знаем положение простолюдинов, проданных дворянству. Если дворянство закрепостит вольных бондов, крестьянское сословие лишится вотума на заседаниях сословного собора и помещики захватят всю власть в стране. А посему в помянутом деле защищаем мы право и справедливость.

Не бывать счастью в стране, где простолюдин беден и обездолен. Правда, дворяне утверждают, что Швеция нынче богаче, нежели прежде; и впрямь, дворянских семьсот семей живут в достатке. Однако прочие подданные есть королевства нашего наибольшая часть.

Попервоначалу крестьяне просили у священнослужителей помощи в их искательствах и получили от нас заверение, что мы поведем дело их старательно и по здравому разумению. Я писал о тяготах крестьян в округах Конга и Упвидинге и дважды с амвона говорил о насилии, учиняемом дворянами над своими подопечными, поведав лишь о том, что, как мне доподлинно известно, было сущей правдою, а именно, что мучителей крестьян не привлекли к суду и не покарали за преступления. Пастор Юнас Дрюандер из Вернаму, которого ты, брат мой, знаешь, не убоялся сказать в большом соборе, что крестьянам или ешь древесную кору, или умирай с голоду, меж тем как дворянских лошадей кормят зерном, а псы господские, сытые и жирные, на скамейках почивают да вонищу разводят. Пастор Дрюандер великую ненависть у дворян вызвал, и они за то принесли на него жалобу ее величеству. После того архиепископа призвали к королеве, и она сказала, что ду-

ховенство попадет в немилость, буде они и впредь станут проповедовать противу дворянства. Помещики хотят запретить нам во всеуслышание говорить правду. Архиепископ Ленеус позднее наказал нам, приходским пасторам, быть осторожнее в проповедях наших.

Ее величество никогда не дослушивает проповеди до конца, без того чтобы в церкви не читать книг. А книги те, слышно, безнравственного содержания.

В одной из своих проповедей помянул я о том, что ты, брат мой, поведал мне о вольном тягловом крестьянине из прихода Альгутсбуды, которого прогнали с родового надела и который нынче живет в лесу. Но после того как архиепископ передал нам наказ ее величества, почел я неладным назвать имя его господина, барона немецкого. Господин Клевен стал теперь камергером ее величества вдовствующей королевы.

Многие не в меру горячие дворяне грозятся снести нам головы мечом. А предводителя торгового сословия Нильса Нильссона знать грозится колесовать. В смутное время мы живем, и нам, приходским пасторам, пристало нынче держаться заодно, быть настороже и бдеть неусыпно.

Что ни день слышно о немилосердии и жестокостях дворян. Выборный от крестьянского сословия Пер Эрссон из Руслагена поведал мне об оном помещике Сперлингене, который привязывает к дереву строптивых крестьян и мочится прямо на них. Подобные нечестивые деяния совершал также и высокородный господин Ларс Флеминг. Дворяне настойчиво требуют, чтобы крестьяне вслух назвали имена помещиков, которые издеваются над ними. А помещики клянутся припомнить тем, кто посмеет обвинить кого-либо из них; впредь-де не будет таковому жизни. Ни один бонд не осмелится назвать имени мучителя своего, если ему наперед ведомо, какая расплата его ожидает. На сословном соборе выборные от крестьян показали королеве мякинный хлеб с древесной корой и соломой, коим пробавляются простолюдины, и она опечалилась, что подданные ее питаются пищей, более подобающей скоту,— и это в могучей державе шведской! Однако крестьянам не полегчало от того, что королева слезу проронила.

Двадцать второго августа выборные от крестьянского сословия были у ее величества и просили отобрать господские поместья и угодья и вернуть их в казну, но

крестьянам было отвечено, что королева уже вручила дворянам грамоту за подписью и печатью, а посему не может взять назад свое слово. Тот, кто не хочет быть у ней в немилости, не должен впредь толковать да рассуждать про поместья дворянские. После того распалились страсти пуще прежнего. Податные сословия стали уповать на помощь принца Карла-Густава, и я опасаюсь, что королева о том проведала. До сих пор она являла на сословном соборе благосклонность свою податным сословиям, а теперь все более потворствует помещикам. Сдается мне, что королева строит козни.

Поступают сюда всё новые вести, что в приходах простолюдины сговариваются. Выборные от крестьян из Чиневальда и Конги поведали мне, что в их краях повсюду разосланы штафеты и что сами они опасаются за свою жизнь по приезде домой, ежели дворянам удастся сохранить поместья. Прошел слух, что крестьяне перебьют всех дворян. Пожар зачинается грозный. Дворяне по доброй воле не отдадут своих земель, а крестьяне от нужды безысходной жизни до такого отчаяния дошли, что они ни собственной жизни, ни жизни ближнего не пощадят.

Думаю, быть беде великой, ежели разгневанных крестьян вынудят на крайность.

Есть знаки, что и дворяне страшатся мятежа. Рассказывают, будто многие из знати начали потихоньку прятать свою собственность в верные места.

На соборе шепчут друг другу на ухо имена тех высокородных господ, которые будто бы даже собрались бежать за границу. Именем королевы верховный сановник объявил, что тот, кто разжигает усобицу в стране, призывает отбирать помещичьи имения и подстрекает к бунту, является злодеем противу ее величества. Риксканцлер на сем сословном соборе уже не проявляет былого вольнодумства, он выглядит усталым и немощным. А граф Аксель Сёдермёре, что некогда обещал быть заодно с крестьянами, как с родными братьями, в это лихолетье нашел, видно, подлинных братьев среди дворянского сословия.

Недавно в окрестностях Видберги в присутствии многих очевидцев явились на небе две рати, притом облака окрасились в кроваво-красный цвет. Багряные полосы шли по небу, словно от струящихся потоков крови на земле. Небесное знамение толкуется как предвестник

близких межусобиц в стране. Упаси нас, господи, от братского кровопролития!

В этом месяце, так же как, верно, и у нас дома в Веккельсонге, прошли обильные ливни, отчего опасаюсь за посевы и урожай. К тому же пасторские земли в моем приходе болотистые, пропитанные вредоносными соками. Боюсь, что рожь моя все еще стоит в снопах под открытым небом. Работник в пасторской усадьбе не управляется в срок с урожаем, ибо он уже в тех годах, когда силы идут на убыль. Два года подряд постиг нас недород.

Будь милостив к нам, господи, и спаси нас нынче от неурожая!

Помоги, господи, нашему бедному отечеству в годину тяжкого испытания! Не оставь всех нас до последнего издыхания нашего.

Да пребудет с нами милость господня на веки вечные, да поможет бог исполнению желаний брата моего.

Верный друг брата моего во Христе

Арвидус Тидерус,
пастор Веккельсонга.

Писано в Стокгольме августа тридцатого дня в лето тысяча шестьсот пятидесятое».

НЕЧИСТЫЙ УНОСИТ БЕГЛЕЦА

Лето в лесу было в полном разгаре. Выводки глухарей, тетеревов и уток подросли и уже могли летать, в кустах и на пригорках прыгали зайчата, на прогалинах, заросших травой, разгуливали косули с детенышами. Бесчисленные новые жизни таил в себе лес. Сизым-сизо стало в черничнике, и алела костяника, а в сосновом бору созревала уйма боровиков и ярко рдел распустившийся вереск. Шли обильные дожди, и в колдобинах стояла вода, а под большими деревьями набухал взмокший мох.

Три вещи необходимы лесному жителю: порох, пули и соль. Запас их у Сведье еще был. Он промышлял охотой и засаливал излишки мяса впрок. В тайнике неподалеку от горницы Лассе под корнями большого дерева он закапывал оставшуюся дичь. Он берег порох и пули, которых заметно убавилось в пороховнице и кисе, и стрелял с близкого расстояния, целясь хорошенько. Он ста-

вил также сети в озерцах, удил рыбу, рубил на дрова сухостой.

Людей в лесу он не встречал. Летом, а особенно в страду, крестьяне уже не жгут лес под пашню и далеко не отлучаются из дома. Лежа в пещере вечером, перед сном, он часто думал о своем ржаном поле. Он прикинул, что с поля он складет копен тридцать ржи и намолотит с них три бочки зерна.

Лес готовился к своему урожаю, и у беглого крестьянина в лесу этой осенью выдались спокойные дни. Но однажды вечером, когда Сведье возвращался в свою нору, он заметил свежий след. Чей-то сапог придавил размякшую землю на краю лужи. След этот не могла оставить нога подростка — на земле отпечатался огромный сапог; видно, здесь прошел взрослый. Чем ближе к логову, тем больше было следов.

Какое могло быть у человека дело в расселине Каменной Змеи? В страду не затевают облаву на лисицу или волка. Тут охотились на кого-то другого.

Сведье останавливался, оглядывался вокруг и прислушивался. По лесу ходили люди. Они охотились за ним и выследили его до самой Каменной Змеи. В этих местах он больше не был в безопасности. Нынче он увидел на дереве красного коршуна и встревожился. Тому, кто хоронится в лесу, надо опасаться птиц с раздвоенным хвостом. Встреча с ними сулит беду. В кустах притаились облавщики. Но Борре с холопами не возьмут его голыми руками, словно затравленного зайца. Он не попадет в ловушку и живым не дастся.

Чтобы подойти поближе к своему логову, он сделал большой крюк и обошел стороной густой кустарник, в котором мог бы спрятаться облавщик; ступал он осторожно, боясь хрустнуть сучком или споткнуться о корни. Иной раз он останавливался, высматривал и выслеживал. Он старался идти по сухому месту, чтобы не навести облавщиков на след.

Подойдя на расстояние мушкетного выстрела к горнице Лассе, он увидел, что под ветвями густой ели что-то поблескивает. Сведье остановился, присел на корточки и стал всматриваться меж стволами деревьев, освещенных лучами заходящего солнца. Это блестел замок мушкета. Под елью прятался стрелок. Самого его не было видно, но Сведье разглядел у корней дерева носки его сапог. Видно, стрелок стерег вход в его убежище.

Другие облавщики, которых он не видел, находились, верно, где-то поблизости.

Сведье понял, что его пристанище раскрыто. Верно, кто-то знал о горнице Лассе, и без него лисью нору обшарили. Он утешался лишь тем, что спрятал все необходимое в другом месте: серебряные ложки, мука, соль и мясо лежали под корнями дерева.

Он повернул обратно и тихой поступью пошел в глубь леса. Шел, держа наготове мушкет и ожидая пули в бок из любого куста или дерева. Нечего удивляться, если наемным убийцей станет господский холоп. Горница Лассе была ему домом, а теперь он снова стал бездомным и должен искать себе новое убежище перед надвигающейся ночью. Он нарвал мху, чтобы приготовить себе постель под раскидистой густой елью, ветки которой низко нависали над землей, но из мха прямотаки капало. Тогда Сведье убрал мох и растянулся на голой земле у самого ствола. Тут было сухо, и только узловатые корни впивались ему в спину. Нынче вечером он не мог вернуться к тайнику за припасами; впервые с тех пор, как Сведье пришел в лес, он лег спать с пустым животом. Сперва голод долго не давал ему заснуть. А когда он заснул, то спал тревожно и проснулся, дрожа от сырости и холода.

Дождь хлестал и лил на него сквозь нависшие еловые лапы. Мокрая одежда прилипла к телу. Он промок до костей; казалось, сырость проникла в самое нутро. Больше промокнуть уже было невозможно, и незачем ему было искать иного прибежища. Он не мог даже развести костер и обогреться — не было у него сухих дров.

Он продолжал лежать, прислушиваясь к шуму дождя. Крупные дождевые капли, словно пули, барабанили по корням и камням, стекали по стволам деревьев, били по веткам и булькали в лужах. Проливень, точно буря, неистовствовал этой ночью в лесу. Шумели растревоженные верхушки деревьев, и по лесу разливались бурные потоки дождевой воды.

Он промок до нитки, иззяб, его терзал голод, и к тому же за ним по пятам гнались облавщики. В непогоду ему приходится лежать под редким пологом из еловых веток. Такая доля выпала ему за то, что он защищался от насильников, вломившихся в его дом.

Горечь обиды закрадывалась ему в душу. Другие брендебольские крестьяне изменили уговору, скрепленному клятвой, покорились помещику и сегодня ночью сладко спят на лавках под надежной крышей. Тому, кто предпочел покориться, а не защищаться, выпала лучшая доля: у них были еда, кров, очаг и постель. И Йон Стонге лежит этой ночью с набитым брюхом на сухой ржаной соломе. Но Сведье видел, какие испуганные, бегающие глаза были у старосты. То были глаза человека, которого одолевает стыд за то, что он потерял доверие своих собратьев. Вид у него был испуганный, он еще не свыкся до конца со своим позором и унижением. Тяжко видеть людей, заклейменных печатью бесчестия. Когда Сведье видел, как трусы обнажают свою трусость, он испытывал отвращение, точно ему под нос совали тухлятину; его мутило и выворачивало наизнанку, хотелось блевать. Нет на всем белом свете существа презреннее, нежели трус.

От отца к сыну укоренилось в роду Сведье убеждение, что мужчине пристало защищать свои права, а не уступать насилию. Поэтому Сведье не мог поступить иначе, чем поступил.

Он хорошо знал крестьян и верил, что большинство из них не трусы и не рабы. Их застали врасплох ранним утром, и они опрометчиво поддались уговорам старосты. Он верил, что они не станут гнуть спину, как холопы. Можно обойтись без крова и очага, но не без права быть самому себе хозяином. Раньше они не ценили этого права, но теперь, угодив в кабалу, узнали ему цену и попытаются снова вернуть его.

Проливной дождь не давал беглецу спать, и он думал о своей судьбе. Он размышлял и говорил себе: страдать выпало ему, и он должен выстрадать до конца. Но разве он согласился бы, чтобы его посадили на цепь, как паршивого пса? И стал бы он сносить барские пинки и вилять угодливо хвостом перед хозяином? Разве понравилась бы ему собачья жизнь, даже если бы у него была конура и на обед ему швыряли обглоданные кости с барского стола? Неужто променял бы он свою долю на собачью жизнь, даже если бы у собаки была своя плошка и конура?

Он утешился этими мыслями, и постепенно прошли досада и озлобленность — ведь одежда тем временем

подсохла, знобить стало меньше, приутих в брюхе голод.

Ему выпала лучшая доля, и на душе у него было покойно.

* * *

С короткими перерывами дождь лил день и ночь. Мох в лесу разбух, словно старый, перепрелый гриб. Под деревьями, даже когда дождь переставал, с веток осыпались тяжелые и крупные капли. Из-за непогоды звери попрятались в норы, и безмолвный лес казался вымершим. В перерывах между дождями кричал дятел, предвещая новые ливни.

Сведье шел к озеру Мадешё, углубляясь в непроходимую лесную чащу — Волчье Логово, гиблый край со множеством скалистых обрывов. Здесь, вдали от человеческого жилья, он чувствовал себя увереннее. В Волчьем Логове он построил из еловых веток шалаш, в котором мог укрыться, пока не подыщет постоянного пристанища.

Через несколько дней он пошел назад к своему тайнику под корнями дерева возле горницы Лассе, но тут его ждало горькое разочарование. Еще не доходя до места, он увидел летающих воронов и почувствовал недоброе. Вокруг корней дерева валялись обглоданные кости. Солонина была вырыта, и стервятники доклевывали остатки. Видно, лисица или рысь почуяли запах мяса и разрыли тайник, и уже тогда хищные звери и птицы поделили меж собой добычу, ничего не оставив тому, кто припрятал его в земле для себя. Мука из мешка рассыпалась и перемешалась с землей, но мешочек с солью оставался нетронутым. В Волчьем Логове он вырыл себе новый тайник и спрятал в нем соль и серебряные ложки. Придется более надежно прятать от зверья свои припасы.

Больше у него не осталось муки для лепешек, и, пока шли обильные дожди, он не мог охотиться на дичь. Он собирал в бору чернику, запекал на раскаленных углях еще неспелые ягоды боярышника и рвал стебли зверобоя среди каменистых россыпей, но ягодами и кореньями не насытишься. Несколько суток его мучил голод.

Как-то утром он проснулся и почувствовал, что голод прошел. Он удивился этому; в голове у него шумело,

тело обессилело и ослабло, но голода он не испытывал. Весь день он пролежал в своем еловом шалаше и не пошел искать еды. Его часто мучила жажда, и он собирал в деревянную чашку дождевые капли, чтобы утолить ее.

Ночью он засыпал всякий раз, как только напивался вдоволь воды, но сон его длился недолго, и он тотчас просыпался, вновь испытывая жажду. Утром, когда он хотел встать, у него сильно дрожали ноги. Он чувствовал себя усталым и разбитым, как после дня тяжкой работы, и глаза застилал туман. А в груди у него болело, будто туда всадили острый нож. Живот был словно порожний мешок, но он не испытывал голода.

Он подумал, не началась ли у него чахотка или, может, нечистая сила отвратила его от еды и наслала на него болезнь. Но захворать он мог и от корней, которыми питался.

Шли дни и ночи, рассвет сменялся сумерками. Он видел, как светлело в лесу и зачинался день, как потом смеркалось и наступала ночь, но перестал вести счет дням.

У него было одно желание — лежать неподвижно на одном месте. Ему не хотелось без нужды пошевелить даже пальцем. Он замерзал, и его знобило, а между тем тело его было как в огне; его било как в лихорадке, а между тем он лежал мокрый, в испарине. В висках у него точно стучали молотки, а грудь словно раздирали на части острые когти. В глотке жгло, будто он проглотил раскаленный уголь. Деревянная чашка давно опустела, но он не мог подняться и подставить ее под дождь. Вот он пьет холодное пиво, только что из погреба, пьет ковш за ковшом, но бочка не иссякает. А глотка по-прежнему горит, ибо пиво только обжигает его. Оно превращается в пену, которая сразу же сохнет во рту и не утоляет жажду. Проклятое это пиво, с наговором оно, заворожил его нечистый, который подстерегает Сведье в лесу. Не полегчало ему, тело словно липким горячим саваном покрыто.

«Я напою тебя пивом!» Это Анника подходит к нему с ковшом в руках. Она наливает пива в белую глубокую ямку у себя на шее и дает ему оттуда отпить. Он пьет. Он пьет пиво из мягкой ямочки на шее Анники. Его губы погружаются в ее тело. Ямочка на шее открывается все глубже и глубже и доходит до грудей. Вот-вот

утолит он нестерпимую жажду и охладит разгоряченное горло. Он пьет взахлеб. Но вдруг его губы обожглись о раскаленый уголь. Он отпрянул от женщины и увидел, что на белой груди ее, словно кровавая рана, пылает красная отметина. Хохот пошел по лесу. Сведье весь съеживается и выблевывает пиво. Его дурачат — это лесовица смеется над ним, и смех ее гуляет по лесу. Пиво обернулось пеной, а жажда по-прежнему сушит горло, и жар опаляет губы. Лесовица хохочет. В забытьи лежит Сведье в шалаше, бьет его трясовица, и дрожат от слабости ноги, а вокруг в лесу разгулялась всякая нечисть.

Его донимает жажда. Сухим языком облизывает он дно чашки. И тогда он собирает последние силы и на коленях выползает из шалаша. Его губы, язык, горло жаждут освежающей влаги. Ночь, кругом кромешная тьма; он подымается на ноги, бредет, как в угаре, шатаясь меж деревьев. Опустился туман, по щекам сеется морось. Ему жжет глаза, словно он обварил лицо, он ничего не видит. Только слышит, как хлюпает под ногами вода. Он стоит у лужи. Он ложится ничком и ртом дотягивается до воды.

Он пьет и пьет, стонет, захлебывается, причмокивает от удовольствия. Он пьет до тех пор, пока уже нет сил сделать еще один глоток, пока вода не выливается обратно изо рта, пьет, пока его не начинает рвать зеленой желчью, пьет до бесчувствия и остается лежать у лужи. Голова его оказывается на подушке из мха, и лежать ему на мху мягче, чем на постели из еловых лап. Мох раздается под его бесчувственным отяжелевшим телом, он погружается в него и снова впадает в беспамятство.

Саван, холодный саван обволакивает его тело. Но он не может разжечь костер. На каждой макушке ели притаился стрелок, высматривающий, не появится ли где дымок от костра беглого Сведье. Но нечистый выдает Сведье и показывает на него: «Вот, смотрите, под елкой прячется Сведьебонд!»

Один за другим идут облавщики, в лесу слышен их крик: «Лови его! Держи! Хватай! Сведье! Сведье!»

Но снова загорается солнце; оно светит на постель из мха. Лесной житель просыпается от озноба.

Возле него стоит парень. Рослый и дюжий, одетый в серую овчину. Он наклоняется над лежащим и протягивает руки, чтобы схватить его. Тут Сведье понимает,

что пришли за ним. Человек этот отыскал его и теперь протягивает руки, чтобы не упустить свою добычу. Но Сведье живым не дастся. Он тянется к мушкету.

— Я сам понесу его,— шепчет чей-то голос.

Руки Сведье судорожно шарят по земле в поисках мушкета, но не находят его. Кто взял у него мушкет? Тогда он пытается дотянуться до ножен. Сильная мужская рука обхватывает Сведье, стараясь поднять его с земли. Но он сопротивляется и отбивается. И незнакомец не может удержать его в руках.

— Пошли подобру, Сведьебонд! — говорит голос.

«Пошли, пошли!» Его хотят завлечь обманом, чтобы он не сопротивлялся. Но он не даст себя провести. Правой рукой он хватается за нож на поясе:

— Живым не дамся!

— Да дай же мне поднять тебя! Я унесу тебя отсюда!

Руки в овчине хотят схватить его и куда-то утащить. Он напрягает все силы и прижимается к земле, но серые руки поднимают его. И тут он видит: не холопы Клевена выследили его, а нечистый. Это сам черт явился, чтобы утащить его. Страх сковывает тело. Рука Сведье вытаскивает нож, и пальцы впиваются в рукоятку. По доброй воле он никого не подпустит к себе! Живым он не дастся!

— Не бойся! — говорит нечистый.— Я отнесу тебя домой. На спине потащу!

Но даже черту Сведье не даст себя провести. Он чувствует, как волосатые лапы хватают его, чувствует волосатую шею возле своей щеки. Он сжимает рукоятку ножа и изворачивает руку, чтобы ткнуть дьявола. Но пальцы его ослабли, и силы больше не стало. Волосатые лапы одолели его; они поворачивают его тело, и он чувствует, что противиться ни к чему. Нож выпадает у него из рук.

— Где мушкет?

— Я уже прибрал твой мушкет,— отвечает нечистый.— А теперь прихвачу и тебя.

Сведье защищался, покуда не иссякли силы. Больше он не пытается противиться нечистому. Тот взвалил его себе на спину, ослабевшие руки Сведье болтаются за волосатой шеей.

— Ну вот, теперь-то ты мой!— И нечистый потащил Сведье куда-то через темный лес.

* * *

Когда Сведье проснулся, бред прошел, и взгляд его прояснился. Он лежал на постели из телячьих шкур под черной лохматой овчиной; рядом в очаге он увидел огонь, а на скамеечке возле огня сидел рыжебородый парень и что-то вырезал на топорище. Этого человека он уже встречал раньше.

Он огляделся вокруг; очаг с дымоходом, шкуры по стенам, под потолком — все это он уже когда-то видел. Он лежал в землянке Угге.

Лесной вор услышал, что Сведье зашевелился, и подошел к нему. Он склонился над Сведье и, поглядев ему в глаза, удовлетворенно кивнул:

— Вот ты и опамятовался!

— Это ты, Угге, нес меня? Я думал — нечистый.

Угге ухмыльнулся, обнажив длинный клык во рту. Лесной вор взял глиняную кружку, стоявшую возле постели:

— Пей сам, Сведье! Теперь мне нет надобности лить тебе в рот.

Угге поднес ему кружку к губам. В ней был настой кровавого корня. От него Сведье станет здоровым, ибо кровавый корень излечивает от трясовицы и болей в груди.

Питье было горькое. Угге сказал:

— Ну, и тяжело было тебя, чертушку, на спине тащить.

— Как же это ты нашел меня?

— Верно, лесовица указала мне дорогу.

Всеми покинутый, лежал Сведье в лесу, сраженный тяжкой хворью, а Угге отыскал его. Лесовица желала ему добра и привела к нему Угге.

Еще несколько дней — и Сведье стал бы добычей волков и ворон, сказал лесной вор. Приди он несколькими днями позже — нашел бы на мху одни обглоданные кости. И останки Сведье так и лежали бы там. На что они годны?..

— Тебе полегчало. Скоро и вовсе встанешь на ноги. — Лесной вор удовлетворенно ухмыльнулся, обнажив свои лошадиные зубы, и продолжал: — А ведь ты клятву давал не переступать порог моего дома, Сведьебонд!

Некоторое время больной лежал молча. Пусть Угге потешится радостью победы, ему не жалко.

Этот человек спас ему жизнь, и потому Сведьебонду оставалось сделать только одно: он протянул руку Блесмольскому вору.

* * *

Отвращение к еде у Сведье прошло. Угге кормил его жареной бараниной, Сведье жадно глотал мясо и запивал его настоем из трав. Через несколько дней он настолько окреп, что смог выходить из землянки.

Днем лесной вор редко оставлял свое жилище, а если и случалось такое, то далеко от жилья не уходил. По воду он ходил к студеному роднику в дубняке, а дальше у него никаких дел не было. Уже пять лет он спокойно жил в своем логове. Тому, кто хотел добраться до бурелома в дубняке, надо было хорошо знать верные тропки через трясину Флюачеррет. А того, кто переходил, не ведая о них, сбивали с пути многочисленные западни, которые скрывали проход. Угге остерегался оставлять после себя следы. Он никогда не бросал возле своего жилища ощипанных перьев или обглоданных костей, никогда не топил засветло печь, если ветер дул в сторону деревни. Он разводил огонь лишь к вечеру, когда темнело и дым не мог выдать его.

Бо́льшую часть дня лесной вор валялся на постели и спал, а вечерами долго сидел перед огнем у клокочущего котла с мясом. Он не был скуп и всегда подвигал Сведье плошку с мясом:

— Наедайся, сил набирайся!

Упрашивать Сведье не приходилось, он и так ел.

— Мясо мягкое, во рту так и тает! — сказал он.

— Баранина свежая. Овцу я намедни стащил.

Сведье перестал жевать.

— Это годовалая овечка. Я всегда в стаде уворовываю мясцо получше.

Угге вцепился в кусок мяса своими крепкими зубами. Овец что в хлеве, что на пастбище красть одинаково сподручно, рассуждал он. Одному человеку с коровой или быком управиться сил не хватает. А овцу взвалил на плечи, и давай бог ноги. С теленком тоже мудрость невелика. А вот с коровой либо быком лучше не связы-

ваться. Их убей на месте, да шкуру сдери, да разделай, и потом отхвати кусок и прячь остальное в надежном месте. Овец воровать куда проще. Но и с овцами можно влипнуть, ежели они заблеют и выдадут вора. Самое верное дело — сразу же заколоть скотинку. И кровь спустить, чтобы следу не оставалось.

Кусок мяса застрял в горле у Сведье, и он с трудом проглотил его.

Лесной вор подложил в огонь сосновый чурбан. Но в нынешние времена, продолжал Угге, когда крестьяне глаз не спускают в лесу со своей скотины, овец стало трудно красть. Нужно быть сметливым да на руку скорым. Промысел этот не для ленивого мужика, что тащится за волами на пашне.

Сведье раздумывал, чьей могла быть овечка, шкура которой валялась в углу хижины, а мясо варилось в котле Угге. В прошлом году и у него пропал с пастбища молодой баран, и, коли пошарить по углам землянки, может статься, нашлись бы тут рога и его барашка.

Сведье молчал, а Угге все похвалялся да бахвалился. Случаются и средь воров лодыри да недотепы, но он был, видать, рожден для своего ремесла. Какие он только проделки не проделывал! В Хумлебеке средь бела дня рождественского поросенка спер. В Гриммайерде льняную пряжу, разостланную на белище, подобрал! В Брендеболе серебро во время крестин украл! Самые наторелые воры такими проделками гордились бы. Он всегда брался за лихие дела. Крал такое добро, которое, казалось, и не украдешь, а потому его никто и не сторожил. Пускай ругают и презирают нерасторопных воров, а он, сказать по правде, преуспел в своем ремесле. Каждого человека надо уважать и почитать по тому, как он свое дело разумеет. Любое ремесло хорошо, да по-разному люди владеют им.

Не будь у него такое доброе сердце, так в землянке полным-полно было бы всякого добра, говорил Угге. Но, как человек честный и справедливый, он делится своей добычей с бедными горемыками. Он крадет у богатых и отдает украденное вдовам и сиротам. Немало бедняков в убогих лачугах он подкармливает — и в Альгутсбуде, и в Мадешё. За доброту бог посылает ему свое благословение, и удача сопутствует ему в делах.

Тут и Сведье рот открыл.

Йенс-звонарь, сказал он, внушил ему десять божьих заповедей — их ровно столько, сколько у него пальцев на руках,— и он помнит, что одна из них запрещает людям красть добро и скот.

Угге выразительно сплюнул в огонь, так что угли зашипели, и сочувственно посмотрел на Сведье. Кто же вор, а кто честный? Он украл ягненка, а помещик — десять тысяч овец, да и то у бедняков. А ведь сам бог велит брать добро у богатых и раздавать бедным. Так было записано в божьих заповедях с самого начала: укради у богатого. Так и отец ему наказывал, а отец у него был человек честный и правду разумел. Отец его крал только у богатых и учил его отличать, где правда, а где кривда. Отец у него был человек благочестивый и лозой учил, коли дети хулили имя божье. Угге чтит всегда память об отце.

Голос у Блесмольского вора дрожал, видно за живое задели его слова Сведье о том, что заповеди господни запрещают воровство. И тем горше была для него обида, что он ведь спас этому бонду жизнь, и надо бы за это спасибо сказать.

Захотелось ему тут рассказать о большом сыре, что он стащил прошлой осенью из пасторской усадьбы в Альгутсбуде. Сыр тот не поднять было — такая тяжесть, но он отправился сперва к берднику Габриэлю в Кальваму. Жена и дочь у того лежали вовсе синие от голода в своей убогой избенке. Там оставил он первую четверть пасторского сыра. Потом пошел к вдове в Хумлебек, что доводится сестрой матери Сведье, и ей отрезал вторую четверть сыра. Третью долю он отдал бродячему швецу Свену, который так ослаб, что уже полгода не мог встать с постели. Лишь напоследок взял он себе на пробу кусок пасторского сыра, да и то отхватил от него добрый ломоть для вора из Корпахульта, что возле Мадешё, который целый день прятался в его землянке. Поделить пасторский сыр между голодными — разве не такова заповедь божья?

— Воровать корысти ради — грех,— сказал Угге,— но ни разу не украл я даже яйца куриного из корысти!

Сведье уже не возражал ему. А немного погодя он сказал:

— Тебе не придется таскать для меня еду! Завтра сам пойду в лес за мясом.

* * *

В землянке под поваленным дубом живут теперь двое, но только один из них промышляет воровством. Другой ходит в лес на охоту.

Едва луна пошла на убыль, наступила сухая, солнечная погода. Небо очистилось от туч, и в воздухе уже не чувствовалось духоты. Березки покрылись желтыми крапинками и предвещали близкую осень. С трясины Флюачеррет по вечерам доносились крики журавлей. Может, они жаловались, что на болоте еще нет журавлиной ягоды, клюквы, которая поспевает только к заморозкам, когда их здесь уже не будет. Целый день на болоте кричали чибисы и предупреждали о лисе, когда та подходила близко и вынюхивала, как бы поживиться теплым птичьим мясом. После дождя вода залила болото и затопила кочки, из воды торчали, словно камыши, верхушки травинок, а небольшие пригорки с рощицами стали похожи на озерные островки.

До сих пор Сведье везло на охоте, лесовица жаловала его и посылала ему навстречу дичину. Он опасался досадить ей и радовался, что она не является ему в женском обличье, а коли явится, то он знает, чего она от него захочет. Иногда, когда он ложился отдыхать на луговинке, он чувствовал присутствие женщины. Кто же это, как не лесовица? Она, видно, ходила за ним по пятам.

У южного края трясины Флюачеррет земля была изрыта копытами диких коз, и там среди зеленых кустиков притаился в засаде Сведье. Он берег остатки пуль для крупного зверя: как только начинало светать и можно было стрелять наверняка, он шел к лесной прогалине подстерегать косуль, которые приходили сюда из леса пощипать листочки да траву. На третье утро, когда он ждал, притаившись за стволом сосны, на поляну вышли лесной козел и коза. Он выстрелил в козла, который был крупнее самки. Животное рухнуло на месте с простреленной шеей.

Сведье взвалил тушу на плечи, принес в землянку и бросил к ногам Угге:

— Вот тебе козлятина вместо баранины. Стреляное ничуть не хуже ворованного.

Он содрал с козла шкуру, разрубил тушу на куски, зарыл в землю потроха и повесил шкуру над очагом.

Угге стоял и смотрел: Сведье был и вправду горазд охотиться. Мяса у них теперь было вдоволь, но хлеб кончался, а соль была на исходе. Козлятину надо круто посолить, иначе в эту пору она быстро протухнет.

Через несколько дней Сведье застрелил козленка на поросшей травой и кустарником прогалине. Но лесной вор заворчал. Что проку стрелять козлят, говорил он, коли соли в обрез? Что толку попусту гноить мясо? Есть ведь на свете и другая еда. Пускай-ка Сведье сходит в лес за хлебом, маслом, медом и ветчиной! Этакий ловкий охотник наверняка подстрелит себе каравай хлеба либо свиной окорок.

Днем Сведье ходил в лес, а Угге лежал в землянке и спал. Каждый день он говорил, что пойдет нынче же ночью. Но когда наступал вечер, он выходил из землянки и, поглядев на погоду, оставался дома.

Стояли ясные лунные ночи, и тот, кто отважится воровать в полнолуние, может пойти прямиком к Дубу Висельников и сунуть голову в петлю. Без крайней надобности Угге никогда не воровал в новолуние. Всему свое время, и если хочешь удачи, то воровать надо, когда месяц на ущербе.

Летом, в светлые короткие ночи, лесные воры отдыхают. В снежные зимы, когда на снегу остаются следы, им тоже приходится без дела отлеживаться дома. А вот бесснежная зима — дар божий. Да и весной, когда сходит снег, и осенью, до снегопадов, воровать самая пора. И теперь время подходящее уже не за горами — безлунные, темные ночи и твердая, подмерзшая земля.

Однажды вечером занепогодилось. Угге вышел из землянки, поглядел на небо, потом натянул овчину и обул берестеники, как делал всякий раз, собираясь в дальнюю дорогу. Он взглянул на рваные штаны Сведье и подумал, не стянуть ли для него новые. Какие хотелось бы ему, спросил он Сведье,— из холста или из сермяги? Если нужно украсть одежду, то придется лезть в дом к помещику или пастору.

— Не утруждай себя,— сказал Сведье.

Лесной вор собрался наведаться этой ночью в деревню. Но где у него воровской корень, которым можно открыть любой замок? Сведье не заметил, чтобы тот положил что-нибудь в карман. Видать, он отпирал замки голыми руками.

Угге поглядывал на Сведье из-под косматой огненно-рыжей гривы. Почему он не уходит? Сведье отвернулся.

Лесной вор стоял в ожидании. Он что-то хотел от Сведье.

— Я спас твою жизнь, Сведьебонд. Так или нет?

— Спас.

— Да только ты не отблагодарил меня.

— Я благодарил тебя.

— Если ты честный человек, сослужи мне службу.

— Какую?

— Пойдем вместе, пособишь мне.

Сведье вскочил, будто лук распрямился:

— Мне воровать с тобой?

— Я думал, ты сам назовешься в помощники.

В воровском деле, продолжал Угге, ладно быть вдвоем, ну, как ногам у человека. Один входит в дом, другой караулит снаружи. Нужно доверять друг другу. Пригодится молодой да сильный парень, когда украденное надо будет тащить по лесу. Через несколько лет из меткого стрелка получится умелый и ловкий вор.

— Да ведь ты знаешь, вором я сроду не был.

— Не был, так станешь. Умельцем не родятся.

— Отвяжись! — запальчиво ответил Сведье.

— Стало быть, не поможешь?

— Сам себя прокормлю.

— А где ты найдешь в лесу хлеб? — спросил Угге.— А как ты будешь жить, когда у тебя кончатся порох и пули? А где ты возьмешь мясо, когда тебе нечем будет стрелять? Выходит, я иди и воруй для тебя? Может, прикажешь мне работать ночами, когда ты, лежебока, будешь валяться на лавке у очага?

Сведье был обязан Блесмольскому вору жизнью. Но сейчас внутри у него все кипело, и он не мог дольше терпеть. Лицо его побагровело под густой бородой, и он молча стал собирать свои пожитки.

— И почему это я не бросил тебя в лесу? — с досадой проворчал Угге.— Зачем не отдал тебя на поживу волкам и воронам? Никто не просил меня помогать, и никто не сказал спасибо.

Угге сидел на чурбане перед очагом и плевал в огонь так, что головешки шипели. Когда он поднял глаза, то увидел Сведье уже на пороге и спросил:

— Ты куда это собрался?

— О себе я позабочусь. Сюда ты принес меня, а обратно сам уйду.

Гнев у лесного вора уже схлынул. Он в раздумье и смущении запустил пятерню в непослушные волосы, которые ершились, словно выжженый солнцем багряный можжевельник.

Разве что нехристь какой столкуется с этим упрямцем Сведьебондом, а крещеный человек — нет. Он, видать, думает, что в лесу можно обойтись без воровства. Оставлять следы в лесу на охоте не боится, а чтобы как-нибудь ночью на воровской промысел пойти, так на это его не станет. Сладу с таким другом-приятелем нет, пусть он и мастер стрелять.

Но крещеному и верующему надо обходиться с ближним своим по-божески, по справедливости. Прощать надо ближнему своему. И если он нынче простит брата своего, то сделает доброе дело.

Сведьебонд — охотник умелый и кормить может.

Угге подошел к Сведье и мягко сказал:

— Нечего нам перебраниваться. Давай жить вместе!

Лишь когда лесной вор в третий раз повторил свои слова, гнев у Сведье поутих. И, только когда Угге на прощание повторил те же самые слова в четвертый раз, согласие вновь установилось между ними.

Живут двое в землянке у трясины Флюачеррет, но только один из них — вор.

НЕВЕСТА ВСТРЕЧАЕТ СУЖЕНОГО В ЛЕСУ

Солнечный обруч катится книзу, к вечеру солнце садится за темным лугом, и день уравнивается с ночью. В день солнцеворота было порешено играть свадьбу.

Но вот наступил осенний солнцеворот, а свадьбы не справляют. Сидит девица и ждет-пождет на верхней галерейке Стонгегорда; на коленях у нее свадебная рубаха для суженого. По вечерам она идет к роднику на лугу и смотрит вслед заходящему солнцу, ожидая жениха. А когда возвращается домой с подойником, то видит, как солнце садится все ближе к лесу. Но жениха нет как нет. Уже везут в овины последние снопы, щепают и связывают в пучки сосновую лучину к зиме, по

вечерам теперь раньше играет рожок пастуха. Но свадьбы не справляют.

Минул день осеннего солнцеворота, а беглый из леса не вернулся. Вместо него пожаловал к отцу новый жених и посватался к девице. Знатные люди пришли с женихом, сам фохт был за свата. Посему приняли их с почестями и ответили согласием. Порядили отец с женихом справить свадьбу в новый год, и сват остался доволен.

Так просватали Ботиллу за Матса Эллинга, и отец говорит ей:

— Стоять бы тебе в солнцеворот с бондом Сведье под венцом, да отступился он от своего обещания. И у нас с ним теперь расчет полный.

— Да, батюшка,— отвечает дочь.

— Просватана ты Матсу из Эллингсгорда.

— Да, батюшка.

— Скоро отпразднуем ваше обручение.

— Да, батюшка.

— Свадебную рубаху жениху и шить не надо. Она у тебя уже готова.

— Да, батюшка.

Так девицу просватали за Матса Эллинга, который в прошлом году переселился сюда из Лонгашё. Сперва Йон Стонге посулил дочь бонду Сведье, но тот обманул, не пришел в положенный срок за суженой, а теперь она за другого просватана. Встанет она под венец с Матсом, и будет это в день новолуния будущего года, потому что в новогоднее новолуние все приметы сулят счастье и самая пора брачиться.

Гуляют у старосты на пиру в честь обручения, и самый почетный гость — сват. На пиру жених и фохт завели разговор о лесном разбойнике по имени Сведье, которого разыскивают в округе. Логово его в Каменной Змее, старинное убежище беглецов, облавщики нашли, но, видно, Сведье успели упредить, и он скрылся. Человек этот — головорез и бесшабашный бродяга, и ему все нипочем, в страхе держит всю деревню.

И староста сделал после обручения на дверях двойные запоры. Миновал сентябрь, наступил октябрь. Рано стало темнеть, пришла пора вешать новые замки; ведь октябрь — месяц воров.

* * *

Йон из Брендеболя проснулся посреди ночи от удушья. Рядом с ним на ржаной соломе посапывала жена, а ему и в постели не было покоя. Его что-то душило, то в горле стоял ком, то давило грудь. Он сел на лавку и, кряхтя, еле-еле перевел дух. Не иначе как приходила к нему домовица, ведьма проклятая. Как-то ночью она заездила его кобылу, так что наутро несчастная Лыска вся дрожала и обливалась потом. Ведьма могла забраться в дом через любую щелочку. Завтра он заткнет все дыры от выпавших сучков и законопатит все щели в бревенчатых стенах.

Кабы назвать проклятую ночную гостью по имени, так сразу избавился бы от наваждения. Он решил попытать удачи и перебрал по именам всех лихих баб на деревне, начиная с Анники Персдоттер,— она была на блуд мастерица, это он знал. Три раза кряду громко повторил он ее имя. Но удушье не проходило. Видно, не вдова из Персгорда душила его. Кто же эта растреклятая баба? Три раза назвал он Карин Свенсдоттер, но и после того легче не стало. Не угадал. Три раза произнес он имя Бриты Хенриксдоттер, но тяжесть в груди не уменьшалась. Не угадал. Больше в деревне не осталось ни одной бабы, кто бы мог по ночам ворожить.

Нету сил у старосты избавиться от страха. А может, это вовсе не ведьма-домовица душит и мучит его. Она приходила лишь к тому, кто загубил чужую душу и тайно закопал тело в землю. Но он никого не загубил и не закапывал в землю. Так что ведьме незачем приходить к нему.

Случается, что и домовые по ночам тайно пробираются в дома и насылают хворобу.

Староста встал, подкрался к двери, проверил замки и засовы. Замки надежные, за такими запорами можно спать спокойно. Дверь запирается на новый широкий засов в четверть фута. Кто помолится богу и ляжет в постель за такими замками и запорами, может спать спокойно.

Если за дверью его и подстерегает опасность, то в доме он может уповать на защиту всевышнего и прочность замков. И все-таки по ночам кто-то не дает ему спать, крадет у него покой. Может статься, что все его муки попросту от червей и из-за них он мечется и исхо-

дит по́том в постели. Он наказал жене заварить шалфею и горьких березовых почек и усердно пил зелье, но облегчения ему не было. Матушка Альма сварила ему настою из свежей березовой листвы, но и этим питьем не удалось выгнать из брюха прожорливых червей. Они знай росли да жирели, а он хирел и тощал. Они пожирали его пищу, а ему ни росинки маковой. Им и труда не надо добывать себе пищу, за них это делал староста, он же и разжевывал ее. Черви в кишках множились и вытягивались, что веревки. Ни горькие, ни сладкие травы не выгоняли их, и казалось, конца им не будет. Они высасывали Йона, лишали сил и, видно, собрались мучить до тех пор, пока не загонят в могилу. То были воры, которые забрались к нему в брюхо и пожирали его живьем.

Соседи видели, как он ходил весь скрюченный, бледный, вялый, и, введенные в заблуждение, говорили: нужда пришла к Стонге, слаб староста с голоду, все своим отдает, а сам голодает. Он слышал, что говорили люди, да пусть их заблуждаются. В закромах у него еды хватало: все лето ели хлеб из чистой муки. Не приведи бог, прослышат люди про рожь, что фохт оставил ему от оброка. Сделали они это с Борре промеж себя, и никого другого в деревне это не касалось — ни мужчин, ни женщин. Хоронясь чужих глаз, пекли в доме старосты хлеб из муки. Тайком приходится делать многое в деревне, с тех пор как она попала под власть помещика.

В деревне все были любопытны — и стар и млад, и мужчины и женщины. Подсматривали, перешептывались, выслеживали, стараясь всё вынюхать, хотя не их это было дело. Они пытались проникнуть и в его тайну. Они понапрасну подозревали его в недобрых делах. Он неотступно держал сторону своих собратьев и делил с ними невзгоды. Неужто мог он отказать фохту, когда тот пришел сватом за Матса? Если не хочешь подохнуть с голода, а желаешь жить с миром и в достатке, то надо водить с фохтом дружбу. Он уверял односельчан, что с ними он заодно против помещика и не отступил от своей клятвы. И все равно он знал, что за глаза они оговаривают его.

А стало быть, он никому не доверит весть о присланном штафете. Ни один человек в деревне, кроме него, не может хранить опасную тайну, никто, кроме него, не

видел знака утренней звезды, и лучше никому его не показывать. На этот раз он зарыл штафет в землю на локоть глубже. Из такой глуби уж ни один боров не сможет выкопать его на белый свет. Глубина эта и для зверя, и для человека большая. Утренняя звезда зарыта и больше не взойдет над землей. Теперь не придется беднякам расплачиваться жизнью за штафет и не прольются слезы вдов и сирот.

Никто не проведает, куда подевался запретный штафет, что ранней весной гонцы несли через Вэренд. Окровавленная доска гнила, закопанная в землю, и то место быльем поросло.

То, что сделал Йон из Брендеболя, правильно и разумно. И нечего попусту над этим голову ломать.

Запоры на дверях надежные. Он снова лег на постельную солому. Но постель все еще мокра от его пота, и стоит ему улечься, как к горлу подкатывает ком. В груди давит и душит. И вовсе это не ведьма-домовица забралась к нему. Он никого не загубил и в землю не закапывал,— на что он ей сдался? И вся его беда не от нечистой силы, а от червей в животе.

Идет месяц воров, и староста не спит, хотя на двери его двойные засовы и замки. Но никакие засовы и замки не могут уберечь от тех воров, которые забираются в человека и обворовывают его изнутри, лишая покоя и сна.

* * *

Осенними вечерами девица больше не сидит с шитьем на открытой галерейке. Бродит она по лугу, по межам на пашнях, ходит по тропинкам, что ведут в лес. Сделан последний стежок на свадебной рубахе жениха, и назначен срок, когда застелят брачную постель,— день первого новолуния наступающего года. А девица ходит и ходит по тропинкам, что ведут к лесу.

С той стороны придет он. По этим тропинкам ходили они на ранней зорьке, когда светлые капельки божьей росы еще лежали на только что раскрывшихся цветах. Сидели они вдвоем под большим деревом на развилке, и было у них на душе тихо и спокойно. Словно сучковатые руки мертвецов, простирались над ними ветви Дуба Висельников, но они знали, почему именно здесь присели они в то утро. Обрученные! Неразлучные! На веки

вечные! Руки мертвых благословляли их и желали им долгой жизни, и перед ними, точно брачная постель, расстилался зеленый саван мертвецов, усыпанный бисерной росой. А высоко на макушке дуба им пели птицы: «Обрученные! Неразлучные! На веки вечные! До гробовой доски!».

Сведье придет к ней. Только ему впору сшитая ею свадебная рубаха. Невеста шила ее по мерке, снятой с суженого. Не носить этой рубахи никому другому. И уж вовсе не годится она Матсу, и не станет она перешивать ее для него. Рядом с лесным жителем Матс — сухая жердина. Рубаха ему будет широка в поясе и в плечах, рукава будут болтаться, а ворот будет просторен, словно нараспашку. Свадебную рубаху, которую она сшила своими руками, никто не наденет и не будет носить. Никто, кроме человека из леса.

А птицы летают высоко в небе и не несут ей от него весточки. Утром и вечером молит Ботилла господа бога, чтобы пришел ее суженый. Но бог не внемлет ее молитвам. Сведье хоронится где-то далеко, а неопытной девушке долго ли заблудиться в диком лесу? Един есть господь бог, и помощи ждать от него одного пристало. Но он не помогает. Она ждет, молится, сомневается, надеется, боится.

Однажды она снова пошла к заветному месту. Она вошла в чулан, сдвинула отодранную доску. Он так и лежал на том самом месте, куда она его положила.

Этот гвоздь нашла она в ландышах под Дубом Висельников, когда они сидели там вдвоем. Гвоздь с дерева повешенных наделен силой, что помогает. И не для того ли он дан ей, чтобы сбылось ее желание?

Она берет в руки сокровенный гвоздь. Железный гвоздь толщиной с ее большой палец и раза в два длиннее среднего. Он слишком долго лежал на земле, и на нем краснеет ржавчина. Она боится его — это гвоздь палача,— но ей хочется смотреть на него, трогать его.

Ботилла все чаще приходит в заветное место и остается там с гвоздем. Когда она прикасается к нему, то чувствует, как он дрожит. Она ощущает великую силу, заключенную в этом ржавом железе. Такой силы не бывает ни в мужском, ни в женском, ни в зверином, ни вообще в чьем-либо живом теле. Не узреть ту силу глазами, не потрогать руками — она бестелесна. Но сила

та повсюду вокруг нее: в воздухе и на земле, в каждой травинке, в каждой речке и в каждом ручейке.

Но девица не ощутила бы той силы, если бы она не проникла к ней в душу, проистекая от несбывшихся желаний.

Она молилась тому, кто имел власть над всеми. Она называла его всемогущим, но ее молитва не доходила до него. Может, это и не настоящее имя его, а называть надо непременно настоящее имя того, к кому обращена молитва. Ботилле так хочется, чтобы суженый пришел к ней в лес, на то место, где она его ждет. Она не может послать ему весточку ни с человеком, ни со зверем, ни с птицей крылатой. Кто же тогда поможет ей, злосчастной? В руке она держит то, что придает молитве силу, и она может молиться, не называя ничьего имени.

Этой осенью сошел со щек у Ботиллы румянец, и матушка стала готовить для нее зелья из цветов и трав. Она заваривает дочери ландыш, и напиток этот укрепляет сердце и голову и проясняет взор. Матушка потчует ее настоями из трав, чтобы вернуть румянец щекам. Напитки эти благоухают, словно пахучие листья шалфея и полыни. Но ничто так не прогоняет тоску, как зелье из корня белены; Ботилла сама собирает этот корень и варит из него питье. Стоит лишь его отведать, как на душе у нее становится веселее, и она знает, что у нее есть силы пособить себе.

Однажды, когда Ботилла напилась зелья из корня белены и ее щеки снова заполыхали, как алый цвет шиповника, она пошла в лес. Судорожно сжимали ее пальцы узелок, завязанный на переднике, в котором спрятала она кроваво-ржавое железо.

Человек из леса не пришел к ней, и она сама пошла к нему.

* * *

Девица сидела на можжевеловой пустоши, среди кочек, поросших отцветающим вереском. В этот промозглый осенний день она забрела на пригорок с чахлыми, редкими кустами можжевельника, где тощую землю прикрывал лишь колючий вереск. Но в груди у нее расцветала надежда, что сбыться желанию поможет железный гвоздь, который она прятала в переднике. Она стискивала в руке гвоздь и молила, чтобы суженый при-

шел к ней на свидание тотчас, немедля, прямо сюда. Она не взывала ни к какой силе, ни к всевышнему. Она думала о господе боге, но не называла его имени.

Тот, кого она звала, хоронился где-то здесь, в лесу. Она слышала, как меж деревьев раздавался ее зов. «Иди ко мне!» — неслось от дерева к дереву, и лес подхватывал клич: «Иди ко мне!». Ее зов летел к нему сквозь гулкие лесные чащи, а птицы разносили этот зов по всему лесу.

Она ждала. Сперва она вышла на полянку, опутанную стелющимся по земле, обтрепанным вереском, среди которого подымались чахлые, низкорослые кусты можжевельника, топорщившие колючие ветки. Но ей хотелось бы найти зеленую луговинку, поросшую цветами и травой, мягкую и удобную, как постель. И вдруг она очутилась в зеленой роще, где земля расстилалась зеленым ковром. Глаза у нее были зоркие, и она примечала каждую травинку в этой роще. Она присела на пригорок, покрытый белыми и красными цветами. Теперь вокруг нее росли не колючие кустики отцветающего вереска, а яркие и пышные цветы. Тут были распустившиеся синие колокольчики, белые цветы камнеломки, росянка и чабрец. В этот тусклый осенний день здесь цвели цветы, которые покрывают луга в жаркие дни и растут в лесу только в летнюю пору. И чудесную же луговинку отыскала она для себя в лесу! Вряд ли можно найти место краше в такой хмурый день по осени. Было тут не зябко, а тепло и приятно, как вечерней порой в сенокос.

На луговинке пахло, словно в огороде, и Ботилла радостно вдыхала этот запах. Здесь буйно разрослись тмин и купырь, которые, словно громадные деревья, возвышались в лесу из цветов. По запаху чувствовалось, что тмин созрел и его уже можно было собирать и сушить. Но семя купыря еще не поспело и отливало белизной. Повсюду были цветы: пламенел царский скипетр, распускался шиповник. Здесь же разрослись шалфей и очанка, будто их вырастили на грядке. Ну, каких цветов ей еще надо?

Давным-давно умолкшие птицы снова защебетали на ветвях и макушках деревьев. И, словно в погожий теплый вечер, закуковала кукушка. Вокруг стоял гомон, точно в июньский вечер, когда заливается каждая пичужка и из каждого куста слышатся то рожок, то сви-

рель. Ботилла радовалась красоте и запахам цветов, ей пели птицы и на душе у нее полегчало. Луговинка постелила девице тихую зеленую постель, ее губы улыбались, а щеки горели как маков цвет.

И тут сбылось ее желание.

* * *

Он вышел из кустов совсем нежданно. Шагнул к ней на зеленую луговинку. С первого взгляда она даже не признала его. В глазах у нее зарябило, и она не сразу разглядела его лицо. К тому же он изменился, и она только по голосу поняла, что это он.

Видно, ей все еще было страшно оттого, что она видела его очень смутно. Она никак не узнавала его глаз, которые ей так хотелось увидеть. Но он сказал:

— Не бойся! Мы обручены! Я твой суженый!

Тут она сразу успокоилась, и страха как не бывало.

— Я твой суженый!

Он подошел к ней, и они легли на траву. Они почти не говорили. По чести и уговору легли они на землю среди раскрывшихся цветов, и она положила ему на плечо голову, как повелось у них с той самой поры, когда они отпраздновали обручение. Опять они были вместе. Они лежали на пахучем ложе из трав и цветов, под зеленым пологом деревьев, и в лесу пели им птицы, которые уже давно в эту пору не поют: «Обрученные! Неразлучные! На веки вечные!»

Безбоязненно покоилась Ботилла головой на руке жениха, ее суженого.

— Не бойся! Я твой!

Ее охватила сладкая истома, и она вся трепетала. Душой она была как в раю. Пусть бы так на веки веков!

«Обрученные! Неразлучные! До гробовой доски!»

Они задремали.

* * *

Когда Ботилла проснулась, он уже ушел от нее. Рядом с ней никого не было. Там, где только что лежала его рука, топорщился пучок колючего вереска. Земля под ней была твердая и голая, а вокруг, между чахлых кустов можжевельника, желтели прядки прелой, увядшей травы. Ни птиц, ни цветов. Она лежала на откры-

том пригорке в можжевеловой пустоши среди отцветающего вереска, и промозглый осенний день с серыми тучами стоял над лесом.

Второпях вернулась она домой, по-прежнему сжимая в руке железный гвоздь, спрятанный в переднике.

Мать уже хватилась Ботиллы — дочь куда-то запропала, хотя ее никуда не посылали. Матушка спросила дочь, где та была.

— В лес ходила, матушка.

— Чего ты там не видела?

— Хотела побыть одна, дорогая матушка.

— Гуляла бы ты поближе к дому. В лесу недолго и заплутать.

Ботилла не могла сказать, что ходила по ягоды: она не брала с собой кузовка, да и ягоды уже сошли, и только подмороженная брусника осталась на кочках. Не могла она сказать, что ходила присмотреть за скотиной: ведь коров больше не пасли на выгонах. Потому она ответила только:

— Хотела побыть одна.

Отцу с матерью пришлось довольствоваться этим ответом. Однако отец все же посоветовал:

— В другой раз не ходи так далеко!

Он мог бы ее спросить, почему она бродит по лесу без дела, без причины. Но Ботилла была всегда послушной и покорной дочерью. С тех пор как она подросла, ее почти не наказывали. И в девушках держала она себя достойно и в строгости и наказывать повода не давала. Родители не знали с ней ни забот, ни печали. Староста видел, что дочь уважает и почитает его, как и должно уважать и почитать заботливого отца, который любовно оберегает свое дитя и желает ему добра. Строгие отцы требовали, чтоб дети всегда находились под их родительским оком, даже когда они были совсем взрослые, как Ботилла, но если уж ей хотелось погулять в лесу, развеять там свою печаль, то не мог же он отказать в этом родной дочери. Правда, в лесу она намается, и уж тогда мало проку будет от нее в усадьбе, да и мало ли что может с ней там случиться!

Поэтому староста сказал дочери:

— Не забредай-ка далеко!

— Не стану, батюшка.

И больше о том речи не было.

Ботилла не промолвится, что приключилось с ней на

лесной прогалине. И кого она там повстречала, останется ее тайной, которую она никому не откроет.

Не испугалась девица, когда, проснувшись, не услышала пения птиц и не увидела вокруг распустившихся цветов. Не стала тужить, что видит лишь голую колючую кочку, на которой только что лежала его рука. Не печалилась, что суженый сгинул да пропал.

Знала она, что ей делать.

Стоит ей пожелать — и она покличет его и вызовет на прекрасную зеленую луговинку; стоит ей захотеть — и она тайком уйдет из дому и встретится с суженым в лесу.

ВОР ОБКРАДЫВАЕТ САМОГО СЕБЯ

В землянке под поваленным дубом живут двое. Один из них покидает землянку днем, другой — ночью. Один возвращается домой ввечеру, другой — поутру. Один приходит со снизкой рыбы, с пойманной в силок птицей, другой — с солониной и прочей снедью. Один спит ночью, другой — днем. Каждый из них занят своим делом, и теперь они ладят друг с другом. Но каждый кормится тем, что добыл сам, и добычи другого не трогает.

На трясине Флюачеррет курлыкали журавли в последние дни перед отлетом и тревожно кричали чибисы, завидев лисицу или ястреба. Цветы белоуса завяли, и пух их висел на стебельках сухой и мертвый. В брусничнике падали на землю тяжелые, набрякшие ягоды, и тетерева прятались в кочкарнике. А на болоте белела неспелая клюква, нанизанная на короткие стебельки, твердая, как желуди. Высокое и ясное стояло небо над лесной осенью.

Солнцеворот и время свадьбы минули, а жених все еще хоронился в лесу. Облаву не снимали, и Сведье не осмеливался подходить близко к деревне. Здесь, в безлюдном и глухом лесу, до него доносились лишь голоса людей, бродивших в поисках заблудившейся скотины. Изредка доходил он до озера Мадешё, но, если неподалеку были люди, поворачивал назад. Порох и дробь были у него на исходе, и он ставил теперь силки на птиц и капканы на зайцев. В этой охоте он был удачлив.

Когда Сведье, проверив силки и капканы, приходил домой со знатной добычей, Угге говорил ему:

— Она не оставляет тебя своею милостью.

Лесной вор догадывался, кто посылал Сведье такую удачу, но имени его пособницы не называл. Сведье отмалчивался.

— Только она теперь тебя не отпустит! — сказал Угге предостерегающе.— Удружить ей надо.

— Это как же удружить?

— Известно как — по-мужски. Придется тебе ее потешить.

— Если ты про ту самую, так ей я не удружу.

— От нее не уйдешь! — проронил Угге.

То ли жалость, то ли зависть слышались в голосе вора,— Сведье не понял. Он утаил, что однажды ночью, когда Угге промышлял в деревне, лесовица лежала у него на постели.

Вначале он решил, будто все это ему во сне померещилось. Сведье привиделась его невеста Ботилла; она ласково лежала у него на плече. Такой сон видел он много ночей, но на этот раз, когда проснулся, какая-то женщина все еще лежала рядом с ним. На теле у нее не было ни единой нитки, она раззадоривала и распаляла Сведье, а он, проснувшись, коснулся голой груди лесовицы, приняв ее за грудь невесты. Но, разглядев, кто эта женщина, он отшатнулся и закричал. Ибо у женщины, лежавшей в постели, не было лица. Тут-то он и понял, кто она такая. Над спящим имела она полную власть, и Сведье во сне подпустил ее к себе. В страхе выкрикнул он имя Христово, и она тут же исчезла в темноте землянки. Там, где она только что лежала, осталась лишь овечья шкура.

В ту ночь он с ней не опоганился, но совесть его мучила всякий раз, когда он вспоминал, что принял ее нагую грудь за грудь честной девушки. Только подумать — у этой женщины не было лица! От пророчества Угге ему стало не по себе. «От нее не уйдешь!»

Наступила глубокая осень, ночи были безлунные, стояла воровская, темная пора. В одно прекрасное утро Угге стал собираться в дорогу, сказав с таинственным видом, что у него есть важное дело.

— Путь туда не близкий, так я пойду лесом засветло.

Обычно же он уходил из дому перед сумерками. Угге добавил, что воротится завтра, а то и послезавтра. Если

же от него не будет вестей целую неделю, то пускай Сведье его больше не ждет.

Сведье знал, что у Блесмольского вора есть в деревне тайные друзья-пособники, готовые укрыть его от погони. Угге велел справиться о нем у палача, коли он не вернется на этот раз.

— Знаешь ли ты Ханса из Ленховды? — спросил Угге.

— Не доводилось встречать.

— А и встретишь, так не бойся. Он ведь тоже крестьянствовал, пока его не заклеймили.

Тут Угге стал рассказывать про палача, хвалясь столь важным знакомством. Ханс из Ленховды был смолоду честным человеком, но потом угораздило его убить своего соседа и недруга, и его осудили на смерть за смертоубийство. Родня Ханса была с достатком, они предложили тингу пятьдесят бочек ржи за его жизнь. Среди судей были друзья убитого, и они отказали родне Ханса. Сам Ханс давал сто бочек ржи и тоже получил отказ. Но умер старый палач, и Хансу сказали, что сохранят ему жизнь, если он даст заклеймить себя и станет палачом. Тогда-то он и потерял свои уши — судьи взяли два уха взамен ста бочек ржи. Ханс из Ленховды откупился ушами. Прежде он был человеком степенным, а нынче нравом изменился и пристрастился бражничать.

— Может, тебе еще придется повстречаться с Хансом из Ленховды,— сказал лесной вор, не думая ничего худого.

Угге ушел, но воротился назад еще до захода солнца. Он уже был у самой деревни, когда услышал колокольный звон в Альгутсбуде. Был праздничный день, и звонили к обедне. Он редко занимался воровским промыслом по воскресеньям и уж никогда не крал в праздник. Он запомнил на всю жизнь, что его отца в праздник схватил ленсман. Бог был милостив к нему сегодня и упредил его звоном альгутсбудского колокола. Лесной вор решил дождаться буднего дня. Сведье понял, что он затевает нешуточное дело.

На другой день Угге снова отправился в путь, но на сей раз он вернулся домой только через сутки к полудню с мешком муки за спиной. Муки в мешке было примерно четверть.

— Ты где это муку украл? — спросил Сведье.

— У мельника в Сутарекуле.

Вор пришел усталый, запыхавшийся, Ему пришлось идти в южный конец прихода. Когда стемнело, он залег на крыше сутарекульской мельницы и стал караулить. К полуночи мельник улегся спать в мельничной каморе, и тут-то Угге, не будь промах, и стянул мешок. Куда как просто — детская забава! Домой он пошел по проселочной дороге, и встречные принимали его за безлошадного торпаря, из тех, что ходят пешком на мельницу. Целых три четверика муки раздобыл он.

— Так в мешке всего-то один четверик.

— Два я роздал друзьям-приятелям.

Сперва он отдохнул у бердника Габриэля в Кальваму. Как-то раз Угге укрывался там целых трое суток, когда его разыскивал ленсман. У Габриэля скрючило пальцы на руках, так что он уже много лет не промышляет по бердовому делу, а жена у него слепая. Они давным-давно померли бы с голоду, если бы не кормились от непотребства своей молодой дочки. Карин Ярочке было всего шестнадцать, когда она в первый раз лежала на позорной скамье у церкви. Теперь ей минуло восемнадцать, она уже два года как ходит в шлюхах. Ее больше не кладут на позорную скамью и пеню за искупление грехов не взыскивают, жалея ее больных родителей. У них нет других кормильцев, кроме дочки единородной.

В церковной шестерке люди добросердечные, они пожалели бедняжку Карин и позволили ей безнаказанно промышлять блудом возле постоялого двора в Бидалите, наказав только не вызывать раздоров. Когда Угге принес четверик ржаной муки в лачугу Габриэля, вся семья сидела голодная. Карин Ярочка поскорее затопила печь.

— А другой четверик?

На это Угге ничего не ответил, а Сведье не хотел допытываться; он никогда не спрашивал, как звать пособников и утайщиков Блесмольского вора в деревне. Сюда, в землянку, приходил только один из них — бродячий швец Свен.

Угге натопил жарко печь, сгреб в кучу уголья и замесил тесто. Потом он посадил хлебы и стал присматривать, чтобы они не сгорели. Управившись, он сказал, что хлеб удался на славу.

Свежий ржаной хлеб появился в землянке, и дух от

него шел добрый, сладкий. Все нутро землянки наполнилось теплым струящимся запахом. Он приятно щекотал ноздри, и Угге жадно вдыхал хлебный дух. Добрый хлеб на столе!

А Сведье беспокойно ворочался в углу на своей постели. Запах теплого хлеба сладок, но не для того, кому достается один только запах. Больше года не едал он хлеба из чистой ржаной муки. У него была своя рожь, посеянная своими руками на своей земле. Эту рожь убирали теперь чужие руки, и хлеб из нее насыщал брюхо злодеев.

Крестьянин сеет, а душегуб снимает урожай, неправду творят под солнцем. Но солнце продолжает идти своим путем с востока на запад, слева направо, а Сведьегорд поставлен посолонь, и правда опять свое возьмет.

Угге отломил краюху дымящегося хлеба и принялся усердно жевать. Он жевал и глотал, и глаза его блестели. Блесмольский вор наслаждался сладким соком хлеба и чувствовал себя настоящим барином. А этого балбеса Сведье, который однажды побрезговал краденым хлебом, он больше не станет потчевать. Такого привереду, который и есть-то ленится, угощать нечего.

Запах свежего хлеба душил Сведье, обжигал ему нутро.

Во рту и в горле у него все еще оставался вкус мякинного хлеба. Зубы привыкли жевать хлеб пополам с соломой, корой, мякиной, вереском, орешником. Сухой мякинный хлеб застревает во рту, словно пыль на гумне, колет, точно иголки. Медленно переворачивается жвачка во рту; жуешь, жуешь, а глотать ее все равно трудно. Мякинный хлеб колет рот, словно колючки. Все глотаешь, глотаешь и глотаешь, а упрямая жвачка не лезет в глотку, застревает во рту. Хлеб этот нежеланный, недобрый, протолкнешь его в глотку, так пеняй на себя. Жвачка дерет горло, оставляет саднящие царапины. Пожуешь немного и глотнешь воды, чтобы непослушная жвачка прошла в желудок. И все равно тебя обманет этот негодный, коварный хлеб: брюхо он набивает, а силы телу не дает.

Этот недобрый, горький хлеб достается теперь честному крестьянину по закону. А мягкий, сладкий, пахучий хлеб из чистой муки беззаконно достается вору.

От краденой еды Сведье тошнило. Это еда не для здоровых телом.

— Ты что, с голоду помрешь, а ворованный хлеб есть не станешь? — спросил его Угге однажды.

В тот раз Сведье ему не ответил. Теперь он лежал, вдыхая теплый соблазнительный хлебный запах, и отвечал сам себе: «Тот, кто может дотянуться до еды руками, еще ни разу не помер с голоду. Если нельзя откусить честно заработанный кусок, то станешь воровать, лишь бы насытиться». Случись ему вовсе потерять рассудок, он стал бы рвать пищу в беспамятстве, словно волк. Если бы он обезумел от голода, то стал бы красть; где уж тут отличить правду от неправды, тут и украсть не грех, лишь бы избавиться от голодных мук.

Но такой час для него еще не настал.

— Славный хлеб! — пробормотал, чавкая, Блесмольский вор.— Тает, будто мед во рту.

— Пойду огляжу силки на болоте,— сказал Сведье.

— Ступай! — ответил Угге.

Землянка наполнилась хлебным запахом. Все нутро ее заполнил хлебный дух. Она была полна пахучим хлебом с пола до потолка, и в ней оставалось место только одному человеку — тому, кто ел хлеб.

Сведье поднялся. Он поставил новые силки на болоте, нужно пойти взглянуть на них.

— Стало быть, ты не хочешь есть? — спросил лесной вор, перестав на минуту жевать.

— Не твоя забота,— огрызнулся Сведье.— Ведь уговор был не лезть друг к другу с расспросами.

И тут-то Угге спросил неторопливо:

— Отчего ты не ешь? Ведь это твой собственный хлеб!

— Мой хлеб?

— Да, из твоего зерна.

— Нынче фохт снимает мой урожай!

— Но мешок-то взят у батрака фохта. Он привез на мельницу помол со Сведьегорда.

— Черт бы тебя побрал! — воскликнул Сведье.

— И зерно то твое, и хлеб твой, Сведьебонд!

— Ах ты бесово отродье!

— Пусти, чертушка, пусти, тебе говорят!

— Чего ж ты сразу не сказал, что зерно с моего поля?

— А тебе что, хлеба отведать захотелось? Так ведь он краденый.

— Ты знал, что мука моя?

— Ты же не желаешь есть краденое. Стану я потчевать этакого привереду!

— Так ты неспроста пошел на мельницу?

— Ясное дело, я проведал про воз с зерном. Угадать нетрудно. Да пусти же меня!

— Шутки вздумал шутить со мной?

— Я крал для себя. Что мне за корысть неволить тебя есть хлеб, который я приволок на своем горбу?

Сведье разжал руки и выпустил Угге. Потом бросился к печи, схватил ломоть свежеиспеченного хлеба и жадно впился в него зубами.

Блесмольский вор широко ухмыльнулся, обнажив лошадиные зубы. Ловко он обделал дельце: Сведьебонд ест краденый хлеб!

Теперь-то Угге мог точно сказать: лентяй этот Сведье, каких свет не видывал. Целый воз его собственного зерна лежал на сутарекульской мельнице, а он и не подумал раздобыть муки хотя бы на одну выпечку и сидел в лесу без хлеба. Его товарищу пришлось одному тащить для него его же собственный хлеб и пихать ему в рот. Сведьебонд даже не потрудился пособить ему, и Угге должен был один нести тяжелый мешок через весь лес. Не годится так поступать, когда живешь вместе. Он ведь попросил его однажды: «Пойдем, поможешь мне». А Сведье и не подумал. Этому лежебоке лень идти ночью в деревню, а по лесу гонять — это он может. С какой же стати Угге теперь еще должен упрашивать этого лентяя есть хлеб?

Сведье почти не слушал, да и отвечать не мог,— рот у него был набит хлебом, он все ел и ел.

— Однако ты не брезгаешь и краденым!— сказал Угге.— Сам теперь видишь — бывает кража справедливая, только нужно знать, у кого красть.

А Сведье все ел.

Блесмольский вор взял верх над Сведьебондом и наслаждался этой победой.

— Ты спрашивал про третий четверик. Так он у матушки Сигги.

Угге принес весточку от матушки Сигги. Она живет теперь и кормится у своей сестры в Хумлебеке. Харч у них скудный, так что и в этой лачуге тоже стали месить и раскатывать тесто, как только он принес муку. Хлеба в этом году уродилось мало, да и тот подгнил. Голод и стон стоят в деревне. Он встретил друзей, кото-

рых сначала даже не признал,— до того они отощали. Только на заду осталось чуть-чуть мяса. Когда от людей остается лишь кожа да кости, их нелегко отличить друг от друга — скелет-то у всех одинаков. Тут и лучшего друга не признаешь, разве только что он однорук, хром или горбат. И все-то было неладно в этот голодный год, все перемешалось и перепуталось. Чем только не пытается народ набить себе брюхо! Вчера нашли мертвую женщину в Гриммайерде. Бродяжку. Изо рта у нее торчала коровья кость, которой она подавилась.

Сведье наелся хлеба до отвала. Потом он подошел к мешку и погрузил руку в муку со Сведьегорда. Он просеивал ее между пальцами, снова и снова набирал полные пригоршни и опять просеивал. То была мука с его поля, из его зерна. Хлеб из этой муки насыщал не только тело, но и душу. Тут была частица того, что у него отняли, он вернул часть своего права.

— Угге! — сказал он, помедлив.— Кабы ты мог украсть обратно весь мой надел!

— Поможем твоему горю! — ухмыльнулся лесной вор.— Все по частям перетащим! — Теперь настал черед для Блесмольского вора.— Послушай-ка, Сведьебонд! В Сведьегорде годовалый боров ходит. К осени откармливали. Неужто ты берег добрую свинину для фохта господина Клевена и его челяди? Неужто станешь смотреть, как Борре, обжираясь свининой, измажет салом свое рыло, когда у тебя самого нет ни жиринки в котле? Неужто потерпишь, чтобы добро твое досталось господам и их прислужникам-ворюгам?

Сам бог велел украсть борова из Сведьегорда. Чует сердце Угге, что бог давно уже присмотрел этого подсвинка.

Но ведь живьем борова не украдешь. Нужно разведать, когда его заколют.

— Узнай и скажи мне! — только и вымолвил Сведье.

Кто тут вор, а кто нет? Два приятеля в землянке под поваленным дубом толкуют о краже, и один из них вор, который хочет обокрасть самого себя.

* * *

Было это октябрьским утром, в месяц воров, в голодный год.

В предрассветных сумерках за камнем, неподалеку от деревни, на лесной опушке, схоронились двое. Они

сидели скорчившись и внимательно вглядывались в сторону домов. Один из них, рослый белолицый парень со светло-русой бородой и синими, как море, глазами, был одет в черный армяк из овечьей шкуры. Другой, ростом пониже, с рыжими космами и рыжей бородой, был в сером овчинном армяке. Оба они дрожали от холода под предрассветным моросящим дождем.

Было это ранним утром в месяц убоя скота. В этом году к убойной скамье гнали тощую скотину с поджарыми ляжками, но по утрам по-прежнему слышалось, как в предсмертном страхе и трепете жалобно блеяли овцы, ревели коровы, душераздирающе визжали свиньи.

На пригорке у хлева, на расстоянии мушкетного выстрела от леса, возле убойной скамьи, стояли два батрака и шпарили борова. Время от времени их обволакивало густым паром, поднимавшимся над клокотавшим кипятком, который они черпали ковшами. Тут же стоял третий человек, который наблюдал за ними; на нем была широкополая шляпа, широкие штаны и сапоги с высокими голенищами. Он приглядывал за работниками и отгонял можжевеловой дубинкой снующих вокруг голодных кошек и собак. В котле, подвешенном над вырытой в земле ямой, на большом огне кипела вода. Шпарельщики скребли пальцами свиную кожу и отшвыривали щетину целыми горстями.

От крови, теплых, дымящихся кишок, кипящей воды и шпареной свиной шкуры поднималось и ползло над деревней облако пара.

Запах заползал в дома, двери отворялись, выглядывали бледные лица с заострившимися носами, ввалившимися блестящими голодными глазами. Колют борова в деревне — жирная свинина во рту, тающее, смачное сало в котле!

Жадными, тоскующими глазами глядели люди на пригорок возле хлева, на шпарельщиков и борова на убойной скамье, на человека, гонявшего дубинкой кошек и собак, потом с неохотой затворяли двери. Что толку стоять, глазеть и принюхиваться? Голодные собаки подбирались к убойной скамье, увертывались от ударов дубинки. Стоило человеку поднять палку, они начинали рычать и выть, но как только человек с палкой поворачивался к ним спиной, они снова приближались к скамье. Может быть, они надеялись, что им в конце кон-

цов посчастливится. Кошки были пугливее — они прижимались к земле, держась подальше от человека с палкой. Но они были начеку, выжидали, не спуская глаз с убойной скамьи. Из-за домов, из-за деревьев, из-за камней сверкали ядовито-зеленые искры кошачьих глаз.

А высоко на макушках елей за деревней сидели большие темные остроклювые птицы и молча, терпеливо дожидались своего часа.

Отовсюду — от людей и скота, от четвероногих и пернатых, от слуховых окошек и домов, от бревен и камней, от кустов и деревьев,— отовсюду ползли острое желание, томление, голод. Они обволакивали убойную скамью и лоснящуюся тушу борова, издающую запах паленой щетины. Колют борова в деревне — жирная свинина во рту, сало, тающее в глотке.

А за камнем, на опушке леса, схоронились двое.

И было это ранним утром в месяц убоя скота, и было то в месяц воров, в голодный год.

Стало светать, и предрассветный туман над землей поредел.

Сухие можжевеловые ветки вспыхнули в огне под кипящим котлом, и отблеск заиграл на лезвиях ножей. Две пары глаз на опушке внимательно следили за всем, что творилось возле убойной скамьи. У человека в сером армяке, видно, глаза были зорче:

— Собираются разделывать тушу.

— Тогда нам нельзя мешкать,— ответил человек в черном армяке.

— Фохт нас заметит.

— Он будет следить, чтобы батраки не отрезали кусок для себя.

На несколько мгновений все заволоклось клубами дыма. Порыв ветра донес до людей на опушке запах паленой щетины и шпареной свинины. Дерзкий старый цепной пес подкрался под защитой густого дыма к самой скамье. Не успел человек огреть его палкой, как он впился зубами в большой клубок кишок и побежал, волоча размотавшийся клубок по земле.

— Теперь хребтину режут,— сказал серый армяк.— Рубят тушу пополам.

— С половиной легче управиться.

— Твоя правда. Нечего ждать!

Серый армяк покинул свое убежище за камнем, а

товарищ остался. Он побежал, пригнувшись, вдоль изгороди, так, чтобы его не видно было из деревни. Добежав до хлева, он вдруг исчез. Человеку за камнем показалось, что тот влез в слуховое окно.

Батраки разрезали тушу вдоль спины и разрубили пополам. Жирная свинина лоснилась. Они собрались было разрезать борова на четыре части, как вдруг из хлева донесся страшный грохот и крик:

— Воры! Сюда! Помогите! Воры в хлеву!

Тут из хлева выбежал бык — то ли он сорвался с привязи, то ли его отвязали. Задрав хвост, бык помчался в яблоневый сад. И опять закричали:

— Скотину угоняют! Помогите!

Фохт что-то приказал батракам, и они тут же бросились бежать от скамьи к хлеву, не выпуская ножей из рук.

Сам фохт сделал несколько шагов, потом остановился возле перелаза; отсюда он мог быстрее догнать того, кто побежит из хлева.

Тогда человек в сером армяке вылез из того же слухового окошка, через которое проник в хлев. Пока Борре караулил у перелаза, стоя спиной к шпарне, он подбежал к убойной скамье, вскинул половину туши себе на спину и сломя голову кинулся к лесу. Но тут фохт обернулся и заорал. По привычке он схватился за пояс, забыв, что при нем нет пистоля. Тогда, подняв палку, он бросился вслед за серым армяком, созывая на помощь батраков. Крики раздались снова, но теперь это был другой голос:

— Воры! Держи его! Сюда-а-а!

Крикам фохта вторило эхо.

Теперь настал черед тому человеку, что сидел за камнем. Когда фохт побежал к лесу, тот покинул свое убежище, кинулся опрометью к убойной скамье и, взвалив на плечо оставшуюся половину туши, во весь дух пустился тем же путем обратно в лес.

Немного погодя батраки вышли из хлева и уставились на убойную скамью, вытаращив глаза, совсем уже сбитые с толку. Из хлева убежал только один бык, а ошпаренный и разрубленный боров исчез. И фохт тоже пропал. Чужих никого не было видно, а далеко в лесу слышался голос фохта — он звал их на помощь. Так и не поняв толком, что случилось, они рысцой потрусили к нему.

Теперь возле скамьи было пусто, никто не грозил палкой голодным кошкам и собакам, их собралась целая свора, кошки шипели, собаки лаяли. Больше их никто не гнал, и они могли драться всласть из-за требухи. Один против всех, и все против одного. Тот, кому удавалось урвать что-нибудь, спешил уединиться в кустах, за камнем, за углом, за межевым столбом. И вот наконец с верхушек деревьев слетели вороны. Они покрутились в воздухе и опустились на землю.

К тому времени, когда фохт, усталый и запыхавшийся, вернулся из лесу не солоно хлебавши, все уже было кончено. Когда занялся день, добыча была поделена до последнего копытца между людьми и животными.

Однако их все же узнали, тех двоих, что караулили на лесной опушке в это утро, в голодный год.

НОЧЬ ВЕРШИТ ПРАВОСУДИЕ

Тьма спустилась снова и окутала закабаленную деревню. Она заползала в дома и оставалась там с раннего вечера до позднего утра. Ни один человек не входил в дом или в сарай без горящей сосновой лучины. Тьма следовала за человеком по пятам, и ветер старательно задувал пламенник. Но вот пук лучины на стене догорал, огонь в очаге гас, и люди спешили улечься на солому, чтобы убежать от тьмы в сон. Утром они просыпались, а тьма все еще лежала у них на одеяле, стояла у изголовья. Тьма, эта огромная жадная пасть, пожирала людей, как маленькие дрожащие огоньки. Крошечное неровное пламя лучины не могло противиться огромной всепожирающей тьме. Она заглатывала людей и всю землю своей громадной волчьей пастью, и маленькие, жалкие огоньки догорали и гасли.

Тьма, милостивица злых сил и недобрых людей, воротилась на землю. Ей были рады все, кто держал в тайне свои поступки, кто боялся, как бы тайные мысли и дела не вышли на свет. Ей были рады все, кто держал в мыслях разбой и злодейство, все, кто хотел нанести урон недругам и отомстить за обиды, все, кому приходилось ходить потаенными тропами. Но тьма укрывала также и тех, кто сам хотел творить суд и расправу, кто сам вершил правосудие ночью, раз днем его нельзя бы-

ло добиться. Тьма приносила мучения и страх тому, кто ждал по ночам гостей из леса.

Тьма укрывала и тех, кто собирался на тайный сход, чтобы потолковать о своих бедах.

Один боялся тьмы, другому она была на руку. Под ее покровом ползла смута по Брендеболю. Страшные дела творились здесь, и не разгадать было, почему они творятся,— тьма покрывала все.

Одного крестьянина нашли поутру лежащим с перебитыми ногами в навозной яме на его же собственном дворе. Никто сам не бросится в навозную яму, никто не станет лежать там до утра по доброй воле. У крестьянина, лежавшего в яме, были переломаны оба бедра. Ему поломали ноги железным шкворнем. Чьи руки держали шкворень? Выйди ночью и крикни, спроси тьму — может, ей ведомо. Спроси старого филина, что сидел под елью в лесу,— может, он все видел и даст ответ. В барщинной деревне никто про то и слыхом не слыхал.

Зерно в закромах у брендебольских крестьян и дна не покрывало после того, как помещик забирал свою долю. Голодная зима стояла на пороге. Дней в зиме многое множество, а трапез и того больше. Недель в году много, а барщинных дней и того больше. Крестьяне ходили на барщину, строили господский дом с богатыми покоями.

Ведут на барщину мужиков под барабанный бой башмаков.

Но у бондов есть свой знак и свое слово: «Прокатим фохта!» Этот знак раздувает строптивость и непокорство, тоску по вольной жизни. Этот знак раздувает бунт, тлеющий в барщинной деревне. Этот знак объединяет всех тех, кто знает друг друга как свои пять пальцев, кто доверил друг другу свою жизнь и благоденствие. Ибо не во всех домах мог доверять теперь сосед соседу — появился в деревне барский прихвостень.

Он у них уже давно на примете: Матс Эллинг лебезил перед фохтом, был у него на побегушках, лизал ему зад. Люди видели, как он распивал пиво с фохтом на постоялом дворе в Бидалите. Тут уж все поняли, что он продажная душа и барский прихвостень. Он по доброй воле вызвался идти облавщиком на Сведьебонда. Матс хотел нажиться, получив деньги за шкуру своего же брата. Он все равно что мясная муха, сосущая кровь из

раны. Одно дело, когда тебя неволят, другое — самому вызываться. Одно дело идти по принуждению, чтобы спасти свою жизнь, другое — идти по доброй воле, чтобы соблюсти свою выгоду и прокормиться. Матс по своей охоте стал холуем и получил за это мзду — ему скостили половину барщинных дней. К тому же фохт высватал ему дочку старосты. У Матса была теперь невеста, и в приданое ему обещали вола на тринадцать четвертей.

Подлые дела творились в барщинном Брендеболе. Бог посылал удачу тому, кто старался подружиться с фохтом, кто ползал перед ним на брюхе. Тому, кто вызвался охотиться на своего же брата, достались невеста и откормленный рабочий вол. Одного барского прихвостня распознали в деревне, другой был на подозрении. Недоверчиво смотрели люди на того, кто отступился от своего слова и обещал отдать свою дочь за барского прихвостня. Этот человек уже не друг тем, кто знает товарищей как свои пять пальцев и у кого есть свое заветное слово: «Прокатим фохта!»

Не жить барским прихвостням в деревне, гласил закон, что был на устах у всех крестьян. Закон этот шел от предков. Барского прихвостня должно судить по этому закону, пусть получит сполна то, что заслужил.

Ночь была темной и долгой, много недобрых дел творилось в барщинной деревне. А мудрые старые женщины рассказывали о священных факелах, которые гонцы в былое время носили от деревни к деревне, из дома в дом. «Огонь принесли! Зажигай священный огонь!» И ликовали люди и зажигали новый огонь, и он горел в домах день и ночь. И теплился в очаге священный огонь, никогда не догорающий, и при свете его жили люди в согласии и единстве, в мире и покое. И пока горел этот огонь, людям не страшна была тьма.

Где светит теперь пламя священного огня? Никто больше не бежит по деревне со смоляным факелом в руках, никто не кричит под окнами: «Зажигай! Зажигай!» Или погас священный огонь на веки вечные? Или последние искры его задушены и землей засыпаны?

Так спрашивали друг друга мудрые женщины, на глазах у которых вырастали и гибли леса. Где горят они сейчас, священные огни?

* * *

Когда тьма сгущалась, крестьянин говорил жене: «Ступай спать одна, у меня нынче дело есть».

И в это самое время другой крестьянин говорил своей хозяйке: «Ложись спать без меня. Я нынче почивать не стану».

В одно и то же время такие же слова говорились в других домах Брендеболя. Жены ни о чем не спрашивали, а мужчины ничего не рассказывали,— не дай бог, доносчик стоит под окном, а кто промолчал, тот ничего не сказал.

Разными тропками выходят из дома крестьяне в темноту. Каждый обходит вокруг скотного двора, вокруг сарая, будто есть у него там дело, а потом незаметно возвращается и поворачивает в лес. Крадучись, идет крестьянин, а завидев во тьме односельчанина, пройдет мимо, будто и не заметил. Идут они разными тропками, что скотина протоптала в лесу. Когда же они выходят на большую лесную вырубку, становится ясно, что все тропки односельчан сошлись. Здесь на пожоге встретились все, кто сегодня ночью ушел из дома. Рог не трубил им сход, а они собрались. Староста не созывал их, а они взяли да собрались. Если рогу не звучать теперь громко и свободно над деревней, то шепот может передаваться из уст в уста. Слово, сказанное шепотом, может иметь такую же силу, как и громко сказанное. Шепот может звучать громче рога и созвать множество людей.

Крестьяне Брендеболя собрались на тайный сход в лесу. Здесь доносчику не спрятаться за углом, под окнами. Здесь некому подслушивать да подглядывать. Заяц, навострив уши, прижался к пеньку под березою, но он не знает про сход, да и к тому же он не прячется как соглядатай. Угрюмый старый филин спрятался неподалеку в еловых ветвях и слышит, о чем говорят на тайном сходе, но слух у него ослабел с годами, да и к тому же он не знает, стоит ли еще слушать.

Грозный, тяжелый гул катится над лесом. Глухой шорох в верхушках высоких деревьев предвещает ветер и непогоду.

Вдалеке стучит дятел по высохшему сосновому стволу.

Крестьяне уселись в круг на обгорелых пнях. Густой мрак окутывает их, но светло-русые окладистые бороды крестьян выделяются белыми пятнами. Они сидят, положив тяжелые заскорузлые руки на колени. Они сидят, согнув спину, опираясь на локти. Это сыны земли, они часто ходят согнувшись. Это землепашцы, за работой они наклоняются низко к груди матери-земли. Земля притягивает их к себе, метит их своей метой, своим родовым знаком. Родовой знак земли запечатлелся в их облике.

Свободные сыны земли не станут носить родовой знак другого господина, они собрались здесь поговорить о своих бедах. Сгорбленные спины, тяжелые руки на коленях, ноющие поясницы, пустые, урчащие желудки.

Это порабощенные люди, но не рабы, ибо в душе у них непокорство и недовольство. Рабская душа лишь у того, кто легко и охотно примиряется со своей судьбой. А они не смирились с новыми порядками в барщинной деревне. Они не хотят терпеть своих господ и хозяев, они остаются непокорными. Есть у них свой тайный знак: «Прокатим фохта!»

Девять односельчан собрались на тайное сборище, Не хватает трех. Один из них — барский прихвостень, другой на подозрении, обоим им нет больше места в общине. А третий — человек из леса. Это он собрал их воедино. Это он не убоялся смерти и указал им верный путь. Они поняли наконец, что его дело — это их дело, что им надо искупить свою измену. Человек из леса незримо с ними, он подбадривает их, несет им веру и утешение: «А хоть бы нас и того меньше было, все равно правда наша». Человек из леса шел посолонь и научил их: правда пребудет правдой!

Клас Бокк стоит на поваленном пне в кругу своих односельчан; змеистый шрам у него на шее алеет в темноте; крестьяне, сидящие на пнях, слушают его. Ничего хорошего от сословного собора, видно, не дождешься, говорит он, нечего дожидаться, что у помещиков отберут незаконное право взимать с них подати. Не похоже на то, что их избавят от помещичьего ярма. Их увещевали добиваться своих прав послушанием и покорностью. Но что толку от того, что они были послушными и покорными? А чего добились крестьянские выборные в Стокгольме? Было бы больше проку, если бы они остались дома и возили телеги с навозом. Не надоело

ли им быть послушными и сговорчивыми? Где это видано, чтоб можно было держать спину прямой, когда ходишь согнувшись? Кто сказал, что можно обороняться, кланяясь в пояс врагу? Кто сказал, что можно обороняться, не обороняясь?

Одобрительный гул голосов людей, сидящих на пнях посреди пожоги, сливается с тяжелым гулом леса. Они догадались, в кого метит оружейник. Кто давал им совет слушаться приказа помещика? Кто старается водить дружбу и с фохтом, и со своими односельчанами? О ком идет молва, что он господский холуй? Прошлой весной его выбрали в старосты, но нынче ночью нет его с ними на сходе. Человек этот из рода Стонге[1].

Клас Бокк продолжает:

— Во всех странах простой люд в кабале у помещиков. Только в нашем королевстве мы еще противимся заморскому рабству, только наше королевство еще держится. А нынче господа хотят и нас закабалить. Неужто мы станем по доброй воле гнуть спину на помещика, как присоветовал нам староста?

Эхо в лесу повторяет единодушный клич бондов. «Нет!!!» — вырывается из натруженных ожесточенных грудей. Заяц, что подслушивал под кустом, от страха еще теснее прижался к земле. Филин под елью навострил уши и стал всерьез прислушиваться к людским голосам, и тут он услышал такие слова, каких никак не ожидал:

— Добудем себе свободу!

— Вот бы пищалей и другого оружия поболе!

— Выкуем новое!

— Клас Бокк ковать умеет!

— Острых кос на копья хватит!

— Наточим топоры!

— Смастерим гвоздыри!

— Пропорет мужицкая пика барскую шкуру!

— Добудем себе свободу!

Крестьяне наперебой дают советы, вспоминают про оружие, которое верно служило им в былых сражениях. Тут уж выбирать не приходится. Помочь им может только блестящая твердая сталь. Многие еще не разучились ковать железные шипы для гвоздырей. Опять пришло время пустить в ход утреннюю звезду. Снова, как

---

[1] Род Стонге из прихода Стонгесмола вымер. *(Примеч. автора.)*

встарь, берется крестьянин за утреннюю звезду, к ее помощи он прибегал с отчаяния в тяжелые времена.

— Я умею мастерить гвоздыри!

Клас Бокк умеет изготовлять пищали. Бёрье Хенрикссон может насадить лезвия кос на древки пик, Симон Сиббессон выкует наконечники. Оружия хватит на всех!

Неподалеку под кустом дрожит заяц, а с еловых ветвей смотрит старый филин внимательно и строго. Кроны высоких деревьев тяжело и грозно дрожат под вечерним ветром, предвещая перемену погоды.

А Клас Бокк говорит: «Главная сила в единстве». Им, мол, надо держаться вместе, ведь все они братья, у них одни беды и горести, одни надежды и чаяния. Неужто они станут ждать, когда враг дозволит им обороняться? Кабы они с самого начала стояли как один, так им бы не пришлось мытариться. Надо немедля послать штафет, чтобы его передавали от общины к общине,— штафет соединит руки братьев, у которых одни беды и заботы. Штафет поможет им поддержать друг друга, защитить, укрепить силу духа.

Совет оружейника общине был таков: если ниоткуда не придет весть о штафете, то им самим надо будет послать его. И снова раздался дружный возглас, но на этот раз возглас был одобрительный:

— Пошлем штафет!

На тайном сходе в лесу община брендебольская порешила: быть начеку и втайне готовиться. Все они братья, они доверяют друг другу и свою жизнь, и доброе имя. А барского прихвостня они не потерпят в деревне. Когда он поселился у них в прошлом году, они приняли его как брата. Они не потерпят измены. Они собрались здесь, чтобы решить, какую ему положить плату.

— Всякому ясно, что он изменник! Он вызвался идти облавщиком на Сведье!

— Зад барам лижет!

— Не уйти от кары предателю!

— Знаем, как наказать изменника!

— Таков приговор прихвостню и подхалиму!

— Там ему и место, изменнику!

— Как постелил, так и спать будет!

Во мраке вынесли собравшиеся свой приговор. Так ночь вершила правосудие. Заяц, который сидел, при-

жавшись к пеньку, неподалеку, услышал приговор и громадными прыжками поскакал с перепугу во всю мочь. Филин на ели, выслушав ночной приговор, забился глубже в гущу еловых веток, сжался в комок и нахохлился в великом страхе.

Еще никто не зажигает священных огней, никто не бежит с ними от деревни к деревне, но утренняя звезда уже восходит; она светит во мраке крестьянам Брендеболя, и люди и звери содрогаются в страхе.

Разными тропками расходятся односельчане и по разным тропкам возвращаются домой. Никто не видел, как ушли, как воротились, никто не знает, где были.

* * *

Несколько дней спустя поутру нашли Матса Эллинга в навозной яме в его же собственной усадьбе. Оба бедра у него были перебиты, и сам он не мог выбраться из ямы. Никто по доброй воле не станет бросаться в смердящую навозную жижу, пусть даже в свою собственную, никто по доброй воле не станет ломать себе бедра. Чьи руки били его, чьи руки сбросили его в яму, знает только темная ночь; в закабаленной деревне никто об этом и слыхом не слыхал. Если бы спросили старого филина в лесу, он мог бы дать ответ. Он не спал и слышал, как ночь вершила правосудие, слышал, как изречены были страшные слова: «Навозная яма — вот место предателю. Вонь и гниль надо собирать в одно место, в одну кучу. Крестьянина, ставшего господским прихвостнем, надо бросить в его же собственное дерьмо, пусть лежит там и смердит. Эта пища в самый раз для жадной мясной мухи».

Но ведь Матс Эллинг должен идти под венец в первое новолуние будущего года. Матс будет стоять под венцом с Ботиллой Йонсдоттер в новогоднее новолуние; все счастливые приметы будут налицо, самое время для женитьбы. А теперь Матс лежит в постели, и вдова Анника Персдоттер варит снадобье из трав и смазывает ему перебитые ноги. Не годится новобрачному лежать в постели с перебитыми бедрами, а еще много дней пройдет, прежде чем Матс встанет на ноги.

Темнота окутала дома, темный лес подступил под самые окна, страшные дела творятся в Брендеболе.

У Ларса Борре в Сведьегорде караулят по ночам два батрака с мушкетами на взводе. Крикнет неясыть в яблоневом саду — фохт сразу же вскочит с постели и схватится за пистоль: в глазах у бондов одно вероломство, они то и дело шушукаются да сговариваются о чем-то, и никому не ведомо, что у них на уме. Тот, кто покалечил Матса, ходит тут же по деревне и живет где-то неподалеку. Злодеи ходят на свободе, и без пистоля нельзя ступить ни шагу. Вот беда-то, что этого смутьяна Сведье еще не поймали и другие идут по его стопам. Как на грех, мушкеты все еще висят у них на стенах. Крестьянам из барщинной деревни надо дозволить стрелять только горохом в нужнике.

Прошел по деревне шепот, достиг он и ушей фохта: «Кой-кому раскроят череп темной ночью».

Чей череп постигнет такая участь? Кто сей человек, у которого глаза однажды ночью заволокутся мутной пеленой смерти? Кто же тот человек, чью голову раскроит топор? Имени его не называли, но фохт знает, кто тот человек, знает, кто еще носит эту голову на плечах. Оттого и караулят два батрака у него по ночам. Стукнет ли плотник топором по стене — фохт вскакивает с постели; загудит ли ветер в стропилах — он вскакивает опять.

Шипя, ползет угроза из мрака: скоро раскроят кое-кому череп. Люди, что творят ночное правосудие, невидимы. Человек с топором схоронился за углом дома, нанес удар топором и сгинул во тьме. Кто это был? Железный шкворень, брошенный во тьме, переломил бедро. Кто это был? Ночной приговор может свершиться в любой час и в любом месте.

Человек, что живет в усадьбе Стонгегорд, поставил на дверь двойные запоры и засовы. По вечерам он проверяет, хорошо ли закрыты слуховые окна, плотно ли задвинута заслонка в дымовой трубе. Все щели и пазы в стенах он законопатил паклей, чтобы ведьма-домовица не смогла проникнуть в дом. Но когда он ложится в постель, то не может заснуть. Он лежит с открытыми глазами час за часом и беспокойно теребит соломинки из постели.

Тому, кто не делал худа, нечего бояться. Но в эти страшные времена нельзя ни на кого надеяться, нельзя довериться ни другу, ни соседу. А всему виной этот бонд из Сведьегорда,— его считали степенным хозяином, а он

стал бунтовщиком и подался в лес. Да еще связался с этим отпетым ворюгой Угге, вором Блесмольским. Эти два дружка пробрались в деревню и учинили грабеж. Сведье не постыдился ограбить двор, что прежде принадлежал ему самому. Глаза бы не глядели, как степенный крестьянин вовсе ополоумел, стал мошенником и вором. Эти лесные разбойники Угге и Сведье ничего не боятся. Не знаешь, к кому они теперь нагрянут. Потому-то и приходится проверять по вечерам дверные запоры и слуховые окна.

Крестьяне в деревне берут Сведье под защиту, говорят, что тот не вор, кто у самого себя крадет. Но раз Сведье сбежал со своей усадьбы, то теперь господин Клевен из Убеторпа — хозяин Сведьегорда со всем скотом, со всей животиной. Украденный боров — это тоже его собственность. Сведье украл борова у помещика, а кто украл, тот вор. Кто не согласен с этим, тот идет против правды и защищает кривду.

Теперь односельчане поносят Йона Стонге — зачем-де не отдает дочь за вора? Тяжкие обиды терпит он от бывших друзей и соседей.

За какие грехи выбрали его старостой в этом году? Он очутился между фохтом и общиной, между молотом и наковальней. Он желает жить в мире с фохтом и быть другом своим собратьям. А теперь фохт гневается за то, что он нарушил слово. Ведь он обещал, что крестьяне будут смирными и сговорчивыми. Он хотел потрафить и тем, и другим, хотел сделать лучше для общины, а теперь и фохт, и крестьяне винят его в измене. Теперь на него нападают с двух сторон: фохт с него глаз не спускает, наседает на него, и крестьяне его корят и винят в измене. Ведь он для пользы общины хотел угодить фохту и отдать дочь за Эллинга. Не могут они никак взять в толк, что человек разумный не станет гневить и задирать власть имущего. А теперь собратья винят его в злом умысле. Община его больше и слушать не хочет, крестьяне косятся на него со злобою, хулят и чернят на чем свет стоит. Черной неблагодарностью отплатили ему за то, что он уберег односельчан от насилия и кровопролития. Он хотел лишь защитить свое право, право всей общины, хоть таким путем, раз другого пути не было. Он остался верен клятве, которую они дали вместе. Он не раз уверял их в том, но они будто уши заткнули, не хотят слушать и бросают на него злобные взгляды, воз-

водят на него напраслину, говоря, что он изменил своему слову. Его нареченный зять лежит в постели с перебитыми ногами. Это брендебольские крестьяне покалечили его в отместку за Сведье. Но за обиды, нанесенные вору, лесному грабителю, мстить не положено. Злодеи метят и в того, кто обещал свою дочь Матсу в жены. Недаром Йон из Брендеболя поставил на дверь новые надежные замки.

Однако он все же встает среди ночи и выходит, крадучись, во двор — черви не дают ему покоя. Он избавляется от нескольких прожорливых тварей, но на смену им быстро плодятся новые. Глисты у него живучие, они множатся, подобно тому как растут и расползаются белые корни пырея. Никак не вырвать эту изнуряющую сорную траву из утробы. Он наедается досыта утром, днем и вечером, но не успевает наесться, как опять голоден; как жердь стал он, вовсе отощал. Еды у него вдосталь, больше, чем у любого крестьянина в деревне. Не сожрут ли его живьем эти воры, что сидят у него в брюхе?

Долго тянется ночь, темнота окутывает деревню; староста лежит с открытыми глазами и сучит веревку из постельной соломы — ждет гостей из лесу.

* * *

Ночь собирается вершить правосудие над злодеями, но не фохты, не дворовые и барские прихвостни — самые страшные враги брендебольским крестьянам. Кто послал фохта к ним в деревню, кто задушил их налогами, кто принудил их ходить на барщину в господское поместье? Кто отобрал у вольного тяглового крестьянина Сведье его родовой земельный надел? Из-за кого он теперь скитается без крова, как лесной разбойник и злодей? Кто откупил подати брендебольских крестьян и присвоил себе право распоряжаться их жизнью?

Это человек, которого они еще и в глаза не видели. Это человек, что дает о себе знать лишь указами да повелениями через фохтов, через их приспешников, через нарочных и гонцов, через облавщиков и слуг. Это господин, который не изволит показываться своим подданным собственной персоной. Он отдает им приказания чужими устами, бьет их чужими руками, заставляет чу-

жие ноги гоняться за ними по лесу. Он наставляет ружья и шпаги своих людей на непослушных. Этот человек владеет их душой и телом, а они его и в глаза не видели. Это их господин и хозяин, его милость обер-майор и камергер Бартольд Клевен, владелец Убеторпа, Скугснеса и Рамносы, иноземец, пришедший к ним из Неметчины.

Если брендебольские бонды хотят вернуть свои права, им нужно добраться до этого человека. Это он волен в их животе и смерти, в их делах и помыслах, это он властен им приказывать, как повернуться, как протянуть руку, куда ступить ногой, когда говорить и когда молчать. Это он хочет заткнуть им рты, чтоб они не говорили крамольных речей. Это он гоняет их на барщину ни свет ни заря и отпускает домой затемно. Это он заставляет их гнуть спины на полях и лугах. Это он велит им возводить хоромы. Это из-за него поднимаются они до света с соломы; из-за него болят у них натруженные поясницы, спины и плечи; из-за него валятся они замертво на постельную солому поздним вечером.

Господин Клевен за несколько лет прибрал к рукам все деревни в округе, одну за другой: Росток, Хеллашё, Гриммайерде, Рюггаму и Брендеболь. Во всех этих деревнях живет много бондов с семьями, и все они теперь у него под началом. Все они барщинные помещика Клевена. Этот неведомый господин волен в животе и смерти всех этих людей. Под его началом живут они все на белом свете: крестьяне со своими домочадцами, мужчины и женщины, а с ними вся четвероногая скотина. Все эти живые существа, люди и животные, отмечены невидимым родовым знаком своего господина. Лошади господина Клевена! Волы господина Клевена! Овцы господина Клевена! Козы господина Клевена! Крестьяне господина Клевена! У скота и у людей один владелец и хозяин. Сами по себе крестьяне господина Клевена ничего не значат, это хозяин дает им свое имя. Скотина не знает имени своего владельца, но люди его знают. Это имя они твердят денно и нощно, оно неотступно с ними, ибо оно начертано в их сердцах раскаленными жгучими письменами.

Нет, не вольные люди, не сами себе хозяева! Они собственность своего господина. Клеймо господина и хозяина жжет их огнем. Они не в силах больше терпеть

этот родовой знак, прилипший к их коже, они проклинают его, проклинают имя своего хозяина.

Во всех этих деревнях повторяют его имя — в Ростоке и Хеллашё, в Гриммайерде, Рюггаму и Брендеболе; они называют это имя вслух с руганью и проклятиями, называют его про себя, в потаенных обиталищах мысли. Клевен! Это имя редко произносят без проклятий, — для них это самое ненавистное имя на земле. Клевен! Это имя всегда произносят голосом, дрожащим от гнева. Клевен! Это имя у них на уме, когда крестьяне справляют нужду и повторяют свой девиз: «Прокатим фохта!»

В недосягаемой глубине души живут у них мятеж и ненависть непокоренных.

В глубине души борются они и проклинают своего господина, чужеземца, его милость господина обер-майора Бартольда Клевена.

Если брендебольские крестьяне хотят вершить ночное правосудие, не с фохтами и барскими прихвостнями надо им расправляться, а добраться до настоящего виновника. Но о нем они только слышали. Ни разу не доводилось им видеть его воочию. Их господин является им только в образе фохтов да их наемников. До него не достанешь ни топором, ни железом, ни сталью. И потому выносят они ночной приговор тем, кого он посылает к ним вместо себя. Клеймо господина жжет помещичьих крестьян.

«Но мы добудем себе свободу!»

Брендебольские крестьяне собираются на тайные сходы, чтобы потолковать о своих бедах. Никто не видит, как уходят из дома, никто не видит, как возвращаются, никто не знает, где были. Сгибаясь над пашней, они поворачивают друг к другу головы и говорят:

— Добудем себе свободу!

И земля, которую они топчут, слышит их слова и прячет эти слова глубоко в своем огромном сердце. Земля, что лежит у них под ногами, с ними заодно, она их не выдаст. Они могут без страха поверять ей свои самые сокровенные думы. Они ей верны и преданы, и она им платит тем же. Ведь это крестьяне возделывают ее и поливают своим потом, и только крестьяне должны безраздельно владеть ею, ибо она тоже владеет ими и отмечает их своим родовым знаком. Это сыны земли, она им строгая и любезная мать. Она вскармливает их

своей грудью и сама она пьет не только небесную росу, но и ту росу, что падает с их натруженных тел. Без этой влаги земле не обойтись, ибо в ней любовь людская и жертва матери-земле.

Но ей не нужны объятия закабаленных людей, она не хочет пить пот рабов. Земля хочет носить лишь тех, кто по доброй воле любит и холит ее, кто свободно склоняется к ней, приблизив лицо к ее груди, чтобы взять ее и владеть ею.

Земля хочет носить на себе свободных людей, впитывать благородную росу, что падает со лба свободного человека.

БЕЗУХИЙ ДЕРЖИТ СВОЕ СЛОВО

Без соли, пороха и пуль в лесу не проживешь. У двоих, что жили в землянке под поваленным дубом, была жирная свинина, а соли не было. Угге варил полные котлы свинины,— бог послал им удачу, бог уготовал им этого подсвинка, но солить свинину им было нечем. Угге знал, что они пропадут, если будут есть без соли. Кровь у них почернеет, и сок в теле высохнет, а без соку пропадет скоро и сам человек. Пороховница и киса у Сведье опустели. Три вещи нужны им были позарез: соль, порох и пули.

У трактирщика Даниэля в Бидалите этого добра было вдоволь. Сведье достал серебряные ложки, спрятанные возле его шалаша в Волчьем Логове, и показал их Угге:

— У меня есть кое-какое добро на мену с трактирщиком.

— Даниэль мне друг,— сказал Угге.— Только зачем тебе покупать припасы, когда я могу их украсть?

— Друга обокрасть хочешь?

— Даниэль облапошил меня в прошлый раз. Теперь мой черед. Мы с ним старые друзья.

— А я выменяю серебро на соль и свинец.

Лесной вор взял ложки и взвесил их на руке с видом заправского менялы. Рука у него не хуже безмена могла определить вес серебра:

— Цена им три далера серебром. Купи на две ложки.

Сведье хотел, чтобы мена была честная, и решил идти в бидалитский трактир среди бела дня. Дорога была

опасная — ведь не знаешь, кого придется повстречать, — но дело было верное: Даниэль не откажет, ложки-то некраденые. Сведье хотел отправиться один, но Угге собрался идти вместе с ним: если Сведье пойдет один, трактирщик надует его непременно, да к тому же у него было важное дело до бердника Габриэля в Кальваму. И места ему были ведомы, где можно укрыться, если наткнешься на людей ленсмана или Клевена.

Без соли, пороха и пуль не обойтись; и вот однажды утром они отправились в этот опасный путь. Лесные жители шли коровьими тропами, избегая больших дорог; заслышав людские голоса, они, будто лисы, бросались в кусты. Так дошли они до перекрестка в Бидалите, никого нежеланного не повстречав.

Здесь скрещивались две дороги: дорога на север, к Экеберге и Ленховде, и дорога на юг, к Виссефьерде и датской границе. Когда-то в старину по этой дороге гнали скот в Блекинг, и погонщики волов останавливались передохнуть на бидалитском постоялом дворе. Поблизости, на лугу, где отдыхал скот, земля была когда-то утоптана копытами, как ярмарочная горушка, а в яме за каменоломней возле перекрестка гнили кости гуртоправов, которые, напившись до беспамятства, находили свою смерть в потасовках на постоялом дворе.

Угге побился об заклад, что не даст трактирщику Даниэлю надуть их в сделке. Он взял ложки и пошел за припасами, а Сведье остался ждать его на выгоне, на расстоянии ружейного выстрела от дома. Постоялый двор помещался в длинном сером строении, укрывшемся в тени больших вязов.

Перед домом у проселочной дороги был врыт столб, а в него были вбиты толстые железные кольца. К этим кольцам проезжие привязывали лошадей, когда останавливались перекусить на постоялом дворе в Бидалите. Сейчас там стояла на привязи только одна лошадь. Это была старая колченогая кляча; она стояла возле дома, сонно понурясь и задрав заднюю ногу. Глядя на эту облезлую, отощалую животину, Сведье дивился, кто же ее хозяин и как он не стыдится ездить на этаком иноходце.

Прошло немного времени, и Угге вышел из дома; сделка состоялась: Даниэль дал за серебро полгарнца соли, четверик пороха и четыре фунта свинца. Пока Даниэль собирает для них припасы, сказал Угге, они могут

обождать в трактире, выпить пива и вина. В этом доме их никто не выдаст,— там сиживали многие из тех, на кого мундир ленсмана нагоняет страх.

Сведье колебался. Он сказал:

— В трактире сидит человек, который привязал у ворот облезлого, паршивого одра. С этим человеком, чует мое сердце, лучше не встречаться.

— Я узнал лошадь,— сказал Угге.— Этого человека тебе нечего бояться.

Они вошли в трактир. Сведье не выпускал из рук мушкета. В трактире был только один гость. На скамье в дальнем углу, облокотившись на стол, сидел рослый, статный человек. Он был в черной сермяжной куртке. Голову его покрывал черный кожаный капюшон.

Гости из леса опустились на скамью возле незнакомца. Его глаза, синие, как ягоды терновника, равнодушно глянули на них, он не промолвил ни слова. Это был человек, которому никто не протягивал руки и который сам никому руки не подавал. Чутье не подвело Сведье, когда он увидел лошадь возле дома. Он уже раскаивался, что зашел сюда.

— Ханса из Ленховды узнают по капюшону,— с ухмылкой приветствовал Угге незнакомца.

Человек еще раз взглянул на лесного вора и, видимо, узнал его; потом он принялся рассматривать Сведье. Но он не проронил ни слова и не шелохнулся. Сведье было вовсе не лестно сидеть за одним столом с палачом. У Ханса не было при себе другого оружия, кроме двух ножей за поясом — длинного и короткого. Один из ножей был почти с локоть длиной. Сведьебонд зажал ружье коленями, а правую руку держал на поясе.

На столе перед Хансом из Ленховды стояла пустая пивная кружка; он крикнул трактирщику, чтобы тот подал ему еще пива. Даниэль ввалился в горницу, покачиваясь на кривых ногах. Один глаз был у него слепой и полузакрытый, а другим, зрячим, он испытующе смотрел на Сведье, не скрывая любопытства. Лицо у него было безбородое, и щеки лоснились, как кожа у только что ошпаренной жирной свиньи. Угге попросил Даниэля принести ему и Сведье по чарке вина.

Стоявший в трактире кислый запах пива, приправленный крепким запахом пряностей, бил в нос. Щербатые половицы были пятнистыми и полосатыми от пролитой за много лет жидкости, от них шел смрад. Высох-

шие пятна на полу пестрели всеми цветами, кое-где они были красные, как сок раздавленной клюквы. Но пятна эти были не от красного сока ягод. Даниэль принес пиво и вино и пожелал гостям пить на доброе здравие.

— Спасибо вам, добрые люди, что не брезгаете моим пивом!

Тут трактирщик рассказал, как его вчера обидели. Заявился в трактир какой-то дворянин. Он выплеснул пиво из кружки на пол да еще и хозяину в лицо плюнул. Гость потребовал ростокского пива и угрожал побоями за то, что на постоялом дворе не отвели горницы для дворян и ему приходится сидеть со всякой чернью, с крестьянами и бродягами. Этот дворянин велел Даниэлю впредь отвести горницу для дворян, горницу для прочего чистого народа и горницу для подлого люда, как теперь заведено на постоялых дворах. А откуда Даниэлю знать про все новые указы и законы, придуманные господами?

— Однако ты знаешь, что на милю в округе никто, кроме тебя, не имеет права торговать вином и пивом? — сказал Угге.

— На две мили! — с живостью поправил Даниэль.

— То-то и оно. Коснись тебя, так ты в законах дока!

Даниэль вышел. Гости пили молча, каждый сам по себе. После каждого большого глотка Ханс из Ленхсвды оттопыривал толстые, распухшие губы, между которыми виднелись острые щучьи зубы. Когда он пил, в животе у него слышалось бульканье.

Заплечных дел мастер был уже навеселе. Глаза у него блестели, белки покрылись красными прожилками, челюсти двигались, будто он что-то жевал.

Он не успел вступить в разговор с новыми гостями, как Угге сказал, что с Хансом они не виделись целых три месяца. Но зла друг на друга они не держат. Каждый из них делает свое дело и кормится как может. Так что им делить нечего.

Казалось, что Ханс из Ленховды открывает рот только для того, чтобы отпивать из кружки, но тут он пробормотал, точно про себя:

— Лесные бродяги пожаловали в деревню!

Угге говорил Сведье, что палач вроде бы был ему другом, но из слов Ханса этого не было видно.

Ханс из Ленховды пыхтел, живот у него пучило от пива. После каждого глотка он слизывал пивную пену

длинным, мясистым, багровым языком, который еле поворачивался во рту; язык у него скользил между зубами, точно рыба с ободранной кожей. Кожаный капюшон плотно облегал его голову.

Сведье пытался представить себе то место, где отрезаны уши. Он сидел между Угге и Хансом из Ленховды и чувствовал, что палач украдкой смотрит на него.

Заплечных дел мастер потребовал еще пива. Потом он повернулся к Сведье:

— Ты не беглый ли крестьянин из Брендеболя?

— Я брендебольский тягловый крестьянин. Убеторпский помещик согнал меня с моего двора.

— А я был тягловым крестьянином в Ленховде. Меня судьи согнали с моего двора.

Ханс нахмурился, словно туча.

Он убил одного шельму, своего недруга, обороняясь в драке, продолжал свой рассказ палач, тинг потребовал его голову и не взял взамен выкупа в сто бочек ржи для бедных. Почему они не взяли выкупа? Двести бедняков могла спасти эта рожь от смерти в голодную зиму. Если б он остался жить, так и голодные выжили бы. Но тинг порешил, что его надо повесить, а бедняков оставить умирать с голоду без помощи. Людское правосудие не потерпит, чтобы человек остался жить. Вешай, руби голову, мори голодом! Ему обещали жизнь, если он согласится помогать правосудию вешать и рубить головы! Ему довелось убить человека обороняясь, и потому ему нельзя было сохранить жизнь, если он и впредь не будет убивать. Откажешься душить людей — сам умрешь, согласишься — заслужишь право жить. Он пошел на эту сделку и взялся за катово ремесло. Он не хотел помирать и во цвете юности гнить на виселице, как падаль. Дьявола он не боялся, но хотел прожить на земле отпущенное ему время.

Ханс из Ленховды разговорился. Даниэль принес ему еще пива.

— Тебе неплохо заплатили, Ханс! — пробормотал Угге.— Лишился ушей, зато шея цела.

— Заткни глотку! — прорычал вдруг палач.— Знаешь ли ты, какова эта плата?

— Знаю, что без ушей человеку можно обойтись, а вот без шеи никак нельзя.

— Молчи, Блесмольский вор! Почему меня больше чураются, чем тебя? Там, где тебе дверь откроют, пере-

до мной закроют. Ведь ты вор. А я сроду не крал. Я человек честный.

Огонь зависти вспыхнул в нем. На щеках заходили желваки. Сведье вино тоже ударило в голову, но он решил уйти отсюда, даже если Угге останется. Заплечных дел мастер не спускал с него глаз, и Сведье это было не по душе. Ему казалось, что палач смотрит на его уши.

Сведье держал правую руку поближе к ножу, заткнутому за пояс, а левой поднимал кружку с пивом.

Палач продолжал говорить глухим голосом. Почему люди его сторонятся? Он исполнял для них решения закона и правосудия, его принудили к этому, надо же ему было спасать свою жизнь. Никто из них не отказался бы от этой работы и не согласился бы принять смерть. Так отчего же они его сторонятся? Едет он верхом — прохожие и проезжие сворачивают с дороги, в дом зайдет — там становится тихо, как в могиле.

Всякий, кто его знает, не даст ему по доброй воле приюта в своем доме. Отчего они сторонятся его? Он лишал жизни людей и хоронил повешенных и казненных, но к тому его принуждало людское правосудие, которому он служил. Это он за них выполнял дело, которое они сами делать не отважились. Разве не должны они уважать и почитать человека, который храбрее их? Но ведь трусы храбрых терпеть не могут.

Он человек храбрый, он приводит в исполнение людские законы и приговоры, и за это его же бесчестят. Но позор не ему, а хозяину его — правосудию, которому он служит неволей. Люди бесчестят сами себя и свое правосудие тем, что сторонятся его. Всякий сброд указывает на него пальцем: вот он, безухий! А кто украл у него уши? Они сами — окаянные воры, те, что тычут в него пальцами. Отчего же не показывают на вора, почему не срамят виноватого? Да будут прокляты во веки веков человеческие законы и суд человеческий! Из-за них страдает безвинный, тот, кто был честным бондом в Ленховде.

Безухий осушил еще одну кружку пива, шипучая пена потекла у него по бороде. Глаза у Ханса из Ленховды налились кровью. Людям головы рубить, зарывать человечину — не для того он родился на свет. Чтоб все дьяволы преисподней побрали уездных судей! Зарыть бы их в землю живьем!

— Поговаривают, что ты лентяй, Ханс,— сказал Угге,— что тебе лень закапывать казненных как положено.

— А ты не бойся! — отвечал Ханс из Ленховды.— Тебя-то я зарою глубоко.

— Скор же ты на посулы.

— Слово свое сдержу. Никто не посмеет сказать, что Ханс из Ленховды не сдержал слова.

— А ведь с Густавом из Блесхульта, которого повесили нынешней весной, ты обошелся не по совести,— сказал Угге укоризненно.— Ходила молва, что ты поленился зарыть его поглубже. Вокруг разило мертвечиной. Скотина мычала, проходя мимо того места, а собаки да свиньи скребли и рыли землю. Толкуют, что они все-таки вырыли Густава и сожрали его, разнесчастного. Тому, кто обрел вечный покой в песьем или свинячьем брюхе, уж никогда не восстать из мертвых, он не предстанет праведником на страшном суде перед господом богом.

Такой поступок Угге весьма порицал, ибо Густав из Блесхульта был ему друг. Негоже заплечному лениться и тем самым лишать людей жизни вечной и вечного блаженства. Надо глубже рыть яму, даже если земля сильно промерзла. Он, Угге, не хочет, чтоб его вырыли поганые твари, не хочет угодить прямехонько в ад из-за того, что какой-то лентяй не удосужился выкопать яму на локоть глубже.

— Тебя-то уж я закопаю глубоко! — сказал палач.— Не печалься. Слово тебе даю. А у Ханса из Ленховды слово крепко.

Говоря с Угге, человек в черном капюшоне не спускал глаз со Сведье, будто хотел завести с ним беседу. В его иссиня-черных глазах загорелось тоскливое и давнее желание, которое он уже не чаял осуществить. Только человек человеку радость и утешение, и потому Ханс из Ленховды искал себе ровню. Сведье было не по себе оттого, что тот нагло глядел на него в упор.

— Сведьебонд, — сказал вдруг палач, — отчего ты держишь кружку левой рукой, когда пьешь?

— У правой есть дела поважнее.

— Только не тогда, когда пьешь с братом.

Но Сведье не снимал руки с рукоятки ножа, заткнутого за пояс. Ханс из Ленховды потянулся к нему с кружкой.

— Мы с тобой братья, оба мы люди честные. Давай выпьем.

Но Сведье и не притронулся к своей кружке.

— Брезгаешь, Сведьебонд?

— Не стану я пить с тобой.

— Стало быть, отказываешься?

Ханс из Ленховды вскочил так резко, что чуть не опрокинул стол. Сведье тоже встал и обратился к Угге:

— Мне тут больше делать нечего. Я пошел.

Голос палача зазвучал по-иному, глаза загорелись:

— Ты отказался пить со мной, Сведьебонд! Чем я хуже тебя?

— Ты безухий. За жизнь честь продал.

— Ты винишь меня в бесчестии?

— Зла на тебя я не держу... Мне пора идти.

Сведье нашарил под скамьей мушкет. Ханс из Ленховды, подняв кружку пива левой рукой, осушил ее и осторожно поставил на стол. Правая рука его нащупывала нож.

— Полно вам, уймитесь! — увещевал их Угге.

— Ты думаешь, Ханс из Ленховды позволит всяким ворюгам да лесным бродягам корить его тем, что у него нет ушей?

— Это я-то вор?! — На лбу у Сведье выступили красные пятна.

— Ты украл борова в Брендеболе.

— Не надо худых слов, люди добрые,— вмешался Угге.— Садитесь-ка оба на лавку.

— Ты еще чванишься! — крикнул Ханс.— Тебя бы принудить к такой сделке, на какую я согласился.

— Лучше быть беглым, чем безухим.

— Отчего же ты не безухий? Ты крал, а я нет. Твой грех тяжелее моего. Отчего же ты не безухий, Сведьебонд?

— Потому что я не продавал своей чести.

— А вот мы с тобой сравняемся.

Заплечный вынул свой длинный нож и замахнулся, примериваясь к левому уху Сведье. Тот успел отклонить голову, и нож, скользнув мимо уха, полоснул его по щеке. Острие ножа воткнулось в щеку на полвершка.

Сведье схватился за щеку. Крови налилась целая пригоршня.

— Нож у тебя затупился, Ханс,— сказал он.

Кровь хлестала из раны и капала на пол.

— Быть тебе все равно без ушей, Сведьебонд! — пробормотал Ханс из Ленховды.— Равными станем с тобой!

Он снова поднял руку, но теперь Сведье успел выхватить свой нож и ударил сам. Палач отдернул руку. Нож Сведье порвал ему рукав кафтана. Удар был отбит.

Угге встал между ними; в горницу вбежал перепуганный Даниэль:

— Только не проливайте крови, гости дорогие!

— Уши лесному вору отрежу! Не придется ему больше похваляться своей честью.

Но Даниэль отвел палача в сторону, что-то сказал ему доверительно, утихомирил его. Палач неохотно заткнул нож за пояс.

Сведье и Угге вышли из дома. Когда они дошли до выгона, Угге сказал, что припасы им приготовлены, Сведье может отправляться с ними один, сам же Угге придет позднее — у него есть дело к берднику Габриэлю.

Сведье взял мешки и четверик пороха и исчез в лесу. Возвращался он в землянку извилистыми коровьими тропами, оставляя на брусничнике красные пятна,— из раны на щеке капала кровь. Но уши его были целы и невредимы.

* * *

Даниэль-трактирщик вытирает кровь на полу. Ханс из Ленховды смотрит в слуховое окно вслед человеку, исчезнувшему в лесу. Теперь он его не забудет. Этот человек отмечен ножом палача.

Ненавидит он беглого оброчного крестьянина Рагнара Сведье из Брендеболя. Всех ненавидит, кому не отрезали уши!

Да будет Даниэль свидетелем, говорит палач, он хочет принести клятву. Когда Сведьебонда схватят на месте преступления и станут живьем закапывать в землю, он сначала уважит Ханса и выпьет с ним пива. Волей-неволей придется ему выпить с Хансом из Ленховды. Ханс сдержит свое обещание: придется когда-нибудь Сведьебонду уважить его.

Угге снова вошел в трактир. Он ухмылялся и обеими руками прикрывал уши:

— Боюсь твоего ножа, Ханс.

Но заплечных дел мастер вложил свой нож в ножны на поясе. Даниэль налил ему еще пива. Глаза палача заблестели еще ярче.

Помолчав немного, он говорит:

— Подавай мне бабу!

— Кто ж тебе не велит? — отвечает Угге.

— А что, Карин Ярочка дома, у отца с матерью?

Даниэль говорит, что бердникова дочка должна быть дома, у своего отца. Тогда палач решает тут же отправиться к Габриэлю из Кальваму.

— Я пойду с тобой! — вызывается Угге.— У меня есть дело до Габриэля.

Даниэль получает деньги за угощение, он вовсе не печалится, что гости уходят,— по правде сказать, он терпеть не может этого сброда. Колченогого одра Ханс не отвязывает, он остается стоять у трактира привязанный к железному кольцу и дремлет, закрыв глаза и задрав заднюю ногу. Угге и палач идут в Кальваму напрямик по тропинке через пастбище. Человек в черном капюшоне говорит, что его потянуло на бабу. С молодой дочкой бердника он уже спал однажды. Когда ему велели посадить ее в колодки за блуд, он взял ее на ночь к себе домой и спал с ней. Ему стало жаль ее — такой молодой да слабенькой не сладко сидеть в колодках. Теперь члены церковной шестерки сжалились над ней и избавили ее по бедности от пени. Пусть себе промышляет блудом, раз ей приходится кормить стариков родителей, лишь бы раздоров не затевала. Не будь ее, родители давно бы померли с голоду. Однако впредь ему не велели самовольно снимать с нее колодки.

Лачуга бердника Габриэля стояла в березовой роще, на расстоянии мушкетного выстрела от проселочной дороги. Она была похожа на погреб, врытый в небольшой холмик, а передняя стена была сложена из бревен; входная дверь висела на толстых ивовых прутьях.

Палач вошел первым, Угге шел позади, в нескольких шагах от него. Когда дверь отворилась, сухие прутья застонали и заскрипели, будто сетуя на то, что их принудили впустить этих людей.

Стало смеркаться, а в землянку дневной свет проникал лишь через деревянный дымоход в потолке. Вошед-

шие насилу могли различить обитателей этого жилища. Земляной пол в горнице был твердый и черный, затхлый воздух отдавал кислятиной. В дальнем углу землянки под лоскутным одеялом лежали хворый Габриэль и его слепая жена. Лица их были бледно-желтые, словно побеги травы, придавленные камнями; их едва можно было различить в темноте. Лоскутное одеяло облегало их тщедушные тела.

Дочка бердника сидела возле очага и подбрасывала в огонь под котлом тоненькие полешки. Карин Ярочка была из себя небольшая и тонкая станом. На ней было срамное платье — один рукав красный, другой черный. Но в темноте их цвет было не различить. Ханс из Ленховды даже не глянул в ту сторону, где лежали отец с матерью, а направился прямо к дочери, до которой у него было дело.

Угге подошел к берднику и что-то шепнул ему. Габриэль узнал его и просиял от радости. Но, увидев черный капюшон другого гостя, он бросил на него робкий и боязливый взгляд:

— Неужто Карин опять забьют в колодки?

— Не бойся, не о колодках речь.

Габриэль подмигнул Угге и показал на лежащую с ним рядом жену. Угге понял. Жена бердника лежала, уставясь неподвижным взглядом в потолок. Ее тощая шея торчала из-под лоскутного одеяла, как торчит из земли белая ветка с ободранной корой. Вокруг нее был мрак. Она с тревогой спросила о чем-то у мужа, но тот успокоил ее:

— Это Угге, наш друг.

— А разве никто больше не заходил? — захныкала она.

— Нету чужих никого.

Угге подтвердил слова Габриэля. Кроме него, сказал он, в горнице чужих нет. Но слепая стояла на своем: она слышала, как по полу ступал еще кто-то, и шаги эти были тяжелые.

Габриэль приподнял голову с подушки; они лежали полдня, чтобы хоть немного набраться сил, на ногах им держаться было невмочь. Муку, которую им принес Угге, они доели, и вот уже несколько дней у них не было во рту ни крошки. Карин, их милая дочка, нашла вчера дохлую ворону, ощипала ее и сварила. От этого мяса их только мутит и в животе боли. Может, им в

кровь попал яд дохлой вороны? Что делать, сунешь в котел и ворону, коли нечего есть.

А теперь Карин варила вороньи ноги, чтобы хоть какую-то малость положить в рот нынче вечером.

Заплечный говорил с Карин возле очага. Слепая услышала его голос и сказала:

— Тут есть еще кто-то. Я его слышу.

— Лежи себе! — сказал Габриэль.— Не бойся.

— Почему ты обманул меня, сказал, что тут нет никого?

Видя, что палач толкует с Карин и не смотрит на них, Угге вытащил из-за пазухи увесистый кожаный кошель. Потом он шепнул Габриэлю еле слышно:

— Даниэль продал серебряный кубок Класа Бокка. Вот тебе четвертая часть за то, что ты прятал.

Глаза бердника загорелись.

— Ты даешь мне четвертую часть? — Он зашептал что-то горячо, потом схватил кошель и быстро спрятал его под одеяло.— Господь воздаст тебе, Угге!

Бердник запустил скрюченные пальцы в кошель, набрал пригоршню серебра. Деньги! Да серебряные! Добрые серебряные марки! Его тщедушное тело била дрожь от радости: в доме завелись денежки!

Он вложил кошель в руки слепой, чтобы она тоже пощупала его, и прошептал:

— На-ка, подержи! Мне дали четвертую часть!

Рука слепой ухватила кошель, но глаза ее оставались неподвижными, устремленными вверх. Она не стала перебирать монеты. Вокруг нее был мрак. Когда бердник решил, что она уже вдоволь натешилась деньгами, он взял кошелек назад и спрятал его под одеялом, поближе к сердцу.

— А сегодня нечего спрятать, Угге? — шепнул он.

— Сегодня нет ничего. Я еще приду к тебе.

— Да кто же тот, другой-то? — спросила слепая.

Ханс из Ленховды сидел у очага, беседуя с молодой Карин.

— Ягодка ты моя! — сказал он, обняв ее стан.

Карин Ярочка сидела, молча выжидая. Щеки ее слегка раскраснелись от жара в очаге. Лиф платья облегал ее юную, упругую грудь. Один рукав ее платья был черный, другой — красный: то были цвета печали и радости. Они шли молодой Карин. Она послушно отвечала, когда палач обращался к ней.

— Помнишь ту ночь, когда я снял с тебя колодки?

Она отдернула левую руку, покрытую красной тканью. Рука в черном рукаве безжизненно лежала у нее на коленях.

То была радость, которую дарила людям шлюха, то была печаль, что доставалась на ее долю.

Глаза у Карин Ярочки блестели, руки ее горели огнем, но это не был огонь желания.

— Вот что, ягодка: сегодня ты пойдешь со мной.

Тут он встал, и бердникова дочка пошла за ним из землянки. Сухие ивовые прутья заныли и застонали, будто сетуя, что им приходится выпускать бердникову Карин с Хансом из Ленховды.

Они направились в рощу за домом, где стояли березы с голыми ветвями. Там они остановились и огляделись.

— Осенняя листва на земле мокрая и холодная,— сказала Карин.

— У тебя тело молодое. Согреет! — ответил Ханс.

Как только заплечных дел мастер вышел из землянки, лесной вор и его пособник осмелились говорить громче. Габриэль опять вынул кошель и пересчитал деньги.

Слепая сказала:

— Кто это сейчас вышел?

— Это наша Карин пошла в лес за дровами,— ответил бердник.

— А кто пошел с нею?

— Успокойся, матушка! С нею и с нами господь бог наш ныне, присно и во веки веков,— ответил Габриэль.

* * *

Немного погодя Ханс и бердникова Карин возвращались из рощи. Осенняя земля была холодна, но руки молодой женщины горели огнем. По дороге они вели разговор. Палач говорил громко, голос Карин звучал просительно:

— Так вы ничего и не дадите мне, Ханс?

— Я привык держать свое слово, а тебе я ничего не обещал.

— Может, вы дадите хоть одну марку?

— Нет, ягодка моя.

Палач еще не остыл от объятий, глаза его покрылись красными прожилками и влажно блестели.

— Однажды я снял с тебя на ночь колодки. Чего тебе еще надо, чертова шлюха?

— Хоть одну денежку!

— Нет, моя ягодка!

— За что ж вы меня обижаете?

— Молчи! — рявкнул Ханс на Карин.— Молодая, а клянчишь, как старая шлюха. Дать тебе пинка в зад — это я могу!

Карин Ярочка заплакала, закрыв лицо руками:

— У нас в котле вороньи ноги варятся, нам больше нечего есть.

— Да замолчишь ли ты?!

Он угрожающе взмахнул ногой, обутой в тяжелый сапог, и перепуганная Карин пустилась бегом в землянку. Она вытерла глаза правым черным рукавом и начала раздувать под котлом огонь, который погас, пока она ходила в рощу. Красного и черного цвета были рукава у платья шлюхи.

— Карин — одна у нас отрада,— сказал Габриэль, обращаясь к Угге, и посмотрел на дочь, сидящую у очага.— Без нее нас с матушкой уже давно бы не было на свете.

Но Угге слышал, как плакала Карин Ярочка, и перед тем, как уйти из дома Габриэля, он поговорил с ней. Потом он решил потолковать с Хансом из Ленховды.

Угге пустился догонять Ханса по тропе к Бидалите и вскоре увидел его впереди себя. Он прибавил шагу, нагнал его, и они пошли вместе.

Ханс из Ленховды был не в духе. Щеки у него горели огнем, но густая борода скрывала их, и Угге ничего не заметил.

Они шли молча, потом Угге сказал:

— Ты был в лесу с дочкой Габриэля и ничего ей не дал.

— Тебе-то какое дело, ворюга?

— Я думал, Ханс, что ты человек честный.

Ханс из Ленховды остановился:

— Ты что же, укорять меня вздумал?

— А зачем ты бедняков обижаешь?

— Какое мне дело до твоих воропрятов?

— Полно тебе браниться, Ханс. Кто ты сам-то есть? Безухий!

Палач изменился в лице. Но Угге этого не заметил.

— Может, у тебя уши мерзнут? — продолжал он.— То-то ты никогда капюшон не снимаешь!

— Будет с меня! Не дам лесным бродягам над собой глумиться! — Правая рука его незаметно скользнула к ножу, а Угге опять ничего не заметил и не поостерегся. Палач быстро огляделся вокруг и подошел вплотную к Угге. — В тот раз я промахнулся, но с тобою я расправлюсь.

Его рука описала быструю дугу и погрузила длинный нож в грудь Угге. Это был ловкий, привычный удар.

— Ханс, да что же ты?.. Ханс, голубчик!..

Крик умирающего застрял в глотке, захлебнулся, сник до тоненького писка, превратился в клокотание и замолк. Угге опустился на землю меж молодых сосенок и вытянулся на спине.

Ханс из Ленховды воткнул нож во мшистую кочку и старательно вытер его. Потом он наклонился над упавшим, схватил его за густые рыжие вихры и перевернул вниз лицом. Голова лежащего беспомощно поникла. Угге был мертв.

Тогда палач направился напрямик через лес назад в Бидалите. Возле дома у проселочной дороги стояла, терпеливо ожидая, задрав заднюю ногу, облезлая колченогая кляча.

* * *

Накануне дня всех святых жена сутарекульского мельника гнала коров из леса на водопой. Заметив, что скотина сбилась в кучу в сосеннике и топчется, испуганно мыча, она подошла поближе и увидела, что в лесу лежит мертвое тело. Мельник дал знать о том ленсману Оке Йертссону из Хеллашё. Ленсман с двумя батраками пришел на то место, где лежал мертвый. Оказалось, что человек этот был убит и что лежал он в частом сосеннике неподалеку от землянки бердника Габриэля. Его уже сильно поклевали птицы — глазницы были пустые, а в черепе продолблены дыры,— и никто не мог сказать, что это за человек. Когда ленсман позвал присяжного Улу из Кальваму и людей из церковного совета, убитого все же признали. Был это Угге Эббессон из Блесмолы, по прозванию Блесмольский вор.

Поскольку убитый был известным лесным вором, не стали ни искать убийцу, ни дознаваться, как произошло убийство. Послали за Хансом из Ленховды. Он сделал свое дело — зарыл тело лесного вора на Холме Висельников, возле развилка Геташё. Яму он вырыл глубокую, как положено, чтобы голодные звери не сожрали мертвеца.

После этого люди слышали, как палач похвалялся: дескать, он хоть и безухий, а слово свое держит. На что он намекал своей похвальбой, никому ведомо не было.

ПАСТОР ТИДЕРУС ПИШЕТ ПИСЬМО ГОСПОДИНУ ПЕТРУСУ МАГНИ

«Да пребудут с вами, брат мой, мир и благодать божия и ныне и присно.

Благодаря господа бога нашего, пребываю я здесь, в Стокгольме, в добром здравии. Этот сословный собор наидлиннейший из всех соборов, какие когда-либо были в нашем королевстве. Выборные ото всех сословий находились здесь целых четыре месяца. В прошлое воскресенье состоялась наконец коронация ее величества, и теперь мы ожидаем, что вскоре нас распустят по домам.

Великая смута, поднявшаяся в августе, сейчас поутихла, однако порядки и неполадки остались прежние, а посему трудно предугадать, что еще может произойти. На соборе были приняты уложения, однако сочинены они были самой королевой — в каждом разделе запечатлена ее собственная воля. Двое бранятся — третьему польза. Ее величество использовала распри между сословиями к своей выгоде. Стоило кому-нибудь воспротивиться ее воле, как она начинала говорить с ним языком власти и усмиряла ослушника. Никто не посмел идти противу ее воли. Дворяне не хотели признать пфальцграфа Карла-Густава наследным принцем Швеции, но принуждены были к тому королевой. Пфальцграф домогался герцогского титула, но не получил его. Простолюдины хотели, чтобы ее величество вступила в брак, да остались с носом.

Величайшую же несправедливость и беззаконие совершила королева, *когда отказалась принять жалобы и челобитные о возвращении дворянских имений в каз-*

ну. Дело это по ее приказу отложено до тех пор, пока ей не будет угодно им заняться.

Стало быть, ни одного аршина земли не вернули ее законному владельцу. Напротив, она утвердила право дворян на владение крестьянскими родовыми наделами, ибо теперь их вычеркнут из королевских земельных книг. Оставшись на бобах, крестьянские выборные ходят хмурые; королева обманула их, сделав вид, что держит их сторону. Она говорила простолюдинам ласковые речи, покуда ей надобна была их поддержка в споре с дворянами о престолонаследии. Как только помощь простолюдинов ей стала не надобна, она тотчас же примирилась с господами и ревнует лишь о делах дворян. Она вогнала в бревно топор, стукнула по нему другим и расколола бревно так, как ей вздумалось.

Да простит мне господь, что я осмеливаюсь писать непочтительно о ее величестве, нашей всемилостивой королеве, но она выказала на этом соборе превеликое лицемерие. Сия коварная персона лицемерной игрой своей обманула людей честных и достойных. Женщина эта ума столь хитрого и коварного, каких не сыщешь в целом свете.

Дворяне упиваются своей победой, красный гребень на голове у дворянских петушков вырос и стал еще краснее. Мы, пастыри из малых приходов, в глазах этих господ не более, чем конюхи. Многие вельможи куда как присмирели во время августовской смуты и сло́ва-то не смели вымолвить, а теперь снова приняли надменный вид. Риксканцлер было заболел, а как кончилась смута, вмиг поправился и требует покарать крестьянских выборных, что смело и правдиво выступали против дворян. Таким образом, как союзник граф Аксель из Сёдермёре навеки для крестьян утрачен.

Для нас солнце зашло, теперь ликует королева с дворянами. Малый кусок брошен и бюргерскому сословию — снижена им соляная пошлина. Крестьянам дали два года передохнуть от налога на скот. При сем получили они много всяких обещаний, наподобие тех, что им и прежде давали на всех соборах, и много новых посулов, особливо свежих и жирных. Нам же, духовенству, утвердили наконец наши привилегии, и теперь мы можем спать спокойно в своих домах. Отныне священнослужитель будет кланяться своему помещику не ниже, чем полупоясным поклоном.

Многие духовные лица не знают, с какой стороны и лизать ее величество за то, что она столь милостива к нам, а она всего лишь вернула нам наши права. Должны ли мы целовать мизинец на ноге королевы, коли она дает нам то, что положено по праву? Лишь немногие служители церкви дерзают вступаться за крестьян, опасаясь попасть в немилость к королеве. Таковые омерзительны мне хуже зловония, коль скоро они ценят королевскую милость превыше божьей справедливости и закона божьего, по которому и сирый и убогий — брат нам.

Иные священники поминают ее величество и за утренней и за вечерней молитвой за те богатые одеяния, что мы получили из королевской казны, дабы иметь пристойный вид в день коронации. Нам, заурядным священникам, пожаловали по девяти локтей сукна на рясу, по восемнадцати локтей камлоту на подрясники, равно по семи локтей плису на воротники рясы и рукава подрясников [1]. Столь богатые и нарядные ткани слишком хороши для пастора из голодного прихода, но довольно будет и того, что я раз на дню стану просить благословения для королевы за эти дары.

Коронация ее величества состоялась в минувшее воскресенье двадцатого дня сего месяца.

Хочу описать вам, брат мой, великолепный и удивления достойный коронационный поезд в Стокгольме семнадцатого дня сего месяца.

Во главе шествовал герольд в голубом бархатном наряде, шитом золотом и серебром; рядом с ним выступали трубачи и литаврщики в камзолах, отороченных золотым кружевом и подпоясанных черными шарфами.

Следом ехал на коне граф Карл Лёвенхаупт с дворянским знаменем, а за ним пятьсот рейтаров в полном вооружении.

За ним шли пешие гвардейцы ее величества с восемью знаменами. За ними ехал на коне вельможа в богатом убранстве в сопровождении конюших королевского совета и дворянства, которые вели под уздцы сто пятьдесят лошадей.

---

[1] Другой священник того же времени указывает, что на подрясник было отпущено только шестнадцать локтей камлота. Возможно, пастор Тидерус здесь ошибается, хотя во всех прочих случаях достоверность его описания не подлежит сомнению. *(Примеч. автора.)*

За ними шествовали пажи графов Лёвенхаупта и Магнуса Габриэля Делагарди, по двенадцать пажей при каждом из них, в одежде, разукрашенной золотом и серебром, и графские слуги, которые вели под уздцы пятьдесят лошадей.

За ними выступали шестеро пажей риксканцлера графа Акселя Оксеншерны, одетые в черный бархат, и слуги канцлера, ведущие восемь графских лошадей.

За ними шествовали пажи королевского наместника Пера Брахе, королевского казначея Габриэля Оксеншерны и его княжеского высочества генералиссимуса, а равно и челядь этих господ, которая вела под уздцы их лошадей.

За ними следовали двадцать четыре конюших ее королевского величества в желтых мундирах с золотым позументом. И вели они под уздцы тридцать пять лошадей под шитыми золотом бархатными чепраками.

За ними следовал королевский шталмейстер барон Сванте Банер и двадцать четыре пажа-конюшенка.

За ними следовала свита великого князя с иноземными офицерами, которые вели двести пятьдесят лошадей, и государственный маршал барон Сванте Спарре с королевской конницей из знатных дворян в роскошных уборах, которые ехали на трехстах семидесяти лошадях по четыре в ряд.

За ними ехали государственные советники, один за другим, согласно старшинству их утверждения в чине, каждый в своей карете в сопровождении слуг.

За ними ехала пустая карета его высочества пфальцграфа Адольфа-Иоганна в сопровождении слуг.

За ними ехали в каретах пфальцграф Иоганн-Казимир, маркграф Гессенский со слугами и иноземные послы, также в сопровождении слуг.

За ними следовал его высочество генералиссимус с драбантами, пажами, лакеями, литаврщиками и трубачами с бесчисленным количеством лошадей.

За ними ехал генерал граф Магнус Делагарди с драбантами ее величества, одетыми в желтое с золотом.

А за ними следовала ее королевское величество собственной персоной в карете, обитой снаружи и внутри коричневым бархатом, шитым золотом и серебром. В карету были запряжены шесть белых лошадей с плюмажами и золотой сбруей. Ходят слухи, что карета эта обошлась королеве в шесть тысяч риксдалеров. По обе

стороны кареты шествовало тридцать дворянских юношей, на груди у которых прямо против сердца был вышит золотом королевский герб. В свите королевы ехали на конях генералы и пфальцграф Адольф-Иоганн в качестве обер-камергера вкупе с двенадцатью камергерами и двадцатью четырьмя камер-пажами.

За ними шли двенадцать мулов, украшенные плюмажами, с золочеными корзинами в седле.

За ними в шести каретах ехали фрейлины ее величества[1].

За ними выступали шесть огромных верблюдов с большими поклажами.

За оными верблюдами последними в шествии были полковник Гамильтон с восемью ротами упландской пехоты и полковник Иоганн Врангель с четырьмя ротами вестманландских и упландских рейтар.

Коронационный поезд протянулся от Якобсдаля до самого королевского дворца. Однако следуй за ним простой люд — оборванные, голодные, обездоленные люди королевства шведского,— поезд сей был бы намного длиннее.

Во время коронации архиепископ Ленеус возложил корону на голову ее величества и помазал ей грудь и руки миром. При сем должен был осенить ее дух господень, дабы правила она страной справедливо и несла своим подданным утешение, свободу и радость. Архиепископ вручил ей скипетр, державу, ключ и, наконец, меч, коим она должна защищать добродетельных, послушных закону, наказывать жестокосердных и строптивых и разить тех, кто живет не по совести и закону.

Во время коронации в большом соборе увидел я подле королевы вашего хозяина, брат мой, немецкого помещика Бартольда Клевена, который в прошлом месяце был произведен в камергеры королевы[2].

Три вечера кряду приглашалось духовенство во дворец на пиршество по случаю коронации. На столы, накрытые для духовного сословия, подавали блюда в две перемены, по тридцать шесть блюд в каждой перемене.

---

[1] В этом вопросе пастор Тидерус, очевидно, ошибается: прочие описания коронационного поезда, оставленные современниками, единодушно свидетельствуют, что мулы следовали за фрейлинами, а не наоборот. *(Примеч. автора.)*

[2] Тут пастор Тидерус, вероятно, разумеет вдовствующую королеву. *(Примеч. автора.)*

Из прохладительных напитков были по большей части испанские и рейнские вина, и каждый пил в свое удовольствие. Не желавших пить никто не неволил. Однако за здравие ее королевского величества и наследного принца всякий раз нужно было пить до дна. Дворянам яства подавались на серебре, а духовенству и бюргерству на олове. Крестьян потчевали в трактире Йиллестюган, кушанья им подавались на деревянных тарелках.

После этих празднеств и ночного бдения долит меня головная боль и ломота в костях. В странноприимном доме, где я нашел приют, вот уже несколько ночей сон бежит меня из-за стрельбы и салютов. В какой конец города ни направишься, повсюду бьет в нос пороховой дым. Для черни на площадях развесили бычьи туши, и вино из бочек било ключом. В ночную пору разыгрывались такие драки и побоища, что множество людей изувечилось. Однако, хвала создателю, насмерть было убито не более десятка. Вчерашним утром видел я на улице несколько трупов.

Двадцать четвертого дня лицезрел я карнавальный поезд наследного принца Карла-Густава на Рэннаребане. Там катились кареты без лошадей, высоченная гора двигалась сама собой, вопила и кричала, русалки, разодетые в зеленые платья, премерзко кривлялись и выламывались всяческим манером. В Веккельсонге говорили про одного батрака, что он опоганился с лесовицей. Так тут, в Стокгольме, мне довелось видеть женщин в ее обличье. В этом шествии было множество живых арапов, чертей, горных троллей и прочих диковинных чудищ всех мастей... Последним выступало Время с косой в единственной руке, а его преследовал скелет с голым черепом. Вся эта картина являла собой суету земную. После всей той роскоши, что нам пришлось здесь лицезреть, не худо было призадуматься над этим представлением.

Большего великолепия, чем в дни этого коронационного празднества, в Швеции не видывали. Однако ее королевскому величеству не угодно было короноваться в Упсале — городе, где короновались все короли, и потому предрекают, что ей не долго сидеть на троне.

Всем нам уже не терпится отправиться отсюда восвояси. Нужду и голод терпят многие из крестьянских выборных. Выборные крестьяне от Вэренда ходят сумрачные и страшатся возвращаться домой к своим со-

братьям с недоброй вестью. Не хотел бы я быть в их шкуре, когда они воротятся к себе домой. Крестьяне еще стенают, кричат и требуют, чтобы с ними обошлись по закону — как записано в поземельных книгах. Королева же отговаривается тем, что дворянам и прочей знати пришлось нести на себе тяжелое бремя издержек на коронацию, что большего от этих господ требовать никак нельзя.

Я отнюдь не позабыл, брат мой, про тяглового крестьянина из вашего пасторского прихода в Альгутсбуде, которого беззаконно выгнали из собственной усадьбы. Его беда запала мне в душу, однако теперь этому делу помочь никак невозможно, коль скоро в землях, где помещики откупили королевские подати, крестьянские дворы будут по-прежнему принадлежать помещику. Не только тягловому крестьянину Сведье, но и многим бондам придется еще ожидать и терпеть, доколе они снова получат свои права.

Мы же, грешные, станем истово молить господа бога нашего, дабы он ниспослал нашему королевству справедливого и милостивого короля, который пекся бы о нуждах своего народа. А покуда нам остается лишь представить всю сию несправедливость и неправоту на праведный суд всевышнего.

Засим остаюсь, брат мой, вашим преданным другом и покорнейшим слугой.

Арвидус Тидерус,
пастор Веккельсонга.

Писано в Стокгольме октября двадцать седьмого дня в лето тысяча шестьсот пятидесятое».

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕСА ТРЕБУЕТ СВОИ ПРАВА

Ушли в деревню двое, а воротился только один. Другой остался и больше никогда не вернется в свою потайную берлогу. Тот, кто воротился один, его больше не ждет.

В землянке под поваленным дубом живет теперь один человек, и больше он к деревне близко не подходит. У него есть порох, пули и соль — все, без чего человеку в лесу не обойтись. Дни бегут, и ножевая рана у него на щеке заживает, на щеке остается лишь красный рубец.

В воздухе похолодало, задули ноябрьские ветры. Сухая трава шуршит под ногами, сырые, мозглые туманы лежат по утрам на трясине Флюачеррет. Здесь и там поблескивает красными звездочками спелая клюква — журавлиная ягода, нанизанная на короткие стебельки в белом мху, но журавлиного крика уже больше не слышно. Дни стоят все больше серенькие, тихие. Все лесные приметы предвещают приход зимы. Но в ясные дни, когда солнце освещает желтые стволы сосен, лес наполняется голосами, и стук дятла, долбящего кору, далеко разносится по лесу.

Сведье промышляет охотой. На островках в болоте он рубит молодые осинки и ставит капканы на зайцев меж поваленных стволов. Молодые тетерева, что попадаются в силки, к зиме подросли и разжирели. По утрам на заиндевелой земле легко рассмотреть следы глухаря между кочками. Иногда Сведье ищет другую птицу. Раньше он встречал в лесу удода и, завидев эту птицу, каждый раз останавливался. Ботилла сказала ему однажды: «Как увидишь удода, знай, это тебе от меня весточка!». В ясные тихие дни он слушал, как птица-вестница пела: «Обрученные! Неразлучные! На веки вечные!»

И вспоминал он тогда, как сладко и покойно было им вдвоем с милой. Но теперь, в осеннюю пору, он больше не встречает удода, перестала петь вестница,— верно, улетела вместе с журавлями. Зато теперь встречается ему коршун — птица лживая и разбойная, ее он слушать не хочет. Видно, у него есть худые вести, и он рад огорчить Сведье, только тот его не слушает. Сведье знает, что у него есть в деревне невеста, что сбудется все, о чем им пели птицы на верхушке дуба ранним утром, когда они были вместе: «Обрученные! Неразлучные! До гробовой доски! До смертного часа!» Пусть другие птицы поют, что свадьбе не бывать, но то птицы лживые. Солнце идет своим путем, наступит равноденствие и на другой год. Кто им поверит, что свадьбе не бывать?

Одинокий человек в землянке не подходит больше к деревне, он бросается прочь, заслышав в лесу шорох. Некому принести ему вести, а птицу лесовицы он не слушает. Птица эта злорадствует: «А невеста твоя, Сведье, за другого просватана!»

Но у человека, который никогда больше не вернется, остались в деревне друзья, добрые друзья и пособ-

ники, им знаком путь в землянку под поваленным дубом.

Однажды пришел туда человек, это был бродячий швец Свен. Он принес тайную весточку от хозяйки Сведьегорда: надобно им повстречаться, пусть Сведье укажет место и время. И Сведье посылает ей весточку: как стемнеет, у болота Гриммайёль, в первый день новолуния.

И тут беглец услышал то, чего никак не хотел услышать: у старосты отпраздновали новое обручение! Кровь закипела у него в жилах. Но ведь обещание, данное Йоном из Брендеболя Матсу Эллингу, не отнимает у Сведье его законного права. Пусть Йон дает хоть тысячу обещаний тысяче женихов, пусть изменяет своему слову, его права у него никто не отнимет. По своей охоте Ботилла обручилась с ним и будет хранить ему верность до конца дней. Пусть староста хоть каждый день празднует новый сговор; пусть этот человек из деревни изменяет своему слову хоть раз, хоть десять — какое дело до того человеку из леса?

Свадьбу сыграют еще не скоро — жених лежит в постели с перебитыми ногами. Никогда не спать этому человеку в брачной постели с его невестой! Пусть себе кричит злорадный коршун: «Твоя невеста просватана!» Сведье знает — просватана за него на веки вечные.

Сведье придет к деревне, как велит ему матушка. Но тут же он говорит самому себе: «Если выпадет снег, я не приду, а то следы будут».

* * *

В перелеске между Хумлебеком и Гриммайерде пляшет слабый огонек, похожий на блуждающие огни. Это идет, спотыкаясь о корни и камни, старая женщина. В руках у нее фонарь с горящей сосновой лучиной. Идет она, наклоняясь вперед, будто ищет спелые лесные ягоды на мертвой ноябрьской земле, и тяжело опирается на ясеневый посох.

Крадучись, идет хозяйка Сведьегорда по лесу, похожая в своем красном чепце на лесного гнома; есть еще сила в ее маленьком сухом теле; тело у нее — твердый комок жил и костей. Стоит ей пошатнуться — в тот же миг на помощь приходит посох. Она крадется тихо, словно лесная мышь, волоча ноги по земле, чтоб не сту-

чали деревянные башмаки. Завидев блестящую черную болотную воду, она садится на плоский камень и вешает фонарь на березовую ветку. Следов видно не будет — значит, сын придет.

Он ждал ее в ельнике по другую сторону болота и пошел ей навстречу сразу, как только замигал фонарь. Лучина горела, трещала, пахла смолою, и при свете ее хозяйка Сведьегорда увидела, что у сына отросла борода, а волосы падают на плечи, как конская грива. Долго хоронился он в лесу. Тяжко ему пришлось.

Увидев его, она поспешила спрятать ясеневый посох, на который опиралась,— незачем сыну видеть его.

Вот и встретились Сведьебонд и хозяйка Сведьегорда. Много раз взошло и село солнце с тех пор, как они покинули свой дом, что поставлен посолонь, глядит с востока на запад. Их дом стоит еще на земле, и никто не повернул его вспять.

Сведье увидел, что скулы на лице у матери выступили еще резче, а виски запали. Ноги у нее дрожали, хоть она и не несла никакой поклажи. Он взглянул на ее впалые щеки, на дрожащие ноги и спросил, как она жила все это время и что ела.

Они с сестрой толкли почки с деревьев и варили взвар, отвечала матушка Сигга. Добрые люди давали им обглоданные кости, если кто забивал скот. А потом через бродячего швеца Свена прислан им был свиной бок. Ели свинину и благодарили господа. Мясо это им точно с неба свалилось. Сидели себе дома сытые, не надо было бродить по дорогам, где люди валились с ног и помирали на месте. Недавно нашли двух бродяжек, которые померли с голоду; никто не знал, откуда они родом, и на кладбище их хоронить не стали. А уж людям, приписанным к церкви, жаловаться не приходится,— хоть и помрешь с голоду, а вечного блаженства не лишишься.

— В лесу тебе сохранно,— сказала мать.

— Да уж, денег им на моей шкуре не заработать,— отвечал сын.

Огонь пожирал последний огарок. Матушка Сигга достала из кармана юбки новую лучину и зажгла ее от догоравшего пламенника. Лучина вспыхнула, и, когда матушка Сигга снова повесила фонарь на ветку, он осветил посох, лежавший у нее за спиной.

— Никак вы, матушка, с клюкой ходите? — спросил он с удивлением.

— Я нашла ветку в лесу,— сказала она неохотно.— Корни-то скользкие. Вот я и подобрала обломившуюся ветку.

Он взглянул пристально на ее палку — она была срезана на обоих концах.

— Что ты уставился на мою ветку? — в сердцах воскликнула мать.

Неужто он и впрямь думает, спросила матушка Сигга, что хозяйка Сведьегорда ходит с клюкой? Что он еще выдумал? Нельзя, что ли, ветку с земли подобрать? Ну, что ему за дело до этого?

Она только было собралась рассказать ему, какую весть принесла, а тут он уставился на ее палку, и она с досады умолкла. Вести-то, правда, были невеселые. Но, глядя на его суровое лицо, она поняла, что он вытерпит, как пристало мужчине, не станет хныкать да жаловаться.

— Я была у господина Петруса Магни,— сказала она.— Господам оставили право владеть всем, что они беззаконно отобрали у нас. Убеторпский помещик остается хозяйничать в Сведьегорде.

Она услышала, как хрустнули его пальцы, увидела, как дрогнули его плечи. Но он не вскочил на ноги. Он уже не был таким горячим, как в былые времена.

Матушка Сигга говорила коротко:

— Права нам не вернули. Не день и не год пройдет, прежде чем мы вернемся в свою усадьбу.

Невеселые вести принесли Сведьебонду.

Он ничего не ответил, но слышно было, как его пальцы снова хрустнули.

Лучина в фонаре горела, вспыхивала, и обгоревшая верхушка с треском отваливалась. Хозяйка Сведьегорда приладила новую лучину и сказала:

— На то была воля божья — вернуть тягловому крестьянину Сведье его права, да ожесточились сердца у королевы и помещиков, яко у фараона в земле египетской. Да и от пастора Петруса Магни из Альгутсбуды помощь тоже невелика. Но господь изберет другого. А покуда фохт снимает еще один урожай с нашего поля.

Он замолчал, и молчание это показалось ей долгим и тревожным. Потом он сказал хмуро:

— Может, я помогу господу? Кто же поможет, как не я сам?

— Пастор Петрус Магни говорит, что господь пошлет к нам нового Моисея. Господь бог даст нам праведного короля.

— Может, врет пастор. Свое право надо отвоевывать самому. Мне оно ближе всех.

— Куда тебе, бедняку, против господ!

— Сам свое право потребую.

— Не совладать тебе с ними.

— Совладаю, если жизни не пожалею.

— Нет тебе на то моего благословения!

— Сам, благословясь, пойду.

— Прежде ты не смел ослушаться матери.

— Стало быть, вы даете мне совет спасать свою шкуру?

Она не стала больше перечить сыну. Она теперь поняла, как ожесточилось его сердце с тех пор, как он ушел из дома. Что толку бить кулаками по скале? Когда он сказал, какой ценой хочет вернуть свое право, заныло сердце у той, что породила его, но ему она и виду не подала. Хватит и того, что он увидел ее посох.

— Господь бог пошлет нам короля справедливого,— горячо сказала она.— Явится Моисей и поразит господ.

— Я сам верну свое право,— повторил он.

— У кого ты его станешь требовать?

— Кто обездолил нас? Кто всему виной?

— Помещик, что выгнал нас из родного дома.

— К нему-то я и пойду.

Теперь она все поняла, и снова ей пришло на ум, что словами тут не поможешь. Что толку колотить кулаками по твердой скале? Он волен поступать, как ему вздумается, волен распоряжаться своею жизнью. Какую власть имеет над ним старая, изможденная женщина?

Она заговорила про другое. Вот догорит сейчас еще одна лучина в фонаре, и хозяйка Сведьегорда и Сведьебонд разойдутся каждый в свою сторону. Она сказала сыну, чтобы он ушел первым; ей, дескать, хочется посидеть одной; она знала, что не сможет подняться на ноги без посоха.

Она сказала, что придет к нему в землянку, если надо будет упредить его о чем-либо. Он велел ей не ходить по первопутку, чтоб ее следы не указали бы к нему дорогу. На это она возразила, что он, видно, за-

был, как давно поседела у нее под чепцом голова, а то бы не стал ее поучать.

Она загадала — если он оглянется, когда пойдет прочь, значит быть худому. Он сказал ей: «Жизни не пожалею!» А ее скорбные глаза хотят видеть живым того, кто однажды вышел из ее лона. Если только он оглянется, значит, быть недоброму.

Он глянул на небо. На землю начали медленно падать твердые сухие снежные крупинки.

— Погода ночью переменится,— сказал он.

Сведье пошел прочь, а матушка Сигга оставалась сидеть на камне, покуда он не вышел за круг света, исходивший от фонаря, и не исчез в темноте. Пройдя несколько шагов, он оглянулся и посмотрел на нее. Сердце у матери тревожно заныло. «И зачем он обернулся?! Зачем он только обернулся?!»

* * *

Почему чужой человек хозяйничает в Сведьегорде, почему он снимает чужой урожай? Почему Сведьебонд скитается по лесам, хоронится за кустами и за валежником?

Живет где-то на белом свете господин, что взял себе право распоряжаться его жизнью. Есть где-то господин, который хочет владеть его душой и телом, как владеет он другими людьми в Брендеболе, Рюггаму, Ростоке и Гриммайерде. Есть где-то господин, который своими указами не дает ему жить свободно на божьей земле. Этот господин хочет быть его хозяином, хочет повернуть солнце вспять, заставить его ходить по небу путем неправедным, хочет, чтобы правда обернулась кривдой. Этот неведомый господин и его прихвостни да приспешники хотят, чтобы вор назывался честным человеком, а честного человека звали вором; чтобы измена звалась верностью, а верность — изменою; чтобы трусость звалась мужеством, мир — враждою, а вражда — миром. Этот господин и его приспешники завели новые порядки во всех дворах этих деревень, обратили мир и спокойствие в тревогу, свободу— в рабство. Этот господин хочет заклеймить своим иноземным рабским клеймом всех крестьян свободной мили, где он хозяйничает. Этот господин забрал Сведьегорд, а усадьба эта поставлена посолонь и стоит так с незапамятных времен.

Сведье и в глаза не видел этого человека, но тот следует неотступно за ним по пятам, словно тяжелая, гнетущая тень, посылает за ним в лес своих наемников, батраков, крестьян, изменивших своим братьям.

Но господин этот — не бог всемогущий на небе, а земной человек, смертный, как и все люди. Он вышел из лона женщины голый и беспомощный и сосал материнскую грудь. Скелет у него не крепче, чем у всякого человека, рожденного женщиной. Тело его так же боится боли, как тело любого человека. Кровь его может вытечь из жил, как всякая кровь в теле человеческом. Кости его можно перебить топором, тело — искромсать острым ножом, кровь его можно пролить, всадив в него свинцовую пулю. Этого человека можно лишить жизни, как и всякое живое создание на земле. Этот господин может лежать распростертый на земле, будто подстреленный в лесу зверь. Он может лежать совсем тихо, не шевелясь, другие будут трогать его, переворачивать его тело, будто дохлую скотину, а он будет лежать недвижимо. Крестьяне и все подвластные ему люди будут проходить мимо него, не снимая шапки и не кланяясь, а он не сможет им приказывать, не сможет даже нахмурить брови. Не сможет он им больше приказывать, не сможет ни единого зернышка отобрать в уплату налогов.

Они станут делать все, что им вздумается. Не таясь станут говорить дерзкие, крамольные слова, за которые прежде их наказывали. И все новые порядки, что он насильно ввел в их свободной миле, сгинут, рабство вновь обернется свободой, а правда одолеет кривду. А господин этот ничего им сказать на то не сможет, ибо он будет лежать мертвый тихонько, терпеливо и помалкивать.

Человек из леса сам отберет у этого господина свои права.

* * *

Поздно ночью, когда служанки из Убеторпа только что заснули, их разбудил громкий стук. Кто-то изо всех сил стучал в стену и громко кричал грубым и грозным голосом. Служанки испугались, решив, что дом окружило множество людей. Батраки спали в людской, а в господском доме из мужчин спал один только управитель.

Он подошел к дверям, чтобы спросить, кто это нарушил покой ночью в господском доме. На дворе стоял человек, которого он в темноте не мог как следует рассмотреть. Человек этот колотил в стену топором, оттого и раздавался грохот, напугавший служанок.

Убеторпский управитель спросил человека, кто он таков и зачем стучит во всю мочь в ночную пору. Человек этот назвался Рагнаром Сведье, тягловым крестьянином из Брендеболя, и сказал, что ему надобно поговорить с господином Клевеном, до которого у него есть дело. Он громко кричал:

— Выходи, Клевен! Вызываю тебя на бой!

Услышав имя известного смутьяна, управитель не решился с ним связываться, покуда не подоспеет подмога. Однако сперва он решил урезонить его и велел ему убираться подобру-поздорову. Если он не уйдет и станет ломиться в дом, сказал управитель, то господские рейтары зарубят его насмерть.

Смутьян, однако, не подумал уйти; он снова стал стучать топорищем в дверь и кричать:

— Я вызываю Клевена! Выйдет этот господин или нет?

Управитель ответил ему, что его милость господин Клевен проживает в Стокгольме и домой его не ожидают.

Услыхав, что господина Клевена нет в усадьбе, человек тотчас угомонился и перестал колотить топором по стене. Потом он крикнул, что придет еще раз, как только Клевен воротится домой. Господину этому он всяко угрожал и сулил лишить его жизни.

После того он ушел, и больше его этой ночью не слышали. Однако служанки в господской усадьбе так напугались, что не могли уснуть и просидели всю ночь на постели.

Убеторпский управитель немедля отписал своему господину и благодетелю о том, что случилось ночью в господской усадьбе, и сообщил, что человек из леса сулил прийти в другой раз в усадьбу; при сем он хулил его милость и грозился лишить его жизни.

В скором времени уездный судья в Упвидинге получил от его милости господина обер-майора и камергера Бартольда Клевена жалобу на беглого крестьянина и лесного бродягу Рагнара Сведье, который в ночную пору осмелился явиться к нему в имение Убеторп в Аль-

гутсбуде и ломился в дом, помышляя лишить его, Клевена, жизни. Не застав его дома, насильник грозился прийти в другой раз, дабы исполнить свой злодейский умысел и совершить убийство. Прошлым летом этот беглый крестьянин прибил и изувечил наемного рейтара Нильса Лампе из поместья Убеторп, после чего сбежал в лес и промышлял воровством да грабежом. Коль скоро этого бродягу уличили на месте преступления, его господин и хозяин подает на него жалобу в уездный тинг Упвидинге, требуя настоятельно, чтобы тинг вынес ему приговор.

На третьем и последнем в этом году упвидингском уездном тинге был вынесен приговор беглому крестьянину Рагнару Сведье из Брендеболя, приписанному к имению Убеторп. Тинг и присяжные уездного суда по делу нашли, что pro primo[1], Сведье беспричинно учинил насилие над рейтаром из Убеторпа Нильсом Лампе и нанес ему увечье, после чего укрылся в лесу, где одичал и озлобился; pro secundo[2], оный Рагнар Сведье свел дружбу с известным лесным вором и злодеем по имени Угге из Блесмолы, которого недавно нашли убитым, и в сообществе этого вора промышлял воровством и грабежом; pro tertio[3], Рагнар Сведье в ночную пору ломился в дом его милости обер-майора и камергера Бартольда Клевена и грозился лишить жизни своего хозяина и благодетеля[4].

Коль скоро он был уличен на месте преступления, тинг уезда Упвидинге вынес означенному насильнику и лесному бродяге свой приговор: быть ему схвачену в лесу и зарыту живьем в землю без суда и следствия.

ДЕВИЦА ИДЕТ К РУЧЬЮ

В начале нового года самое время играть свадьбу,— в эту пору все приметы сулят счастье жениху и невесте. Но даже в первый месяц нового года не годится человеку лежать в брачной постели с перебитыми ногами, даже при ясном свете новогодней луны не годится ново-

---

[1] Во-первых *(лат.)*.
[2] Во-вторых *(лат.)*.
[3] В-третьих *(лат.)*.
[4] Сокращенная выдержка из судебной книги. *(Примеч. автора.)*

брачной лежать в постели с калекой. Еще много дней пройдет, покуда Матс Эллинг встанет на ноги. Не бывать свадьбе в первое новолуние нового года.

Но Ботилла Йонсдоттер не печалится в ожидании жениха, который лежит в постели изувеченный, с перебитыми ногами. Она ходит по тропинке в лес и встречает там другого, того, с кем она уже давно обручена навек. Она отыскала в лесу заветную луговинку, где кусты зеленеют и цветы распускаются еще в день праздника всех святых, где пахнет пряными луговыми травами и даже в ноябре кукует кукушка на макушке ели, где сенокосные травы цветут еще в сочельник. Там встречает она своего суженого. У него тело без изъяна и ноги не перебиты. Она опускается с ним на цветочный ковер, ложится на постель из листьев и зеленых стеблей, кладет голову ему на руку, ей так сладко и покойно в его объятиях.

Ботилла встречает в лесу своего суженого, и никто про то не ведает.

Пошла однажды девица на луг колотить белье у ручья под ивняком. Пришла к ручью и вдова Анника Персдоттер с бельем. Ботилла услужливо отодвинула свой валек, чтобы дать место соседке, но та не торопилась приниматься за работу. Она следила за Ботиллой, не спуская с нее глаз.

Вдруг Анника схватила девицу за руку:

— Ты к кому это в лес ходишь?

Ботилла онемела от страха. Стало быть, кто-то проведал об этом.

— Знаю, с кем ты встречаешься в лесу.

— Ничего вы не знаете.— Ботилла крепко сжала рукой валек — подарок жениха.

— Я шла за тобой следом. Ты встречаешься с мужчиной!

— Ни с кем я не встречалась.

— Ты водишься с нечистым.

— С нечистым?

Ботилла с криком попятилась:

— Да простит вам господь эти слова, Анника!

— Ты ходишь к лукавому,— зашипела Анника.— Он принимает обличье красивого парня.

— Оговорить меня хотите?

— Нечего мне тебя оговаривать. Сама свою вину знаешь.

— Да простит господь мою обидчицу!

— Отпираешься. Когда он отметил тебя своим знаком?

— Нет у меня никакого знака.

— У тебя его красная метка!

— Врете вы все!

— Глянь-ка! — Анника одной рукой крепче сжала руку Ботиллы, а другой рванула ворот ее платья.— Глянь-ка на свою левую грудь! Вот он, знак-то! Я его видела. Вот где нечистый сосал.

— Никакой это не знак!

— Отпираешься, ведьма! Гляди! Показать тебе?

Но Ботилла в страхе вырвалась и побежала прочь от ручья.

Анника осталась стоять, не выпуская валек из рук:

— Видно, нечистый окрестил тебя! Окропил водой твою задницу!

Оставив белье на берегу, девица убежала и скрылась в дальних кустах. Тело билось в ознобе, в огне полыхала душа.

— Хоронись в кустах! — крикнула Анника ей вслед.— Все бесовки в ивняке прячутся.

Ботилла бежала, пока не очутилась в самой гуще кустарника. Потом она оглянулась и, убедившись, что ее никто не видит, начала дрожащими пальцами расстегивать корсаж. Смутное воспоминание промелькнуло у нее в голове. Пятнышко, красное пятнышко. Она совсем забыла про него.

Девица расстегнула платье, обнажила левую грудь и увидела красное пятнышко. Оно было на том самом месте, на которое указала Анника,— волдырек, маленький, но красный, как кровь.

Откуда у нее это пятно на теле? Это всего лишь метка от ожога; она появилась у нее той ночью, когда Ботилла, сидя у очага, ждала своего суженого и заснула. Она думала, что это уголек выскочил из огня и обжег ей голую грудь. Обожженное место поболело день-другой, а потом она и забыла про него. Метка была не больше ногтя на ее мизинце.

«У тебя его красная метка!» В чем винила ее Анника? До сих пор ей казалось, что красную метку на ее груди выжег уголек. Что же на самом деле случилось с ней, когда она заснула у очага? Во сне ей явился Сведье. Она почувствовала плотское желание, а потом

ей стало сладостно и покойно, будто все ее желания исполнились. Душа ее наполнилась радостью; ей было с ним так же хорошо, как при встречах на лесной луговинке, где они виделись после того. И вдруг она почувствовала жгучую боль на левой груди и проснулась. Но ведь до этого к ней ночью подходил палач, он коснулся ее тела, отчего она в страхе закричала. Может, это вовсе не уголек из очага обжег ей грудь? Она и сама толком не знала. Видела ли она этот уголек? Брала ли его в руки? Этого она не помнила.

Дрожа от страха, она застегнула платье на груди. А что, если то был не уголек? Что, если кто-то неведомый коснулся ее груди и оставил на ней метку? Ей приснился во сне суженый, но вдруг это кто-то другой явился к ней и коснулся ее груди? Может, не горячий уголек обжег ей грудь, а губы мужчины? Может, это был нечистый в облике заплечных дел мастера? Может, это сатана коснулся ее груди своими жгучими губами? Может, это он заклеймил ее своею меткой? Может, он сосал ее кровь, прокусив кожу?

Хоронясь за густыми кустами, опустилась девица на землю. Тело билось в ознобе, в огне полыхала душа. Земля была мокрой от дождя, и юбка ее намокла.

С кем она повстречалась в лесу?

«Не бойся! Я твой суженый!» А что, если это был кто-то другой? Что, если это был вовсе не ее нареченный? Что, если ее обманули? Что, если это был враг рода человеческого?

Говорил он с ней мало, но ведь Сведье и всегда-то больше молчал, когда они были вместе. Она почти вовсе не смотрела, а, закрыв глаза, наслаждалась его близостью. В глазах у нее все меркло, она видела его как бы сквозь пелену. Ей не удавалось разглядеть его глаза, хотя она не раз пыталась встретиться с ним взглядом. Но она прижималась к нему, она касалась его тела, его рук, она сердцем чуяла, что это был Сведье. «Не бойся! Я твой суженый!»

Но ведь лукавый может принять обличье любого человека. Он может обернуться ее суженым, а она не сумеет отличить его от Сведье. Она не смела назвать его по имени. Даже про себя не смела она назвать его по имени. Ее дрожащие от страха губы прошептали:

— Нечистый...

Неужто он явился в образе Сведье и обманул ее? Неужто это с ним она встречалась в лесу? Его родовой знак горит красным огнем. Он отметил своим знаком ее левую грудь. Он метит всех, кого опоганил. Ботилла тоненько застонала и принялась снова расстегивать платье. Метка на груди была ярко-красная, горела огнем.

Ботилла зачерпнула воды из лужи и стала тереть красное пятнышко. Но оно не сходило. Она поливала его водой, скоблила и терла. Пятнышко никак не стиралось и белее не становилось. Оно алело, будто кожица перезрелой вишни. Она терла его так сильно, что ей стало больно, терла и заливалась слезами, но ничто не помогало. Пятно ей было никак не стереть. Долго сидела она в лозняке, укоряла себя и плакала. Ей не хотелось возвращаться к Чистому ручью, где Анника колотила белье. Она воротилась домой и сказала матушке, что занемогла и не станет нынче стирать. «Любезные мои матушка и батюшка,— думала она,— вы и знать не знаете, что дочь ваша может лишиться жизни вечной».

Когда стемнело, она прокралась в чулан, отыскала под половицей железный гвоздь и отправилась к озеру Ростокшён. Она подошла к берегу, выбрала место поглубже, где вода покрывает взрослого человека с головой, и опустила гвоздь в воду. Она увидела, как он в один миг погрузился в воду и канул в глубине. Затем она пошла прочь. На сердце у нее полегчало.

С тех пор она больше не ходила в лес, не молилась там об исполнении желаний. Кто мог услышать ее, когда она молилась, сжимая в руке гвоздь палача? Она не называла по имени того, кому молилась, но в мыслях у нее был господь всемогущий. Неужто молитву ее услышала нечистая сила, хоть она ее и не призывала?

По вечерам, лежа в постели, она истово молила господа всемогущего спасти ее грешную душу.

Просыпаясь утром, она сразу же смотрела на свою левую грудь. Красное пятнышко не сходило; ей казалось, что оно стало больше и краснее, чем вчера. Она мыла его горячей водой, молоком, терла снадобьями из трав, мазями. Клеймо не сходило, точно было выжжено навек.

Она думала, что очистится, как только выбросит гвоздь. Но красная метка не сходила, стало быть нечистая сила все еще не отставала от нее.

Анника Персдоттер выследила Ботиллу и проведала про все ее тайные дела. А сама девица только теперь узнала про свою тайну — страшную тайну колдуньи.

* * *

Пока Ботилла сама не узнала о своей беде, ей неведомо было, что про нее уже давно ходит худая слава. О ней судачили втихомолку во всех домах, а она не замечала косых взглядов, которые на нее бросали украдкой, не слышала, как шептались за ее спиной, как умолкали соседки у колодца, когда она подходила к ним. Анника разглядела красную метку у нее на груди, выследила ее, когда она ходила одна в лес, и рассказала женщинам про все, что увидела и узнала. Ботиллу Йонсдоттер винили в колдовстве.

Все женщины, не имевшие за собой вины, знали, что говорит господь в Пятикнижии Моисеевом о тех, кто занимается волшебством. А те из них, кто умел грамоте, знали твердо: страшная кара положена по Пятикнижию Ветхого завета за сие злодейское деяние. Грех этот так велик, что у честных людей язык не поворачивается назвать его.

Многие колебались и еще не знали, верить ли слухам про тайные дела Ботиллы в лесу. Но Анника говорила, что ее надо испытать, что испытывают всех, кто на подозрении. Тут-то уж ее вина всем откроется. Если среди них в деревне живет ведьма, все должны знать о том, дабы лишить ее силы и не давать ей насылать порчу на невинных людей.

Ибо что речет господь в Пятикнижии? Он речет: «Колдунью должно лишить жизни».

* * *

Дни становились короче. Приближался рождественский пост. Ботилла начала сторониться людей. Она поняла, что о ней идет худая слава. Теперь она увидела, как люди переменились к ней.

И все же она не переставала думать о том, что она невиновна. Ей только хотелось снова быть вместе со своим суженым, она вовсе не просила помощи у того,

кого не называют по имени. Она была крещеная, ее крестил пастор, как крестят всех детей,— окропил водой ее темя.

Она лежала со своим женихом по чести и уговору и осталась честной девушкой, у нее и в мыслях не было призывать кого-нибудь другого. Да и никаких примет не было к тому, чтобы не считать ее за честную девицу.

Кровь в молоке у черной коровы пропала в начале лета. Как только коров стали выгонять на пастбище, крови в молоке сразу не стало. Теперь, когда она доила корову, из вымени бежало чистое, бело-золотистое молоко. Ее руки не причиняли вреда скотине — значит, она была честная девица и не могла насылать порчу. Стало быть, она не опоганилась с нечистым и он не имел над ней власти.

Но метка на груди никак не сходила. Что, если лукавый принял образ Сведье и она опоганилась с ним, сама того не ведая?

Стало быть, тогда он обманул ее, и она все равно невиновна. Никакого колдовства за ней не водилось, ничего худого она не делала по своей воле и разумению.

От соседки ей было не укрыться — их дома стояли рядом. Соседка все время караулила ее, и, как только они снова повстречались, Анника сказала:

— Тебя будут испытывать водой! Тогда-то уж правда откроется!

Она поспешила прочь, а соседка крикнула ей вслед:

— Тебя бросят в озеро! Не потонешь, гусем поплывешь, чертовка!

Кто-то шепнул ее отцу обиняком про тайные прогулки дочери в лесу. Односельчане не доверяли больше старосте: никто не пришел к нему как к другу; никто не сказал про худую славу его дочери. Только намекали ему кое на что: дескать, Ботиллу видели в лесу с каким-то человеком. Отец тут же догадался, что это был за человек, и спросил дочь с глазу на глаз:

— Ты с кем это видалась в лесу?

— Ни с кем, батюшка.

— Говорят, что ты видаешься с каким-то человеком.

— Ни с кем я не видаюсь, батюшка.

— А Сведье тебе не встречался?

— Нет, батюшка, не встречался.

— Ты ему больше не невеста. И нечего тебе с ним больше знаться.

— Как прикажете, батюшка.
— Ты с ним ничего не натворила?
— Я себя соблюла, батюшка.
— Правду говоришь?
— Всевышний на небе знает, что я невинна.
— Поостерегись, однако! В лес больше не ходи!
— Воля ваша, батюшка, больше не пойду.

Отец поверил ей и успокоился,— Ботилла была разумная и набожная девица и не смела ослушаться отца с матерью, не станет она против воли отца тайно встречаться со Сведье.

Ботилла не солгала отцу, когда говорила, что не видела Сведье. Вспоминая про все, что было с нею в лесу, она решила теперь, что все это ей только почудилось,— не было Сведье рядом с ней, то не его дыхание она слышала, то ветер касался ее щеки. Ведь в глаза ему она так ни разу и не заглянула.

Близился сочельник, на берегу ручья лежали груды белья — стирали к рождеству. Наводненный осенними дождями ручей вышел из берегов. Глубина в нем стала около сажени, а вода все прибывала; она хлынула на увядший осенний луг, растеклась мелкими ручейками, пенясь, смывая блестящие камни, звеня серебряными колокольчиками. Не слышно было птичьих голосов в лозняке, зато в Чистом ручье звенели голоса воды. Этот ручей никогда не иссякал — это был вечный источник с чистой и прозрачной водой. Такой воды не найдешь ни в одном ручье на свете. Ничто не могло замутить ее струи, она была чиста, как серебро, как упавшая с неба роса.

Ботилла колотила белье на берегу ручья, рука ее крепко сжимала валек, на котором было вырезано сердце. Собравшись полоскать, она нагнулась к воде и увидела свое лицо. Ручей показывал, какая она есть, без лжи, без обмана.

«Тебя станут испытывать водой! Не потонешь, гусем поплывешь!»

Не судья ей Анника Персдоттер, и никто другой в деревне ей не судья. Рассудит их только вода. Вода укажет и посрамит виноватую, а невиновную защитит. Вода разберет, колдунья она или честная девушка. Колдунья плавает по воде, как сухая щепка,— чистая, прозрачная, невинная вода отталкивает поганую ведьму, меченую дьявольской меткой, продавшую нечистому ду-

шу и тело. А невиновной вода раскрывает свои объятия.

Ручей знал, что Ботилла невиновна. Вода знала, что она не призывала нечистого, не давала ему обета отдать свою душу и тело. Она знала, что человек из леса был ее нареченный, с которым она встречалась по чести и уговору. Вода знала, что она послушна воле господа всемогущего и заповедям его. Вода свершит свой суд и обелит ее.

Девица хотела снять с себя тяжкий навет.

— Ручей, помоги мне! Прими меня! Ты ведь знаешь, что я невиновна! Защити же меня!

Ботилла глянула в ручей. Она хотела сама тайно испытать себя водой.

Пусть это будет в тайности. Придется ей раздеться донага — она не может воротиться домой в мокрой одежде. Вода в ручье студеная, она будет колоть ей кожу ледяными иголками, но ведь терпеть-то придется недолго. Она не станет опускаться глубоко в объятия ручья. Ручей неглубок, вот оно, дно, совсем близко; над водой склонились толстые ветки ивы; можно ухватиться за них и выбраться на берег. Ей лишь бы коснуться воды. Как только она станет тонуть, она тут же схватится за ветку. Надо лечь на спину, поднять колени и протянуть руку к веткам. Бояться тут нечего. Вода сразу же примет ее и отмоет всю грязь, прилипшую к ней: «Ты невиновна!»

Она сняла передник и корсаж, села на камень у воды. День был серый и пасмурный, точно нахохлившаяся ворона, что сидела на макушке ели. Ботилла съежилась, она дрожала от холода, сидя в одной юбке и сорочке. Она уже продрогла до костей, хотя еще не коснулась воды.

— Ручей, ты знаешь, что я невиновна, помоги мне!

День был холодный и ветреный. В такую стужу не мудрено схватить ломоту, а то и чахотку, если остыть в студеной воде. Она оробела. Для тайного испытания лучше дождаться солнечного дня.

Она оделась и пошла прочь от ручья.

* * *

А языки все судачили про Ботиллу Йонсдоттер. Парни больше не улыбались при встрече с нею, а, не сказав ни слова, отводили глаза, будто им становилось нелов-

ко. Женщины у колодца замолкали, когда она проходила с ведрами. Дети, завидев ее, разбегались по сторонам, а потом выглядывали из-за углов и кричали, указывая на нее пальцами:

— Берегитесь колдуньи! Бегите от нее, бегите!

Худая слава шла о ней.

Никто не хотел доносить на нее, но и заступиться — никто не заступался. Односельчане не знали, верить ли молве, однако все ее сторонились. Никто не подошел к ней и не сказал: «Ты вовсе не колдунья! Ты по-честному видалась в лесу со своим суженым! Нечистый не сосал твою грудь, это просто-напросто метка от ожога».

Что сказали бы батюшка с матушкой, если б проведали про красную метку? Ведь они еще про это не знали. Не знали они ничего и о худой славе. Если б они знали, как их дочь боится погубить свою грешную душу!

Однажды, когда она проходила мимо усадьбы Боккагорд, Ботилле показалось, будто ей что-то бросили в спину. Она оглянулась. На земле лежал раскаленный уголек, шипевший, как змей. Этим угольком кинули в нее.

Куда бежать? Ее сторонятся, как прокаженной, почитают за колдунью. Где ей укрыться? Все вытерпела бы, лишь бы освободиться от нечистого. Ему она не давала обещания. Она давала клятву только одному человеку из леса.

«Обрученные! Неразлучные! На веки вечные!»

Пускай ее сторонятся, пускай бросают ей вслед раскаленные уголья — это все она стерпит. Ибо суд людской над ней не властен. Один господь бог волен судить ее, и суд божий свершится в Чистом ручье. Вода открывает свои объятия невиновной, а виноватую не принимает, виноватая очистится лишь в огне костра. Когда в прошлом году в Конге жгли на костре колдунью, дымом опалило урожай во всем уезде. Вода божья на земле не примет колдунью. А Чистому ручью ведома ее тайна. Колдунью он не примет, а ей раскроет свои объятия.

Девица знала, где ей укрыться. Она пошла к ручью.

Был ясный, солнечный день. Рождественский пост миновал, снег выпал и стаял, от талой воды ручей переполнился и затопил луг. Нигде нет такой воды, как в Чистом ручье, текущем на север. Она исцеляет людей, от нее пропадает парша, сходят струпья и болячки. От

этой воды холсты становятся ослепительно белыми, будто их вымыли в потоке, текущем от престола царя небесного. Эта вода чиста и прозрачна, словно капли утренней росы. Эта вода откроет волю божью всему миру.

Водою крестился Христос; она коснулась чела его, и с той поры она таит в себе святую истину, от которой содрогается земля и небеса разверзаются для людей.

Девица спустилась к ручью. Солнечные блики лежали золотыми нитями на голых ивовых ветвях, на мокром лугу, на воде, текущей с тихим звоном в тени ветвистых ивовых кустов. Девица нагнулась и погладила воду руками. Вода была мягкая и ласковая, как бархат в церковном алтаре, как святой покров на престоле господнем. Вода была прозрачная до самого дна. Она не таила в себе ни грязи, ни лжи, ни лукавых наветов. Она не сделает ей худого, она откроет ей правду, успокоит ее невинную душу.

Она огляделась вокруг, на лугу не было видно ни души. Тогда она сняла одежду и повесила ее на ветвях ивы. Она скинула башмаки и встала босыми ногами на холодные скользкие камни у края воды. Ступни у нее заныли от холода. Потом она расстегнула корсаж и сняла сорочку.

Девица стояла нагая, какой она некогда явилась на свет божий. Солнце мягко освещало ее молочно-белое тело. Маленькая красная метка на левой груди алела, будто вишня на ветке в разгар лета. Она склонилась над ручьем:

— Ручей, прими меня! Открой мне правду! Помоги мне!

Она взглянула на красную метку. Тело билось в ознобе, в огне полыхала душа.

«Гусем поплывешь, чертовка!» Но ручей журчал успокоительно и мирно; она прислушалась к нему, и на душе у нее стало так легко и спокойно, как в те тихие ночи, когда ее голова покоилась на руке суженого. Она смотрела на чистую божью воду, прозрачную до дна, слушала ее журчание, и страх у нее пропал.

Она стояла, склонившись над ручьем, до тех пор, пока ноги сами не начали скользить на мокрых илистых камнях. Ей не надо было даже приседать, чтобы погрузиться в воду. В тот миг она даже не знала, упала ли она по доброй воле в объятия воды, или это вода сама

поднялась и обняла ее тело большой спокойной волной. Она обхватила грудь руками, и тело ее встретилось с водой.

Ботилла упала навзничь. Ручей принял ее, и она погрузилась в него. Что-то забилось в глубине, по воде пошли пузыри. Но это длилось недолго — пузыри пропали, и вода успокоилась. И вскоре снова наступила тишина.

Ручей бежал, как прежде, затопляя луг. Переполненный талой водой, он катился спокойно, тихонько звеня, будто серебряный колокольчик. Птичьи голоса не раздавались в лозняке, но воздух был наполнен голосами воды.

Пошла девица к ручью и не воротилась.

«ЖИВЫМ Я ВАМ НЕ ДАМСЯ!»

В первое воскресенье после поста пастор господин Петрус Магни огласил в альгутсбудской церкви указ, составленный и присланный ленсманом Оке Йертссоном из Хеллашё. Прихожане слушали указ внимательно, но как на мужских, так и на женских скамьях люди заметили, что господин Петрус Магни читал столь тихо и неразборчиво, что приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова. Даже и четвертая часть собравшихся не согласилась бы с теми прихожанами, кто полагал, что о заслугах пастора надо судить по его умению читать указы ленсмана, писанные неразборчиво. Но на этот раз прихожане не без причины обвиняли альгутсбудского пастора в небрежении к своим обязанностям. Пусть указ и был написан неразборчиво, но пастор должен бы заранее разобраться в нем, чтобы читать его людям в церкви, не мямля и не заикаясь. Чтобы взять в толк, о чем гласил указ, нужен был слух чуткий, как у оленя.

Но господин Петрус Магни прочел и изучил указ ленсмана заблаговременно, еще в субботу. В указе говорилось, что на последнем тинге уезда Упвидинге было решено объявить вне закона беглого крестьянина, лесного бродягу, по имени Рагнар Сведье из Брендеболя, прихода Альгутсбуда, каковой был уличен на месте преступления, за что невозбранно никому изловить его в лесу и зарыть живьем без суда и следствия.

Указ ленсмана велено было читать в альгутсбудской церкви три воскресенья кряду, и господин Петрус Магни мог за это время выучить его наизусть. Когда пастор читал указ в первый раз, в мыслях у него было письмо, полученное им в прошлом месяце от дорогого друга, пастора Тидеруса из Веккельсонга; друг в конце письма призывал его молиться, и это дало ему силы выполнить свой долг.

В четверг после оглашения указа в церкви к ленсману Оке Йертссону пришел крестьянин из Гриммайерде и сказал, что напал на след, ведущий к тайному воровскому логову в лесу. Он выслеживал куницу по первой пороше возле трясины Флюачеррет. На краю трясины он увидел дымок и решил подойти ближе, чтобы разузнать, кто это там развел огонь. Тут он увидел между корнями поваленного дуба дыру, похожую на вход в землянку. На снегу виднелись следы, ведущие в землянку и из землянки. Ходили слухи, что Блесмольский вор при жизни скрывался в этих местах, и доносчик понял, что нашел его логово. Он сказал, что сделал зарубки на этом месте и может кому надо указать его.

Ленсман решил незамедлительно проверить догадки крестьянина. Если это на самом деле была землянка лесного вора, то нетрудно догадаться, что его дружок Сведье до сих пор скрывается в этом воровском логове.

Ленсман Оке Йертссон назначил встречу с доносчиком на рассвете следующего дня и упредил своих людей. Он послал за палачом Хансом из Ленховды и велел также двум присяжным — Уле из Кальваму и Монсу из Хёгахульта — идти с ними в понятых. Вместе с ленсманом и его двумя батраками набралось двенадцать вооруженных людей.

В пятницу на рассвете они вышли из Гриммайерде и направились в сторону озера Мадешё. Солнце на восходе было багрово-красное, сизо-черные облака бежали по небу, хотя погода была тихая.

Снега в лесу было мало, и, хотя прошлой ночью подморозило, день обещал быть теплым.

* * *

Перед постом выпало много снега, а вслед за своим братом снегом пришел мороз — злой, колючий. Снег выпал до наступления мороза, и потому земля промерзла неглубоко.

На свежем снегу видны были все звериные тропы в лесу. Ничто живое не могло выбраться из своего убежища, не оставив следа. Снег рассказывал, как искал замерзшие ягоды в брусничнике тетерев, как скакал у кустов заяц, как петляли вокруг стволов лиса и куница. Голая земля была немой пособницей обитателей леса и помогала укрывать лесные тайны, а снег кричал о них преследователям.

Снег мог рассказать и о том, где прошел одинокий человек из леса. Потому Сведье не уходил далеко от землянки. Он выходил только проверить капканы на зайцев в рощице на болоте. Силки, расставленные меж свежесрубленных осинок, поставляли ему жаркое. Каждое третье или четвертое утро, проверяя силки, он находил зайца в капкане. Зайцы обгрызали кору с осин до самого луба, ободранные стволы и ветви лежали распростертые на земле, словно выбеленные солнцем скелеты.

Остальное время он сидел в землянке. Когда приходилось идти к ближнему роднику за водой, он на обратном пути старательно заметал свои следы. Он все время боялся, как бы не забыться случайно и не оставить след.

Наступил канун рождества, в лес пришла зима. Мороз обнял землю первым крепким объятием, но сразу подступиться к ней он не смог — она была окутана плотным, теплым покровом. Трясина Флюачеррет раскинулась просторным бугристым снежным полем, но замерзнуть она еще не успела — под снегом притаились черные и мягкие бездонные топи. Тихая и пустынная, лежала в эту пору большая трясина, сумерки рано спускались над ней, сжалившись над ее одиночеством. Сухой, увядший тростник шуршал и выл на ветру. По вечерам не слышно было плача чибисов и курлыканья журавлей. А в снегу на мшистых кочках алыми каплями горели ягоды клюквы.

Человек из леса спал в своей землянке долгими декабрьскими ночами, закутавшись в теплые овечьи шкуры; иногда он просыпался от холода. Мороз подбирался к нему из земли, леденящий, мозглый, как дыхание гадов с холодной кровью, и это дыхание земляного пола касалось его лица. На потолке и стенах искрилась кружичатая наледь. Всю ночь он то и дело подбрасывал поленья в очаг, не давая огню погаснуть, но не мог убе-

речься от холода. Даже днем он начал разводить огонь в очаге, хоть и боялся, как бы не было заметно дыма.

Но не только из-за сильного мороза он поддерживал огонь по ночам — он боялся незваных ночных гостей из леса.

Когда он сидит вечерами у очага, когда головни догорают и рассыпаются в уголья, когда пламя больше не освещает землянку, когда в очаге только поблескивают искры и чадит дымок, она может подкрасться к нему. Когда уголья в очаге чернеют и гаснут искры одна за другой, когда он уже почти заснул, когда он на пути отсюда, она может подобраться к нему. Она станет обвивать его своими волосами, сядет к нему на колени, станет прижиматься к нему мягкими круглыми бедрами, дразнить его теплом своего тела: «Я буду твоей суженой!»

Лесовица обернулась красивой женщиной, но лица у нее нет. У нее есть тело, руки, ноги, голова и волосы, а лица нет. И молода она, и красива, и грудь у нее лебяжья, и тело белое, а лица у нее нет. Кожа у нее теплая и мягкая, как кожица печеного яблока. Она может говорить, улыбаться и громко смеяться, но у нее нет ни рта, ни носа, ни глаз, ни лба. У лесовицы есть только тело, голова и волосы, длинные, как конский хвост, а лица у нее нет.

Человек, который опоганится с женщиной без лица, будет потом горько каяться и сгорит от стыда. Человеку, который польстится на женщину без лица, никогда больше не видать счастья. Человека, который разделит ложе с женщиной без лица, будут вечно мучить желание и тоска, и покоя ему не будет. Женщина без лица, подкрадывающаяся, когда в очаге гаснут угли, не утеха, а соблазн человеку и вечная погибель.

Сведье — человек крещеный, добрый христианин, он не допустит к себе поганую лесовицу, у которой нет лица. Он уже дал слово другой, так он лесовице и скажет.

Но она отвечает ему:

— Нет у тебя невесты, Сведье! Нет у тебя больше никакой невесты!

Хитра — так и норовит одурачить его, ей ведомо, какими речами его пронять. Только лжет она. У него осталась невеста в деревне, зовут ее Ботилла Йонсдоттер. Пусть отец ее изменил своему слову и просватал дочь за другого, честные люди, добрые соседи отплатили ему

за измену,— новый жених лежит теперь в постели с перебитыми ногами. Его суженая не ляжет ни с кем, кроме него в брачную постель. «Обрученные! Неразлучные! На веки вечные!» Он не отдаст никому своего права на нее, покуда жив. И пусть лесовица поддразнивает его злорадно. «Нет у тебя невесты! Я буду твоей суженой!»

Девица пошла к ручью, назад она не воротилась. А Сведье скрывается в лесу и ничего о том не знает. Он ищет птицу, которая прежде приносила ему вести, а она больше не прилетает. Он отвечает лесовице, что она лгунья, и кричит ей в сердцах:

— Ступай прочь! Убирайся!

А она смеется заливчатым смехом и дразнит:

— Погляди на меня! Видишь, я пришла к тебе! Очаг твой остыл, а у меня в постели тепло! Погляди на меня.

Кожа у нее мягкая и горячая, как кожица печеного яблока, а ему холодно.

— Пошла прочь! Прочь!

— Да ведь у тебя нет невесты. Я останусь с тобой!

С досады он забыл, что надо остерегаться, и совсем было заснул, но вдруг в золе вспыхнул уголек, и наваждения как не бывало. Он взял огниво и разжег новый огонь. Потом подбросил в огонь смолистых сосновых поленьев, и они ярко запылали.

Лесовица пропала. Он сидит у очага и следит, чтобы огонь не погас. Этой ночью она к нему не воротится.

Днем она подсылает к нему своих птиц; они галдят и злят его, повторяя ее лживые речи. Вот кричит коршун, перелетая с сосны на сосну: «Нет больше невесты у Рагнара Сведье! Нет невесты у Сведьебонда!»

Пусть себе галдят. Хочешь не хочешь, приходится слушать, коршун преследует его повсюду, и его никак не прогонишь.

— Нет больше у Сведье невесты! Я буду твоей суженой! Погляди на меня! Вот я какая! Чресла у меня горячие, иди погрейся! Ну, погляди же на меня!

Когда она сама не осмеливается подойти, то посылает к нему своих птиц. Куда от них денешься — летают, где им вздумается, и молчать им не прикажешь. Тут не один коршун, а и всякие иные птицы. Ботилла предостерегала его, не велела слушать коршуна — птицу лживую и разбойную, крючконосую, велела ее сторониться. Лесовица посылает к нему лживых птиц. Широкая глотка враля коршуна битком набита всякими небылицами.

Прежде им пели другие птицы на верхушке дуба, в то утро, когда солнце поднялось над землей и лило свет на росистые травы. Те птицы пели им про любовь и верность: «Обрученные! Неразлучные! На веки вечные! До смертного часа! До гробовой доски!»

Теперь он не слышит их, но они поют где-то, птицы вещие, правдивые.

* * *

Шесть суток стоял сильный мороз, потом погода переменилась. Подул сильный ветер, полил проливной дождь. Снег слежался, подтаял, и по земле хлынула талая вода. Кочки на болоте обнажились, и на белом мху между снежных пятен заблестела алая клюква. С хвои, с замшелых веток медленно падали капли; влажный, пропитанный туманом воздух мягко касался щек, тонкий слой промерзшей земли начал оттаивать.

В предрассветном тумане не рассмотреть было, что делается на лесной опушке по ту сторону болота.

Сведье делал каждый день зарубку на палке: сначала глубокая зарубка, потом — понедельник, вторник, среда. В среду и четверг стояла оттепель, в дымоходе совсем не было тяги, дым повалил в землянку, и у Сведье разболелась голова.

Утром в пятницу небо прояснилось, и Сведье вышел проверить капканы в рощице на болоте. За ночь слегка подморозило, и тонкий лед, затянувший лужи, хрустел под ногами. Было, однако, довольно тепло. Кое-где на земле лежали остатки снега; он старался ступать на голую землю, боясь оставить следы. Над лесом со стороны Мадешё загорелся солнечный венец, и сосны по другую сторону болота стали золотыми. В это утро взошло багровое солнце.

Проходя меж поваленных дубков, Сведье услышал крик желны. Он остановился прислушиваясь. Утро было тихое, и голос птицы слышался отчетливо.

Капканы в роще в это утро были пусты. Ни одного зайца. Однако эта неудача его не раздосадовала — у него было припасено вдоволь мяса, он зарыл его в землю возле родника. Он вынул из-за пояса топор и принялся валить новые осинки — старые были уже начисто обглоданы.

Он несколько раз прекращал работу и застывал на месте, глядя на поднимающееся над лесом пылающее солнце. Сегодня лучи его отливали багрянцем, да и желна предвещала беду. Он смотрел на солнце и прислушивался, предчувствуя недоброе. Он понял: сегодня в лесу ему, как никогда, нужны зоркий глаз и чуткое ухо.

Возвращаясь домой по болоту, он не рвал, как всегда, клюкву на кочках. Из-под ног у него вспорхнул косач, но его рука не нажала курок. Он шел по лесу, внимательно глядел по сторонам, но смотрел не на ягоды и не на птиц.

Он дошел до лесной опушки на краю болота и был уже на расстоянии нескольких мушкетных выстрелов от землянки, как вдруг резко остановился и застыл неподвижно, словно стоящие вокруг деревья. На этот раз это был не крик желны. Теперь он услышал другие звуки. В эту ясную, тихую погоду они прилетели издалека сквозь лес, и уши его поймали их. Они пролетели меж древесных стволов, над болотом и направились к нему. То не звериный рев и не птичий крик донесся издалека в эту тихую погоду. Это были другие звуки, редко раздававшиеся в этих лесах. В лесу были люди. Это их голоса доносились сюда.

Звуки были не громче шепота, но его чуткое ухо уловило их. Они доносились с другого конца трясины Флюачеррет, со стороны деревень Альгутсбуды. Он так и знал, что они придут оттуда. Это были не охотники, что вышли на ловлю зверя,— новый снег не выпал, и для охоты по следу время еще не пришло.

Надо было насыпать пороха в рог, перед тем как идти сегодня в лес,— ведь осталось меньше трети. Пуль в кисе было тоже не много, она была не тяжелой. А может, все-таки хватит?

Он укрылся за толстым дубом и стал смотреть на другую сторону трясины. Он выжидал.

Желна предвещает беду, но она не лживая птица, не то что коршун.

Так он стоял довольно долго и увидел, что из леса на край болота выбралось несколько человек. Они вышли один за другим, постояли и пошли по болоту. У одних были мушкеты, у других — топоры, у третьих — ножи. Они шли гуськом, и Сведье мог сосчитать их. Их было

больше, чем пальцев на руках, но меньше, чем пуль у него в кисе.

Люди шли гуськом по болоту, по следу идущего впереди. Тот, видно, знал дорогу. Он наступал на сухие кочки и ни разу не оступился, не попал ногою в трясину, подстерегавшую по обеим сторонам. Он узнал только одного из них, а кто были другие, ему было все равно.

В этой цепочке шел рослый человек с черным капюшоном на голове. Не на волка и не на лисицу шел этот человек.

Сведье выследили. Он стоял, укрывшись за стволом дуба, не спуская глаз с людей, которые шли по болоту. Да, их все же было много. Но землянки под поваленным дубом им не найти, даже если они пройдут по болоту. Землянка была надежно укрыта, огонь в очаге не горел, дым из трубы не шел, у входа не валялись кости. Им придется порядком потрудиться, чтобы найти его убежище, а пока они его ищут, он успеет уйти от них и спрятаться в лесу.

Но облавщики, перебравшись через болото, направились прямиком по вырубке. Проводник то и дело оглядывался вокруг, будто ища знакомые приметы, и, не задумываясь, вел людей между стволами. Идущий впереди знал дорогу — он шел к холмику посреди вырубки.

Они шли не наугад. Этот холм уже больше не сможет служить ему убежищем. Кто-то обнаружил землянку под поваленным дубом.

Но живым он ни за что не дастся. Счастье, что в это утро он пошел проверять заячьи капканы, а не остался в землянке.

* * *

Когда солнце на восходе отливает багрянцем,
когда ворон кричит, а ворона чистит перья,
когда скотина лижет бока и укрывается под навесом,
когда муравей прячется в муравейнике,
когда свиньи роются в мякине, а черви выползают из земли,
когда овцы сбиваются кучей в загоне,
когда в очаге горит бледное пламя и головни стреляют яркими искрами,
когда листья цветов и трав съеживаются,

когда в глубине спокойных вод слышатся непонятные звуки,
когда в тихую погоду быстро несутся облака и дрожат листья березы,
когда в ночи вдруг меркнут ясные звезды,—
тогда приходит время людям содрогаться и ждать опасности, ибо тогда совершается зло под небом.

* * *

Сведье, человек из леса, был здоров и невредим. Ножевая рана у него на щеке давно затянулась, оставив небольшой шрам. Мысли о смертном часе не приходили ему в голову. Он знал, что сумеет постоять за себя и живым не дастся. Но времени терять было нельзя. Он сразу же решил, что ему делать,— надо уходить из этих мест и податься назад, в Волчье Логово; там он спрячется за большой каменной грядой. Оттуда он сможет перебраться через кальмарскую границу в надежные места. Спрятанную снедь он заберет позднее. А сейчас ему нужно уйти от облавщиков. Самый короткий путь в Волчье Логово ведет через трясину Флюачеррет. Надо поскорее переправиться через нее, пока преследователи не воротились после того, как нашли землянку пустой. Вот они уже вошли в дубовую рощу и скрылись из виду.

Ему нужно вернуться назад, на островок с поваленными осинами, где он только что был; когда он пройдет этот островок, они потеряют его из виду.

Сведье побежал по болоту длинными прыжками. Между ним и островком лежала бездонная трясина, за кочками прятались зыбкие топи, но он ходил здесь чуть ли не каждый день и знал, как обходить трясину,— он ступал только на твердые кочки.

Он уже пробежал половину пути, как вдруг позади раздался крик.

Два облавщика вышли из-за можжевеловых кустов, зовя на помощь остальных. Они заметили его. У обоих были при себе мушкеты.

Сведье повернул голову и стиснул зубы. Стало быть, он просчитался, когда решил, что все они пошли к землянке искать его; они разделились, может быть, они даже заметили его следы. Двое облавщиков шли следом

за ним. Но им не догнать его,— он намного опередил их. И к тому же они, верно, не посмеют бежать за ним по болоту. Он сделал прыжок.

Позади прогремел выстрел. Видно, они были неплохими стрелками, но расстояние было слишком велико. Пуля не задела его. Он не чувствовал боли и мог свободно двигаться. Да, расстояние слишком велико. Он сделал еще прыжок — только бы добежать до рощи! Там его пуля не настигнет.

Едва он успел сделать десяток шагов, как выстрел раздался снова. Что-то сильно кольнуло в правую ногу выше колена, будто проткнуло раскаленным острием копья. Значит, первый стрелок просто промахнулся, подумал он, падая ничком с размаху. Стало быть, и с этого расстояния можно попасть.

Эхо разнесло звук выстрела в сосняке вокруг болота,— день был тихий. Сведье упал, потом приподнялся на руках; болотная жижа обрызгала ему лицо. Позади слышались крики стрелков. Вдалеке, на опушке леса, показались остальные. Они бежали на помощь.

До островка оставалось меньше половины пути. Ближе всего к нему был перелесок с высокими косматыми елями, он смог бы послужить ему надежным убежищем. Здесь он мог бы укрыться от стрелков. Но до него нужно было еще добраться, а у него в ноге повыше колена сидел свинец.

Они хотят схватить его, пока он лежит здесь. Те двое, что гнались за ним, побежали по болоту. Если трясина не поможет ему, не утянет их на дно, он еще сможет постоять за себя. Сведье стер тину с лица, насыпал пороху на полку, прицелился и выстрелил в стрелка, бежавшего впереди. Человек выронил мушкет, вскрикнул и здоровой рукой схватился за другую руку, в которую попала пуля. Этой рукой он уже не сделает сегодня ни одного выстрела. Другой бросился было к нему на помощь, но оступился и провалился по пояс в трясину. Тут подоспели остальные, протянули ему стволы мушкетов и вытащили его из илистой жижи. Облавщики замешкались.

Тем временем Сведье полз вершок за вершком к рощице посреди болота. Теперь он уже не был цел и невредим. С простреленной ногой далеко не уйдешь. Ступить на нее он не мог, она ныла и болела, приходилось волочить ее. Так ползет по лесу подстреленная ли-

сица, волоча покалеченную капканом заднюю лапу, в поисках норы, где можно укрыться. Держа мушкет обеими руками, он поднимался на локтях и подтягивал тело вперед, продвигаясь по болоту аршин за аршином, вершок за вершком. Так он полз, петляя между кочками, на которых горели алые ягоды клюквы, полз, огибая коварные окна трясины. Чем дальше он полз, тем тяжелее становилась больная нога. Казалось, свинцовая пуля в ноге весит несколько фунтов. Рану ломило, свинец шевелился в теле, будто хотел выскочить.

Уже совсем выбившись из сил, добрался он до твердой земли, по которой было легче ползти. Наконец он очутился в ельнике.

Он лег под елью с толстыми корнями возле снежного сугроба и лежал ослабевший, тяжело дыша.

Пуль в мушкете не осталось. Он вырвал пучок сухого папоротника и вытер брызги болотной воды с мушкетного замка и полки. В роге осталось немного пороху, и он решил зарядить мушкет. Но пока он заряжал его, на снегу под правой ногой выступили красные пятна. Он приложил к ране мху и снегу. Кровь немного унялась и стала капать редкими густыми темными каплями.

Потом он сосчитал пули в кисе. Только девять! А он думал, что осталось больше. На здоровых ногах он наверняка добрался бы до убежища в Волчьем Логове. А теперь свинец весом в несколько фунтов тянул его к земле; он выбился из сил и ползти больше не мог. С островка ему не уйти. Придется остаться здесь и обороняться, пока хватит пороха и пуль.

Ленсман Оке Йертссон из Хеллашё и его люди собрались на краю болота. Они не бросились тут же в погоню. Они показывали пальцами на болото, где один из батраков ленсмана чуть было не утонул в трясине. Они боялись его. Да к тому же им пришлось останавливать кровь Андерсу из Хеллашё,— пуля человека из леса раздробила ему руку, превратила ее в кровавое месиво. Правда, толстые жилы ему не повредило; слава богу, что он вообще остался жив. Они молили господа, чтобы никто из них не лишился жизни из-за этого презренного лесного бродяги.

Стали держать совет,— никому не хотелось застрять в болоте, как в лисьем капкане, и подставлять себя под пули. Недолго было и жизни лишиться. Ленсман сказал, что этот Сведье вовсе одичал и лишился ума. Поче-

му он не остался на месте, а уполз в кусты? Ведь знает, что ему не уйти от них, не уйти от суда.

Чего же ради мучить себя и выказывать презрение к закону? Все равно этим не поможешь! Ни дать ни взять тварь неразумная: знай себе ползет и не хочет сдаваться.

Люди держали совет. Короткий день подходил к концу.

* * *

Йон Стонге прилег отдохнуть после дневной трапезы. Теперь у него было заведено отдыхать даже среди бела дня,— до того ослаб человек, что его и ветром могло сбить с ног. И все это приключилось с ним из-за прожорливых червей, от которых ему не было спасения. Невеселая доля досталась ему — батрачить день-деньской, чтобы прокормить этих живоглотов. И с чего привязалась к нему этакая хворь? Никакой вины за ним не было. За худое терпи, но что худого он сделал?

Ночами Йону из Брендеболя не спалось, и оттого он еще больше ослабел. Однако скоро он сможет снова спать спокойно. Берлогу смутьяна Сведье наконец-то выследили. До рассвета двенадцать облавщиков отправились в лес искать его. Приговор ему уже вынесли: быть зарыту в землю живьем. Натворил бед, так держи ответ!

Человеку из леса все было нипочем. Может, как раз в эту минуту злодея настигла расплата. Когда этот человек испустит дух, Йону из Брендеболя не придется больше не спать по ночам, прислушиваясь, не шевелится ли дверная ручка. Тогда староста сможет спокойно спать в своем доме, никого не опасаясь.

Много добрых людей отправилось сегодня на облаву. Теперь уже старосте нечего бояться. А сколько зла мог бы причинить ему этот головорез, если б дать ему волю! Из-за него домочадцы старосты не чаяли остаться в живых. Ботиллы, дочери его ненаглядной, не было больше на белом свете, но ему легче было схоронить ее в сырой земле, чем отдать за Сведье. Он потерял свою ненаглядную Ботиллу, свет очей своих, утеху на старости лет, но и то слава богу, что Сведье не взял ее силой. Этот непутевый не мог взять ее в жены, как положено по закону, а еще винит его в обмане и вероломстве. Кто не сдер-

жал своего слова, кто обманул невесту, кто дрался, буянил, грабил людей, не давал людям покоя в их собственном доме? Теперь его объявили вне закона, а раз на человека идут облавой, дети его останутся сиротами, жена — вдовой, а невеста — незамужней девицей. Так в чем же его, Йона Стонге, вина перед человеком из леса?

Наконец-то правда одержит верх. С облавщиками отправились присяжные Ула из Кальваму и Монс из Хёгахульта. Они проследят за тем, чтобы лесной бродяга понес такое наказание, какое ему положено. Теперь честные люди смогут спокойно спать в своей постели.

Если б только ведьма-домовица оставила его в покое. Каждую ночь она душит его. И как только она ухитряется пролезть в дом, когда все щели и пазы законопачены?

«Зарыл, запрятал...»

«Тот, кто этот штафет скроет... Доска окроплена кровью твоих братьев, один конец ее алый от крови».

«Крик братьев о помощи, его ты зарыл в землю... Как ты посмел это сделать?»

Что надо от него ночной гостье? Ведь не живую же душу он задушил, зарыв ее в землю! Мертвый кусок дерева скоро сгниет. Он никого не задушил, не спрятал убиенного. Он не дал насилию свершиться, он не только не пролил людской крови, но не дал пролиться крови своих братьев. Никто не сказал ему за то спасибо, ибо это ведомо одному лишь господу богу.

Односельчане, не зная правды, считают его изменником, барским прихвостнем. Никто больше не слушает его советов. Зато они разиня рот слушают этого смутьяна Класа Бокка. Тайные дела творятся в деревне, люди ходят крадучись, о чем-то шепчутся, что-то прячут, по ночам уходят из дому. Подала тут одна птица голос про мятеж. *Ходит, мол, из уст в уста слух: из деревни Брендеболь послали штафет.*

«Штафет идет! Скачи нынче же в ночь или пошли другого вместо себя! Добудем себе свободу!»

Староста про штафет ничего не ведает, ибо односельчане ему больше не доверяют. Неужто они в ослеплении — хотят погубить себя и своих близких? Эти оглашенные мужики хотят поднять смуту на селе, идти против власти, нарушить мир и покой. Каждый должен защищать свое право, но делать это надо с умом, полегоньку, зная меру, а не лезть на рожон очертя голову.

Того, кто загубил себя, нечего хвалить, ибо он не сумел защитить свою жизнь и пропал ни за полушку.

Однако ему не верится, что крестьяне из Брендеболя послали недозволенный штафет, дабы поднять бунт. Видно, неправду говорят про этот штафет. Хватит с них бед — неурожаи, голод, барщина. Неужто после всех напастей они не научились дорожить жизнью?

К ним в деревню пришел запретный штафет. Йон Стонге отвел искушение, отвел тяжкую беду от своих собратьев — закопал этот штафет на пол-аршина в землю, сверху положил аккуратно дерн, чтоб было неприметно. Неокольцованный боров разрыл землю, тогда староста закопал штафет в другом месте — на пригорке за хлевом возле ручья — и снова прикрыл землю дерном. Отсюда уж штафет никогда больше не попадет людям в руки. Он будет лежать здесь до скончания века, сгниет и превратится в землю; вырезанная утренняя звезда не станет больше светить над землей. Он старательно утоптал землю. Так что об этом Йон из Брендеболя может не тревожиться. Скоро придет ему избавление и от другой напасти. Двенадцать человек отправились поутру в лес. Сегодня ночью он может спать спокойно в своей постели.

* * *

Южный ветер свистит над трясиной Флюачеррет, пригибает к земле камыш, гонит по небу серые рваные тучи. Солнце спустилось к верхушкам сосен — короткий день приходит к концу.

Во рту у Сведье пересохло, он набирает полные пригоршни снега и глотает его. Снег на миг охлаждает его воспаленную глотку, проходит ледяной каплей по всему нутру. Сведье наломал еловых ветвей, разгреб снег и сделал себе постель. С колена у него кровь бежит не так сильно, она капает медленно, как вода с ветки после дождя. Но рана на ноге болит еще сильнее.

Он не спускает глаз с людей по ту сторону озера. Двое посмелее попытались было еще раз переправиться через болото, голову одного покрывает черный капюшон. Они идут осторожно, нащупывая почву. Сведье выстрелил. Идущий впереди покачнулся и попал ногой в трясину. Спутники бросились к нему на помощь. Сведье между тем успел зарядить мушкет и выстрелить еще

раз. Он вовсе не надеялся попасть в них — они были слишком далеко. Двое поскорее вытащили третьего из трясины и поспешили назад.

После этого они притихли.

Человек из леса слышал, как они громко говорили — держали совет.

Скоро начнет смеркаться. Они знают, что он ранен, покалечен и не сможет бежать. В темноте они не осмелятся идти по болоту. Раз они не настигли его в роще до наступления темноты, он будет лежать здесь в безопасности до рассвета — бездонные болотные глазницы надежно охраняют его. Он знает, что увидит восход солнца еще раз.

Но если даже ему не видать больше солнца, что скрылось сейчас за облаками, все равно оно взойдет завтра и будет свершать свой праведный путь по небу. Сгинет он или останется жив, солнце не свернет со своего пути. Он всегда шел за солнцем, оно указывало ему, как жить на земле. Оно никогда не повернет вспять, никогда не пойдет справа налево. Так и его права никому не отнять. Покуда солнце ходит по небу слева направо, с востока на запад, право его за ним. Завтра утром солнце вновь загорится над лесом, и будет оно светить все дни до скончания века, указуя, что есть правда на земле.

Он защищал свою свободу, покуда хватало сил. Живым он не дался.

Вдруг Сведье насторожился: он услыхал на другом берегу болота новые звуки — эхо разносило по лесу стук топора. Облавщики рубили деревья.

Он тотчас догадался, на что им нужны бревна. Как только им сразу не пришло это на ум? Они проложат гать и переправятся к островку, где он укрывается. Когда стемнеет, они переберутся к нему, проталкивая вперед бревна через болотные глазницы. По бревнам ничего не стоит перейти через зыбкие кочки. Они переправятся в темноте, когда он не сможет целиться в них.

Он видел закат солнца в последний раз.

Сведье набил рот снегом и начал жевать. Все тело его горело огнем, и все же его трясло от холода. Рана болела все сильнее, он ворочался с боку на бок, но боль не унималась. Он промыл рану снегом, и ему немного полегчало. Потрогал мизинцем дырку, пробитую пулей.

Видно, у стрелка пули были крупнее, чем у него. Такие пули льют для охоты на волка, подумал он.

Эта пуля налила тяжестью его тело, уложила его на землю. Она отнимет у него солнце, луну и весь белый свет.

Темнело. Поднялся сильный ветер, черные тучи выстелили небо; словно в погоне за кем-то, быстро мчались облака. Уже не различить было болотные кочки, усыпанные клюквой,— они укутались в черный наряд, потонули, слились. Одинокая усталая ворона летала над болотом медленными большими кругами, распластав по ветру крылья. Далеко на болоте слышался глухой плеск — тяжелые бревна падали в воду.

На островке посреди трясины Флюачеррет сумерки укрыли Сведье, человека из леса, а двенадцать облавщиков тем временем прокладывают к нему гать. Он смутно различает фигуры людей, они идут без фонарей. Несколько раз он выстрелил наугад. Осталось только пять пуль, надо беречь их. Но у него есть топор за поясом, одному человеку он может раскроить череп.

Хлюпанье бревен в болоте слышится совсем близко. Он лежит в темноте, врастяжку, зарядив мушкет, ждет. Вот слышится голос, призывающий: «Сюда! Сюда! Давай еще одно!» Он узнает этот голос. Чавкают сапоги в болотной жиже. Люди приближаются. Он слышит их хорошо, но видит плохо.

К нему идет огромный, могущественный человек. Сведье вызывал его однажды на бой, но тот не вышел к нему. Теперь он идет, шлепая сапогами по болоту. Человек подходит все ближе и ближе, но это не его собственное тело, не его ноги. Зачем ему идти самому? У него много наемников, ему принадлежат их руки, их ноги, их тела. Этих рук и ног хватит, чтобы уничтожить Сведье. Вот они идут к нему, эти ноги, крадучись по болоту в темноте; это сильный человек, у которого много тел, много рук, а в руках пистоли, топоры и ножи.

Но разве может этот человек помешать солнцу идти своим путем?

Сведье лежит и слышит, как человек этот подходит к нему. Он стоит в десяти саженях от Сведье — самый раз пальнуть из пистоля. Это рослый человек с черным капюшоном на голове. Безухий, продавший и переживший свою честь. Он самый. Наемник, душивший своих собратьев, чтобы самому остаться в живых. Он и есть —

тысяча тел, тысяча рук. Сколько раз он поднимал свой топор и рубил своим собратьям головы, шеи, руки. На нем огромный черный капюшон, бросающий тень на землю; всюду, где проходит этот человек, люди бегут от него. Вот он вышел из темноты. Нет, это не тот человек... А может быть, все-таки тот самый?

Сведье прицелился и нажал курок, он глухо щелкнул, но выстрела не последовало. Осечка. Затравочный порох намок от снега, а стрелок и не заметил этого в темноте.

Бегущий человек поднял топор. Сведье схватил свой топор и хотел было подняться, но забыл, что не может опираться на обе ноги. Как только он встал, одна нога подогнулась, точно мертвая, и он упал навзничь с поднятым в руке топором.

Тут Ханс из Ленховды подбежал к нему и вонзил топор ему в грудь.

ДЕНЬ И НОЧЬ СКАЧЕТ ГОНЕЦ

На островке в трясине Флюачеррет люди развели огонь. Присяжные Ула из Кальваму и Монс из Хёгахульта сидят на корточках у самого костра, греются. Между ними стоит Оке Йертссон из Хеллашё. В двух саженях от них двое батраков ленсмана мастерят мотыги из молодых березок с кривыми стволами у корней.

Остальные тоже стоят у костра, греют руки. Пахнет влажной землей и тиной, на кусте можжевельника возле огня вывешены на просушку вымокшие, измазанные рукавицы. Отсвет костра падает на камень, к которому прислонен топор в больших красных пятнах. Это топор Ханса из Ленховды.

Двенадцать человек собрались у костра. Тринадцатый лежит, распростертый на земле, под косматой елью. Он лежит, не двигаясь, но веки его подрагивают, глаза открыты. Люди у костра слышат его тяжелое дыхание.

— Тот ли это человек, Ханс? — спрашивает ленсман.

— Он самый,— отвечает Ханс из Ленховды.

— Точно ли?

— Я признал его. Однажды я отметил его ножом. Он носит мою метку.

— Не ошибся ли ты?

— Я не ошибся.

Никто из людей, сидящих на корточках у костра, не смотрит на лежащего человека. Батраки ленсмана усердно рубят и строгают, так что щепки летят во все стороны; палач ждет инструмента. У Андерса из Хеллашё перевязана рука, остальные целы и невредимы.

Ленсман. Бог милостив к нам! Никто не лишился жизни из-за этого лиходея.

Ула из Кальваму, присяжный, член церковной шестерки. Он и так изувечен. Пожалеем его.

Монс из Хёгахульта. И я так думаю. Пристрелим его сперва.

Ленсман. Он умрет так, как велит приговор, и вы будете тому свидетелями.

Ветер играет ветками косматой ели, и пляшущие отблески огня падают на человека, лежащего на земле. Кажется, что на груди его алеет большой цветок с красной росой на лепестках.

Тучи заволакивают небо, звезды быстро гаснут одна за другой, огонь пляшет на ветру. Люди у костра говорят вполголоса. Одинокий человек, лежащий на земле, тоже мог бы заговорить, но он молчит.

Люди. Вина его всем ведома, тому есть много свидетелей. Приговор вынесен по божьему и людскому закону. Но время позднее, надо торопиться. Хватит и двух мотыг. Ханс свое дело знает. Слава богу, все мы целы и невредимы. Время не ждет, путь назад долгий. Уже поздний час, время возвращаться.

Человек. Мушкет дал осечку, порох подмок. Не успел я ударить его топором. Ханс из Ленховды опередил меня. Он не промахнулся. Но живым я им не дался. Время не ждет, уже поздний час, стемнело. Я не вернусь с ними домой. Я умру здесь. Мне некуда спешить, я останусь здесь.

Ула из Кальваму. Он был прежде честным крестьянином.

Ленсман Оке из Хеллашё. В лесу душа его ожесточилась.

Монс из Хёгахульта. В роду у него худых людей не было.

Ленсман. Он знался с Блесмольским вором.

Ула и Монс. Пожалеем его.

Ленсман. Он умрет так, как велит приговор.

Люди. Мотыги готовы. Хватит двух. Время не ждет. Уже поздний час, пора домой.

Человек. Дом мой поставлен посолонь. Я был человеком вольным. Сейчас я умру, но дом мой уцелеет, что бы ни случилось. Правда останется правдой, не обернется кривдой. Я умираю, но правда на земле останется. Наступает ночь, долог путь лесом к дому, знаю. А зачем торопиться? Мне нынче спешить некуда. Я останусь здесь. Я останусь здесь навечно, на все дни и все ночи.

Ханс из Ленховды пробует березовые мотыги, сделанные батраками ленсмана, и говорит, что они годятся. Потом он идет с батраками по болоту, останавливается, ищет. Где? Пробует ногой землю и указывает им: здесь! Тут земля мягкая. Батраки втыкают мотыги в мох и начинают копать.

Ленсман, сидя у костра, подгоняет батраков. Время не ждет! Огонь вспыхивает ярче, языки пламени лижут сухой можжевеловый куст, освещая землю, косматую ель, красный цветок на груди лежащего человека.

Батраки ленсмана вырывают на болоте дерн. Земля мокрая, но корни травы цепкие. Палач стоит рядом и смотрит в яму, которая становится все глубже. Наконец он говорит, что копать довольно. А у батраков ноги сами пошли. Слава богу, они свое сделали. Остальное уже не их дело.

Ханс из Ленховды подходит к одинокому человеку, лежащему под елью.

Ленсман и крестьяне не мешают палачу делать свое дело. Они стоят у огня, спиной к болоту.

— Ты отказался пить со мной! Сейчас тебе придется меня уважить! — Он уже опустил человека в яму, осталось только засыпать его вырытой землей и прикрыть сверху дерном; сегодня он управится быстро. — Ханс из Ленховды держит свое слово! Сейчас ты напьешься болотной водицы. Только уж нынче я с тобой бражничать не буду.

Палач торопится. Сверху он аккуратно кладет дерн.

Звезды мгновенно гаснут, небо падает на человека тяжелым черным покровом. Этот покров набивается в рот; безжалостно тяжелый, давит и душит. Будто во рту у него жвачка из земли, непомерный кусок жвачки. Небо опрокидывается на него, душит в своих объятиях. Это железное объятие снимает боль, приносит конец мучению, отпускает душу, которая уже больше не внемлет миру.

Но тело еще дрожит, словно хочет сбросить земную тяжесть.

Ханс из Ленховды торопится, он не видит, что дерн кое-где медленно колеблется. Он вполголоса ругает батраков ленсмана, этих ленивых собак, за то, что не могли ему пособить,— все равно им делать нечего. Вот он закончил свою работу. Он не хочет, чтобы люди говорили, что он делает свое дело как попало. Он обдирает мох с больших кочек и кладет его сверху; во мху горят алые ягоды клюквы.

Потом он старательно утаптывает мох ногами и уходит.

Ханс из Ленховды вытер пот со лба рукавом куртки и бросил довольный взгляд на свою работу. Потом он подошел к костру и сказал, что свое дело сделал.

Ленсман и его люди сгребли ногами снег в костер, погасили огонь, зажгли факелы, чтобы пройти назад по гати в темноте, и отправились по болоту цепочкой один за другим. Во мху на свежем холмике алыми бусинами горели в темноте ягоды клюквы.

Посреди болота Ула из Кальваму остановился. Он обернулся, глянул в сторону островка и прислушался.

Монс из Хёгахульта спросил:

— Ты чего обернулся?

— Почудилось, будто кто-то окликает.

— Все здесь? Никто не отстал?

Ленсман Йертссон тоже остановился. Он окликает каждого по имени, считает их в темноте. Все двенадцать налицо.

— Все здесь,— обратился Монс из Хёгахульта к Уле из Кальваму.

— Я не ослышался.

— Никто не отстал,— сказал ленсман.

— Один-то все-таки там остался,— ответил Ула из Кальваму.— Прислушайтесь. Может, еще кто его услышит.

Все двенадцать стоят молча на бревнах— прислушиваются. В роще, откуда они только что вышли, слышится лишь шум ветра в еловых ветвях. Никто не услышал крика. Но Ула из Кальваму стоит на своем: он только что слышал голос, окликающий их. Голос этот звучал тревожно, будто у того человека было до них спешное дело, важная весть.

Никто не отвечает ему. Люди отправляются дальше по болоту.

* * *

Ленсман ходил со своими людьми на облаву к трясине Флюачеррет в пятницу, на второй неделе после рождества.

Трое суток спустя Йон Стонге из Брендеболя, деревенский староста, вскочил среди ночи, разбуженный страшным грохотом. Он услышал голос на пригорке за домом, потом кто-то пытался открыть дверной замок.

Староста поспешно оделся, подошел к двери и спросил, кто там и что ему нужно. Ответа не было. Тогда он осторожно открыл дверь и выглянул, но ничего не увидел и не услышал. Он обошел вокруг дома, но так и не понял, кто поднял шум.

Может, какой-нибудь человек крался к своей шлюхе, да ошибся дверью в темноте. Может, какой-нибудь непутевый пьянчуга плелся из кабака Даниэля. А может, ночной зверь осмелился подойти к человеческому жилью — дикая кошка, барсук, а то и сова. Злодеям теперь взяться здесь неоткуда. Ночь была мирная и спокойная, крестьяне спали у себя дома сладким сном, разбойники в лесу повывелись, не подкарауливали больше добрых людей. Честным крестьянам не надо было больше вешать засовы и запоры на двери.

Человек из леса претерпел кару, с тех пор прошло уже трое суток. Правда, Ула из Кальваму, который был в свидетелях, рассказывал потом, как он слышал его голос. Ула выбран в присяжные и в члены церковной шестерки, он не какой-нибудь прохвост, врать не станет. А может, ему просто почудилось, обманулся слухом. Ведь почудилось же сейчас старосте, что кто-то окликал его возле дома, будто принес важную весть.

Трое суток минуло с тех пор, как Сведье испустил дух. Люди говорят, что всякое божье создание, зарытое живым в землю, из земли восстанет и будет являться людям, что земля его удержать не может, что всякое божье творение в назначенный срок поднимется из могилы, будет вечно ходить по земле и пугать людей. Все же доподлинно никто про то не знает и поклясться в том не может.

Однако Ула из Кальваму — человек правдивый, врать не станет, и он сказал, что слышал крик. Голос тот прозвучал только один раз — он звал Улу и всех, кто был с ним. Нетрудно догадаться, что на этот раз

собственные уши обманули его. Тот, кто зарыт в сырую землю, будет лежать там вечно и не подаст голоса. Никто другой не слышал крика, а слух у них у всех чуткий, даже у Ханса из Ленховды, хоть ему и отрезали уши. Верно, это вой волка или лисицы донесся из лесу.

Было о чем призадуматься Йону из Брендеболя этой ночью.

«„Штафет идет! Скачи в ночь или пошли вместо себя другого!“ Что же ты натворил? Спрятал доску, обагренную кровью, кровью твоих собратьев. Это живая жизнь тобою зарыта и задушена. А ведь тот, кто лежит в сырой земле... Кто задушил клич своих братьев?»

Ула — член церковной шестерки, присяжный, человек, всеми уважаемый и почитаемый. Никто не слыхал, чтобы он выдумывал небылицы и рассказывал их людям. А когда он говорил, что ему послышался крик, слова его звучали, будто пророчество из Пятикнижия Моисеева. Ула врать не станет.

Голос того человека слышался из-под земли.

Староста бродил вокруг дома, будто ведомый чудопосохом.

Он направился к пригорку за хлевом Сведьегорда. Уже второй раз идет он туда, будто его ведет чудопосох. Когда наступила ночь, он и не думал идти сюда и все же очутился здесь.

Вот оно, это место, в двух саженях от угла хлева в сторону леса. Он приметил расколовшийся камень, что лежит рядом.

Тот раз он тоже шел от колодца вдоль подземного источника, чтобы ему сопутствовала удача. Где же то место?

Он остановился. Здесь. Тот раз он мигом положил штафет в ямку, засыпал сверху вырытой землей, аккуратно наложил сверху дерну, потом старательно утоптал землю ногами и пошел восвояси.

Да, вот так он тогда спрятал штафет. Теперь он шел почти в полной темноте и мог различать лишь тропинку впереди, однако это место было где-то рядом. Вдруг он ударился пальцем о камень, а потом оступился, попал ногой в небольшую ямку и упал навзничь.

Сперва он лежал озадаченный, не шевелясь. Потом начал шарить вокруг руками. Он угодил к тому самому месту — вот расколотый камень. Но ямка возле камня была разрыта и наполнена водой. Нога, попавшая в ям-

ку, промокла, и в башмаке хлюпала вода. Чудо-посох указал ему, что здесь, под горкой, проходит подземный источник. Как раз этот источник наполнял водой деревенский колодец; после того как он вырыл здесь ямку и наполнил ее рыхлой землей, вода просочилась и вышла на поверхность. Пробившаяся струя размыла рыхлую землю и наполнила яму, которую он вырыл нынешним летом.

Лежа на земле, Йон из Брендеболя торопливо шарил в воде руками, словно пытаясь выловить что-то. Он искал. Он ощупывал стенки ямы, черпал руками землю, щебень, мелкие камешки, но то, что он искал, ему не попадалось. Он выбрасывал пригоршни земли и снова шарил, доставая руками до самого дна. Но того, что искал, так и не нашел.

У него задрожали руки и ноги — штафет исчез.

Подземная вода вышла здесь на поверхность. Потаенные источники размыли землю и вынесли штафет на свет божий. Может, кто-нибудь уже нашел его и унес отсюда?

Йон из Брендеболя не нашел штафета.

Может быть, как рассветет, он найдет его. Он все шарил и шарил вокруг, но так и не нашел штафета.

Но теперь он уже не был так удивлен и озадачен. Он знал об этом уже несколько дней. Еще трое суток назад он уже каким-то чудом догадался, что штафет исчез, земля его не смогла удержать. Он знал об этом вчера, позавчера и сегодня ночью, когда проснулся. Он знал об этом, когда нынче ночью поднялся с постели, вышел из дома и отправился сюда, на пригорок, будто ведомый чудо-посохом. А может, мысль о том закралась к нему еще раньше. Но вот уже третьи сутки, как он узнал, что штафет нельзя утаить, засыпать землей, нельзя укрыть в яме, похоронить. Трое суток прошло с тех пор, как его зарыли живым, и староста понял — тот голос слышался из земли.

Штафет, окрашенный кровью, исчез. Может, он уже далеко отсюда, а может, староста найдет его, когда станет светать. Найдет он его или нет, одно он знает теперь наверное — штафет всегда пребудет на земле, во все времена, навечно.

* * *

Так спешит гонец сквозь дни и ночи, сквозь годы и столетия, и бежит от века к веку весть высокая, спешная, наипервейшая.

Штафет идет! Скачи! Скачи! Нынче же в ночь, в ночь!

СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ

Комедия о волшебстве
в четырех актах с эпилогом

Посвящается моей дочери Еве
и тем ее сверстникам,
которые уже избавились от веры в волшебство,
о чем и пойдет речь в этой комедии.

«Мир хочет быть обманутым».
«Слава тебе, господи, за то, что люди еще верят в волшебство!»

Макс Неизвестный

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мадам.
Капитан Бернгард — управляющий.
Роза — камер-фрейлина.
Катерина — горничная.
Франк — бухгалтер.
Руди — староста.
Профессор.
Секретарша.
Макс Неизвестный.
Начальник полиции.
Джонсон — шофер, слуга, бармен и гофмейстер.

Акт первый — библиотека.
Акт второй, Акт третий, Акт четвертый — контора имения
Эпилог — библиотека.

Эти удивительные события происходят в большом имении древнего королевства Идиллия.
Эпоха — сказочная.

АКТ ПЕРВЫЙ

Библиотека

От пола до потолка — полки с книгами в старинных переплетах. На стене висит большой, написанный маслом портрет короля в полном королевском облачении: корона, мантия, скипетр и т. д. У самой рампы — большой письменный стол, заваленный фолиантами в роскошных переплетах. На самом видном месте в серебряной рамке стоит портрет красивого молодого человека в великолепном парадном мундире. Слева — выход, сзади — дверь, ведущая в другие помещения дома, справа — лестница на второй этаж и дверь в столовую. Роза — тип преданной прислуги; ей лет шестьдесят. Держится торжественно и с достоинством. За долгую службу в имении она научилась говорить чрезвычайно выспренне. Роза рассматривает портрет молодого человека, молитвенно складывает руки и вздыхает, всем своим видом выражая самое глубокое умиление. Катерина — двадцатилетняя девушка, принадлежит к новому поколению прислуги, которое лет на сорок моложе старого; красивая, вульгарная, острая на язык и уверенная в себе девица. Катерина стремглав вбегает в комнату со щеткой в руке.

Катерина *(жуя резинку)*. Наша тетка где-то отхватила мировые браслетики.

Роза *(вздрагивает, шокированная)*. Что такое?

Катерина *(громче)*. Я говорю, что тетка наша где-то отхватила мировые браслетики!

Роза *(с достоинством)*. Ты говоришь о нашей мадам?

Катерина. Ну факт!

Роза. В таком вульгарном тоне?

Катерина. А, я опять ляпнула что-нибудь не так?

Роза. Твой чудовищный язык просто непостижим!

Катерина. Как могу, так и говорю.

Роза. Неужели ты никак не можешь научиться называть хозяйку имения «мадам»?

Катерина *(возмущенно)*. Тетка совсем обалдела. Вчера велела мне привести в порядок комнату управляющего. А когда я все вымыла и вылизала, заставила еще прибрать флигель принца. Новый управляющий будет, видите ли, жить во флигеле.

Роза. Он едет к нам по рекомендации его королевского высочества! Он самый близкий друг его королевского высочества!

Катерина *(сделав большие глаза)*. Ну-у? Правда? Он дружок принца? Так вот почему тетка понавешала на себя всякого барахла!

Р о з а *(в отчаянии)*. Браслетки! Барахло! От твоих выражений у меня сосет под ложечкой!

К а т е р и н а. Я всего-навсего уличная девчонка и говорить по-образованному не умею.

Р о з а. Во всяком случае, ты могла бы говорить с бóльшим уважением о нашей мадам.

К а т е р и н а *(подходит к Розе, презрительно)*. Вот что я тебе скажу: там, где я работала, мы с хозяйкой говорили друг другу «ты».

Р о з а. Возможно! Но в этом имении мы не позволяем себе никаких фамильярностей.

К а т е р и н а. И очень глупо делаете!

Р о з а *(очень серьезно и доверительно)*. Мы живем в совершенно особом, изолированном мире.

К а т е р и н а *(ухмыляясь)*. Живете? Что-то я пока не заметила. А ведь я здесь уже целый месяц.

Р о з а. Я прожила здесь сорок лет. Немного больше, чем ты.

К а т е р и н а. Так отчаянно я не скучала с тех пор, как конфикнулась.

Р о з а. Конфикнулась? Господи, это еще что такое?

К а т е р и н а. Конфирмировалась, соображать надо! Ты что, совсем не кумекаешь?

Р о з а. Я полагаю, что ты больше привыкла к другому обществу.

К а т е р и н а. Да, и, уж во всяком случае, не собираюсь привыкать к твоему обществу... *(пауза.)* Эй... скоро мы будем обедать?

Р о з а. Джонсон поехал за новым управляющим, и нам придется подождать до его возвращения.

К а т е р и н а *(с любопытством)*. Ну? Значит, сегодня опять эта комедия? Ты и Джонсон будете стоять за их стульями по стойке «смирно», пока они все не слопают?

Р о з а *(с достоинством)*. Когда мадам приглашает к обеду гостей, мы всегда занимаем отведенные нам места.

К а т е р и н а *(со смехом)*. Ну и народ! Если бы у меня за спиной кто-нибудь стоял как статуя, когда я наворачиваю, я бы лопнула со смеху и, наверное, подавилась к чертовой матери.

Р о з а. Сегодня вечером за обедом мы понадобимся обе. Так что тебе придется задержаться.

Катерина *(решительно)*. Я заканчиваю работу в семь часов. По договору.

Роза. Но в твои обязанности входит прислуживать за столом. Прошлый раз ты наливала губернатору вино, стоя за ним с левой стороны.

Катерина. Да, потому что я левша! Но когда подали кофе, я налила ему столько коньяку, что он надрался как сапожник. И коньяк я ему наливала уже с правой стороны.

Роза *(умоляюще)*. Но ведь ты можешь задержаться часа на два сегодня вечером?

Катерина. Я заканчиваю работу в семь часов. По договору. И потом, сегодня вечером у меня свидание с моим малым.

Роза. Я думала, что ты с ним уже покончила.

Катерина. Покончила. Это уже другой. А тот, о ком ты говоришь, был немного с придурью... насчет всяких званий. Он работает на бойне. И обижается, когда его называют просто рабочим с бойни. Я, мол, специалист. Высококвалифицированный специалист. И требует, чтобы его называли «Потрошитель». Поэтому мне и пришлось с ним покончить. Не могу же я выйти замуж за парня, который в объявлении о помолвке величает себя Потрошителем.

Роза. Надеюсь, у этого юноши не было никаких бесчестных намерений по отношению к тебе?

Катерина. Возможно, что и были.

Роза *(совершенно шокированная)*. Что ты говоришь?! Неужели тебе нравятся парни, у которых могут быть бесчестные намерения?

Катерина. Это смотря у кого... эти самые намерения. *(Стремглав выбегает из комнаты.)*

Роза смотрит ей вслед, неодобрительно покачивая головой. Поднимается по лестнице. Руди и Франк появляются слева. Они о чем-то беседуют. Обоим лет под шестьдесят. Руди по виду настоящий хуторянин, на нем крестьянская одежда. Он тугодум, очень медлителен, держится неуклюже; большую часть времени привык проводить в поле, лицо его иссечено ветром и непогодой. Говорит на диалекте. Франк — худой, сутулый и бледный; на носу очки, он близоруко озирается. Франк больше привык сидеть в помещении. На нем костюм. Брюки вытерты до блеска о конторский стул. К рукавам пиджака пришиты нарукавники. Под мышкой у него портфель. Это во всех отношениях точный и аккуратный служащий, человек долга, почти педант. Оба вдруг останавливаются в дверях и снимают шапки. Руди ступает очень осторожно, словно боится запачкать пол.

Франк *(осматривается)*. Так. Сегодня вечером нам опять не удастся поговорить с мадам.

Руди. А утром она поздно встает. Я должен получить от нее все необходимые распоряжения сегодня же вечером. Что мы будем делать с севом? Мадам то приказывает нанять еще нескольких батраков, то велит обходиться своими силами. А что прикажете делать мне? Не могу же я нанимать батраков на свой страх и риск. Я староста. Мое дело — расставить людей, показать каждому его рабочее место. Сейчас чудесная погода! Надо скорее сеять. А что успеешь сделать, когда люди кончают работу в пять часов?

Франк. Пусть работают сверхурочно.

Руди. Тогда и платить им придется вдвое больше за сверхурочные.

Франк *(твердо)*. Мы не можем платить ни копейки больше. И при нынешней-то зарплате наше хозяйство приносит сплошные убытки.

Руди. А что же тут удивительного, раз не выдерживаются сроки полевых работ! Осенью у нас не хватало рабочих рук, чтобы вовремя убрать пшеницу. Мадам тогда сказала: «Милый Руди! Господь милостив, он позаботится о нашей пшенице!» И как же милостивый господь позаботился о нашей бедной пшенице? Он оставил ее стоять под дождем до тех пор, пока она вся не сгнила. Господь наш, конечно, мудр, но он ни черта не понимает в сельском хозяйстве.

Франк. Однако не можем же мы до бесконечности увеличивать фонд заработной платы! Мы и так еле-еле сводим концы с концами. *(Сокрушенно.)* В этом месяце мне пришлось взять аванс на молокозаводе в счет будущих поставок молока.

Руди. Неужто дело так худо, что наших бедных коров приходится доить авансом?

Франк. В общем, разумеется, наши финансы в полном порядке. Речь идет лишь о свободных средствах, которые в случае надобности можно было бы пустить в оборот.

Руди. Ну, тогда нечего и беспокоиться. В любой момент мы можем продать лес на пару миллионов.

Франк. Но мадам хочет, чтобы лес остался украшением имения!

Руди. Мадам стареет. Поместье трещит по швам!

Семьсот гектаров необрабатываемой земли... Вот старый хозяин... тот смыслил в сельском хозяйстве!

Роза *(спускаясь по лестнице)*. Вы хотели поговорить с мадам? Но она одевается к обеду. Джонсон поехал за новым управляющим.

Франк *(с любопытством)*. Что он собой представляет, этот новый управляющий?

Руди. Говорят, что дружит с принцем.

Роза *(очень гордо)*. Совершенно верно. Принц говорил мне о нем.

Руди *(с интересом)*. Правда? Что же он говорил? Ну, Роза, выкладывай все, что знаешь.

Роза *(торжественно, ощутив вдруг, что она важная персона, подходит к столу с портретом принца, снова молитвенно складывает руки)*. Когда принц был здесь в последний раз, я осталась с ним наедине. Совсем наедине! Это происходило здесь, в этой самой библиотеке. Принц умеет разговаривать с простыми людьми, как с равными себе. И умеет забыть, что он как-никак принц. «Мадемуазель Роза»,— сказал он. Да, обращаясь ко мне, он всегда говорил «мадемуазель Роза». *(С невероятным наслаждением.)* «Мадемуазель,— сказал он,— больше так продолжаться не может. Мадам переутомилась. Поместье стало для нее слишком тяжким бременем. Я хочу освободить ее от этого бремени. Я пришлю сюда самого лучшего, самого способного и самого надежного человека из всех, кого я знаю. Он — мой лучший друг. Он возьмет на себя заботы об имении ради меня и ради мадам». Вот что сказал мне принц.

Франк. Да, без чего поместью действительно не обойтись, так это без хорошего управляющего!

Роза. И обо всем этом мы говорили с принцем с глазу на глаз. *(Делает несколько шагов вперед, а потом столько же шагов назад.)* Принц стоял примерно здесь. Да, примерно посреди комнаты. А в нескольких шагах от него, вот здесь, стояла я. Этого я никогда не забуду.

Руди *(оживленно)*. А, теперь и я вспоминаю. Однажды мы ходили с принцем на рыбалку. И тоже беседовали с глазу на глаз. Я забрасывал леску, а принц тащил, когда рыба клевала. И он сказал: «Дорогой Руди, у меня есть очень хороший друг...» Тут рыба клюнула, и он замолчал. Но я прекрасно помню, как он сказал: «У меня есть очень хороший друг».

Слева входит Джонсон. Молодой высокий англичанин в форме шофера. Воплощение отлично вышколенного, чопорного, скупого на слова слуги. Говорит с сильным английским акцентом. В обеих руках у него большие элегантные чемоданы из свиной кожи, они сплошь заклеены яркими разноцветными ярлыками с названиями самых фешенебельных отелей мира.

Джонсон *(останавливаясь в дверях)*. Here we are![1]

Роза *(выглядывает в окно)*. Я не слышала машины.

Джонсон. Куда отнести багаж, мисс Роза?

Роза. Отнеси чемодан во второй подъезд! Управляющий будет жить пока во флигеле принца!

Джонсон. Во второй подъезд?! All right[2], мисс Роза! *(Выходит с чемоданами.)*

Франк. Значит, сегодня вечером нам не удастся поймать мадам.

Слева медленно входит капитан Бернгард.
Это мужчина лет тридцати пяти-сорока, подтянутый, подвижный, прямой, с военной выправкой. В его облике нет ничего от банального красавца, дамского угодника в обычном смысле этого слова. Однако он производит сильное впечатление своей мужественной внешностью, а естественность его поведения просто очаровывает. Он словно излучает то, что называется «мужским шармом».
Взглянув на Бернгарда, каждый тотчас же поймет, что этот человек в совершенстве овладел искусством покорять представителей самых различных классов. С каждым он разговаривает так, будто его собеседник является для него самым интересным и важным человеком во всем мире.

Бернгард. Добрый вечер!

Руди и Франк кланяются. Роза приседает.

Чужестранец, вторгающийся в дом, прежде всего должен представиться. Меня зовут Бернгард, Дик Бернгард. *(Улыбается всем присутствующим и бросает на каждого быстрый испытующий взгляд, словно сразу же пытается составить о нем полное представление.)* Но что этот чужестранец собирается здесь делать? Это второй вопрос! *(Держится просто и непринужденно, но с достоинством.)*

Роза. Я тотчас доложу мадам.

Бернгард. Сначала мы должны поздороваться! *(Сердечно пожимает Розе руку)*.

---

[1] Мы прибыли! *(англ.)*.
[2] Слушаюсь *(англ.)*.

Роза. Меня зовут Роза. Я камер-фрейлина мадам.

Бернгард. La femme de chambre! Это добрый старый титул! В нем блеск Версаля, того Версаля, что был украшением великой монархии!

Роза *(глубоко польщенная, совершенно очарованная, заикаясь.)* Ах, мсье... как... вы... как вы это... хорошо сказали.

Руди. Меня зовут Руди. Я староста. *(Протягивает руку.)*

Бернгард. Я сразу догадался. Узнаю человека, поддерживающего извечную связь с землей.

Руди крепко и долго жмет ему руку.

Вот это сила так сила. Могучее рукопожатие земледельца.

Руди польщенно смеется.

Руди. Рады приветствовать вас в нашем имении.

Бернгард. Благодарю, благодарю! Да, будем с вами работать сообща. *(Франку.)* А вы, если не ошибаюсь, тоже мой будущий товарищ по работе, главный экономист поместья?

Франк *(осторожно пожимает Бернгарду руку; он более сдержан, чем остальные)*. Франк. Меня называют иногда главным экономистом, но на самом деле я просто бухгалтер и счетовод.

Бернгард. Я давно знаю вас всех. Мой друг принц рассказывал мне о вас.

Слева появляется Джонсон и останавливается в дверях, ожидая приказаний.

А, вот и Джонсон. Мы уже успели познакомиться.

Джонсон. Yes, sir [1].

Бернгард. И надеюсь, мы узнаем друг друга еще лучше.

Джонсон *(выдерживая свою роль робота)*. Very good, sir [2].

Бернгард *(обходит библиотеку, внимательно осматривая ее)*. Какая здесь царит атмосфера! Сразу ощущаешь аромат прошлых эпох.

Роза. Здесь все осталось в том виде, как было при старом хозяине.

---

[1] Да, сэр *(англ.)*.

[2] Конечно, сэр *(англ.)*.

Б е р н г а р д *(останавливается перед портретом короля)*. Что я вижу! Старый король! Александр Девятый в полном королевском облачении!

Р у д и. Почти каждый год он приезжал сюда на охоту.

Б е р н г а р д. Неужели вы видели его?

Р у д и *(гордо)*. Видел! Видел много-много раз! Когда еще был маленький.

Р о з а. И я видела.

Ф р а н к. И я.

Р у д и. Однажды я открыл его величеству ворота. И король пожаловал мне коробку карамелек. Пожаловал своей собственной рукой. *(Помолчав немного, продолжает с глубоким волнением.)* Я до сих пор храню эти карамельки.

Б е р н г а р д. Очевидно, это подлинный портрет короля?

Р о з а. Это подарок его величества старому хозяину.

Б е р н г а р д *(все еще осматриваясь по сторонам)*. Вы стойте здесь на страже добрых старых традиций! *(Смотрит на роскошные фолианты, лежащие на столе, читает их названия.)* «Коронованные властелины»... Так... «Путешествие с королем»... «История Александра IX»... А вот еще: «Я варила кофе королю»... По-видимому, это в высшей степени интересные мемуары.

Р о з а *(берет со стола толстую книгу)*. Эту книгу написал профессор, который гостит сейчас здесь. Она называется «Княжеские дома Европы»...

Б е р н г а р д. «Княжеские дома Европы»... Очень интересно. Я ее прочту.

Р о з а. Профессор проводит здесь большую исследовательскую работу. Он собирается написать историю нашего поместья.

На верхней площадке лестницы появляется м а д а м, на ней вечернее платье. Медленно спускается по лестнице, останавливаясь через каждые две-три ступеньки. По ее облику трудно определить, сколько ей лет, но, очевидно, за шестьдесят. Мадам никогда не была красива в обычном смысле этого слова, но она очень своеобразна и обаятельна. Высокого роста, с великолепной, что называется царственной осанкой. Голову держит гордо и высоко, каждое ее движение преисполнено сознания собственного достоинства и уверенности в себе. Выражение лица часто меняется, так же как и интонация; временами она застывает, словно статуя, а в следующее мгновение делает несколько быстрых движений. Мадам — это личность, в которой

жизненная сила и горячий темперамент бьют ключом. Она — единственная в своем роде, великолепная. Сейчас это суровая, требовательная хозяйка, а через мгновение она словно нежная, любящая мать, готовая отдать жизнь за своих подданных; в этом проявляется затаенное чувство материнства, присущее каждой женщине. Мадам смотрит на слуг и не замечает стоящего справа, в глубине комнаты, Бернгарда.

Мадам *(кричит, словно приказывает стать по стойке «смирно»)*. Мои дети!

Все четверо, как по команде, поворачивают головы в сторону своей владычицы.

Мои дети! Мои возлюбленные дети! Вы здесь? Роза!

Роза. Я здесь, мадам.

Мадам. Джонсон! Бедный мой найденыш!

Джонсон. Yes, ma'am[1] *(Подбегает к лестнице и вытягивается по стойке «смирно».)*

Мадам. Ты выполнил мое поручение?

Джонсон. Yes, ma'am.

Спустившись до половины лестницы, мадам вдруг замечает вновь прибывшего.

Бернгард. *(выходит вперед, поднимается на несколько ступенек, кланяется)*. The lady of the house? [2]

Мадам. Ах, он уже здесь? По-видимому...

Бернгард. Ваш новый слуга, мадам.

Мадам. Это человек, которого я ждала.

Бернгард. Я в отчаянии, что заставил мадам ждать. Самолет опоздал на полчаса.

Мадам. Вы прилетели сюда по воздуху?

Бернгард. Да, в полное распоряжение мадам.

Мадам. Значит, прямо с неба ко мне?

Бернгард. Во всяком случае, с облаков. *(Целует ей руку, ведет себя все время чрезвычайно галантно.)* Не нахожу слов, чтобы выразить, как я счастлив, попав сюда.

Мадам *(патетически, взяв обе его руки в свои)*. Добро пожаловать в мой дом! Добро пожаловать к моим детям!

Бернгард *(изумленно поглядывая на «детей»)*. Детям? Простите, мадам, но я не понимаю...

---

[1] Да, мадам *(англ.)*.

[2] Хозяйка дома? *(англ.)*.

Мадам *(прерывает его)*. Я мать, и у меня много детей, я даже не знаю сколько... Я их никогда не считала. Но здесь вы видите четырех моих самых любимых! Самых дорогих моему сердцу! *(Показывает на слуг.)* Придите в мои объятия, мои дорогие, я вас представлю сейчас. *(Обнимает по очереди Розу, Руди, Франка и Джонсона, потом приближается к Бернгарду.)* Это мои сокровища! Роза — моя жемчужина! Руди — мое золотое сердечко. Франк — мой алмаз! А Джонсон — мой самый маленький! Мой беби! Я нашла его в Лондоне, в одном из ресторанов Сохо. Он с Грик-стрит, мой беби, мой найденыш!

Роза, Руди и Франк, в общем, уже привыкли ко всем этим излияниям, однако их несколько смущает присутствие постороннего. И только невозмутимый Джонсон очень спокойно принимает восторженные ласки мадам.

Джонсон, ты мой найденыш?

Джонсон. Yes, ma'am.

Мадам *(поворачивается к Бернгарду и простирает к нему руки)*. В моих объятиях наверняка уместится еще одно дитя.

Бернгард *(с готовностью устремляясь к мадам)*. Я бесконечно счастлив вступить в ваш узкий семейный круг, хотя я и вышел из детского возраста.

Мадам. Пустяки! Мужчине в любом возрасте необходима мать. *(Нежно и надолго заключает его в объятия.)* Но как мне называть моего нового сына? Обращение «господин» не принято в нашем доме. Так низко мы еще не пали.

Бернгард. Тогда, может быть, «генеральный консул», мадам?

Мадам. Генеральный консул? Какой страны?

Бернгард. Никарагуа.

Мадам. Никарагуа — разве это страна? Я думала, что это новый негритянский танец.

Бернгард. Нет, это страна в Центральной Америке. У меня есть там кое-какие дела.

Мадам. Неужели там можно заниматься делами? Там так скучно.

Бернгард. Кроме того, я капитан военно-воздушных сил.

Мадам. Капитан! Это доброе старое звание. И как прекрасно оно звучит. Решено, вы будете капитаном!

(Поворачивается к остальным присутствующим.) Вы слышите, друзья мои? Называйте моего нового управляющего капитаном!

Бернгард. Разрешите передать вам самый горячий привет от принца. Он должен был приехать со мной, но ему пришлось срочно отбыть на свадьбу греческого кронпринца.

Мадам. Я все понимаю, на нем лежат тяжкие обязанности по представительству. И я боюсь, что мой бедный принц слишком переутомляется. Ведь у него такое слабое здоровье. Мой дорогой, добрый, чудесный принц Альберт! Он — мое самое любимое дитя. *(Простирает руки, словно хочет кого-то обнять.)* Вы — мои сокровища, но он — моя душа! Он — принц златокудрый. Так мы называли его, когда он был еще маленький. *(Подходит к столу и смотрит на портрет.)* Да, у него и сейчас еще золотые локоны! Как я бываю счастлива, когда мне удается принять принца в своем доме. Милый, чудный Альберт! Мой сказочный принц!

Руди *(начиная проявлять нетерпение, подходит к мадам; перед этим он вполголоса переговаривался с Франком)*. Простите, мадам, но в связи с уборкой урожая я должен...

Мадам *(не глядя на Руди, Бернгарду)*. Что нового при дворе? Я слышала, что король простудился? Как он себя сейчас чувствует?

Бернгард. Ему лучше. Как сообщают газеты, за весь вчерашний день его величество лишь однажды был вынужден прибегнуть к носовому платку.

Руди. Я должен сообщить, что...

Мадам. А королева уже вернулась с юга! Я прочла в газетах, что лицо ее немного загорело. Это верно?

Бернгард. Да, это так. Журнал «Четверг» за эту неделю приводит подробные данные о загаре ее величества.

Руди *(все еще пытается привлечь к себе внимание мадам)*. Что делать с урожаем, мадам?

Мадам. Нет-нет, мое золотое сердечко, не будем сейчас говорить об урожае!

Бернгард. Насколько я понял, речь идет о работе. Если я могу быть полезен, то немедленно приступлю к делу.

Мадам. Сначала я хочу представить нашим слу-

жащим нового управляющего. Руди, собери людей завтра утром у Конюшенной горы!

Руди. Слушаюсь, мадам.

Бернгард. Превосходно! Значит, я познакомлюсь со всеми сразу. *(К Руди.)* В котором часу мы соберемся?

Руди. Начало работы в семь часов.

Бернгард. Итак, в семь часов у Конюшенной горы! Прежде всего я хочу сказать нашим людям несколько слов.

Мадам. Руди, мое золотое сердечко! Франк, мой алмаз! Слушайте меня внимательно: отныне вы неукоснительно следуете всем распоряжениям капитана. Приступайте же к выполнению своих обязанностей.

Руди. Спасибо, большое спасибо, мадам! *(Кланяется и отступает.)*

Руди и Франк о чем-то перешептываются. Они обижены и озадачены тем, что их так быстро выставили. Оба уходят налево.

Мадам. Джонсон!

Джонсон. Yes, ma'am.

Мадам. Передай на кухню: обед через четверть часа.

Джонсон. Very good, ma'am. *(Уходит.)*

Мадам. Роза! Скажи профессору, что мы обедаем через четверть часа.

Роза. Мадам, профессор совершает свою вечернюю прогулку.

Мадам. Скажи ему, когда он вернется.

Роза. Слушаюсь, мадам.

Бернгард. Я слышал, что у мадам сейчас гостит автор «Княжеских домов Европы»?

Мадам. Профессор хочет написать книгу о моем доме и моем роде. Я предоставила ему возможность изучить наш фамильный архив. Он целыми днями просиживает там и роется в старых бумагах.

Входит Катерина и застывает в дверях. Ее взгляд останавливается на Бернгарде.

Вы показали капитану, где он будет жить?

Роза и Катерина отрицательно качают головами.

Как, еще не показали? Какая небрежность! Простите, капитан! Ваше жилье ремонтируется. Капитан, вы будете жить в комнатах принца.

Бернгард. Неужели? Благодарю.

Мадам *(горничной, повелительно).* Катерина! Проводи капитана!

Катерина все еще не сводит глаз с нового управляющего. Бернгард кивает ей и, кажется, вот-вот пожмет руку, но, взглянув на мадам, догадывается, что Катерина не входит в число «детей», — по-видимому, мадам воспримет это рукопожатие как излишнюю фамильярность. Катерина не слишком застенчиво улыбается капитану, проходит через всю комнату и открывает дверь налево, пропуская Бернгарда.

Бернгард уходит, за ним исчезает Катерина.

Я пойду посмотрю, как накрывают стол к обеду. *(Выходит в столовую.)*

Роза остается одна.

Профессор появляется слева. Ему лет семьдесят, одет старомодно. У него седые волосы и розовые щеки. Он кашляет, двигается медленно, осторожно и кажется очень слабым.

Профессор. Я ходил на прогулку, но, кажется, фрекен Роза, напрасно. Мне не следовало сегодня выходить. Дело в том, что я себя неважно чувствую.

Роза. Наверное, профессор простудился?

Профессор *(все время говорит очень витиевато и обстоятельно).* Да, я очень опасаюсь, что ко мне вернулся мой старый кашель. И я подумывал о том, чтобы посидеть вечером дома.

Роза. Я понимаю вас, профессор.

Профессор. Пожалуй, мне лучше не выходить к обеду. Будьте любезны, фрекен Роза, передайте мадам мои извинения!

Роза. Охотно. Я распоряжусь, чтобы обед вам принесли в комнату.

Профессор. Благодарю. Что-нибудь полегче, если вас не затруднит. Видите ли, мой желудок функционирует не так хорошо, как мне хотелось бы.

Роза. Тогда, может быть, немножко бульончику?

Профессор. О, чудесно!

Роза. А как насчет рыбки, а? У нас сегодня отварной лещ. Такой вкусный, пальчики оближешь.

Профессор. Думаю, что я могу это себе позволить. Благодарю. Фрекен, конечно, понимает, что мне приходится много ездить, и во время этих поездок в моем организме нередко возникают кое-какие расстройства, связанные с перевариванием пищи. Очень серьез-

ные расстройства. Думаю, что прежде всего это обусловлено резкими изменениями климата. Мой желудок очень плохо переносит их. Недавно я приехал из Скандинавии, точнее, из Шведского королевства. Фрекен Роза бывала когда-нибудь в Швеции?

Роза. Никогда.

Профессор. Очень жаль.

Роза. Я очень мало ездила.

Профессор. Но фрекен непременно должна побывать в Швеции. Живется там, пожалуй, немного похуже, чем у нас, но во многих отношениях эта страна напоминает наше благословенное отечество. В Швеции я всегда чувствую себя как дома.

Роза. В общем, там неплохо?

Профессор. Очень неплохо. Они там все монархисты, бесконечно любят своего короля и все очень добрые... Ну совсем как наш народ. *(Вдруг начинает кашлять и долго не может вымолвить ни слова.)*

Роза. Боюсь, что профессор простужается, сидя в архиве.

Профессор. Да, там, кажется, немного сыровато.

Роза. Я поставлю там электрообогреватель.

Профессор. Благодарю. Вы так добры, фрекен Роза. И все здесь так добры. Мне с вами очень хорошо. Передайте мадам привет и попросите ее извинить меня. *(Поднимается по лестнице и исчезает.)*

Катерина *(появляется слева, взволнованная, довольная, радостно кричит)*. Я передумала! Я остаюсь на весь вечер.

Роза. Что случилось? Откуда у тебя вдруг такое желание трудиться?

Катерина. Не твое дело.

Роза презрительно смотрит на Катерину. Входит Джонсон в новом одеянии: теперь он гофмейстер. На нем белая куртка и черные брюки с желтыми галунами. Он замечает Катерину, на его неподвижном лице впервые появляется выражение любопытства. Роза уходит. Катерина хочет последовать за ней, но Джонсон останавливает ее.

Джонсон. Мисс Катерина! Когда мы будем иметь наш следующий урок в английском языке? Может быть, завтра вечером?

Катерина. У меня больше нет времени для английских уроков.

Джонсон. Мисс Катерина не хочет? Мне очень жаль.

Катерина. У меня будет занято несколько вечеров подряд. Ясно, мистер Вобла?

Джонсон *(озадачен)*. Мистер Вобла? Кого вы имеете в виду? Меня зовут Джонсон. Я не понял.

Катерина. Что ж, тебе повезло.

Джонсон *(медленно выговаривая слова)*. Я лишь хочу дружить с мисс Катерина.

Из столовой выходит мадам. С явным неудовольствием смотрит на Джонсона и Катерину. Катерина быстро выходит из комнаты. Джонсон мгновенно поворачивается к мадам, он весь внимание, лицо снова неподвижно.

Мадам. Джонсон, ты ведь джентльмен. А эта девица совсем не пара джентльмену. Ты понял, мой бедный найденыш?

Джонсон. Yes, ma'am.

Слева входит Бернгард.

Мадам. А теперь приготовь что-нибудь выпить.

Джонсон. Yes, ma'am.

Мадам *(Бернгарду)*. Аперитив? Шерри? Или, может быть, капитан предпочитает коктейль?

Бернгард. Благодарю. Пожалуй, коктейль.

Мадам. Сухой мартини или менхетен? Джонсон — мой бармейстер. Он может смешать нам любой коктейль.

Джонсон. Yes, ma'am.

Мадам. Мой маленький найденыш! Помнишь тот напиток, который мне так нравится? Что в него входит?

Джонсон. Ром баккарди, гран-марки и лимонный сок, ma'am.

Бернгард. Против такого соблазна мне трудно устоять.

Мадам. Джонсон, остановимся на этом.

Джонсон. Very good, ma'am. *(Выходит.)*

Мадам. Капитан, давайте присядем и попытаемся лучше узнать друг друга.

Садятся на софу возле длинного стола у самой рампы.

Принц часто рассказывал мне о вас. Вы его лучший друг.

Бернгард. Уже десять лет его королевское высочество принц Альберт удостаивает меня своей дружбой.

Мадам. Я знаю, что вы много путешествовали вместе.

Бернгард. Принц неоднократно оказывал мне честь, сопровождая меня во время моих деловых поездок в разные страны. Наша дружба дает мне огромную нравственную силу.

Мадам. Я также имею счастье быть близким другом принца. Мой сказочный принц гостит у меня несколько раз в году.

Бернгард. Я обещал принцу сделать все, чтобы помочь мадам в деле управления ее поместьем. Так сказать, не в службу, а в дружбу.

Мадам. Я, разумеется, полностью доверяюсь вам, ибо вы близкий друг принца. А своими близкими друзьями принц делает лишь людей такой же возвышенной души, как и он сам. *(Наклоняется и кладет руку на его плечо.)* У вас сильные, широкие плечи. Эти плечи наверняка выдержат самое тяжкое бремя.

Бернгард. Я готов принять на себя любое бремя, какое пожелает мадам.

Мадам. Поместье — это наследство, доставшееся мне от отца, мой дом, все... Но мне становится все труднее самой вести дела. Силы начинают изменять мне. Могу ли я переложить этот груз на ваши плечи? Все руководство, все дела, всю эту ерунду? Избавите ли вы меня от этих забот?

Бернгард. Я в полном распоряжении владычицы поместья. И пусть она повелевает своим слугой.

Мадам *(все более приходя в восторг от своего нового управляющего)*. Восхитительно! Просто восхитительно слышать такую речь в наше ужасное время! Я чувствую, что вы как раз тот человек, который мне нужен.

Бернгард. Я сделаю все, что в моих силах. *(Выглядывает из окна.)* Такое поместье может давать немалую выгоду.

Мадам. Но пока что оно приносит мне сплошные убытки.

Бернгард. Надо повысить продуктивность хозяйства. Повышение продуктивности будет моей первой и основной задачей.

Мадам. Едва ли у вас что-нибудь выйдет. В наше время люди не хотят больше работать.

Бернгард. Завтра утром, когда мы соберемся у Конюшенной горы, я расскажу людям о радости труда!

Мадам. Отлично! Это что-то новое, и им будет интересно. Для них труд всегда был обузой.

Бернгард. Мне приходилось приобщать к труду представителей всех рас и национальностей. Самое главное здесь — подгонять и воодушевлять.

Мадам. Но труд перестал быть благословением для людей. Он стал проклятьем. А кто виноват? Профсоюзы!

Появляется Джонсон. Он несет поднос с коктейлями и закусками. Расставляет стаканы.

(Все более распаляясь.) С дифтерией, холерой и чахоткой покончено. Но зато у нас появились профсоюзы! «Радость труда»! *(Горько усмехается.)* Нет, для моих людей труд — это мука и ничего больше! *(Поднимает свой стакан.)* Выпьем, мой спаситель! Надеюсь, вам будет хорошо у меня!

Прихлебывают из стаканов.

Джонсон, здесь есть испанские оливки?

Джонсон. Yes, ma'am.

Мадам *(протягивает Бернгарду блюдо с оливками)*. Попробуйте их, они великолепны.

Бернгард. Изысканный напиток!

Мадам. Мой найденыш знает свое дело.

Джонсон. Thank you, ma'am[1]. *(Уходит.)*

Мадам. При отце в доме было пятнадцать слуг, а теперь осталось лишь четверо. *(Глубоко вздыхает.)* Да, какие только испытания не посылает мне судьба!

Бернгард. У меня большое имение в Мексике. Там великолепные отношения между хозяевами и слугами.

Пауза, оба осушают стаканы.

Я сделаю из вашего поместья образцовое хозяйство. Но прежде всего мы должны помочь людям ощутить радость труда. И особое внимание нам надо уделять молодежи!

---

[1] Спасибо, мадам! *(англ.)*

М а д а м *(презрительно ухмыляясь).* Молодежь! Она бежит в города, чтобы предаться там всякого рода удовольствиям, развлечениям и разврату!

Б е р н г а р д. А почему не придумать для них какие-нибудь удовольствия и развлечения здесь, в деревне?

М а д а м. А что мы можем для них придумать?

Б е р н г а р д. Недалеко отсюда у мадам есть прекрасный луг, через который мне довелось недавно ехать. Глядя на него, я подумал: идеальное место для зоопарка со всякими аттракционами! С каруселью, американскими горами, тиром, дансингом, экзотическими животными, шпагоглотателями и фокусниками! Все старые ярмарочные развлечения!

М а д а м *(смеется).* Забавная идея, капитан! Пожалуй, в этом что-то есть.

Б е р н г а р д. Если мы позаботимся о развлечениях для молодежи, она останется в деревне.

М а д а м. Но где достать экзотических животных?

Б е р н г а р д. Один мой хороший друг служит у Хагенбека в Гамбурге. Через него я выпишу самых редкостных животных. Он может доставить заказчику любой вымирающий вид земной фауны.

М а д а м. И даже слонов?

Б е р н г а р д. Разумеется, и слонов!

М а д а м. В молодости я была с отцом в Индии и много ездила там на слонах. О, я так любила их! Вы действительно обещаете мне достать слона?

Б е р н г а р д. Непременно, мадам.

М а д а м. Неужели? Если бы мне еще хоть раз удалось взобраться на слона, я бы снова почувствовала себя молодой. Выпьем, капитан! *(Наполняет стаканы и выпивает свой до того, как это успевает сделать Бернгард.)* Ваше здоровье!

Б е р н г а р д. Из истории мадам наверняка помнит Menageri du parc Людовика Четырнадцатого в Версале. Создавая собственный зверинец, menageri, мадам следует великим традициям великого королевского двора.

М а д а м *(сразу просветлев).* Неужели, капитан? Старинные традиции французского двора!

Б е р н г а р д. Именно так. А кроме того, мадам, зверинцы играют большую роль в деле народного образования.

Мадам *(решительно)*. Тогда долой сомнения! Решено: мы приступаем к созданию зоопарка. Вы беретесь за это дело?

Бернгард. Разумеется. Единственное, что мне нужно, — это carte blanche!

Мадам. Естественно, я предоставляю вам полную свободу действий. Полную! Вы можете приступить немедленно.

Бернгард. Кроме того, у меня еще есть грандиозные идеи и проекты. Но, пожалуй, сегодня будет несколько неуместно?..

Мадам. Здесь я решаю, что уместно, а что неуместно. Развивайте ваши идеи!

Бернгард *(уклончиво)*. Да, конечно... По дороге сюда я проезжал огромные районы, сплошь заросшие старым лесом. Это ваши леса?

Мадам. Да, я приказала не рубить деревьев. Мне представляется, что лес на корню красивее, чем бревна и доски.

Бернгард. Но ведь время от времени необходимо прореживать лес, вырубая отдельные его участки.

Мадам. Видите ли, капитан, когда пилят и рубят стволы деревьев, стоит такой невыносимый грохот.

Бернгард. Но после прореживания лес растет быстрее и становится еще прекраснее.

Мадам. Правда? Мне никогда это не приходило в голову. Но если вы утверждаете, то я целиком полагаюсь на вас.

Бернгард. А вырубка отдельных участков леса даст товарную продукцию. Ведь без наличных денег невозможно вести сельское хозяйство.

Мадам. Верно, верно! Кому, как не мне, знать это! Франк, мой алмаз, только и говорит, что о расходах на зарплату рабочим.

Бернгард. Лес избавит мадам от всех денежных забот.

Мадам. Ах, я так ненавижу все эти дела: покупать, продавать...

Бернгард. Делами буду заниматься я! У мадам не будет никаких хлопот.

Мадам. Неужели, капитан? Это как раз то, что мне нужно.

Бернгард *(как бы невзначай)*. Если мадам пре-

доставит мне чрезвычайные полномочия, то я сам обо всем позабочусь.

Мадам. Я уже сказала, что капитану предоставляется полная свобода действий. Завтра мы оформим юридически ваши полномочия.

Бернгард *(отворачивается к окну, чтобы скрыть довольную улыбку)*. Подпись хозяйки имения — и мадам избавлена от каких бы то ни было забот и хлопот.

Мадам. Неужели все действительно так просто?

Бернгард. Единственно, что мне нужно, это документ, который даст мне неограниченное право помогать и служить моей владычице.

Мадам *(восхищенно, с сияющими глазами)*. O mon cher capitaine![1] Подумать только, на свете еще есть такие люди, как вы! Настоящих мужчин совсем не осталось. Кругом одни чиновники.

Бернгард. Кроме того, я взял с собой мою самую способную секретаршу, она приедет завтра.

Мадам. Ваше здоровье, капитан! *(Поднимает стакан.)* У меня лишь одно желание: чтобы вам было хорошо в моем доме.

Бернгард *(как бы про себя)*. Я уже предчувствую, что здесь мне будет очень хорошо.

Мадам. О мой милый, добрый, чудный принц! Он отдал мне своего лучшего друга! До сих пор мои лошади служили мне единственным утешением на этой бренной земле. Завтра я покажу вам их, моих чистокровных рысаков.

Бернгард. Льщу себя надеждой, что немного разбираюсь в лошадях. Ведь если играешь на тотализаторе, надо знать лошадей. Тотализатор — моя страсть.

Мадам *(возликовав)*. Возможно ли? Вы тоже любите лошадей?

Бернгард. Очень! С семи лет, когда мне подарили моего первого пони.

Мадам. Тогда мы с вами родные по духу. *(Патетически.)* И вы принадлежите к избранным, ибо тот, кто не любит лошадей, плохой и бессердечный человек. Что касается меня, то я выросла в конюшне. Я стала ездить верхом еще до того, как научилась ходить.

Бернгард. По вашей грациозной осанке я сразу узнал наездницу. Виртуозную наездницу!

---

[1] О, мой дорогой капитан! *(фр.)*

Мадам. Не нужно льстить! Я ненавижу лесть!

Бернгард. Мадам, я никогда не позволю, чтобы лесть отравила наши отношения. Но простая констатация факта не имеет ничего общего с лестью.

Мадам *(в глубине души польщенная)*. Лесть я вижу насквозь! Да, насквозь. Запомните это, капитан. *(Допивает свой стакан, встает во весь рост, величественная и царственная. Пристально глядя на Бернгарда, резко меняет тон.)* Настало время, чтобы я была с вами вполне откровенна. Вы должны помнить: я хорошо разбираюсь в людях. И с первого взгляда вижу, что представляет собой тот или иной человек.

Бернгард *(ошеломленный, с внезапной тревогой в голосе)*. Что? Что вы хотите сказать?

Мадам. А то, что я сделала одно открытие.

Бернгард. Какое открытие?

Мадам. Я увидела вашу сущность, капитан!

Бернгард. Мою сущность? Но каким образом?

Мадам. Теперь я узнала вас до конца. Может быть, лучше, чем вы сами себя знаете.

Бернгард *(со все возрастающим беспокойством в голосе)*. Простите меня, мадам... Но я, право, не совсем понимаю...

Мадам. Сейчас поймете: я читаю в вашем сердце, как в раскрытой книге.

Бернгард. Мое сердце открыто. Мне нечего скрывать.

Мадам. От меня вам ничего не удалось бы скрыть. Ничего.

Бернгард *(с жаром)*. Умоляю вас: верьте мне. Мадам может целиком положиться на своего слугу!

Мадам. Именно так! Мое открытие в том и заключается, что на вас я могу целиком положиться. Что вы один из моих самых близких друзей, которым я могу полностью доверять.

Бернгард *(с облегчением)*. Любое выражение доверия встретит с моей стороны самый горячий отклик.

Мадам. Это так! И поэтому я открою вам сейчас великую тайну моей жизни.

Бернгард *(в изумлении и замешательстве следит глазами за мадам, которая медленно идет по комнате)*. Простите, мадам... Но я, право, не знаю... Заслужил ли я такую честь?..

Мадам *(с пафосом)*. Нет, не возражайте! И за-

помните это раз и навсегда! Никогда не пытайтесь возражать мне. А теперь вы все узнаете. *(Тихо, таинственно.)* Я совсем не та, за кого меня принимают.

Бернгард. Теперь я окончательно ничего не понимаю.

Мадам. Догадайтесь, кто я!

Бернгард. Боюсь, что не смогу.

Мадам. Попытайтесь!

Бернгард. Простите, мадам, но...

Мадам. Не можете? *(Становится под висящим на стене портретом короля, прямая, величественная, чуть-чуть склоняет голову. Громко и торжественно.)* Я — королевская дочь.

Бернгард *(ошеломленный, поднимается со стула, заикаясь)*. Мадам... Я... Мадам...

Мадам. Я его дочь!

Бернгард. Дочь старого короля!

Мадам. Вы видите на этом портрете моего настоящего отца, его величество, почившего в бозе короля Идиллии Александра Девятого.

Бернгард *(смотрит на портрет, потом на мадам)*. Господи, конечно, теперь я понял!

Мадам. Ну, что вы скажете?

Бернгард. Я онемел. Совершенно онемел. И как я раньше не заметил. Какой идиот!

Мадам. Видите сходство?

Бернгард. Разительное. Совершенно разительное.

Мадам *(гордая и очень довольная)*. Думаю, что так.

Бернгард. Потрясающе! И как я сразу не заметил! Но облик мадам все время напоминал мне о чем-то таком знакомом... И когда я смотрю сейчас на мадам, стоящую под портретом короля...

Мадам *(прерывая его)*. То теперь ошибиться нельзя?

Бернгард. Господи, то же лицо! Тот же орлиный взгляд! Те же благородные черты! Та же царственная осанка! Та же королевски поднятая голова!

Мадам. Теперь вы все знаете: я совсем не та, за кого меня принимают люди.

Бернгард *(кланяется с преувеличенным почтением)*. Кто же она, стоящая предо мной?

Мадам. Говорите же! Я хочу услышать это от вас!

Бернгард. Принцесса! Переодетая принцесса!

Мадам. Узами крови я связана с принцем и нашим королевским домом. Теперь вы понимаете?

Бернгард. Да, надеюсь, что теперь я понимаю все.

Мадам. Лишь самые преданные друзья знают тайну моего рождения.

Бернгард. Великая государственная тайна! Меня подавляет сознание великой чести, оказанной мне.

Джонсон и Роза выходят из столовой и широко растворяют двери. Теперь на Джонсоне ливрея: он предстает в своем третьем воплощении — лакея.

Джонсон. Dinner is served, ma'am[1].

Роза. Профессор неважно себя чувствует. Он будет обедать у себя в комнате. И просил мадам извинить его.

Мадам. Так-так. Значит, сегодня за обедом нам не удастся обсудить некоторые вопросы истории. Тогда мы с капитаном поговорим о лошадях. Только о лошадях!

Бернгард *(с почтением предлагает мадам руку, тихо и таинственно)*. Ваше королевское высочество!

Мадам весело улыбается ему. Рука об руку со своим управляющим она идет в столовую. Они проходят мимо Джонсона и Розы, которые неподвижно, как изваяния, стоят по обе стороны дверей.

Занавес

АКТ ВТОРОЙ

Контора

Современная контора, заново отделанная, все блестит и сверкает. Большой письменный стол со всем конторским оборудованием: счетный аппарат, копировальный аппарат и т. д. На полках — дела в картонных переплетах. В одном углу — большой несгораемый шкаф, в другом — огромный глобус. На стене — большой портрет мадам, написанный маслом. Слева — выход, сзади — стеклянные двери, ведущие на большую террасу, справа — дверь в соседнюю комнату. Лето. Ярко светит солнце. Тепло. Сквозь стеклянные двери видны зеленеющие сады. Бернгард сидит за письменным столом и диктует письмо. Его секретарша, девушка лет двадцати пяти, сидит за маленьким столиком и печатает на пишущей машинке. Возле машинки — груда писем, это дневная почта, которую предстоит разобрать.

[1] Обед подан, мадам *(англ.)*.

Бернгард. «...И в качестве полномочного представителя имения я предлагаю поставить Вашей фирме вышепоименованные продукты на сумму сто пятьдесят тысяч крон в течение тридцати дней. Как и указывал в начале своего письма...» *(Внезапно умолкает, встает и начинает ходить взад и вперед по комнате.)* Фрекен! Что я, черт возьми, указывал в начале письма?

Секретарша *(просматривая письмо)*. Вы ничего не указывали. Здесь написано: «Позволю себе напомнить Вам о нашей последней встрече, когда я посетил Вашу контору вместе с его королевским высочеством принцем Альбертом...»

Бернгард. Да, верно. Тогда напишем следующее: «Как я напоминал в начале письма, мы встречались в Вашей конторе, которую я посетил в обществе его королевского высочества принца Альберта. В надежде на приятное и полезное продолжение контактов с Вашей уважаемой фирмой, с искренним уважением...» Все! Теперь прочтем и подпишем!

Секретарша вынимает письмо из машинки.

(Быстро подписывает письмо, потом бормочет, как бы про себя.) Итак, я дважды ввернул имя принца! Авось дело выгорит!

Секретарша печатает на конверте адрес, заклеивает письмо и кладет его в специальную корзину для почты, подлежащей отправке.

Следующее!

Секретарша *(распечатывает письмо)*. Ассоциация домашних хозяек приглашает принцессу на свой двадцатипятилетний юбилей. *(Читает.)* «Присутствие лица королевской крови придаст особый блеск нашему празднику. Зная о Ваших связях с королевским домом...»

Бернгард. Ничего не выйдет. На ближайшие полгода все принцессы давно абонированы. Даже Лилечка, хоть она еще крошка. Отложим пока!

Секретарша *(распечатывает большой коричневый конверт)*. От Хагенбека из Гамбурга накладные на животных.

Бернгард. Отлично! Кто же к нам приехал?

Секретарша *(читает)*. «Одна горилла. Африканская. Самый крупный экземпляр. Две гиены. Самец и самка. Пятнистые. Одна львица...»

Бернгард (*прерывает*). Гиены в отличном состоянии. А вот львица совершенно беззубая. Обещали-то львицу-людоедку! А эта ничего не может есть, кроме мороженого!

Секретарша (*продолжает читать*). «Два павлина... Один верблюд... Один жираф... Один крокодил... Один питон, тигровый. Одна лама... Два фазана».

Бернгард. Дальше!

Секретарша. Все!

Бернгард. А слон?

Секретарша. Хагенбек пишет, что они не могут послать слона. У них нет такого железнодорожного вагона, в который мог бы поместиться слон.

Бернгард. Я же телеграфировал, что они могут погрузить слона на баржу. Неужели они не могут найти подходящую баржу? Ох уж эти мне немцы!

Секретарша. Какой величины слон?

Бернгард. Он более четырех метров в высоту. Самый большой в мире! Я обещал мадам достать ей самого большого в мире слона. И я хочу выполнить все свои обещания. Любой ценой! Если в ближайшие дни слон не будет доставлен, мы снова телеграфируем в Гамбург! Следующее письмо, фрекен!

Секретарша (*протягивает нераспечатанное письмо*). От его королевского высочества.

Бернгард (*распечатывает письмо, делает гримасу*). Что такое? Принц хочет получить авансом деньги за этот месяц. Но он уже получил их! Проверьте-ка, фрекен! Когда мы в последний раз выслали деньги?

Секретарша (*заглядывает в расходную книгу*). У меня здесь записано. Последний чек мы отослали его королевскому высочеству тридцатого июня. На пятьдесят тысяч.

Бернгард. Пятьдесят тысяч! Всего две недели назад! И он опять, видите ли, в стесненных обстоятельствах. Значит, нам придется выслать ему деньги по телеграфу. Мы сделаем это после ленча. Денежный перевод моему высокочтимому принцу от его самого верного и преданного друга! Фрекен, отметьте это где-нибудь, чтобы не забыть!

Секретарша (*вдруг резко повернувшись к шефу, весьма интимно*). Все «фрекен» да «фрекен»! К чему этот официальный тон?

Б е р н г а р д *(тихо, предостерегающе)*. Тсс! Осторожней!

С е к р е т а р ш а. Но мы здесь одни.

Б е р н г а р д *(показывает на дверь справа)*. Там старик! Он наверняка подслушивает через замочную скважину.

С е к р е т а р ш а. Почему ты так боишься Франка? Бухгалтер — честный старик.

Б е р н г а р д. Он все время шныряет здесь и вынюхивает. Сует свой длинный нос в мои дела. И рожа у него всегда кислая, как уксус.

С е к р е т а р ш а. А с чего ему радоваться, когда ты выжил его из конторы и заставил перебраться в маленькую каморку.

Б е р н г а р д. Лучшего он и не заслуживает. Эта клетушка вполне соответствует широте его кругозора.

С е к р е т а р ш а *(поднимается со стула, подходит к Бернгарду и берет его за руку)*. Дикки, у меня есть для тебя новость.

Б е р н г а р д. Хорошая? Или лучше не говори.

С е к р е т а р ш а. Хорошая.

Бернгард тревожно оглядывается.

С е к р е т а р ш а. Если ты боишься, что кто-нибудь услышит, я шепну тебе на ухо. *(Обнимает его и шепчет ему на ухо.)*

Б е р н г а р д. О! Что ты говоришь?!

С е к р е т а р ш а. Да. Сегодня утром. Наконец-то!

Б е р н г а р д. Превосходно! Ты молодец! Превосходно!

С е к р е т а р ш а. Я целую неделю волновалась. Даже больше.

Б е р н г а р д. Ну, теперь все позади. Ты у меня умница!

С е к р е т а р ш а *(иронически кивает)*. Спасибо, мой господин!

Б е р н г а р д. Собственно, я и не беспокоился. Я всегда был уверен в тебе.

С е к р е т а р ш а *(с горечью)*. В своей исполнительной секретарше!

Б е р н г а р д. Ты умная, интеллигентная девушка.

С е к р е т а р ш а. Я отлично справляюсь со всеми своими обязанностями, мне это известно. Но ты уверен,

что я именно это хотела от тебя услышать? *(Подставляет губы для поцелуя.)*

Бернгард. Моя девочка, в рабочее время лучше обходиться без нежностей. *(Слегка целует ее в щеку.)*

Секретарша. Ты начинаешь целовать меня с такой же страстью, как целуешь мадам.

Бернгард. Ну что ты... Здесь есть существенная разница.

Секретарша. Как все это противно.

Бернгард. Что-что?

Секретарша *(с волнением)*. Я говорю: противно!

Бернгард. Что противно?

Секретарша. Смотреть на старую дуру и на тебя! Смотреть, как вы кривляетесь! Как лижетесь, сюсюкаете и тискаете друг друга.

Бернгард *(хохочет)*. Ты ревнуешь меня, глупышка! Но я ведь играю здесь роль сына мадам. Она переполнена до самых краев материнской любовью. Как это обычно бывает с пожилыми бездетными женщинами!

Секретарша. Ты не только играешь, а порой и заигрываешь! И получается это у тебя так мерзко.

Бернгард. Мужчина не всегда думает о том, как он выглядит со стороны.

Секретарша. А вот женщина думает, к сожалению...

Бернгард. Наша мадам — единственная в своем роде. Если бы ты видела ее вчера на обеде у губернатора! Теперь мы друг для друга Сисси и Дикки.

Секретарша *(иронически)*. Как это мило! Как трогательно!

Бернгард. Вообще наша мадам — Сесилия. Но Сисси ее могут называть только принц, я и еще несколько друзей. Ведь я оказываю ей знаки внимания только как хозяйке поместья.

Секретарша. Но ей ты внушаешь, что именно как женщине!

Бернгард. А если она и поверит, так что тут дурного? Мужчины никогда не баловали ее своим вниманием, и женщина в ней так и умерла, не родившись.

Секретарша. Но это же нечестно.

Бернгард. Все, что я делаю, не доставляет мадам ничего, кроме удовольствия. Я совершаю доброе де-

ло. Разве запрещается кому-нибудь творить добро только на том основании, что он сам извлекает из этого пользу?

Секретарша. Ты, конечно, можешь делать здесь все, что тебе угодно. Но иногда мне это кажется таким странным... *(останавливается и замолкает)* таким...

Бернгард *(сурово, резко)*. Что кажется тебе странным?

Секретарша *(уклончиво)*. Ничего...

Бернгард. Запомни: ты обязана молчать обо всем, что становится тебе известно по роду своей службы.

Секретарша. Разумеется. Ведь ты полагаешься на свою секретаршу? Послушай-ка, мой капитан! А мадам знает, что ты женат?

Бернгард *(неприятно задет)*. Нет, не знает. Какое ей дело до моей женитьбы?

Секретарша. Матери всегда есть дело до женитьбы своего сына.

Бернгард. Ты прекрасно знаешь, что мы с женой разводимся. Вот уже два года, как мы не живем вместе.

Секретарша. Два месяца назад я напечатала для тебя письмо к твоему адвокату. Ты просил его как можно скорее оформить развод. Как обстоят дела? Он сделал что-нибудь?

Бернгард. По-моему, ничего.

Секретарша. Но ты же понимаешь, что меня это интересует!

Бернгард. Мой адвокат любит заниматься волокитой. Его трудно сдвинуть с места. Придется подтолкнуть. Пиши!

Секретарша сразу оживляется и проворно вставляет в машинку новый лист бумаги.

Ты помнишь адрес адвокатской фирмы?

Секретарша *(очень довольная)*. Конечно. «Шмидт и Уоллер»... Диктуйте, капитан.

Бернгард. «В связи с предыдущим письмом прошу сообщить мне о мероприятиях, которые ваша фирма предприняла в отношении моего развода. Я вынужден напомнить, что дело это не терпит отлагательств, поскольку немедленно по окончании бракоразводного дела я намерен вступить в новый брак». Подчеркни последние слова!

Лицо секретарши озаряется радостью.

«С уважением...» и подпись. Коротко и ясно, а? *(Подписывает письмо.)*

Секретарша *(печатает адрес на конверте и кладет его в корзину для почты, подлежащей отправке).* Это подхлестнет твоего адвоката.

Бернгард *(роется в бумагах на письменном столе).* Кажется, на этой неделе я забыл поставить на тотализатор. Придется утроить ставку!

Секретарша. Но ты все время проигрываешь.

Бернгард. Значит, настает пора выигрышей и побед! *(Оживленно просматривает программу скачек.)* Итак, следующие скачки в воскресенье! Что ж, поставим на Юлиану, Люцифера или Блю-мастера?..

Слева раздается стук в дверь. В комнату входит неизвестный. Это человек лет пятидесяти, одетый в поношенный, но все еще элегантный костюм, который говорит о том, что его владелец когда-то одевался лучше. Его красноватый нос и одутловатые щеки свидетельствуют о неумеренном употреблении алкоголя, однако сейчас он совершенно трезв. Неизвестный производит впечатление человека, так сказать, «без определенных занятий». Правая его нога не гнется.

Неизвестный *(останавливается в дверях, с деланным смирением, все время кланяясь).* Добрый день! Извините... Это контора поместья? И я полагаю, что имею честь видеть самого управляющего?..

Бернгард *(быстро встает; взглянув на незнакомца, сразу узнает его и, судя по всему, весьма неприятно поражен).* Несомненно. Вы не ошиблись. Что вам угодно?

Неизвестный. Простите за беспокойство. Мне хотелось бы сказать вам несколько слов.

Бернгард. О чем?

Неизвестный. Об одном деле, которое, как мне кажется, может заинтересовать господина управляющего. Не могли бы вы уделить мне несколько минут?

Бернгард. Разумеется. Моя контора и предназначена для деловых бесед.

Бернгард и неизвестный обмениваются взглядами, которые свидетельствуют о том, что они знают друг друга очень хорошо. Однако говорить свободно им мешает присутствие секретарши.

Неизвестный. Спасибо! Большое спасибо!

Б е р н г а р д *(секретарше, начальническим тоном)*. Фрекен может пойти позавтракать!

С е к р е т а р ш а *(встает и берет сумочку)*. Спасибо, капитан! Письма забрать?

Б е р н г а р д. Нет, письма я сам отправлю. Поеду на озеро выкупаться и по дороге заброшу их на почту. *(Неизвестному, с преувеличенной вежливостью.)* Прошу вас, садитесь, пожалуйста!

Секретарша уходит налево.

(Как только за ней закрылась дверь, вынимает письма из корзины. Последнее письмо, лежащее сверху, рвет пополам и кладет в карман пиджака, остальные запихивает в портфель. Поворачивается к неизвестному; совершенно другим тоном.) Так какого черта тебе здесь надо?

Н е и з в е с т н ы й *(удобно устраивается в кресле; самоуверенно и нагло)*. Каким тоном ты разговариваешь со старым другом, который пришел навестить тебя? Неужели ты совсем не рад, что снова видишь меня?

Б е р н г а р д *(рассматривает неизвестного с крайним отвращением)*. В восторге! Но в присутствии секретарши я должен был побороть желание немедленно обнять тебя!

Н е и з в е с т н ы й. Ну, теперь, когда мы одни, ты можешь, во всяком случае, пожать руку своему старому другу! *(Протягивает руку, Бернгард делает вид, что не замечает ее.)* Не хочешь? Неблагодарный! Ведь в сказке твоей жизни я всегда был доброй феей!

Б е р н г а р д. Злым духом! А я-то думал, что разделался с тобой навсегда!

Н е и з в е с т н ы й. Как ты груб! И черств к тому же. Ведь мы так трогательно сотрудничали с тобой столько лет... Зачем же нам вдруг расставаться, да еще навсегда?

Б е р н г а р д. Говори сразу: что тебе здесь надо?

Н е и з в е с т н ы й. Прежде всего мне хотелось узнать, как ты поживаешь. Полагаю, что пребывание на лоне природы пошло тебе на пользу. Ты выглядишь лучше, чем когда бы то ни было. Вероятно, это деревенский воздух... или... а?

Б е р н г а р д. Значит, ты приехал лишь затем, чтобы справиться о моем здоровье?

Неизвестный. Я хочу поздравить тебя с большими успехами, которых ты добился за последнее время. Я издали все время следил за твоей карьерой. Она блистательна!

Бернгард. Ты, оказывается, шпионишь за мной!

Неизвестный. Просто я не брезгаю никакими источниками информации. Слышал, что тебя произвели в капитаны. Поздравляю! Ты, так сказать, офицер с неплохими перспективами на маршальский жезл.

Бернгард *(постепенно приходит в бешенство, но старается владеть собой)*. Хватит болтать! Переходи к делу.

Неизвестный. Ты здесь неплохо устроился, местечко теплое и доходное. Перед приездом сюда ты был разорен, и твое имущество назначили к распродаже. А теперь, говорят, даже начал платить долги!

Бернгард. Надеюсь, ты не думаешь, что я буду обсуждать с тобой свои дела?

Неизвестный. В этом нет необходимости. Я в курсе всех твоих дел. И всегда был в курсе. Ты довольно рано занялся всякого рода деловыми махинациями. Впервые объявил себя банкротом в день своего совершеннолетия. Так сказать, сдал экзамен на аттестат зрелости подлинного дельца.

Бернгард *(повысив голос)*. Повторяю: ближе к делу. Что тебе от меня нужно?

Неизвестный. Как грубо ты разговариваешь с тех пор, как стал офицером! И почему ты так странно смотришь на меня? Можно подумать, что ты меня боишься! Или я могу быть чем-то опасен для тебя? Но ведь я совсем неопасный человек...

Бернгард *(саркастически)*. Конечно, нет. Твоя длань всегда была занесена над моей головой. И сейчас ты появился только для того, чтобы отвратить какую-нибудь новую катастрофу, которая угрожает мне!

Неизвестный. У тебя удивительная интуиция. *(Вытягивает ногу.)*

Бернгард. Под каким именем ты явился сюда?

Неизвестный. Ты всегда можешь называть меня Максом. Для тебя я был и навеки останусь все тем же старым Максом.

Бернгард. Макс Неизвестный! Я знаю. Но каким тебя знают другие?

Макс. Неизвестный. Не беспокойся! Тебе не придется стыдиться знакомства со мной. Я не собираюсь проникать в общество твоих друзей. Или в свиту принца. Одним словом, меня отнюдь не преследуют честолюбивые помыслы.

Бернгард. Но вспомни о своей ноге. Это особая примета, по которой тебя легко узнать!

Макс. Не беспокойся за меня! Господь ниспослал мне удивительную способность самому заботиться о себе. И еще способность помогать своим друзьям. Так что некоторые из них многим мне обязаны!

Бернгард. Итак, тебе нужны деньги?

Макс. Ах, какой ты грубиян! Сразу начинаешь говорить о деньгах! Фи! А еще имеешь дело с аристократами! Я-то думал, что в высшем обществе не придают значения этой презренной материи!

Бернгард. Тебе нужны деньги? Да или нет?

Макс. Я предпочел бы работу в поместье. Хорошо оплачиваемую...

Бернгард *(усмехаясь)*. Что же ты можешь здесь делать? Например, заниматься земледелием, а? Нет, никогда не поверю, чтобы ты всерьез искал работу!

Макс. Ну, положим, работа — это довольно растяжимое понятие. Я лично имею в виду номинальную работу. Ясно?

Бернгард. Ясно. *(Задумывается.)* На такую должность ты годишься вполне.

Макс *(развалившись в кресле и сложив на животе руки)*. Я люблю деревню. А это поместье — просто рай. Вот она, настоящая идиллия! Я с удовольствием остался бы здесь. Скажем, на посту твоего финансового советника. Снова стал бы твоей правой рукой!

Бернгард. Весьма благодарен. Но мне вполне хватает своих собственных рук.

Макс. Ты же знаешь... правовое обеспечение... всякого рода предпринимательской деятельности — моя специальность. И здесь я могу тебе пригодиться, я, твоя добрая фея с волшебной палочкой! *(Делает в воздухе движение рукой, словно взмахивает волшебной палочкой.)* Почему бы нам снова не наладить сотрудничество, как это бывало раньше? Ты заколдовываешь людей, я заколдовываю бумаги! Одним мановением руки я могу превратить заем в покупку. И так же легко — покупку в заем. Если клиент меня очень попросит, я даже могу

превратить его из должника в кредитора. А без фиктивного договора вообще невозможна никакая предпринимательская деятельность.

Бернгард *(с иронической улыбкой)*. И все это ты можешь проделывать в точном соответствии с буквой закона и всеми правовыми нормами? Так что ни один суд не подкопается?

Макс. Разумеется! Что же касается буквы закона и правовых норм... то главное здесь — искусство формулировки.

Бернгард. Но однажды твоя формулировка оказалась недостаточно убедительной. Во всяком случае, таково было мнение суда. И тебя приговорили к... Ты помнишь?

Макс *(совершенно невозмутимо)*. Несчастный случай. Никто от этого не застрахован. Нет, мой друг: сделай меня своим финансовым советником — и тебе нечего бояться закона.

Бернгард. А я и так не боюсь закона.

Макс. Пока тебя поддерживает принц! Ведь, если я не ошибаюсь, его королевское высочество — твой компаньон? У тебя есть договор с самим принцем. Настоящий договор! *(Громко, угрожающе хохочет.)*

Бернгард. И как у меня хватило ума показать его тебе... Это тоже несчастный случай... Только уже со мной.

Макс. У тебя вообще слабость к аристократам! А тут еще захотелось прихвастнуть! Но какая мне пришла в голову блестящая идея — снять фотокопию с твоего договора с принцем!

Бернгард. Да, ты его, наверное, хранишь за семью замками!

Макс. А ведь какой исторический документ! Какой договор! Одна из высоких договаривающихся сторон предоставляет свой титул в полное распоряжение другой стороны, которая использует этот титул по своему усмотрению при осуществлении определенного рода деловых операций! Роскошно! Принц в роли отмычки! Все двери широко распахнуты! И отмычка получает тридцать процентов прибыли! Гениально.

Бернгард. Тот, кто обладает высоким титулом, может одолжить или продать его, когда ему заблагорассудится. Так же точно, как можно продать или заложить свое имущество!

М а к с. Верно! Верно! Ты прав!

Б е р н г а р д. Титул принца должен кормить его обладателя. И в нашей стране он кормит очень неплохо.

М а к с. Верно! Совершенно верно! Мы живем в благословенной стране! Мне лично здесь очень и очень неплохо. И тебе тоже. Ты отлично устроился! Кстати, сколько тебе пришлось заплатить принцу за место здешнего управляющего? Так сказать, какова доля принца в этом деле?

Б е р н г а р д. Почему ты спрашиваешь? Тебе ведь все известно!

М а к с. Я не вхожу в детали. Но теперь, когда счастье тебе улыбнулось, можешь поделиться со своим старым другом.

Б е р н г а р д *(сквозь зубы)*. Ты душишь меня!

М а к с. Мы говорили, что мадам уже ест из твоих рук. А ты — из ее. И ешь сытно! Так неужели тебе жалко нескольких паршивых крошек, которые упадут с твоего пиршественного стола? Неужели ты действительно настолько черств?

Б е р н г а р д. Ты отвратителен!

М а к с. Ах ты старый лицемер! А ведь я так люблю тебя!

Б е р н г а р д. Как вошь человека, когда сосет у него кровь.

М а к с. «Возлюбите врагов своих»,— гласит Библия. А ты... ты ненавидишь своих друзей. Тебе незнакомо великое чувство любви. Вспомни, сколько раз я спасал тебя от злой напасти. И вот я снова прихожу к тебе, чтобы отвести от тебя катастрофу!

Б е р н г а р д. Тогда говори, в чем дело! Черт бы тебя побрал!

М а к с *(довольно усмехаясь, многозначительно смотрит исподлобья на Бернгарда)*. Мой старый друг... а что, если фотокопию твоего договора с принцем я пришлю одной старой даме, которую называют мадам? Как она, по-твоему, отреагирует? Не вызовет ли это катастрофу, а?

Б е р н г а р д. Ну ладно, хватит! Я не желаю слушать подобные речи в своей конторе!

М а к с. Мы можем выйти на воздух, если тебе угодно. Ведь сегодня так жарко! *(Стирает со лба пот.)*

Б е р н г а р д. Я хотел съездить на озеро окунуться пару раз.

Макс (*встает*). Поедем вместе. Но в холодной воде я не купаюсь. Понимаешь, сердце! (*Прикладывает руку к сердцу.*)

Бернгард (*рассматривает его одутловатое лицо*). Много пьешь? Как у тебя с этим сейчас?

Макс. Расчудесно! Теперь я пью только по утрам, когда трезв. Так вкуснее всего!

Бернгард. Очень сожалею, что ты еще не упился до смерти. Даже для этого... ты слишком ленив.

Макс. Ну нет — просто слишком крепок! Ну а теперь, мой дорогой друг, пойдем и продолжим нашу беседу!

Бернгард. Итак, ты хотел бы работать, не слишком утруждая себя, — работать номинально?

Макс. Именно. И я полагаю, что мы быстро придем к соглашению. Ты и я должны сработаться. Судьба связала нас одной веревочкой. Значит, надо помогать друг другу...

Бернгард (*открывает дверь направо*). Я должен уйти по делу. Не будет ли господин Франк настолько любезен, что послушает телефон?

В ответ слышится невразумительное мычание, означающее «да». Бернгард берет портфель с письмами, преувеличенно вежливо открывает левую дверь перед Максом, который проходит вперед, постукивая ногой о пол. Бернгард выходит следом за ним. Из своей комнатушки в контору входит Франк; на нем поношенный рабочий костюм, брюки вытерты до блеска, рукава залатаны. Он медленно обходит контору, внимательно оглядывая ее; всматривается в несгораемый шкаф, словно хочет разглядеть, что находится внутри, бросает испытующий взгляд на бумаги, лежащие на письменном столе, но ничего не трогает. Слева входит профессор. На нем темный костюм, слишком теплый для такой жаркой погоды. Он устал, задыхается, вытирает пот со лба.

Профессор. Здравствуйте, господин Франк.

Франк (*чопорно и корректно*). Здравствуйте, господин профессор.

Профессор. Могу я поговорить с господином бухгалтером?

Франк. Пожалуйста.

Профессор. Сегодня так жарко. Я немного устал. Посижу здесь чуть-чуть.

Франк. Конечно, прошу вас. (*Пододвигает профессору кресло.*)

Профессор (*садится*). Большое спасибо. Врач предупреждал меня, что следует избегать физического

переутомления. А с другой стороны, все-таки нужно двигаться. Ведь я целый день сижу в архиве и занимаюсь историческими изысканиями.

Франк. Я знаю, профессор.

Профессор. Я веду генеалогическое исследование. Это будет книга о родословной мадам.

Франк. Интересно бы почитать эту книгу.

Профессор. Кроме того, я записываю устные предания, которые старожилы хранят в своей памяти еще со времени старого короля. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы рассказать мне что-нибудь интересное?

Франк. Я прожил здесь всю свою жизнь. И память у меня очень хорошая.

Профессор. Прекрасно. Вы не присядете? *(Пауза.)* Вы своими собственными глазами видели его королевское величество короля Александра Девятого?

Франк. Да, и много раз. Он приезжал сюда охотиться. В охотничий сезон старый хозяин всегда принимал у себя королей и королев.

Профессор. А старый король был хороший охотник?

Франк. Хороший. За один день он мог застрелить сотни две зайцев. Потом приказывал свалить всех зайцев в одну кучу, а сам залезал на нее с ружьем и фотографировался.

Профессор *(утвердительно кивает)*. Да, Александр Девятый при всех обстоятельствах старался возвысить величие и достоинство королевской власти.

Франк. Иногда король привозил сюда своих сыновей. Прогуливаясь с кем-нибудь из принцев, он говорил, бывало: «У тебя должна быть королевская походка, сын мой! Слышишь, королевская!»

Профессор *(вынимает записную книжку и делает пометки)*. Неужели он это говорил? Подумать только: королевская походка! Как это характерно! Достойный образец поистине королевского суждения! Ну а теперь, господин Франк... *(понижает голос и с опаской оглядывается, словно боится, что его кто-нибудь подслушает)* я хотел бы поговорить с вами совершенно откровенно. Вопрос весьма деликатный: речь идет о тайне рождения мадам.

Франк. Я сразу догадался.

Профессор. Да? Значит, вам кое-что известно?

Мадам — побочная дочь короля Александра Девятого?

Франк. Боюсь, что да.

Профессор. Об этом много говорят в народе?

Франк. Нет. Это тайна, которая перестала быть тайной так давно, что теперь об этом уже неинтересно говорить.

Профессор. Сама она непоколебимо убеждена в своем королевском происхождении. Но действительно ли мадам — дочь старого короля? Разве это доказано?

Франк *(слегка покашливает)*. Видите ли, юридически отцовство старого короля здесь не установлено, ибо для этого нужно постановление суда. Я хочу сказать, парламента. Но ведь королей не вызывают в суд по делу о злостной неуплате ими алиментов?

Профессор *(шокирован)*. Конечно, нет! Я хотел бы задать вам один вопрос: существуют ли какие-нибудь документы, которые свидетельствовали бы о том, что она — дочь Александра Девятого? Какие-нибудь доказательства?

Франк. Существуют. Есть одно доказательство.

Профессор. Что за доказательство?

Франк *(просто, деловито)*. Охотничий календарь.

Профессор *(раскрывает рот от изумления)*. Охотничий календарь?..

Франк. Именно так. Охотничий календарь со всей убедительностью доказывает отцовство Александра Девятого.

Профессор. Простите, но я не совсем вас понимаю. Каким образом охотничий календарь может служить доказательством отцовства?

Франк. В календаре точно указано, когда начинается охота на лося.

Профессор *(в совершенном недоумении)*. Лось... да... Но ведь лось в некотором роде принадлежит к царству животных. Какое же отношение он имеет к родословной мадам?

Франк. Очень большое. Король всегда приезжал в имение к началу охоты на лося.

Профессор *(внезапно сообразив)*. Вот оно что! Теперь я начинаю улавливать связь...

Франк. Тут все яснее ясного. Возьмите охотничий календарь за тысяча восемьсот девяносто четвертый год. Из него следует, что отстрел лося разрешается в

последнюю неделю сентября и первую неделю октября. Последним днем охоты на лося в тысяча восемьсот девяносто четвертом году было седьмое октября. А мадам родилась седьмого июля тысяча восемьсот девяносто пятого года! Все совпадает совершенно точно. Так.

П р о ф е с с о р *(делает пометки в своей книжке)*. Подождите минутку, я запишу. Последний день охоты был...

Ф р а н к. Седьмого октября. Мадам родилась седьмого июля. День в день. Верно, профессор?

П р о ф е с с о р. Подождите минутку!

Ф р а н к. Я могу подарить вам этот охотничий календарь.

П р о ф е с с о р. Благодарю вас, чудесно. Я должен тщательно исследовать этот источник. Охотничий календарь не может служить решающим доказательством королевского происхождения мадам, но, несомненно, это является, так сказать, косвенной уликой.

Ф р а н к. Есть и другие доказательства. В том самом году, когда родилась мадам, старый хозяин получил «Большой Крест Голубого Ангела».

П р о ф е с с о р *(в изумлении)*. Как? Неужели ему был пожалован высший орден, которым награждали за самые выдающиеся заслуги перед государством? И вы усматриваете связь между этим награждением и отцовством короля?

Ф р а н к. Ну, об этом так прямо не говорили. Было объявлено, что ему пожалован Большой крест за заслуги в деле развития экономики страны. *(Пауза.)* Старый хозяин отлично разбирался в сельском хозяйстве.

П р о ф е с с о р. Он, разумеется, гордился своей... гм... своей интимной связью с королевским домом?

Ф р а н к. Хозяин носил свой крест радостно и гордо. *(Помолчав.)* Он распорядился, чтобы его похоронили с этим крестом на груди!

П р о ф е с с о р *(все время делая пометки в книжечке)*. Думаю, что ваши сведения имеют большую ценность для моей работы.

Ф р а н к. Я мог бы о многом вам порассказать. Помню, как однажды его величество оступился и чуть было не упал... Вот здесь на большой лестнице.

П р о ф е с с о р *(с интересом)*. Вы не рассказывали мне об этом. Как же это произошло?

Ф р а н к. Это произошло на последней ступеньке. Король споткнулся и чуть было не покатился вниз.

Еле-еле удержался. И тогда он сказал... О, я до сих пор помню это слово!

Профессор. Что же он сказал?

Франк *(торжественно)*. Он сказал: «Гоп-ля!»

Профессор *(в восторге)*. «Гоп-ля»? Неужели он так и сказал? Как это народно! Как просто и человечно! И в то же время величественно. Да, он умел быть простым и человечным, не теряя при этом своего королевского достоинства! «Гоп-ля»! Уже одно это слово свидетельствует о том, что Александр Девятый был великий король!

Слева появляется Руди. Он в рабочем комбинезоне, без шапки, разгорячен работой; вытирает пот со лба носовым платком.

Руди. Мы начали сгребать сено. Ну и жарко же сегодня.

Франк. Сено хорошо просохло?

Руди. Не очень. Вот я и пришел попросить немного соли, чтобы рассыпать ее по сену.

Франк. Крупной соли?

Руди. Конечно, какой же еще?

Франк. Сколько тебе выписать?

Руди. Мешка три. Этого хватит до конца уборки.

Профессор *(встает и идет налево)*. Я не буду вам больше мешать, господин Франк. Вы разрешите мне зайти к вам еще раз?

Франк. Пожалуйста, профессор.

Профессор. Я вам чрезвычайно благодарен за несколько весьма колоритных подробностей, которые вы мне сообщили. Большое спасибо. Всего доброго. *(Уходит налево.)*

Руди. Значит, старый чудак и у тебя был?

Франк. Он славный старик. *(Смотрит через стеклянную дверь.)* Видел? Здесь устраивают целый зоопарк.

Руди. Да, всяких зверей понавезли. *(Вздыхает.)*

Франк. Обезьяны, верблюды, гиены, фазаны!

Руди *(с горечью)*. Какой позор для хозяйства, которое всегда славилось своим породистым скотом!

Франк. А ты знаешь, сколько стоят все эти экзотические твари?

Руди. Верблюд какой-то странный. У него по два копыта на каждой ноге.

Франк. Это не верблюд. Это дромадер.

Р у д и. Я читал о верблюдах в Библии. Но за библейскими животными тоже надо убирать! А кто будет этим заниматься? Придется нанимать специальных уборщиков.

Ф р а н к. А им придется платить жалованье. *(Вздыхает.)*

Р у д и. Теперь у нас в имении есть и парк с аттракционами, и цирк, и зверинец. Не хватает только публичного дома.

Ф р а н к *(осторожно, тихо)*. Ты видел его?

Р у д и. Видел. Он поехал в своей красной машине к озеру.

Ф р а н к. Эта машина стоит двадцать пять тысяч.

Р у д и *(испуганно)*. Двадцать пять тысяч! Боже милостивый!

Ф р а н к. И потом у него свой собственный самолет! Спортивный моноплан. Я видел его вчера. Он стоит в ангаре на аэродроме. Называется «Пайпер каб».

Р у д и. Откуда он берет столько денег?

Ф р а н к *(таинственно, тихо)*. Я все узнал. Теперь мне все ясно.

Р у д и *(тихо)*. Что ты говоришь! Неужели, как мы и подозревали?..

Ф р а н к. Хуже. Намного хуже.

Р у д и. Как? Значит, он... он...

Ф р а н к. Именно. Большой!.. Понимаешь.

Р у д и *(взволнованно)*. Никогда не поверил бы. Ведь у меня первого возникли подозрения. Когда мы отгрохали такую сумму за тракторы. Переплатили четыре тысячи за каждую машину сверх обычной цены. За те же самые тракторы, с теми же самыми лошадиными силами, произведенными той же самой фирмой.

Ф р а н к. Знаешь, что он делает? Покупает втридорога, продает втридешево. Списывает со счета большие суммы, оприходывает маленькие.

Р у д и. А разницу кладет...

Ф р а н к. Вот именно. Куда, ты думаешь, деваются денежки? У него свой собственный лицевой счет в банке. Знаешь, как был продан лес? От Экспортлеса он получил на несколько сот тысяч больше, чем оприходовал.

Р у д и. Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал?

Ф р а н к. Это тайна. Я обещал молчать. Речь идет

об одном моем приятеле, который не хочет быть замешанным в эту историю.

Р у д и *(оглушенный)*. Несколько сот тысяч! Неужели это возможно?

Ф р а н к. Я знаю гораздо больше. И многое мог бы рассказать. Но не смею!

Р у д и. Но мне-то ты можешь?..

Ф р а н к. Даже тебе не могу. Никому!

Р у д и. Если бы мадам знала! Если бы она знала!

Ф р а н к. Она ничего не хочет знать. И с этим ничего не поделаешь. Она слушает только его.

Р у д и. Капитан пробыл здесь всего месяц, а я уже начал кое-что подозревать. И пошел со своими подозрениями к мадам. Едва я открыл рот, как она приказала мне замолчать. Меня не раз ругали за долгие годы службы в имении, но так не ругали никогда! Больше я ей ни слова не скажу о капитане.

Ф р а н к. Не надо было и пытаться. Я хорошо знаю мадам. Кто скажет ей слово поперек, тотчас же из поместья вон.

Р у д и. А что же делать?

Ф р а н к. Меня заперли в этой паршивой каморке. Но я все равно хотел по-прежнему выполнять свой долг. А теперь вижу, что это невозможно. Оставаться в конторе стало опасно.

Р у д и *(удивленно)*. Для тебя?

Ф р а н к *(со страхом в голосе)*. Очень опасно! Если бы ты только знал!..

Р у д и. Не понимаю.

Ф р а н к. Больше я ничего не могу тебе сказать. Боюсь. Но честный человек не может оставаться здесь.

Р у д и. Неужели ты ничего не можешь сделать?

Ф р а н к. А что я могу сделать? Нужно быть осторожным. Кто знает, в какую грязную историю вдруг окажешься замешанным! Теперь здесь можно ждать всего самого худшего!

Р у д и. Но надо попытаться что-нибудь предпринять!

Ф р а н к. Слишком рискованно. Больше я ничего не хочу предпринимать...

Слева слышны шаги. Оба собеседника сразу замолкают. Входит Б е р н г а р д, небрежно бросает на стол портфель и, насвистывая, усаживается на свой стул. Франк делает вид, что изучает бумагу, на которой только что написал требование на соль.

Бернгард *(поворачиваясь к Франку)*. Кто-нибудь был здесь?

Франк. Никто. И никто не звонил. Вот только Руди пришел за солью.

Бернгард. Ладно! Выпиши ему соль. *(Поворачивается к Руди.)* По радио сообщили, что завтра будет дождь. Нам надо позаботиться, чтобы все просохшее сено было убрано уже сегодня.

Руди *(грубо и непреклонно)*. Вам тут заботиться нечего. Об этом позабочусь я. *(С ударением на «я».)*

Бернгард и Руди обмениваются неприязненными взглядами. Между ними нарастает напряжение. Воцаряется молчание. Франк стоит неподвижно и настороженно.

Бернгард. Я рад, что господин Руди работает с похвальным усердием. Было бы еще лучше, если бы он занимался только своими делами и не лез в чужие. Вы спрашивали, сколько стоят новые конные грабли? Почему? Может быть, вы собираетесь заплатить за них?

Руди *(нервно, подавляя раздражение, заикаясь)*. Нет, но... но... машины принадлежат имению, и нет ничего удивительного, что меня это интересует...

Бернгард *(резко обрывая его)*. Если вас что-нибудь интересует, то обращайтесь за разъяснениями к управляющему.

Руди. Но я здесь работаю уже сорок лет.

Бернгард. Тем более вы должны знать свое место.

Руди. Но я забочусь... о...

Бернгард *(обрывая)*. Не утруждайте себя заботами об имении. Здесь я один справлюсь. На это у меня есть полномочия от самой хозяйки имения. Ясно? И хватит об этом говорить. Идите и занимайтесь своим делом!

Руди совершенно угнетен, несколько раз он открывает рот, чтобы что-нибудь сказать, но не находит слов. Он обменивается взглядами с Франком, но тот стоит молча, не пытаясь поддержать товарища. Тогда Руди делает резкое движение головой, поворачивается на каблуках и, энергично шагая, гордо выходит из комнаты.

(Франку.) Вам что-нибудь нужно?

Франк *(простодушно)*. Я занимаюсь сейчас накладными за проданный лес. Надо произвести окончательный расчет по суммам, полученным от Экспортлеса.

Бернгард. Разумеется. Давно пора.

Ф р а н к. Я хотел бы только узнать от вас точную цифру...

Б е р н г а р д. Я же дал вам все необходимые сведения.

Ф р а н к. Лишь устно. А мне нужно письменное подтверждение.

Б е р н г а р д. Пожалуйста, воспользуйтесь теми цифрами, которые я уже дал вам!

Ф р а н к. Не могу, пока не получу письменного подтверждения.

Б е р н г а р д *(свирепея)*. Зачем вам это? Или вам мало моего слова? Вы что, ставите под сомнение мое слово?

Ф р а н к *(спокойно, но в то же время настойчиво)*. Этого я не говорю.

Б е р н г а р д. Так что же вы говорите?

Ф р а н к. Я говорю, что не могу вести конторские книги, если приходные и расходные суммы не получают письменного подтверждения.

Б е р н г а р д *(встает и испытующе смотрит на Франка)*. Что это на вас нашло? Конечно, вы можете стоять здесь сколько вам заблагорассудится и повторять одно и то же как попугай. Может быть, вы впадаете в старческий маразм? Господин Франк, сколько вам лет?

Ф р а н к *(глубоко оскорблен, но не теряет самообладания)*. Мой возраст не имеет никакого отношения к денежным расчетам. *(С ударением.)* Я вас спрашиваю еще раз: могу я получить от вас письменное подтверждение окончательной суммы, полученной за продажу леса?

Б е р н г а р д. В последний раз я попытаюсь втолковать вам: в соответствии с полномочиями, данными мне мадам, я оприходовал окончательную сумму и перевел ее в банк на лицевой счет хозяйки имения. Вы, как бухгалтер, получили от меня все интересующие вас данные. Поняли? Все ясно? Беседа окончена!

Ф р а н к *(стараясь не потерять самообладания, решительно)*. Господин капитан!

Б е р н г а р д. Да, господин Франк! Что еще?

Ф р а н к. Вот уже тридцать пять лет я веду бухгалтерские книги имения. За эти тридцать пять лет ни одна ревизия ни разу не смогла придраться к моим расчетам. Если меня лишают возможности вести бухгалтерские

книги так, как я это делал до сих пор, мне нечего больше делать в этой конторе.

Бернгард. Что такое? Вы отказываетесь от должности?

Франк. Если я не могу вести свои книги так, как вел до сих пор, мне придется отсюда уйти.

Бернгард *(громко хохочет)*. Придется? Чего же вы, черт побери, боитесь?

Франк. Я теряю моральное право отвечать за бухгалтерию имения.

Бернгард. Но ведь я отвечаю за дела имения!

Франк. А я отвечаю за бухгалтерские книги. Я веду все расчеты.

Бернгард. Под моим руководством!

Франк. Нет!

Бернгард. Но я здесь начальник! Вы отказываетесь выполнять мои распоряжения?

Франк *(делает глубокий вздох, твердо, с горечью)*. Да.

Пауза.
Бернгард прохаживается по конторе, посвистывая, зажигает сигарету. Франк стоит неподвижно.

Бернгард. Все ясно! Решено! Остаются только мелкие формальности! Пусть господин Франк передаст мне свои книги. Новый бухгалтер приступит к своим обязанностям завтра.

Франк *(дрожащим голосом)*. Я... у... уволен?

Бернгард. Вы сами попросили освободить вас от работы. А у меня под рукой оказался человек, который может немедленно взяться за дело. Вполне надежный человек, он служил в моем собственном предприятии.

Франк. Понимаю... Капитан решил отделаться от меня.

Бернгард. Совсем нет. Просто у меня есть человек, который охотно займет вашу должность.

Франк. Капитан выгоняет меня...

Бернгард. Нет, просто вы получите новое назначение!

Франк. Но мадам... мадам...

Бернгард. Мадам предоставила мне право по своему усмотрению принимать, увольнять и перемещать наших служащих. А кроме того, мы вводим новую систему бухгалтерского учета. Более простую и эффек-

тивную. Мы будем рационализировать. Чтобы было меньше писанины!

Франк. Без письменного подтверждения?..

Бернгард. Абсолютно, господин Франк! А книги передайте мне! Идите к себе и приведите их в порядок. У меня много работы. *(Давая понять, что разговор окончен, садится за стол.)*

Несколько мгновений Франк стоит неподвижно, потом поворачивается и медленно идет в свою комнату. Старый усталый человек. В дверях он оглядывается на Бернгарда, который сидит, склонившись над работой.

Входит мадам. С тех пор как мы видели ее в последний раз, внешность ее сильно изменилась: она приняла курс омолаживания. Сильно накрашена, одета, как молодая девушка: короткое платье, туфли на высоких каблуках, модная прическа и т. д. Выглядит на десять лет моложе.

Мадам. Доброе утро, мой милый Дикки! Впрочем, уже столько времени, что, пожалуй, немного поздно говорить «доброе утро»!

Бернгард *(быстро вскакивает, бежит ей навстречу и целует руку)*. Доброе утро! Как чувствует себя моя владычица?

Мадам. Я устала. Мы слишком засиделись вчера у губернатора. В моем возрасте по ночам надо спать.

Бернгард. Чепуха! Сисси не знает возраста. Свежестью своего лица она затмевает лепестки цветка, сияющие утренней росой!

Мадам. Дикки такой милый, такой добрый. *(Обнимает и целует его в обе щеки.)*

Бернгард пододвигает ей кресло, она садится.

Бернгард. Сисси была вчера блистательна.

Мадам. Моему Дикки совершенно незачем скромничать. Кто задавал тон на вечере у губернатора? Мой управляющий. Он пленил всех. И как я гордилась им! А губернатор так благосклонно беседовал с Дикки! Он назвал моего управляющего украшением провинции!

Бернгард *(скромно)*. За послеобеденной беседой люди легко впадают в преувеличения.

Мадам. Дикки — украшение моего поместья. Теперь здесь царят новый дух и новый порядок. Как сказал губернатор, мой управляющий — один из самых передовых людей во всей округе. Но Дикки не знает, что

сказал мне губернатор, когда мы остались наедине. А если узнает, он станет самонадеянным, себялюбивым мальчиком.

Бернгард. Но я уже давно люблю себя и люблю очень сильно. К сожалению, любовь эта остается без взаимности.

Мадам *(смеется, хлопает его по рукам; ревниво)*. А жена губернатора весь вечер не отходила от Дикки ни на шаг. И это в ее возрасте!

Бернгард. Она говорила со мной о коневодстве.

Мадам. Что она понимает в коневодстве? Она и на конюшне-то никогда не была. Зато родила семерых детей. Вот это по ее части! Плодить детей — не чистокровных рысаков разводить. Много лет мы были с ней близкими друзьями. А в общем — вздорная старуха.

Бернгард. Она хотела получить от меня кое-какие сведения, чтобы поиграть на тотализаторе. Но я сказал, что все мои познания в этой области я отдал на службу своей владычице.

Мадам. Дикки — прелесть! Настоящий дарлинг! *(Снова обнимает его.)* А жена начальника полиции? Она так и увивалась вокруг тебя. Словно взбесилась на старости лет.

Бернгард. Она всего-навсего говорила со мной о моем друге принце. Ей хочется, чтобы ее дочь представили при дворе.

Мадам. Нельзя допускать, чтобы королевский двор ушел так глубоко в толщу народную! Кстати, в этом году дебютанткам при королевском дворе очень повезло. Как я прочитала в «Четверге», ни одна из них не споткнулась и не поскользнулась. А вот с одной моей кузиной, девицей фон Хольцхаузен, произошел трагический случай. Она хотела сделать реверанс перед королевой, но наступила на край платья и растянулась на полу. Ее было так жалко. Ведь она погубила свое будущее. Вскоре кузина ушла в один из монастырей Франции. *(Помолчав.)* Но она была очень милая девушка.

Бернгард. Начальник полиции оказался славным малым. Мы очень понравились друг другу. Договорились вместе позавтракать в городе завтра.

Мадам. А сегодня Дикки завтракал?

Бернгард. Еще нет. Никак не успеваю. Слишком много работы.

Мадам *(удрученно и нежно)*. Дикки переутомля-

ется. Mon cher ami![1] Если бы я могла хоть чем-нибудь помочь! Может быть, Дикки нужно, чтобы я подписала какие-нибудь бумаги?

Бернгард. Спасибо. Вон у меня целая куча вексельных бланков. *(Показывает на стол.)*

Мадам *(подходит к столу)*. Как хорошо! Значит, я смогу быть немножечко полезной Дикки! *(Копается в бланках.)* Где надо расписываться? На лицевой стороне или на обороте? Вдоль или поперек?

Бернгард. Благодарю! Только поперек на лицевой стороне.

Мадам. Поперек на лицевой стороне. Как просто!

Бернгард. А я потом индоссирую.

Мадам. Я знаю, что главную работу всегда делает Дикки.

Бернгард. Да, я всячески стараюсь упростить делопроизводство и избавить Сисси от лишних забот.

Мадам *(небрежно и быстро расписывается на каждом бланке)*. Подумать только... До приезда Дикки я не умела обращаться с векселями. А теперь немножко научилась.

Бернгард. Если бы имя Сисси стояло не на чеке, а на простой бумаге, банк все равно принял бы эту бумагу в качестве денежного документа!

Мадам. Действительно, я расписываюсь на каких-то жалких клочках, и они немедленно превращаются в деньги. Дикки — волшебник.

Бернгард *(многозначительно улыбаясь)*. Еще в детстве, когда я увлекался сказками, меня очень заинтересовало великое искусство, называемое волшебством.

Мадам. Если бы я могла рассказать обо всем принцу! Но его высокое положение запрещает ему говорить о таких низменных материях, как деньги, векселя и тому подобное. Он презирает деньги. Он сам мне об этом говорил.

Бернгард. Пусть Сисси простит меня за то, что я затрудняю ее сегодня таким большим количеством подписей!

Мадам. Я всегда рада, когда могу хоть немного помочь своему Дикки. Подписывая эти бланки, я ему помогаю. Ну вот и все! Последний бланк! *(Пододвигает ему векселя.)*

---

[1] Мой дорогой друг! *(фр.)*.

Бернгард. Мерси, мерси, ma chere[1] Сисси!

Мадам. Больше ничего не надо подписывать? Может быть, какие-нибудь чеки?

Бернгард. Спасибо. У меня осталось еще много чеков в старой чековой книжке! А больших трат пока не предвидится.

Мадам. Но если меня не окажется дома, у Дикки всегда должны быть под рукой деньги или чеки.

Бернгард. Сегодня моя владычица слишком устала.

Мадам. Тогда я поднимусь к себе и немного отдохну перед ленчем.

Бернгард (*становясь серьезным и озабоченным*). Да, кстати, возникло одно неприятное дело, о котором я просто не могу не рассказать. В имении есть люди, которые тайно противодействуют мне. Они ходят повсюду и болтают обо мне всякие гадости.

Мадам (*похлопывает его по руке*). Но Дикки знает, что я ни за что не стану прислушиваться к сплетням!

Бернгард. Но некоторые служащие пытаются саботировать мои мероприятия. А это уже дело серьезное.

Мадам. У моего преуспевающего управляющего появились завистники! За успехом всегда следует зависть. По пятам!

Бернгард. Исходя из интересов поместья, я был вынужден осуществить некоторые перемещения служащих. К сожалению, мне пришлось начать с Франка и Руди. Я не могу оставить их на прежних должностях.

Мадам. Как досадно! Они мои старые верные слуги!

Бернгард. Но я не могу с ними работать. Кроме того, Франк отказывается выполнять мои распоряжения. Отказывается наотрез!

Мадам. Что на них нашло? Мой верный алмаз и мое доброе старое золотое сердечко!

Бернгард. Мне очень больно, но я должен был перевести их на другую работу... правда, с сохранением заработной платы.

Мадам. Тогда у них нет оснований быть недовольными! Да, я уверена, что Дикки устроит их наилучшим образом.

---

[1] Моя дорогая (*фр.*).

Б е р н г а р д. Конечно. В общем, эти старики обладают всеми добродетелями... И они лишь рабы своих добродетелей... А если они придут жаловаться на меня моей владычице?

М а д а м *(с возмущением)*. Пусть только попробуют! Впрочем, нет, они не посмеют! Они же знают меня! Дикки может на меня положиться! До свиданья! Мы увидимся за обедом? Как обычно.

Бернгард распахивает перед мадам стеклянные двери, она выходит. Он явно доволен, потирает руки, посвистывает и снова садится за письменный стол. Слева входит К а т е р и н а, в руках у нее щетка, метла и совок; она беззаботна; увидев Бернгарда, смотрит на него чуть подозрительно и в то же время радостно.

К а т е р и н а. Вот не думала, что застану здесь когонибудь! А то давно бы убрала.

Б е р н г а р д *(игриво, с притворной суровостью)*. А утром у вас не было времени убрать в конторе, а? Скверная девчонка! Наверное, поздно легла вчера?

К а т е р и н а. Не-ет... Легла я рано... А вот заснула поздно!

Пауза. Их взгляды и лица настолько выразительны, что нетрудно догадаться о характере их отношений.

Б е р н г а р д. Могу я задать один нескромный вопрос? В котором часу вы изволили уснуть?

К а т е р и н а *(с напускной серьезностью)*. Точно не помню. Но думаю, что примерно тогда же, когда и вы.

Бернгард предостерегающе показывает на правую дверь.

Что? Старик еще там?

Б е р н г а р д *(очень громко и начальственно)*. Я скоро уйду. Тогда фрекен сможет вернуться и убрать в конторе. *(Помолчав.)* Как фрекен чувствует себя в нашем имении?

К а т е р и н а. Шикарно! Сначала я чуть не сдохла здесь от скуки. А теперь совсем другое дело. Парк, танцплощадка и... новые мальчики! *(Выразительно поглядывает на Бернгарда.)*

Б е р н г а р д. Думаю, что теперь молодежь не станет сбегать в город.

К а т е р и н а. Все, кроме склеротиков, считают, что капитан — парень что надо!

Б е р н г а р д. А фрекен Катерина, насколько я понимаю, знает себе цену. И знает, чего хочет!

Катерина. И куда хочет!

Бернгард. Куда же?

Катерина *(подходит к пишущей машинке, вставляет лист бумаги и начинает печатать одним пальцем)*. Я хочу... поступить на... *(после каждого удара повторяет название буквы)* к... у... р... с... ы... м... а... ш... и... н... о... п... и... с... и.

Бернгард. Что пишет фрекен Катерина?

Катерина. Посмотри! Все правильно! *(Показывает бумагу.)* Курсы машинописи! Вот что я хочу! Где найти доброго человека, который помог бы мне?

Бернгард. По-моему, такой человек есть.

Катерина. Правда? Впрочем, я знаю одного парня, который любит говорить, что мои губки похожи на лепестки цветка. *(Подходит к нему вплотную, приближает свое лицо к его лицу; тихо.)* Как тебе нравится цвет моей новой помады?

Бернгард *(осторожно, шепотом)*. Он так идет тебе, дитя природы!

Катерина. Ты хочешь сказать «уличная девчонка»!

Бернгард. Дикая роза степей!

Катерина. А если я поцелую тебя... Что тогда?

Бернгард. Дам тебе пощечину. Понятно?

Катерина *(усмехается)*. Трус! И не просто трус, трус, способный ударить женщину! Ты, конечно, боишься, что у меня бесчестные намерения по отношению к тебе?

Бернгард. Разумеется, как у всех женщин, с которыми мне приходилось иметь дело. Но ни у одной из них ничего не вышло.

Слева появляется Руди и останавливается в дверях.

(Снова тоном начальника, бесстрастно.) Я скоро уйду. Тогда фрекен сможет вернуться и убрать в конторе.

Катерина. О'кэй. *(Уходит налево.)*

Руди *(отрывисто и неприязненно)*. Нам нужно несколько веревок для сена. Где бы их достать?

Бернгард. Одну минуту. *(Открывает дверь направо.)* Господин Франк, будьте любезны, зайдите сюда. Мне нужно кое-что сообщить вам.

Франк входит в контору. Он завтракал и все еще жует, удивленно переводя взгляд с Бернгарда на Руди.

(Продолжает лаконично и деловито.) Да, мне нужно кое-что сообщить вам обоим. Я уже давно собирался заменить бухгалтера и старосту. С завтрашнего дня ваши должности займут новые люди.

Франк и Руди вздрагивают и отступают назад. Они молча переглядываются, потом смотрят на Бернгарда. Губы их шевелятся, но они не могут произнести ни слова.

Господин Франк и господин Руди! Принимая во внимание вашу долгую и безупречную службу в имении, я решил предоставить вам новую работу с сохранением за вами вашей нынешней заработной платы. Вас просто переводят на другую работу.

Руди *(озирается, словно на него обрушилось небо)*. Переводят?

Бернгард. В наш новый зоопарк. Приглядывать за зверями.

Франк *(словно он проглотил ежа)*. Приглядывать за зверями?!

Бернгард. Да, вы будете кормить обезьян, избавлять их от насекомых, причесывать гориллу и чистить птичьи клетки. Это очень приятное и вполне подходящее занятие для пожилых людей почти пенсионного возраста. В общем, нет ничего приятнее, чем ухаживать за этими милыми животными. Я вижу, что вы приятно изумлены. Но мадам действительно великодушна по отношению к своим старым верным слугам.

Доносятся ликующие возгласы и крики «ура».

(Прислушивается.) Что случилось? Почему люди кричат «ура»? (*Быстро подходит к дверям, чтобы посмотреть, в чем дело.*) Уж не приехал ли принц? Кого еще станут встречать криками «ура»?

Катерина *(вбегая, едва переводит дух)*. Слона, слона привезли!

Бернгард. А, понятно! *(Радостно.)* Наконец-то он здесь!

Катерина. Законный слон! Высший шик! Ну прямо гора!

Крики «ура» становятся все громче. Катерина убегает. За ней спешит Бернгард. Оставшись наедине, Франк и Руди пристально смотрят друг на друга.

Руди. Что же будет дальше?

Слон трубит, заглушая радостные возгласы и крики «ура». Пока опускается занавес, на миг из кулисы появляется его огромный хобот.

Занавес

АКТ ТРЕТИЙ

Контора

Обстановка второго акта. На месте капитана за письменным столом — Макс, а за пишущей машинкой на месте секретарши — Катерина.

Макс удобно устроился на стуле, положив свою негнущуюся ногу на стол, читает иллюстрированную газету, поглощая содержимое бумажных кульков с фруктами и другими лакомствами. Жует и причмокивает, олицетворяя полное довольство жизнью. Ничто не говорит о том, что он выполняет или, может быть, выполнял какую-нибудь работу в конторе. Макс приоделся, на нем новый, с иголочки, элегантный костюм. Катерина вложила бумагу в пишущую машинку и пытается печатать. Теперь у нее получается немного лучше, но до совершенства ей еще далеко.

Катерина *(про себя)*. Нужно растопырить все пальцы... Теперь большими пальцами... Промежуточные удары только большими пальцами.

Макс. Как дела? Как успехи?

Катерина. Неплохо. По вечерам хожу на курсы.

Макс. Вам надо тренироваться, когда машинка свободна. Я с радостью предоставляю вам эту возможность. В отсутствие капитана я начальник конторы. *(Гордо потягивается.)* Оказывается, я просто создан для должности начальника.

Катерина. Когда капитан вернется из города?

Макс. Ближе к вечеру. Ему надо позавтракать с некоторыми городскими тузами. Все это отнимает много времени!

Катерина. Я нисколько не боюсь капитана. Он такой добрый.

Макс. Мой старый друг — очень хороший человек. Никто не обладает таким любвеобильным сердцем.

Катерина хихикает, будто Макс очень удачно сострил.

А что скажет фрекен Катерина, у которой столько славных кавалеров? Например, этот слуга-англичанин?

Катерина. Джонсон хочет учить меня английскому. Сначала он объяснял мне, как двигается язык. Когда я говорю, язык должен касаться заднего нёба.

Макс. Филологический метод сближения с женщиной. *(Понимающе кивает.)*

Катерина. Но я лишь показала ему язык!

Макс *(наклоняется и глядит под стол, где стоит бутылка; убедившись, что она пуста, встает и идет к двери)*. Очень хочется пить. Пойду на кухню, достану бутылку пива. Пока фрекен Катерина остается за начальника конторы! *(Уходит.)*

Катерина заглядывает в кульки и пробует их содержимое. Недовольно морщится и сплевывает в корзину для бумаг. Потом возвращается к пишущей машинке и снова начинает упражняться. Слева входит секретарша, на ней дорожный костюм, в руке небольшой чемодан; увидев Катерину возле пишущей машинки, раздраженно ставит чемодан возле дверей.

Секретарша. Что ты здесь делаешь? На моем месте?

Катерина. Упражняюсь на машинке, больше ничего! Это ведь не твоя машинка! Она принадлежит имению!

Секретарша. А я думала, что ты уборщица.

Катерина. К твоему сведению, я посещаю вечерние курсы. И с уборкой скоро будет покончено.

Секретарша. Если ты хочешь добиться чего-нибудь, я дам тебе один хороший совет: всегда рассчитывай только на себя! Не воображай, пожалуйста, что какой-нибудь парень поможет тебе!

Катерина *(лукаво, как бы обдумывая совет)*. Да что ты говоришь?

Секретарша. Через постель многого не добьешься!

Катерина *(встает и отходит от стола)*. Неужели? Впрочем, кому, как не тебе, знать это! *(Другим тоном.)* Послушай: работа у нас с тобой разная, но в свободное время мы, в общем, занимаемся одним и тем же делом.

Секретарша. Одним и тем же делом? Что ты хочешь этим сказать?

Катерина. А то, что спим мы с одним и тем же парнем. Я кручу любовь с капитаном. Так же, как и ты.

Секретарша отступает на шаг и застывает, потеряв дар речи. Воцаряется тишина.

Ты секретарша, а я горничная. Но после работы мы занимаемся, в общем, одним и тем же.

Секретарша. Как ты смеешь говорить мне такие вещи? Ах ты наглая!..

Катерина. А почему бы мне не говорить, а? Почему бы нам не быть откровенными друг с другом?

Секретарша. Ты обвиняешь меня в том, что я вступила в связь с капитаном?

Катерина. Пожалуйста, можешь называть это связью. Если хочешь выражаться красиво.

Секретарша *(угрожающе наступает на Катерину)*. А ты, ты сама... негодная тварь!

Катерина. Я ведь прибираю у капитана в комнате. Однажды утром я заметила пятна от помады у него на подушке. И сразу узнала цвет: это твоя помада. *(Смотрит на губы секретарши.)* Да, я не ошиблась. Я спросила его, что это за пятна. Он ответил, что брился и порезался. И вот, дескать, остались пятна. *(Помолчав.)* Капитан — джентльмен.

Секретарша. Ах ты дрянь! Паршивая дрянь!

Катерина. Совсем нет! Но я осторожнее обращаюсь с помадой!

Секретарша. Какая же ты бесстыдница!

Катерина. Ты тоже спишь с капитаном. Почему же я должна стыдиться больше, чем ты?

Секретарша. Потому что ты хочешь сделать на этом карьеру! Наверное, капитан оплачивает твою учебу на курсах? Хочешь стать его секретарем?

Катерина. Хочу. Только сначала подучусь немного.

Секретарша. Не трудись понапрасну. Ты уже научилась всему, что от тебя нужно капитану.

Катерина. Чем больше знаешь и умеешь, тем лучше. И по отношению к капитану у меня самые честные намерения. Не в пример тебе!

Секретарша *(презрительно усмехается)*. Не тебе говорить о честности.

Катерина. Почему? Ведь я не хочу женить его на себе. А ты хочешь! И это уже нечестно.

С е к р е т а р ш а. А ты поступаешь честнее? Берешь деньги на обучение!

К а т е р и н а *(с оттенком превосходства, спокойно и деловито)*. Я лучше знаю мужчин, чем ты. И я дам тебе добрый совет: если хочешь выйти замуж, избегай постели!

С е к р е т а р ш а. Ну, ты сама, видно, не очень ее избегала. И получила неплохую подготовку в этих делах.

К а т е р и н а. Зачем ему теперь жениться на тебе? Ведь он уже получил от тебя все, что ему нужно. Если встретила человека, за которого непременно хочешь выйти замуж, не лезь к нему в постель. Ни в коем случае! А ты, наверное, была девушкой, когда встретила капитана? Я-то потеряла невинность давным-давно.

С е к р е т а р ш а *(огрызаясь)*. А ты вообще была когда-нибудь невинной? Что-то даже не верится.

К а т е р и н а. Я не могу понять мужчин. Все они хотят, чтобы каждая девушка была обязательно невинной. И в то же время каждый хочет лишить невинности всех девушек на свете.

С е к р е т а р ш а. Видимо, во всем, что связано с постелью, ты просто профессор.

К а т е р и н а *(довольная)*. Скоро я поступлю в коммерческую школу.

С е к р е т а р ш а. Неужели ты уже заработала на школу?

К а т е р и н а. А я и не сержусь на тебя за то, что мы делим одного и того же парня. Ни капли не сержусь.

С е к р е т а р ш а *(решительно, очень серьезно)*. Знаешь, что я тебе скажу? Отныне ты будешь владеть своим капитаном одна!

К а т е р и н а. Ведь у нас с тобой разные цели. Ты хочешь быть его женой, а я — секретаршей. Значит, наши дороги не пересекаются. Мы даже можем быть друзьями.

С е к р е т а р ш а *(более сочувственно, чем презрительно)*. Ты маленькая дура!

К а т е р и н а. Зря ты ругаешься!

С е к р е т а р ш а. Я тоже была дурой. Но теперь поумнела. И запомни: между мной и капитаном теперь все кончено! Я сама решила покончить с ним. Потому что

у меня есть то, чего тебе как раз не хватает, бедняжка! И место мое теперь тоже свободно!

Катерина *(широко раскрыв глаза)*. Ты с ним покончила? А я и не знала!

Секретарша. Скоро узнаешь! И еще о многом узнаешь. Только не думай, что я ухожу из-за тебя. О тебе я узнала только сейчас. Но это ничего не меняет. Хуже быть не может! Хуже того, что... я узнала раньше. *(Таинственно.)* И запомни: прежде чем ты слишком привяжешься к какому-нибудь мужчине, постарайся узнать, что он за человек!

Катерина *(смотрит на дорожный костюм секретарши)*. Почему ты так оделась сегодня? Ты уезжаешь? Зачем тебе чемодан?

Секретарша. Мое место теперь свободно. Занимай его! И будь здорова!

Катерина. Ты сошла с ума! Неужели ты действительно уезжаешь? Где ты найдешь более теплое местечко, чем здесь?

Секретарша. Садись на это теплое местечко, и желаю тебе удачи!

Катерина. Вот это да-а! *(Пауза)*. Ну, мне пора убирать. Я ведь удрала от них. *(Смотрит на секретаршу с удивлением, почти с испугом.)* Какая ты чудна́я! Что же случилось?

Секретарша. Не беспокойся, узнаешь! Скоро!

Катерина. Ну, мне пора бежать. А то обе тетки еще разорутся. Пока! *(Накрывает машинку чехлом и убегает налево.)*

Секретарша *(сочувственно смотрит вслед Катерине)*. Эх ты дуреха! *(Быстро подходит к окну, выглядывает, возвращается к двери, ведущей в каморку, открывает ее, заглядывает туда и снова закрывает дверь; потом рывком открывает несгораемый шкаф, вынимает оттуда большое досье с делами и кладет в свою сумку. Идет к левой двери, на пороге останавливается и поворачивается, окидывает взглядом контору, словно прощается с ней. Потом уходит налево.)*

Через ту же дверь входят, беседуя, Руди и Франк.

Руди *(обернувшись на пороге, смотрит вслед секретарше)*. Как она вылетела отсюда!

Руди и Франк пришли с работы. На них грубые спецовки и резиновые сапоги. Руки в грязи. Оба мрачные и злые.

Франк. В конторе никого!

Руди. А где же хромой?

Франк. Он обычно дрыхнет там. *(Открывает дверь направо, заглядывает в комнату и снова затворяет дверь.)* Его там нет! Днем он обычно валяется на диване!

Руди. Никого! А нам непременно надо получить зарплату.

Франк *(возмущенно)*. Сюда кто угодно может войти и стянуть что-нибудь! Как, по-твоему, хромой управляется с бухгалтерскими книгами? Сейчас в них наверняка сплошная мешанина.

Руди. А новый староста не отличает овса от пшеницы! Ну не дьявольщина ли?

Франк *(принюхивается к своей блузе)*. Ох и запашок же от этих тварей! А хуже всех воняют гиены.

Руди. Я проработал здесь старостой тридцать лет. А когда пришла старость, они заставили меня ловить вшей на обезьянах и убирать грязь за верблюдами!

Франк *(смотрит на руки)*. Всю жизнь я просидел в конторе. И руки у меня отвыкли от грубой работы. Смотри, как полопалась кожа!

Руди. Зло берет! Нет больше сил терпеть все это безобразие. *(Помолчав, осторожно, понизив голос.)* Больше я не мог выдержать! И сделал это!

Франк. Что сделал?

Руди. То, что надо было сделать давным-давно. Я сообщил о капитане.

Франк *(испуганно)*. Кому сообщил? Куда?

Руди. В полицию, конечно.

Франк *(еще более испуганно)*. Что ты наделал! Ты был в полиции?

Руди. Ну не сам, конечно. Я написал заявление начальнику полиции.

Франк. Что же ты написал?

Руди. Что ему следует наведаться сюда и проверить, как капитан управляет имением.

Франк. Ты подписал письмо?

Руди. Ты думаешь, я такой дурак?

Франк. Значит, заявление анонимное?

Руди. Именно. Я ведь знаю, что делаю. Я написал анонимное заявление на управляющего от моего и твоего имени.

Франк *(в ужасе)*. Ты и меня запутал?

Руди. Я подписал заявление так: «Друзья честности и справедливости». Это мы с тобой.

Франк. Что ты наделал!

Руди. Написал большими буквами: «Друзья честности и справедливости». И начальник полиции поймет, что все это истинная правда.

Франк. Сам заварил кашу с письмом, сам и расхлебывай ее.

Руди. А ты разве не друг честности и справедливости?

Франк. Ты прекрасно знаешь, что друг. Но я не хочу быть замешанным в эту историю.

Руди. Неужели ты такой трус, что не хочешь подписаться даже под анонимным письмом?

Франк. По-моему, если боишься подписаться своим настоящим именем, то уж лучше молчать. Понимаешь, я... никогда не впутывался в такие дела. А кто не впутывается, тому не нужно и выпутываться!

Руди. Значит, и ты не хочешь! *(Разочарованно.)* Капитан околдовал нашу мадам. Ты, Роза и я — единственные ее друзья. Но Роза тоже не хочет помочь мне. Она лишь твердит: «Не вздумай очернить капитана! Иначе тебе будет плохо!» Она полагает, что я просто хочу свести с ним счеты. Но ведь должны же мы попытаться как-нибудь открыть мадам глаза!

Франк. Ты совершил опрометчивый поступок, в котором скоро раскаешься. Когда ты послал письмо начальнику полиции?

Руди. Сегодня утром. Так что полиция скоро будет здесь!

Франк. Что ты скажешь, когда они придут?

Руди. Говорить будешь ты! Ты расскажешь все, что знаешь.

Франк *(вздрагивая)*. Нет-нет! Не пытайся спрятаться за мою спину! Я ничего не знаю!

Руди. Но ты же не станешь отказываться от своих слов? Ты помнишь, что говорил мне о махинациях с продажей леса?..

Франк. Я ничего тебе не говорил. В присутствии свидетелей.

Руди. Значит, ты отказываешься от своих слов?

Франк. Я ничего не знаю! Запомни это. Я не хочу, чтобы меня впутывали в эту историю! Я всю свою жизнь был и остаюсь честным человеком!

Руди (*возмущенно*). Но какая польза от твоей честности, если ты такой жалкий трус?

Слева доносятся громкие постукивающие шаги.

Франк. Тсс! Тихо! Хромой!

Слева входит Макс, он в хорошем настроении, очень довольный, курит большую сигару.

Макс. Оказывается, здесь посетители! (*Уверенным начальническим тоном.*) Чем могу быть полезен господам?

Руди. Мы хотели бы получить зарплату за прошлый месяц!

Франк. Мы до сих пор никак не можем получить деньги.

Оба смотрят на Макса с величайшей неприязнью.

Макс (*разглядывает их рабочие блузы и разводит руками*). Каждый рабочий имеет право на зарплату! И я весьма сожалею, что у нас нет сегодня наличных денег!

Руди (*твердо*). Но нам обещали выдать зарплату сегодня!

Макс. Капитана нет. Я его правая рука. Так сказать, его министр финансов. Значит, зарплату выплачиваю я. И вы можете положиться на меня. Впрочем, лучше зайдите завтра. Завтра у нас будут наличные деньги. Очень кругленькая сумма! На расходы... расходы... Вы не можете себе даже представить, какие у нас расходы! Обычно я беру свою заработную плату вперед, а в этом месяце мне пришлось отказаться.

Руди. Мы больше не можем ждать!

Франк. Да, не можем.

Макс. И все-таки приходите завтра! Попытайтесь еще раз! Лучше всего утром! Пока еще будут деньги! Непременно попытайтесь! Сегодня вам просто не повезло! Нет денег! (*Берет со стола несколько кульков и протягивает их Руди и Франку.*) Не хотят ли господа чего-нибудь взамен? Не угодно ли винную ягоду?

Франк и Руди. Нет, спасибо!.. Большое спасибо!.. Спасибо!..

Макс. Тогда, может быть, изюм?

Франк и Руди отрицательно качают головами.

Не угодно? Когда меня подмывает выпить чего-нибудь покрепче, я обычно жую винную ягоду. Помогает. Очень сожалею... но сегодня я вам ничего другого предложить не могу. Приходите завтра! Вы здесь всегда желанные гости! Всегда! Извините меня, пожалуйста, но в это время я люблю соснуть часок-другой. Сон очень освежает. Так что разрешите мне удалиться. До завтра! Всего доброго! *(Дружелюбно кивает Франку и Руди, выходит в комнату направо и затворяет за собой дверь.)*

Руди. Ну не хамство ли?

Франк. Хотел бы я знать, что происходит с бухгалтерскими книгами. *(В голосе его звучит негодование человека, привыкшего к порядку.)*

Руди *(с надеждой)*. Ничего, теперь в любой момент может прийти полиция!

Франк. Но я ничего не знаю. И нет никаких доказательств...

Руди. Подожди немного — и ты увидишь! Когда полиция начнет ворошить все это дерьмо!

Беседуя, уходят налево.

Мадам и профессор возвращаются с прогулки. Останавливаются в дверях.

Профессор *(смотрит на зеленеющие сады за террасой; в его голосе звучат лирические нотки)*. Какая изумительная идиллия! Вечный нерушимый покой! Никакое зло никогда не проникнет сюда! Здесь мы живем, словно в сказочном неприступном замке! *(Задыхаясь.)* Мы прогуливались в довольно быстром темпе. Мадам — удивительно выносливая женщина. А я совсем запыхался.

Мадам. Давайте сядем и отдохнем немного на террасе. Вам не холодно, профессор?

Профессор. Да, немного холодно. Видно, я простудился. *(Кашляет.)*

Мадам. Тогда зайдем в комнату.

Садятся в кресла.

Вы видели мой портрет, который висит здесь? *(Показывает.)* Это управляющий приказал повесить его здесь.

Профессор. Великолепный портрет! Какое сходство!

Мадам. Его нарисовал сын того великого художника, который создал портрет короля, висящий в библиотеке. Юноша гостил у меня все лето. О, это удивительный человек. *(Вздыхает.)* Да, я совсем забыла: ведь профессор еще не видел королевской постели. Король Александр Девятый лежал на ней, когда был здесь в последний раз в тысяча девятьсот пятом году. С тех пор ее не застилали. На подушке до сих пор можно различить небольшое углубление, оставшееся после головы его величества. *(Взволнована.)*

Профессор. Царствование старого короля было весьма счастливым для нашей страны. Он был мудрый правитель. И никогда не вмешивался в дела государственного управления.

Мадам *(оглядывается)*. А капитан еще не вернулся из города? Мой дорогой Дикки... он так занят. Ни минуты покоя! Первый встает, последний ложится!

Профессор. По-видимому, у мадам очень способный управляющий.

Мадам. Он заставил моих людей работать как следует... прежде всего своим личным примером. Теперь они работают даже сверхурочно.

Профессор. В наше время без личного примера не обойтись... если хочешь заставить людей работать.

Мадам. Отец предпочитал в подобных случаях умеренное рукоприкладство. Он был глубоко религиозным человеком.

Профессор. Конечно, это превосходное средство убеждения, но оно было действенным, когда люди боялись бога, а в наше безбожное время на рукоприкладстве далеко не уедешь.

Мадам. Когда капитан впервые обратился к народу, он сказал: «Я хочу превратить это поместье в образцовое хозяйство, которое прославится на все королевство. Кто хочет помочь мне?» И все, как один, подняли руки.

Слева быстро входит Бернгард, в пальто и с портфелем под мышкой.

Бернгард. Какие гости в моей конторе!

Мадам. А мы сидим и говорим о нашем дорогом Дикки.

Бернгард. Обо мне? Правда? Неужели все остальные темы уже исчерпаны? *(Быстро подходит к*

мадам и целует ей руку.) Сисси! Моя дорогая владычица! Я задержался в городе...

Мадам. Я только что показала профессору мой портрет. Профессор считает, что он очень похож.

Бернгард. Не правда ли, профессор? *(Смотрит на портрет.)* И, вероятно, профессор заметил еще одно разительное сходство: между живым оригиналом, который здесь присутствует, и портретом короля в библиотеке?

Профессор *(озадачен, не знает, что сказать).* Гм... да... гм... м-да... конечно...

Бернгард *(доверительно, с ударением).* Я полагаю, что профессор уже знает родословную нашей хозяйки? Знает, что это высочайшая родословная? *(Садится на свое место за столом и с раздражением отодвигает кульки.)*

Профессор *(смущенно, словно эта тема ему неприятна).* Мадам оказала мне честь своим доверием.

Мадам. Поскольку профессор пишет историю моего рода.

Бернгард. Тогда мы можем говорить совершенно откровенно.

Мадам. Король Александр, мой отец, был царствующим монархом. Он не был свободным человеком. И поэтому не мог жениться на моей матери. И все-таки она была счастлива. Очень счастлива. Она отдала все самое дорогое своему королю. Чего еще может желать женщина?

Бернгард. Только одного: стать королевой!

Мадам. Конечно, обидно, когда тебе отказывают в официальном признании твоего высокого родства.

Бернгард. Интересно, а что ощущает человек, в жилах которого течет королевская кровь? У него дух не захватывает от восторга?

Мадам. Когда я вижу на обложке «Четверга» королеву или кого-нибудь из принцесс, мною овладевают самые противоречивые чувства. Ведь и я могла бы быть на обложке! У меня тоже есть на это право! Ибо моя мать разделила ложе с королем. Следовательно, у меня есть право претендовать на то, чтобы «Четверг» опубликовал на обложке и мою фотографию. Как вы думаете, профессор, мои притязания не чрезмерны?

Профессор. Напротив, они весьма умеренны.

Мадам. И все-таки моей матери можно только позавидовать! В наше время осталось всего лишь несколько королей. Считанные единицы. А сколько женщин мечтает о великом счастье — лечь в постель с королем!

Бернгард. Если сравнить количество женщин во всем мире с количеством королей, то нельзя не признать, что практически вероятность подобного счастья ничтожно мала.

Профессор *(словно читает лекцию)*. Как историк, я считаю, что короли милостью божьей — это своеобразные символы, живые анахронизмы. Они отмечены печатью вечного величия, которое вызывает у нас благоговение. Черты их лица отражают божественный свет.

Бернгард. Какие именно черты, по-вашему, отражают этот свет?

Профессор. У Габсбургов и Бурбонов — рот. Хорошими мозгами они не отличались. И все их божественное величие оказалось сосредоточенным в нижней сильно отвисающей губе.

Мадам. А в чем величие у нашей королевской династии?

Профессор. Наша династия не такая древняя, чтобы у ее представителей уже могли сформироваться какие-то постоянные черты.

Бернгард. Разумеется. Ведь наш королевский род происходит от мелких буржуа, простых и работящих. А отец основателя династии был портным.

Мадам *(шокированная)*. Как не стыдно! Фу!

Бернгард. Но, кстати, он прекрасно шил и отличался завидным трудолюбием.

Мадам. Это не имеет ровно никакого значения. И это неправда! Не так ли, профессор?

Профессор. Как тривиальный исторический факт это соответствует действительности. Но, с точки зрения исторической правды, в высоком смысле этого слова, подобные факты не имеют абсолютно никакого значения. Так что, исходя из нашего понимания исторической правды, мадам совершенно права.

Мадам *(Бернгарду, с мягким укором)*. Спасибо профессору! Наука поддержала меня!

Бернгард *(моля о пощаде)*. Прошу простить меня, если я обидел свою владычицу.

Мадам *(смягчаясь)*. Дикки иногда шутит немного дерзко... Но таково уж Диккино обаяние!

Бернгард *(понизив голос до интимного шепота)*. Сисси знает... я ни на миг не забываю, что служу королевской дочери!

Мадам *(поднимается)*. Простите меня, господа! Королева Мария сегодня ожеребится... Она моя любимая кобыла! Я должна пойти на конюшню и взглянуть на нее. *(Уходит через террасу.)*

Профессор. Теперь, капитан, когда мы остались одни, я хотел бы поговорить с вами совершенно конфиденциально. Речь идет о родословной мадам. Я еще не говорил с ней по этому поводу. И мне хотелось бы, чтобы все это осталось между нами... до поры до времени.

Бернгард. По-моему, профессор может положиться на мое умение молчать.

Профессор. Благодарю... Итак... *(Наклоняется к Бернгарду и говорит, отчетливо выделяя каждое слово.)* В результате своих исследований я пришел к выводу, что мадам не может быть дочерью короля Александра Девятого.

Бернгард *(невозмутимо)*. Вы почерпнули это из первоисточников?

Профессор. Именно. Мадам родилась седьмого июля тысяча восемьсот девяносто пятого года. Между тем с июня тысяча восемьсот девяносто четвертого года по февраль тысяча восемьсот девяносто пятого года король совершал путешествие по Италии и Испании. И все это время матушка нашей мадам находилась в имении. Следовательно, старый король не может быть отцом мадам... по чисто биологическим причинам.

Бернгард. Это звучит очень убедительно. В современных условиях родители должны встретиться хотя бы один раз в жизни.

Профессор. Это совершенно необходимый минимум, без которого никак нельзя обойтись. В качестве доказательства королевского отцовства приводился охотничий календарь за тысяча восемьсот девяносто четвертый год. Тем не менее официальные документы свидетельствуют о том, что осенью тысяча восемьсот девяносто четвертого года король не охотился на лося. Не охотился он ни в предыдущий, ни в последующий год. Кроме того, исходя из целого ряда источников, можно предполагать, что в данный период времени метрессой короля была совсем другая женщина.

Бернгард. Сообщение профессора не является для меня новостью.

Профессор *(удивленно)*. Как, вы знали, что мадам не дочь короля?

Бернгард. Да, я знал об этом от моего друга принца. И если я только что поддержал разговор на ее излюбленную тему, то сделал это только для того, чтобы доставить ей удовольствие.

Профессор. Но вы ведете себя так, словно разделяете заблуждение мадам!

Бернгард. Разумеется... из сострадания к ней. Еще совсем маленькой девочкой она играла в переодетую принцессу. Это была волшебная сказка, которая постепенно стала ее жизнью. Теперь мадам убеждена, что она — королевская дочь, и уже не помнит о тех разочарованиях, которые ей пришлось перенести как женщине. Она живет в сказке, которую сама сочинила.

Профессор *(взволнованно)*. Какое страшное заблуждение!

Бернгард. Переодетая принцесса — это стало главной ролью всей ее жизни. У кого хватит жестокости отнять у нее эту роль?

Профессор *(взволнован)*. Но мадам может говорить об этом лишь в самом узком кругу. Между тем она обратилась ко мне за научным подтверждением своего королевского происхождения. Вы понимаете, капитан, она хочет быть представлена в моей книге как дочь Александра Девятого!

Бернгард. А, понимаю, мадам хочет остаться в памяти людей как принцесса.

Профессор. Вот потому-то все дело и принимает такой серьезный оборот. Даже если бы старый король и на самом деле был ее отцом, я все равно не мог бы написать об этом в книге, поскольку речь идет о царствующей ныне династии.

Бернгард. Простите, профессор, но я не понимаю. Если бы ее королевское происхождение оказалось фактом...

Профессор *(энергично прерывает)*. Иногда факты могут нанести непоправимый вред высшим государственным интересам. Как историк я принадлежу к прагматической школе. Мы руководствуемся словами Гете: «Was fruchtbar ist, allein ist wahr». В применении к исто-

рическому исследованию это означает: «Правда лишь то, что служит интересам родины».

Б е р н г а р д. Разумеется, всякие предосудительные связи чрезвычайно пагубны для королевского достоинства. Князья должны возвышаться над народом.

П р о ф е с с о р. Королевскую кровь следует расходовать крайне экономно.

Б е р н г а р д. Александр Девятый, по-видимому, был довольно расточителен в этом отношении?

П р о ф е с с о р. К сожалению, после него осталось немало незаконных детей. Я знаю одного из его внебрачных сыновей. Ему уже семьдесят пять лет.

Б е р н г а р д. Это, так сказать, внебрачный старикашка.

П р о ф е с с о р. Если бы речь в данном случае шла не о царствующей династии, то я мог бы еще научно обосновать ее королевское происхождение. Но при нынешних обстоятельствах это было бы изменой нашему королевскому дому, преступлением против совести. Я не могу пойти на это. *(Помолчав.)* Недавно я побывал в Швеции. Условия жизни там удивительно напоминают нашу страну, хотя она и меньше, и, должен сказать, монархия там держится очень крепко.

Б е р н г а р д. Ничего удивительного: просто социал-демократическое правительство сумело вложить в монархию совершенно новое содержание. И придать ей чисто коммерческую ценность.

П р о ф е с с о р. Простите... но я не совсем улавливаю.

Б е р н г а р д. Монархам их королевское происхождение заменяет профессию. Лишь в наше время оно стало приносить определенную прибыль... то есть оказалось доходным экономически... Многим лицам королевского происхождения пришлось использовать рекламную стоимость своих высочайших имен, чтобы стесненные обстоятельства не заставили их зарабатывать себе на хлеб насущный в поте лица. Я знаю одного престарелого принца, из бывших, который работает коммивояжером. И знаете, что он продает? Кока-колу!

П р о ф е с с о р *(чрезвычайно шокированный)*. Какое неслыханное унижение королевского достоинства!

Б е р н г а р д. Именно! Если бы это было хотя бы шампанское! *(Немного помолчав.)* Даже бывшие монархи могут сейчас неплохо подрабатывать. Недавно в

ночном клубе в Монте-Карло я встретил бывшего египетского короля Фарука. С тех пор как он стал постоянным посетителем этого клуба, оборот заведения увеличился в пять раз. А бывший король получает тридцать процентов со сбора!

Профессор *(все более сдержанно и холодно)*. По-видимому, капитан изучал историю лишь тех королевских домов, которые постигла трагическая гибель?

Бернгард. Я думаю, что нам следует взять пример со Швеции и установить у себя коммерционную монархию.

Профессор. Вы имеете в виду конституционную монархию?

Бернгард. Нет, я сказал — коммерционную, а попросту говоря — коммерческую. И если мы установим у себя эту форму государственного управления, у нас будут все основания рассчитывать на полную поддержку прессы.

Профессор *(шокирован, почти потерял дар речи)*. Насколько я понимаю, капитан изволит шутить?

Бернгард. Напротив, я говорю совершенно серьезно. Вы, так сказать, романтик старой королевской школы. А я — реалист. И я полагаю, что если монархии суждено выжить, то она должна приспособиться к требованиям, предъявляемым ей нашим в высшей степени меркантильным веком...

Профессор *(встает)*. Я очень устал после прогулки. Поднимусь к себе и немного отдохну перед обедом. Извините... *(Явно оскорбленный, кланяется, чопорно и с достоинством. Уходит.)*

Бернгард, усмехаясь, глядит ему вслед, садится за стол. Несколько секунд с террасы доносятся голоса мадам и профессора. Потом в комнату входит мадам.

Мадам. Мы ужинаем в половине восьмого, профессор! *(Бернгарду.)* Ах, как я люблю аромат конюшни! Настоящий аромат конюшни! *(Втягивает носом воздух.)*

Бернгард *(встает и предлагает ей кресло)*. Да, запах лошадиного крупа оказывает удивительно стимулирующее действие. В нем есть нечто чувственное. Да... как дела у Королевы Марии?

Мадам. Думаю, что сегодня вечером ничего не случится. И все-таки мне пора назад в конюшню. Ко-

роль Альфред растянул себе левую заднюю. Мой лучший жеребец...

Из комнаты направо доносится похрапывание.

Бернгард *(беспокойно поглядывает на дверь)*. Сисси, мне придется занять тебя на несколько секунд делами. Очень жаль, но...

Мадам *(садится)*. Пожалуйста, милый! Пожалуйста! Если только я смогу тебе помочь!

Бернгард. Речь идет об одном деле, по которому сам я не могу принять окончательное решение. Кроме того, оно касается и принца. Ведь он обещал приехать на наш праздник урожая.

Мадам. Да, как раз в письме, которое я получила вчера. Мой принц пишет из Парижа. Он пробудет там около месяца. У него есть несколько родственников в кругах высшей французской аристократии.

Бернгард. А теперь о нашем деле. *(Вынимает из письменного стола большой лист бумаги.)* Это мой план производства сельскохозяйственных продуктов в имении на следующий год. Я уже говорил об основных деталях этого плана. Следовательно, Сисси знает, что плановая прибыль от имения возрастет еще на пятьдесят процентов.

Мадам *(восхищенно кивает головой)*. Да! Да!

Бернгард. Для этого нам придется призвать весь персонал имения работать сверхурочно! А как сделать, чтобы наши люди трудились еще более напряженно, чем раньше? Так вот... Мне пришла в голову блестящая идея! Надо создать для нашего персонала специальную медаль — знак отличия, которым награждают за особые заслуги! *(Достает из письменного стола большую блестящую медаль из серебра и передает ее мадам.)*

Мадам. Что наш Дикки еще придумал?

Бернгард. Это модель серебряной медали, выгравированная нашими лучшими мастерами. Самая большая медаль в нашей стране.

Мадам *(радостно созерцая медаль)*. О! Принц!

Бернгард. Да, с барельефом принца.

Мадам. Мой сказочный принц выгравирован на модели! Очаровательно!

Бернгард. Я думаю назвать эту медаль «Медалью Принца» и предлагаю в праздник урожая награ-

дить этим почетным знаком отличия всех рабочих и служащих имения.

Мадам. Что? Наградить всех этой красивой медалью? Но ведь среди них есть немало лентяев, которые ничего не хотят делать. Они целыми днями валяются дома на диване и насчитывают себе рабочие часы.

Бернгард. Их мы должны наградить в первую очередь, ибо они больше всего нуждаются в поощрении!

Мадам. Как? Поощрять людей, которые не желают работать?.. Поощрять бездельников и лентяев?..

Бернгард. Да, ибо им медаль доставит наибольшую радость! Те, что умеют и любят работать, обойдутся и без медали. А вот люди менее одаренные, менее способные и менее трудолюбивые больше всего нуждаются в поощрениях и знаках отличия.

Мадам. Но ведь их и так чествуют в дни рождения. Разве этого недостаточно?

Бернгард. Но в долгие месяцы между днями рождения о них совершенно забывают. Тогда они начинают нервничать, злиться и завидовать всему миру. И в стране возникает недовольство. Нет, когда награждаешь знаками отличия, нужно прежде всего думать об обиженных богом и людьми.

Мадам *(кладет свою руку на его руку)*. Я все понимаю: это говорит доброе Диккино сердце.

Бернгард. Я хочу укрепить веру нашего народа в свои силы: ведь чем больше человек получает орденов и медалей, тем тверже он убежден, что получит еще больше самых высоких знаков отличия!

Мадам. Дикки может поступать так, как считает нужным.

Бернгард. Тогда я заказываю двести экземпляров. И принц сам будет вручать медали на празднике урожая! Своей собственной рукой! У всех награжденных это останется в памяти на всю жизнь! А на будущий год... новая медаль, с новым барельефом... одной женщины!

Мадам *(просияв)*. Какой женщины?

Бернгард. Самой женственной из всех женщин, которых я встречал!

Мадам *(встает, целует Бернгарда в щеку)*. Дикки — darling! [1].

---

[1] Дорогой! *(англ.)*.

Время от времени из комнаты направо доносится похрапывание. Внезапно звуки становятся громче, и мадам начинает прислушиваться. Что там за шум?

Бернгард. Я запер там свою овчарку. Вот она и рычит.

Мадам. Мне пора обратно на конюшню. А у бедного Дикки, насколько я понимаю, работы по горло.

Бернгард. К сожалению, дорогая Сисси, у меня очень много работы! А сегодня со мной произошла забавная история. Оказалось, что клеветническая кампания против меня продолжается. Мои завистники не унимаются.

Мадам. Что же они опять натворили?

Бернгард. Для того чтобы выжить меня отсюда, они обратились... знаешь куда, дорогая Сисси?

Мадам. Не знаю...

Бернгард. В полицию!

Мадам. Что? При чем тут полиция?

Бернгард. Начальник полиции получил анонимное письмо. Естественно, он переслал его мне. Отправители письма хотят, чтобы начальник полиции прибыл сюда и проверил, как я осуществляю управление имением.

Мадам *(с негодованием)*. Это самая величайшая наглость, о которой я только слышала за всю свою жизнь!

Бернгард. Письмо подписано: «Друзья честности и справедливости».

Мадам. Какая подлость! Какая неслыханная подлость!

Бернгард *(со смехом)*. Начальник полиции, конечно, воспринял это письмо иронически. И прислал его мне, чтобы я знал, что у меня есть тайные враги.

Мадам *(сжимая руки в кулаки и потрясая ими)*. Какие скоты! Какие презренные негодяи!

Бернгард. Я произвел некоторые перемещения среди здешнего персонала, и это озлобило их. *(Осторожно, зондируя почву.)* Кроме того, им хотелось очернить меня в глазах моей владычицы.

Мадам. Ну нет! Они же понимают, что из этого у них ничего не выйдет. Мои люди хорошо знают меня. Я заткну рот любому клеветнику. И если кто-нибудь попытается восстановить меня против моего управляющего, это будет его последний день у меня на службе.

Б е р н г а р д. Я рад, что сохранил доверие моей владычицы.

М а д а м. Этих гнусных анонимщиков надо арестовать! Трусливые мерзавцы!

Б е р н г а р д. Не придавайте этому значения.

М а д а м. Их надо высечь плетьми!

Б е р н г а р д. Принц сообщил властям, что я здесь нахожусь по его поручению и он целиком и полностью отвечает за меня. Так что мне можно не бояться завистников!

М а д а м *(топает ногами)*. Никто не смеет обижать моего Дикки... *(Идет к дверям.)*

Б е р н г а р д *(идет следом за ней)*. Спасибо, моя дорогая Сисси! Скажи, когда мы совершим небольшую воздушную прогулку? На моем маленьком самолетике?

М а д а м. Завтра, мой капитан! Если будет хорошая погода! *(Кивает ему и уходит.)*

Бернгард возвращается к письменному столу и роется в груде писем. Справа появляется М а к с, заспанный, взъерошенный. Он лежал в своем новом костюме, который весь помялся.

М а к с *(широко зевает, небрежно здоровается, подняв руку)*. Привет.

Б е р н г а р д *(саркастически)*. Как изволили поспать?

М а к с. Неважно! *(Снова зевает.)*

Б е р н г а р д. Все бездельничаешь?

М а к с. Скажи, ну что ты усматриваешь плохого в безделье? По-моему, это высокое и вполне законное наслаждение.

Б е р н г а р д. И все же я попрошу тебя наслаждаться немного потише в рабочее время!

М а к с *(разваливается в кресле)*. У шефа сегодня плохое настроение? Ты просто неблагодарный! У тебя все идет прекрасно! Мне лично моя работа очень нравится. Живем мы здесь как у Христа за пазухой. И, по-видимому, будем жить так до тех пор, пока с принцем чего-нибудь не случится!

Б е р н г а р д *(бросает на него быстрый взгляд)*. А что может с ним случиться?

М а к с. Представь себе, что он вдруг потерял свой высокий титул.

Б е р н г а р д. Каким образом?

М а к с. Ну... тогда представь, что он женился на девушке из народа.

Б е р н г а р д. Никогда в жизни он не женится на девушке из народа. Он отлично знает, чем обязан своему высокому титулу... И чем он обязан мне!

М а к с *(удовлетворенно)*. Ты успокоил меня, мой друг. Что же касается мадам... то из нее ты можешь хоть веревки вить. Кстати, как это тебе удалось?

Б е р н г а р д. Разочаровавшись в любви, мадам из мести подчинила себе всех, кто ее окружает. Впервые она встретила человека, который подчинил ее своей воле. И эта возможность подчиняться доставляет ей неслыханное наслаждение!

М а к с. Она относится к тебе как к сыну. А почему бы ей не усыновить тебя? Постарайся уговорить ее. Так, на всякий случай. И тогда ты сам будешь чувствовать себя гораздо уверенней.

Б е р н г а р д. Заткнись!

М а к с. А ведь стоит тебе захотеть — и она наверняка усыновит тебя. Ведь ты настоящий волшебник! И знаешь, чего хочет мир! А мир хочет быть обман... Впрочем, я не буду произносить это гадкое слово. Просто со своими волшебными чарами ты приносишь миру именно то, что он хочет... Да, слава тебе, господи, за то, что люди еще верят в волшебство!

Б е р н г а р д *(разбирает новую пачку писем)*. Почему утренняя почта даже не вскрыта? Что это значит? Что делает мой секретарь?

М а к с. У нее же сегодня выходной день.

Б е р н г а р д. Я ей не давал никакого выходного.

М а к с. Во всяком случае, я не видел ее в конторе.

Б е р н г а р д. Ты вообще не видел ее сегодня?

М а к с. Нет, после обеда я ее видел. Она была с чемоданом и одета, словно собралась куда-то ехать.

Б е р н г а р д *(вскакивает, охваченный внезапной тревогой)*. Куда-то ехать?

М а к с. Да, и поэтому я решил, что ты дал ей сегодня выходной.

Б е р н г а р д *(быстро ходит взад и вперед по комнате)*. Ни черта я ей не давал И вообще увольняю ее в конце этого месяца... Понимаешь... Одним словом, больше я не могу на нее положиться.

М а к с. Послушай... а зачем ты ей внушил, будто ты женат?

Бернгард. Она тебя об этом спрашивала?

Макс. Спрашивала. И я сказал ей правду: что ты холостяк! Что у тебя никогда не было никакой жены!

Бернгард *(останавливается)*. А, теперь я понимаю! Это ты все ей выболтал! Из-за тебя она перестала мне доверять! Это все твоих проклятых рук дело!

Макс *(удрученно, искренне)*. Но понимаешь... я был вполне лоялен по отношению к тебе... абсолютно лоялен! Если бы ты сказал мне, что я должен говорить!..

Бернгард. Другие скрывают, что они женаты. А я должен был скрывать, что не женат.

Макс. Чтобы защититься от жаждущих замужества женщин?

Бернгард. Из чувства самосохранения. И чтобы не вселять в женщин несбыточных надежд. Я всегда был честен... в этом отношении.

Макс. Мой друг! Расскажи мне подробно все, что ты наврал им о себе. А я заучу это наизусть и никогда больше так бездарно не подведу тебя!

Бернгард. Моя секретарша патологически ревнива. Она почти невменяема.

Макс *(испытующе смотрит на него)*. Ты в чем-то подозреваешь эту девчонку?

Бернгард. Она лазила в мои бумаги. Она думает, что... Неужели это возможно? *(Внезапно у него рождается подозрение.)* Неужели это возможно? *(Бросается к несгораемому шкафу.)* Комбинация?.. Значит, она разобралась и в этом?

Макс. Комбинация цифр от замка несгораемого шкафа? Ведь ты держал это в тайне даже от меня!

Бернгард *(быстро открывает несгораемый шкаф, смотрит на пустую полку и снова закрывает его; бледнеет, закусывает губу)*. Так, это оказалось возможным!.. Оказалось возможным!..

Макс *(тоже забеспокоившись, встает)*. Что такое? Чего-нибудь не хватает?

Бернгард. Сегодня лазили в шкаф! Прямо у тебя под носом! *(На его лице появилось выражение твердой решимости. Быстро набирает номер телефона.)* Алло... Это полиция?.. Пожалуйста, соедините меня с начальником полиции... Благодарю... Говорит капитан Бернгард. Добрый день, начальник... Благодарю, прекрасно. Как там у вас?.. Я звоню к вам по одному неприятному делу.

У меня украли досье с моими материалами... Да, чисто личного порядка... И я подозреваю своего секретаря... Мне пришлось уволить ее. И сегодня она скрылась... Что, она уже там? Как я и подозревал!.. Она знает дорогу... Хочет отомстить мне. У нее навязчивая идея... Да... Нет, я не хочу писать никаких заявлений. И не хочу привлекать ее к судебной ответственности. Просто пришлите мне мое досье... Не надо его открывать, я уверен, что все в порядке... Чудесно... *(С облегчением.)* Спасибо. Большое спасибо... Потом пусть идет куда хочет... У нее нервная депрессия... Да-да... Именно... Как раз сегодня я получил весточку от его королевского высочества. Он приедет на праздник урожая. Очень просим вас пожаловать к нам, и тогда я исполню свое обещание... Передайте привет супруге... Нет, пожалуйста. Я делаю это с величайшим удовольствием...

Макс *(узнав о пропаже досье, беспокойно ходит по конторе. Однако во время разговора Бернгарда с начальником полиции постепенно успокаивается. Лицо его просветлело; он снова разваливается в кресле. Смотрит на Бернгарда, и с его уст срываются какие-то невразумительные звуки, выражающие безграничное восхищение).* Великолепно! Какой изумительный ход! *(Начинает аплодировать.)*

Медленно опускается занавес.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Контора

Сегодня праздник урожая, он начинается через час. Стены конторы украшены зеленью, портрет мадам обрамлен венком из роз, под потолком висят гирлянды цветов. В саду горят разноцветные фонари, которые просвечивают сквозь стеклянную дверь, развеваются флаги. Духовой оркестр пробует инструменты; в течение всего акта звучат отрывки мелодий из различных произведений. Этот музыкальный аккомпанемент в какой-то мере отвечает характеру сцен.
В комнату с террасы входят мадам и Бернгард, они беседуют. На мадам красивый разноцветный национальный костюм; Бернгард в элегантном белом костюме.

Бернгард. А вечером мы зажжем в саду большой фейерверк. Когда наступят сумерки.

Мадам. Дикки все предусмотрел, обо всем подумал! Вот это будет праздник!

Бернгард. Мы имеем полное право как следует отпраздновать этот день. Ведь мы собрали самый большой урожай в истории имения!

Мадам. И за это я должна благодарить своего управляющего.

Бернгард *(скромно)*. Прежде всего возблагодарим господа и прекрасную погоду! *(Смотрит на платье мадам.)* Примите, мадам, мое неподдельное восхищение! Совершенно изумительный национальный наряд!

Мадам *(подбоченившись, слегка позируя)*. Это наряд моей матери. Орнамент семнадцатого века. Мама была в этом наряде, когда король Александр впервые увидел ее.

Бернгард. В таком платье действительно можно соблазнить и самого короля!

Мадам. Чудесное платье, не правда ли? Время словно не коснулось его.

Бернгард. Как и женщины, которая его надела.

Мадам. Да, удивительно: я чувствую себя совсем молодой... в этом старом платье.

Бернгард *(смотрит на часы)*. Скоро принц будет здесь. Джонсон уехал уже давно.

Мадам. Самолет, как всегда, запаздывает.

Бернгард. Но от Парижа лететь всего час.

Мадам. О... Сегодня я наконец обниму моего дорогого, доброго, любимого, милого принца Альберта! При одной этой мысли сердце мое бьется сильнее!

Бернгард *(вынимает лист из груды бумаг на столе)*. Это программа сегодняшнего праздника. *(Читает.)* «Пункт первый: прием его королевского высочества Альберта, принца Идиллии. Управляющий произносит приветственную речь. Провозглашается здравица в честь принца, на которую собравшиеся отвечают могучим четырехкратным «ура». Запевает детский хор народной школы. Пункт второй: принц пожимает руки представителям народа. Пункт третий: принца угощают кофе с булочками. Пункт четвертый: торжественная речь управляющего. Пункт пятый: гвоздь программы — принц вручает медали всем служащим имения. Пункт шестой: управляющий...»

Мадам *(прерывает)*. Прости меня, милый Дикки...

мне надо было поговорить с Розой. Я совсем забыла... *(Быстро уходит, кивнув ему на прощание.)*

Катерина *(появляясь слева в национальном костюме)*. Привет! Мне велено взять какие-то бумаги... ох да, программы!

Бернгард *(вручает ей кипу программ)*. Вот! *(Смотрит на Катерину оценивающим взглядом.)* И ты сегодня в праздничном наряде?

Катерина. Мы все сегодня вырядились, как в театре. *(Приплясывает.)*

Бернгард. Мадам желает, чтобы во время праздника все были одеты в национальные костюмы.

Катерина. В этом костюме я чувствую себя как мешок с сеном. Послушай, капитан, помнишь, что ты мне обещал?

Бернгард. А что я обещал?

Катерина. Представить мне принца!

Бернгард. Вернее, представить тебя принцу!

Катерина. Один черт! Что в лоб, что по лбу!

Бернгард. Принц сам обратится с речью ко всем служащим имения. Ко всем сразу!

Катерина. Но я не желаю быть одной из всех. Я хочу быть лично представлена принцу.

Бернгард. Я постараюсь организовать это. Но сначала ты будешь участвовать во встрече принца. Для этого я выбрал самых красивых девушек. Вы будете стоять шпалерами по обеим сторонам дороги.

Катерина. А как ты думаешь, мне удастся потанцевать с принцем?

Бернгард. Этого я не могу тебе обещать. Принц сам решает, с кем ему танцевать.

Катерина *(выразительно поглядывая на Бернгарда.)* Впрочем, лишь бы меня представили принцу, а об остальном я позабочусь сама. И все пойдет как нельзя лучше!

Бернгард *(нетерпеливо посматривает на часы)*. Сегодня у нас мало времени! Раздай побыстрей эти программы!

Катерина. Сегодня мы повеселимся! И попляшем на травке!

Оркестр разучивает вальс. Катерина приподнимает юбку и начинает кружиться, напевая: «Сегодня на вальс меня пригласит Прекрасный сказочный принц».

Исчезает с левой стороны.

Бернгард садится за письменный стол, принимается за работу. Пошатываясь, слева входит *Макс;* на нем национальный костюм: длиннополая куртка, короткие, до колен, штаны с кистями и тирольская шляпа с пером. Лицо красное, глаза налиты кровью. Он радостно напевает какую-то старинную песенку... Макс явно навеселе.

Макс. Что ни день, я люблю вас все больше и больше!..

Бернгард *(резко).* Так! Уже напился?

Макс. Что-о ты! Я вовсе не пьян! По-моему, вокруг... все качается и куда-то плывет! *(Покачивается.)*

Бернгард. Этого надо было ожидать!

Макс. На празднике урожая вино будет литься рекой... Оно брызнет из бочек!..

Бернгард. Не показывайся мадам на глаза в нетрезвом состоянии, мой тебе совет!

Макс. Благородный господин стыдится своего старого друга!

Бернгард. Контора сегодня закрыта. Что тебе здесь надо?

Макс. Мне просто захотелось поговорить с тобой. *(Падает в кресло.)*

Бернгард. О чем?

Макс. Просто сказать тебе, что я люблю тебя и восхищаюсь тобой... Что я так привязался к тебе... так привязался, что больше никогда не смогу расстаться с тобой... Ты слыхал мою хвалебную песню «Что ни день...»? Она посвящена тебе... Да... с каждым днем я люблю тебя все больше!

Бернгард. А я ненавижу тебя с каждым днем все больше!

Макс. Но ведь я твой покорнейший слуга! Я готов целовать пол под подошвами твоих ног... пол твоей конторы! *(Низко кланяется.)*

Бернгард. Вон отсюда!

Макс. Нет, я все-таки хочу поздравить тебя от всего сердца! И пожелать тебе счастья в твой великий день! Какой праздник! Съедется знать со всей губернии! И все озарится королевским сиянием! Это... великолепно! Ты превзошел все, что я видел в этой области! В области волшебства! И как ты добился всего этого за такой короткий срок? Это величайший подвиг твоей жизни! Ты заколдовал целое имение! *(Делает быстрые движения руками, словно фокусник.)* Фокус, покус, мокус... и богатейшее имение у тебя в кармане! Ты величайший

колдун, маг и волшебник нашего времени! Король волшебников! Если б ты не просаживал свое богатство в карты... на бирже... и тотализаторе...

Бернгард (*подходит к Максу и берет его за плечо*). Ты хочешь, чтобы я выбросил тебя отсюда собственными руками?..

Макс. Если бы ты слушался своего финансового советника, то скоро стал бы миллионером!.. Но ты игрок... Я тебя знаю.

Слева доносится шум мотора.

Бернгард (*отходит от Макса и выглядывает в окно*). Приехал Джонсон с аэродрома. Но что это? Что это?

Слева входит Джонсон в костюме шофера.

Джонсон (*щелкнув каблуками*). Sorry, sir, but...[1]

Бернгард (*предчувствуя недоброе*). Что случилось? Вы вернулись без принца?

Джонсон. Yes, sir.

Бернгард. Где принц?

Джонсон. I am very sorry, sir, but...

Бернгард (*со все возрастающим беспокойством*). Принца нет?

Джонсон. No, sir. No prince!

Бернгард. Он не прибыл с парижским самолетом?

Джонсон. No, sir.

Макс (*заинтересовавшись, громко*). Как? Принца нет?

Бернгард. Что бы это могло значить?

Джонсон. I don't know. Ничего не знаю.

Бернгард. Нет ни извещения, ни письма, ни телеграммы?

Джонсон. No, sir.

Бернгард. Что это значит? Что могло произойти? (*Крайне обеспокоен.*)

Джонсон. Сказать мадам, что no prince?

Бернгард. Нет! Подождите! Слушайте меня, Джонсон! С принцем, очевидно, что-то случилось. Но пока мы не узнаем, что именно, не надо ничего говорить мадам. Не следует ее беспокоить. Вы понимаете, Джон-

---

[1] Простите, сэр, но... (*англ.*)

сон: никто не должен знать, что принц не приехал. Никому ничего не говорите!

Д ж о н с о н. No, sir.

Б е р н г а р д. Правильно, Джонсон. *(Отпускает его.)*

Д ж о н с о н. Very good, sir! *(Поворачивается на каблуках и уходит налево.)*

Б е р н г а р д. Ничего не понимаю! Что могло с ним случиться? Мне нужно немедленно позвонить в Париж! *(Бросается к телефону, но его останавливает реплика Макса.)*

М а к с *(вынимает из кармана конверт)*. Да, тебе телеграмма! Я совсем забыл.

Б е р н г а р д. Мне телеграмма?

М а к с. Да, «молния». Я давно собирался отдать ее тебе.

Б е р н г а р д. Так почему же, черт тебя побери, ты ее не отдал?

М а к с. Потому что ты вел себя со мной крайне невежливо.

Б е р н г а р д *(вырывает у Макса конверт)*. «Молния»! А он сидит и разглагольствует.

М а к с. Очевидно, что-то очень спешное. Когда я получаю «молнию», у меня всегда начинается сердцебиение.

Б е р н г а р д *(разрывает конверт, прочитывает телеграмму. Выражение его лица резко меняется; скрипит зубами, сжимает руки в кулаки. Несколько мгновений стоит совершенно неподвижно и только вглядывается в телеграмму. Кажется, что ему трудно дышать. Бормочет)*. Так-так... Нда... Так!

М а к с *(с интересом рассматривая Бернгарда)*. От принца? Почему он не приехал?

Б е р н г а р д. Возникли непредвиденные препятствия. Задержался в Париже. Нужно немедленно изменить всю программу праздника! Немедленно! *(Вновь овладев собой, полон решимости.)* Вот теперь ты мне можешь сослужить небольшую службу!

М а к с. Я всегда к твоим услугам!

Б е р н г а р д. Его королевское высочество должен был вручать персоналу имения «Медали Принца». Ты не мог бы сделать это вместо принца? Если только ты еще держишься на ногах?

М а к с. Я достаточно трезв, чтобы вручать медали.

Бернгард. Ты старый каторжник, и кому, как не тебе, вручать эти почетнейшие знаки отличия! Лишь тот, кто в течение многих лет был лишен всякого почета, воистину знает, что такое почет.

Пауза

(Вынимает из несгораемого шкафа красный шелковый мешок.) В этом мешке лежат двести самых крупных в государстве серебряных медалей, «Медалей Принца»!

Макс *(недоверчиво)*. Двести медалей! Не слишком ли много почета для обитателей здешних мест?

Бернгард. Забирай мешок и собирай людей у Конюшенной горы. Вручай медали как представитель его королевского высочества! И постарайся вести себя с достоинством.

Макс *(гордо берет мешок и идет налево)*. Можешь положиться на меня! Я буду священнодействовать, как король! *(Приостановившись, оборачивается.)* Послушай... Если там останется какая-нибудь маленькая медалька, нельзя ли мне взять ее себе? Так сказать, за труды!

Бернгард. Останется не меньше половины. Можешь их забрать! В качестве дара от меня!

Макс. Как? У меня будет целая сотня медалей? Тогда я открою собственную ювелирную мастерскую! *(Величественно и гордо идет налево. Не качается, на спине красный мешок.)*

Бернгард *(глядя ему вслед, сардонически смеется. Потом снимает телефонную трубку и быстро набирает номер)*. Алло... Аэродром?.. Говорит капитан Бернгард... Приветствую... Да, я был бы вам очень благодарен, если бы вы немедленно подготовили мою телегу... Да, мой самолет... Именно... Я хотел бы вылететь немедленно... Нужно подумать... А через час самолет будет готов?.. Было бы отлично... Да... Нет, всего-навсего маленькая прогулка... Что-нибудь около получаса... Тогда я на вас рассчитываю... Большое спасибо! *(Поспешно открывает несгораемый шкаф, вынимает оттуда дела, папки, конверты, банковские книжки и т. д. Достает из письменного стола небольшую черную книжку, по-видимому паспорт, прячет ее в карман пиджака. Все, что вынул из сейфа, кладет в большой портфель. Подходит к огромному глобусу, крутит его и долго водит пальцем по его поверхности, словно ищет какой-то пункт.)*

В комнату с газетой в руке вбегает Роза. Она в национальном костюме. Очень взволнована, почти задыхается, слова застревают у нее в горле.

Роза. Капитан! Вы знаете?.. Вы читали?..

Бернгард. Да, я знаю. Я только что получил телеграмму: принц остался в Париже.

Роза. Какой ужас! Какой ужас!

Бернгард. Да, очень жаль. Наш праздник испорчен.

Роза. Но я... я имею в виду то, что написано в газете. Ее только что принесли. Какой кошмар!

Бернгард *(вдруг начинает понимать)*. Там есть что-нибудь о принце?

Роза. Есть. И это ужасно!

Бернгард. Принца что-то задержало в Париже?

Роза. Его задержала полиция!

Бернгард *(очень спокойно и сдержанно, усмехаясь)*. Моя дорогая мадемуазель Роза! Что вы говорите! Какая глупая шутка!

Роза. Вот написано, что принц задержан полицией и ему будет учинен допрос! Посмотрите, капитан! На первой странице!

Бернгард *(берет газету и быстро пробегает глазами несколько больших черных заголовков на первой странице)*. Ложь и клевета! *(Пауза.)* А, вот оно что: это же вечерняя газета! Теперь я понимаю!

Роза. Принц Альберт привлечен к судебной ответственности за участие в махинациях известного мошенника Клермонта. Он тоже арестован. О нем много писали раньше...

Бернгард *(свысока, спокойно)*. Моя милая, очаровательная Роза! Неужели вы хоть на йоту верите всей этой чепухе?

Роза. Но это напечатано большими буквами!

Бернгард *(обнимает Розу за плечи, нежно)*. Моя добрая, умная, рассудительная мадемуазель Роза понимает, что чем жирнее шрифт, тем грандиознее ложь!

Роза. Если это неправда, то зачем же... они это печатают? Написано, что принц был соучастником крупного афериста.

Бернгард *(быстро читает газету)*: «...заподозренный в мошенничестве. Принц Альберт сопровождал мосье Клермонта в его деловых поездках. Высокий ти-

тул принца был как бы гарантией того, что Клермонт — честный, заслуживающий доверия коммерсант...»

Р о з а *(жалобно)*. Он продал аферисту свой королевский титул!

Б е р н г а р д *(возмущенно)*. Но как вы могли поверить? Вся эта история настолько нелепа, что над ней можно только посмеяться. *(Принужденно смеется.)* Я знаю принца Альберта лучше кого бы то ни было. Он никогда в жизни не стал бы участвовать в подобных аферах. Принц отказывается бывать даже в самом лучшем обществе, настолько он щепетилен в этом отношении.

Р о з а. Я с вами согласна. Когда принц бывает в имении, он проводит время только в нашем обществе...

Б е р н г а р д *(прерывает ее)*. В Париже он вращается лишь в самых аристократических кругах.

Р о з а. Но этот известный аферист тоже вращался в самых аристократических кругах.

Б е р н г а р д. Ручаюсь вам, что он никогда не имел доступа туда, где был принят принц! Нет, мадемуазель Роза, клянусь вам честью, что это самая низкопробная газетная утка!

Р о з а. А вы, капитан, никогда не верите газетным новостям?

Б е р н г а р д. Не верю. Во всяком случае, до тех пор, пока не получу официального подтверждения.

Р о з а *(значительно спокойнее)*. Да, я знаю, как наши газеты умеют лгать.

Б е р н г а р д. А если это и не сплошная ложь, то, возможно, недоразумение, или его спутали с каким-нибудь другим лицом королевской крови. А может быть, это просто мошенник, который выдает себя за принца Альберта. И теперь им займется полиция.

Р о з а. Верно. Существует много объяснений. И мне бы очень хотелось поверить в то, что говорит капитан. Но почему принц не приехал, как обещал? Может быть, он заболел?

Б е р н г а р д *(немедленно принимает эту версию, тихо)*. Да, я скажу вам по секрету: принц внезапно заболел. Но пока что об этом никто не должен знать. И прежде всего мадам.

Р о з а. Конечно! Я слышала, что капитан говорил Джонсону. Мадам даже не знает, что он уже вернулся. Она думает, что самолет запаздывает.

Бернгард. Прекрасно! Ради бога, не показывайте ей газету!

Роза. Мадам никогда не читает газет. *(С тревогой.)* Скажите, капитан... а принц серьезно болен?

Бернгард. Боюсь, что очень серьезно. Я только что заказал срочный телефонный разговор с Парижем, чтобы *(показывает на телефон)* получить более подробные сведения. И как только я их получу, я сам переговорю с мадам. Но пока я не хочу ее понапрасну беспокоить.

Роза. Понимаю. Капитан всегда проявляет столько заботы о мадам.

Бернгард *(нежно обнимает Розу)*. Я знал... Вы всегда... мудрая и чудесная мадемуазель Роза! Итак, главное сейчас — не беспокоить мадам. Розочка, ведь мы так хорошо понимаем друг друга!

Роза *(совершенно плененная им, растроганно и преданно)*. Конечно, капитан, понимаем! И всегда понимали! Мой дорогой капитан!

Бернгард. А теперь я возьмусь за работу. Дел по горло. Надо заново составлять всю программу праздника.

Роза. Я не буду вам мешать, капитан... Большое спасибо... Спасибо, капитан! *(Делает реверанс и выходит через стеклянную дверь.)*

Бернгард снова подходит к глобусу и крутит его. Наконец он, по-видимому, находит пункт, который искал. Смотрит в зеркало, причесывается, снимает плащ с вешалки, берет портфель и очень тщательно запирает его. Потом внимательно осматривает контору, словно хочет проверить, не забыл ли он чего-нибудь. Оркестр играет несколько тактов из вальса «На прекрасном голубом Дунае».

Слева входит начальник полиции, молодая красивая женщина высокого роста, в синем мундире с эполетами и галунами. Сначала она держится нерешительно, почти смущенно, словно еще не решила, как ей вести себя с Бернгардом.

Начальник полиции. Добрый день. Если не ошибаюсь, капитан Бернгард?

Бернгард *(изумленный и озадаченный появлением женщины в форме)*. Да, это я.

Начальник полиции. Разрешите представиться: Левен, начальник полиции.

Бернгард *(заикаясь, рот его медленно открывается)*. Что?.. Как?.. Вы... начальник полиции? Женщ?..

Начальник полиции. Вас это удивляет?

Бернгард. Конечно, тем более что я знаю здешнего начальника полиции. Пожилой мужчина с окладистой бородой. Неужели он вдруг стал женщиной?

Начальник полиции. Нет, он по-прежнему мужчина, но начальником полиции стала женщина. Вам не верится? Пожалуйста, вот мое удостоверение! *(Протягивает его Бернгарду.)*

Бернгард. Значит, теперь женщины служат и в органах прокуратуры.

Начальник полиции. До меня их было только две. Я — третья.

Бернгард. Пожалуйста. Я не сомневаюсь в ваших полномочиях. *(Прочитывает удостоверение и возвращает его.)*

Начальник полиции. Постоянный начальник полиции сейчас в отпуске. Так что я замещаю его.

Бернгард. Вы... здесь по делам службы?

Начальник полиции. Да, и это мое первое задание. Я приступила к исполнению служебных обязанностей всего несколько дней назад. Так что я еще совсем зеленая.

Бернгард. Значит, вы совершенно не знаете здешних мест?

Начальник полиции. Сегодня я впервые объезжаю свой округ.

Бернгард *(изо всех сил старается скрыть тревогу)*. Чтобы познакомиться с обстановкой?

Начальник полиции. И с обстановкой тоже. Мне говорили, что в этом имении есть на что посмотреть.

Бернгард. К нам часто наезжают туристы, чуть ли не каждый день.

Начальник полиции. Я чувствую, что приехала немного не вовремя.

Бернгард. Контора закрыта... Мы отмечаем сегодня праздник урожая...

Начальник полиции. Извините, если я помешала.

Бернгард. Ради бога. К сожалению, я очень занят. И потом меня беспокоит погода. Я еще не слышал последней сводки по радио. *(Берет газету, которую оставила Роза.)* Газета предсказывает хорошую погоду. Вы читали сегодняшние вечерние газеты?

Начальник полиции. Нет еще.

Бернгард. Я их почти не читаю. Ничего интересного! *(Отбрасывает газету, значительно спокойней.)* Итак, вы здесь в роли туриста?

Начальник полиции *(гораздо увереннее).* Мне много рассказывали о зоопарке, который вы здесь устроили.

Бернгард. Не угодно ли посмотреть на наших экзотических зверей?

Начальник полиции. С удовольствием. Вы, кажется, приобрели самого большого в мире слона?

Бернгард. Самого большого! Пойдемте в парк, я покажу вам его.

Начальник полиции. Я не хочу вас затруднять, особенно когда вы так заняты!

Бернгард. Я всегда старался идти навстречу пожеланиям полиции, ибо вы все-таки на службе... о чем говорит мундир.

Начальник полиции *(нейтральным тоном, который может означать все, что угодно).* Разумеется, я на службе.

Бернгард *(испытующе смотрит на нее, принужденно смеется).* Даже когда вы не собираетесь кого-нибудь арестовывать?

Начальник полиции *(усмехаясь).* Если я и арестовываю, то лишь выполняя свой долг.

Бернгард *(вежливо кланяясь).* Я думаю, каждый пошел бы на преступление, лишь бы его арестовал такой очаровательный представитель полицейской власти, как вы!

Начальник полиции *(усмехается, притворяясь польщенной).* Но хватит ли у меня решимости арестовать такого человека, как вы?

Бернгард. Полицейская служба — жестокая профессия. Вдруг это пагубно отразится на вашей женственности?

Начальник полиции. Думаю, что ей пока ничто не угрожает, ибо я служу справедливости.

Бернгард. Но почему вы, подлинное воплощение женственности, избрали такую сугубо мужскую профессию?

Начальник полиции. Потому что сотрудникам полиции чаще, чем кому бы то ни было, приходится иметь дело с мужчинами.

Бернгард. Разве?

Начальник полиции. Конечно! Ведь большинство преступников — мужчины!

Бернгард *(на несколько мгновений теряется, не зная, что отвечать)*. Это верно. Непонятно только, почему среди мужчин так много преступников. Может быть, потому, что мужчин воспитывают женщины?

Начальник полиции. Разрешите, капитан, задать вам один вопрос: а вас тоже воспитывали женщины?

Бернгард. Конечно! Сначала мать, потом четыре сестры... а потом... многие другие женщины. С которыми, естественно, я не состоял в родстве.

Начальник полиции. И вы до сих пор не зарегистрированы в уголовном розыске!

Бернгард. Еще нет, к счастью...

Начальник полиции. Значит, ваши женщины отлично справились со своими воспитательскими обязанностями!

Бернгард *(успокоившись, смеется)*. Вы великолепны! Я в самом деле очень рад вашему приезду. А теперь идемте посмотрим зоопарк. Я вас провожу. К сожалению, потом мне придется оставить вас: я должен попасть в город до того, как закроются банки.

Начальник полиции. В таком случае я довезу вас в своей машине. Мне все равно надо возвращаться домой по этой дороге.

Бернгард *(смотрит на нее подозрительно)*. Очень любезно с вашей стороны! Но мне тоже придется возвращаться домой. Так что я возьму свою машину.

Начальник полиции *(двусмысленно)*. Жаль. Я бы с удовольствием отвезла вас в город.

Натянутое молчание. Между ними вдруг возникает какое-то напряжение. Оба испытующе смотрят друг на друга.

Капитан, вы летчик?

Бернгард. Воинскую повинность я отбывал в военно-воздушных силах.

Начальник полиции. Вы больше не летаете? На гражданских самолетах, я имею в виду.

Бернгард. Очень редко. Только когда удается выкроить немного времени. А времени у меня почти нет.

Начальник полиции. Когда-то я мечтала стать летчицей. Но у нас женщине почти невозможно получить соответствующую подготовку.

Б е р н г а р д *(ему приходит в голову блестящая мысль)*. На аэродроме за городом у меня есть спортивный самолет. Вы не хотели бы совершить небольшую прогулку по небу?

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и *(с деланным восторгом)*. Это было бы чудесно! А у вас есть сегодня время летать?

Б е р н г а р д. Мне все равно надо в город. А воздушная прогулка не отнимет много времени. За четверть часа мы сделаем небольшой круг над городом и прилегающей местностью. Так что начальник полиции увидит с птичьего полета вверенный ему округ. И обычные полицейские дела покажутся ему с такой высоты мелкими и незначительными.

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Что ж, я ничего не имею против. Едва ли мне когда-нибудь еще представится такой удобный случай.

Б е р н г а р д. И мне тоже. Ведь я всегда мечтал о том, чтобы, понимаете... полетать вместе с полицией! Сидеть в пилотской кабине рядом с начальником полиции! Может быть, это ребячество, но... но...

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Ну что вы! По-моему, все это действительно очень забавно...

Б е р н г а р д. Сегодня мне улыбнулось счастье: со мной летит начальник полиции! Выше мне уже никогда не подняться! Зоопарк я вам покажу в другой раз. А теперь едем прямо на аэродром.

Оркестр наигрывает мелодию «Летим мы по небу, плывем через моря. . .». Бернгард берет портфель и плащ, вежливо открывает перед начальником полиции дверь налево. Делает шаг в сторону, чтобы пропустить женщину. Та не двигается. Тогда Бернгард проходит вперед, что-то замечает и, вздрогнув, отступает на три шага назад.

Что это? Кто там стоит?

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и *(спокойно и безразлично)*. Это всего-навсего мои друзья.

Б е р н г а р д. Иностранцы? Туристы? Они приехали с вами?

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Со мной. Это мои друзья, и они просто ждут.

Б е р н г а р д. Этих троих мужчин я никогда раньше не видел. Они ждут вас?

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Нет... вас!

Несколько секунд длится натянутое молчание.

Б е р н г а р д *(судорожно глотает слюну)*. Меня? Понимаю. Вы приехали с ними?

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Да, с полицейским комиссаром и двумя агентами уголовной полиции.

Б е р н г а р д *(отступает еще на несколько шагов назад, крепко прижав к груди портфель)*. Эскорт более чем солидный.

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Вам незачем беспокоиться. Все они одеты в гражданское платье. Мы постараемся не привлекать излишнего внимания.

Б е р н г а р д. Спасибо за заботу. *(Смотрит на начальника полиции с величайшим восхищением.)* Разрешите, мадам, поздравить вас с замечательным выполнением операции! Блистательно!

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Мне просто повезло. Опоздай я на несколько минут — и вы уже парили бы над облаками. Ведь вас успели предупредить. Вам уже известно, что натворил ваш патрон и ангел-хранитель? Таким образом, личность ваша сразу перестала быть неприкосновенной!

Бернгард утвердительно кивает, молчание.

В общем, принц был надежным другом, не правда ли?

Б е р н г а р д. В общем, да. Но мне следовало бы помнить, что надеяться можно только на своих врагов. *(Помолчав, декламирует с пафосом, как бы про себя.)*

Волшебные чары мои не навек —
И вот уж я снова простой человек!
И, всем колдунам и колдуньям на страх,
Закованный в цепи, повержен во прах!

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Очень удачная цитата!

Б е р н г а р д. Удивительно игривый начальник полиции! Это в вас говорит женщина! И она проверяет на мне свои волшебные чары.

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Да, я не устояла против соблазна немного поиграть с вами.

Б е р н г а р д. Мне очень жаль, что мы не полетали вместе на самолете!

Н а ч а л ь н и к п о л и ц и и. Мне тоже жаль. Наверняка меня ожидали довольно сильные ощущения.

Б е р н г а р д. Возможно, мы приземлились бы в Южной Америке!

Начальник полиции *(притворяясь разочарованной).* Ах, как много я потеряла! Мне же ничего не остается, как предложить вам нашу старую полицейскую машину. Мы поедем не торопясь... Впрочем, ведь теперь вам некуда торопиться.

Бернгард *(высоко подняв голову, в гордом смирении).* Финал! Я доиграл свою пьесу до конца. И в ней чаще всего мне приходилось иметь дело с женщинами... *(Замолкает, смотрит на нее.)*

Начальник полиции. Значит, вполне закономерно, что и арестованы вы тоже женщиной.

Бернгард *(с поклоном).* Мадам, я передаю себя в ваши руки.

Начальник полиции *(становится позади него).* Ваш портфель, если вы не возражаете!

Бернгард *(все еще прижимая портфель к груди).* О... я не хотел бы обременять вас...

Начальник полиции. Как вы можете догадаться, я делаю это не из вежливости, а по долгу службы.

Бернгард неохотно передает ей портфель.

Благодарю! А теперь пойдемте!

Бернгард *(склонившись, указывает рукой на дверь).* Прошу вас, начальник полиции.

Начальник полиции. После вас, сэр!

Бернгард. Но сначала проходят дамы!

Начальник полиции. Если они не работают в полиции. У нас полное равенство: мужчина ты или женщина... сначала проходит арестованный!

Бернгард *(выпрямившись, сдержанно, с достоинством).* Какой грубый, варварский обычай! *(Делает несколько шагов и останавливается на пороге.)* Я хотел уйти с достоинством. Но, поверьте, впервые в жизни я прохожу впереди дамы!

Начальник полиции. Так было в вашей прежней жизни! А с этого момента вы начинаете новую!..

Духовой оркестр в саду играет какой-то бравурный военный марш. В такт музыке, высоко подняв голову, прямой, сохраняя прекрасную военную выправку, идет капитан Бернгард. За ним проходит начальник полиции с большим портфелем.

Занавес

ЭПИЛОГ

Библиотека

После катастрофы. Здесь собрались Франк, Руди, Роза и Джонсон. На них праздничная одежда. Джонсон в костюме гофмейстера. Образовав кружок, они стоят, словно пришибленные. Очевидно, кого-то ждут.

По столу и на стульях разбросаны газеты с огромными черными заголовками. Со стены и со стола убраны портреты короля и принца. Входит Катерина; одета не как горничная; на ней дорожный костюм.

Катерина *(презрительно смотрит на собравшихся)*. Чего вы здесь выстроились? Кого ждете?

Никто не обращает на нее внимания.

Слышали, сейчас увезут слона! Оказывается, за него не заплачено!

Ее словно не слышат.

Вы что, оглохли? Слона увозят! *(Уныло.)* И снова будет здесь отчаянная скука... Я-то сегодня уезжаю! А вы, конечно, остаетесь! И будете гнить в этом болоте! Что ж, всего доброго. Счастливо оставаться! *(Решительно идет к двери.)*

Остальные по-прежнему стоят неподвижно, кроме Джонсона, который делает несколько шагов, печально глядя ей вслед.

Пауза.

Франк. Она задерживается!

Роза. Она сказала, что спустится немедленно.

Руди. Как она сейчас?

Роза. Не знаю. Еще не видела ее. Она три дня не выходила из спальни. Наша бедная, бедная мадам!

Джонсон. I am awfully sorry for her! [1]

Франк *(показывает на газеты)*. Скандал в государственном масштабе!

Руди. Все газеты кричат об этом!

Франк. Мы опозорены на всю страну!

Джонсон. That's terrible! [2]

Роза. Одно хорошо: все газетные заголовки напечатаны такими большими жирными буквами, что их можно читать без очков!

---

[1] Мне страшно жаль ее! *(англ.)*

[2] Это ужасно! *(англ.)*

Франк. Капитан сдержал свое слово: он же обещал прославить наше имение на всю страну.

Руди. Да, парень он способный. Настоящий мошенник. Но ведь мало уметь мошенничать. Надо еще обладать его обаянием!

Роза. Что она сделала дурного? Почему ее так обливают грязью?

Руди. Раньше людей травили мышьяком. Теперь их затравливают насмерть газетой.

Джонсон. I am terribly sorry for her!

Роза. Но как ему удалось так долго продержаться? *(Возмущенно.)* И никто даже пальцем не пошевелил!

Руди. А ты чем шевелила? Я первый стал подозревать его!

Франк. Нет, я!

Руди. Брехня! Я первый!

Франк. Что же ты ничего не сделал?

Руди. Я единственный хоть что-то пытался сделать! И написал в полицию!

Франк *(презрительно)*. Анонимку, да!

Руди. Но я один осмелился хоть что-то предпринять!

Роза. Мне с самого начала казалось, что он человек ненадежный.

Руди. Чего же ты молчала раньше?

Роза. А я не собираюсь говорить тебе все, о чем думаю!

Руди *(саркастически)*. И не надо! Только сказала же ты мне однажды: «Этому человеку я ни в чем не могла бы отказать!» Сказала?

Роза *(злобно шипит)*. Ты лжешь! Никогда я этого не говорила!

Руди. Еще как говорила! Но тебе крупно повезло, потому что капитан, надо полагать, так ничего от тебя и не потребовал!

Роза. Придержи язык!

Руди. Потому что получал больше чем достаточно от других баб!

Франк. А я зато не кричал: «Да здравствует принц!» — когда он был здесь в последний раз. Вы все кричали, а я молчал.

Руди. Молодец! И всегда был молодцом, если надо было помолчать!

Р о з а. А разве я кричала: «Да здравствует принц!»? Что-то не помню...

Р у д и. Теперь никто не помнит. Принца-то больше нет! Во всяком случае, его титула!

Ф р а н к (*примирительно*). Имеет ли смысл спорить о том, кто был самым смелым? По-моему, все мы стоим друг друга, потому что все были одинаковыми трусами.

Р у д и. Есть такая поговорка: не будешь вмешиваться — не надо будет выпутываться! А тут выходит все наоборот: чем меньше делаешь, тем хуже получается! (*Прикладывает руки к груди.*) Но в этой груди бьется сердце, которое всегда было согрето любовью к его величеству королю! И любовь эта будет жить вечно. Поэтому я буду по-прежнему кричать: «Да здравствует король!»

На верхней ступеньке лестницы появляется м а д а м. Она в глубоком трауре. Несколько мгновений стоит неподвижно, потом начинает очень медленно спускаться по лестнице, задерживаясь на несколько секунд на каждой ступеньке. У нее столь же величественный вид, как и раньше, двигается она так же грациозно, а осанка еще более царственная. Ее появление напоминает аналогичную сцену из первого акта, но сейчас на ее лице написана глубокая печаль.

М а д а м (*останавливаясь посередине лестницы*). Дети мои! Мои возлюбленные дети! Вы здесь?

Мужчины кланяются, камер-фрейлина приседает.

(*Делает еще несколько шагов вниз. Теперь она может видеть всю комнату. Замечает разбросанные повсюду газеты, и голос ее вдруг звучит повелительно.*) Джонсон! Мой найденыш!

Д ж о н с о н (*быстро подходит к лестнице*). Yes ma'am.

М а д а м. Убери отсюда всю эту бумагу!

Д ж о н с о н. Yes, ma'am. (*Начинает собирать в охапку газеты, Роза усердно ему помогает.*)

М а д а м. Наверное, это бумага так мерзко пахнет? Чистая, белая, невинная бумага запачкана чем-то ужасно смердящим! Да, она смердит, как... да, как называется это гадкое животное, самое вонючее в нашем зоопарке? Меня тошнит от этой вони! Все это надо как можно скорее выбросить из моего дома! Но будьте осторожны, дети мои, не запятнайте рук этой мерзостью!

Тем временем Джонсон и Роза скручивают газеты в рулон и засовывают в корзину.

Уберите корзину из комнаты!

Джонсон открывает дверь сзади и выносит корзину на террасу.

Роза, открой окна! Да пошире! Чтобы к нам ворвался свежий воздух.

Роза выполняет приказание.

Спасибо.

Все четверо образуют группу и пытаются по очереди выразить мадам свое участие.

Франк. Мадам... я...

Руди. Моя дорогая мадам..

Роза. Наша возлюбленная мадам.

Джонсон. Ma'am. I am...

Мадам *(в ее дрожащем голосе звучит сдерживаемая боль)*. Мои дорогие дети! Вы — поборники верности, правды и чести! Вы снова вернулись ко мне! *(Обнимает каждого по очереди.)* Роза, моя жемчужина... моя драгоценная жемчужина... Руди, мое золотое сердце... Ты оказался более твердым, чем фальшивое золото... Ты ведь простишь свою мать?.. И ты, Франк, мой алмаз... мой бесценный алмаз... И ты, Джонсон, мой найденыш... О, слава богу, что вы снова со мной... Мои сокровища!.. *(Последним обнимает долговязого Джонсона.)*

Франк. Мы пришли сюда, чтобы сказать мадам...

Мадам *(прерывая)*. Подожди, мой алмаз! Я буду говорить! Хотя мое сегодняшнее платье уже сказало вам все! Я в скорби, в глубокой скорби. Я скорблю об ушедшем!

Слуги вопросительно смотрят друг на друга.

Нет! Не о том, о ком вы сейчас подумали! И не о другом! Не об этих людях! Их имена никогда больше не будут произнесены в стенах этого дома. Но я скорблю о доверии, которое ушло от меня навсегда. *(Замолкает и глубоко вздыхает.)*

Все слушают ее как зачарованные.

Всю жизнь я доверяла людям! Всю жизнь со мной жила моя светлая вера в честность и справедливость! В чистоту человеческих побуждений! В искренность слов! Теперь эта вера умерла! И я торжественно предам

ее погребению! Это время великого траура! Потому я в траурных одеждах! Дети мои! Благодарю вас за то, что вы пришли на это погребение!

Франк. Мы хотели бы выразить...

Роза. Нам так тяжело...

Руди. Мы так жалеем.

Джонсон. I feel so terribly sorry for madame...

Франк. Если мы можем что-нибудь сделать...

Руди. Если мы можем как-нибудь утешить... или помочь.

Джонсон. We want to help our ma'am... You see...[1]

Мадам. Нет! Не жалейте обманутую! Она сохранила и совесть, и честь! Да, свою честь! Жалейте обманщиков! У них нет ни совести, ни чести! Они нуждаются в нашем сострадании. Я всегда буду настаивать на своем праве быть обманутой: это право каждого человека. Я никогда никого не обманывала. Что вы предпочитаете? Чего вы хотите? Обманывать или быть обманутыми?

Роза и Франк *(кричат вместе)*. Конечно, мы хотим быть обманутыми!

Джонсон. Yes ma'am.

Мадам. Спасибо. Этого ответа я и ждала. Я горжусь вами, мои возлюбленные дети! Вы лишний раз убедились в том, что мошенник не может унизить честного человека! Нам не страшны эти безнравственные, аморальные люди. Мы — выше их. Помните об этом, дети мои! Пока мы сами честны, нам никто не страшен. *(Гордо поднимает голову.)* И выше голову!

Слушатели глубоко тронуты речью мадам. Роза всхлипывает в носовой платок. Руди руками вытирает слезы. Франк самый сдержанный: он отворачивается, стараясь скрыть свое волнение. Джонсон стоит неподвижно, с окаменевшим лицом.

Роза. О дорогая мадам!..

Руди. Как это верно! Как трогательно!

Мадам. Мой дом станет отныне оплотом чести, бастионом справедливости и честности! И ни один мошенник больше не проникнет сюда! Мои верные друзья, я могу рассчитывать на вашу помощь? Вы поможете мне защищать этот бастион до последней капли крови? Да или нет?

---

[1] Мы хотим помочь нашей мадам... Понимаете... *(англ.)*.

Роза, Франк и Руди *(кричат вместе)*. Да, мадам!

Джонсон *(как обычно, немного отстает)*. Yes, ma'am.

Мадам. Я полностью полагаюсь на вас, дети мои!

Руди. Четырехкратное «ура» во славу нашей мадам! Да здравствует мадам! *(Дирижирует.)*

Все кричат очень громко: «Ура! Ура! Ура! Ура!»

Мадам *(глубоко тронутая)*. Спасибо, мои возлюбленные дети! Ваша преданность вселяет в меня силы! Я никогда не чувствовала себя такой сильной, как в эту минуту!

Руди *(ударяет себя в грудь, в голосе его звучат рыдания)*. Мое сердце... которое у меня в груди... Оно бьется для мадам.

Мадам *(треплет его по щеке)*. Хорошо, Руди. Ты снова староста, а Франк — мой бухгалтер! Все очень хорошо! И вернемся к выполнению своих обязанностей. Я вернусь к своим, да. Джонсон, мой маленький найденыш! *(Оборачивается к Джонсону.)* Как у нас с обедом?

Джонсон. Very good, ma'am!

Роза и Джонсон выходят через заднюю дверь, а мадам медленно поднимается по лестнице, гордая, величественная и царственная. Руди выходит через левую дверь. Франк идет за ним, но в дверях сталкивается с профессором, который задерживает его.

Профессор *(с досье в руках; взбудоражен и взволнован)*. Какое открытие! Какое открытие! Ничего подобного мне и не снилось! Я потрясен!

Франк *(с любопытством)*. О чем вы говорите, профессор?

Профессор *(протягивает ему досье)*. Об этих документах.

Франк *(так же)*. Профессор нашел что-нибудь в архиве?

Профессор. Да, нашел! Как историк — исследователь родословных я сделал величайшее в своей жизни открытие: я выяснил истинное происхождение мадам!

Франк. Но ведь я дал профессору охотничий календарь.

Профессор *(размахивает досье)*. Вот неопровержимые данные! Это подлинные факты!

Франк. Но охотничий календарь за тысяча восемьсот девяносто четвертый год тоже подлинный.

Профессор. Может, и подлинный, да только в ту осень старый король не приезжал сюда на охоту.

Франк. Правда? Значит, не приезжал? А я не знал!

Профессор. Это уже доказано. И следовательно, мадам никак не может быть дочерью Александра Девятого.

Франк *(изумлен, почесывает за ухом)*. Неужели никак?

Профессор. Никак. Современная наука совершенно исключает подобную возможность. И мне пришлось сообщить об этом мадам. Она приняла это не так близко к сердцу, как я боялся.

Франк. Бедная мадам! Час от часу не легче!

Профессор *(хватает Франка за отворот пиджака, почти в экстазе)*. А теперь слушайте! Осенью тысяча восемьсот девяносто четвертого года здесь был и охотился на лося великий герцог Франц-Отто-Стефан-Эммануил, представитель императорского дома Габсбургов!

Франк. Я же говорил, что на осеннюю охоту к нам всегда приезжал какой-нибудь король или герцог.

Профессор. В ту осень это был великий герцог Франц-Отто, Габсбург по тосканской линии. Он и является отцом мадам!

Франк. Правда? Как интересно!

Профессор. Да, он и только он является отцом. Мадам, оказывается, еще знатнее, чем она сама думала. Она не королевского, а императорского рода!

Франк *(изумленно)*. Как вы говорите? Императорского? Это значит, еще выше?

Профессор *(поучает)*. Она же Габсбург! Понимаете, Габсбург! Нашей династии всего сто пятьдесят два года, а Габсбургам более тысячи лет!

Франк. Вот это древность! Никогда бы не подумал.

Профессор. Родовой замок Габсбургов находится в Оргау, недалеко от Брюгге. Теперь от древнего Ренборга осталась только угловая башня. Ее высота равна двадцати четырем метрам и двум дециметрам.

Франк. Вот оно что. Но я, понятно, в истории слаб.

Профессор (*по-прежнему держа Франка за отворот пиджака*). Мадам — Габсбург! Таким образом, она связана узами крови со всеми династиями Европы. И является родственницей всех королевских особ, живущих на нашем континенте.

Франк. Господи помилуй! А сама она знает об этом?

Профессор. Нет еще. Но после обеда я покажу ей эти документы. Я нашел их в серебряной шкатулке в архиве. Это письма великого герцога к матери мадам. Бумага с гербом Габсбургов. Императорский орел. Таким образом, подлинность писем неопровержима. Эти письма проливают свет на характер ее связи с великим герцогом, а также свидетельствуют о том, что в результате этой связи родился ребенок женского пола.

Франк. Значит, мадам в родстве с императором! Как это кстати. Именно сейчас она в этом так нуждается!

Профессор. Поскольку речь здесь идет не о правящей ныне династии, то я смогу опубликовать свое великое открытие. И я опубликую его немедленно! Какую это вызовет сенсацию!.. Обо мне узнают все, кто занимается генеалогическими исследованиями. Нет, вы представляете себе? (*Очень довольный.*) Итак, отец мадам, великий герцог Франц-Отто-Стефан-Эммануил, принадлежит к тосканской ветви. Ее основателем был великий герцог Карл-Фердинанд-Отто-Стефан-Эммануил...

Мадам (*спускается по лестнице*). Мой дорогой профессор!

Профессор поворачивается к ней и отпускает Франка, который уходит налево.

Я просто в отчаянии. Я не видела вас все эти дни. Прошу вас, извините меня!

Профессор (*низко кланяется и, памятуя об императорском происхождении мадам, слегка теряется*). Я прошу вас, ваше... ваше... я хочу сказать, высокочтимая мадам...

Роза и Джонсон появляются из столовой и распахивают двери. Джонсон в ливрее.

Джонсон. Dinner is served, ma'am.

М а д а м. Итак, мой дорогой профессор, идемте к столу.

Профессор крепко сжимает в руках досье.

Быть может, профессор оставит здесь эти бумаги?

П р о ф е с с о р. Ни за что на свете, мадам!

М а д а м *(смеется)*. Как угодно! Однако вы, профессор, оригинал!

П р о ф е с с о р *(с глубоким поклоном предлагает мадам руку, говорит тихо, с ударением)*. Ваше императорское высочество!

Рука об руку мадам и профессор медленно проходят в столовую; Роза и Джонсон неподвижно стоят по обе стороны дверей. При последних словах профессора мадам поворачивает к нему лицо, она удивлена и счастлива.

З а н а в е с

Из книги

«РАССКАЗЫ О МОЕЙ ЖИЗНИ»

ВСХОДЫ

Росток семени, пробившись сквозь плотную массу чернозема, выходит на свет из темной глубины почвы. Росистым весенним утром розовеет он под первыми лучами солнца, шильцем торча из земли. Начинается первая стадия жизни семян на поверхности — стадия всходов.

Из глубочайшей тьмы пробивается человеческая душа к свету сознания. Тело ребенка покидает материнское лоно и начинает жить собственной жизнью, а душа все еще пребывает в потемках и не воспринимает окружающий мир. Проходят тысячи дней, не оставив в нашей памяти ни малейшего следа. Человек живет растительной жизнью; целые годы теряются во времени, прошедшем для нас впустую, точно его и вовсе не бывало. Но вот постепенно душа выбивается из мрака. Медленно пробуждается ощущение собственного «я». Человек начинает осознавать себя и обнаруживает себя в среде себе подобных. И в один прекрасный день человеческий росток проклевывается среди миллионов других на гигантском поле земли.

Детство — пора всходов, годы между пробуждением и созреванием. Быть может, самые важные для роста годы.

Детство считают решающей стадией всего последующего развития индивида. Корни всех наших значительных поступков пытаются искать во впечатлениях детства, продолжающих жить в нашем подсознании. Не уверен, стоит ли заходить столь далеко. Но одно, во всяком случае, бесспорно: то, чего человек был лишен

в годы роста, невозможно наверстать впоследствии, равно как невозможно утратить то, что было приобретено за эти годы. Итак, мы рождаемся на земле, в том или ином ее уголке, выбранном не нами. Почва, среда, климат, уход или небрежение — все это заранее предопределено. Все то, что пустит столь глубокие корни в нашу последующую жизнь, дано нам раз и навсегда независимо от нашего желания. Но, несмотря ни на что, судьба все же более или менее справедлива к большинству людей. То, чего человек лишен, обычно восполняется чем-нибудь другим. Редко случается, чтобы судьба была только благосклонна или только жестока к человеку. Обычно наблюдается и то, и другое — человек обделен в одном, но зато счастлив в другом. Если тщательно взвесить все «за» и «против», можно прийти к этому выводу.

Пробудившись к сознательной жизни, мы видим себя ростком на каком-нибудь поле — и нам остается только приспособиться к этой среде.

* * *

Покуда все вокруг представляется нам само собой разумеющимся, мы не испытываем особых трудностей. Человек мирится с тем, что ему дано, потому что жизнь, какой он ее увидел, кажется ему единственно сущей, а следовательно, и единственно возможной. Лишь много позднее, когда выпадет случай сравнить свою судьбу с судьбой других, может родиться дух протеста. Лишь позднее возникают недовольство и конфликты.

Я был одним из семерых детей в тесной солдатской избе, состоявшей из одной комнаты. Современная жилищная инспекция, скорее всего, обрекла бы на слом эту ветхую хибару, прослужившую жильем более сотни лет. Во всяком случае, ее сочли бы непригодной для столь многодетной семьи. И, возможно, в ежедневном рационе семерых детей недоставало многого из того, что обеспеченные родители считают совершенно необходимым для нормального роста собственных отпрысков. Но этим обстоятельством можно пренебречь, как несущественным. Если говорить о чисто материальных преимуществах, то ведь нельзя ощущать недостатка в том, чего не знаешь. В моральном смысле я в раннем детстве не мог страдать от своей участи, поскольку дети в соседних

избах жили точно так же. Тут самое главное — удовлетворить потребности в той мере, в какой это необходимо для сохранения жизни. Для родителей важнее всего вырастить здоровых детей. Слов нет, очень много значат и гигиена, и уход, и медицинское обслуживание. Но часто бывает, что цель достигается и при отсутствии всего этого — и в данном счастливом случае никому не придет в голову жаловаться.

Но я глубоко благодарен судьбе за то, что родился не в городе. Я представляю себе годы детства, прошедшие в тесных улочках и узких переулках, где дети видят лишь проблеск солнца и клочок неба. Я воображаю их играющими где-нибудь в полумраке на задворках, среди мусорных ящиков и железного хлама. Деревенский ребенок, который во всем остальном живет в таких же условиях, много счастливее городского.

За порогом нашей солдатской хибары перед нами открывался вольный простор. Ничто не заслоняло от нас солнца, а небо было где-то высоко-высоко. Особенно высоким казалось оно с того места, где ты стоял,— первое мое жизненное наблюдение, пробудившее во мне интерес к окружающему миру. Куст крыжовника, яблоня с сорочьим гнездом, ручей, где среди водорослей бесшумно разевали пасть сонные щуки, песчаная яма, на дно которой, шурша, скатывались камешки, густая ель с воронятами на макушке — все было полно чудес для широко открытых детских глаз. Весна со светлыми вечерами, когда вальдшнепы низко летают над крышей избы, задевая крылом дерн, лето с его жарким цветением, с накаленной солнцем землей, обжигающей затвердевшие босые ступни, осень с пламенеющим брусничником и зима с ледяными дорожками — все это произвело на меня в детские годы неизгладимое впечатление и навсегда осталось во мне как олицетворение самой стихии жизни.

Для полного слияния с природой человеку необходимо ощутить себя малым существом среди всех прочих ее созданий. И для того, чтобы эта близость продолжалась, связь с природой нельзя обрывать. Если даже, попав в иную среду, ты затем снова вернешься в прежнюю, все равно ты уже не станешь таким, каким был, покидая ее.

Ты оставил на новом месте какую-то частицу себя, и это волнует и тревожит, подобно тому как тревожится

мать об оставленном где-то ребенке. Ты уже не возвращаешься всецело, и потому на земле своего детства лишь отчасти находишь то, что хотел найти.

Да и вообще никогда не бывает человек так восприимчив к самым здоровым жизненным сокам, как в ранние годы своего существования.

* * *

Постепенно я стал воспринимать и окружающих меня людей.

В первые семь лет своей жизни я, кроме братьев и сестер, знал лишь двух-трех товарищей детских игр из соседних дворов. Но с первого же школьного дня круг лиц, который отныне принадлежал к моему миру, значительно расширился. В школе мне представился случай сравнить мою жизнь с жизнью других. И тогда же во мне впервые пробудилась догадка, что не все люди живут так, как мы в нашей избе.

С удивлением обнаружил я, что некоторые мои школьные товарищи приносят с собой на завтрак гораздо больше молока, чем могут выпить. Особенно поразил меня один мальчик, у которого в корзинке для завтрака каждый день были вареные яйца. Мне казалось невероятным, что на свете бывают люди, которые едят яйца каждый день, а не тогда, когда болеют.

Да, спору нет, дети зажиточных крестьян приносили с собой в школу завтраки посытнее тех, что ели мы, солдатские и батрацкие дети. Но в этой самой нищей части нищего Смоланда едва ли существовало тогда классовое различие в полном смысле слова. Это явление резче проступало в более богатых земледельческих районах, где были крупные поместья и большие крестьянские усадьбы. У нас же, по крайней мере в общении, никакого различия не чувствовалось. Хозяин и батрак были людьми одного сословия, ели за одним столом, бок о бок работали в поле, вместе развлекались, встречались как равные на свадьбах, поминках и прочих деревенских сборищах. Все это создавало видимость равенства, хотя хозяин был богат, а батрак его гол как сокол.

Никто не жил в праздности или роскоши, вызывая этим неприязнь тех, кто трудился. Удел у всех был один — физический труд. Крестьянин, владевший землей, трудился наравне с безземельным батраком, а за-

частую и побольше. При таких условиях не было причин для ненависти и зависти неимущих к тем, кто был сравнительно богаче. Едва ли кого-нибудь можно было назвать настоящим богачом.

Но с развитием промышленности социальное неравенство обозначилось резче. В наших краях появились стекольный завод, лесопилка.

Люди набирались опыта, глядя на заводчиков, которые, по их понятиям, вели недопустимо роскошную жизнь. В обиход вошли слова «забастовка» и «локаут». Стеклодувы роптали, сравнивая свою жизнь с жизнью хозяев. Сами они по двенадцати часов исходили пóтом, стоя у тигеля и стекольной печи, а заводовладелец тем временем сидел в холодке у себя в саду, почитывая газеты и попивая коньяк.

Лишь когда капитализм стал все глубже запускать щупальца в нашу жизнь, мы узнали, что такое истинное классовое неравенство.

* * *

И все же людьми, оставившими в моей памяти самое яркое впечатление, были солдаты и крестьяне. Быть может, это оттого, что в жилах моих перемешалась крестьянская и солдатская кровь. Отец мой был солдатом в четвертом поколении, мать — дочерью крестьянина.

Сколько бы раз ни пересаживали человека на иную почву, тавро не стирается. Неразрывными корнями связан он с землей, на которой рос. Во всяком случае, если там прошло все его детство. Чувство кровной принадлежности к народу, среди которого я рос, чувство солидарности с ним живут во мне и поныне. Хотя мне ясно, что нет никаких оснований предпочитать этих людей всем другим. Наверняка есть среди них личности, к которым я едва ли испытывал бы симпатию, если бы мог видеть их такими, каковы они в действительности. Но я смотрю на них так, как смотрят на своих близких,— взором, затуманенным нежностью. Они неразрывно связаны с целым периодом моей жизни. Это мой народ. И когда горожане окидывают их любопытствующим взглядом туристов, мне это тяжело, как было бы тяжело всякому, чьих близких выставили бы на обозрение в клетке зверинца. С другой стороны, им ни к чему и

умилительное дамское сюсюканье, которое превращает их в ангелов божьих и героев лубочных картинок.

Я все еще в значительной степени принадлежу их миру. Они оставили во мне неизгладимый след. Я до сих пор как бы смотрю на все их глазами. Окружение моего детства и теперь сказывается на моих суждениях по вопросам социальным и чисто человеческим. Тут пора всходов оказала на меня глубочайшее влияние.

Крестьянин — последний носитель индивидуальности в нашем мире. Его своеобычность не стирается от постоянного трения о других людей. В патриархальной деревне люди отличаются друг от друга явственнее, чем в городской среде. Крестьяне могут быть — и почти всегда бывают — косными и ограниченными. Конечно, косности в них куда больше, чем в горожанах. И вместе с тем — смешны они или трагичны, привлекательны или отвратительны — они всегда сохраняют поразительную самобытность. А все потому, что они не приобщились ни к какой стандартной культуре.

Солдаты и крестьяне в моей родной деревне — это крепкие мужчины и выносливые женщины. Это люди труда и покоя. Они тяжело трудились днем и крепко спали ночью. Они не знали, что значит убивать время. У них были свои развлечения, на которых не могло бы нажиться ни одно увеселительное заведение. Порою в них вскипала кровь: они пили и дрались, мерялись силой, похвалялись удалью. Но они не нуждались в стимуляторах, без которых не может обойтись представитель современной городской культуры.

У них не было неврозов, они не ведали душевной усталости, им не надо было бежать от тяжелых дум. Лишь избыток физической силы в них искал выхода. Для Фрейда они оказались бы плохой поживой. Обследование их не прибавило бы ничего к его перечню примеров о вреде воздержания. В их существовании не было места проблемам. У них не хватало времени на то, чтобы размышлять или чувствовать себя несчастными: жизнь представлялась им самоочевидной, и человеку извне это трудно было бы понять. Они не пытались «устраивать» свою жизнь, все их усилия уходили на то, чтобы «прожить» ее.

Было время, когда я считал жизнь этих солдат и крестьян крайне бессодержательной. Я не находил в ней того смысла, какого искал. Так было в ту пору, когда я

жил среди них. В более зрелые годы, познав иную среду и иной образ жизни, я стал думать иначе. И теперь я спрашиваю себя: а не было ли этим людям дано то, что другие безуспешно пытались найти в так называемом прогрессе? Мне думается, что они, по сути дела, достойны зависти.

Куда привели мир сотни поколений людей, населявших землю? Едва ли они сделали его более приемлемым для жизни.

До сих пор людям удавалось лишь до бесконечности усложнять свое существование. Может быть, они и в дальнейшем будут в этом преуспевать. В других отношениях человек убедительно продемонстрировал свою беспомощность.

Есть, правда, голубоглазые оптимисты, которые верят, что одному поколению удастся осуществить то, чего не удалось сотням предыдущих!

Можно до правдоподобия усовершенствовать человеческий быт. Жилище человека может стать воплощением гигиены. Идеальная пища, приготовленная по строго научным рецептам, с учетом всех потребностей человеческого организма, может подаваться на стол одним нажатием кнопки. Но какое значение это будет иметь, если люди, населяющие дом, будут несчастливы?

Техника приносила пользу лишь до тех пор, пока она ограничивалась удовлетворением элементарных потребностей человека, облегчала его существование, избавляла его от тягот.

Но затем техника стала воздвигать трудности перед человеком, производя то, что было, по сути дела, абсолютно излишним. Техника начала *создавать* потребности, вместо того, чтобы удовлетворять их. И это породило кризис, который все мы сейчас переживаем. Стали появляться изобретения, в которых нет никакой надобности. Но в интересах промышленников внушать нам, что мы не можем обойтись без их продукции. Усовершенствования и устройства одно за другим признаются необходимыми. Господствует мнение, будто фабриканты лучше нас самих знают, что нам требуется.

И по мере того как множатся искусственно создаваемые потребности, у современного человека растет чувство неудовлетворенности и недовольства. Люди изнашиваются прежде времени, силясь приобрести то, без чего

они, скорее всего, могли бы и обойтись. Люди терзаются страхом упустить какую-нибудь предлагаемую временем новинку. Их точит боязнь потерять все то, что они добыли потом и кровью и что считают совершенно необходимым. И чем больше растут потребности, тем труднее становится их удовлетворять. А зуд неудовлетворенности не утихает. И снова начинается гонка, чтобы успокоить зуд. Это похоже на попытки заткнуть бочку, полную дыр.

Таким образом, индустриализм стал в конце концов приносить человечеству больше несчастья, чем счастья. Мы должны освободиться от внушенных нам представлений о том, что нам нужно и что не нужно. Необходимо избавиться от искусственно созданных потребностей, даже если операция будет болезненной. Тем самым мы снимем с себя бремя многих повседневных забот и сократим свой труд ради заработка. У человека появится больше досуга для культивирования чисто духовных возможностей. Культура машинного века — это преимущественно материальная культура. Нашему времени недостает покоя и сосредоточенности для того, чтобы создать нечто иное.

Мне возразят, что мы не можем идти назад, что «низкий культурный уровень» крестьянства не соответствует великой эпохе прогресса. Однако для меня решающим является то, что патриархальные крестьяне вели жизнь куда более достойную и свободную, чем современные рабы потребностей, хотя эти последние и кричат на каждом шагу о свободе, которой они якобы пользуются.

* * *

До сих пор я останавливался на тех сторонах моего детского окружения, которые я считаю для себя благотворными. Теперь я хочу коснуться и моего первого глубокого конфликта с этой средой. Иными словами: в чем я считаю себя обделенным?

В моей памяти до сих пор продолжает жить преобладающее чувство тех детских лет — чувство неутоленной жажды чтения. Оно живет как воспоминание о чем-то неизменно мучительном и терзающем,

Поначалу оно проявлялось в грезах наяву, которым обычно предается ребенок. Но потом детские фантазии исчерпали себя. И в первые годы обучения в школе появилась тяга к книгам. Не к катехизису и Библии, которыми нас пичкали на уроках. Я искал иной пищи, подходящей для моего возраста, не имея ни малейшего понятия о том, что она собой представляет.

У нашей учительницы было несколько исторических книг, которые в виде особой чести мне было позволено брать. А больше я не знал в округе ни одного человека, у которого были бы хоть какие-нибудь книги, кроме назидательного чтива, какое обычно дарили ко дню конфирмации. О библиотеках в наших краях тогда не слышали. Ребенку, росшему в такой среде и обуреваемому неестественной, по понятиям этой среды, жаждой чтения, поистине приходилось нелегко.

Старшее поколение деревни, весь багаж знаний которого составляли две-три недели начальной школы, с трудом умело читать даже вслух. И то, что кто-то тянется к чтению, что вообще можно тратить время на книги, было людям непонятно. И не стоит из-за этого смотреть на них свысока.

Но даже если бы мои родители и относились к чтению иначе, все равно помощи от них ждать не приходилось, потому что они не имели возможностей доставать мне книги. Тут я был всецело предоставлен самому себе. Уловки, на которые я пускался для того, чтобы утолить книжный голод, могут кое-кого покоробить. Сам-то я знаю, что отваживался на них только с отчаяния.

Изголодавшаяся фантазия довольствовалась самой скудной пищей, жадно набрасывалась на что попало, поглощая все без разбору, независимо от того, было это удобоваримо или нет. Случай руководил моим чтением. Однажды я нашел на чердаке религиозные сочинения Муди и был до глубины души потрясен нарисованной им картиной ада. В другой раз забредший к нам коробейник подарил мне тоненький выпуск «Ника Картера» в кроваво-красной обложке. Я проглотил книгу в один присест, безмерно наслаждаясь этим даром небес. Поскольку у меня вообще не было никаких книг, не существовало для меня и книг запретных. Я сам был собственным цензором.

Время от времени я узнавал о тех или иных жителях отдаленных деревень, которые, по слухам, располагали

романами — под этим понятием разумелось все, кроме школьных учебников и конфирмационных даров. Я, само собою, немедленно начинал искать знакомства с обладателями сокровищ, которые можно было бы позаимствовать для чтения. Это были, как правило, романы, издающиеся выпусками, на которые люди подписывались, соблазнившись премией в виде кофейного сервиза, выдаваемой вместе с последним выпуском. Среди них были «Мраморная невеста», «Месть», «Цена счастья». Последнее название могло дать подписчику богатую пищу для размышлений.

Но случались и бесконечно долгие периоды голодания. Особенно мучительны они были зимой, в пору вынужденного сидения в избе. Проходили дни и недели, а мне не удавалось прочесть ни строчки. Игра воображения иссякала. Мне нужны были книги, стихи, которые питали бы мою фантазию.

Много раз я плакал в припадке отчаяния.

Вспоминаю, как я лежал ничком на полу, прижав сжатые кулаки к покрасневшим, опухшим от слез глазам, озлобленный, ожесточившийся, ненавидящий всех и вся. Близкие в таких случаях опасались за мой рассудок. Высказывались предположения, что я страдаю каким-то недугом, который выражается в таких вот припадках. Всерьез обсуждался вопрос, не следует ли обратиться за советом к знахарке. Представляю, как я досаждал всем, раз уж дело дошло до этого. Но, право же, я не мог сладить с собою...

Зато с каким наслаждением утолял я книжный голод в тех случаях, когда мне это удавалось! Каким событием становилась для меня в то время каждая книга!

Но самое сильное впечатление произвела на меня книга, прочитанная весьма курьезным способом.

Мать раздобыла где-то в деревне кипу газет, чтобы оклеить ими закуток для стряпни. Не успел я узнать об этом приобретении, как газеты уже покрывали стены и потолок. Я стал читать, взобравшись на стул. Чтение захватило меня с первой же минуты. Газеты представляли собою литературное приложение к «Афтонбладет», в котором был напечатан «Таинственный остров» Жюля Верна.

Но полноценного чтения не получалось, поскольку газеты одновременно служили обоями. Я не мог связать между собой разрозненные отрывки и уловить последо-

вательность событий. А читать на потолке и вовсе было невозможно. Но все же я нашел выход. Однажды, когда дома никого не было, я срезал ножом все газетные обои. Получилось около сотни бумажных отрывков, но мне посчастливилось сложить их в правильном порядке. Долго прятал я в укромном месте «Таинственный остров» — груду газетной бумаги, насквозь пропитанной засохшим мучным клейстером.

К сожалению, конца романа мне найти не удалось. Я узнал его лишь много лет спустя, когда мне снова попалась в руки эта книга. Чтение газетных обоев было моим первым знакомством с литературой, подходящей мне по возрасту.

Помню, как рассердилась мать, обнаружив мою проделку.

Но затем на этом месте снова появились обои, на которые я уже не посягал, потому что они были из чистой бумаги. Эту меру предосторожности родители сочли нелишней.

Позднее, лет в тринадцать-четырнадцать, мне удалось обнаружить новые источники добывания книг. В соседнем приходе было основано Общество любителей литературы. Путь был неблизкий, мили полторы, но две-три зимы я проделывал его туда и обратно каждый субботний вечер, чтобы получать книги.

Далее я узнал, что в Стокгольме существует некая организация под названием Союз просвещения народа, которая выдает по заказам небольшие передвижные библиотеки. Такую библиотечку можно было получить в пользование на несколько месяцев, уплатив взнос, помнится, в три кроны. Уж не знаю, как мне удалось наскрести эти деньги, но только в рождественский вечер 1912 года я приволок домой со станции на санках ящик с книгами, присланный из Стокгольма. В ящике находилось около сорока книг различного содержания — художественных и других. Мне кажется, этот рождественский вечер был тогда самым счастливым в моей жизни. Однако Союз просвещения народа ставил одно условие для получения библиотеки. Книги из нее следовало выдавать местному населению. И тут у меня возникли серьезные затруднения. С одной стороны, я не знал во всей округе ни единого человека, который пожелал бы брать у меня книги, а с другой стороны, мне хотелось

оставить содержимое этого небольшого ящика целиком в своем распоряжении.

Между тем я должен был записать целый ряд имен в журнал выдачи, который прилагался к библиотеке. Что мне было делать? И я решился на постыдный обман своего «благодетеля» — Союза просвещения народа. Я заполнил журнал выдачи именами, взятыми с потолка. Я вписал в него почти всех местных жителей, которые и в глаза не видели книг. Я «выдавал» толстые тома старушкам, которые не умели читать, а спустя определенное время «расписывался в получении». Я заимствовал имена абонентов с каменных надгробий на кладбищах. Отсылая библиотеку назад, я смог продемонстрировать отличные результаты моей деятельности на поприще распространителя книг. Следующей зимой, заработав на лесоповале деньги для взноса, я привез домой библиотеку побольше и продолжал действовать в том же духе. Я боялся, что мне не разрешат брать книги, если я скажу, что кроме меня их никто не читает.

Не без колебаний признаюсь я теперь в этом обмане. Но я оправдываю себя тем, что он совершался малолетним отчаявшимся человеком. Впрочем, преступление должно считаться аннулированным за давностью срока. С тех пор прошло уже двадцать лет.

Книжный голод породил конфликты, которые заставили меня в конце концов порвать со средой моего детства. После многолетнего отчаянного карабканья по древу знания в надежде вкусить его плодов я наконец получил возможность добыть их хотя бы отчасти менее трудоемким способом. Наша семья покинула солдатский торп и переехала в деревню, в родовую усадьбу матери. Отец был отныне не только солдатом, но и крестьянином. Теперь я мог уехать и попасть в мир, где книг было достаточно.

Произошла пересадка побега на новую почву. Начался следующий этап роста, и тут я хочу завершить свой рассказ, поскольку этот небольшой автобиографический раздел носит название «Всходы».

* * *

Тридцать шесть лет прошло с тех пор, как в 1932 году был впервые напечатан этот автобиографический очерк. Что думаю я о нем теперь, в 1968 году? Что хотел

бы я изменить, прибавить или убавить в моем очерке спустя более чем треть века?

В чисто фактическом описании среды моего детства, разумеется, ничего не следует добавлять, а тем более изменять. Но мое суждение о жизни крестьян и солдат родной деревни теперь изменилось. В 1932 году я писал: «Жизнь этих людей труда и покоя, в сущности, достойна зависти». Ныне, в 1968 году, я убежден, что нет никаких оснований завидовать их жизни.

Вне всякого сомнения, существование этих людей было трудным и безрадостным, и не зависти, а восхищения достойны они из-за того, что умели выдержать его. В то время, как я писал «Всходы», моя пересадка на городскую почву уже давно завершилась, и жизнь в городе с каждым днем нравилась мне все меньше и меньше. Меня тянуло обратно в родные места. Прошло уже полтора десятилетия с тех пор, как я покинул их и жизнь на родине, под смягчающим воздействием времени, снова стала казаться мне привлекательной. Механизированная, индустриализованная культура промышленного города, скопление людей, погоня за карьерой, суета, спешка — все это отвращало меня. Я хотел бежать от всего этого и подумывал о том, чтобы вернуться к крестьянскому укладу жизни. Я чувствовал себя как бы раздвоенным между городской и деревенской средой и не понимал, к какой же из них я принадлежу.

Проблемы, над которыми писатель тщетно бьется в частной жизни, он пытается решить в своем творчестве. Раздвоенность между городской и деревенской средой — главная тема моей трилогии о Кнуте Туринге. Но во всех этих трех томах нет определенного ответа на вопрос: к какой же среде принадлежит герой?

Проблему не удалось решить ни в жизни, ни в творчестве. Объяснение коренится в том, что дело тут было не в раздвоенности героя между городом и деревней, между городской и деревенской культурой. И поэтому возвращение к прежнему укладу жизни оказалось для него невозможным. Раздвоенность была в нем самом, это было состояние души, и теперь, спустя три с половиной десятилетия, я начинаю думать, что состояние это было врожденным.

Мою оценку жизни солдат и крестьян, данную в очерке «Всходы», я приписываю недостаточному знанию истории родного края. После 1932 года я потратил нема-

ло времени на изучение жизни моих дедов и прадедов. Все, что я узнал об их прошлом, нашло отражение в восьми исторических романах: «Мужняя жена», «Ночной гонец», «Девичий источник», «Край смутьянов» и четырех книгах о первых эмигрантах в Северную Америку. Теперь мне известно, что история моего родного края — это по преимуществу история страданий и бедствий человеческих. Она изобилует всевозможными лишениями: недородами, нуждой, поветриями и, прежде всего, войнами, войнами и войнами — столетие за столетием. Чем глубже погружаюсь я в прошлое моего народа, тем более поражаюсь стойкости, с какой он переносил лишения. Как могли люди все это вынести? Для меня это непостижимо.

Нет, не зависть ощутит тот, кто близко познакомится с былой жизнью солдат и крестьян, а скорее сострадание к ним и глубокое восхищение их стойкостью и силой духа.

Итак, по этому вопросу мое мнение, высказанное в 1932 году, на сегодняшний день изменилось. Но в очерке того же года есть суждение, которое я сегодня хотел бы выделить: «Таким образом, индустриализм стал в конце концов приносить человечеству больше несчастья, чем счастья».

Теперь, спустя тридцать шесть лет, я считаю это мнение даже более верным и точным, чем мог предполагать, высказывая его впервые. Термин «индустриализм» я применяю в самом широком смысле, то есть вкладывая в него все, что несет с собою наш машинный век, его культуру, которую я в 1932 году назвал «преимущественно материальной», все, что входит в понятие «технический прогресс» в наш век открытий. Иными словами — развитие, которое привело нас к атомной бомбе.

Изобретатели, естествоиспытатели, химики, инженеры, техники — все эти люди за одно столетие коренным образом изменили земной шар. Но мне не кажется, что они изменили его к лучшему — если рассматривать наш мир как единое целое. Уже в 1932 году я в этом сильно сомневался, теперь я нахожу подтверждение своим сомнениям. Люди, способствовавшие развитию техники, право же, не сделали наш мир лучше для жизни. Зато им удалось добиться прямо противоположной цели. Я спрашиваю себя, не правильнее ли будет сказать, что жизнь на нашей планете сегодня — когда во многих

уголках земли население голодает или живет на грани голода, когда мир потрясают войны и конфликты, когда над нами всеми висит угроза мировой войны и, что самое страшное, дамоклов меч ядерного оружия,— что эта жизнь сложнее и труднее, чем когда-либо за всю историю человечества?

Мир сегодня вооружен средствами массового уничтожения, которых более чем достаточно для того, чтобы истребить всех нас. И сейчас человек прежде всего терзается страхом перед делом рук своих.

А сколь катастрофичны последствия вторжения индустриализма в естественные процессы природы! Безответственно и неразумно наводняют фабрики, заводы и прочие промышленные предприятия реки и озера отходами производства, отравляя воду в них до такой степени, что рыба становится несъедобной. Машины и теплоцентрали загрязняют воздух больших городов пагубными для здоровья газами. Человек отравляет воду, которую пьет, и воздух, которым дышит. А скопление автомобилей на наших улицах и магистралях привело к тому, что сегодня в Швеции в дорожных катастрофах ежедневно погибает в среднем четыре человека,— а сколько людей становится инвалидами! Каждый шестой час суток требует автомобильный Молох человеческой жертвы — день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Теперь машины на шведских дорогах бегают быстрее, чем когда-либо — ценой 1300 человеческих жизней в год. Быть может, мы подменили понятие «прогресс» понятием «скорости передвижения»?

Я вернусь к этим проблемам в другой связи и особо остановлюсь на вреде, наносимом естественной среде, который коснулся и края моего детства, где отравленные реки и озера превратились сегодня в зловонные водоемы. Это важная тема, и она требует специального рассмотрения.

А сейчас я снова обращаюсь к прошлому того края, того уголка земли, где я когда-то впервые осознал себя маленьким ростком на ниве человечества.

ТАМ, ГДЕ Я БЕГАЛ БОСИКОМ

Солдатская изба стояла на горушке посреди леса. Лес был смешанный — лиственный и хвойный. Около избы было распахано несколько небольших делянок.

В остальном природа здесь оставалась нетронутой с сотворения мира. Неподалеку от избы бежал ручей Бьюрбеккен, служивший границей между нашим и соседним наделом. Земля под солдатские торпы когда-то отчуждалась от владений крестьянской общины. Во времена Карла XI, когда была введена система содержания войска населением, крестьян обязали выделять землю под усадьбы солдатам. За это они не призывались на войну, вместо них шли солдаты. Но крестьянин, выделявший землю, сохранял на нее право собственности. Солдат только возделывал ее и кормился ею — это было его жалованье. Солдатским усадьбам было, следовательно, по меньшей мере две сотни лет. Наша изба была ветхой и древней. К тому времени, когда в 1924 году ее наконец снесли, стены ее почти совсем обрушились. Подобно дому-призраку, стояла она, глядя на прохожих черными пустыми глазницами окон с выбитыми стеклами. Покинутое жилье, обреченное на разрушение.

И находилось это жилье в захолустном крае, которого в годы моего детства еще не коснулось благо или проклятие технического прогресса — называйте как хотите. Новые средства сообщения тогда еще не достигли этих мест. В полумиле проходила железная дорога, но поезда в нашей волости не останавливались, потому что здесь не было железнодорожной станции. А ведь волость была большая, с населением до пяти тысяч человек.

Здесь пролегали лишь старые, узкие проселочные дороги, и гужевой транспорт считался самым быстрым средством передвижения. Но люди в тех местах, где прошло мое детство, никогда никуда не торопились. Они работали много и тяжело, но не проявляли при этом спешки. Когда я, уже покинув родной край, приезжал на побывку в родительский дом, отцу всегда казалось, что я гощу очень мало. Он, бывало, говорил:

— И куда ты все торопишься, парень? К могиле-то ведь всяко поспеешь!

О событиях, происходящих в мире, жители деревни знали мало. Раз в неделю они вычитывали новости из еженедельной газеты «Смоландский вестник», и этого им было достаточно. Все, что их интересовало, они узнавали по воскресеньям в церкви, куда многие ходили не столько молиться, сколько слушать всякого рода огла-

шения. Те, кому почему-либо не удавалось побывать в приходском храме, с любопытством расспрашивали вернувшихся оттуда богомольцев: кого крестили? Кого поминали? Оглашали ли обручение? Возносили ли молитвы за болящих? Иными словами, спрашивали о событиях жизненно важных.

Первые десять лет моей жизни, годы 1898—1907-й, протекали в крае, предоставленном самому себе и в значительной степени оставшемся самим собой.

Что помнится мне из этих лет теперь, в 1968 году? Что сохранилось от них в том уголке памяти, где скапливаются детские впечатления? Какие воспоминания живут ярче и интенсивнее? Каким из них я могу всецело довериться?

В моей памяти детские годы распадаются на два главных периода, отмеченные двумя временами года — зимою и летом. То были два различных образа жизни — жизнь взаперти и жизнь на приволье. Я был дитя плена и дитя свободы, затворник и вольный бродяга.

В холодное время года мы, младшие дети, вынуждены были большей частью находиться в избе. У нас не было зимней одежды, которая защитила бы нас от жестокой стужи и пронизывающего ветра. Нам оставалось лишь сидеть дома да выглядывать в окошко. В сильные морозы стекла покрывались наледями и сквозь них ничего не было видно. А нам очень хотелось посмотреть, что творится снаружи. Помню, как мы, дети, прижимались к стеклу, пытаясь растопить лед теплым кончиком носа.

С холодом в избе боролись с помощью огня. Он горел в большом открытом очаге целыми днями, а то и большую часть ночи, благо топлива в лесу было достаточно. К тому же девять человек, скученных в одной комнате, согревали воздух теплом своих тел. В менее студеные дни нас выпускали на волю, и тогда мы скользили по ледяным дорожкам, съезжали с горушки на санках и ловили щук в проруби ручья.

А вообще зимнее время для нас, маленьких затворников, проходило в дремоте у постоянно пылающего очага, в тихом прозябании в избе с низким потолком, в глубоком сне бесконечными ночными часами, долгом сне, напоминающем спячку медведя в берлоге. Самым большим затруднением нашей зимней жизни была необходимость справить нужду. В солдатской усадьбе не

было отхожего места, или, как мы говорили, нужника. Владельцы земли, крестьяне, обязаны были построить солдату избу, хлев, дровяной сарай, а об отхожем месте речи не было. Само собою, кругом было достаточно леса, чтобы соорудить это недостающее маленькое строение. Но тем не менее все время, что мы тут жили, отхожим местом нам служила яма, вырытая за домом. Мы называли ее «навозной ямой», а отец пользовался казарменным термином «выгребная яма». Во время военных походов ему приходилось часто рыть такие ямы.

Зимой справлять нужду на дворе было чистой мукой, особенно для нас, малышей. С великой неохотой выбирались мы из избы и садились на корточки у края ямы. Иной раз дул пронизывающий ветер или мела поземка, и снег забивался между ягодиц.

Я до сих пор ощущаю холод, который охватывал задик, когда я расстегивал штаны. Я застудил «кукушонка» — первое наименование мужского члена, которое я в детстве усвоил. Он скукожился в самом чувствительном месте, его точно жгло огнем, и мочиться было очень больно.

Но мы избавились от страданий, причиняемых нам в зимнее время ямой за домом, когда покинули солдатский торп и переехали в деревню, в усадьбу родителей моей матери. Это была бедная крестьянская усадьба, но все-таки тут был нужник, и притом даже с двумя отверстиями. Теперь мы, дети, поздними вечерами, когда нас страшила темень, могли ходить туда по двое. Мы могли оставаться там долго, подбадривая друг друга. Этот маленький домик был для нас самым важным строением во всей усадьбе. Он свидетельствовал об улучшении наших жилищных условий после переезда в деревню.

Мы поднялись выше по общественной лестнице. У нас был теперь собственный нужник.

* * *

Но в жизни ребенка были и летние месяцы. Воспоминания о них гораздо богаче, и притом только хорошие.

Я часто слышал, как старые люди говорят: «В наши детские годы лето было длиннее». Я с ними вполне согласен. Лето у меня в детстве было и краше, и солнечнее, чем теперь. А главное — намного длиннее.

В зимнюю пору я жил, согреваемый теплом очага, под низкой крышей солдатской избы. В летнюю пору я жил, согреваемый солнцем под высоким небом. В моих воспоминаниях о детстве преобладают летние месяцы. Они сливаются в одно нескончаемое благодатно теплое время года с неизменным сиянием солнца над горушкой, где стояла наша изба. Я почти не помню дождливых дней. Должно быть, дождь шел по ночам, когда я спал.

Святой четверг — праздник вознесения Христа. В этот день мы, дети, по-своему возносились к небесам от радости: начиналась наша босоногая жизнь. В святой четверг нам разрешалось впервые в этом году снять чулки, сбросить деревянные башмаки и побегать босиком. Какая это была благодать — скинуть с ног громоздкую деревянную обувь, натиравшую мозоли! Наступал День босоногих — начиная с него мы избавлялись от обуви на все лето и часть осени. Такая жизнь продолжалась до первых заморозков. К этому времени наши босые ступни покрывались твердой подошвой, которая была прочнее кожаной. Сотни раз на коленях у нас появлялись и заживали болячки. Целое лето бегали мы точно лесные звереныши, и босоногая жизнь ставила на нас свои отметины. Но она же давала нам здоровье и силы выносить затворничество в периоды мрака и холода.

Тот, кто родился среди природы, органично входит в ее жизнь. Я был существом среди прочих лесных существ, четвероногих и ползающих, пернатых и летающих. За порогом нашей избы жило множество животных, которые были частью моего детства в летнюю пору. Их будни были моими буднями, и они были близки мне.

На верхушке большой яблони, росшей у самой избы, сороки строили гнездо из веточек и хвороста, и они будили меня рано утром своим бесконечным стрекотаньем. Они смеялись; сорока — единственная птица, которая умеет смеяться громко и насмешливо. Но сорока исстари считалась священной птицей. Никто не посмел бы убить сороку или разорить ее гнездо. Так что сорочье потомство выживало, благоденствовало и множилось. К лету гнездо на яблоне заполнялось птенцами, которые галдели и пищали. Случалось, что птенцы, еще не успев научиться летать, вываливались из гнезда и оставались лежать на траве. Мы взбирались на яблоню с беспомощными малышами в руках и клали их обратно в гнез-

до. Мы знали, что сорокам надо угождать, не то попадешь в беду.

В лесу, в дуплистых дубах, жили галки. Мы видели, как они вылетали из дупла, но их гнезда были для нас недоступны, и птенцов их мы могли видеть лишь когда они начинали летать. По осени галки собирались в большие стаи, застилающие небо; они оглушительно кричали.

Галки нас не очень интересовали, так как их было слишком много. Наше внимание больше привлекал ястреб.

Ястреб парил высоко-высоко в небе, распластав свои прямые крылья. Сверху птица казалась черным крестом на фоне голубого неба. Но у ястреба были такие зоркие глаза, что он с большой высоты видел кур, копошащихся в навозной куче. В любую минуту хищник мог ринуться вниз, вонзить свой острый клюв в одну из наших кур и утащить ее с собою ввысь. Этот воздушный разбойник летал быстро и высоко, так что никому не удавалось подстрелить его. И я думал: если бы я был птицей, то хотел бы быть ястребом, потому что ястреб может летать высоко в небе и ему незачем бояться людей, находящихся на земле.

Вокруг дома моего детства обитали также птицы, которые вмешивались в человеческую жизнь, предвещая либо зло, либо добро. Например, если зеленый дятел подходил близко к избе, это было к дождю. Потому и называли эту птицу «мокрохвосткой». Если на верхушке ели каркал ворон, то это означало, что быть беде. А если по ночам кричала неясыть, это наверняка предвещало чью-нибудь смерть...

Из всех лесных существ единственной ползучей тварью, представляющей опасность для наших босых ног, была гадюка. Завидев первую гадюку, свернувшуюся кольцом и гревшуюся на солнышке, мы знали, что пришло лето. Летом вокруг нашей усадьбы водилось множество этих пресмыкающихся гадов, назначение которых, согласно Библии, было жалить человека в пятку. Летом я уничтожал гадюк сотнями. Я мог, метнув в гадюку кол, одним ударом размозжить ей голову. Этому искусству меня обучил мой старший брат. Но гадюка продолжает шевелиться даже с раздробленной головой. Говорят, что она затихает только после захода солнца. Несколько раз случалось, что я наступал босой ногой на

гадюку, но она меня не жалила. Однако я до сих пор могу при желании вызвать в ноге ощущение холода от прикосновения к ползучей твари. Мой детский страх перед гадюками еще возвращается иногда в ночных кошмарах. Я бегу босиком, наступаю ногой на гадюку, и мне кажется, что пятка прикоснулась к ледяной сосульке...

По траве ползали и добрые, безобидные ужи, которых незачем было убивать, но они нередко гибли из-за того, что их принимали за гадюк. Большинство горожан не умеет отличить ужа от гадюки.

Из четвероногих зверей мы не боялись никого. Многие из них были пугливы и убегали при нашем приближении. Так вели себя косули, зайцы и барсуки. Но трусливее всех была лисица, которая исчезала в кустах столь стремительно, что мы успевали заметить лишь кончик ее толстого, пушистого хвоста. Ночами, однако, эта коварная хищница могла даже забраться в курятник и уволочь оттуда курицу.

Множество лесных существ, крылатых и четвероногих, заполняли летний мир моего детства. Занимали в нем свое место и лесные ягоды. Мы их собирали и ели, они составляли существенную часть летнего меню деревенских ребятишек из бедных семей.

Раньше других ягод, уже к Иванову дню, поспевала в лесу на вырубках земляника. Здесь, между пнями, ее было так много, что мы очень быстро объедались ею. Наевшись, мы собирали полные кружки ягод и приносили их домой матери. Потом, вечером, нам давали их к ужину с молоком. Что может быть вкуснее земляники с молоком! Летом это было нашим самым любимым лакомством.

В июле поспевала черника, которая росла в глухом бору, под высокими соснами. Эта ягода также шла в пищу детишкам из нищей усадьбы, хотя она была менее вкусна, чем земляника. И мы так усердно угощались ею, что в пору черники постоянно ходили с синими губами. Мы собирали полные кринки черники, и мать делала из нее муссы и варенье.

На исходе лета, в августе, наступало время малины. Малина росла среди камней и у стен дома, но ее было много и на лесных прогалинах. Она набухала соком и таяла на языке. В пору малины крестьянские дети ходили, перемазанные красным соком.

А на границе лета и осени появлялась брусника, вкуснейшая ягода шведских лесов. Мы уходили по бруснику на целые дни, и брусничной подливки, соуса к картофелю, нам потом хватало на всю зиму. Последней поспевала клюква, росшая на мшистых бугорках. Этой вкусной кисловатой ягодой лучше всего было лакомиться после того, как ее прихватывало первыми заморозками.

И тут лето кончалось.

Лето моего детства запечатлелось у меня в памяти запахами и вкусовыми ощущениями. Его аппетитный вкус остался у меня на кончике языка. Лето — это зеленый лук в масле, которое мать изредка намазывала нам на хлеб. Летние бутерброды были вкуснее зимних. Они и выглядели привлекательнее, с зелеными перьями лука на желтом масле. Лето — это молоко, которое стояло в тепле, закисая на простоквашу. Молоко «курчавилось», как мы говорили, оно делалось клочковатым и синеватым, совсем как облачки на небе.

А удивительное небо, которое как раз над моей головой всегда казалось выше, чем где бы то ни было! И как это получается? — изумлялся я в детстве. Я был скор на ногу, мог припуститься во всю прыть по дороге и убежать далеко. Но когда я снова взглядывал наверх, оказывалось, что небо следовало за мной неотступно. Снова небо над моей головой было выше, чем в других местах. Никуда мне было от него не убежать. Как могло статься такое?

Я ступал по накаленной солнцем земле затвердевшими подошвами, кругом был воздух и простор, а надо мной широко раскинулось небо. И вода была близко. Рядом бежал ручей, огибая полукругом наши владения. Вода в нем была как живая и непрерывно менялась в течение года. Это была удивительная вода. Осенью ручей выходил из берегов, затопляя луга, зимой он превращался в стеклянный прозрачный каток, а весной снова вздувался. Зато летом ручей усыхал, и воды его текли медленно и тихо под ветвями ивняка и ольхи.

Рыба из ручья не переводилась у нас на столе — правда, зимой мы удили реже, чем летом. Святой четверг был еще и Днем удильщика; в этот день мы закидывали леску в заводи, где щуки, разевая пасть, глотали, точно пили воду. Их можно было ловить даже петлей. Мы выкорчевывали кусты можжевельника и масте-

рили силки из можжевеловых корней, которые в воде походили на водоросли. Так можно было обмануть щуку, она не замечала ничего, пока петля не обвивалась вокруг нее.

У меня есть особые причины помнить первую щуку, пойманную мною петлей. Моя добыча укусила меня за палец. Я еще не научился обращаться с этой прожорливой хищницей, не был знаком с ее острыми зубами. Следовало остерегаться, чтобы палец не попал в щучью пасть! А я как раз и угодил пальцем туда. Щука прокусила его, он кровоточил и болел. Но какое это имело значение? Я ведь впервые в жизни поймал петлей щуку! Это был памятный день: я совершил свой первый подвиг. Гордо шагал я домой к отцу с матерью, неся через плечо огромную щуку — раненный, истекающий кровью герой, переживший свое первое приключение.

Подсекать щуку петлей — трудное искусство. Мой старший брат был умелым и опытным рыболовом. Он учил и меня. Ты крадешься вдоль ручья, тихо-тихо, шаг за шагом переступая босыми ногами. Гляди, чтобы твоя тень не упала в воду и не спугнула неподвижную щуку. А то плеснет хвостом в тростнике — и поминай как звали. Но если щука не уплыла, ты начинаешь осторожно накидывать силок ей на голову, потом заводишь его за жабры. Гляди только не задень грудные плавники. А как пройдет петля плавники, тут ты быстрым рывком затягиваешь ее. Рыба бьется в воздухе. Рыба твоя.

Ловля щук силками из можжевеловых корней была для меня в детстве самым увлекательным занятием.

* * *

Сейчас, в 1968 году, я считаю, что девять лет, проведенных в лесной избушке, были счастливейшей порой моей жизни.

Эта точка зрения сейчас, спустя шестьдесят лет, имеет естественное объяснение. Благодаря своей глубокой восприимчивости, нерастраченности души, ребенок обладает способностью всецело жить данным мгновением, данным часом, извлекая все заключенные в них радости и удовольствия. Это возможно лишь при полном забвении всего, кроме сиюминутности. Существует только данное мгновение, и ничего больше. Никаких теней, один только свет. Ребенку не о чем сожалеть в прошлом

и нечего бояться в будущем. Он живет настоящим, и этого ему достаточно.

Счастливая способность жить настоящим мигом, какой я обладал в детстве, с годами все больше утрачивалась мною. И потому я скорблю об этой невозвратимой способности, некогда присущей ребенку.

В моем описании девяти детских лет преобладают приятные воспоминания. И я вполне сознаю, что это только часть правды о моем детстве. Сделав упор на описании привольного летнего житья, я рискую создать впечатление чистейшей идиллии. Но я мог бы взглянуть на свое детство и с другой стороны, нагромождая тяжелые воспоминания, которые совершенно преобразили бы эти годы.

В детстве мне довелось узнать настоящую нужду, но я не намерен подробно останавливаться на этом своем опыте. Те писатели, которые вышли, как теперь говорят, из гущи народной, весьма основательно и исчерпывающе описали условия, в которых прошло их детство. Я сам использовал этот материал в трех из моих девятнадцати напечатанных романов и полагаю, что нет нужды и дальше распространяться на эту тему. Иной раз кажется, что писатели будто состязаются в изображении своих детских страданий. Ему приходилось тяжко, а мне еще тяжелее — вот смотрите! Некоторые настолько погружаются в пережитые лишения, что не могут исчерпать эту тему в своем творчестве. Ни забвения, ни примирения. Горечь не проходит, и они постоянно бередят свои раны, которые из-за этого не затягиваются.

Может, на моей шкуре раны, нанесенные страданиями в детстве, заживают лучше,— в таком случае это не моя заслуга. Тем не менее, когда в памяти всплывают воспоминания об этом времени, я всегда удивляюсь: неужто это было со мной? Неужто мы и вправду жили в такой нужде? Как мог я безболезненно обходиться без того, что теперь мне кажется необходимым? Неужто я был лишен всего, без чего теперь не мыслю существования? Возможно ли это? Когда я рассказываю своим детям о нашей жизни в солдатской хибаре, им кажется, что я сочиняю. Действительность моих детских лет представляется им выдумкой.

Голод и холод — да, конечно, я мерз в суровые зимы, часто простужался, болел золотухой, из ушей у меня текло. Но не могу сказать, что я голодал. Еды я полу-

чал, сколько мне было нужно, я рос и даже вымахал довольно высоким. Само собою, я часто бывал голоден, есть хотелось так, что подводило живот. Но в такие минуты я всегда шел к матери, и не было случая, чтобы я вернулся от нее ни с чем. Она отрезала ломоть хлеба во всю ширину каравая, и он казался мне необыкновенно вкусным. Я мигом уминал хлеб, и голод утихал, боли в животе прекращались. На всю жизнь хлеб стал непременной частью моего рациона; еда без хлеба не насыщает меня.

Большую часть года мы пили молоко от наших двух коров, но в те месяцы, когда коровы не доились, мы сидели без молока. Дети очень страдали от этого. Масло мать продавала лавочнику, чтобы купить на вырученные деньги кофе и сахару. Нам же вместо масла давали патоку. Мы, дети, любили хлеб со сладкой патокой. Хорошим подспорьем была свинина, которая не сходила у нас со стола, пока мы не доедали поросенка, заколотого к рождеству. В школу я приносил с собою завтрак — два кусочка хлеба, переложенные двумя ломтиками сала. Все это было завернуто в синий клетчатый платок. На рождество у нас бывал и сыр. Вареные яйца давались лишь тем, кто был сильно болен и лежал в постели. А вообще яйца шли на продажу. Основной нашей едой была селедка и картофель с брусничной подливкой. На ужин мы всегда ели кашу из ржаной муки.

Пища наша была однообразной и непритязательной, но она насыщала нас. В детстве я не голодал. Что такое голод, я узнал позднее, в двадцатилетнем возрасте, учась в промышленном городе Катринехольме в период кризиса, в 1918 году. Я тогда питался главным образом селедкой и брюквой и всегда ходил голодный.

Но дом наш часто посещали болезни и смерть. Испытания — как мать называла все беды — преследовали нас всю первую половину моего детства, когда я еще был несмышленышем, примерно до двенадцатилетнего возраста. Дети не вполне понимали, что происходит, и это волновало их меньше, чем родителей. Поэтому мои воспоминания о нашем доме в периоды скорби бледны, расплывчаты и ограничиваются разрозненными обрывками: мать, плачущая над безжизненным тельцем, лежащим у нее на коленях; вкус поминальных конфет в черных глянцевых бумажках, траурная шляпа, слетев-

шая с головы отца на кладбище, когда он нес к могиле детский гробик.

Смерть стучится в дверь, говорят в народе. Два моих брата умерли младенцами, один — от коклюша, другой — от дифтерита. Их имена вместе с датами рождения и смерти записаны на форзаце солдатской Библии отца. Спустя год после нашего переезда в деревню моя семилетняя сестра захворала детским параличом. В 1908 году была эпидемия этой болезни, которая теперь больше известна под названием полиомиелит. В тот год сестра только начала ходить в школу. Она стала калекой, но прожила до двадцатилетнего возраста. Мой старший брат умер восемнадцати лет, и я остался единственным сыном в семье.

Смерть стучалась в наш дом. Отец записал в Библии даты рождения своих семи детей. Ему пришлось написать даты смерти для четверых.

Семья наша поредела, и к 1909 году уменьшилась до шестерых человек. Это была смерть в детстве.

Оглядываясь на первые восемнадцать лет моей жизни, я вижу, что память о смертях в нашей семье затуманена другими воспоминаниями. Исключением является смерть старшего брата, которую я сам помню хорошо. Мне к тому времени уже исполнилось одиннадцать лет.

Вероятно, следует пояснить здесь некоторые мысли, высказанные в очерке «Всходы». Касаясь жилищных и других неудобств, испытанных мною в детстве, я писал, что «тут самое главное — удовлетворить потребности в той мере, в какой это необходимо для сохранения жизни» и что «...в данном счастливом случае никому не придет в голову жаловаться». Само собою, это не относится к моим братьям и сестрам, чей век был таким коротким. Это касается, главным образом, меня. Я выжил. Почему? Игра случая? Я задавал себе этот вопрос. Когда сестра моя захворала заразной болезнью, полиомиелитом, я целую неделю лежал в одной комнате с нею, но не заразился. Почему? Не думаю, чтобы какой-нибудь ангел-хранитель был послан богом осенять меня своими крылами. Моя мать верила в судьбу, она говорила мне: «Тебе суждено было жить».

Отец и мать были физически крепкими и выносливыми людьми, которые, несмотря на тяжкие испытания и изнурительный труд, дожили до преклонных лет. Отец дожил до восьмидесяти пяти, а мать — до девяноста

шести лет; под конец она была самой старой жительницей прихода. Мать в последние годы почти не вставала с постели, но отец не болел ни разу. Не помню, чтобы он когда-нибудь лежал больным, за исключением трех последних недель его жизни. Еще в восьмидесятилетнем возрасте он работал в усадьбе, которую продал дочери и зятю. Но в это время он стал жаловаться, что устает по вечерам, и никак не мог понять, в чем дело.

Свое крепкое сложение я, вероятно, унаследовал от родителей, и лучшего наследства не придумаешь.

Люди по-разному реагируют на свое происхождение. Одни гордятся им, а другие чураются и стараются приукрасить его. Думаю, что и то, и другое одинаково глупо. Родители, семья, среда, в которой ты рос,— все это дано человеку без его участия и выбора. Он не в ответе за это, а следовательно, ему не стоит ни гордиться, ни стыдиться.

Что касается меня, то у меня есть все основания считать себя счастливцем. И прежде всего я глубоко благодарен судьбе за то, что родился в лесу.

ШКОЛА В ЛЕСУ

Школа, в которой я учился, возродилась к жизни. Несколько лет назад я получил вырезку из газеты «Нюа Векшёбладет», где этому событию отводилась целая полоса:

«Повельсмольская школа в приходе Альгутсбуда, которая со времени своего основания в 1870 году находилась на краю трясины, в глубине леса, переведена в деревню. На сей раз местоположение ее будет более удачным. В прежние времена лес подступал к самым ее стенам. Теперь она расположена на светлом, открытом солнцу месте.

Благодаря финансовой поддержке церковных и муниципальных властей, школа переселилась в отремонтированный, чистый, заново окрашенный дом и готова вновь служить очагом культуры для жителей деревни.

В бывшем помещении школы дети не обучаются уже с 1920 года. Более сорока лет простояла она, всеми забытая, затерянная в лесной чаще. Отныне реставрированный и обновленный школьный дом будет служить клубом для окрестного населения».

Эти строки пробудили во мне воспоминания о годах 1906—1912-м, когда я протирал штаны на скамье в школе у трясины. Краткий рассказ о том времени, быть может, окажется полезным современной учащейся молодежи и всем тем, кто интересуется развитием просвещения в Швеции и хочет познакомиться с фактической стороной дела.

Старая Повельсмольская школа была школой с половинным сроком обучения. Дети, таким образом, обучались в ней всего четыре месяца в году. Три года они ходили в начальную школу, а затем четыре — в среднюю, причем средняя школа функционировала в первом полугодии, а начальная — во втором. Кроме того, обучаясь в средней школе, мы еще ходили по пятницам на так называемые опросы с повторением пройденного.

Моим первым школьным днем было 1 марта 1906 года, а последним — 10 июня 1912 года, когда я получил свидетельство об окончании школы. Следовательно, в общем и целом я посещал школу всего два года и четыре месяца, не считая опросов с повторением по пятницам. И тем не менее период обучения в школе был у меня гораздо продолжительнее, чем у моих родителей. Судя по рассказам отца, он ходил в деревенскую школу всего шесть недель; свои познания в чтении, письме и счете он, по сути дела, получил в школе новобранцев, когда пошел в солдаты. Мать училась на дому, в соседской усадьбе, у разъездного учителя. Официально обязательное начальное образование было введено в Швеции уже с 1842 года, однако у меня на родине первое школьное помещение появилось лишь в конце 1870 годов. Мать моя родилась в 1864 году, и в годы ее учения школа не имела своего постоянного места.

От нашего солдатского торпа — в 1906 году мы все еще жили там — мне нужно было идти в школу лесом около трех километров, но детям из других деревень нередко приходилось проделывать путь до пяти километров. Зимой нам доводилось перелезать через высокие снежные сугробы или шагать по грязи и слякоти. Обувь у детей нередко была рваная, и они приходили в школу в насквозь промокших чулках. У открытого огня в школьной зале всегда было полно детских вещей, вывешенных на просушку, а на пороге длинными рядами стояли детские деревянные башмаки.

Морозным, снежным днем я отправился в школу в первый раз. Моя сестра, которая была пятью годами старше меня и училась уже в предпоследнем классе, повела меня в тот день записывать в начальную школу. Мне было семь лет, и я боялся школы панически. Я крепко вцепился в руку своей тринадцатилетней сестры. Мне предстояло вступить в новую жизнь среди незнакомых, чужих детей. Я боялся больших мальчиков, которые всегда угрожали нам, малышам, побоями.

Когда мы приблизились к школе, я замедлил шаги, и глаза у меня наполнились слезами. Я помню, что сестра утерла мне слезы и заставила хорошенько высморкать нос, прежде чем войти в помещение.

Капрал Кальмарского полка Элиас Старк много лет сидел за кафедрой в нашей школе. У него учились мои старшие брат и сестра. За год до того, как я стал ходить в школу, старый солдат завершил свою службу на ниве просвещения и на его место заступила молодая учительница. Но в мое первое полугодие она не работала из-за болезни, и капрал Старк временно замещал ее. О преподавании этого учителя у меня остались неизгладимые воспоминания.

Сочетание «солдат-учитель» может показаться странным, но в XIX веке оно еще часто встречалось в шведских деревнях. Однако в начале XX века этот обычай уже относился к прошлому истории просвещения. Теперь от учителей требовалось специальное педагогическое образование. Не думаю, что капрал Старк обучался в каком-либо педагогическом училище. Не знаю точно, какое образование он получил, но подозреваю, что знания были приобретены им в школе капралов и на военной службе. Тем не менее он величал себя «ученым наставником». Он выведен под своим настоящим именем в моем романе из жизни солдат «Семейство Раска», где он пишет письма для солдатской жены Иды, которая хочет сообщить находящемуся на полковых сборах мужу новости из дому. Элиас Старк всегда готов был помочь неграмотным жителям деревни. Он ходил по домам и писал для людей письма. Ему коротко излагали все, о чем хотели сообщить, и учитель облекал устный рассказ в форму письма. Люди не могли им нахвалиться. Все говорили, что никто лучше Старка не умеет складно составить письмо.

Солдат-учитель был высокого роста, он всегда ходил, выпрямив спину и помахивая толстой палкой. Окладистая седая борода закрывала его грудь, а под черными взъерошенными бровями глубоко сидели синевато-серые глаза, острые, как лезвие ножа. Своим ученикам он внушал уважение, чтобы не сказать страх. И не только из-за колотушек, которыми он их награждал. И уважение это они продолжали питать к нему даже много лет спустя после окончания школы. Когда мой брат встречал на дороге своего бывшего учителя, он торопливо сдергивал с головы шапку.

У Старка был зычный голос, командирский бас. Когда он говорил, казалось, что гремит гром, сотрясая стены небольшого школьного дома. А когда по утрам он приказывал нам петь псалом «Иисусе, благослови начать новый день», можно было подумать, что он отдает команду «смирно» целой роте солдат. Он придавал преподаванию оттенок военной муштры.

Я очень боялся Элиаса Старка. В первый же день своего появления в школе он вызвал меня читать вслух. Мне нужно было прочитать сказку «Лиса и Петух» из книги для чтения. Я знал ее наизусть, но теперь я стоял у своего места, чувствуя дрожь в коленках, и читал, то и дело останавливаясь и заикаясь. От страха перед учителем я читал из рук вон плохо, с запинкой, не в состоянии проявить свое уменье. Учитель сидел за кафедрой, уставив на меня пристальный взгляд. Рядом с ним лежала его огромная табакерка, к кафедре прислонена была его толстая палка — и я очень опасался, что мне придется отведать этой палки.

Но Старк понял, что мое неумелое чтение объясняется страхом.

— Успокойся, малый! — сказал он.— Будешь поспокойнее, оно и легче пойдет.

Чтению вслух он придавал большое значение и внушал мне, как важно следить при этом за знаками препинания:

— Запомни, малый! На свете есть три знака препинания. Соблюдай их всегда. Есть большой, средний и маленький разделительные знаки. Маленький знак называется «запятая». Как увидишь маленький знак, пообожди маленько, только недолго, миг один, чтобы и дух не успеть перевести. Средний знак прозывается «точка с запятой». Дошел до него — и обожди подоль-

ше, дух переведи один раз. А как доберешься до большого знака препинания, под названием «точка», тут уж надолго задержись, так, чтобы дважды дух перевести. Вдохни, выдохни и дальше читай. Навсегда запомни это, малыш!

И малыш запомнил. Он помнит это и сегодня, шестьдесят лет спустя.

Постепенно мой страх перед учителем Старком рассеялся. Оказалось, что он вовсе не был жестоким злодеем, человеком, которому нравилось мучить детей. Правда, он был очень строг, но справедлив и честен. Спору нет, он требовал от учеников беспрекословного и немедленного повиновения. Если он что-нибудь приказывал — возражать и прекословить ему было немыслимо. Тут у нас соблюдался принцип военной дисциплины. К тем, кто озорничал или совершал какие-нибудь более серьезные проступки, учитель применял телесное наказание. Эта форма наказания не только дозволялась, но и прямо предписывалась в то время школьными правилами. Телесное наказание являлось неотъемлемой частью воспитания детей и в школе, и дома. Тогда не представляли себе, как можно воспитать из ребенка честного человека и добропорядочного гражданина, не потчуя его палкой или березовой кашей.

Так что, наказывая учеников, Старк всего лишь выполнял свой служебный долг. К тому же этот метод воспитания, призванный облагородить нашу натуру, испытывали на своей шкуре, главным образом, мы, мальчишки. У Старка имелся свой собственный, весьма эффективный способ применения физического наказания. Он обычно не пускал в ход свою палку. Тот, кому предстояло подвергнуться наказанию, должен был на следующей перемене выйти в лес и срезать можжевеловую розгу, которой ему и доведется отведать. Наказание, таким образом, усугублялось позором, и это оказывало самое неотразимое воздействие. Провинившийся должен был расстегнуть штаны и лечь животом на кафедру, после чего Старк охаживал его розгой пониже спины. Но что значила боль от ударов по сравнению с позором, когда наказуемый сам срезал для себя прут!

Каковы же были провинности, за которые наказывали в школе нас, мальчишек? Девочкам, насколько я помню, никогда не давали розог на кафедре. Тот, кого уличали во лжи, неизменно бывал бит розгами, но тот,

кто прямо и честно признавался в шалости, как правило, избегал наказания. Ложь была самым непростительным проступком в глазах учителя. Он сам всегда строго следил за тем, чтобы не пострадал невиновный, но если видел, что ученик отпирается и лжет, несмотря на явные доказательства его вины, он тотчас же приказывал:

— Ступай в лес и срежь для себя розгу!

Тот, кто боялся признаться в своем проступке и не хотел держать за него ответ, был, по словам учителя, погань, трус, дрянь человек.

Познания в преподаваемых им предметах были у Старка весьма ограниченные. Но у него было любимое выражение, которое он часто повторял нам и велел запомнить: «Самое главное в человеке не ученость, а душа».

Таким образом, достоинства этого учителя проявлялись, если можно так выразиться, не столько в плане научном, сколько в моральном. Он стремился в первую очередь привить нам различные добродетели, в крайнем случае даже путем вколачивания их в то место, откуда ноги растут.

Элиас Старк был моим учителем лишь короткое время, слишком короткое для того, чтобы я успел совершить проступок, достойный розог. Но даже и после этого, все те годы, что я оставался в родной деревне, встречая его на дороге, я каждый раз снимал перед ним шапку. Теперь меня уже никто к этому не обязывал, но все-таки я это делал. Последний в моем крае солдат-учитель всегда поступал, по своим понятиям, честно и открыто, он был, что называется, человеком безупречным. Хотя, разумеется, в современной школе он был бы нелепой фигурой и с треском провалился бы на этом поприще.

* * *

Какие же знания получали дети в начале нашего столетия в шведской деревенской школе с половинным сроком обучения? Чему научился я сам в нашей школе в лесу?

Разумеется, из всех предметов на первом месте был закон божий. Катехизису и библейской истории отводился один урок ежедневно на протяжении всех моих

школьных лет. Христианское вероучение занимало, пожалуй, более трети школьной программы. У нас каждый день спрашивали домашнее задание из катехизиса, а библейские предания из истории иудейского народа мы должны были уметь рассказывать своими словами. Требовалось также, чтобы мы знали наизусть катехизис Лютера если не до конфирмации, то после нее, когда нас допускали к первому причастию. Мы должны были уметь хорошо читать вслух, и этому посвящалось много часов в неделю. Среди деревенских стариков еще оставались не знающие грамоты, но среди подрастающего поколения таких не должно было быть. Правда, некоторым детям чтение никак не давалось, и они с трудом одолевали эту премудрость.

Обучение арифметике начиналось наглядно, с помощью счетов. Мы учились складывать и вычитать, умножать и делить, начинали с четырех простейших действий и постепенно добирались до вычисления процентов, определения размеров помещения в квадратных метрах и количества древесины в кубических метрах. Но за семь лет мы так и не дошли до десятичных дробей. Мы считали и писали грифелями на аспидных досках. Постепенно мы перешли к чистописанию, и тогда нам доверили ручки со стальными перьями, с которыми мы обращались очень уважительно.

Предметом, по-настоящему увлекавшим меня, была история. Это был единственный интересный для меня предмет во всей школьной программе. Нашим учебником была «История Отечества для младших классов школы» С. Т. Однера, двенадцатое пересмотренное издание. Книга до сих пор сохранилась у меня. Сколь выразительны и знаменательны уже первые фразы введения: «История рассказывает нам обо всем, что происходило с людьми и как род человеческий, ведомый богом, постепенно шел по пути совершенствования и просвещения. Но история повествует не обо всех событиях, а лишь о наиболее важных и примечательных. Она останавливает свое внимание лишь на тех народах и личностях, которые совершили нечто достойное упоминания, и оказали наибольшее влияние на судьбу человечества».

Что сказал бы автор учебника, если бы он в 1968 году восстал из мертвых и мог увидеть, как усовершенствовался род человеческий? Если бы он мог убедиться, как преуспели люди, ведомые богом, в наш век водород-

ной бомбы, когда во многих странах мира еще властвует насилие?

Но зато сколь правдив и откровенен С. Т. Однер, когда он признает, что история повествует не обо всех событиях. Да, видит бог, не обо всех! Его собственный учебник сообщал детям лишь те сведения, которые власти сочли подходящими для них. Перечитывая его сейчас, я понимаю, что мы оставались в неведении относительно многих важнейших событий в истории нашей страны. Из нас хотели воспитать послушных, добропорядочных подданных, которых ничто не могло бы поколебать в их доверии богу, королю и власть имущим, — с этих позиций и был написан учебник. И я, наивный, несведущий школьник, получал неверное представление об истории моего отечества. Ложь изложения истории заключалась не в том, что присутствовало в учебнике, а в том, что в ней о т с у т с т в о в а л о. Лишь гораздо позднее предстояло мне обнаружить, что истинная история моих предков не вошла в книгу. Трудовой народ, созидающий класс, безмолвный, обезличенный народ, не присутствовал в ней. Историк, следовательно, считал, что народ «не совершил ничего примечательного».

«История Отечества» Однера в основном повествовала о войнах. Мы читали пространные описания баталий и сражений, мы знакомились с битвами под Брейтенфельдом и Лютценом, под Нарвой и Полтавой. Причем шведы всегда отличались в сражениях доблестью и мужеством. Они всегда вели себя благородно, по-рыцарски, никогда не совершали бесчинств и жестокостей по отношению к неприятелю, который был, разумеется, жесток и бесчеловечен. Например, о том, какую память оставили по себе шведы в Германии во время Тридцатилетней войны, в книге деликатно умалчивается. К тому же моя страна никогда не нападала на другую страну. Швеция всегда вела оборонительные войны, даже во времена Карла XII. Этот король защищал нашу родину во многих странах Европы — в Дании, Германии, Польше, России и Норвегии. Наши же соседи, напротив, были коварны и ненадежны. Датчане всегда вероломно наносили нам удар в спину в то время, как мы вынуждены были отражать нападение с другой стороны. Другим соседом, на которого мы никогда не могли полагаться и который в любую минуту готов был напасть на нас, была Россия. (О том, что Швеция только в XVIII веке

дважды, в войнах 1741 и 1788 годов, была нападающей стороной,— об этом я не знал). У нас было два наследственных врага — датчане и русские. Вражда наследовалась, как деньги и крестьянские усадьбы.

Поскольку в учебнике истории рассказывалось о войнах и героях, я читал его, как увлекательную книгу об индейцах. Шведские короли и полководцы стали идолами маленького школьника наравне с героями книг об индейцах. Густав II Адольф, Карл X Густав, Карл XII, Юхан Банер и Магнус Стенбок стали предметом моего обожания в той же мере, что и Кожаный Чулок, Олд Шэттэрхэнд, Ситтинг Булл, Буффало Билл и Джек Техасец. «История Отечества» внушала мне, что стойкость, мужество, храбрость на поле брани, бряцание оружием являются наибольшими доблестями человека. Меня учили, что наивысшей чести человек может удостоиться, только убивая людей на войне и тем самым покрывая себя вечной и неувядаемой славой.

Преподавание географии было более примитивным. По карте, висящей на стене, мы знакомились с основными сведениями, касающимися местоположения и характеристики нашей страны. Но о других странах у нас по окончании школы оставалось весьма смутное представление. Все части света, кроме Европы, были для нас просто названиями. И все же самые светлые школьные воспоминания связаны у меня с уроками географии, на которых мы по очереди читали вслух книгу Сельмы Лагерлёф о путешествии Нильса Хольгерсона по Швеции. Вот это была пища для изголодавшегося по книгам ребенка! Это были сказочные уроки. Примостившись рядом с Нильсом на спине гуся, я летел вместе с ним над страной, а когда чтение кончалось, я продолжал полет уже мысленно, в своем воображении. И тут Нильс переживал множество приключений, которых не было в книге Сельмы Лагерлёф.

Рассказ о самом запущенном предмете в нашей школе я приберег напоследок. Я имею в виду родной язык.

В средней школе мы раз в неделю занимались грамматикой, и я научился довольно сносно писать самые простые слова. Но мне ни разу не довелось написать сочинение на родном языке. После семи лет обучения мы покидали школу, так и не получив возможности поупражняться в родной письменности.

Мы могли читать книги, но писать почти не умели. На уроках родного языка мы кое-как научились выделять в предложении подлежащее и сказуемое и отличать существительное от глагола. Но основательных знаний по грамматике мы не получили. Большинство детей оканчивали школу с такими скудными познаниями, что не умели даже грамотно написать письмо. Это прискорбное обстоятельство подтвердилось при проверке грамотности юношей-новобранцев.

Таким образом, еще в начале нашего века мать Швеция настолько пренебрегала образованием своих чад, что они даже не имели возможности изучить как следует свой родной язык. Окончив школу, я не умел выражаться письменно. Здесь был большой пробел в моих знаниях, который мне позднее пришлось восполнять в других учебных заведениях. Мои попытки упражняться в письме, не зная основных грамматических правил, ни к чему не привели. Мое неумение пользоваться родной письменностью очень тяготило меня. Я до сих пор сожалею о сотнях уроков в течение семи школьных лет, потраченных на зубрежку катехизиса Лютера и изучение иудейской истории. Это время я считаю совершенно потерянным. Если бы его посвятили обучению шведскому языку, это избавило бы меня от многих затруднений в будущем.

Но школа в лесу предназначалась для детей крестьян, батраков и поденщиков, то есть для трудового люда. Дети из других классов общества ходили в другие школы. Если рассматривать знания с чисто утилитарной точки зрения, то их было достаточно. Считалось, что нам и не следует знать больше, раз мы все равно пойдем по стопам отцов и останемся в трудовой среде. Крестьянин может отлично пахать землю, не зная шведской грамматики, лесоруб может превосходно валить деревья, не умея написать ни единого слова на родном языке, крестьянская жена может доить коров и сбивать масло с величайшим искусством, не имея ни малейшего понятия о подлежащем и сказуемом.

Правда заключается в том, что долг общества перед его членами в смысле образования в начале века еще не был осознан. Далеко не все считали обязательное начальное образование чем-то насущно необходимым. В своем автобиографическом очерке Фабиан Монссон пишет, что в годы его детства в его родном Блекинге

«школа считалась рассадником общественного зла, где читают безбожные и бесполезные книжки». Родина Фабиана находилась в то время под духовным влиянием сектантского учения, согласно которому все книги, кроме так называемых божественных, вредны или бесполезны. Но некоторые крестьяне в моем родном крае считали школу вредной с несколько иной точки зрения: она лишала сельское хозяйство рабочих рук. Она отрывала детей от работы в усадьбе, возлагая тем самым дополнительные тяготы на плечи родителей.

Я на себе испытал это столкновение между школой и домом. Я рос крепким и сильным малым и скоро был уже в состоянии помогать отцу в самых тяжелых хозяйственных работах. В глазах отца я уже был взрослым работником, а мои рабочие руки школа отнимала у него на целых четыре месяца в году! С этим он никак не хотел примириться. И когда я возвращался домой из школы, он тотчас отсылал меня на гумно или в поле. Хоть какой-то прок можно было от меня получить. Отговариваться тем, что мне надо готовить уроки, было бесполезно. Неужто уроки могут быть важнее, чем жатва или обмолот?

Сам я не хотел ни в школу ходить, ни в поле работать. Но делал и то, и другое по принуждению.

Но я по крайней мере не сталкивался с проблемой, которая занимает современных детей и подростков: для меня не существовало проблемы свободного времени.

* * *

Капрала Старка на школьной кафедре сменила молодая учительница, только что окончившая педагогическое училище. Нам, детям, она казалась пожилой, хотя на самом деле это была молодая девушка двадцати с небольшим лет, почти на полвека моложе своего предшественника. Не только в отношении возраста, но и в других отношениях между старым капралом и молодой девушкой лежала целая пропасть. У фрекен Майи не было солдатских замашек Элиаса Старка. Например, перед ней на кафедре не лежала табакерка. Более того, обнаружив, что старшие ученики жуют табак, она пришла в ужас. Они хотели этим доказать свою мужественность, однако фрекен Майя строжайше запрещала эту

дурную привычку. Это не только негигиенично, но к тому же и грешно. А мужское достоинство можно проявлять и другими, более опрятными способами, считала фрекен Майя. Мальчики, жевавшие табак, принуждены были отдать ей свои табакерки и через день, подходя к кафедре, показывать учительнице зубы. Само собою, они втихомолку продолжали предаваться этому мужскому занятию и похвалялись им перед нами, младшими учениками. Просто в тот день, когда нужно было идти к кафедре показывать зубы, они тщательно смывали с них водой табачные пятна. Позднее, когда мы стали ходить к пастору готовиться к конфирмации, у большинства моих товарищей были табакерки, и пастор не запрещал пользоваться ими.

Фрекен Майя также по долгу службы применяла телесные наказания, но более редко и в гораздо более мягкой форме, чем капрал Старк. Изредка она брала розгу и стегала ею разок-другой расшалившихся мальчишек. Впрочем, в большинстве случаев дело ограничивалось дерганием за вихры и пощечинами. А пощечины, наносимые девичьей рукой, не слишком-то ощущались; оплеухи предшественника были куда увесистее. Кроме того, нас ставили в угол. Мы становились в углу, около карты Швеции, на потеху злорадно хихикающему классу. Я стоял в углу несколько раз. Но при этом я испытывал не стыд, а лишь обиду и унижение. К сожалению, фрекен Майя применяла еще одно наказание, в котором, я уверен, она впоследствии раскаивалась. Провинившегося мальчика сажали на время к девочке, которой все чурались и которая сидела на скамье одна из-за вшей в голове. Это было самое глубокое унижение и самое страшное наказание, какое только мы могли себе представить.

В нашем классе было двое ребят, мальчик и девочка, носивших жестокое клеймо полуидиотов. Им следовало бы учиться в специальной школе для умственно отсталых детей. С этими ребятишками у фрекен Майи было много хлопот, и не только потому, что они не в состоянии были усваивать урок наравне с остальными, но и по другим, более явным причинам. Случалось, что во время занятий они справляли и большую, и малую нужду прямо на скамьях.

Фрекен Майя была моей учительницей все время моего обучения в школе в лесу. Несмотря на то, что при

нашем расставании с нею она вынуждена была выставить мне по поведению «неуд», в моей памяти она оставалась человеком доброжелательным. Она читала книги и давала их читать мне. Она выполняла свой учительский долг так, как считала это нужным и правильным. За слабые знания, даваемые нам школой с укороченным сроком обучения, она не могла нести ответственности. Она, безусловно, делала для своих учеников все, что могла. Иное дело, что это «все» казалось мне далеко недостаточным.

Фрекен Майя пеклась не только о нашем физическом развитии, но и о наших душах, и о нашей загробной жизни. Она была искренне и в высшей степени религиозна. Когда на уроках библейской истории мы читали евангельский рассказ о распятии Христа, она заливалась слезами, и многие дети, тронутые ее волнением, плакали вместе с нею. Особенно горевали девочки. Наша учительница подробно рассказывала о том, как распинали Христа. Ей хотелось, чтобы мы поняли, какие муки принял за нас спаситель. Можем мы представить себе, каково это, когда тебе в руки и ноги вколачивают гвозди? Я, который отнюдь не слыл чересчур чувствительным ребенком, и то бывал глубоко тронут историей распятия на Голгофе.

Фрекен Майя преподавала и в классах средней школы, хотя образование у нее для этого было недостаточное. Она окончила училище для учителей младших классов. Но она сумела завоевать любовь местных крестьян, и они захотели, чтобы она осталась в школе. К тому же никто из более квалифицированных учителей не претендовал на это место. Всех отпугивало учительское жилье, состоявшее из одной крошечной комнатки при школе. К этому добавлялось и уединенное местоположение школы, стоявшей посреди леса за несколько километров от деревни. До ближайшего дома учительнице нужно было идти не меньше получаса.

Сейчас я поражаюсь тому, что молодая девушка не боялась жить одна в такой глуши. На дорогах в то время шаталось много бездомных бродяг, и, хотя в нашем приходе было спокойно, время от времени случались нападения на одиноких учительниц в соседних лесных районах. В конце концов местные власти вынуждены были построить для фрекен Майи отдельное жилье, и одна из

старушек переехала к ней для компании и в помощь по хозяйству.

В пожилые годы, уйдя на пенсию, фрекен Майя вышла замуж за местного крестьянина. Она надолго пережила своего мужа и умерла всего несколько лет назад.

Итак, я закончил школу с «неудом» по поведению и в первые несколько лет таил в сердце обиду на свою учительницу. Но постепенно рана затянулась, и в более зрелом возрасте я попытался взглянуть на наши с нею взаимоотношения с ее точки зрения. Школа в лесу была, в первую очередь, учебным заведением, где нам прививались официальная общественная мораль и христианские добродетели. Я прежде всего должен был быть покорным господу богу и, согласно заповедям из катехизиса Лютера, должен был почитать короля, власть имущих, а также учителей, родителей, господ и хозяев. В последние годы моего учения в школе я, по мнению фрекен Майи, не проявлял такого послушания, и естественным следствием этого явилась моя отметка по поведению. Учительница постоянно жаловалась на меня моим родителям: «Мальчик совершенно не слушается меня!» Отец и мать огорчались, сетуя на то, что у их ребенка столь дурные наклонности.

В конце концов я возненавидел школу и считал дни до ее окончания. Мне казалось, что я зря трачу время в школе, где меня не учили тому, что я действительно хотел знать, а вместо этого вдалбливали мне в голову то, что лишь нагоняло на меня скуку. К тому же я никак не мог примириться с принуждением, с дисциплиной. Таким образом, последние мои школьные годы были периодом бунта, реакции на окружающее. Это был бунт ребенка против тирании взрослых.

Правда, есть дети, которым нравится ходить в школу. Мне кажется, у них отсутствует бунтарский инстинкт, столь естественный для человека в период роста.

И в конце концов я превратился в отпетого сорвиголову, одного из тех, кто доводит учительницу до слез. Нас было трое бунтарей, мы всегда держались вместе, за что получили прозвище «трилистник». До сих пор чувствую я укоры совести, вспоминая, как фрекен Майя плакала из-за моего непослушания и упрямства, из-за озорства моего и моих товарищей, которое мы обычно затевали сообща. Что с нами станется в жизни? — вот

о чем она горевала. А уж о том, что будет с нами после смерти, и помыслить страшно...

В моем романе «Неуд по поведению» школьные годы окрашены поэтическим вымыслом и изменены до неузнаваемости. Здесь я попытался изобразить реальную действительность. Но в романе я дал школе в лесу двух учительниц — суровую и непривлекательную фрекен Камп и добрую, симпатичную фрекен Йертквист. Описывая фрекен Йертквист, я наделил ее лучшими качествами моей бывшей учительницы. Мне хотелось таким путем воздать ей должное хотя бы через много лет. Я сознавал, что я воздаю ей добром за зло. Но ведь я помню, что когда-то платил ей злом за то, что она давала читать книги томящемуся книжным голодом ребенку.

СМЕРТЬ В МОЛОДОСТИ

Когда я вновь перечитываю свои книги спустя много лет после их появления на свет, они кажутся мне до странности чужими. Неужели я когда-то действительно написал все это? Я не узнаю себя на этих страницах, они вполне могли быть написаны кем-нибудь другим. Особенно поражает меня то, что в моих романах столь часто фигурирует смерть. Я снова и снова повествую о людях, смертельно больных, живущих под сенью смерти, лежащих на смертном одре. Во многих произведениях я описываю человека в его смертный час, и это особенно характерно для моих ранних романов, написанных в молодости.

И я спрашиваю себя: почему я в своих книгах так часто останавливаюсь на последних мгновениях человеческой жизни?

Бывают писатели, которые тяготеют к какой-либо одной теме. Может быть, этим и объясняется мое постоянное возвращение к теме смерти? Но такое объяснение меня не удовлетворяет. Я полагаю, что буду ближе к истине, если стану искать причину в том факте, что конец человеческой жизни — нечто для нас необъяснимое и загадочное, и является поэтому неиссякаемой темой, которую писатель никогда не сможет исчерпать.

Впрочем, объяснение отчасти следует искать и в том, что я часто сталкивался со смертью в детские и юношеские годы. Я писал уже, что некоторые воспоминания

продолжают жить во мне и с годами становятся все ярче.

В юности, по восемнадцатому году, я проводил в могилу трех моих сверстников. Все они умерли от одной и той же болезни — чахотки. Я был в числе несущих гроб на похоронах двух девушек и одного парня, которые были моими соучениками.

В начале 1900 годов чахотка была болезнью молодых, и притом всегда смертельной болезнью. Нам не приходилось слышать, чтобы какой-нибудь чахоточный выздоровел. Болезнь могла длиться долгие годы, но конец всегда был один. Чахоточный считался приговоренным к смерти, распространявшим вокруг себя заразу, и поэтому все его избегали. Инстинкт самосохранения вынуждал людей сторониться больного, доставляя ему этим дополнительные страдания.

Смерть в молодости. Вероятно, покажется странным, если рассказ об этом я начну с рождественского гулянья в доме моих родителей.

Отец с матерью позволили мне пригласить на рождество с полдюжины моих сверстников. Среди приглашенных была одна девушка, Кайса, к которой меня уже давно тянуло. Она была года на два, на три старше меня, и другие парни считали, что она несколько круглее и полнее, чем полагается быть молодой девушке. Но это как раз мне и нравилось. Я всегда предпочитал пухленьких толстушек, у которых было мясо на костях.

На этой вечеринке в доме моих родителей я пережил большое событие. Мне уже было полных семнадцать лет, а я еще ни разу не целовался с девушкой. И вот теперь это произошло. Впервые в жизни мои губы прикоснулись к губам девушки. А ведь все, что с подростком происходит впервые, является для него событием.

Мы водили хороводы на старинный лад — «Пир честной», «У ручья, у ручья ждет меня зазноба» и «Огонь горит». Я много раз приглашал в круг Кайсу, и она тоже выбирала меня. Мне очень нравилось обвивать рукой ее стан, такой удивительно мягкий; нежная девичья плоть была податлива под моей рукой. А когда я прижимал руку покрепче, то чувствовал, что Кайса этому не противится.

Во время передышки между хороводами я увлек Кайсу в сени, где было темно, как в погребе. Мы с Кайсой стояли, тесно прижавшись друг к другу, и не знаю,

как это случилось, но губы наши тоже сблизились. Рот девушки раскрылся навстречу моему рту.

Губы у девушки были теплые и влажные, мне пришлось после утереться ладонью. Мы поцеловались. Это было впервые для меня, но не для Кайсы. Я понял, что она уже целовалась прежде. Для меня это, собственно говоря, была первая робкая и неуклюжая попытка поцелуя. Тем не менее ощущение было ошеломляющее, оно помогло мне преодолеть мою робость. Я почувствовал себя гораздо увереннее. Мне было семнадцать лет — самое время научиться обращаться с девушками.

Мы встречались еще несколько раз и опять целовались, и теперь у меня это получалось гораздо лучше. У Кайсы был опыт, которого недоставало мне. В первый раз, когда она просунула кончик языка между моими губами, я почти испугался. Стало быть, это так делается? А может, это противоестественно? Может, это извращение какое или даже грех? Но мне это нравилось, доставляло наслаждение. Когда кончик ее языка встречался с моим и двигался взад и вперед у меня во рту, тычась в зубы, как крошечный птичий клювик, по телу моему пробегала сладкая дрожь. Кожа начинала пылать, и меня одолевало желание сделать с Кайсой то, что строго-настрого запрещалось шестой заповедью.

Но, как бы там ни было, с Кайсой у нас дальше поцелуев не зашло. Она скоро стала гулять с другим парнем. Мне было больно при мысли о том, что она целует его так же, как целовала меня. Но я не пытался приставать к ней. Моя мужская гордость была глубоко задета: раз она не хочет, так что ж... И я стал избегать ее. При встречах мы равнодушно обменивались ничего не значащими словами.

Минули весна и лето. Я время от времени встречал Кайсу на дороге, так как мы жили близко друг от друга. Я видел, что она исхудала и лицом, и телом, и мне казалось, что это к ней не идет. У нее был болезненный вид, и я слышал от людей, что она будто бы хворает. Ее больше не видно было на гуляньях и танцах. А к осени все уже знали, что с ней такое: у нее открылась чахотка.

Я знал многих чахоточных, но их болезнь касалась меня лишь поскольку я жалел их и радовался тому, что сам я здоров. Но теперь меня охватило страшное подо-

зрение, в душу закралась леденящая мысль: а что, если Кайса заразила меня?

Мы ведь целовались много раз, и целовались по-настоящему, если можно так выразиться. Ни с одним человеком я не находился в такой телесной близости, как с нею. А ведь чахотка прилипчива, ею можно заразиться от больного и не целуясь с ним. Люди не осмеливались близко подходить к чахоточным из-за их кашля. Они распространяли вокруг себя смертельную заразу, воздух около них так и кишел бациллами. После их смерти делали дизинфекцию, опрыскивая все в доме резко пахнущей жидкостью. Постель чахоточных сжигали и уничтожали вещи, которыми они пользовались или которых касались. От больных старались держаться как можно дальше. А мы с Кайсой были так близко друг от друга; а что, если я...

Я искал ответа на вопрос: насколько заразна чахотка? Я нашел у нас в доме книгу о болезнях «Домашний лечебник», и вот что я прочел там об этой болезни: «Источником заразы в большинстве случаев являются больные, которые при разговоре и кашле распространяют бактерии, находящиеся в капельках слюны. Бактерии могут либо вдыхаться лицом, находящимся в непосредственной близости от больного, либо, попав на пол, вдыхаться затем вместе с пылью».

«...Лицом, находящимся в непосредственной близости от больного». Я-то уж точно находился в «непосредственной близости» от Кайсы. Ее язык был у меня во рту, а мой у нее во рту. Что еще нужно, чтобы заразиться? Смертоносная зараза находится в слюне. Уже тогда, во время первого влажного поцелуя в сенях на вечеринке слюна Кайсы попала ко мне в рот! Даже если в тот раз у нее еще не было чахотки, то она могла появиться у нее в другие разы, когда ее слюна попадала ко мне в рот.

Далее в «Домашнем лечебнике» было написано, что «больного мучает упорный кашель и он сильно худеет». Кашля у меня пока не было, и худеть я еще не начал, насколько я мог судить. Но в том же «Лечебнике» говорилось, что подхвативший заразу может долгое время чувствовать себя совершенно здоровым. Болезнь обнаруживалась далеко не сразу. «Иногда чахотка не обязательно проявляется явными симптомами и обнаруживается лишь при врачебном осмотре».

Стало быть, я мог быть болен, сам не зная об этом. И Кайса могла хворать уже тогда, на рождество. Просто болезнь у нее проявилась не сразу.

Меня охватил ужас. Ночами я лежал без сна, терзаемый смертельным страхом. Я лежал до тех пор, пока меня не прошибал холодный пот, а в груди начиналось колотье. А ведь ночной пот и колотье в груди — верные признаки чахотки. В груди находятся легкие, которые от этой болезни разрушаются, и больной выкашливает их кусок за куском.

Долгое время жил я под страхом чахотки, преисполненный жалости к самому себе. Отчего именно со мной должна была приключиться такая напасть? Вместе с тем меня сильно мучила совесть из-за того, что мне прежде всего жалко себя. Почему мне не жаль Кайсы? Почему я не думаю о ее тяжелом положении? Упрекать мне ее не за что — она ни в чем не виновата. Она ведь не знала о своей заразной болезни.

Я то и дело смотрел на себя в зеркало, и мне стало казаться, что я худею. Может, сходить к доктору и выяснить все наверняка? Но нет, этого я боялся, мне хотелось оставить себе надежду, пусть даже крошечную. Я предпочитал неизвестность жестокой правде, равносильной смертному приговору.

В свои семнадцать лет я еще ни разу не был у врача. Доктора у нас в деревне звали, когда ничем другим уже нельзя было помочь. После доктора нередко приходил пастор.

Моя бабушка, которая, продав усадьбу моим родителям, жила у нас на покое, была мне самым близким другом. С малолетства привык я приходить к ней со своими бедами и заботами, и она утешала меня и помогала мне. Но об этом страхе чахотки я не мог говорить с ней, так как не хотел рассказывать о том, каким образом я подхватил заразу. Но бабушка моя была женщина мудрая и проницательная, ей было восемьдесят лет, и она знала о жизни на этой земле больше, чем кто-либо другой из окружавших меня людей.

Она видела меня насквозь и заметила, что я в последнее время стал сам не свой.

— Ты, я вижу, все думаешь о чем-то, малый. Печаль, что ли, какая тебя сокрушает?

Я пытался отнекиваться. Я здоров, чувствую себя хо-

рошо и ни о чем не печалюсь. Вот только в груди иной раз кольнет. С чего бы это?

Бабушка посмотрела на меня через очки своим острым взглядом:

— Гляди, с горя чахоткой не захворай!

Стало быть, она сразу угадала, что у меня за болезнь! Она видит по мне, что я болен!

Я слышал, что в чахотку вгоняет печаль, любовная печаль. Но ко мне это не относилось. Я не страдал от несчастной любви.

Я спросил бабушку:

— Верно, что чахотка очень заразная болезнь?

— Нет! — решительно ответила она.— Чахотка не заразная.

— Как можете вы такое говорить, бабушка?.. Все же знают...

— Верно тебе говорю. Чахотка не заразная. Кто заразил первого чахоточного? Можешь ты мне это сказать?

Нет, этого я сказать не мог.

— То-то же! Ты верь мне!

Я не мог объяснить, кто заразил первого чахоточного, а бабушка и вовсе не верила в заразные болезни. Она считала, что всем на свете правит бог, он насылает болезни, и чахотку тоже. И, отнимая через эту болезнь жизнь у молодых, он хочет лишь показать, что жизнь — это дар, которым следует пользоваться как подобает.

— Ты верь мне,— повторила бабушка.— Уж я-то знаю. Положись на меня!

Но утешить меня ей не удалось. Кайса ли наградила меня болезнью или бог — какая разница? Все равно я умру от нее.

С наступлением зимы Кайса перестала выходить из дому. Она почти не вставала с постели. Те, кто проходил мимо ее дома, еще издали могли слышать ее кашель. Говорили, что у нее галопирующая чахотка. И я думал об этом слове — галопирующая. Оно применялось к быстроногим животным. Так говорят о лошадях, но не о волах или коровах. Только кони галопируют. Волы и коровы движутся медленно, лениво. А лошади несутся вскачь, почти не касаясь земли, и порою кажется, что все их четыре копыта летят по воздуху. И болезнь Кайсы подвигалась с такой же быстротой, с какой мчится галопом по дороге конь, спешащий к цели.

И галоп скоро кончился для Кайсы. Она не пережила весны. Это время самое опасное для чахоточных. Они не переносят, когда листья распускаются на деревьях. Кайса умерла в мае.

Молодых должны провожать в могилу молодые. Шесть парней, одногодков Кайсы, были приглашены нести ее гроб. Я был одним из них.

Мне шел всего лишь восемнадцатый год, и я до этого никогда еще не носил покойников. Охотнее всего я бы уклонился от этого. Но отказаться было нельзя. Причин у меня не было никаких, а так просто отказаться было делом неслыханным, такого у нас еще не случалось. Можно отказать в услуге живому, но не мертвому.

К похоронам Кайсы мне пришлось справить себе новый головной убор. Тот, кому доверено нести гроб, должен быть в черной шляпе, и я купил себе так называемый цилиндр, шляпу с высокой тульей и жесткими полями. Когда я надел ее на голову, мне показалось, что она сделана из дерева. Приподнимая ее, я точно держал в руках кусок доски. Я надел шляпу и взглянул на себя в зеркало. Я сразу постарел на десять лет. В черном цилиндре я выглядел пожилым дядей.

К тому же новая шляпа оказалась мне велика, и мне пришлось набить ее старыми газетами, чтобы она не сползала на уши. Старшая сестра, глядя на меня, расхохоталась, но я упрекнул ее: можно ли быть такой жестокой и бессердечной и смеяться над нарядом гробоносца?

Моя первая шляпа была траурным головным убором.

Кайсу хоронили теплым майским воскресеньем. Во дворе перед ее отчим домом стоял гроб в окружении свежесрубленных молодых елочек со спиленными кронами. Теперь я видел это воочию: смерть в молодости.

Молодые елочки еще зеленели свежими, живыми ветками, но скоро ветви засохнут, осыплются, и тогда их снесут в мусорную кучу.

Во дворе перед домом стояли погребальные дроги, запряженные парой белых лошадей. Молодых всегда везли на кладбище в упряжке с белыми лошадьми.

День стоял жаркий, лошадей донимали мухи, и они лягались копытами, отбивались хвостами. Когда они попытались пощипать травку во дворе, возница натянул вожжи и прикрикнул на них:

— А ну, стой!

Люди, собравшиеся на похороны, переговаривались между собой, бормотали:

— Вот беда, беда! Такая молоденькая! Но мы все... все... все мы!..

Я видел и слышал все. Я смотрел на срубленные ели, на коней, на возницу, на собравшихся людей. Я смотрел на все, кроме гроба, стоявшего в окружении деревьев.

Но не из-за Кайсы глаза мои избегали смотреть на гроб, не из-за того, что первая девушка, которую я целовал и ласкал, лежала там под крышкой. Это из-за себя отводил я взгляд от гроба.

Я присутствовал на похоронах своей ровесницы, но думал я только о себе; о себе и ни о ком другом.

Люди стали вокруг гроба и запели псалом:

Младость, здесь остановись,
В смерти страшный лик вглядись.
Призовет она к себе,
Покоришься ты судьбе.
Младость буйная, постой,
То же будет и с тобой.

Потом нам шестерым нужно было поднять гроб Кайсы и поставить его на дроги. Пальцы мои крепко вцепились в веревку, я весь напрягся и оцепенел. Я смотрел прямо перед собой, но ничего не видел и не слышал. Слова псалма глубоко взволновали меня. Не то, чтобы я был подавлен и сокрушен ими или ощутил себя жалким и ничтожным. Напротив, в словах этого псалма я почувствовал как бы посягательство на меня и мою молодую жизнь. И это вызвало во мне протест. Я должен сопротивляться, восстать!.. «Покоришься ты судьбе...» Но этого-то как раз я и не хотел — покоряться. Какая-то неистовая сила поднималась во мне, протестуя против слов псалма: «То же будет и с тобой». Нет, пока что не будет! И еще долго, долго не будет!

Нет, этого я не хотел. Только одно чувство до краев заполняло мою юную душу: я не хочу умирать в молодости!

И смутно ощутил я в этот час, что мне и нет надобности умирать, если только сам я не покорюсь.

Впервые в жизни я исполнял обязанность гробоносца. Я не знал, как мне следует вести себя. Когда пришло время нести гроб Кайсы к могиле, я старался делать все, как другие. Судорожно сжимал я веревку, боясь, что

она выскользнет из рук и мы уроним гроб. Ноша у нас была не тяжелая, я диву давался, до чего легок гроб. Прежде Кайса была кругленькой толстушкой, мои руки, которые теперь поддерживали ее гроб, когда-то ощущали ее пухлое тело. Тогда оно было полно жизни. Но я вспомнил слова «Домашнего лечебника» о чахоточных: «Больной быстро худеет». Оттого таким легким был теперь гроб Кайсы. Я оказал мертвой услугу, в которой никто не может отказать. И вскоре мне снова пришлось надеть мой новый цилиндр, траурный головной убор. До конца этого года я оказал ту же услугу еще двоим сверстникам — парню и девушке.

Может быть, следующая очередь моя? Может, и я скоро последую за своими сверстниками туда, куда никто не хочет идти?

Уже много месяцев я жил с убеждением, что ношу в себе болезнь молодых. Я почти был уверен, что заразился чахоткой и мне остается лишь сходить к доктору, чтобы убедиться в этом.

Но на похоронах Кайсы со мной что-то произошло. Слова псалма о покорности смерти глубоко уязвили меня, и я решил любой ценой отринуть их от себя. Я хотел доказать, что они неверны. Умереть в молодости, когда я еще и не жил? Нет, нет, такого со мною не случится. Я не покорюсь, я буду бороться. Жизнь того стоит. Душа и тело семнадцатилетнего подростка преисполнились неистребимой жажды жизни. И это стремление должно помочь мне. Не может быть, чтобы мое желание так уж ничего не стоило. А я хотел жить, хотел изо всех сил.

И с той минуты, как я услышал погребальный псалом «Младость, здесь остановись», я твердо решил выкинуть из головы болезнь молодых. Просто-напросто я сказал себе, что совершенно здоров.

Так оно и оказалось. Симптомы болезни, которые, как мне чудилось, я находил у себя, исчезли, и притом довольно быстро. Я больше не кашлял, не испытывал колотья в груди, не худел. Наоборот, я нагулял жир. Я чувствовал себя здоровым, как никогда.

Первая девушка, с которой я целовался, не заразила меня чахоткой. И я за это был благодарен ей так, как будто она подарила мне жизнь.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЧАСТИЕ

Отец с матерью ходили к причастию раз в год вместе с нами, детьми, прошедшими конфирмацию. Они никогда не спрашивали, хотим ли мы идти с ними. Само собою разумелось, что мы должны находиться перед алтарем с родителями. И речи быть не могло о том, чтобы кто-нибудь из конфирмованных членов семьи отсутствовал в церкви у причастия. С тех пор как мне исполнилось пятнадцать лет, я неизменно ходил причащаться вместе с отцом, матерью и сестрами.

Однажды я, не подумав, сказал родителям, что стал неверующим. Больше я этого никогда не повторял. Они пришли в такой ужас, что я отчасти взял свои слова назад и изменил определение с «неверующего» на «сомневающегося». Раз отец с матерью так сильно тревожатся о спасении моей души, зачем же я стану без нужды огорчать их? Кроме того, о том, что я не верю в бога, я сказал больше из строптивости.

Я иной раз сомневался в догматах христианской религии, но в восемнадцатилетнем возрасте значительная доля моей детской веры все еще сохранялась во мне. В теле моем жили плотские желания, грешные желания, и сильнее всего была тяга к женщине. Меня нередко мучил страх перед наказанием, ожидающим грешника на том свете,— перед вечными муками.

Я думал обо всех своих прегрешениях против десяти божьих заповедей и подсчитывал их. Уста мои изрыгали хулу и поминали всуе имя господне (вторая заповедь). Я играл в карты по воскресеньям, летом — на траве, зимой — в сарае на сеновале, и тем самым нарушал святость праздника (третья заповедь). Я не почитал отца и мать, был непокорен и дерзок с ними (четвертая заповедь). Я испытывал плотское желание к красивым девушкам и хотел делать с ними то, что было запретно, и, стало быть, прелюбодействовал в сердце своем (шестая заповедь). Я говорил дурно о людях, глумился над ними, возводил хулу на них и тем самым лжесвидетельствовал против ближних (восьмая заповедь). Пяти из десяти заповедей я не преступал. Я не питал ни к кому зависти, не убивал, не крал, не желал ни дома ближнего своего, ни жены его, ни вола его, ни осла его, ни прочего его имения. Но другую половину заповедей я нарушал, и этого было довольно. Я был большим греш-

ником, грехов моих было достаточно, чтобы заслужить вечное проклятие.

Случалось, я лежал ночами без сна и пытался представить себе вечные адовы муки.

Я прочел много вольнодумных книг, Ингерсола, и Бенгта Лидфорса, и других безбожников. Я читал крайне левые газеты того времени — «Пламя», «Набат», «Новый дух народа», которые беспощадно расправлялись с церковью, священниками, с религией и причастием. Долой алтари! Высокоученые люди стремились доказать мне, что не существует ни рая, ни ада. Но как я мог знать, правду ли они говорят? Чему могли научить меня слова, написанные в книжках? Единственное, что я знал наверняка, это то, что я живу здесь на земле и могу умереть в любой час. Земная жизнь коротка, но существует и загробная жизнь, которой не будет конца. А раз она будет длиться вечно, то самое важное — подготовить себя к ней. По сравнению с этим жизнь на земле — ничто.

Я уже опустил в могилу трех своих сверстников. Мы были одногодки, и я тоже не мог быть уверен в том, что меня ждет. В любой час я мог умереть.

Долгое время после похорон Кайсы звучали во мне слова погребального псалма, который пели, провожая в могилу молодых:

Гложет тайный червь тебя,
На щеках цвет алый вянет.
Зрелых лет не доживя,
Плод от ветра в землю канет.
Ты бессильна, младость, знай,
Тщетно с гибелью боренье.
Лишь на бога уповай,
В нем одном твое спасенье.

У меня было крепкое, здоровое тело, полное неуемной жажды жизни. Я смотрел на себя в зеркало. Щеки у меня были свежие и румяные. Но что из того? Может быть, меня гложет тайный червь, который в конце концов унесет меня в могилу. Смерть невидима, и оттого никто не может ее одолеть, никому ее не избежать.

О Кайсе рассказывали, что в утро последнего дня своей жизни она встала с постели, умылась и причесалась тщательнее, чем обычно, а затем сказала: «Я не хочу умирать»

И я тоже не хотел. Но что мне для этого надо сделать? Что предпринять? Есть ли какой-нибудь выход, кроме того, который предлагают слова псалма: уповать на бога и в этом искать спасения?

* * *

Трое мальчишек считались в нашей школе самыми отпетыми сорвиголовами — Альберт, Теодор и я. Учительница называла нас «трилистником», потому что наша троица всегда держалась вместе, затевая какое-нибудь озорство.

Мы продолжали дружить и после школы, вместе ходили на гулянья и танцы. По воскресеньям мы обычно забавлялись охотой на белок. Ружей у нас не было, и мы кидали в них небольшими камнями. Мы набивали полные карманы камешков и швыряли их в белок, которые сидели в орешнике, грызя орехи, или сновали по стволам деревьев. Они стрелой перепрыгивали с ветки на ветку, с дерева на дерево, и попасть в них было нелегко. Это была увлекательная охота, мы долго тренировались и под конец так наловчились кидать камни, что иной раз даже убивали зверька.

У нас было не так уж много развлечений по воскресеньям, и охота на белок была единственная забава, которую мы могли придумать, освободившись от работы в усадьбе.

В одно памятное для меня воскресенье я участвовал в такой охоте в последний раз. В этот день случилось очень важное для меня событие.

Той осенью поспело много орехов. Кусты орешника были усыпаны ими, и обычно здесь бывало множество белок. Но в то воскресенье охота у нас не ладилась. Мы шатались по лесу весь день, камни оттягивали карманы, но нам не удавалось обнаружить ни одной живой мишени. А когда мы наконец увидели белку на верхушке орехового куста, то не успели швырнуть в нее камнем, как она спрыгнула на землю и юркнула в отверстие в груде камней.

Мы столпились перед отверстием и стали держать совет, как выкурить зверька из укрытия. Мы искали палку, чтобы сунуть ее в отверстие. Но нам помешала девчонка, которая внезапно появилась из-за кустов

орешника. Мы так увлеклись охотой, что не заметили, как она подошла. Теперь она напустилась на нас, задыхаясь от гнева:

— Вы что это делаете, поганцы?

Это была Эбба, девушка из соседней деревни, наша сверстница. Она училась вместе с нами в школе в лесу, но потом мы больше не встречались с ней. И вот теперь она кричала:

— Вы что это затеяли? Хотите насмерть замучить бедную белочку? Что она вам сделала, зверюшка эта? И не совестно вам, балбесам здоровым?

И Эбба заплакала. Крупные слезы катились по ее щекам. Она, всхлипывая, бормотала:

— Такие... здоровенные балбесы... А ума нисколько... Маленькая, хорошенькая белочка...

Мы стояли, разинув рты, ошеломленные криком и плачем девушки.

И чего это она взбесилась? Из-за того, что мы на белок охотимся? Так ведь парни и раньше били белок, иногда даже насмерть; и никому до этого не было дела. А она-то что суется? Мы уже не раз предавались этой воскресной забаве, и никто нам слова худого не сказал. А она накинулась на нас с бранью.

Эбба попыталась унять слезы, которые мешали ей говорить, и продолжала: она видела, как мы спугнули белочку и та забралась в нору. Теперь ей нипочем оттуда не выбраться. Она будет мучиться там, пока не умрет.

А подумали мы о том, каково это — умирать в тесной норе? И как у нас совести хватает мучить бедную беззащитную зверюшку, которая нам ничего худого не сделала? Белочка имеет такое же право жить, как и мы.

Я был ошеломлен появлением девушки и стоял, точно онемев. Но Альберт и Теодор скоро опомнились и обрели дар речи. Терпеть такое от девчонки?

И они выдали ей по первое число:

— А тебе что за дело?

— Небось тут не усадьба твоего отца.

— Что хотим, то и делаем.

— Не суй свой нос не в свое дело.

— Мокрохвостка бесстыжая!

— Заткни глотку!

— Знай про себя, гордячка чертова!

Я был не на шутку задет упреками Эббы, то же

чувствовали и мои товарищи, хотя они и попытались скрыть это, дав ей отпор. Но что можно было сделать с девчонкой, с плаксой? Будь это парень, ровня нам, мы задали бы ему трепку. Мы бы так отлупили его, что он надолго зарекся бы пасть разевать. Но ни один парень не унизится до того, чтобы бить девчонку. Это значило бы возвысить ее до себя, а Эбба того не стоила. Она была слюнтяйка, плакса.

Облегчив душу руганью и тем восстановив свою честь, Альберт и Теодор ушли восвояси. Уходя, они еще разок-другой обернулись и крикнули:

— Гордячка чертова!

Я и прежде не раз слышал, как Эббу называли гордячкой. Отец ее владел самой богатой усадьбой в округе, а она была единственным ребенком в семье. Она была из богатых. Многих досада брала глядеть на ее спесь. Летом она ходила на занятия в народный университет, который у нас назывался «университетом чванства». Крестьянский парень, поучившись в этом университете, отказывался возить навоз и чистить хлев в отцовской усадьбе. И с девушкой бывало то же самое. Эбба гордилась богатой усадьбой, которая достанется ей в наследство. Она была красива, она была из тех девушек, на которых заглядываются парни. Я тоже пялился на нее. Но мне она казалась недоступной. Я никогда не приглашал ее в круг на гуляньях, потому что боялся отказа. Я страшился унижения. Я был еще робким и нерешительным восемнадцатилетним пареньком, которому недоставало уверенности в себе.

И вот я стоял перед Эббой, сгорая от стыда и не находя слов, чтобы ответить ей. Затем я тоже пошел прочь. Эбба двинулась следом за мной.

Она уже успокоилась и вытерла слезы. Теперь она казалась не столько сердитой, сколько печальной.

— Вот уж про тебя я бы такого не подумала. Не знала я, что ты такой же злой, как другие.

Я удивился. Стало быть, для гордячки Эббы я не просто один из тех парней, которых она почти не замечает? Так мне по крайней мере казалось раньше. Но она говорит, что считала меня не таким, как другие. Это было интересно, и я стал слушать дальше.

— Ты же книжки читаешь. Ты много читал в школе. Я думала, ты умный. А ты белок камнями бьешь.

Я почувствовал глубокое раскаяние. А что, если бы я

сам был маленьким загнанным беспомощным зверьком, который прыгает в страхе с ветки на ветку, в то время как кругом со свистом летят камни? И как я раньше не подумал об этом?

Каждое слово, сказанное Эббой, было справедливым. Но я отвечал какую-то ерунду. Я говорил, что у меня и в мыслях не было мучить животных. На белок я охотился по воскресеньям просто от нечего делать. Это была для меня вроде как забава, игра. Надо же было сморозить такую чушь — точно я думал, что белкам тоже может понравиться эта игра!

Но я уже знал: то, что я делал сегодня, я никогда больше не стану делать.

Мы с Эббой некоторое время молча шли рядом по тропке меж кустами орешника. Я удивлялся: зачем она идет со мной? Она не сделала бы этого, будь тут остальные парни. И я догадался: она огорчилась не только из-за белок, но еще из-за того, что я, именно я, принимал участие в охоте на них.

Сперва это была только догадка, но позднее я получил подтверждение. Это случилось в тот день, когда я в первый раз обнимал Эббу. Она тогда шепнула:

— Ты небось понял уже в то воскресенье в лесу, что давно пришелся мне по сердцу?

Вот так и вышло, что мы сблизились с Эббой.

(В действительности ее звали иначе, но здесь она сохраняет имя, данное ей в романе «Неуд по поведению», где она выведена в образе возлюбленной Кнута Туринга.)

* * *

Почти через неделю после охоты на белок, в следующую субботу, мы с Эббой целовались в вечерней тьме у дома ее родителей. Она не была столь опытной, как Кайса, она сказала, что до меня целовалась только с одним парнем. На этот раз я оказался в роли учителя. Во время поцелуя я просунул язык к ней в рот, и она ответила мне тем же. Прежде она никогда так не целовалась, но ей это сразу понравилось.

— Вот славно-то! Ты что, сам до этого додумался?

Я признался, что мне помогли. Но с Эббой я вскоре пошел дальше поцелуев. Я сделал то, чего прежде ни-

когда не делал. Я коснулся груди девушки, сперва руками, а затем ртом. Я сам подивился своей дерзости, когда в первый раз поцеловал соски Эббы. Как я только осмелился? Как мог я быть таким нахальным? Она не отталкивала меня, и я чувствовал, что это ей приятно, хотя она ничего не говорила. Дыхание ее стало бурным и прерывистым. Она лишь коротко вскрикнула, когда сосок ее очутился у меня во рту.

Видя, что она не противится моим ласкам, я еще больше осмелел. Я добрался до той части тела девушки, которая в прочитанных мною любовных романах называлась «лоно», да и то, когда писатель позволял себе огромную вольность. (Разумеется, мы, парни, знали его народное, неприукрашенное название, но теперь оно стало так часто появляться в книгах, что лучше избавить читателя от этого выражения: он, должно быть, сыт им по горло.)

Итак, я обнаружил, что девушка, которая слыла гордячкой, вовсе не была неприступной. Она пошла мне навстречу, по крайней мере отчасти. Она была всё, что угодно, но только не гордячка. У нее был независимый характер. Если ей кто не нравился, она не старалась это скрыть. А когда она сердилась на кого-нибудь, то слова ее жалили, как осы. Она была вспыльчива, но отходчива. Она была очень чувствительна и слезлива. Она сама называла себя плаксой. Эбба чувствовала нежность ко всему живому, и в особенности к слабым и беспомощным зверькам.

Если восемнадцатилетний юноша способен любить душой, помимо физического влечения, то могу сказать, что я любил Эббу.

Но я был молод, а она и того моложе. Что вышло бы из нашей любви? Куда бы она нас завела? Мы, конечно, могли подождать, пока войдем в лета и сможем пожениться. Но Эбба так же хорошо, как и я, знала, что меня никогда не примут зятем в усадьбе ее родителей, которая была раз в шесть больше нашей.

Она принадлежала к старинному уважаемому крестьянскому роду, и ее родители, не в пример ей самой, были люди весьма спесивые, чванившиеся своей родовитостью и богатством.

К тому же я был далек от мыслей о женитьбе. В восемнадцатилетнем возрасте я твердо решил, что проживу свой век неженатым. Я объявил об этом матери, и

она одобрила мое решение. Она сказала: «Семья хороша для женщины. Мужчине лучше остаться холостяком».

Так что ни я, ни Эбба никогда не заговаривали о женитьбе. И она провела четкую границу нашей близости. Она была нетронутой девушкой и хотела остаться ею.

Она сказала, что ей не страшно лишиться девичьей невинности. Но ее пугало то, что может случиться потом. Эбба вела себя куда вольнее других девушек у нас в деревне, но что касается этого страха, то тут она ничем не отличалась от остальных. Все они панически боялись одного. Она сказала: «Делай со мной что хочешь, только не сделай мне ребенка».

И я отваживался на самые смелые ласки, но лишь до определенного предела, не дальше. Все, что угодно, только чтобы я не сделал ей ребенка. Я уверил ее, что бояться ей нечего. Мне нет надобности подвергать ее риску. Я к тому времени был уже достаточно просвещенным. Я читал не только «Смоландскую почту», но и «Пламя», и «Набат», а в этих газетах рекламировались противозачаточные средства.

Пробный заказ стоил дешево, я сказал Эббе: «Это я беру на себя. Бояться тебе нечего». И она с живостью спросила:

— Стало быть, будешь беречь меня? Верно говоришь? Тогда я позволю тебе...

Наши ласки становились все более рискованными. Она осмелела и касалась меня так, как ни одна девушка, по моему мнению, не могла касаться. Ведь девушки такие стыдливые...

И в конце концов случилось неизбежное: мы переступили предел, установленный Эббой.

Это случилось субботним вечером на сеновале, в усадьбе ее родителей. Все произошло так естественно, как только можно себе представить. Мы лежали на снопах свежесжатого пахучего овса. Запах созревшего зерна осенью до сих пор напоминает мне о том часе, когда Эбба пустила меня в свою нежную теплоту. Она громко вскрикнула, вероятно, от боли, которая бывает в первый раз.

Луна светила нам сверху через люк сарая, и в ее сиянии я видел пылающее лицо Эббы.

Потом она сказала:

— Я дура, что пустила тебя. Только, видать, головы не потеряешь — и счастья не увидишь.

Это было тогда самое счастливое событие в моей жизни. Но с нами это случилось в первый раз, нам не хватало опыта, мы вели себя робко и неумело. И поэтому мы ощутили лишь предвкушение тех радостей, которые доставляет близость между мужчиной и женщиной. Но мне было довольно и предвкушения. У меня дух захватывало при мысли о предстоящих радостях. В следующий раз будет еще лучше.

У нас получится куда лучше, когда мы наберемся умения. Вот погоди! В другой раз! Потом!

Наконец-то у меня появилась девушка. Это событие благотворно подействовало на мое томимое желанием тело, но что самое главное — укрепило мою веру в себя. Я получил подтверждение, в котором так нуждался. У меня кружилась голова, когда я шел в ту ночь от Эббы домой. Я больше не мальчик. Я стал мужчиной. И мне хотелось громко, на всю деревню крикнуть о том, что произошло. Я и Эбба, мы...

Идя домой, я был вне себя от радостных предчувствий. В воскресенье вечером мы встретимся опять. В другой раз!

* * *

Повалившись на постель, я заснул как убитый. Не проспал я и нескольких часов, как отец разбудил меня, тряся за плечо. Уже восемь часов... Мне надо идти к причастию вместе со всеми, забыл я, что ли?

— Ну-ка, живо, поднимайся!

Я тер спросонья глаза и никак не мог разомкнуть веки. О чем это отец толкует?

Я совсем забыл, что в это воскресенье мы идем причащаться. Но я был до того усталым, что даже не подумал вставать, а только повернулся на другой бок.

— Вставай-ка поскорей! — сказала мать.— Время не ждет!

И она подошла ко мне, держа в руках выстиранную рубаху с накрахмаленным воротником и манишкой и с белой розеткой, купленной для меня, когда я шел к причастию в первый раз. С тех пор я уже не раз вдевал эту

розетку в петлицу сюртука, отправляясь в церковь или на похороны.

— Вишь, пятна посадил на розетку,— сказала мать.— Сколько ни старалась, не отмыть никак.

Я всегда ходил с родителями к причастию, но в это воскресенье мне страх как не хотелось идти. Уж очень меня клонило в сон. Я зевнул во весь рот.

— Не могу встать.

— А шляться по ночам можешь? — сказал отец.

— Не след тебе было уходить вчера вечером,— добавила мать.

— Тогда небось у него прыти в ногах больше было,— ввернул отец.

— Я не выспался. Я же чувствую, что мне не под силу идти.

— А тут и сил никаких не требуется. Мы на бричке поедем.

В том году у нас впервые появилась в усадьбе лошадь. И отец только что купил новую, красивую бричку на рессорах. Ему очень хотелось похвалиться перед прихожанами и конем, и бричкой. Отныне мы, как все добрые люди, будем ездить в церковь на бричке.

— Тебе надо было вчера вечером дома остаться да подготовиться. Знал небось, что причащаться пойдешь.

Я рывком сел на постели. Слова матери попали не в бровь, а в глаз. Она была права.

— Надо было загодя думать. Надо было подготовиться!

Мать верно говорила. Никто не должен принимать святое таинство и вкушать тело и кровь Христову, не подготовив себя к этому подобающим образом.

Я помнил слова пастора, готовившего нас к конфирмации. Перед алтарем следует предстать смиренным и кающимся грешником. Нужно покаяться в своих грехах. Нет ничего хуже, чем прийти к причастию неподготовленным. Это смертный грех, которому нет прощения.

Но готов ли я? Всего лишь несколько часов назад я совершил тяжкий грех. Что делали мы с Эббой этой ночью? Предавались блуду. И не только в мыслях и сердце своем любодействовал я, но и наяву. И прежде чем принять святое таинство, мне следовало покаяться.

Но как раз это я не в силах был сделать. Я возвращался мыслями к свежим снопам на сеновале, нашему с Эббой ложу. Я вновь видел ее лицо под своим в свете

луны, проникавшем через люк. Видел ее блестевшие в полутьме глаза, ее широкую улыбку, ее дрожащие губы, слышал ее шепот: «Счастливая я!» Одна только эта улыбка обещала мне самое большое блаженство, какое только есть на свете.

Как же мне каяться в величайшем счастье, какое мне доселе довелось испытать в жизни? Как мне просить прощения за то, что мы делали с Эббой? Я знал, что снова буду делать это, как только представится возможность. Но мог ли я идти к причастию, не раскаиваясь и не прося прощения? Это был бы великий грех.

И вдруг я испугался. После семи лет обучения в школе катехизису и Библии во мне еще жил детский страх перед богом, и я не отважился бы принять святое таинство, вкусить тела и крови Христа, не подготовив себя к этому, как подобает.

И потому мне никак нельзя было идти причащаться в это воскресенье.

— Можно мне не ходить сегодня в церковь?

Отец с матерью так возмутились моей просьбой, точно я допустил великое святотатство. Что это на меня нашло? С чего это я уперся? Ну, ладно, пусть я не выспался, но до брички-то у меня хватит сил дойти? И думать нечего о том, чтобы не ходить в церковь. Вся семья должна быть у причастия, и родители, и дети. Сестры-то мои идут, а я, единственный сын в семье, останусь дома? Что скажет пастор, заметив это? Да они со стыда сгорят и перед пастором, и перед людьми, если меня не будет с ними у алтаря. Люди станут спрашивать, что со мной такое стряслось. Да и потом, из-за моих кощунственных сомнений, я нуждаюсь в причастии больше, чем кто другой. Они не забыли, что я им сказал давеча. Уж если кто нуждается в исповеди, так это я. И нет никаких причин мне не идти с ними.

— Так что поднимайся, да поживей!

Я не мог объяснить родителям, отчего не хочу идти в церковь, не мог я открыть им, чем занимался этой ночью. А они понимали меня превратно. Им казалось, что я отказываюсь идти с ними оттого, что не верю в святое таинство. А все было наоборот: несмотря на мои сомнения, я еще не утратил веры и потому чувствовал себя недостойным его принять.

Может, сказаться больным? Но накануне вечером я был совершенно здоров и крепко спал всю ночь до утра,

не проявляя ни малейших признаков недомогания. И я не мог придумать какой-нибудь болезни, которая появилась бы ни с того ни с сего, и позволила бы мне не вставать с постели. Отец с матерью сразу смекнули бы, что я притворяюсь.

Я встал. Делать было нечего, отвертеться мне не удалось. Пришлось мне в это воскресенье идти к причастию вместе с родителями и сестрами.

Я вдел в петлицу белую розетку с грязными пятнами, которые оставили на ней мои пальцы и которые матери не удалось отмыть.

— Ишь как некрасиво,— сказала мать.— Нечего было трогать ее грязными руками.

Но мне казалось, что эта розетка мне сегодня под стать. Я тоже запятнан в душе своей, запятнан грехом, совершенным в эту ночь. Я недостоин святого причастия.

* * *

Исповедь в церкви перед причастием длилась долго. Помощник пастора, который готовил меня к конфирмации, отправлял в этот день службу, и проповедь его тоже была долгой. Он говорил об умножении грехов среди паствы и назвал количество внебрачных детей, родившихся у нас в приходе в прошлом году. Цифра была гораздо выше, чем в других приходах епархии. Его паства служит устрашающим примером для других, примером нарушения шестой заповеди божьей. И пастор призвал нас к покаянию и исправлению. Так как внебрачных детей зачинали и рождали молодые, то он обратился к присутствующей в церкви молодежи, которой предстояло принять причастие. Если есть среди них ступившие на стезю порока, пусть одумаются и сойдут с этого пути, пока не иссякла к ним милость господня.

И мне, сидящему на скамье между отцом и матерью, казалось, что пастор смотрит прямо на меня и говорит, обращаясь ко мне, только ко мне: «Раскаиваешься ли ты в содеянном? Одумайся, пока не поздно!» Он будто знал о грехе, совершенном мною минувшей ночью.

Исповедь, служба, проповедь — пока все это длилось, душу мою вновь и вновь бередило сознание греха

и вины, и она истекала кровью подобно тому, как кровоточат залеченные раны, если их разбередить. Что сделал я с Эббой на сеновале прошлой ночью? Был ли я осторожен, уберег ли я ее? А что, если случилось то, чего не должно было случиться? Если у нее будет ребенок, родители выгонят ее из дому. Одна девушка из нашего прихода, дочь богатого крестьянина, согрешила с простым стеклодувом и попала в беду. Родители прогнали ее со двора, и она утопилась в озере. И если я сделал Эббе ребенка, то навек погубил ее. «Убереги меня»,— просила она. Выполнил ли я ее просьбу?

Я ерзал на скамье. Муки совести, сознание своей греховности одолевали меня.

Предостережения священника, пение псалмов, рокот органа на хорах, вся эта святость и бог Саваоф — это все для тех, кто покорен и смирен духом. Но не для меня. А если я... если я... Меня охватило покаянное настроение. У престола господня повинимся мы в грехах и найдем у него утешение.

И вдруг я услышал, как в порыве раскаяния бормочу слова: «Я — бедный грешный человек, рожденный в грехе...» Покаянную молитву я читал так много раз, что знал ее наизусть. Мне не нужно было книги псалмов, не нужно было повторять за кем-то слова, я знал их наизусть так же, как катехизис. Мне не было надобности вспоминать слова, они текли сами собой, как течет вода в ручье. Я знал, что достоин вечного проклятия, если господь станет судить меня по грехам моим. И я, бедный грешник, уповал на его милость, которая поможет мне исправиться.

Пастор внушал нам, что мы не должны машинально бубнить слова покаянной молитвы, изображая раскаяние, потому что это непростительный грех. Но я чувствовал тяжесть греха и готов был покаяться от всего сердца; я хотел смыть пятна греха со своей души.

В самый последний момент я сделал попытку подготовить себя к принятию святого таинства. Молящиеся двинулись к алтарю, чтобы преклонить перед ним колена. Семьи шли друг за другом, скоро должен был наступить и наш черед.

«Святой, всемогущий господь бог! Благость твоя и милосердие на небе и на земле... О агнец божий, принявший на себя грехи людские, услышь нас, милосердный господь!..»

Зазвучал псалом, который поют причащающиеся: «О Христос, наш милый брат, ты, что крест принял за нас...»

Ряд за рядом шли прихожане к причастию и возвращались обратно. Наступил наш черед. Я теребил свою розетку с неотмытыми пятнами, которая от моих пальцев отнюдь не становилась белее. Час настал. Я был как в тумане. Точно лунатик, двинулся я к алтарю с отцом, матерью и сестрами.

У алтаря я делал все, как другие. Я стал на колени между отцом и матерью и склонил голову к мягкому красному бархату, покрывавшему полукружье алтаря. Теперь оставалось только ждать. Я должен был принять причастие.

Пастор двинулся по кругу вдоль коленопреклоненных людей, держа в руках хлеб и чашу.

Я поднял голову и взглянул на него. И в этот миг все во мне перевернулось.

Что увидел я по другую сторону алтаря? Там, напротив меня, между своими родителями, стояла на коленях Эбба.

И это изменило все.

Я все еще стоял на коленях у алтаря вместе с другими, но был далеко отсюда. Пастор протянул мне хлеб и вино, и я проглотил, не думая о том, что делаю. Всего в нескольких шагах от меня я видел Эббу. Я только взглянул на нее, и она взглянула на меня. Моя девушка, с которой я провел ночь, улыбнулась мне широкой улыбкой. Все у нее улыбалось — рот, глаза, ямочки на щеках, лицо, вспыхнувшее пунцовым румянцем. И я, позабыв о том, что причащаюсь у алтаря, улыбнулся ей в ответ.

Я слышал слова пастора, звучавшие точно откуда-то из дальних высей: «...ныне причащаешься тела и крови Христовой...» Пастор, отец, мать, все остальные, стоявшие у алтаря, словно бы пропали. Остались только двое: я и девушка напротив меня. Мы с Эббой были одни в церкви. Только она и я, как той ночью, в сарае, на ложе из овсяных снопов, в усадьбе ее отца.

И я не видел ничего, кроме Эббы, которая улыбалась мне улыбкой ожидания и обещания. Она обещала мне все земные радости — своими губами, глазами, своим просветленным счастливым лицом: «Нынче вечером! Ты и я! Опять! Ты и я!»

Девушка, стоявшая на коленях у алтаря господня, улыбалась мне греховной улыбкой, и при виде ее произошло нечто знаменательное: остатки моей детской веры в бога исчезли навсегда.

Это было мое последнее причастие.

ДЕД СВЕДЬЕ

(Пролог к роману «Ночной гонец»)

Наконец-то делянка была расчищена и готова для пожога. Старый Четиль выпрямил спину и окликнул сыновей. Солнце стоит высоко, подошло время обеда. Пора набить чем-нибудь утробу. Сыновья ответили на это долгим вздохом облегчения.

Хенрик и Эдвин сейчас только толковали меж собою о том, что на корчевке леса время до обеда тянется не в пример дольше, чем на других работах. Нет занятия докучнее этого. Они предпочли бы какую угодно работу, только не возню с можжевельником. Можжевеловый куст — неподатливый, окаянный сорняк, его и топор не берет. Выворачиваешь его из земли с корнем, а он вырастает опять. Только огонь может с ним сладить. При расчистке подсеки его выжигают вместе с прочей порослью. Огонь на пожоге уничтожает мох до основания, оголяет камни, которые трескаются от жара. Ничто не устоит против огня.

Но воевать с можжевельником чести мало. Иное дело корчевать пни или выворачивать из земли громадные валуны. Тут надобна недюжинная сила. А на корчевке требуется только упрямство да нескончаемое терпение. Но терпения-то как раз и не хватает сыновьям Четиля, которым всего лишь немногим больше двадцати лет. Неуемный дух молодости еще бродит у них в крови.

Работники побросали подсечные ножи на кучу хвороста и уселись вокруг котомки с едой. Они утерли рукавами потные лица. Стоял один из первых жарких дней нынешнего лета. От еловой хвои на открытых лужайках, где солнце особенно припекало, тянуло запахом горелого. И лишь под самыми большими лапчатыми елями, не пропускавшими солнечных лучей, было приятно и прохладно, как в погребе. От жары испарина покрывала все тело, и рубахи липли к коже.

Отец развязал котомку и взял себе первый кусок. За

ним приступил к еде Хенрик, и лишь после этого подошла очередь Эдвина, который был моложе всех. Такой порядок был заведен раз и навсегда — сперва отец, а после сыновья по старшинству.

Все трое ели медленно и сосредоточенно. Черный хлеб из непросеянной ржи жевать нелегко. К хлебу у них была крепко посоленная селедка. Потом они выпили по полной кружке пахтанья, которое хорошо утоляет жажду.

Время от времени Четиль бросал долгий взгляд на дальнюю прогалину, и оба сына знали, что он на ней разглядывает. Там была их прошлогодняя росчисть, на которой теперь росла рожь, посеянная минувшей осенью прямо в золу. Дружно зеленели ржаные колосья — теперь самая пора им цвести.

В золе пожог озимая рожь родилась хорошо, и Четилю особенно нравилось любоваться на свой посев в пору его цветения. Стебли тянутся кверху прямые, стремительные, нежно-зеленые. Никогда не бывает ржаное поле так хорошо, как в это время. Красиво оно и в августе, когда зрелый колос отливает золотом и блестит, словно масло. Но в пору жатвы стебли никнут долу, и вид их болью отзывается в сердце Четиля, быть может, оттого, что перезревшие, бессильно клонящиеся к земле колосья — это как бы отражение его собственной старости. Ему уже семьдесят лет, он и сам подобен согбенному колосу. И оттого ему больше нравится любоваться прямыми и зелеными молодыми побегами в разгар их цветения.

Старый Четиль допил свою кружку и отер белую молочную пену с усов.

— Хороша молодая рожь! — сказал он.

Сыновья пробормотали что-то в знак согласия. И впрямь хороша молодая рожь на росчистях, особенно в такой погожий, солнечный день, как нынче. Но думы их были далеки от отцовых. Для них не было дива в том, что посреди дикого леса колосится рожь. Они видели такие делянки всегда, сколько себя помнили. Четиль же помнил иные времена. Сорок лет назад рожь в эту пору цвела только в деревне Стенсхульта, что лежит к югу отсюда, примерно на расстоянии мили. Сорок лет назад еще и в помине не было Сведьегорда, усадьбы Четиля, которую он возвел собственными руками. Тогда леса эти были общинными владениями деревни Стенс-

хульта, и здесь летом лишь пасли скот да собирали листья.

Когда-то Четиль оказался лишним ртом в родном дому. Кроме него, в усадьбе, находившейся в деревне Стенсхульта, было еще три старших брата. Родовой надел был невелик, и земли на четверых не хватало. В пору было на троих разделить отцово наследство. Четиль был самым младшим, и стать обделенным выпало ему. Он получил лишь кусок земли в общинном лесу. Ему ничего не оставалось, как взять в руки мотыгу, мешок с семенами да пуститься в путь самому добывать свое наследство.

Таков был обычай. Если земли в семье хватало не всем детям, самые младшие отправлялись в лес. Там приходилось им поднимать целину для своего надела, строить себе усадьбу, и деревенские презрительно называли их «мотыжниками».

В старину, когда люди жили еще в язычестве, молодым не было надобности уходить в лес с мотыгой на плече. Если в деревне не хватало харча, тех, кто был стар, немощен и не мог добывать пропитания, приканчивали дубиной. Но теперь люди стали крещеными, и старцев оставляют в живых, а молодых прогоняют в лес.

Участок леса, доставшийся на долю Четиля, не стоил и ломаного гроша. Но, придя сюда со своей мотыгой, он принялся расчищать лес, корчевать пни, жечь хворост. Силы и терпения ему было не занимать. Ему только и нужно было, что кусок земли, который он мог считать своим. Он женился на девушке из той же деревни, которая, как и он, выросла в многодетной семье и осталась без наследства. Четиль сумел добыть и кров, и пропитание себе и жене. А со временем в помощь ему подросли два сына и две дочери. Но самым лучшим помощником ему был огонь. На пожогах богато родилась рожь. И вот теперь, спустя сорок лет, в Сведьегорде было добрых пять десятин плодородной пахотной земли, к которым он каждый год добавлял новые делянки. И сегодня он собирал со своего надела урожай больше того, что получали все три его брата с унаследованной ими земли.

Его братья давно уже исходили завистью и твердили, что при дележе наследства лучшая доля досталась ему. Ему, который получил, можно сказать, груду кам-

ней посреди лесных зарослей, то есть все одно что ничего не получил! Это его руки превратили каменистые россыпи меж деревьями в возделанные поля, где теперь зеленела рожь. Но что знали его братья, которым досталась ухоженная земля, о тяжком труде мотыжника! Разве ведомо им о том, как валился он вечерами на лавку, а руки и ноги у него были точно перебиты усталостью. Как приходилось ему по утрам чуть ли не силком выволакивать из постели упирающееся, ноющее тело. Собаке, которую гонят в лес добывать себе пищу, и той лучше, чем было ему.

Лесные бродяги, что когда-то жили в чаще, кормясь дичью и воруя все остальное, и те вели райскую жизнь по сравнению с жизнью мотыжника. Он-то не обирал лес, пользуясь его дарами, а, напротив, делал лесные пустоши плодоносными.

И вот теперь у Четиля, которого люди прозвали дедом Сведье, цвела рожь посреди дикого леса.

Но сыновьям его это было не в диковину. И мысли, и взоры их были далеки от прошлогодних пожог. Эдвин уставился на тропку, ведущую к избе Бак-Стины. Может, идет по ней сейчас Сигга, молоденькая дочка Стины. Она не по летам созрела. Круто изгибаются дуги бедер, налитая грудь выпирает из тесно облегающего платья. Эдвин бросил взгляд на солнце. Он надеялся, что Сигга появится здесь в обеденную пору. Вот было бы славно! После обеда все трое растянулись на хворосте малость передохнуть.

— Есть у вас с собой огниво, отец? — спросил Хенрик.

— Есть.

— Я к тому, что скоро небось поджигать будем?

Четиль взглянул на своего старшего. Неймется парню. И старик понимал его. Наскучило его молодым сынам ковырять землю подсечным ножом. Мужские руки томятся по настоящему делу. Им хочется такой работы, чтоб было, где удаль свою показать. Вот жечь пожогу — дело иное. Старику ясно, что это в них сила молодая играет. Ясно ему и то, что у Эдвина Сигга не идет из ума. Он в таких летах, когда руки сами собой тянутся к мягкой женской плоти. Правду сказать, Четиль и сам был лих на баб, пока не женился. Нагулялся вволю до того, как в стойло встал.

Стало быть, начинать пожог? Старик глянул в небо.

— Уж больно печет нынче. Может, погодим до дождя?

— Да ведь ветра нет! Ни одна ветка не шелохнется,— возразил Хенрих.

— Так-то оно так, да только сушь...

— Вы, вроде, боитесь, отец? — вставил Эдвин.

Он боится? Четиль что-то пробурчал сердито, но слова застряли в колечках закопченной бороды. Он подумал, что если в такую жарынь не удержишь огонь на пожоге, то быть беде! В лесу уже началась засуха. Но боязни у него нет. Вот уж сорок лет поднимает он новь в лесу и ни разу еще огонь не выходил у него за дозволенные границы. Чего же ему бояться?

Четиль отрыгнул после еды и поднялся.

— Вставайте! Поджигать будем!

Парни мигом вскочили и встали рядом с отцом.

— На западе тучи собираются,— сказал Хенрик, точно опасаясь, что отец передумает.

— Не иначе, дождь к ночи будет,— добавил Эдвин.— Самое время для пожога.

Но Четиль не стал глядеть на тучи, которые уже клубились над макушками елей. Он поджег кучу можжевеловых веток, и сухой хворост, покрывавший делянку, затрещал и вспыхнул. Жадно пожирали добычу языки огня. Они не лизали ветки, не коптили их — пламя тотчас же взметнулось к небу.

Все трое ходили вокруг делянки с топорами и мотыгами, отодвигая горящие сучья, преграждая огню дорогу, не давая ему выйти за дозволенные пределы. Четиль окидывал пожогу удовлетворенным взглядом. Скоро она станет его новой пашней.

Что скажут его братья в деревне, снова учуяв дым от его пожоги? «Опять этот Четиль лес под пашню выжигает,— скажут они.— Еще одна делянка прибавится к его земле. Сколько ржи станет он собирать теперь? Небось скоро урожай у него вдвое против нашего будет!»

Так станут говорить его братья, втягивая ноздрями дым от его пожоги, и злоба будет точить их завистливые души. И пусть их! Лежебоками были всегда его братья, и свою-то ухоженную землю, доставшуюся им в наследство, не возделывали они, как надо, а уж новину поднимать — где им! Какие из них пожогщики да мотыжники! Они бы тут в лесу с голоду пропали... Че-

тиль гордился делом своих рук. Только себе должен он сказать спасибо за богатые урожаи. Себе, да еще, пожалуй, огню, дающему золу для удобрения пашни, на которой всходит его рожь.

Еще до того, как солнце село за лесом, пожог был кончен. Лишь кое-где еще дымился мох да тлели обгорелые пни. Пожогщики стояли черные, перепачканные сажей, и чернее всех был Четиль, который выжег на своем веку столько росчистей, что никогда уже ему не отмыться добела.

Руки пожогщиков были перепачканы, и когда они ужинали, от пальцев на хлебе оставались черные пятна. Впрочем, заметить это было трудно, до того был черен сам хлеб. Глаза их все еще щипало от дыма, которого им пришлось нынче вдоволь наглотаться.

Но дело было сделано, и теперь можно было вздохнуть свободно. Светлый июньский вечер опускался над лесом. Тучи, предвещавшие дождь, растаяли и растворились в сумерках; видно, ни капли влаги не упадет нынешней ночью на землю.

Но пока хоть одна искра остается в золе, за пожогой нужен глаз да глаз. Еще сутки нельзя будет им отлучаться от нее. Хотя теперь довольно и того, чтобы ночью в дозоре находился один из них. Дед Сведье наказал сыновьям делить время дозора между собою как захотят. Сам же он теперь не лишал себя ночного отдыха без крайней надобности, потому что с наступлением вечера тело его начинало чувствовать бремя семидесяти лет.

— Я первым буду караулить! — сказал Хенрик.

Эдвин промолчал, но в его молчании ощущалось недовольство. Тому, кто находился в дозоре первую часть ночи, было лучше. Он мог потом лечь и спать без помехи до самого утра. А другой только разоспится, как его уж будят, и он неохотно идет в дозор. Но Эдвин привык во всем уступать старшему брату.

Дед Сведье улегся на куче хвороста. Сотни раз ночевал он так у своих пожог, и спалось ему сладко. Он подложил свои закопченные руки под голову вместо подушки, и долгая зевота исказила его обросший бородою рот. Перед сном он думал о Сведьегорде. Никто не называл его больше «мотыжником». Слишком много ржи росло на его пашнях. И еще не раз будет стелиться по деревне дым от его пожог.

Еще не одну делянку распашет он в глубине леса...

Он уснул, и ему привиделся сон. Он сеял рожь на пожоге между обгорелыми дочерна пнями. Но семена у него подходили к концу. Большой кусок пашни еще не засеян, а в мешке всего лишь с четверик ржи. Откуда ему взять семян? Но тут, обернувшись назад, он с радостью увидел, что рожь, которую он только сейчас посеял в золе, уже на добрый локоть поднялась над землей и стоит в цвету! Но он почему-то ничуть этому не удивился. Ему и самому странно было, что он не дивится такому чуду. Теперь он знал, откуда возьмет зерно на посев. Скоро колос созреет, надо только обождать.

И он сел на пень дожидаться, пока созреет рожь. Но рожь не желтела, напротив, она вдруг стала чернеть. Вид этой черной ржи сокрушил его сердце, в груди больно заныло, и он подумал: пропал урожай.

Но тут он вдруг проснулся и с облегчением понял, что все увиденное было сном. Кто-то будил его, дергая за ногу. Это был Хенрик.

В лесу уже совсем рассвело, и старый Четиль отчетливо видел лицо сына. Оно было бледным, а в глазах метались испуг и смятение.

— Отец! Огонь! Огонь кинулся на лес!

Четиль вскочил. У дальнего края пожоги горели деревья. Тут, на пожоге, вихрем крутилась зола — к утру стало ветрено. Одной искры, перекинувшейся на лес, оказалось довольно. Вдали стоял треск, деревья пылали от корней до макушки. Уже виден был ряд обгоревших елей, призраками черневших в бледном утреннем свете...

— Чертовы лежебоки! Так-то вы караулите пожогу?

Отец понял, что лес горит уже давно. Он разразился проклятиями и закричал: «Кто был в дозоре? Кто упустил огонь?» Сын стоял перед ним, весь дрожа, и не мог вставить ни слова, потому что отец кричал, не переставая. Наконец ему удалось промолвить в свое оправдание, что под утро в дозоре был Эдвин, а не он. Но ответ его не смягчил отца.

— Где Эдвин? Неужто этот прощелыга спать завалился?

— Эдвин куда-то ушел. Его нету.

И тут дед Сведье услыхал, что его младший, должно быть, в избе у Бак-Стины. Да, похоже, что так, ушел, видать, к Сигге, своей девушке. Четиль с такой яростью схватил самый большой топор, что сын поспешно отпря-

нул, точно боясь получить удар топором по голове. Глаза отца налились кровью.

— Да он что, рехнулся?

Попадись ему сын сейчас под горячую руку, он наверняка размозжил бы ему голову топором. Тот бросил еще теплую дымящуюся пожогу. Уйти от пожоги во время дозора — тяжкая провинность. Это все равно что убить отца или мать.

А огонь тем временем бушевал в ельнике. Он не стал дожидаться, пока старый Четиль будет вершить суд и расправу над своими сыновьями. Дул сильный ветер, опасность была велика. Ветер гнал огонь по долине, туда, где в глубине леса стояла березовая рощица. Может, Четиль успеет прорубить там просеку?

Это единственное, что еще можно попытаться сделать. Тут, в ельнике, ему не преградить дорогу огню. Сжав топор в руке, Четиль ринулся по направлению к роще. В эту минуту он был прыток на ногу, как молодой. Пробежав часть пути, он заметил, что сын нерешительно топчется на месте. Не понял он, что ли, где надо рубить?

— Туда! Туда!

Сын что-то закричал ему в ответ, но Четиль, не слушая, побежал дальше. Он был уверен, что сын кинется следом за ним. Но тот крикнул ему, что побежит к Бак-Стине и пошлет кого-нибудь в деревню поднимать народ. Вдвоем им просеки не прорубить.

Четиль, не оглядываясь, мчался к березовой роще. Ничего не видя вокруг, он продирался сквозь можжевеловые заросли, и ветки царапали ему лицо. Привычно и ловко перескакивал он с камня на камень, прыгал через расселины. Лес горел... Горел лес... А ветер дул в сторону двух его лучших делянок, где стояла в цвету зеленая рожь... Чертов парень, кинул горячую пожогу, ушел с дозора к бабе! Ну, попадись он ему, он с него семь шкур спустит! А девку эту, что сманила его, надо высечь батогами и посадить на позорную скамью.

Добежав до рощи, Четиль всадил топор в ближнюю березу и принялся рубить с таким остервенением, что щепки, как шмели, загудели у него над головой. Десять — двенадцать ударов с одной стороны, столько же с другой, и дерево с треском повалилось на землю. Следующее! Он рубил, как одержимый. Мысль о том, что затея его безнадежна, не останавливала его. Он не спрашивал

себя, успеет ли прорубить просеку до того, как огонь доберется сюда. Он твердо знал, что путь огню нужно преградить тут, в роще. Чуть подальше лежат его полосы с рожью, туда огню не должно быть хода. Он возьмет в кольцо этого дьявола. Но где же его старший? Почему Херник не спешит к нему на подмогу? Он звал сына, но ответа не было, потому что сын побежал в другую сторону, поднимать народ. Отец решил, что парень заблудился и теперь мечется по лесу, как растерянная клуша. А иначе почему его нет? Он тут один, рубит, как бешеный, и никто из сыновей не пришел к нему на подмогу. Где эти поганцы?

Лес горел. Огонь, точно опьянев от ощущения свободы, с ликующим хрустом пожирал лесные просторы. Наконец нашлось ему, где разгуляться. Долго оставался он пленником, запертым на пожогах, вот теперь в его власти был весь лес. Языки огня заключали деревья в свои пламенные объятия, после которых деревья стояли черные, мертвые, с сухими, торчащими по сторонам ветками. Языки огня проворными белками взбегали по стволам, ужами извивались по траве, легко перепрыгивали с дерева на дерево. Огонь наступал. В воздухе стоял шум множества крыльев. Тетерева, глухари и все другие лесные птицы летели прочь, под защиту густых зарослей, и здесь оказывались у огня в западне. Горел лес — и над ним стоял гул, точно от водопада.

Удары топора тонули в этом гуле. А дед Сведье все рубил, рубил, рубил... Нужно прорубить просеку и остановить огонь. Четиль рубил, а дым все сильнее забивал ноздри. Он чихал, слезящиеся глаза жгло и резало. Откуда взялось столько дыма? Он накатывал целыми клубами. И вдруг Четиль увидел пламя между двух молодых елочек. Огонь уже тут!

Старик в изумлении опустил топор. Неужто это тот же огонь, что занялся от пожоги? Как успел он сюда добраться? Это было непонятно. Ведь он пробежал больше четверти мили, а огонь наступает ему на пятки. Что толку тогда валить деревья? Всю рощу надо вырубить, чтобы остановить огонь.

Несколько секунд он стоял, беспомощно опустив руки. Но тут он вспомнил про полосу ржи всего в сотне саженей от рощи. Нет, нет! Нельзя стоять, опустив руки. Он задыхался, он обессилел от рубки. Но он срезал

большую ветку и накинулся на огонь. Не станет он спокойно смотреть, как огонь уничтожит его поле!

Меж стволов показались языки пламени, и он, обезумев, принялся хлестать их веткой. Он хлестал огонь в порыве отчаяния и ненависти, расправляясь со своим неверным помощником.

Но вдруг тучею налетел дым и покрыл его с головой. Он невольно отпрянул, попятился назад, но тут же разозлился на себя за это отступление. А проклятый дым лез ему в рот, и язык у него обожгло, точно он жевал раскаленный уголь. Ему пришлось отступить.

Если бы он вел поединок только с огнем! Но дым коварнее огня. Он пробежал назад сотню шагов и остановился, пораженный изумлением: огонь был и тут! Может, его кружит нечистая сила? Огонь теперь у него за спиной. Видно, лес в это утро загорелся сразу в нескольких местах. Иначе непонятно, как он мог окружить березовую рощу? Надо бежать назад.

Четиль поднял перед собой топор, точно намереваясь прорубить себе дорогу в огне. Ему казалось, что он находится в горящей печи. Ведь есть же где-нибудь выход отсюда, надо отыскать его!

Он устремился в другую сторону, но не пробежал и нескольких саженей, как дорогу ему заступила стена дыма.

Все вокруг было черно от дыма, он не видел больше ни солнца, ни неба. Надо бежать назад. Но куда? Там он уже был, а здесь ему заступает дорогу огонь. Он метался взад и вперед. Он совсем ослеп от дыма, глаза у него нестерпимо жгло. И Четиль был вне себя от изумления: кто может это понять, если тут не вмешалась нечистая сила? Куда ни повернись, повсюду дым да огонь. Он ничего не может понять. Он окружен огнем.

А теперь и земля закачалась у него под ногами. Горящие деревья вокруг него стали высокими, до неба. Теперь горело и над ним, где-то высоко вверху. Четиль был окончательно сбит с толку. Он ничего не видел в двух шагах от себя. Этот лесной пожар не похож на все другие, тут, видно, какое-то колдовство.

Он споткнулся о корень дерева и упал. Топор все еще был у него в руках. Он сжал его изо всех сил и швырнул в огонь. А потом наступила темнота. Мир вокруг него закачался и пропал.

Последним чувством старого Четиля было удивление. И за этим безграничным удивлением крылась надежда, что сон его все еще продолжается, что он сеет рожь, которая сперва быстро зазеленела, а потом почернела так же, как почернело все вокруг перед его глазами.

Все было необычно в лесу в то летнее утро, когда погиб в огне от своей пожоги человек, возделавший эту землю.

* * *

Много сотен лет прошло с тех пор, и много добрых урожаев было снято на земле, где упал покрытый копотью дед Сведье. На пожоге, которую когда-то выжигали он и его сыновья, теперь раскинулось поле. И земля принадлежит усадьбе Сведьегорд, которая стоит посолонь, как и пристало стоять человеческому жилью. Право человека должно быть так же неизменно и нерушимо, как неизменен ход солнца по небу с востока на запад.

О крестьянине из этой усадьбы, Рагнаре Сведье, потомке того, кто первым поднял и возделал эту землю, повествует роман «Ночной гонец».

ПРАДЕД

Солдатский торп моего прадеда Нильса Тура находился в округе Рёрсхульт, в приходе Альгутсбуда. Думаю, что сегодня крестьяне из Рёрсхульта навряд ли знают то место, где было солдатское поселение. Оно надежно скрыто в глубине леса, и тропа, которая когда-то вела к нему, давно заросла. Мой отец, солдатская усадьба которого находилась примерно в полутора милях отсюда, показал мне это место однажды незадолго до смерти. Но и он чуть не заблудился, хотя в детстве сам протоптал эту тропку, бегая к деду.

Торп Нильса Тура лежал на участке в несколько десятин. Когда-то возделанная земля давно уже возвращена природе. Она заросла лесом и превращена в лесное пастбище. Груды камней, некогда унесенные с пашни, оделись плотным серым мхом и скрыты в густом кустарнике. Теперь трудно представить себе, что на этом месте сравнительно недавно жили люди. Но мой отец отыскал и показал мне признаки человеческого жилья. Ему было одиннадцать лет, когда умер его дед, и он

много раз бывал в солдатской хибаре, которая в давние годы стояла здесь. Он указал на то место, где у деда был дровяной пригорок, и на груду камней, в которую у бабки была вмурована печь. И старый колодец еще оставался здесь. Теперь он превратился в яму, наполовину заваленную камнями. Но вода здесь была студеная и вкусная, колодец стоял на хорошей жиле.

Пень от большой яблони выступал из травы, как напоминание о былом. На этой яблоне всегда было сорочье гнездо, объяснил отец. Однажды он швырнул камнем в птенцов, и дед оттрепал его за ухо. Но вообще-то он почти никогда не озорничал. Солдат Нильс Тур умел заставить слушаться себя.

Единственными остатками избы были несколько камней фундамента. Поискав в траве, отец нашел довольно крупный, плоский камень, который когда-то служил основой крыльца. И тут-то отец окончательно почувствовал себя дома.

Мы сели на камень, развязали котомку с едой, напились ключевой воды из старого колодца. В отце пробудились воспоминания. Вон в том конце избы стряпали, а там на стене всегда висело дедово ружье. У дома стояли ульи. Дед был заядлый пчеловод, но под конец эти пчелы дорого ему обошлись... Стоял жаркий день начала июня. Еловая хвоя точно сочилась зноем. Со мной была шестилетняя дочь, она бегала по участку, собирая лютики.

Я думал о прадеде и смотрел на мою девочку, и мне вдруг открылась связь времен. Моя дочь родилась в 1927 году, а мой прадед, солдат Рёрсхультского округа, согласно записи в церковной книге, родился 4 января 1787 года. И в этот миг мне показалось, точно прошлое и настоящее сошлись воедино. На том месте, где теперь моя девочка собирает цветы, расхаживал когда-то мой прадед, приглядывая за своими пчелами и браня моего отца за то, что тот швырял камнями в птенцов, выглядывавших из гнезда на большой яблоне. И здесь родился мой дед; он тоже бегал тут среди лютиков.

В это мгновение у меня появилось ощущение общности нашего рода. Совершенно случайно я узнал о моем прадеде больше, чем обычно люди узнают о своих предках. По чистой случайности красный деревянный ларец Нильса Тура сохранился у моего отца. Он стоял, заваленный всяким хламом, на чердаке нашего дома,

и там я обнаружил его несколько лет назад. Ларец был полон бесценных бумаг, которые беспристрастно и внятно рассказывают о жизни моего прадеда. Благодаря этим бумагам прошлое ожило передо мной. Это были описи имущества, арендный контракт, выписки из судебных книг, долговые обязательства, послужной список и т. д. Все это сухие и скучные бумаги, но они помогли мне воссоздать образ солдата Нильса Тура и условия его жизни. В оставшейся после него описи имущества была, в частности, названа и оценена каждая принадлежавшая ему вещь.

Я могу представить себе обстановку его дома. Вон там, у очага, стояли его сапоги, на стене висел кисет с порохом, на очаге высилась тренога, а в углу, где стряпали,— маслобойка. Я могу до мельчайших деталей мысленно восстановить дом солдата. Что же касается его личности, то тут мое воображение питали еще и устные предания.

Солдат Нильс Тур был женат на крестьянской дочери Лизе Якобсдоттер, и они, как сказано в старинном документе, имели десять детей. Солдатская усадьба была невелика, она считалась одной из самых бедных в приходе, и кормов там едва хватало на одну корову. Как могли Тур и Тура Лиза, как звали его жену, в таких условиях поднять десять детей, поистине нелегко уразуметь, особенно тем, кто живет в наш век технических удобств и гигиены. Временами прадед бывал так беден, что, как говорили тогда, хоть дверь в дому не запирай. Но случай этот не исключительный, а скорее обычный для «доброго старого времени» первой половины XIX века. И, может быть, некоторое объяснение этому можно найти в ответе, который Нильс Тур дал однажды на вопрос своего командира. Его капитан знал, что хозяйство у Тура худое и бедное, и, услышав о том, что Тур тем не менее «породил» десять детей, спросил, как это ему удалось их вырастить.

Прадед ответил:

— Вишь ты, капитан, все дело в том, что мы с Лизой всегда пуще всего были ласковы с самым младшим!

На этом лесном участке, ныне позабытом и заросшем, стояла изба, и из окон ее выглядывало множество ребячьих лиц, когда кто-нибудь чужой появлялся на тропке, ведущей из деревни. «Кто это идет?» — спрашивали любопытные детские глазенки. И, должно быть,

всем малышам сразу не хватало места у окна. До военного лагеря в Хультсфреде было примерно пятнадцать миль по большаку. Железных дорог тогда еще не было. Этот путь Нильсу Туру приходилось проделывать дважды в год, на полковые сборы и обратно. Это были дополнительные учения, кроме обычных походов, являвшихся частью ежегодных учений в Хультсфреде. Марш обычно длился трое суток. Труднее всего давался поход в лагерь, когда солдаты после одиннадцатимесячного сидения дома были не в форме. Прадед писал своей Лизе, что ободрал всю кожу на ногах, пока дошел до Хультсфреда. Когда кто-то из соседей, обученный грамоте, прочитал это письмо Туре Лизе, она заметила: «Шкурой больше или меньше — велика важность для солдата!» Тура Лиза была женщина с твердым характером — настоящая солдатская жена.

В пору солдатской службы моего отца рота отправлялась на полковые сборы поездом, и отцу никогда не приходилось мерять версты ногами.

Солдат отправлялся на сборы со значительной поклажей. Поскольку выдаваемого харча не хватало, он нес с собою увесистый мешок с едой. Перво-наперво Нильс Тур клал в ранец сыр, так называемый солдатский сыр, которого должно было хватить на все время полковых сборов. Это был сыр примерно из пятнадцати ведер молока, огромный круг, тяжелый, как точильный брус. Туре Лизе приходилось загодя собирать молоко и выменивать его у крестьянок, чтобы сварить сыр перед походом. По размерам и вкусу солдатского сыра судили о домовитости солдатской жены.

Обратный марш к дому проходил куда быстрее, провизия не отягощала ранцы, тело было закалено походной жизнью на сборах, а тоска по жене и детишкам удлиняла шаг. Тридцать шесть полковых сборов пережил за свой век Нильс Тур, тридцать шесть раз отправлялся он в путь с солдатским сыром Лизы в ранце, и столько же раз возвращался он налегке по лесной тропке к дому.

Даже в течение тех одиннадцати месяцев, что солдат жил дома, он находился отчасти на походном положении в том смысле, что его начальники жили в той же округе. Капрал Тура, как и его непосредственный командир, жил в соседнем приходе, а в полумиле от солдатского торпа проживал его командир роты. Таким

образом, старшие и нижние чины встречались друг с другом и помимо полковых сборов. Это, разумеется, способствовало установлению добрых и дружеских отношений между командирами и подчиненными. В периоды между сборами они встречались как люди цивильные, и командиры рот были очень хорошо осведомлены об условиях жизни своих солдат. Даже вне военных походов офицеры должны были надзирать за своими солдатами и опекать их. Уже в военном уставе времен Карла XI говорится: «Капитану надлежит быть отцом своим солдатам, он должен опекать, защищать и содержать солдат своей роты». В более древние времена имелось предписание, что капитан должен присутствовать при обручении солдата, для того чтобы оно имело законную силу. И я слышал рассказы о том, что иной раз командиры рот даже отыскивали своим солдатам подходящих жен, если те были слишком робки для того, чтобы самим справиться с этой задачей.

С известной долей печали думает нынешний рекрут об этих идиллических отношениях между командиром и солдатом. Если сегодня новобранец не сможет найти себе невесту, он едва ли может рассчитывать в этом отношении на помощь своего командира роты.

* * *

После тридцатишестилетней службы прадед вышел в отставку, получив пенсию. Среди его бумаг я нашел письмо из кассы полка о назначении ему содержания: «Сим назначается отставному солдату Нильсу Августу Туру полное содержание, кое выплачивается ему кассой королевского Кальмарского полка в сумме двадцать четыре риксдалера в год».

Возможно, что кто-нибудь, даже учитывая высокую стоимость денег в доброе старое время, будет несколько удивлен представлением королевских чиновников о сумме, которая требуется для полного годового содержания семьи. Но Нильс Тур, выйдя в отставку в возрасте пятидесяти восьми лет, был человеком недюжинной силы и мог еще обеспечить себя. Из его семи сыновей пятеро, в том числе и мой дед, были солдатами, а старший долго оставался неженатым и обрабатывал отцов надел. Поэтому старику позволено было жить в усадьбе и разводить своих пчел. И пока он жил, меду у них в доме

всегда было вдоволь. Ломтями хлеба с медом неизменно потчевали гостей, приходивших в усадьбу, и это было одной из причин, приманивавших сюда моего отца, когда он вырос настолько, что мог сам бегать к деду через лес.

О Нильсе Туре все в один голос говорили, что он был человеком горячего нрава. Он был необыкновенно вспыльчив и крут и в гневе нагонял страх на окружающих. Единственным человеком, которого ему в таких случаях не удавалось запугать, была Тура Лиза, жена, но она была бой-баба, как тогда говорили.

(Одного из своих сыновей она родила в поле во время жатвы и после родов продолжала как ни в чем ни бывало резать рожь серпом — таков рассказ, передававшийся из уст в уста.)

Отношения между солдатами и крестьянами, выделявшими им землю, были отнюдь не идиллическими. Они препирались о содержании усадьбы, о мерах ржи, о возах с лесом, об аршинах полотна. И во время таких споров у Нильса Тура не раз возникал повод для гнева. Когда он только поселился на этой земле, один из крестьян затеял с ним спор, не желая выполнять условия контракта. Тур отправился в дом к крестьянину и, ступив на порог, в запальчивости несколько неосторожно распахнул дверь, которая соскочила с петель. С тех пор хозяин усадьбы никогда больше не препирался с солдатом.

Свою солдатскую службу Нильс Тур нес безупречно. В сохранившемся аттестате его поведение определено как «похвальное». Дома же, в усадьбе, в своей цивильной жизни, ему не удалось сохранить безупречную репутацию, и это было связано с законом 1855 года о запрещении самогоноварения. Тут у прадеда, на семидесятом году его жизни, возник конфликт с гражданскими властями. Он всегда гнал хмельное из ржи, которую собирал на своем поле или получал за службу, и в усадьбе у него был аппарат. Теперь неожиданно вышло запрещение, но Нильсу Туру и в голову не приходило, что закону следует повиноваться. Он лишь перенес аппарат в потайное место в лугах и продолжал гнать самогон, как прежде. Его действия с психологической точки зрения вполне объяснимы. Он родился в годы правления Густава III, он принадлежал к другому времени, и запрещение самогоноварения было для него новомод-

ной дьявольской затеей, законность которой ему трудно было понять. Отчего то, что разрешалось в прошлом году, нынче запрещается?..

И он продолжал поступать так, как привык. Но какой-то недруг предал его, ленсман разыскал тайник, и прадеду пришлось заплатить штраф сорок риксдалеров за незаконное изготовление спиртного. Возможно, учитывая почтенный возраст преступника и его безупречное поведение в прошлом, штраф ему был назначен самый низкий, но тем не менее он составлял пенсию старика за целых два года! История с самогоном была, несомненно, большой трагедией в его жизни.

Прадед состарился. Он жил простой, здоровой жизнью среди природы. Он был искусным охотником и рыбаком — в глубокой старости он на зорьке подстреливал глухарей на току и обычно приходил домой, таща на спине огромного петуха. В пору глухариного тока на столе в солдатской избе всегда было жаркое из свежей птицы. В те времена Смоландские леса еще были полны глухарей и тетеревов.

Мужественная Тура Лиза умерла в 1862 году. В церковной книге отмечены обстоятельства ее кончины. Там сказано, что «смерть настигла ее вечером в поле». Видимо, с ней случился удар, когда она собиралась идти с пашни домой. Тур пережил ее на десять лет.

Он встретил смерть майским днем 1872 года, когда ему сравнялось восемьдесят пять лет. Жизнью он поплатился из-за своих пчел.

Он возился с ульем, когда на него внезапно налетел весь рой. Говорили, что причиной возбуждения пчел было то, что старик перед началом работы хлебнул рюмку-другую водки, а пчелы будто бы не выносят запаха спиртного. Раздраженные этим запахом, они набросились на старика и начали жалить его. Справедлива ли такая гипотеза, об этом судить пчеловодам, но факт тот, что Нильс Тур был страшно покусан пчелами, все тело его распухло, и в трое суток его не стало. Старый пчеловод умер на своем посту: видимо, подошел к концу отмеренный ему срок пребывания на земле.

В отличие от своих любимых пчел, прадед был не из тех, кто умел «копить мед в своих сотах». Об этом свидетельствует опись его имущества, которая указывает, что все его сбережения составляли 66 крон 47 эре. После него осталось шесть детей, и душеприказчик отмеча-

ет, что «наследство было разделено между прямыми наследниками Тура, и каждый получил по 11 крон и 11³/₄ эре, и, таким образом, все было разделено по справедливости».

В красном ларце находился также счет расходов на похороны, которые должны были вычесть из наследства до его дележа. Тут мы узнаем, что гости на поминках съели целого теленка, купленного за четыре риксдалера. Кроме этого, подавалась рисовая каша, для которой было куплено целых три фунта рису; каша была приправлена корицей, стоившей 24 шиллинга. Самая большая статья расходов в этом счете приходится на напитки — и это вполне естественно. Она составила 9 риксдалеров 50 эре. Так как водка, продававшаяся законным порядком, стоила в те времена два риксдалера за ведро, то можно понять, что на поминках прадеда было выпито пять ведер хмельного. Жаль, что нельзя установить число присутствовавших и тем самым определить, много ли тогда пили. Но если учесть, что навряд ли там было больше пятнадцати мужчин, то, вероятно, каждый из гостей должен был выпить примерно треть ведра.

Насколько можно судить, гостям, поминавшим старого солдата, жаловаться было не на что.

За гроб плотник Юхан получил три риксдалера, а «за отпевание тела» органисту было заплачено 25 эре. Это — последняя статья расходов в списке.

Многие пункты в описи имущества могут рассказать о том, как жил Нильс Тур в старости. Ружье старика было еще в столь хорошем состоянии, что его оценили в 12 риксдалеров. Но зато одежда его, видимо, уже никуда не годилась, потому что она потянула всего на 75 эре. Лишь сапоги еще имели какую-то ценность, поскольку они были выделены особо и оценены в два риксдалера. Кадок для вина было две, и каждая стоила по одному риксдалеру.

Книжником старый солдат, разумеется, не был; в его военном аттестате умение читать оценено, как «посредственное». Но все-таки в избе старика имелось несколько книг. В описи имущества значится пункт: «Библия и некоторые другие книги — 3 риксдалера».

Тут я должен упрекнуть того, кто составлял опись, в нерадивости. Мне бы очень хотелось знать, какие книги читал мой прадед, помимо Священного писания. Что скрывается за этой пометкой «некоторые другие книги»?

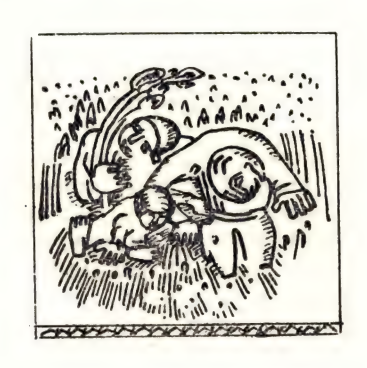
* * *

Мы с отцом долго сидели в тот раз на месте бывшей усадьбы Нильса Тура. Отец описывал мне старика, каким помнил его в последние месяцы жизни: высокий, седобородый, несколько согбенный годами. Старик почти все время ходил в черном овчинном тулупе. Он то чистил свое ружье на крыльце, то возился с ульями, то брал воду из колодца. А в тулупе он ходил и летом, и зимой.

Он стоял передо мной, точно живой. Я видел его здесь, на этом месте, где когда-то стояла его изба. Вот в такой же июньский день налетел на него рой пчел, которого он вовремя не остерегся. Когда он родился, королю Густаву III оставалось жить еще пять лет до того дня, как пуля Анкарстрёма сразила его на маскараде в опере. Это было за год до начала войны с Россией. Передо мной промелькнули века — рядом с прадедом увидел я свою маленькую дочь, родившуюся в 1927 году. Она ходила в траве, собирая цветы. Пять поколений рода соединились в одну цепь.

В тот раз не было в живых прадеда и деда, а теперь и отец мой зарыт на кладбище. Сам же я — убеленный сединой человек, а девочка, которая была тогда со мною,— мать двух сыновей, почти совсем взрослых. Цепь не прерывается.

В те минуты, проведенные на камнях бывшей избы прадеда, мне открылось, сколь преходяща жизнь человеческая и сколь бессмертен человеческий род.



ПРИМЕЧАНИЯ

МУЖНЯЯ ЖЕНА

Стр. 27. *Купец из Кальмара.* — Кальмар — город на восточном побережье Смоланда, административного центра Кальмарского лена.

Пятьсот далеров. — Далер — старинная монета из серебра, имевшая хождение в Швеции с 1534 года. Впоследствии далеры стали чеканить из меди.

Стр. 33. *Месяц цветень* — народное название апреля.

Стр. 39. *Ленсман* — представитель королевской власти на местах. Выполняя функции пристава, поддерживал закон и порядок во вверенной ему округе. Взимал штрафы, недоимки, привлекал к суду, производил аресты и т. д.

Стр. 40. *Колода* — так называли в старину гроб, выдолбленный из цельного куска дерева.

Стр. 97. *Карльскруна* — город в области Блекинге.

Стр. 103. *...триста риксдалеров.* — Риксдалер — шведская серебряная монета весом в 25 граммов. Была в обращении с 1619 года. В 1873 году заменена кроной. Риксдалер равнялся полутора, а с 1681 года — двум серебряным далерам.

Стр. 123. *...чуть не две мили.* — Шведская миля равна десяти километрам.

Стр. 181. *...не менее двух марок серебра.* — Марка — в древней Скандинавии весовая единица в слитках или пластинах (плотах), равная 210 граммам чистого серебра. Позднее — денежная единица, равная одной четверти далера или одной восьмой риксдалера.

НОЧНОЙ ГОНЕЦ

Стр. 185. *Это родовой знак дома...* — Родовой знак являлся своеобразной подписью. Он мог принадлежать одному человеку, семье или родовой усадьбе. Его вырезали на домах и различных предметах, им клеймили скот. Впоследствии им подписывали письма, грамоты и документы.

...назвав птицу ее настоящим именем... — Согласно шведскому народному поверью, нечистая сила или существо, предвещающее беду, исчезнут, если их назвать настоящим именем.

Стр. 186. *День святого Олафа* — 29 июня.

Стр. 187. *...в немецкую войну...* — Имеется в виду Тридцатилетняя война (1618—1648), в которой принимали участие почти все европейские государства. Швеция вступила в эту войну в 1630 году и в результате Вестфальского мира (1648) утвердила свое господство на Балтийском море.

Стр. 188. *...составляли три податных хозяйства.* — В семнадцатом веке подати собирались с одного полного крестьянского надела. Такой полный надел составляли обычно несколько крестьянских усадеб, которые рассматривались как одно податное хозяйство.

Кальмарская граница — граница Кальмарского лена (провинции), расположенного в юго-восточной части Скандинавского полуострова, на побережье Балтийского моря. На западе Кальмарский лен граничит с леном Крунуберг — местом действия романа.

Стр. 189. *...в пределах свободной мили.* — Все деревни, находившиеся на расстоянии не более мили от помещичьей усадьбы (шведская миля равна десяти километрам), входили в пределы так называемой свободной мили. Здесь помещики имели право облагать крестьян податями и принуждать их к барщинной повинности.

Стр. 190. *Бонд.* — Так называли в Швеции крестьянина, владевшего родовым земельным наделом. Бонды платили подати только казне и не находились в зависимости от помещиков.

Стр. 192. *День святого Урбана* — 25 мая.

...датчанина недавно разбили на его же земле. — Речь идет о датско-шведской войне 1643—1645 годов, в которой Дания потерпела поражение. В результате мира, заключенного в Бремсбру, к Швеции отошла провинция Сконе.

Стр. 193. *...участвовал в кальмарской усобице...* — Имеется в виду война между Швецией и Данией, так называемая Кальмарская война (1611—1613). Датчане начали ее осадой шведского города Кальмара, который они затем захватили. Неудача шведов у Кальмара объяснялась в известной мере тем, что силы Швеции были отвлечены на интервенцию в Россию. Впоследствии Кальмар вновь отошел к Швеции.

Стр. 202. *Черстин* — просторечная форма имени Христина. О Христине, королеве Швеции (1632—1654), см. предисловие, стр. 9.

Стр. 210. *Пускай ее отец платит пеню за изъян!* — По древнему шведскому закону при судебных тяжбах нанесенный обидчиком ущерб, не только материальный, но и моральный, мог быть искуплен путем внесения пени натурой или деньгами, если данный штраф удовлетворял пострадавшего. Этот закон существовал до середины XVIII века.

Стр. 221. *Рыцарь Альгут* — Альгут Магнуссон Стуре (1355—1426) — член государственного совета; владелец крупных поместий; отпрыск могущественного рода Стуре. Из рода Стуре происходили многие шведские государственные деятели, а некоторые его представители в период унии скандинавских стран под эгидой Дании избирались правителями Швеции.

Стр. 229. *Сословный собор* — заседание риксдага (парламента). Шведский риксдаг представлял собою орган сословного представительства, состоявший из четырех курий. Кроме дворян, духовных лиц и горожан, в него входили и зажиточные крестьяне. Но решающей силой в нем было феодальное дворянство, а выборными от горожан и духовенства зачастую были крупные королевские чиновники. Тем не менее представительство в риксдаге давало крестьянам некоторые возможности отстаивать свои права.

Стр. 230. *Улоф Строле* (1578—1648) — сын фохта Андерса Свенссона, получившего в 1574 году дворянское звание и имя Строле из Экны. Улоф Строле, владелец имения Убемола (см. стр. 13), был известен своим жестоким обращением с крестьянами. Хотя в романе Улоф Строле упоминается под своим настоящим именем, он в то же время, по свидетельству шведских исследователей, послужил Мубергу прототипом для создания образа помещика Клевена.

Стр. 232. *Ульфсакс* — Йонс Нильссон Ульфсакс из Усабю, снискавший себе, как и Улоф Строле (см. пред. примеч.), печальную известность жестоким истязанием крестьян. В 1590 году был королевским фохтом в Крунуберге.

Стр. 239. *Тинг* — первоначально древнескандинавское вече, высший орган власти. В средние века тинги превратились в местные суды с участием присяжных, которые избирались обычно из числа наиболее уважаемых жителей прихода.

Стр. 240. *Мясная десятина.* — Во многих странах (в Швеции — с 1164 года) существовала особая крестьянская повинность, так называемая церковная десятина. Крестьяне обязаны были отдавать церкви десятую часть урожая, скота, улова рыбы и пр. Отсюда упоминающаяся здесь мясная десятина, а также сырная, рыбная и т. п. Часть десятины шла приходскому пастору, остальное — епископам и другим представителям высшего духовенства. Нередко на церковную десятину посягали и представители светской власти. Так, в XVI веке, при короле Густаве Вазе, две трети зерна, предназначавшегося церкви, должны были идти в королевскую казну под названием коронной десятины.

Стр. 241. *Церковная десятина.* — См. примеч. к стр. 240.

Капеллан — здесь: помощник приходского пастора.

Стр. 246. *...своему дражайшему собрату и другу Арвидусу Тидерусу, пастору Веккельсонга...* — В шведских исторических источниках

упоминаются выборные от духовного сословия, пасторы Арвидус Тидерус из Веккельсонга и Юнас Эриций Дрюандер из Вернаму, которые в своих речах на сословном соборе обличали жестокость помещиков. Дрюандер, в частности, говорил о том, что дворяне лучше обращаются со своими лошадьми и собаками, чем с крестьянами, и что животных помещики кормят досыта, тогда как крестьяне умирают голодной смертью. Речи Тидеруса и Дрюандера вызвали неудовольствие королевы Христины.

Стр. 258. *Риксканцлер* — государственный канцлер, глава правительства. В описываемые в романе годы риксканцлером Швеции был Аксель Густавссон Оксеншерна (1583—1654), граф Сёдермёре, занимавший этот пост и ранее, в годы правления Густава-Адольфа. После смерти последнего он возглавил регентский совет при малолетней королеве Христине. Оксеншерна, пользовавшийся огромным влиянием на Густава-Адольфа и Христину, стоял во главе шведской аристократии и фактически руководил внутренней и внешней политикой страны в этот период.

Стр. 259. *Штафет* (эстафета) — деревянная дощечка определенной формы, посылавшаяся по стране при каком-либо чрезвычайном событии. В древности таким путем народ созывали на тинг или в военный поход. Суровое наказание ожидало того, кто вольно или невольно задерживал штафет. Когда в страну вторгался враг, рассылались штафеты, обугленные с одного конца и завязанные шнурком с другого. Это означало, что человек, препятствующий передаче штафета, должен быть повешен, а дом его сожжен. Штафет, созывающий на войну, часто имел форму меча, топора или креста. На штафете обычно вырезались руны или знаки, объясняющие, с какой целью послан штафет.

Стр. 260. *Граф Аксель.* — Имеется в виду Аксель Густавссон Оксеншерна (см. примеч. к стр. 258).

Стр. 262. *Дакке* Нильс — предводитель крестьянского восстания 1542—1543 годов, при короле Густаве Вазе. Восставшие добивались отмены непосильных налогов и снятия запрета на торговлю. Они выступали против церковной реформы. В начале 1543 года восстание было подавлено, а в июле того же года Нильс Дакке был убит предателем; тело его колесовали в Кальмаре.

Стр. 273. *Чудо-посох* — палка с раздвоенным концом, с помощью которой, согласно поверью, можно было найти место для рытья колодца.

Стр. 315. *Иоганнес из Стренгнеса.* — Иоганнес Маттеа Готус (1592—1670) — доктор теологии, придворный проповедник. Пользовался особой милостью королевы Христины, наставником которой он был в годы ее детства, и получил от нее в лен доходные поместья. В 1643 году стал епископом Стренгнеса.

Юнас Доюандер из Вернаму. — См. примеч. к стр. 246.

Стр. 316. *Ленеус* Иоганнес (1573—1669) — профессор теологии, проректор Упсальского университета. Ратовал за независимость шведской церкви от короля и государственного совета, был в оппозиции к аристократии. На сословном соборе выступал за возвращение крестьянам их земель, за что попал в немилость к королеве.

Нильс Нильссон (ум. 1664) — член муниципального совета Стокгольма. На сословном соборе 1650 года был выборным от торгового сословия и возглавлял борьбу буржуазии за редукцию помещичьих земель. Возненавидевшее Нильссона дворянство требовало его казни.

Ларс Флеминг (1621—1699) — камергер королевы Христины; отпрыск старинного аристократического рода.

Стр. 317. *Принц Карл-Густав* (1622—1660) — внук короля Карла IX, вступивший в 1654 году, после отречения королевы Христины, на шведский престол под именем Карла X Густава.

Стр. 329. *Бердник* — мастер, изготовляющий для ткацкого станка берда (гребни для прибоя утка к ткани).

Стр. 346. *Церковная шестерка* — церковный совет, состоявший из шести человек. Избиралась общиной и являлась своего рода полицией нравов в шведской деревне. Церковная шестерка определяла наказание лицам, провинившимся против нравственности, — женщинам непристойного поведения, тем, кто спал или разговаривал в церкви, напивался без меры на празднествах и т. д. Провинившийся, как правило, должен был уплатить пеню либо стоять во время воскресного богослужения на позорном помосте, сооруженном в церкви специально для этой цели.

Стр. 381. *День всех святых* — первое воскресенье ноября.

Стр. 382. *Пфальцграф Карл-Густав* — принц Карл-Густав (см. примеч. к стр. 317).

Стр. 384. *Карл Лёвенхаупт* (Лейонхувуд; 1620—1666) — полководец и государственный деятель, член государственного совета, участник Тридцатилетней войны.

Стр. 385. *Магнус Габриэль Делагарди* (1622—1686) — член государственного совета. В дальнейшем был государственным маршалом, государственным казначеем, а с 1660 по 1880 год — рикскацлером. Меценат, способствовавший развитию наук и изящных искусств в Швеции.

Пер Брахе (1602—1680) — граф, верховный судья надворного суда, занимавший эту должность в течение сорока лет.

Габриэль Оксеншерна (1586—1656) — брат рикксанцлера Акселя Оксеншерны, член государственного совета, государственный казначей, президент камер-коллегии.

За ними следовал королевский шталмейстер барон Сванте Банер... — Муберг, очевидно, имеет в виду барона Густава Адама Ба-

нера (1624—1681), который действительно занимал пост королевского шталмейстера.

Сванте Спарре (1623—1652) — глава военной коллегии.

Адольф-Иоганн (1629—1689) — внук короля Карла IX и брат принца Карла-Густава.

Иоганн-Казимир (1589—1652) — муж дочери короля Карла IX Катарины, отец принца Карла-Густава и герцога Адольфа-Иоганна.

Драбанты — телохранители владетельных особ, почетная стража.

Стр. 386. *Гамильтон* Людвиг (ум. 1662) — шотландский барон, попавший вместе со своим братом Хуго Гамильтоном в Швецию во время Тридцатилетней войны. Командовал полком шведской гвардейской пехоты наследного принца.

Врангель Иоганн Мориц (ум. 1664) — в описываемые годы командир полка. Впоследствии получил баронский титул и чин генерал-майора.

Якобсдаль — в те времена предместье Стокгольма, ныне район города.

ИЗ КНИГИ «РАССКАЗЫ О МОЕЙ ЖИЗНИ»

Стр. 542. *Фрейд* Зигмунд (1858—1936) — австрийский врач и психолог, создатель теории психоанализа.

Стр. 545. *Муди* Дуайт Лиман (1837—1890) — американский евангелист и проповедник, опубликовавший большое количество книг на религиозные темы.

Ник Картер — герой серии бульварных романов, выпускавшейся в Америке с конца XIX века. Всего было опубликовано свыше тысячи выпусков, написанных различными авторами. Иногда создатели книг этой серии (Ф. Дэй, У. Дэвис) делали имя их героя своим литературным псевдонимом.

Стр. 552. *Карл XI* (1655—1697) — шведский король, царствовавший с 1672 по 1697 год.

Стр. 561. *Катринехольм* — город в области Сёдерманланд.

Стр. 570. *...с битвами под Брейтенфельдом и Лютценом, под Нарвой и Полтавой.* — Имеются в виду вошедшие в историю Швеции битвы Тридцатилетней и Северной войн. Битва под Брейтенфельдом, близ Лейпцига, произошла 17 сентября 1613 года, битва под Лютценом, в Саксонии — 16 ноября 1632 года. Битва под Нарвой (19 ноября 1700 года) закончилась победой Карла XII над русскими войсками, а в битве под Полтавой (27 июня 1709 года) Петр I полностью разгромил шведскую армию.

...какую память оставили по себе шведы в Германии во время Тридцатилетней войны... — Тридцатилетняя война (1618—1648) — первая общеевропейская война между католическими государствами

Габсбургского блока и протестантскими странами антигабсбургской коалиции. Здесь имеется в виду так называемый шведский период Тридцатилетней войны (1630—1635), когда армия Швеции, предводительствуемая королем Густавом II Адольфом, вторглась в пределы Северной Германии.

...Швеция всегда вела оборонительные войны, даже во времена Карла XII. — Ирония автора здесь тем более очевидна, что речь идет об одном из самых воинственных и агрессивных королей Швеции. Карл XII (1682—1718), находившийся на шведском престоле с 1697 по 1718 год, вел войну против Дании, Польши, Саксонии и России (Северная война 1700—1721 годов). В войне с Россией после ряда побед был разгромлен в битве под Полтавой. В 1716 году предпринял поход в Норвегию, где был убит во время осады норвежской крепости Фредрикстен.

...Швеция только в XVIII веке дважды, в войнах 1741 и 1788 годов, была нападающей стороной... — Имеются в виду русско-шведские войны 1741—1743 и 1788—1790 годов, начатые Швецией и закончившиеся ее поражением.

Стр. 571. *Густав II Адольф* (1594—1632) — шведский король (1611—1632). Вел войны с Россией, Данией, Польшей, участвовал в Тридцатилетней войне и был убит в битве под Лютценом. Вошел в историю Швеции как видный полководец и военный реформатор. Шведская буржуазная историография создала подлинный культ Густава-Адольфа.

Карл X Густав (1622—1660) — шведский король (1654—1660). Вел агрессивные войны с Польшей и Данией, в результате которых значительно расширил шведские владения и укрепил господство Швеции на Балтике.

Юхан (Ян) *Банер* (1596—1641) — шведский фельдмаршал, полководец, один из ближайших военных советников Густава II Адольфа.

Магнус Стенбок (1663—1717) — граф, шведский фельдмаршал, сопровождавший Карла XII во всех его походах. Одна из наиболее популярных фигур каролингского периода. Одержал ряд побед в Польше и Дании, особенно отличился в битве под Нарвой.

Кожаный Чулок — одно из многочисленных прозвищ охотника и лесного жителя Натаниэля Бампо, героя ряда романов американского писателя Фенимора Купера («Зверобой», «Следопыт», «Последний из могикан» и др.).

Олд Шэттэрхэнд — герой серии романов об индейцах немецкого писателя Карла Майя.

Ситтинг Булл (Сидящий Бизон) — последний вождь индейского племени дакота, сражавшийся против белых поработителей и погибший при попытке взять его под арест.

Буффало Билл (Билл Буйвол) — прозвище Уильяма Фредерика Коди (1846—1917), знаменитого американского охотника и разведчика, участвовавшего в войне с индейцами на стороне правительственных войск. Коди опубликовал ряд книг, в которых описал свою жизнь, полную опасностей и приключений.

...книги Сельмы Лагерлёф о путешествии Нильса Хольгерсона по Швеции. — Сельма Оттилия Ловиса Лагерлёф (1858—1940) — выдающаяся шведская писательница, автор двадцати четырех крупных произведений, лауреат Нобелевской премии, член Шведской Академии, доктор Упсальского университета, участница женского конгресса 1911 года и пацифистского движения. Ее произведения — «Сага о Йесте Берлинге» (1891), трилогия о Лёвеншёльдах (1925—1928), «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции» (1906—1907) и другие вошли в сокровищницу шведской и мировой литературы.

Стр. 572. *Фабиан Монссон* — видный деятель рабочего движения в Швеции. Один из основателей (в 1903 году) и руководителей социал-демократического союза молодежи.

Блекинге — лен (провинция) на юге Швеции.

Стр. 587. *Ингерсол* Роберт Грин (1833—1899) — американский юрист и политический деятель, прославившийся своей страстной антирелигиозной пропагандой.

Бенгт Лидфорс (1868—1913) — шведский ученый, биолог, публицист, популяризатор естествознания. Критиковал христианство с позиций науки. Опубликовал книгу «Христианство в прошлом и настоящем», в которой подверг критике христианские догмы.

Стр. 615. *...правления Густава III* — период реставрации абсолютной монархии, просвещенного абсолютизма, характеризуется расцветом культуры и искусства, вошел в историю Швеции как густавианская эпоха. Для внешней политики Густава III характерны великодержавные устремления. Вел войну с Россией и Данией.

Стр. 618. *...королю Густаву III оставалось жить еще пять лет до того дня, как пуля Анкарстрёма сразила его на маскараде в опере.* — Король Густав III (1746—1792) был смертельно ранен на маскараде в здании Королевской оперы капитаном лейб-гвардии Я. Ю. Анкарстрёмом, представителем дворянской оппозиции. Это событие легло в основу либретто оперы Верди «Бал-маскарад».

Это было за год до начала войны с Россией. — Имеется в виду война 1788—1790 годов, которая велась в основном на море и закончилась 14 августа 1790 года Верельским миром на благоприятных для Швеции условиях.

СОДЕРЖАНИЕ

---

[1] Стр. 21—102 переведены Ф. Золотаревской, стр. 102—182 переведены Н. Беляковой.

[2] Стр. 185—273 переведены Ф. Золотаревской, стр. 273—343 переведены Е. Паклиной, стр. 343—431 переведены Н. Беляковой.

Муберг В.

М 89 Избранное: Пер. с швед./ Предисл. и примеч. Н. Беляковой и Ф. Золотаревской; Оформ. худож. Н. Филимоновой. — Л.: Худож. лит., 1979. — 632 с.

В книгу избранных произведений известного шведского писателя Вильхельма Муберга (1898—1973) вошли романы «Мужняя жена» (1933) и «Ночной гонец» (1941), пьеса «Сказочный принц» (1962) и очерки из сборника «Рассказы о моей жизни» (1968).

Большинство произведений публикуются на русском языке впервые.

$М\frac{70304\text{-}069}{028(01)\text{-}79}$ 168—79 И (швед)

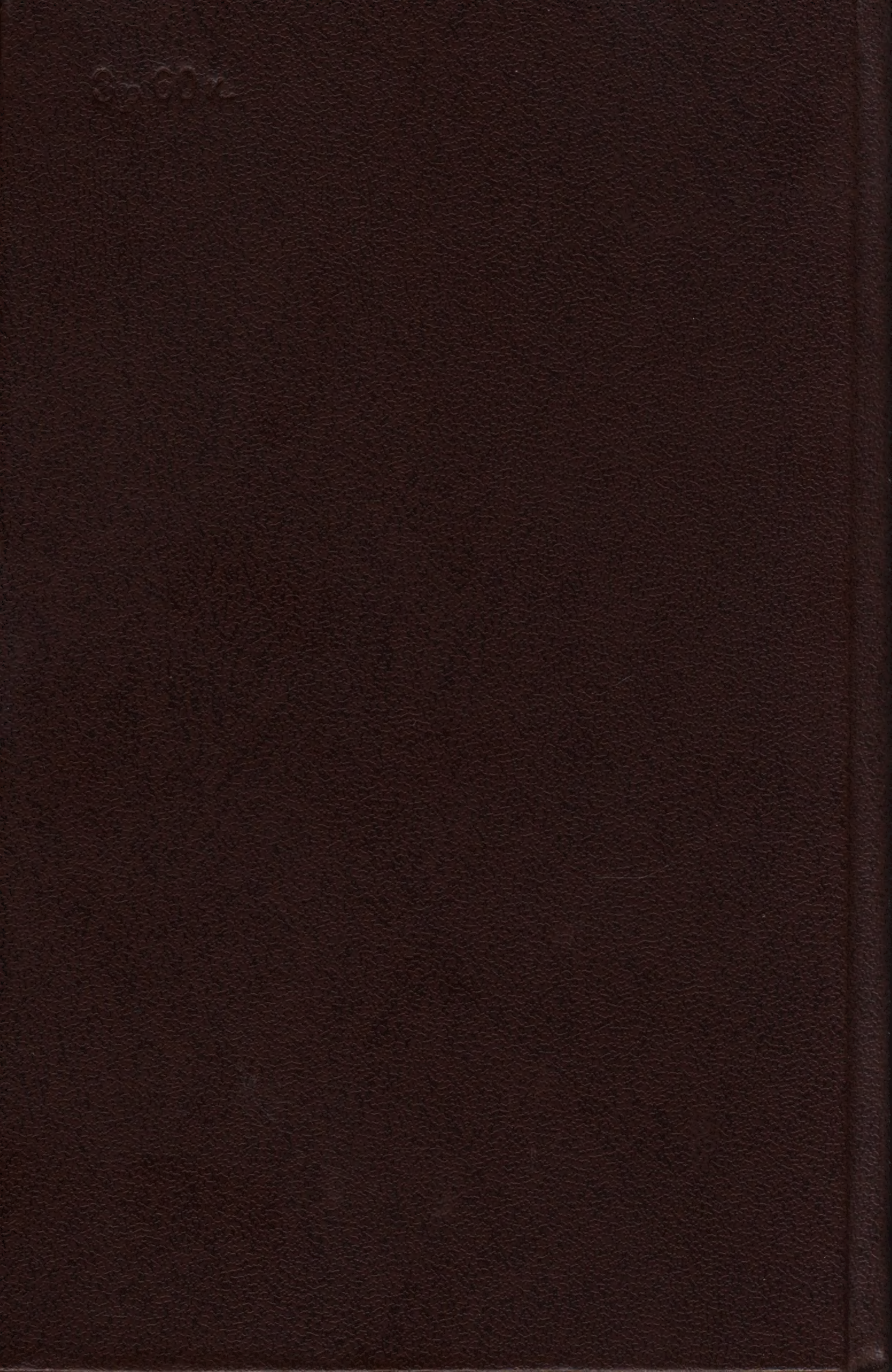
Вильхельм Муберг

ИЗБРАННОЕ

Редактор А. Славинская
Художественный редактор Г. Губанов
Технический редактор Н. Литвина
Корректор Л. Никульшина

ИБ № 1373

Сдано в набор 09.02.79. Подписано в печать 31.07.79. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 33,180+ +вкл. 0,052=33,232 усл. печ. л. 34,388+1 вкл.=34,479 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ № 216. Цена 3 р. 60 к. Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.



ВИЛЬХЕЛЬМ
МУБЕРГ
ИЗБРАННОЕ